

ЛУИ-АДОЛЬФ ТЬЕР

ИСТОРИЯ

ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Annotation

Луи-Адольф Тьер (1797–1877) – политик, премьер-министр во время Июльской монархии, первый президент Третьей республики, историк, писатель – полвека связывают историю Франции с этим именем. Автор фундаментальных исследований «История Французской революции» и «История Консульства и Империи». Эти исследования являются уникальными источниками, так как написаны «по горячим следам» и основаны на оригинальных архивных материалах, к которым Тьер имел доступ в силу своих высоких государственных должностей.

Оба труда представляют собой очень подробную историю Французской революции и эпохи Наполеона 1 и по сей день цитируются и русскими и европейскими историками.

В 2012 году в издательстве «Захаров» вышло «Консульство». В 2014 году – впервые в России – пять томов «Империи». Сейчас мы предлагаем читателям «Историю Французской революции», издававшуюся в России до этого только один раз, книгопродавцем-типографом Маврикием Осиповичем Вульфом, с 1873 по 1877 год. Текст печатается без сокращений, в новой редакции перевода.

- [Тьер Луи-Адольф](#)
 - [Национальный Конвент](#)
 - [Глава XXIV](#)
 - [Глава XXV](#)
 - [Глава XXVI](#)
 - [Глава XXVII](#)
 - [Глава XXVIII](#)
 - [Глава XXIX](#)
 - [Глава XXX](#)
 - [Глава XXXI](#)
 - [Глава XXXII](#)
 - [Глава XXXIII](#)
 - [Глава XXXIV](#)
 - [Глава XXXV](#)

- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [Глава XLIII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)

Тьер Луи-Адольф
История Французской революции. Том 2

Национальный Конвент



Глава XXIV

Проекты якобинцев после 31 мая – Настроения департаментов – Военные события на Рейне и на Севере – Конституция 1793 года – Марат убит Шарлоттой Корде

Изданный 2 июня декрет против двадцати двух депутатов правой стороны и членов бывшей Комиссии двенадцати гласил, что они помещаются под домашний арест и охрану жандармов. Некоторые добровольно покорились, чтобы этим заявить свое повиновение закону и в надежде вызвать суд, который доказал бы их невиновность. Жансонне и Валазе легко могли скрыться, но отказались искать спасения в бегстве. Они остались под арестом вместе со своими товарищами Гюаде, Петионом, Верньо, Бирото, Гардьеном, Буало, Бертраном, Мольво и Гомэром. Некоторые другие, не считая себя обязанными повиноваться закону, вырванному силой, и не надеясь на правосудие, удалились из столицы или скрылись в ней до первой возможности уехать. План их состоял в том, чтобы отправиться в департаменты и там возбудить восстание против столицы. Это решение приняли Бриссо, Горса, Салль, Луве, Шамбон, Бюзон, Лидон, Рабо Сент-Этьен, Ласурс, Гранжнев, Лесаж, Виже, Ларивьер и Бергуэн. Оба министра, Лебрэн и Клавьер, отставленные немедленно после 2 июня, должны были тоже попасть под арест по приказу коммуны. Лебрэну удалось бежать. Та же мера была принята и против Ролана, который, выйдя в отставку 21 января, тщетно просил, чтобы у него приняли отчеты. Он успел укрыться, а затем бежать в Руан. Жена его, тоже преследуемая, хлопотала только о спасении мужа, а затем, отдав дочь на руки одного надежного друга, с благородным равнодушием к собственной судьбе сама сдалась комитету своей секции и была заключена в тюрьму вместе со многими другими жертвами 31 мая.

Велика была радость якобинцев. Они поздравляли друг друга с тем, как много оказалось у народа энергии, с его прекрасным поведением в последние дни, с низвержением всех преград, которыми жирондисты не переставали задерживать ход революции. В то же время они сговорились, как всегда после крупного события, в каком свете

представить последнее восстание. Народ, сказал Робеспьер, своим поведением сразил всех своих клеветников. Восемьдесят тысяч человек целую неделю были на ногах, и ничья собственность не была тронута, ни одна капля крови не пролилась; сама Гора, ошеломленная, бессильная при виде этого движения, тем самым доказала, что не способствовала ему ничем. Итак, это восстание действительно оказалось чисто нравственным и чисто народным.

Этой же речью косвенно порицалось поведение Горы, выказавшей некоторое колебание 2 июня; отстранялся упрек в заговоре, взводимый на активистов левой стороны; и высказывалась лесть народной партии, сделавшей всё будто бы самостоятельно и так превосходно. Придумав толкование, которое было с жадностью принято и тотчас подхвачено всеми сторонниками победоносной партии, якобинцы поспешили спросить у Марата отчета в одном слове, наделавшем много шума. Дело в том, что Марат, для которого всегда существовало одно только средство покончить с революционными колебаниями – диктатура, видя, что и 2 июня еще обнаруживались колебания, повторил в этот день, как и во все прочие дни: «Нам нужен вождь». Когда у него потребовали объяснения этим словам, он сумел как-то оправдаться, и якобинцы поспешили удовлетвориться его оправданием, довольные тем, что доказали свою совесть и строгость своих республиканских правил.

Они также сделали несколько замечаний по поводу малого усердия Дантона, который как будто смягчился после упразднения Комиссии двенадцати. Дантон сам был в отсутствии, но Камилл Демулен горячо защищал его, и якобинцы тоже поспешили положить конец объяснениям, отчасти из уважения к такой важной особе, отчасти во избежание слишком щекотливых рассуждений, так как восстание, хоть и свершившееся, одобрялось далеко не единодушно. Напротив, всем было известно, что сам Комитет общественной безопасности и большое число представителей Горы с ужасом смотрели на этот переворот. Но так как дело было сделано, следовало извлечь из него пользу, не подвергая новым пересудам. Это и стало теперь первой заботой.

Для этого надо было принять разные меры. Обновить комитеты, в которые входили все приверженцы правой стороны, через комитеты прибрать к рукам дела; переменить министров; получить надзор над

частной перепиской; удерживать на почте опасные статьи и брошюры и не допустить распространения в провинции никаких, кроме признанных полезными; немедленно сформировать революционную армию, уже учрежденную декретом и необходимую для исполнения в провинциях декретов Конвента; наконец, привести в действие принудительный заем с богачей – вот средства, предложенные и единодушно принятые якобинцами. Но необходимой более всех признали меру по редактированию в восьмидневный срок республиканской конституции. Весьма важно было доказать, что оппозиция жирондистов одна мешала исполнению этой великой задачи, успокоению Франции справедливыми законами и дарованию ей залога единения, вокруг которого она могла бы сплотиться. Таковое желание было выражено одновременно якобинцами, кордельерами, секциями и коммуной.

Конвент, считая своей обязанностью исполнить это непреодолимое желание, переменял состав всех своих комитетов: общественной безопасности, финансового, военного и прочих. Комитет общественной безопасности, уже слишком заваленный делами и еще не навлекший на себя серьезных подозрений, чтобы можно было осмелиться резко переменить всех его членов, остался нетронутым. Министром иностранных дел на место Лебрена был назначен Дефорж, а министра финансов Клавьера заменил Детурнель. Проект конституции, который составил Кондорсе согласно взглядам жирондистов, был отвергнут, и Комитет общественной безопасности должен был представить другой. Для этой работы комитету дали в помощники еще пять человек. Наконец, было приказано изготовить проекты принудительного займа и организации революционной армии.

Заседания Конвента с 31 мая получили совсем новый характер. Они были молчаливы, и почти все декреты принимались без прений. Правая сторона и часть центра более не подавали голосов, как бы протестуя своим безмолвием против всего сделанного со 2 июня и поджидая известий из департаментов. Марат считал долгом справедливости самому удалиться от дел, пока не последует суда над его противниками жирондистами, и только продолжал просвещать Конвент своими листками. Два депутата города Бордо, Понтекулан и Фонфред, прервали молчание, воцарившееся в собрании. Понтекулан обличил

инсургентский комитет, который не переставал собираться в епископском дворце, останавливал посылки на почте, распечатывал их и в таком виде отсылал по адресу, приложив свой штампель «Революция 31 мая».

Конвент перешел к очередным делам. Фонфред, член Комиссии двенадцати, исключенный из декрета об аресте за то, что противился мерам, принятым этой комиссией, взошел на кафедру и потребовал исполнения декрета, приказывавшего не позже трех дней представить доклад об арестованных. Это требование возбудило некоторое волнение. «Нужно как можно скорее доказать невиновность наших товарищей, – пояснил Фонфред. – Я остался здесь единственно затем, чтобы защищать их, и объявляю вам, что из Бордо идут вооруженные люди для отмщения за устроенное против народных представителей покушение». Ответом на предложение Фонфреда был переход к очередным делам. «Это последнее кваканье болотных жаб», – говорили тогда якобинцы.

Угрозы Фонфреда были не пустыми: не только бордосцы, но жители почти всех департаментов готовы были схватиться за оружие и выступить против Конвента. Их неудовольствие возникло гораздо раньше 2 июня. Читатели помнят, что между муниципалитетами и секциями по всей Франции не было согласия. Приверженцы Горы засели в муниципалитетах и клубах; умеренные республиканцы, напротив, все ушли в секции. Разрыв разразился открыто уже в нескольких городах. В Марселе секции отобрали всю власть у муниципалитета и передали ее центральному комитету, а кроме того самовольно учредили народное судилище над патриотами, обвиняемыми в чрезмерном революционном усердии. Комиссары Бейль и Буассе отменили судилище, но это ни к чему не повело: их власть все-таки не признали и секции так и остались в состоянии восстания. В Лионе даже случилось кровопролитное сражение.

Вопрос состоял в том, будет ли исполнено постановление муниципалитета об учреждении революционной армии и взимании военной контрибуции с богатых. Секции, не соглашавшиеся на это, объявили свои заседания постоянными; муниципалитет хотел распустить их, но они с помощью директории департамента отстояли свое решение. Двадцать девятого мая дело дошло до драки, несмотря на

присутствие двух комиссаров Конвента. Победа осталась за секциями. Они приступом взяли арсенал и ратушу, сменили муниципалитет, закрыли якобинский клуб и завладели верховной властью в Лионе. В это сражение были вовлечены несколько сотен человек.

Бордо представлял зрелище не более обнадеживавшее. Этот город, как и все города запада, Бретани и Нормандии, только и ждал, чтобы столь долго повторяемые угрозы против их депутатов были приведены в исполнение.

В таком-то настроении департаменты узнали о событиях конца мая. Первое упразднение Комиссии двенадцати уже произвело большое раздражение, и зашла речь о выражении неодобрения того, что происходило в Париже. Но события 31 мая и 2 июня дополнили меру негодования. Молва, всё преувеличивающая, и тут преувеличила факты. Распустили слух, будто коммуной убиты тридцать два депутата, общественные кассы разграблены, парижские разбойники забрали власть в свои руки и собираются передать ее или иноземцам, или Марату, или герцогу Орлеанскому. Народ начал собираться для составления петиций и воинственных приготовлений против столицы. В эту минуту бежавшие депутаты сами явились с рассказами о случившемся и придали импульс повсеместно вспыхнувшему недовольству.

Кроме депутатов, бежавших с самого начала, еще несколько человек ушли от жандармов; другие даже оставили собрание, чтобы ехать разжигать восстание. Жансонне, Валазе и Верньо остались, говоря, что если полезно, чтобы некоторые из них отправились будить рвение департаментов, то так же полезно, чтобы другие оставались заложниками в руках своих врагов и, пусть подвергаясь опасности, доказали невинность всех. Бюзо, который ни на минуту не соглашался покориться декрету 2 июня, уехал в свой департамент поднимать нормандцев; Горса последовал за ним с тем же намерением. Бриссо поехал в Мулен. Мельян, не арестованный, но скомпрометированный, и Дюшатель, которого монтаньяры прозвали привидением 21 января, после того как он с постели, в простынях, явился в собрание подать голос в защиту Людовика XVI, уехали в Бретань. Бирото убежал из-под стражи и отправился вместе с Шассе руководить движением в Лионе. Ребекки, опередив Барбару, который еще сидел под арестом, уехал в

департамент Устье Роны. Рабо Сент-Этьен поспешил в Ним.

В Париже мнения насчет того, какие меры следует предпринять против опасности, разделились. Члены Комитета общественной безопасности – Камбон, Барер, Бреар, Трельяр, Матье, патриоты, пользовавшиеся общим доверием, хоть они и не одобряли 2 июня, – желали бы, чтобы были приняты меры примирительного свойства. По их мнению, следовало доказать, что Конвент свободен, энергичными мерами против агитаторов и, вместо того чтобы раздражать их строгими декретами, вернуть их на путь истинный, показывая все опасности междоусобной войны. Барер от имени комитета представил проект декрета, составленный в этом духе. Согласно этому проекту революционные комитеты, внушившие такой страх многочисленными арестами, упразднились по всей Франции или возвращались к своему первоначальному назначению – надзору над подозрительными иногородними или иностранцами; в Париже должны были быть созваны первичные собрания для избрания другого главнокомандующего на место Анрио; наконец, тридцать депутатов должны были отправиться от департаментов в качестве заложников.

Эти меры казались самыми подходящими для того, чтобы успокоить департаменты. Упразднение революционных комитетов положило бы конец инквизиторскому отношению к подозрительным лицам; назначение хорошего начальника обеспечило бы спокойствие в Париже; заложники в то же время служили бы и миротворцами. Но Гора вовсе не была расположена к уступкам и сделкам. С надменностью пользуясь тем, что называла национальной властью, она отвергла всякие примирительные меры. Стараниями Робеспьера проект комитета был отсрочен. Дантон, в эту критическую минуту снова возвысив голос, напомнил о прежних, знаменитых кризисах Революции, об опасностях, грозивших в сентябре во время вторжения неприятеля в Шампань и взятия Вердена, потом в январе, прежде чем казнь последнего короля стала решенным делом, наконец, в апреле, когда Дюмурье шел на Париж и поднималась Вандея. Революция, по его мнению, поборола все эти опасности, победоносно вышла из всех этих кризисов – выйдет и из этого. «В мгновение наибольшей производительности, – сказал он, – политические тела, как и физические, всегда кажутся близкими к

разрушению. Что ж! Гром гремит, а под его раскаты родится философский камень, долженствующий упрочить благополучие двадцати четырех миллионов человек». Дантон требовал, чтобы общим декретом приказали всем департаментам отменить все, ими сделанное, в срок не позже суток, под страхом, в противном случае, быть объявленными вне закона.

Могучий голос Дантона, который всегда ободрял слушателей, раздаваясь в минуту опасности, и тут произвел свое обычное действие. Конвент хоть и не в точности принял предлагаемые им меры, однако издал более энергичные декреты. Во-первых, депутаты объявили, что парижане своим восстанием заслужили благодарность отечества; что депутаты, сначала подвергнутые домашнему аресту, будут переведены в тюрьму и содержаться наравне с обыкновенными арестантами; что сделают переключку всех депутатов и те, кто окажутся отсутствующими без поручения или разрешения, будут лишены своего звания и замещены запасными; что департаментские или муниципальные власти не могут переноситься с одного места на другое и сноситься между собою и что все комиссары, посылаемые от одних департаментов к другим с целью составить коалицию, должны быть немедленно задержаны добрыми гражданами и отправлены в Париж под конвоем.

Распорядившись этими общими мерами, Конвент объявил недействительным постановление департамента Эр, отдал под суд членов департамента Кальвадос, арестовавшего двух его комиссаров; поступил точно так же с Бюзо, своими наущениями поднявшим Нормандию, и послал двух депутатов, Матье и Трельяра, в департаменты Жиронда и Ло и Гаронна, так как эти департаменты, прежде чем восстать, требовали объяснений. Депутаты, кроме того, потребовали к ответу тулузские власти, упразднили марсельский суд и центральный комитет и издали обвинительный декрет против Барбару; наконец послали Робера Ленде в Лион изучить факты и на месте составить донесение о состоянии города.

Эти декреты, вышедшие один за другим в течение июня, поколебали решимость многих департаментов, не особенно привыкших бороться с центральной властью. Испуганные, неуверенные в себе, они решились ждать примера департаментов более сильных или зашедших дальше.

Между тем нормандские власти, подстрекаемые присутствием депутатов, примкнувших к Бюзо – Барбару,

Луве, Гюаде, Салля, Петиона, Бергуэна, Лесажа, Кюсси, Кервелегана, – продолжали начатое дело и учредили в Кане центральный комитет департаментов. Эр, Кальвадос, Орн послали туда комиссаров. Бретонские департаменты, сначала составившие конфедерацию в Ренне, решили примкнуть к центральному собранию и отправить туда делегатов. Действительно, 30 июня делегаты от департаментов Морбиган, Финистер, Кот-дю-Нор, Иль-э-Вилен и Нижняя Луара присоединились к департаментам Кальвадос, Эр и Орн и составили центральное собрание для сопротивления угнетению, обязавшись сохранять равенство, единство, нераздельность Республики; но клялись при этом в ненависти к анархистам.

Определив таким образом свое назначение, новое собрание решило собрать с каждого департамента по достаточному контингенту, чтобы оснастить войско, могущее идти на Париж и восстановить национальное представительство во всей его полноте и целостности. Феликс Вимпфен, начальник отряда, расположенного близ Шербура, был назначен начальником департаментского войска. Он принял это назначение, а на приказ военного министра явиться в Париж ответил, что есть только одно средство водворить мир: отменить все декреты, изданные с 31 мая; что за эту цену департаменты готовы побрататься со столицей, а в противном случае он может пойти на Париж во главе шестидесяти тысяч нормандцев и бретонцев.

Министр, в то же время, пока звал Вимпфена в Париж, приказывал полку ламаншских драгунов, стоявшему в Нормандии, тотчас отправляться в Версаль. Узнав об этом, все федераты, уже собравшиеся в Эврё, выстроились в боевом порядке и загородили драгунам дорогу на Версаль; к ним присоединилась и Национальная гвардия. Драгуны, не желая доводить дело до драки, обещали не уходить и для вида побратались с федератами. Офицеры же тайком написали в Париж, что не могут двинуться, не начав междоусобной войны, и получили разрешение остаться.

Собрание в Кане решило направить пришедшие уже бретонские отряды на Эврё, общий сборный пункт всех войск. Туда же были посланы боевые и съестные припасы, оружие, суммы, взятые из

общественных касс, а также переманенные офицеры и много тайных роялистов, которые бросались во всякую сумятицу, чтобы под республиканской личиной сражаться против революции. В числе этих контрреволюционеров находился некто Пюизе, который напустил на себя великое усердие в пользу жирондистов; Вимпфен, тоже тайный роялист, назначил его бригадным командиром и дал начальство над авангардом в Эврё. Этот авангард доходил до тысяч пяти или шести и каждый день увеличивался новыми контингентами. Храбрые бретонцы собирались со всех сторон и рассказывали, что за ними следуют новые отряды. Одно только обстоятельство мешало им сойтись всем вместе: необходимость охранять берега океана от английских флотов и посылать отряды против Вандеи, которая подошла уже к самой Луаре и, казалось, собиралась перейти ее. Если сельские бретонцы были преданы своему духовенству, то городские стали искренними республиканцами и, хотя готовы были воевать против Парижа, нисколько не отказывались от упорной войны против Вандеи.

Таково было положение дел в Бретани и Нормандии к первым числам июля. В близких к Луаре департаментах рвение уже несколько охладело; комиссары Конвента, находившиеся там для руководства новыми наборами против Вандеи, уговорили власти подождать дальнейших событий и до времени не компрометировать себя еще больше.

Зато в Бордо восстание продолжалось с неослабной энергией. Депутаты Трельяр и Матье с самого приезда попали под строгий надзор; шла даже речь о том, чтобы арестовать их в качестве заложников; однако до этой крайности не дошло, их только потребовали в народную комиссию, где буржуа, смотревшие на них как на маратистов, приняли их довольно недружелюбно. Депутатов расспросили обо всем, что происходило в Париже, и комиссия, выслушав их, объявила, что Конвент 2 июня не был свободен, что он не свободен и теперь, они же — посланные собрания, не имеющего легального характера, а следовательно, могут потрудиться выехать из департамента. Их довели до границы и тотчас вслед за тем в Бордо приняли те же меры, что и в Кане: стали готовить припасы и оружие, деньги из общественных сумм и войска. Всё это происходило в последних числах июня и первых числах июля.

Матье и Трельяр нашли меньшее сопротивление и большее расположение в департаментах Дордонь, Виенна и Ло и Гаронна; там им удалось несколько успокоить умы своими примирительными речами, предотвратить принятие решительных враждебных мер и выиграть время в интересах Конвента. Но в более высоко расположенных департаментах – в горах Верхней Луары и на склонах их, в департаментах Геро, Гар, наконец, вдоль берегов всей Роны – восстание было общим; Гар и Геро послали свои отряды к Пон-Сент-Эспри, чтобы занять переправу через Рону и соединиться с марсельцами, которые должны были подняться вверх по реке. Дело в том, что марсельцы не захотели покориться декретам Конвента, а сохранили учрежденный ими суд, не выпустили захваченных патриотов и даже приступили к казням. Они составили армию в шесть тысяч человек, которая пошла из Экса на Авиньон и должна была, соединившись с лангендокцами, собранными у Пон-Сент-Эспри, подняться вдоль берегов Роны, Изера и Дрома и объединиться с лионцами и монтаньярами департаментов Юра и Эна. В Гренобле власти боролись против Дюбуа-Кран-се и даже грозили ему арестом. Не решаясь еще собирать войска, этот город послал депутатов побрататься с Лионом. Дюбуа-Крансе со своей расстроенной Альпийской армией находился среди почти бунтовавшего города, где ему ежедневно твердили, что юг может обойтись без севера. Ему надо было оберегать Савойю, где иллюзии, сначала навеянные свободой и владычеством Франции, уже рассеивались и жители жаловались на набор, на ассигнации, ничего не понимая в этой революции, столь бурной и столь отличной от того, что они прежде воображали. Кроме того, сбоку у Дюбуа была Швейцария с эмигрантами, а с тыла – Лион, который перехватывал его переписку с Комитетом общественной безопасности.

Лионцы приняли Робера Ленде, но в его присутствии принесли федералистскую присягу, провозгласили единство и нераздельность Республики, ненависть к анархистам и цельность национального представительства. Они не только не отправили в Париж арестованных патриотов, но и начали против них судебную процедуру. Новая власть, составленная из депутатов общин и членов различных правлений, была учреждена под названием Народная республиканская комиссия общественного блага департамента Рона. Это собрание постановило

сформировать департаментское войско для соединения с братьями из других департаментов, оно уже было совсем готово; кроме того, решили собрать субсидию и ожидали только сигнала, чтобы двинуться. Как только в Юре стало известно, что депутаты из Труа, присланные для восстановления покорности Конвенту, собрали полторы тысячи человек линейного войска, более четырнадцати тысяч монтаньяров сразу вооружились, собираясь окружить эти войска.

Если мы вникнем в положение Франции в первых числах июля 93 года, то увидим, что одна колонна, двинувшись из Бретани и Нормандии и дойдя до Эврё, стояла всего в нескольких лье от Парижа; другая шла на столицу из Бордо, причем могла увлечь за собой все департаменты бассейна Луары, еще колебавшиеся; что шесть тысяч марсельцев, ожидавших лангедокцев у Пон-Сент-Эспри, уже занятого восьмьюстами немцами, могли мигом соединиться в Лионе с федератами Гренобля, Эна и Юры, чтобы ринуться на Париж. В ожидании этого общего единения федералисты выгребали из касс все деньги, перехватывали припасы, посылаемые армиям, и снова пускали в оборот ассигнации, изъятые с помощью продаж национальных имуществ. Замечательное обстоятельство, вполне характеризующее дух партий, заключалось в том, что каждая высказывала другой те же упреки и приписывала ту же цель. Партия Парижа и Горы обвиняла федералистов в стремлении погубить Республику, разъединяя ее, и в сговоре с англичанами. Партия же департаментов и федералистов обвиняла Горы в намерении привести к контрреволюции путем анархии и говорила, что Марат, Робеспьер и Дантон продались Англии. Таким всегда бывает плачевное ослепление партий!

Но всё это еще была только часть опасностей, грозивших несчастной Франции. Внутренний враг был страшен только по милости внешнего, который стал между тем страшнее, нежели когда-либо. Пока целые армии французов шли из провинций к центру, иноземные армии снова окружили Францию и грозили ей почти неизбежным вторжением. Со времени сражения в Неервиндене и отступничества Дюмурье Франция лишилась всего завоеванного и своей северной границы. Читатели помнят, что Дампьер, назначенный главнокомандующим, стянул всю армию под стены Бушена и придал ей там некоторую

бодрость и цельность в действиях. К счастью для революции, союзники, твердо держась методического плана, установленного в начале кампании, не хотели ни на одном пункте переходить границу, решив сделать это не ранее, чем когда прусский король, взяв Майнц, будет в состоянии пробиться до самого центра Франции. Если бы между полководцами коалиции оказалось хоть немножко военного гения или согласия – дело Революции пропало бы. Союзникам следовало идти вперед, не давать ни минуты покоя побитой, разрозненной, преданной армии; тогда в плен бы она попала или была бы отброшена в крепости, неприятелю открылась бы дорога прямо на Францию. Но союзники устроили в Антверпене конгресс с целью наметить дальнейшие военные операции. Герцог Йоркский, принц Кобургский, принц Оранский и еще несколько генералов решили между собой, как действовать. Было решено взять Конде и Валансьен, чтобы доставить Австрии новые крепости в Нидерландах, а потом – Дюнкерк, чтобы открыть англичанам столь желанный порт на материке.

Условившись таким образом, союзники вновь начали военные действия. Герцог Йоркский командовал 20 тысячами австрийцев и ганноверцев; принц Оранский – 15 тысячами голландцев; принц Кобургский – 45 тысячами австрийцев и 8 тысячами гессенцев. Принц Гогенлоэ с 30 тысячами австрийцев занимал Намюр и Люксембург и соединял союзную армию в Нидерландах с прусской армией, на которую была возложена осада Майнца. Так что от 80 до 90 тысяч человек угрожало одному северу.

Союзники уже начали блокаду Конде, и французскому правительству ничего так не хотелось, как снять ее. Дампьер, храбрый, но не уверенный в своих солдатах, не решался напасть на такие силы. Однако, подгоняемый комиссарами Конвента, он привел армию в лагерь при Фамаре под самым Валансьеном и 1 мая несколькими колоннами напал на австрийцев, укрепившихся в лесах. Военные комбинации в то время были еще робки: составить силу, найти слабую точку неприятеля и бить в нее смело – такая тактика не была известна ни той ни другой стороне. Дампьер отважно, но небольшими отрядами, бросился на неприятеля, тоже раздробленного, которого легко было бы подавить в какой-нибудь одной точке; в наказание за эту ошибку он был побежден после упорного сражения. Девятого мая он возобновил атаку уже менее

раздробленными силами, но и враги его тоже были научены опытом, и, в то время как он прилагал героические усилия, чтобы взять редут, который должен был соединить две его колонны, его смертельно ранили. Генерал Ламарш, временно приняв начальство, приказал отступить и возвратился с армией в Фамарский лагерь.

Фамарский лагерь, находившийся под Валансьеном, не давал осадить крепость. Союзники решили напасть на него 23 мая. Они рассыпали свои войска, без всякой пользы разбросали часть их по множеству пунктов, которые австрийцы непременно хотели все удержать за собою, и не применили против лагеря всех своих сил. Задержанные на целый день артиллерией, составлявшей гордость французской армии, они только к вечеру смогли переправиться через речку Ронель, защищавшую лагерь с фронта. Ламарш ушел ночью, в совершенном порядке, и перешел в так называемый Лагерь Цезаря, соединенный с крепостью Бушей так же, как Фамарский с Валансьеном. Часть союзной армии, расположившись в виде наблюдационного корпуса, стала между Валансьеном и Бутеном, лицом к Лагерю Цезаря. Другое отделение приступило к осаде Валансьена, а остальные войска продолжали блокаду Конде в надежде довести эту крепость до сдачи в несколько дней, так как в ней оставалось мало провианта.

Осада Валансьена началась правильно. Девяносто три мортиры были уже готовы, сто восемьдесят орудий шли из Вены и еще сто из Голландии. Таким образом, в июне и июле Конде покоряли голодом, Валансьен – огнем, а французские генералы управляли побитой и расстроенной армией. По взятии Конде и Валансьена можно было опасаться самого худшего.

Мозельская армия, соединившая Северную с Рейнской, перешла под начало Линевиля, когда Бернонвиль был назначен военным министром. Эта армия противостояла князю Гогенлоэ, который, впрочем, не был ей страшен, потому что занимал одновременно Намюр, Люксембург и Трир, имея никак не более тридцати тысяч человек; ему, кроме того, надлежало еще заняться Мецем и Тионвилем. Сверх того, от семи до восьми тысяч человек у него отняли для присоединения к прусской армии. Вследствие этого было весьма легко и выгодно соединить Мозельскую армию с армией, стоявшей на Верхнем Рейне, чтобы вместе предпринять серьезное наступление.

На Рейне предыдущая кампания окончилась в Майнце. Кюстин после своих смешных демонстраций вокруг Франкфурта был вынужден отступить и запереться в Майнце, где он располагал порядочной артиллерией, собрав орудия из разных французских крепостей, в особенности из Страсбурга. Там он строил тысячу планов: хотел то начать действовать наступательно, то защищать Майнц, а то и бросить его. Наконец решились защищать, и генерал даже способствовал этому решению исполнительного совета. Это заставило прусского короля начать осаду, и именно это обстоятельство и мешало союзникам подвигаться ближе к северу Франции.

Прусский король перешел Рейн при Бахарахе, близ Майнца; Вурмзер с 15 тысячами австрийцев и несколькими тысячами французов под началом принца Конде переправился через Рейн несколько выше; гессенский корпус Шёнфельда остался на правом берегу, перед Касселем. Прусская армия еще не была в той силе, в какой ей надлежало быть согласно обязательствам, взятым на себя Фридрихом-Вильгельмом. Выслав значительный отряд в Польшу, он остался с 50 тысячами, включая все контингенты — гессенский, саксонский и баварский. В итоге можно было насчитать около 80 тысяч человек, стоявших против восточной границы. По французским прирейнским крепостям стояло гарнизонами 38 тысяч;

действующая армия состояла из 40 или 45 тысяч; Мозельская — из 30; и если бы две последние соединились под руководством одного человека, то, имея такую точку опоры, как Майнц, можно было идти на прусского короля и занять его позиции по ту сторону Рейна.

Мозельскому и рейнскому главнокомандующим следовало по крайней мере действовать согласно. Они могли помешать переправе, даже вовсе воспрепятствовать ей, но они и не думали этого делать. В течение марта прусский король безнаказанно перешел Рейн и встретил только несколько передовых отрядов, которые без труда отбросил. Тем временем Кюстин находился в Вормсе. Он не позаботился защитить ни берега Рейна, ни склоны Вогезских гор, которые составляют ограду Майнца и могли бы остановить пруссаков. Он бросился туда поспешно, но испугался потерь, понесенных его передовыми отрядами, вообразил, что будет иметь дело со 150 тысячами солдат, а главное, ему

представилось, что Вурмзер, который должен был выйти из Пфальца выше Майнца, очутится у него в тылу и отрежет его от Эльзаса. Кюстин просил помощи у Линевиля; тот тоже трусил и не посмел тронуть с места ни один полк. Тогда Кюстин просто побежал и в один прием отступил на Ландау, а потом на Вейсенбург и даже подумывал о том, чтобы искать спасения под пушками Страсбурга. Это непостижимое отступление раскрыло пруссакам все проходы; они сошлись под Майнцем и напали на крепость с обоих берегов.

В крепости было 20 тысяч человек – слишком много и для защиты, и по имевшимся запасам: их могло не хватить на такой значительный гарнизон. Для продовольствования города не было сделано ничего. К счастью, в нем находились два комиссара, Ревбель и доблестный Мерлен из Тионвиля, генерал Клебер, Обер-Дюбайе и инженер Менье, а гарнизон отличался всеми военными доблестями – храбростью, воздержностью, выносливостью. Осада началась в апреле. Генерал Калькрейт командовал осадным корпусом, состоявшим из пруссаков. Король Пруссии с Вурмзером занимали наблюдательную позицию у подножия Вогезов, лицом к Кюстину. Гарнизон часто совершал вылазки и далеко простирали свои оборонительные работы.

Французское правительство, осознав, какую совершило ошибку, разъединив Мозельскую и Рейнскую армии, теперь соединило их под началом Кюстина. Этот генерал, стало быть, располагал 60 или 70 тысячами солдат; австрийцы и пруссаки были разбросаны перед ним, а за ними стоял Майнц, оберегаемый 20 тысячами французов. А между тем он и не думал нападать на наблюдательный корпус, чтобы разогнать его и соединиться с храбрым гарнизоном, который протягивал ему руку. Только в середине мая, чувствуя, как опасно подобное бездействие, Кюстин сделал попытку, плохо задуманную, еще хуже исполненную и окончившуюся совершенным поражением. По своему обыкновению, он всё свалил на подчиненных и был переведен в Северную армию – чтобы заново организовать и подбодрить войска. Таким образом, союзники, взяв Валансьен и Майнц, могли идти прямо на центр и беспрепятственно совершить вторжение.

От Рейна до Альп и Пиренеев целая цепь восстаний грозила тылу армии и перерезала ее сообщения. Вогезы, Юра, Овернь, Лозер составляют, от Рейна до Пиренеев, почти непрерывающуюся цепочку

гор различной высоты. Горные страны всегда консервативны в отношении учреждений, нравов и обычаев жителей. Почти во всех означенных местностях среди населения сохранялся остаток привязанности к своему прежнему, старинному быту, и все жители, хоть и не обуреваемые таким свирепым фанатизмом, как Вандея, все-таки были не прочь взбунтоваться.

Население Вогезов, напротив, наполовину немецкое, поддавалось влиянию дворян и священников и выказывало тем большую враждебность, чем больше шаталась Рейнская армия. Вся Юра поднялась из-за Жиронды, и если этот край в своем восстании обнаруживал больше любви к свободе, он был не менее опасен, потому что от 15 до 20 тысяч монтаньяров собирались вокруг Лон-ле-Сонье и соединялись с инсургентами Эны и Роны. Мы уже видели, в каком состоянии был Лион. Горы Лозер, отделявшие Верхнюю Луару от Роны, наполнялись мятежниками под предводительством бывшего члена Учредительного собрания по имени Шаррье. Их было уже до 30 тысяч, и они могли через Луару соединиться с Вандеей. За ними следовали федералисты юга.

Вдоль Альп стояли вооруженные пьемонтцы, собираясь отобрать у французов Савойю и Ниццу. Снега мешали началу военных действий вдоль Сен-Бернара, и каждая сторона удерживала свои позиции в трех долинах Салланш, Тарантэз и Мориенн. В департаменте Приморские Альпы и в армии, называемой Итальянской, дела шли не лучше. Там неприятельские действия были возобновлены рано, и уже в мае началось состязание из-за важной горной крепости Саорджио, от которой зависело обладание Ниццей. Действительно, раз заняв эту позицию, французы завладели бы проходом Коль-ди-Тенда, то есть ключом этой горной цепи.

Пьемонтцы с такой же энергией защищали Саорджио, с какой французы на него нападали. В Савойе и в окрестностях Ниццы у них было 40 тысяч солдат и 8 тысяч вспомогательных австрийских войск. Войска их, расставленные несколькими корпусами одинаковой силы от Коль-ди-Тенда до Большого Сен-Бернара, следовали, подобно всем союзным войскам, кордонной системе и стерегли все долины. Итальянская армия находилась в плачевнейшем состоянии. В ней было всего 15 тысяч солдат, она во всем терпела недостаток, начальство было

неудачным, и невозможно было требовать от армии в таком положении больших усилий. Генерал, недолго командовавший ею, прибавил 5 тысяч человек, но не смог снабдить ее всем нужным. Пьемонтцы могли, из-за льдов, не дававших действовать у Верхних Альп, перенести все свои силы к Южным Альпам, явиться перед Ниццей с 30-тысячной армией, разом отбросить Итальянскую армию в восставшие департаменты, помочь восстанию на обоих берегах Роны, пробраться, может быть, до Гренобля и Лиона, там с тыла обойти французскую армию, засевшую в долинах Савойи, – словом, совершить нашествие на большой кусок Франции. Но если австрийцы в эту войну не имели второго принца Евгения, а англичане – второго Мальборо, то и пьемонтцы не имели второго Амедея. Поэтому они довольствовались защитой Саорджио.

Брюнэ, преемник Ансельма, так же усердно трудился у стен Саорджио, как Дампьер – около Конде. После нескольких кровопролитных, но бесполезных сражений, наконец, 12 июня, последовало сражение решительное, кончившееся полным поражением французов. Если бы пьемонтцы почерпнули в своей победе некоторую смелость, то могли бы совсем разогнать неприятеля, заставить очистить Ниццу и перейти обратно через реку Вар. Подоспел Келлерман из своей главной квартиры, стянул армию в лагерь при Донжоне, занял несколько оборонительных позиций и велел, в ожидании подкреплений, держаться в полном бездействии.

Положение армии становилось еще опаснее вследствие появления в Средиземном море английского адмирала Худа, вышедшего из Гибралтара с тридцатью семью судами, и адмирала Лангары, который вывел почти столько же из испанских портов. Демаркационным войскам легко было бы занять линию Вара и с тыла напасть на французов. Сверх того, присутствие этих эскадр мешало подвозу припасов морем, потворствовало восстанию юга и поощряло Корсику броситься в объятия англичан. Французский флот исправлял в Тулоне повреждения, полученные им во время несчастной экспедиции против Сардинии, и едва осмеливался поддерживать каботажные суда, привозившие хлеб из Италии. Средиземное море более не принадлежало Франции, и торговля с Востоком переходила из рук Марсея в руки греков и англичан. Стало быть, Итальянская армия имела перед собой пьемонтцев, победивших в

нескольких сражениях, а с тыла — восставший юг и две эскадры.

В Пиренеях только начиналась война, объявленная Испанией еще 7 марта, после казни Людовика XVI. Приготовления долго тянулись с обеих сторон, потому что Испания, ленивая, медленная во всем, притом управляемая самым бестолковым образом, не могла справиться скорее, а у Франции и без нее было достаточно других врагов. Серван, главнокомандующий Пиренейской армии, несколько месяцев занимался ее организацией и бранил Паша с таким же ожесточением, как Дюмурье. Дела оставались в том же положении при Бушотте, и когда кампания уже открылась, главнокомандующий всё еще жаловался на министра. Точками сообщения между Испанией и Францией служат два города — Перпиньян и Байонна.

Смело двинуться на Байонну и Бордо, а оттуда прямо в Вандею было делом слишком отважным для того времени; притом испанцы полагали, что эта сторона защищена лучше, нежели это было в самом деле: следовало еще пройти через департаменты Ланда, Гаронна и Дордонь, а подобных трудностей было бы достаточно, чтобы заставить отказаться от плана, даже если бы таковой существовал. Мадридский двор предпочел повести атаку на Перпиньян, потому что с этой стороны Испания имела более надежный ряд крепостей, притом двор рассчитывал на роялистов юга, наконец, испанцы не позабыли и своих исконных притязаний на Руссильон. От 4 до 5 тысяч человек были оставлены на защиту Арагона; от 15 до 18 тысяч, наполовину регулярные войска, наполовину милиция, должны были воевать под начальством генерала Каро в Западных Пиренеях; наконец, генерал Рикардос, с 20 тысячами человек, получил приказание двинуться на Руссильон.

От горной цепи отделяются две главные долины — рек Те и Тек — и составляют первые две линии защиты со стороны Франции. Перпиньян стоит на последней из этих линий. Рикардос, выведав, как незначительны оборонительные средства французов, начал свои действия смелым движением: он заслонил собой форты Бельгард и Ле-Бен, находящиеся на первой линии, и пошел вперед с намерением сделать бесполезными французские отряды, разбросанные по долинам, сразу забираясь дальше них. Это ему удалось. Он вышел 15 апреля,

разбил отряды, посланные против него генералом Вилло, и посеял панический страх вдоль всей границы. Двинься он еще дальше с 10 тысячами, он непременно завладел бы Перпиньяном, но на это у генерала не хватило смелости; притом не все приготовления были еще кончены, и Рикардос дал французам время осмотреться.

Начальство над Пиренейской армией, из-за слишком большого ее протяжения, пришлось разделить: Сервану достались Западные Пиренеи, а генералу де Флеру, уже служившему в голландской экспедиции, – Восточные. Последний стянул свою часть армии перед Перпиньяном. Девятнадцатого мая Рикардос, собрав до 18 тысяч человек, атаковал французский лагерь. Бой был кровавым. Храбрый генерал Дагобер, сохранивший, несмотря на преклонные лета, юношеский пыл и притом одаренный большим умом, сумел устоять. Де Флер подошел с еще 18 тысячами резервных войск, и они вдвоем удержали позицию за собой. День клонился к концу, и всё предвещало счастливый исход сражения, как вдруг с наступлением ночи измученные французы попятились и в беспорядке побежали под самый Перпиньян. Испуганный гарнизон запер ворота и стрелял в своих, принимая их за испанцев. Это был еще один удобный случай смело броситься на Перпиньян и завладеть крепостью, которая не стала бы защищаться; но Рикардос, так как он только маскировал Бельгард и Ле-Бен, не считал нужным рисковать и возвратился вспять, чтобы начать осаду этих двух маленьких крепостей. Он захватил их около конца июня и опять пошел навстречу французским войскам, стоявшим почти там же, где и прежде. Итак, в июле довольно было бы одного неудачного сражения, чтобы лишить Францию Руссильона.

Но все эти бедствия усугубляются по мере того, как мы приближаемся к другому театру войны, более кровавому, более страшному. Вандея, вся в крови и огне, готовилась извергнуть за Луару грозную колонну. Мы оставили вандейцев воспламененными неожиданным успехом, овладевшими городом Туар и замышлявшими более обширные операции. Вместо того чтобы идти на Дуэ и Сомюр, они повернули к югу, думая освободить территорию страны возле Фонтене и Ниора. Лескюр и Ларошжаклен, которым была поручена эта экспедиция, двинулись на Фонтене 16 мая. Отраженные сначала

генералом Сандосом, они отступили довольно далеко; потом, пользуясь слепой самоуверенностью, внушенной республиканскому генералу этой первой победой, явились снова в количестве от 15 до 20 тысяч и завладели Фонтене; а затем вынудили Шальбо и Сандоса отступить к Ниору в величайшем беспорядке. Вандейцы нашли в городе оружие и большое количество зарядов и вообще обогатились новыми запасами, которые вместе со взятыми в Туаре давали им возможность продолжать войну с надеждой на новый успех. Лескюр издал прокламацию к жителям; в ней он грозил им ужаснейшими наказаниями, если они будут помогать республиканцам. Назначив дату следующего схода на 1 июня в окрестностях Дуэ, вандейцы, по своему обыкновению, на время разошлись, так как полевые работы требовали их присутствия дома.

В Нижней Вандее, где Шаретт властвовал один, еще не соотнося своих движений с прочими вождями, всё складывалось не так удачно. Канкло, командовавший в Нанте, удержался в Машкуле, но с трудом; генерал Булар, командовавший в Ле-Сабль-д'Олоне, благодаря своим дельным распоряжениям и дисциплине в армии занимал в течение двух месяцев Нижнюю Вандею и даже сохранил весьма отдаленные передовые посты в окрестностях Паллю. Однако 17 мая ему пришлось отступить, и он оказался в весьма затруднительном положении, потому что два его лучших батальона, состоявшие из граждан Бордо, хотели уйти, отчасти желая возвратиться к брошенным домам, отчасти из недовольствия по поводу 31 мая.

Полевые работы дали передышку как Верхней, так и Нижней Вандее; война в продолжение нескольких дней остановилась, и возобновление ее отложили до начала июня.

Генерал Беррюйе, первоначально командовавший всем театром войны, был замещен несколькими генералами, между которыми и разделили его обязанности. Одно отделение армии, стоявшее в Сомюре, Ниоре и Сабле, получило название Армии ларошельских берегов и было вверено Бирону; в Анжере, Нанте и на Нижней Луаре стояла Армия брестских берегов, командуемая генералом Канкло. Наконец, Армия шербурских берегов была отдана под начальство Вимпфена, впоследствии перешедшего на сторону инсургентов и сделавшегося главой кальвадосцев.

Бирон, переведенный с рейнской границы на итальянскую, а с

итальянской – в Вандею, неохотно отправился на этот возмутительный театр войны, где отвращение к ужасам междоусобной войны должно было погубить злосчастного генерала. Двадцать седьмого мая он прибыл в Ниор и нашел там армию в неописуемом беспорядке. Она состояла из только что набранных рекрутов, притом набранных силою и брошенных как попало в Вандею, необученных, без дисциплины, без провианта. Это всё были крестьяне или городские ремесленники, неохотно оставившие свои занятия и каждую минуту готовые разбежаться. Гораздо полезнее было бы большинство этих людей отослать домой: там отсутствие их было весьма чувствительно, а взбунтовавшийся край они только без пользы разоряли и объедали; кроме того, они распространяли всюду беспорядок и панический страх и нередко увлекали за собой в бегство регулярные отряды, которые, будучи предоставлены сами себе, дрались бы несравненно лучше. Все эти отряды являлись со своим начальником, величавшим себя генералом; такой генерал только и толковал, что о своей армии, никого не слушался и расстраивал все распоряжения высшего начальства. Около Орлеана составлялись отряды, прославившиеся в этой войне под названием орлеанских батальонов. Состояли они из конторщиков, приказчиков, лакеев, наконец, из молодых людей, высланных из Парижа вслед за Сантерром; они смешивались с войсками, взятыми из Северной армии, по пятидесяти человек с батальона. Но надо было еще сплотить эти разнородные элементы, найти для них одежду и оружие. Не было ничего, даже жалованья, а так как, даже выплачиваемое, оно было не одинаково для регулярных войск и добровольцев, то только подавало лишний повод к мятежу.

Чтобы привести эту толпу в порядок, Конвент отправлял комиссара за комиссаром. Комиссары эти перечили и мешали друг другу и генералам. Исполнительный совет тоже держал в тех местах своих агентов; в особенности министр Бушотт наводнил страну своими доверенными лицами из числа кордельеров и якобинцев. Эти господа постоянно ссорились с депутатами, душили народ реквизициями и обвиняли в деспотизме и предательстве военных начальников, старавшихся положить конец непокорности войск или помешать ненужным притеснениям. Из этого столкновения властей происходили ужаснейший хаос и совершенное безначалие. Бирон не мог добиться

повиновения и не смел двинуть свою армию из опасения, чтобы она не разбежалась в первый же день или не расхитила всего, что попадется на пути. Такова верная картина военных сил, которыми Республика располагала в это время в Вандее.

Бирон отправился в Тур и наметил вместе с комиссарами общий план действий – направить четыре колонны, каждую по 10 тысяч человек, от периферии к центру, как только удастся хоть сколько-нибудь организовать эту пеструю толпу. Четырьмя точками отправления были назначены мосты при Се, Сомюре, Шиноне и Ниоре. Пока же он поехал осматривать Нижнюю Вандею, полагая, что там опасность больше, чем в других местах. Он небезосновательно опасался того, чтобы между вандейцами не установились в конце концов сношения. Снабжение Маре войсками и боевыми припасами могло вконец испортить дело, а войну сделать нескончаемой. В море недавно заметили флот из десяти судов, и было известно, что бретонские эмигранты получили приказ собраться на островах Джерси и Гернси. Стало быть, всё подтверждало опасение Бирона и оправдывало его поездку в Нижнюю Вандею.

Тем временем вандейцы собрались 1 июня и назначили совет для управления краем, занятым их армиями. Какой-то авантюрист, выдававший себя за епископа Агрского и посланца папы римского, председательствовал в этом совете, благословляя знамена, служил торжественные обедни и молебствия, возбуждая этим энтузиазм вандейцев. Главнокомандующего они еще не избрали; каждый предводитель командовал поселянами своего участка; они только договорились заранее сообщать друг другу обо всех своих операциях. Эти предводители издали прокламацию от имени Людовика XVII и графа Прованского и именовали себя командующими королевско-католических армий. Они сначала задумали занять всю линию Луары и идти на Дуэ и Сомюр. Предприятие это было смелое, но при существовавшем тогда положении дел нетрудное. Седьмого июня вандейцы вступили в Дуэ, а 9-го уже были перед Сомюром. Как только выяснилось, в какую сторону они пошли, генерал Саломон, стоявший в Туаре с тремя тысячами солдат, получил приказ идти за ними следом и догнать. Но оказалось, что вандейцев слишком много; если бы генерал тронул их, они непременно истребили бы его. Поэтому он вернулся в

Туар, а оттуда в Ниор.

Войска, стоявшие в Сомюре, заняли позицию в окрестностях города, по дороге в Фонтеврё, в укреплениях Нантильи и на высотах Бурнана.

Вандейцы приближаются, атакуют колонну Бертье, их удар отражает удачно действующая артиллерия, но они возвращаются в большем числе; тогда Бертье подается и его ранят. Пешие жандармы, два орлеанских батальона и кирасиры еще держатся, но последние теряют своего полковника, и тут начинается полное поражение, войска приходится отводить назад в крепость, куда вандейцы проникают вслед за ними. Вне ограды остается еще генерал Кустар, командующий войсками на Бурнанских высотах. Он видит себя отрезанным от республиканской армии и смело решается пробиться в Сомюр, напав на вандейцев с тыла. Для этого надо перейти мост, на котором победители только что поставили батарею. Храбрый генерал приказывает корпусу кирасиров атаковать батарею.

— Куда вы нас посылаете? — восклицают некоторые.

— На смерть, — отвечает он, — но благо Республики того требует.

Кирасиры бросаются вперед, но орлеанские батальоны разбегаются. Их трусость делает героизм остальных бесполезным, и Кустар, не имея возможности войти в Сомюр, уходит в Анжер.

Сомюр был занят 8 июня, а на другой день сдалась и крепость. Вандейцы, завладев всем течением Луары, могли теперь идти либо на Нант, либо даже на Ле-Ман и Париж. Бирон между тем находился в Нижней Вандее, где думал занятием берегов предотвратить главные опасности.

Из вышесказанного видно, что беды рушились на Францию со всех сторон. Союзники были весьма близки к взятию Валансьена, Конде, Майнца, главных оплотов ее границ. Восстание Вогезов и Юры открывало неприятелю прямой путь с Рейна. Итальянская армия, терпя поражения от пьемонтцев, имела за собой восставший юг и английские эскадры. Испанцы, ставшие перед французским лагерем под Перпиньяном, каждую минуту могли взять его с боя и завладеть Руссильоном. Мятежники

Лозерских гор готовы были подать руку вандейцам на берегу

Луары, что и было целью зачинщиков этого восстания.

Союзникам стоило только пренебречь пограничными крепостями и идти прямо на Париж – они отбросили бы Конвент за Луару, где его приняли бы вандейцы. Австрийцы и пьемонтцы могли совершить вторжение с Приморских Альп, уничтожить французскую армию и победителями пройти вверх через весь юг. Испанцы имели возможность пробраться в Вандею через Байонну или смело идти к Лозерским горам и поднять все южные департаменты. Наконец, англичане могли высадить войска в Вандее и вести их из Сомюра на Париж.

Но и внешние и внутренние враги Конвента не имели того, что одно обеспечивает победу в революционной войне. Союзники действовали без согласия и под видом священной войны носились с самыми себялюбивыми замыслами. Австрийцам хотелось получить Валансьен, прусскому королю – Майнц, англичанам – Дюнкерк, пьемонтцы стремились вернуть себе Шамбери и Ниццу; испанцы, всех менее заинтересованные лично, все-таки подумывали о Руссильоне; наконец, англичане гораздо более заботились о том, чтобы покрыть Средиземное море своим флотом и поживиться каким-нибудь портом, нежели о том, чтобы толком помочь Вандее. Кроме этого поголовного эгоизма, мешавшего союзникам смотреть далее своей непосредственной выгоды, они все воевали робко и методически и старой военной рутинной защищали рутину политическую.

Что касается вандейцев, людей простых, без рассуждений восставших против духа революции, они дрались как храбрые, но ограниченные вольные стрелки. Федералисты, рассеянные по всей Франции, могли действовать лишь неуверенно и медленно, потому что им приходилось сноситься через большие расстояния, кроме того, они всё же с робостью поднимались против центральной власти, и они не горели страстью. Они втайне упрекали себя за то, что устраивают вредную для Франции диверсию, и начинали сознавать, что не время спорить о том, по чьему образцу – Петиона и Верны) или Робеспьера и Дантона – служить революции, когда вся Европа надвигается на отечество, и при таких обстоятельствах остается только один способ служения. Вокруг них шумели фракции, как бы указывая на их ошибку. Приверженцы Учредительного собрания, агенты бывшего двора, клеветы прежнего духовенства – словом, все сторонники

неограниченной власти зашевелились разом, и федералистам стало ясно до очевидности, что всякое сопротивление революции выгодно, главным образом, врагам свободы и нации.

Этим-то причинам Конвент впоследствии был обязан своим торжеством над внутренними мятежами и Европой. Одни монтаньяры, воодушевленные высокой страстью и единой мыслью – о спасении революции, дошедшие до той экзальтации духа, при которой открываются средства самые новые и смелые, не кажущиеся ни слишком рискованными, ни слишком дорогими, должны были удивить и побороть неприятелей и задушить все фракции, не имевшие ни согласия, ни определенной цели.

Конвент, поставленный в такие исключительные обстоятельства, не растерялся. Пока крепости и укрепленные лагеря на время останавливали неприятеля на различных границах, Комитет общественной безопасности день и ночь трудился над преобразованием армий, укомплектованием их посредством постановленного еще в марте набора в триста тысяч человек и отправкой главнокомандующим инструкций, денег и припасов. Он же вступал в переговоры со всеми местными администрациями, удерживавшими припасы для армий, для федералистов, и убеждал их великими словами: общее благо.

Пока эти средства применялись относительно внешнего врага, Конвент принимал не менее действенные меры против врага внутреннего. Первое спасение от неприятеля, сомневающегося в своих силах, – не сомневаться в своих. Конвент так и поступил. Мы уже видели, какие декреты он издал при первом признаке восстания. Многие города не уступили, но депутатам ни на минуту не приходило в голову соглашаться на сделку с теми из них, действия которых решительно приняли характер мятежа. Когда лионцы отказались отослать в Париж арестованных патриотов, депутаты приказали своим комиссарам при Альпийской армии применить силу, не смущаясь ни трудностями, ни опасностями, грозившими комиссарам, например, в Гренобле, где у них были впереди пьемонтцы, а сзади – все мятежники Роны и Изера. Конвент предписал им усмирить Марсель, всем администрациям дал только трехдневный срок для отмены всех двусмысленных постановлений, наконец, послал в Вернон жандармов и несколько тысяч

парижан с приказанием немедленно укротить кальвадосских инсургентов, наиболее близко подошедших к столице.

Великое дело конституции, на которую возлагалось столько надежд, тоже не было забыто, и восьми дней хватило на эту работу, которая, впрочем, была больше знаменем, нежели настоящим законодательным актом. Его редактировал Эро де Сешель. Согласно этому проекту каждый француз в двадцать один год становился гражданином и мог пользоваться своими политическими правами без всяких цензовых условий. Граждане избирали по одному депутату на каждые пятьдесят тысяч человек. Депутаты составляли собрание, но могли заседать лишь в течение одного года. Они издавали декреты обо всем, что касалось неотложных нужд государства, и декреты эти надлежало немедленно исполнять. Они сочиняли законы, и эти законы утверждались тогда только, когда первичные собрания не протестовали до истечения данного срока. Первичные собрания для новых выборов сходились сами собою, без предварительного созыва, первого мая. Эти собрания могли требовать особых конвентов для изменения какого-либо конституционного акта. Исполнительная власть вверялась двадцати четверем депутатам, по выбору особых избирателей; это были единственные выборы, производившиеся не непосредственно самим народом: первичные собрания назначали выборщиков, выборщики – кандидатов, а Законодательное собрание уже из этих кандидатов отделяло двадцать четыре человека. Они, в свою очередь, назначали военных начальников, министров, агентов всякого рода и брали их не из своей среды. Они обязаны были руководить ими, наблюдать за ними и несли за них постоянную ответственность. Из исполнительного совета каждый год выбывала половина.

Эта необыкновенно сжатая демократическая конституция, низводившая правительственный сан до простого кратковременного комиссариата, оставила, однако, нетронутой одну статью старых порядков – общины, не изменив ни их границ, ни их атрибутов. Выказанной ими энергией они приобрели право быть сохраненными на этой *tabula rasa*, на которой не удержался ни один след прошлого.

Проект был представлен 10 июня и утвержден 21-го, почти без прений, и в ту же самую минуту пушки возвестили об этом столице и со всех сторон раздались радостные крики. Документ был отпечатан во

многих тысячах экземпляров для рассылки по всей Франции.

Читатели, верно, не забыли юного Варле, большого охотника ораторствовать на площадях; молодого лионца Леклерка, до такой степени неистового в своих речах у якобинцев, что даже сам Марат относился к нему с подозрением; наконец, Жака Ру, который с такой жестокостью обошелся с Людовиком XVI, когда несчастный государь хотел вручить ему свое духовное завещание. Все эти люди отличились во время последнего восстания и пользовались большим влиянием у кордельеров и в комитете епископского дворца. Им не понравилось, что в конституции нет ни слова о скупщиках хлеба. Они составили по этому поводу петицию, собрали к ней на улицах подписи и побежали возмущать кордельеров, говоря, что конституция не полна, так как в ней нет ни одного положения против величайших врагов народа. Лежандр тщетно противился этому движению: его только обозвали умеренным, и петиция, одобренная обществом, была подана Конвенту.

Вся Гора пришла в негодование. Робеспьер и Колло д'Эрбуа вспылили, заставили Конвент отвергнуть петицию и сами отправились в Клуб якобинцев, чтобы растолковать всю опасность подобных злокозненных преувеличений, способных лишь ввести народ в заблуждение. «Конституция настолько популярна, как еще не бывало, — сказал Робеспьер, — она вышла из рук собрания некогда контрреволюционного, но ныне очищенного от людей, мешавших его действиям. Это собрание создало прекраснейший, популярнейший труд, когда-либо дарованный французам.

И вдруг какие-то люди, прикрываясь плащом патриотизма, хвастаясь, будто они больше нас любят народ, стравливают граждан всех сословий и хотят доказать, что конституция, долженствующая быть для Франции новым знаменем, не годится! Не доверяйте этим козням, бойтесь этих людей, это бывшие священники в союзе с австрийцами! Берегитесь новой личины, которой аристократы теперь станут прикрываться! Я предвижу в будущем новое злодеяние; но мы его разоблачим, мы раздавим врагов народа, под какой бы личиной они ни явились!» Колло д'Эрбуа говорил с таким же увлечением; он уверял, что враги Республики хотят иметь возможность сказать департаментам: «Вы видите, Париж сочувствует речам Жака Ру!»

Единодушный восторг наградил обоих ораторов. Якобинцы,

кичившиеся тем, будто с революционной страстностью умеют соединять политичность, а с энергией – осторожность, послали депутацию к кордельерам. Колло д'Эрбуа отправился с нею в качестве оратора. Он был встречен с почетом, подобавшим одному из знаменитейших членов Горы и Клуба якобинцев, и с заявлениями глубокого почтения. Петицию забрали назад, Жак Ру и Леклерк были исключены из общества, Варле получил прощение лишь из внимания к его юным летам, а Лежандру принесли извинения за не совсем приличные выражения, произнесенные на его счет в последнем заседании. Итак, конституция была без изменений разослана всей Франции для утверждения первичными собраниями.

Следовательно, Конвент подавал департаментам одной рукой конституцию, а другой – декрет, дававший им три дня сроку, чтобы отменить свои самовластные распоряжения. Конституция снимала с Горы всякое обвинение в узурпаторских стремлениях, доставляла предлог примкнуть к оправданной от подозрений власти, а декрет о трехдневном сроке не позволял тратить время на раздумья и принуждал покориться правительству.

Некоторые департаменты действительно смирились, но многие остались при своих намерениях. Впрочем, эти последние обменивались адресами, посылали друг другу депутации, словом, провоцировали одни других, чтобы начать действовать. Расстояния не позволяли сноситься быстро и составить одно целое. Кроме того, отсутствие революционного гения мешало найти средства, нужные для удачи. Как бы ни усердствовали массы, они никогда не бывают готовы к жертвам: надо, чтобы их принуждали к таковым страстные борцы. Чтобы поднять ленивых деревенских буржуа, двинуть их, заставить давать деньги, спешить, требовались энергичные, почти насильственные средства. Но жирондисты, осуждавшие у монтаньяров именно эти средства, не могли сами прибегать к ним. Бордосским торговцам казалось, что они совершили невесть какой подвиг, крупно поговорив в секциях; но ни один не вышел за городские стены. Марсельцы, имея характер несколько более живой, послали в Авиньон шесть тысяч человек, но они не сами составили эту маленькую армию, а наняли для этого людей. Лионцы выжидали соединения прованцев с лангедокцами; нормандцы

как будто поостыли; одни бретонцы не изменили себе и сами заполнили отряды своей маленькой армии.

В Кане, главном центре восстания, царило большое волнение. Колонны, двинувшиеся из этого пункта, первыми должны были встретиться с войсками Конвента, и понятно, что это первое столкновение было чрезвычайно важным. Бежавшие депутаты окружали Вимпфена, жаловались на его медлительность и начинали подозревать в нем роялиста. Наконец Вимпфен, которого торопили со всех сторон, приказал Пюизе вести свой авангард 13 июля в Вернон и объявил, что сам выступил со всеми своими силами. Действительно, 13-го числа Пюизе, двинувшись на Пасси, встретил парижских новобранцев, подкрепленных несколькими сотнями жандармов. Последовало несколько выстрелов с той и другой стороны. На следующий день федералисты заняли Пасси, и счастье слегка склонилось на их сторону. Но затем войска Конвента явились уже с пушками. После первого же залпа федералисты в беспорядке отступили до Эврё. Бретонцы, в силу большей своей стойкости, отступали стройными рядами, но всё же были увлечены остальными.

Это известие наполнило Кальвадос страхом, и администрации начали раскаиваться в своих неосмотрительных поступках. Как только весть об этом поражении дошла в Каи, Вимпфен собрал депутатов, предложил им укрепиться в городе и упорно защищаться. Он даже стал понемногу высказываться откровеннее и дал им понять, что видит лишь одно средство поддерживать борьбу — запастись могущественным союзником, и что, если угодно, он им такового доставит. При этом генерал прозрачно намекнул на англичан и присовокупил, что считает республику невозможной, а возвращение к монархии в его глазах не станет большим несчастьем. Жирондисты энергически отвергли подобные предложения и высказали искреннейшее негодование. Некоторые из них начали тогда только сознавать свою неосторожность и поняли, как опасно поднимать какое бы то ни было отдельное знамя, так как все фракции тотчас же сбегаются к нему с целью уничтожить Республику. Однако они не потеряли надежду и стали помышлять об удалении в Бордо, где считали возможным вызвать движение в истинно республиканском духе и с большим успехом, нежели в Кальвадосе и Бретани.

Жирондисты вышли из Кана с бретонскими отрядами, возвращавшимися домой, намереваясь в Бресте сесть на корабль. Они оделись солдатами и смешались с рядовыми финистерского батальона. После поражения близ Вернона им приходилось скрываться, потому что все местные администрации, спеша покориться и стараясь всячески заявить Конвенту о своем усердии, скорее всего, арестовали бы их. Таким способом жирондисты прошли часть Нормандии и Бретани, среди постоянных опасностей и ужасных страданий, и спрятались в окрестностях Бреста, выжидая случая отправиться в Бордо. Барбару, Петион, Салль, Луве, Мельян, Гюаде, Кервелеган, Торса, Жире-Дюпре, сотрудник Бриссо, Марчена, молодой испанец, искавший свободы во Франции, и драматург Оноре Риуф, из чистого энтузиазма примкнувший к жирондистам, – вот имена этих достойных патриотов, гонимых как изменники, тогда как они вполне готовы были отдать жизнь за отечество и думали, что служат ему даже теперь, подвергая его опасности.

В Бретани, в западных департаментах и в департаментах верхнего бассейна Луары администрации поспешили смириться, чтобы не быть объявленными вне закона. Конституция послужила удобным к тому предлогом. Конвент, говорили везде, явно не намерен ни увековечивать себя, ни забирать власть, если дает конституцию такую простую, какой еще не видели. Тем временем муниципалитеты, в которые входили монтаньяры, и якобинские клубы обнаруживали удвоенную энергию, и честные приверженцы Жиронды уступали революции, против которой не в силах были бороться. Тулуза старалась оправдать себя. Бордосцы, действовавшие более определенно, не смирились формально, но отозвали свой авангард и перестали говорить о намерении идти на Париж. Еще два важных события прекратили опасности, грозившие западу и югу, – защита Нанта и поражение восставших в Лозерских горах.

Мы видели выше, что вандейцы, завладев Сомюром и течением Луары, могли бы совершить против Парижа попытку, которая, вероятно, удалась бы, так как Ла-Флеш и Ле-Ман не имели никаких средств к обороне. Молодой вождь Боншан, который один видел несколько далее Вандеи, хотел бы совершить набег на Бретань, чтобы приобрести хоть один опорный пункт на океане, и тогда уже идти на

Париж. Но у его товарищей не хватало военного гения, чтобы понять его. По их мнению, следовало идти прежде всего на Нант: это была для них настоящая столица, и дальше нее они не видели ничего. Впрочем, по некоторым соображениям, в самом деле следовало поступить таким образом: через Нант открывалось сообщение с морем, обеспечивалось обладание всем краем, и ничто не мешало вандейцам по взятии этого города пуститься на самые смелые предприятия. К тому же это не слишком удаляло солдат от дома – соображение весьма важное для поселян, которые не любили терять из виду колокольню своей деревни. Шаретт, прочно владея Нижней Вандеей, устроил ложную демонстрацию напротив Сабля, овладел Машкулем и оказался у ворот Нанта. Он никогда не договаривался с вождями Верхней Вандеи, но теперь предложил им прийти к соглашению. Шаретт обещал атаковать Нант с левого берега, пока главная армия атакует его с правой стороны, и казалось, что трудно не одержать победы при таком стечении средств.

Вандейцы очистили Сомюр, спустились к Анжеру и приготовились идти на Нант вдоль правого берега Луары. Армия их значительно уменьшилась, потому что многие поселяне не хотели пускаться в такую продолжительную экспедицию; однако она всё еще составляла приблизительно тридцать тысяч человек. Они избрали главнокомандующим извозчика Кателино, чтобы польстить поселянам и привязать их к себе сильнее. Лескюр, раненый, вынужден был остаться, чтобы устроить новый набор, держать войска в Ниоре на почтительном расстоянии и не дать помешать осаде.

Между тем комиссия представителей, заседавшая в Туре, просила у всех помощи и торопила Бирона, чтобы он скорее постарался нагнать вандейцев с тыла. Не довольствуясь отозванием Бирона, представители сами распорядились в его отсутствие и послали в Нант войска, которые им удалось набрать в Сомюре. Бирон тотчас ответил, что согласен на движение, исполненное без его приказа, но вынужден стеречь Ле-Сабль-д'Олон и Ла-Рошель, местности гораздо более важные, нежели Нант; что отряды департамента Жиронда, лучшие из всех, хотят уходить и надо их заменить другими; что если он только двинет армию с места, она разбежится и начнет грабить; что, стало быть, он может только, и то с трудом, отделить от нее три тысячи человек регулярного войска, а идти на Сомюр и вообще углубиться в бунтующую страну с такими

ничтожными силами было бы безумием. В то же время Бирон написал Комитету общественной безопасности, что просит отставки, так как представители присваивают себе военное начальство. Комитет ответил, что генерал совершенно прав: представители могут посоветовать или предложить ту или другую операцию, но он один имеет право решить, какие меры принять для сохранения Нанта, Ла-Рошели и Ниора. Бирон, однако, приложил все усилия, чтобы составить себе хоть и небольшую, но более подвижную армию, с которой мог бы идти на помощь осажденному городу.

Вандейцы тем временем выступили из Анжера 27-го числа и 28-го уже были в виду Нанта. Они послали городу грозное требование сдаваться, на которое город не обратил никакого внимания, и приготовились к атаке. Атака должна была последовать с обоих берегов на следующий же день, в два часа утра. Канкло имел при себе всего пять тысяч человек регулярных войск и приблизительно столько же национальных гвардейцев, и с этими малыми силами ему приходилось занимать и защищать громадное пространство, пересекаемое несколькими рукавами Луары. Он сделал наилучшие по обстоятельствам распоряжения и своим воодушевлением придал большую бодрость гарнизону.

Шаретт начал атаку в условленный час, со стороны мостов. Но Кателино, который действовал на правом берегу и которому выпала самая трудная часть экспедиции, был остановлен постом, находившимся в Ниоре, где несколько сотен человек защищались самым героическим образом. Это промедление увеличило трудность атаки. Однако вандейцы рассыпались за изгородями и садами и наступали на город с весьма близкого расстояния. Канкло, и Бейссер, комендант крепости, везде поддерживали республиканские войска. Кателино, со своей стороны, удвоил усилия и уже зашел далеко в одно из предместий, когда был смертельно ранен. Его люди в испуге отступили и унесли своего вождя на плечах. С этой минуты атака стала слабее. После восемнадцатичасового сражения вандейцы разошлись, крепость была спасена.

Все республиканские войска в этот день вели себя отлично. Национальная гвардия соперничала с линейными войсками, и сам мэр был ранен. На другой день вандейцы сели в лодки и уплыли. С этой

минуты им уже более не представлялось случая провести крупную операцию; они едва могли надеяться удержаться в своем собственном крае. В это самое время генерал Бирон, спеша на помощь Нанту, пришел в Анжер со всеми войсками, какие мог собрать, а Вестерман приближался к Вандее со своим Германским легионом.

Итак, главная опасность с этой стороны миновала. Не менее важное событие совершалось в Лозерских горах – усмирение тридцати тысяч инсургентов, которые легко могли войти в сношения с вандейцами и даже с испанцами в Руссильоне.

По счастливейшей случайности депутат Фабр, посланный в армию Восточных Пиренеев, оказался на месте именно в момент восстания; он обнаружил здесь ту же энергию, которая побудила его впоследствии искать смерти в Пиренеях. Фабр собрал все ведомства и власти, вооружил всё население, призвал все войска, сколько их было в окрестностях, поднял Канталь, Верхнюю Луару и Пюи-де-Дом, и мятежники, преследуемые со всех сторон, были рассеяны и отброшены в леса, а предводитель их, бывший член Учредительного собрания Шаррье, попал в руки победителям. Благодаря бумагам, найденным при нем, выяснилось, что его план был связан с большим заговором, раскрытым за полгода перед тем в Бретани и не состоявшимся из-за смерти главы его, Армана де Ла Руэри. Этой победой обеспечивалось спокойствие в горах центральной и южной Франции и безопасность тыла Пиренейской армии, а долина Роны рисковала нападением возмущившихся монтаньяров уже только с одного бока.

Неожиданная победа над испанцами в Руссильоне довершила покорение юга. Мы уже видели выше, что испанцы, сначала двинувшись в долины Тека и Те, потом несколько попятились, чтобы взять Бельгард и Ле-Бен, а затем снова вернулись и стали перед французским лагерем. После долгого наблюдения они атаковали лагерь 17 июля. У французов было едва 12 тысяч солдат, все новички, у испанцев же насчитывалось от 15 до 16 тысяч старых опытных воинов. Желая оцепить французов, Рикардос слишком раздробил атаку. Молодые французские добровольцы, поддерживаемые генералом Барбантаном и храбрым Дагобером, твердо держались в своих укреплениях, и, приложив нечеловеческие усилия, испанцы, по-

видимому, собрались отступить. Дагобер, выжидавший этой минуты, бросился на них, но один из его батальонов вдруг рассыпался, и пришлось вести его назад в беспорядке. К счастью, Барбантан и де Флер это увидели, поспешили на помощь и с такой силой бросились на неприятеля, что отбросили его далеко. Это сражение 17 июля значительно подбодрило французских солдат и заставило их поверить в свои силы.

Со стороны Альп Дюбуа-Крансе, поставленный между недовольной Савойей, колебавшейся Швейцарией, восставшими Греноблем и Лионом, действовал энергично, и счастье благоприятствовало ему. В то же время, когда секционные власти давали при нем федералистскую присягу, он брал противоположную присягу с клуба и своей армии и выжидал удобной минуты, чтобы начать действовать. В перехваченной переписке городских властей генерал нашел доказательство их стараний вступить в коалицию с Лионом. Тогда он прямо перед населением Гренобля обвинил власти в намерении подкопаться под Республику с помощью междоусобной войны и, пользуясь минутной вспышкой, добился того, что город сменил правительство и тотчас возвратил власть прежнему муниципалитету.

Вполне спокойный с этой минуты насчет Гренобля, Дюбуа-Крансе занялся преобразованием Альпийской армии, чтобы сохранить Савойю и наблюдать за исполнением декретов Конвента между Лионом и Марселем. Он переменил состав всех главных штабов, восстановил порядок, разместил по полкам рекрутов, полученных от набора трехсот тысяч человек, и, хотя департаменты Лозер и Верхняя Луара использовали свой контингент для подавления восстания в горах, постарался восполнить этот пробел реквизициями. Приняв эти предварительные меры, Дюбуа-Крансе отправил генерала Карто с несколькими тысячами пехоты и легионом, набранным в Савойе и названным Аллоброгским^[1], в Баланс, с приказом занять течение Роны и препятствовать соединению марсельцев с лионцами. Карто, выступив в первые дни июля, быстро прошел в Баланс, оттуда к Сент-Эспри, где побил отряд жителей Нима (одних разогнал, других взял к себе в армию) и завладел обоими берегами Роны. Тотчас вслед за этим он стал

наступать на Авиньон, где незадолго до того расположились марсельцы.

Пока всё это происходило в Гренобле, Лион, продолжая заявлять о своей непоколебимой верности Республике и о намерении сохранить ее единство и нераздельность, все-таки не повиновался декрету Конвента, требовавшего перевода в Париж некоторых арестованных патриотов. Лионская комиссия и лионский главный штаб наполнялись тайными роялистами. Рамбо, председатель комиссии, и Преси, начальник департаментского войска, были втайне преданы делу эмигрантов. Введенные в заблуждение опасными наговорами, несчастные лионцы готовы были окончательно порвать с Конвентом, и конечно, на этот последний город, упорствовавший в непокорстве, обрушилась бы вся тяжесть кары, назначаемой побежденному федерализму. А лионцы, между тем, вооружались в Сент-Этьене, собирая дезертиров всякого рода, но всё еще стараясь не попадаться на открытом бунте: они пропускали обозы, посылаемые к границам, и освободили трех депутатов, арестованных соседними общинами.

Юра несколько успокоилась. Депутаты Бассаль и Гарнье, находившиеся там с полуторатысячным войском, тогда как их окружали пятнадцать тысяч инсургентов, отвели свою незначительную армию и старались вступить в переговоры. Это им удалось, и непокорные администрации обещали принять конституцию и тем прекратить восстание.

Со 2 июня прошло около двух месяцев – наступил конец июля. Валансьен и Майнц всё еще находились в опасности, но Нормандия, Бретань и почти все западные департаменты смирились. Нант только что избавился от вандейцев, бордосцы не смели выйти из стен своего города, Лозер покорился, Пиренеи пока были защищены, Гренобль замирен, Марсель отрезан от Лиона удачной операцией Карто, а Лион, хоть и не повиновался декретам, но и не осмеливался объявить войну. Стало быть, авторитет Конвента был в провинциях почти восстановлен. С одной стороны, медлительность, отсутствие общего плана, полумеры, с другой – энергия Конвента, единство его могущества, его привычка повелевать, его политика, то мягкая, то крутая, были причиной торжества Горы над этим последним усилием жирондистов. Этому результату можно только радоваться, потому что в такую минуту, когда

на Францию со всех сторон готовились нападения, повелевать были достойны, несомненно, сильнейшие. Победенные федералисты сами произнесли себе приговор собственным изречением: «Честные люди никогда не умели быть энергичными».

Пока жирондисты повсеместно слабели, совершилось событие, возбуждавшее против них ужасную ярость.

В Кальвадосе жила в это время девушка двадцати пяти лет, красавица, характера твердого и независимого. Ее звали Шарлотта Корде д'Армон. Она была безукоризненно воспитана и образована, но ум ее был чрезвычайно деятелен и неспокоен. Чтобы жить свободнее, Шарлотта оставила родительский дом и переехала в Кан, к одной приятельнице. Отец ее когда-то писал политические статьи, в которых требовал уважения к привилегиям своей провинции. Шарлотта, подобно многим женщинам того времени, воспылала страстью к революции и, по примеру госпожи Ролан, была упоена представлением о республике, покорной законам, – неистощимом роднике доблести и добродетелей. Ей казалось, что жирондисты стремятся осуществить ее мечту, а препятствуют этому монтаньяры, и она решилась отомстить за своих излюбленных ораторов.

В Кальвадосе начиналась война. Шарлотта подумала, что смерть главы анархистов, совпав с восстанием департаментов, может решить дело в пользу последних. Тогда она решилась посвятить спасению отечества свою жизнь, которую не наполняла любовь к мужу или детям. Она обманула отца, написав, что решила перебраться в Англию, так как во Франции с каждым днем становится страшнее жить. Перед своим отъездом в Париж Шарлотта пожелала встретиться в Кане с депутатами, к которым питала такую восторженную преданность. Предлогом могла послужить просьба, обращенная к Барбару, насчет рекомендательного письма к министру внутренних дел: Шарлотте нужно было хлопотать о бумагах одной своей приятельницы, бывшей канониссы. Барбару дал ей письмо к Дюперре, другу Тара. Его товарищи, которые тоже видели девушку и слышали, как она выражает свою ненависть к монтаньярам, были поражены ее красотой и умом, об истинных ее намерениях никто не подозревал.

Приехав в Париж, Шарлотта Корде не сразу решила, кого именно выбрать в качестве жертвы. Дантон и Робеспьер, если судить по их

громкой славе, заслуживали ее выбора, но Марат казался провинциям опаснее всех, его считали главой анархистов. Шарлотта сначала хотела убить его среди друзей, на заседании Горы, но это оказалось невозможно, потому что Марат по состоянию здоровья не мог более являться в Конвент. Читатели, вероятно, помнят, что он добровольно отказался на время от должности; две недели спустя, однако, видя, что дело жирондистов еще не закрыто, Марат прекратил эту комедию и снова появился на своем месте. Но скоро жестокая болезнь – одна из тех, что во время революций нередко пресекают бурные жизни, пощаженные эшафотом, – принудила его снова удалиться и уже не выходить из дома.

Впрочем, и это еще не могло унять его всеохватной деятельности. Он проводил большую часть дня в ванне, с бумагой и перьями, редактировал свой листок, писал письма Конвенту. В последнем письме он грозил, что если оно не будет прочитано, он велит себя принести, больного, на кафедру и прочтет его сам. В этом письме Марат обвинял двух генералов, Кюстина и Бирона. «Кюстин, – писал он, – переведенный с Рейна на север, ведет себя точь-в-точь как Дюмурье: злословит насчет анархистов, составляет главные штабы согласно своей фантазии, некоторые батальоны вооружает, а другие разоружает и размещает их сообразно своим планам, без сомнения больше подходящим заговорщику. (Мы видели выше, что Кюстин воспользовался осадой Валансьена, чтобы преобразовать в Лагере Цезаря Северную армию.) Что же касается Бирона, то это старый придворный лакей. Он притворяется, будто ужасно боится англичан, чтобы оставаться в Нижней Вандее и не отнимать у неприятеля Верхней Вандеи. Он явно ждет только высадки, чтобы самому присоединиться к англичанам и выдать им нашу армию».

Война в Вандее, по словам Марата, должна была уже завершиться, ведь рассудительному человеку довольно раз поглядеть, как дерутся вандейцы, чтобы найти способ истребить их. Сам он, Марат, владеющий и военной наукой, изобрел безошибочный маневр и, если бы его здоровье было получше, непременно отправился бы на берега Луары, чтобы самому привести план в исполнение. Надо арестовать обоих генералов и затем принять одну, последнюю, решительную меру, которая стала бы ответом всем клеветам и безвозвратно связала всех

депутатов с Революцией: «умертвить всех пленных Бурбонов и оценить головы Бурбонов беглых. После этого, по крайней мере, одних не будут больше обвинять в стремлении возвести Орлеанов на престол, а другие лишатся возможности примириться с семейством Капетов».

Марат оставался верен себе: всё то же тщеславие, то же неистовство, та же готовность опередить народные опасения. Кюстину и Бирону действительно в скором времени предстояло сделаться предметами общей ярости, и все-таки честь инициативы и тут принадлежала Марату, больному, умиравшему!

Стало быть, Шарлотте Корде надо было идти к нему домой, чтобы добраться до него. Сначала она отдала письмо Дюперре, исполнила данное ей поручение и тогда уже занялась исключительно своим делом. Она спросила у извозчика адрес Марата, пошла к нему, но не была принята. Тогда она ему написала, что приехала из Кальвадоса и имеет сообщить ему важные новости. Этого было довольно. Тринадцатого июля она явилась в дом Марата в восемь часов вечера. Экономка, молодая женщина лет двадцати семи, с которой он жил как с женой, сомневалась, нужно ли ее принимать, но Марат, сидящий в ванне, услышал голос Шарлотты и велел впустить ее. Оставшись с ним наедине, девушка рассказала всё, что видела в Кане, слушала его, разглядывала, не решаясь еще нанести удар. Марат с жадностью расспрашивал о депутатах, находящихся в Кане, и с ее слов записывал их имена, присовокупляя:

– Хорошо, всех на гильотину...

– На гильотину!.. – в негодовании повторяла молодая девушка и в тот же миг, выхватив из-за лифа нож, вонзила его Марату под левую грудь, до самого сердца.

– Ко мне! – успел он крикнуть. – Ко мне, милый друг мой!



После убийства

Экономка прибежала; рассыльный, складывавший листки в другой комнате, тоже; они нашли Марата плавающим в своей крови, а Шарлотту – спокойной, с просветленным лицом, стоящей неподвижно. Рассыльный ударом стула свалил ее на пол, экономка топтала ее ногами. На шум сбежался народ; в одну минуту весь квартал поднялся на ноги. Шарлотта встала с пола и с достоинством вынесла все поругания и побои. Несколько членов секции, тоже привлеченные шумом, были так поражены ее красотой, мужеством и спокойствием, с которым она созналась в своем поступке, что не дали ее растерзать на месте и увели в тюрьму, где она продолжала с той же уверенностью подтверждать свою вину.

Это убийство, как и убийство Лепелетье, произвело необыкновенно сильное впечатление. Тотчас был пущен слух, что это жирондисты подослали убийцу. То же говорилось по поводу Лепелетье, то же всегда будет говориться во всех подобных случаях. Враги арестованных депутатов затруднялись отыскать явные признаки их преступлений: восстание департаментов послужило первым предлогом к гибели их в качестве соумышленников бежавших депутатов, а смерть Марата

довершила меру их мнимых злодеяний и доставила недостающие причины к отправлению их на эшафот.

Монтаньяры, якобинцы, в особенности кордельеры, которые хвалились тем, что первыми могли назвать Марата своим, более других были с ним на коротке и никогда от него не отрекались, демонстрировали большое горе. Решено было похоронить Марата в Саду кордельеров, под теми самыми деревьями, под которыми он вечером читал свой листок народу. Конвент постановил в полном составе присутствовать на похоронах. Якобинцы предложили воздать Марату посмертные почести, положить его в Пантеон, хотя по закону не дозволялось класть туда покойника ранее двадцати лет по смерти. Еще было предложено всему городу участвовать в погребальном шествии; купить станки «Друга народа», чтобы они не попали в недостойные руки; поручить выпускать газету людям, хоть в чем-то напоминающим Марата энергией и бдительностью.



Шарлотта Корде

Робеспьер, которому хотелось придать своим якобинцам величавость, для чего он постоянно удерживал их порывы, и, кроме того, обратить на себя внимание, слишком поглощенное мучеником, сказал по этому случаю короткую речь: «Если я сегодня говорю, то потому, что имею на это право. Речь идет о кинжалах – они ждут меня, я заслужил их, и если Марат пал прежде меня, то только по милости случая. Поэтому я имею право вмешаться в этот спор и пользуюсь этим правом, чтобы выразить удивление: ваша энергия истощается в пустом декламаторстве, вы думаете только о суетных торжествах!.. Лучшее средство отмстить за Марата – немилосердно преследовать его врагов. Откажитесь от бесполезных разговоров и почтите память Марата более достойным его образом». Эти слова прекратили всякие споры, и никто более не думал о сделанных предложениях.

Всё же якобинцы, кордельеры, Конвент, все народные общества и секции приготовились воздать Марату великолепные почести. Тело было выставлено в продолжение нескольких дней, лежало открытое, так что рана была всем видна. Народные общества и секции процессиями приходили осыпать гроб цветами. Каждый президент при этом говорил речь. Секция Республики пришла первой. «Он скончался! – воскликнул президент. – Умер друг народа!.. Умер от руки убийцы!.. Не будем говорить похвальные слова над бездыханными останками. Похвальное слово ему – это его жизнь, его сочинения, его кровавая рана, его смерть, наконец!.. Гражданки! Сыпьте цветы на бледное тело Марата! Марат был нашим другом, другом народа, для народа жил он, для народа и умер!»

После этих слов молодые девушки обходят гроб и начинают бросать на тело цветы. Оратор продолжает: «Но довольно стенаний! Внемлите великому духу Марата; он пробуждается. “Республиканцы, – говорит он вам, – перестаньте лить слезы! Республиканцам подобает пролить не более одной слезы и затем думать о благе отечества. Не меня хотели убить, а Республику; не за меня должно мстить, а за Республику, за народ, за вас!”»

В то же время процесс Шарлотты Корде шел со всей быстротой революционных судебных форм. К делу были привлечены два депутата: Дюперре, который водил ее к министру внутренних дел, и Фоше, бывший епископ, вызывавший подозрения за связи с правой стороной; какая-то женщина, помешанная или просто озлобленная до предела, уверяла, будто видела его на трибунах с подсудимой.

Перед судом спокойствие не изменяет Шарлотте. Ей читают обвинительный акт и тотчас приступают к допросу свидетелей, но она первого же свидетеля прерывает, не дав ему даже начать, словами:

- Это я убила Марата.
- Что вас побудило к этому? – спрашивает ее президент.
- Его злодеяния.
- Что вы разумеете под словом злодеяния?
- Бедствия, причиной которых он был с начала революции.
- Кто подбивал вас на это дело?
- Я одна, – гордо отвечает она. – Я никогда ни от кого не приняла

бы совета в таком деле. Я хотела подарить мир и спокойствие моему отечеству.

– Но неужели вы думаете, что убили всех Маратов?

– Нет, я так не думаю, – печально признается девушка.

Потом она дает говорить свидетелям и после каждого показания только повторяет: «Это правда, свидетель прав». От одного Шарлотта отпирается – от сообщничества с жирондистами. Из свидетельских показаний она опровергает лишь показание женщины, замешавшей в дело Дюперре и Фоше. Потом она садится и выслушивает остальных с полнейшим спокойствием. «Вы видите, – вместо всякой защиты говорит адвокат Шово-Лагард, – подсудимая во всем сознается с непоколебимой твердостью. Это спокойствие, это самоотречение, в одном отношении возвышенно прекрасные, могут быть объяснены лишь самым экзальтированным политическим фанатизмом. Ваше дело рассмотреть, насколько это нравственное соображение может иметь вес в решениях правосудия».

Шарлотту Корде приговорили к смертной казни. На ее прекрасном лице не появилось признаков волнения. Она возвратилась в свою келью с тихой улыбкой на устах, написала отцу, прося его простить ей то, что она сама распорядилась своей жизнью, потом – Барбару, рассказав ему о своей поездке и своем поступке в прелестном письме, исполненном грации, ума и возвышенных мыслей. Она заметила в письме между прочим, что друзья не должны о ней жалеть потому, что тем, у кого живое воображение и теплое сердце, жизнь обещает мало хорошего, и присовокупила, что вполне отомстила за себя Петиону, который в Кане усомнился было в ее политических убеждениях. Наконец, она попросила Барбару сказать Вимпфену, что она помогла одержать победу. Закончила Шарлота свое письмо словами: «Какой жалкий народ для республики! Надо основать хотя бы мир, а уж там образ правления устроится как-нибудь».



Арест Шарлотты

Пятнадцатого июля Шарлотта Корде встретила казнь всё с тем же невозмутимым спокойствием. Скромным и полным достоинства молчанием отвечала она на ругань низкой черни. Не все, однако, ругали ее; многие жалели эту девушку – молодую, красивую, бескорыстную – и провожали ее к эшафоту взорами, полными уважения и сострадания.

Тело Марата с большой торжественностью было перенесено в Сад кордельеров. «Эта торжественность, – гласил отчет коммуны, – ничем не была противна простоте и патриотизму». Народ, распределившийся по знаменам секций, мирно следовал за телом. Некоторый, так сказать, величественный беспорядок, почтительное молчание, общее уныние представляли трогательнейшее зрелище. Шествие продолжалось от шести часов вечера до полуночи; в нем участвовали граждане всех секций, члены Конвента, коммуны и департамента, избиратели и народные общества. По прибытии в Сад кордельеров тело Марата было положено под деревьями, листья которых, слегка колеблемые, отражали

тихий и нежный свет. Народ в безмолвии окружал гроб. Президент Конвента первым сказал красноречивые слова, возвестив, что скоро придет время, когда за Марата будет отомщено, но что не должно необдуманными и опрометчивыми поступками навлекать на себя нареkania врагов отечества. Президент присовокупил, что свобода не может погибнуть и смерть Марата только упрочила ее. После нескольких речей, вызвавших дружные рукоплескания, тело было опущено в могилу. Слезы текли, и каждый удалился со страдающим сердцем.

Несколько обществ оспаривали друг у друга сердце Марата, но оно осталось у кордельеров. Его бюст появился везде рядом с бюстами Лепелетье и Брута и занял видное место во всех собраниях и публичных местах. Печати были сняты с его бумаг: у Марата нашлась одна пятифранковая ассигнация, и бедность его сделалась предметом новых восторгов. Его экономка, которую он, по словам Шометта, взял в жены в один прекрасный ясный день, перед лицом солнца, была признана его вдовою и стала получать содержание от казны.

Таков был конец этого человека, самой необыкновенной личности всей эпохи, столь плодovитой на особенные характеры. Оказавшись на поприще наук, он хотел низвергнуть все системы; заброшенный в политические смуты, он сразу возымел страшную мысль, которую каждая революция исполняет по мере того, как растут опасности, но в которой ни одна не признается никогда, – поголовное истребление своих противников. Марат, видя, что революция, хоть и не одобряет его советов, однако следует им, а люди, им обвиненные, теряют популярность и гибнут по его предсказанию, стал смотреть на себя как на величайшего государственного мужа новых времен. Обуреваемый непомерной гордovстью и дерзovстью, он до конца оставался кошмаром своих противников, да и друзья находили его страшным человеком, если не сказать больше. Смерть его была так же вне обыденного порядка, как и жизнь его, и случилась в ту самую минуту, когда вожди Республики, собиравшиеся сосредоточиться, чтобы составить правительство жестокое и мрачное, не могли долее уживаться с полупомешанным товарищем, смелым, безусловно преданным системе, но который расстраивал бы все их планы своими выходками.

Неспособный стать деятельным и увлекающим массы вождем,

Марат был фанатиком революции, и когда потребовались уже не фанатизм, а энергия и выдержка, кинжал негодующей девушки весьма кстати сделал из него мученика и дал святого народу, который, наскучив своими прежними идеалами, ощущал потребность создавать новые.

Глава XXV

Комитет общественной безопасности и коммуна – Политика Робеспьера – Осада и взятие Майнца – Взятие Валансьена – Опасное положение Республики в августе 1793 года – Состояние финансов

Из пресловутого триумvirата остались только Робеспьер и Дантон. Чтобы составить понятие об их влиянии, нужно посмотреть, как распределилась власть и каким путем пошли умы после устранения правой стороны.

В самый день учреждения Конвент, в сущности, получил полную законодательную и исполнительную власть, однако не захотел явно удерживать ее всю, чтобы избежать деспотичного облика, и депутаты оставили призрак исполнительной власти, сохранив министров. Поскольку энергия их не соответствовала обстоятельствам, Конвент 10 апреля учредил Комитет общественного спасения, который мог остановить на время исполнение министерских приказов или дополнять их и заменять иными, когда находил недостаточными. Он же составлял инструкции депутатам, посылаемым в командировки, и один мог с ними переписываться. Поставленный таким образом выше министров и представителей, которые сами стояли выше всех должностных лиц, Комитет сосредоточил в своих руках всю правительственную власть. Хотя в теории власть эта ограничивалась контролем, в действительности она равнялась самодержавию: ведь глава государства никогда ничего сам не исполняет, а только за всем надзирает, выбирает агентов, руководит операциями.

Итак, комитет распоряжался военными операциями, заказывал провиант и припасы всякого рода, постановлял меры безопасности, назначал генералов и агентов всех родов, а трепещущие министры рады были снять с себя всякую ответственность, нисходя до простых приказчиков. Вот имена членов Комитета общественного спасения: Барер, Дельма, Бреар, Камбон, Робер Ленде, Дантон, Гитон де Морво, Матье и Рамель. Они были признаны людьми толковыми и

трудолюбивыми и хотя подлежали подозрению в некоторой умеренности, но не до такой степени, чтобы прослыть, подобно жирондистам, сообщниками иноземцев.

В непродолжительное время эти депутаты забрали в свои руки все государственные дела, и хотя они были назначены всего на один месяц, Конвент не захотел прерывать их трудов и продлевал полномочия – с 10 мая до 10 июня, потом до 10 июля. Под надзором этого комитета Комитет общественной безопасности заведовал высшей полицией – дело первостепенной важности в смутные времена, но и в исполнении этих обязанностей зависел от Комитета общественного спасения, который, ведая вообще всем, касавшимся блага государства, был обязан раскрывать также и заговоры против Республики.

Стало быть, Конвенту через право издавать декреты принадлежала верховная воля, а через представителей и комитеты – исполнительная часть, так что, даже не желая совмещать в себе все власти, он был неодолимо к этому приведен обстоятельствами и необходимостью заставлять своих собственных депутатов делать то, что, по его мнению, дурно исполнялось другими агентами.

Впрочем, крупные вопросы социального устройства разрешались конституцией, учреждавшей чистую демократию. Вопрос о том, должны ли применяться крайние революционные меры, хотя бы и ради спасения, был разрешен событиями 31 мая. Об устройстве государства и о политической нравственности рассуждать больше не имело смысла. Оставалось только рассматривать меры административные, финансовые и военные. Предметы же этого рода редко могут быть понятны многочисленным собраниям, а предоставляются власти специалистов.

Конвент охотно полагался во всех этих делах на свои комитеты, не сомневаясь ни в их честности, ни в знаниях, ни в усердии. Депутатам, таким образом, приходилось молчать; последний переворот отнял у них не только охоту, но и повод для прений. Конвент сделался чем-то вроде государственного совета, которому комитеты сдавали отчеты, неизменно одобряемые, и предлагали декреты, неизменно принимаемые. Заседания, ныне скучные и безмолвные, не продолжались, как бывало прежде, целые дни и ночи.



Робеспьер

Коммуна занималась муниципалитетами и устроила в них радикальные перестановки. С 31 мая не помышляя более о заговорах и о том, чтобы использовать против Конвента местные силы, коммуна занималась городской полицией, продовольствием, рынками, церковными обрядами, театрами, даже публичными женщинами и по всем этим, так сказать, интимным домашним вопросам издавала постановления, делавшиеся образцами для всей Франции. Шометт, генерал-прокурор коммуны, был главным докладчиком этого муниципального органа, и народ всегда охотно, сопровождая рукоплесканиями, слушал его доклады. Этот законодатель рынков и площадей, однако, с каждым днем делался назойливее и несноснее, потому что постоянно искал новый материал для своей деятельности и всё нахальнее забирался в частную жизнь. Паш, всегда неподвижный,

невозмутимый, предоставлял полную возможность делать что угодно перед его глазами, утверждал все принимаемые меры и предоставлял Шометту всю честь и славу муниципальной кафедры.

Конвент не стеснял свободы действий своих комитетов, а коммуна была поглощена исключительно своими атрибутами, так что о правительственных предметах рассуждали одни якобинцы. С обычной дерзостью они обсуждали все действия правительства и каждого из его агентов. Они давно уже приобрели влияние своей численностью, известностью, высоким положением большинства своих сторонников, огромным числом филиалов, наконец, своим старшинством и долгим влиянием на Республику. Но с 31 мая, после того как якобинцы заставили замолчать правую сторону собрания, они взяли почти безграничную власть над общественным мнением и получили право голоса, от которого Конвент фактически отказался. Они преследовали комитеты неустанным надзором, разбирали их действия точно так же, как действия представителей, министров, генералов – со свойственными им яростными нападками на личности. Эта цензура, неумолимая, часто гнусная, была все-таки полезна благодаря страху, который наводила, принуждая каждого преданно и честно заниматься своим делом.

Другие народные общества тоже имели влияние и большую свободу, однако подчинялись авторитету якобинцев. Кордельеры, например, более буйные, более решительные, признавали за якобинцами превосходство разума и слушались их советов, когда случалось зайти слишком далеко в революционной усердии. Петиция Жака Ру против конституции, взятая назад по желанию якобинцев, служит доказательством этого уважения.

Так распределились власть и влияние после 31 мая: правительствующий комитет, коммуна, поглощенная муниципальными делами, и якобинцы с их непрерывной строгой цензурой.

Два месяца, конечно, прошли не без жестоких нападков общественного мнения на правительство. Умы не могли остановиться на 31 мая. Требования их должны были зайти далее, нуждаться во всё большей энергии правительства, большей быстроте, больших результатах. Во время общего преобразования комитетов, потребованном 2 июня, Комитет общественного спасения был пощажен,

потому что его составляли люди работающие, чуждые всех партий, занятые трудами, которые опасно было бы прервать. Но им не забыли того, что они колебались 31 мая и 2 июня, хотели вступить в переговоры с департаментами и послать туда заложников, и не замедлили назвать их недостаточно твердыми. Забывая, что этот комитет был учрежден в самую трудную минуту, неудачи, бывшие следствием общего положения, вменялись ему в вину. Не понимая, что он – центр всех операций, а следовательно, завален делами, комитет обвиняли в возне с бумагами, в поглощенности мелочами, словом, в рутинности и неспособности.

А между тем комитет, начав свою деятельность в минуту отступничества Дюмурье, когда все армии были в полном расстройстве, Вандея поднималась, а Испания начинала войну, заново организовал Северную и Рейнскую армии, создал Пиренейскую и Вандейскую, не существовавшие вовсе, и снабдил сто двадцать шесть крепостей всем необходимым. И хотя оставалось еще много дел, чтобы поставить французские военные силы на должный уровень, не шуткой было выполнить такие работы в такое короткое время и при всех препятствиях, возникавших вследствие департаментских восстаний. Но общество было недоверчиво, ему всего было мало, люди постепенно требовали больше того, что могло быть сделано, и этим самым вызывали к жизни непомерную, соответственную опасности энергию. Чтобы освежить комитет и придать ему новых сил, в его состав включили еще трех членов – Сен-Жюста, Жанбона Сент-Андре и Кутона. Но общественное мнение и этим не удовлетворялось: люди говорили, что новые участники, конечно, превосходны, но влияние их парализуется остальными.

Не менее строго общественное мнение относилось к министрам. Министр внутренних дел Тара, сначала пользовавшийся некоторым расположением за нейтральную позицию между жирондистами и якобинцами, со 2 июня оказался в одном ряду с умеренными. Получив приказ написать статью для истолкования департаментам последних событий в надлежащем свете, он сочинил длиннейшую диссертацию, в которой всё уравнивал и объяснял с беспристрастием, конечно, вполне достойным философа, но вовсе не подходившим настроению данной минуты. Робеспьер, которому Тара зачитал эту чересчур мудрую

статью, забраковал ее. Якобинцы скоро об этом узнали и бранили министра за то, что он не противодействует яду, распространенному Роланом.

То же самое произошло и с морским министром д'Альбарадом: он обвинялся в том, что удержал в главных штабах аристократов. Многих он действительно оставил, и тулонские события в скором времени это доказали; но решить эту проблему было гораздо труднее в морских, нежели в сухопутных армиях, потому что специальные знания, которых требует морское дело, не позволяли так скоро заменить старых офицеров новыми: из поселянина нельзя в полгода сделать хорошего морского офицера или генерала. Военный министр Бушотт один остался в милости, и то потому, что, по примеру своего предшественника Паша, напустил якобинцев и кордельеров в свое ведомство, чтобы унять их подозрительность.

Почти все генералы в чем-нибудь обвинялись, особенно дворяне; но двое из них сделались настоящим пугалом: Ктостин и Бирон. Марат, как мы видели, принялся за них за несколько дней до смерти, и с тех пор каждый спрашивал себя: почему Ктостин остается в Лагере Цезаря и не снимает блокаду Валансьена и отчего Бирон сидит без дела в Нижней Вандее, позволил взять Сомюр и осадить Нант?

Везде господствовало недоверие. Клевета носилась над всеми головами и губила лучших патриотов. Так как уже не существовало правой стороны, на которую можно бы валить всё, не было более Ролана, Бриссо, Гюаде, которых можно было при каждом новом опасении обвинить в измене, то общественное мнение набрасывалось на самых отъявленных патриотов. Невероятно, до чего доходила страсть к обвинениям и доносам. Самая продолжительная, неукоснительная революционная деятельность уже не служила порукой человеку, и он мог в один день, в один час попасть на одну доску с величайшими врагами Республики. Воображение не могло слишком скоро разочароваться, например, в Дантоне, смелость и красноречие которого всех ободряли и поддерживали; но Дантон вносил в революцию страстную любовь к цели, без ненависти к личностям — а этого было мало. Дух всякой революции двояк; он состоит из страстной любви к цели и такой же ненависти к лицам, составляющим препятствие к достижению этой цели; в Дантоне же жило лишь одно из этих двух

чувств. Когда речь шла о революционных мерах, направленных против богачей, или на то, чтобы сдвинуть с места равнодушных, он ничего не щадил и придумывал самые смелые средства; но к людям он относился мягко и терпимо, видя во всех не врагов, а различные характеры и умы, людей, которых нужно либо убедить, либо принять с той энергией, какая у них есть. Так Дантон видел в Дюмурье не предателя, а только человека недовольного и выведенного из терпения, в жирондистах – не сообщников Питта, а честных, но неспособных людей, и хотел бы устранить их, не губя. Говорили даже, что он лично оскорбился распоряжением Анрио не выпускать Конвент 2 июня. Он жал руку генералам из дворян, обедал с подрядчиками, приятельски разговаривал с людьми всех партий, искал удовольствий и немало повеселился в революцию.

Всё это было известно, и о его энергии и честности распускались весьма двусмысленные слухи. Толковали о том, что Дантон больше не бывает в Клубе якобинцев, о его лени и развлечениях; говорили, что революционная карьера не лишена для него приятности. Иногда появлялись жалобы на лиц, рекомендованных им министрам. Не всегда смея нападать на него самого, иные нападали на его друзей. Мясник Лежандр, товарищ его по парижской депутации, наместник на улицах и в предместьях, подражатель его грубого, дикого красноречия, был обозван Эбером и другими кордельерами умеренным. «Я – умеренный! – восклицал по этому поводу Лежандр у якобинцев. – И это когда я иногда сам себя упрекаю в преувеличении! Когда из Бордо пишут, что я до полусмерти избил Гюаде, когда во всех газетах говорят, что я схватил Ланжюине за ворот и волочил по мостовой!»

В умеренные попал еще один приятель Дантона, тоже известный и испытанный патриот, Камилл Демулен – самый наивный, забавный и в то же время красноречивый писатель Революции. Камилл был коротко знаком с генералом Дильоном, тем самым, который по поручению Дюмурье занимал проход Лез-Ислет в Аргонском лесу и выказал столько храбрости и твердости. Камилл сам лично убедился, что Дильон – добрый солдат, без всяких политических убеждений, но одаренный большим военным талантом и готовый служить Республике. Вдруг, вследствие всё того же повального недоверия, распустили слух, будто Дильон собирается стать во главе заговора, имевшего целью посадить

Людовика XVII на отцовский престол. Комитет общественного спасения тотчас же арестовал его. Камилл пытался защитить Дильона перед Конвентом. На это ему со всех сторон заявили:

– Вы обедаете с аристократами.

Бийо-Варенн оборвал его на полуслове.

– Не давайте Демулену позорить себя! – воскликнул он.

– Мне не дают говорить, – возразил Камилл, – хорошо: у меня есть чернильница!

И он написал брошюру под названием «Письмо к Дильону», исполненную ума и изящества, в которой досталось всем. Комитету общественного спасения он писал: «Вы присвоили себе все власти, прибрали все дела и ни одного не заканчиваете. Вас было трое по военной части: один в отсутствии, другой болен, третий ничего не смыслит; вы оставляете во главе наших армий таких людей, как Кюстин, Бирон, Мену, Бертье – или аристократов, или лафайетистов, или неспособных». Камбону он заявил: «Я ничего не понимаю в твоей финансовой системе, только твоя бумага уж очень похожа на бумагу Ло и так же быстро переходит из рук в руки»; Бийо-Варенну: «Ты зол на Артура Дильона за то, что, когда ты был комиссаром при его армии, он повел тебя в огонь»; Сен-Жюсту: «Ты слишком много о себе думаешь и носишь свою голову, точно святыню»; Бреару, Дельма, Бареру и другим: «Вы хотели подать в отставку 2 июня, потому что не могли хладнокровно смотреть на эту революцию, она казалась вам ужасной».

Демулен присовокупил, что Дильон не республиканец, не федералист, не аристократ, а просто солдат и хочет одного – служить; что патриотизмом он не уступит Комитету общественного спасения и всем главным штабам; что он по крайней мере большой знаток своего дела и таких сохранить хоть несколько – большое счастье, и не следует воображать, будто каждый сержант может быть генералом. «С тех пор, – писал Демулен, – как безвестный офицер Дюмурье победил, сам не зная как, при Жемапе и овладел Бельгией и Бредой, удаchi Республики повергли нас в такое же опьянение, в какое пришел Людовик XIV: он набирал своих полководцев в собственном дворце, а мы думаем, что можем набрать своих с улицы; мы даже дошли до того, что говорили, будто у нас три миллиона генералов!»

Эти речи, эти перекрестные нападки показывают, что в Горе

господствовало смятение. Так обыкновенно бывает с партией, только что одержавшей победу, готовой расщепиться, но с не отделившимися еще фракциями. В победоносной партии еще не образовалось партии новой. Обвинение в умеренности или преувеличении носилось над всеми головами. Среди этого хаоса одно только имя оставалось недоступно никаким нападкам – имя Робеспьера. Уж он-то никогда не грешил снисходительностью к людям, не любил ни одного изгнанника, не водился ни с одним генералом, финансистом или депутатом. Его нельзя было обвинить в том, что он повеселился в революцию: он жил самым замкнутым образом у столяра, с одной из дочерей которого у него была, говорят, любовная связь. Строгий, сдержанный, незапятнанный, он был неподкупен – и все считали его таковым. Можно было упрекнуть Робеспьера лишь в гордости. Этот порок, конечно, не марает подобно разврату, но в години гражданских раздоров причиняет большие бедствия и особенно страшен у людей строгого образа жизни, религиозных или политических фанатиков, потому что это их единственная страсть: они удовлетворяют ее без милосердия и ничем от нее не отвлекаются.

Один Робеспьер еще мог подавить в народе революционное нетерпение, не подвергаясь за это обвинению в связях с неблагонамеренными из-за своих выгод или удовольствий. Когда он против чего-нибудь восставал, это приписывалось одним внушениям разума. Он сознавал недостижимость своего положения и впервые начал сочинять себе систему. До тех пор он весь принадлежал своей ненависти и думал только о том, чтобы толкать революцию против жирондистов. Теперь же, усматривая в новом взрыве опасность для патриотов, Робеспьер подумал, что нужно сохранить уважение к Конвенту и Комитету общественного спасения, потому что вся власть пребывала у них и не могла перейти в другие руки без ужасного переворота. Во-первых, он сам был членом Конвента, его не могло миновать назначение и в комитет в самом непродолжительном времени, так что, защищая их, он защищал в то же время свою собственную власть.

Так как каждое мнение сначала слагалось у якобинцев, то Робеспьер решил приобрести у них еще больше влияния, сгруппировать их вокруг Конвента и комитета, оставляя себе возможность

впоследствии, если бы ему заблагорассудилось, натравить клуб на комитет. Бывая постоянно в одном этом клубе, он льстил ему этим; в Конвенте он говорил редко, потому что, как мы уже сказали, там почти никто больше не говорил, а у якобинцев часто выходил к кафедре и не пропускал ни одного важного предложения, чтобы не обсудить его, изменить или отвергнуть.

Действуя таким образом, Робеспьер всё рассчитал гораздо вернее Дантона. Ничто так не оскорбляет людей и не благоприятствует двусмысленным слухам, как отсутствие человека. Дантон, с пренебрежением, свойственным страстному и пылкому характеру, слишком редко бывал у якобинцев, а когда появлялся, ему приходилось оправдываться, уверять, что он всегда будет добрым патриотом, объяснять, что если он иногда и действует с некоторой осторожностью, чтобы повернуть к правому делу людей, не сильных умом, но превосходных, однако пусть все будут уверены, что его энергия от этого не уменьшилась, что он с тем же усердием радеет об интересах Республики и она непременно одержит окончательную победу. Напрасные и опасные извинения! Как только человек пускается в объяснения, начинает оправдываться, он попадает в подчиненное положение относительно тех, с кем говорит. Робеспьер, напротив, всегда присутствовавший, всегда готовый отстранить всякие инсинуации, никогда не бывал доведен до необходимости оправдываться; он, напротив, принимал тон обвинительный, журил своих верных якобинцев и мастерски привел как раз к тому положению, когда человек, обожание которого вполне распространено, только усиливает его маленькими строгостями.

Мы видели выше, как он остановил Жака Ру, предложившего петицию против конституции; так же точно он поступал во всех случаях, когда дело касалось Конвента. Собрание, говорил Робеспьер, вполне очищено и не заслуживает ничего, кроме уважения, и каждый, кто нападает на него, — дурной гражданин. Комитет общественного спасения, конечно, сделал не всё, что следовало сделать (Робеспьер никогда не забывал покритиковать и тех, кого защищал), но он находится на наилучшей дороге; нападать на него — значит уничтожить необходимый центр власти, ослабить энергию правительства, скомпрометировать судьбу Республики. Когда якобинцы начинали

обращаться к комитету или Конвенту со слишком частыми петициями, Робеспьер этого не допускал, говорил, что это дурные люди хотят злоупотребить для своих видов влиянием якобинцев и заставить власти терять драгоценное время. Однажды кто-то предложил сделать заседания комитета публичными; Робеспьер рассердился и начал доказывать, что иностранцы платят заговорщикам во Франции: и преувеличенным, старавшимся всё довести до беспорядков, и умеренным, стремившимся всё парализовать излишней мягкостью.

В Комитете общественного спасения был трижды назначен перерыв. Десятого июля следовало или продлить перерыв, или заново составить комитет. Восьмого числа у якобинцев состоялось торжественное заседание. Все говорили, что нужно изменить состав комитета и не отсрочивать его, как это было сделано уже три раза.

— Комитет, — говорит Бурдон, — бесспорно имеет наилучшие намерения, я не хочу его винить, но человеческому роду присуще несчастье проявлять энергию только в продолжение нескольких дней. Нынешние члены комитета уже перешли этот период; переменим их. Нам ныне нужны революционеры, люди, которым мы могли бы вверить судьбу Республики, которые отвечали бы нам за нее головою.

После Бурдона говорит горячий Шабо:

— Комитет должен быть обновлен; новой отсрочки терпеть не следует. Прибавить к нему еще нескольких патриотов — недостаточно; это видно из того, что уже случилось: Кутон, Сен-Жюст и Жанбон Сент-Андре исключены своими же товарищами. Не следует также обновлять комитет посредством тайной баллотировки, потому что тогда новый комитет будет не лучше старого. Я сам слышал, как Матье вел самые антигражданственные речи в обществе женщин-революционерок. Рамель писал в Тулузу, что землевладельцы одни могут спасти общее дело и не следует давать оружия санкюлотам. Камбон — какой-то сумасшедший, который видит все предметы в преувеличенном виде и пугается из-за каждого нового поворота. Гитон де Морво — честный человек, но квакер, вечно трепещущий. Дельма, заведующий назначениями, всё время выбирал неподходящих людей и наполнил армию контрреволюционерами. Наконец, комитет держал сторону Лебрена и враждебен Бушотту.

Робеспьер спешит ответить Шабо:

– Каждая фраза, каждое слово речи Шабо дышит чистейшим патриотизмом, но патриотизмом, по моему мнению, слишком экзальтированным, который негодует, что не всё идет согласно его желаниям, и раздражается тем, что комитет не достиг в своих действиях невозможного. Верю, комитет не состоит из людей равно просвещенных, равно добродетельных, но где найдет он собрание, составленное таким образом? Возможно ли, чтобы люди не были подвержены заблуждению? И не видел ли он, как Конвент, изрыгнув из своих недр бесчестивших его предателей, проявил новую энергию, величие, чуждое ему дотоле, более возвышенный характер? Не доказывает ли этот пример, что не всегда необходимо разрушать и иногда бывает благоразумнее ограничиваться реформами? Да, бесспорно: в Комитете общественного спасения есть люди, способные заново завести машину и придать новую силу всему обществу. Нужно только поощрить их к этому. Кто согласится забыть услуги, оказанные этим комитетом общему делу, разоблаченные им многочисленные заговоры, счастливые мысли, которыми мы ему обязаны, мудрые и глубокие взгляды, которые он сам развил?

Собрание создало Комитет общественного спасения не за тем, чтобы он влиял на него или руководил его декретами; но комитет помог ему разобратить, что было действительно хорошо в предлагаемых мерах, а что, представленное под заманчивой формой, могло повлечь за собой опасные последствия. Комитет дал первый толчок нескольким важным постановлениям, которые, быть может, спасли отечество; он избавил собрание от кропотливой, нередко бесплодной работы, прямо представляя ему результаты своего труда.

Всё это достаточно доказывает, что Комитет общественного спасения не так уж мало сделал, как теперь хотели бы нас уверить. Он совершал и ошибки, мне ли их скрашивать? Мне ли склоняться к снисходительности, когда я думаю, что для отечества сделано недостаточно, пока сделано не всё? Но было бы неправильно в настоящую минуту обращать немилость народа на комитет, который нуждается в полном его доверии, от которого отечество ждет большой помощи.

Соображения Робеспьера положили конец спору. На третий день

комитет был обновлен в числе девяти членов, как первоначально и был задуман. Его составили: Барер, Жанбон Сент-Андре, Гаспарен, Кутон, Эро де Сешель, Сен-Жюст, Тюрио, Робер Ленде, Приёр из Марны. Все члены, обвиняемые в слабости, были уволены, кроме Барера: ему простили прошлое ради необыкновенной легкости, с которой он составлял отчеты и применялся к обстоятельствам. Робеспьер пока не попал в комитет, но еще несколько дней, еще больше опасности и больше террора в Конвенте – и ему открывалось в нем место.

Так, например, морское ведомство начинало беспокоить правительство; беспрестанно приходили жалобы на министра д'Альбарада, на его предшественника Монжа, на плачевное положение эскадр, которые, возвратившись из Сардинии в тулонские доки, не ремонтировались и которыми командовали старые офицеры, почти все аристократы. Жаловались даже на нескольких лиц, совсем недавно причисленных к морскому ведомству. Между прочими жестоким обвинениям подвергался некто Пейрон, посланный в Тулон преобразовывать армию. Говорили, что он не сделал того, что должен был сделать; сваливали ответственность на министра, а министр – на «одного великого патриота», рекомендовавшего ему Пейрона. С аффектацией выставляли этого «знаменитого патриота», не смея, впрочем, назвать его.

– Имя! – требовали сразу несколько голосов.

– Ну так я скажу вам, – объявил доносчик, – этот знаменитый патриот – Дантон!

Эти слова вызвали сильный ропот.

– Я требую, – заявил Робеспьер, – чтобы закончился фарс и началось заседание! Обвиняют д'Альбарада; я его знаю только по отзывам общественного мнения, которое называет его министром-патриотом; а в чем его обвиняют здесь? В ошибке. Кто не ошибается? Один сделанный им выбор не соответствовал общим ожиданиям! Бушотт и Паш тоже не раз делали неудовлетворительные назначения, и однако оба они – истинные республиканцы, искренние друзья отечества. Человек занимает видную должность – этого довольно, чтобы на него клеветали. Когда же, наконец, перестанем мы верить нелепым или коварным сказкам, которыми нас забрасывают со всех сторон! Я заметил, что к этому обвинению министра, сделанному в довольно

общих выражениях, присоединено особое обвинение против Дантона. Уж не его ли хотят представить вам подозрительным? Но если бы вместо того, чтобы запугивать патриотов, тщательно выискивая в их деятельности преступления там, где едва имеется незначительная ошибка, мы занимались средствами облегчить им эту деятельность, сделать труд их менее тяжелым, это было бы честнее и полезнее для отечества. Пора наконец прекратить эти нелепые и прискорбные выходы; я бы желал, чтобы общество якобинцев довольствовалось обсуждением предметов, которыми могло бы заняться с пользою; чтобы оно сократило несметное число вопросов, поднимаемых в его среде; вопросов по большей части столь же пустых, сколь и опасных.

Таким образом, Робеспьер, видя, какой опасностью грозила бы новая буря, старался всеми силами привязать якобинцев к Конвенту, комитетам и старым патриотам. Для него в этой похвальной и полезной политике была одна выгода. Подготавливая власть комитетов, он готовил свою собственную, защищая патриотов, он выгораживал себя и не давал общественному мнению выбирать себе жертвы из людей, стоявших близко к нему; он гораздо ниже себя ставил тех, кого брал под свое покровительство; наконец, вследствие самой своей строгости, он становился кумиром якобинцев и приобретал славу высокого мудреца. Поступая так, Робеспьер имел не больше честолюбивых целей, нежели прочие революционные вожди, но эта политика, всех других лишившая популярности, для него не имела того же результата, потому что революция уже близилась к своей крайней черте.

Арестованные депутаты были отданы под суд тотчас после смерти Марата, и подготовка процесса шла полным ходом. Поговаривали уже о том, что нужно лишить головы оставшихся в живых Бурбонов, хотя речь шла о двух женщинах – вдове и сестре последнего короля – и герцоге Орлеанском, который верно служил революции, а теперь содержался в Марселе в качестве пленника, по-видимому, в благодарность за свою службу.

Было решено отметить принятие конституции большим празднеством. От всех первичных собраний должны были приехать делегаты и, принося свои пожелания, собраться на поле Федерации для торжественной церемонии. Днем праздника назначалось уже не 14

июля, а 10 августа, потому что взятие Тюильри повлекло за собой образование Республики, тогда как взятие Бастилии убило только феодализм, не уничтожив монархии. Вследствие этого различия установилось различие между республиканцами и конституционными роялистами: первые праздновали 10 августа, а вторые – 14 июля.

Федерализм умирал, и конституция принималась везде. Бордо всё еще соблюдал величайшую сдержанность, ни одним решительным актом не заявлял ни о покорности, ни о враждебности, но принял конституцию. Лион продолжал рассматривать дела, начатые в Революционном трибунале, но ослушался только по этому пункту, а по всем прочим покорился и тоже принял конституцию. Марсель упорствовал. Но его маленькая армия, уже отделенная от лангедокской, в последних числах июля была изгнана из Авиньона, и ей пришлось перейти обратно реку Дюране. Таким образом, федерализм везде терпел поражение, а конституция торжествовала. Но опасность усиливалась на границах, особенно в Вандее, на Рейне и на севере. Вандейцы вознаграждали себя за неудачу у Нанта новыми победами, а на Валансьен и Майнц неприятель напирал сильнее прежнего.

Мы прервали наш рассказ о военных событиях на той минуте, когда вандейцы, отбитые перед Нантом, вернулись восвояси и Бирон, прибыв в Анжер после избавления Нанта, составил с генералом Канкло план кампании. В это время Вестерман пришел в Ньор с Германским легионом и выпросил у Бирона разрешение углубиться в бунтовавшие провинции. Вестерман был тем самым эльзасцем, который отличился 10 августа и принес победу, потом блистательно служил под началом Дюмурье, сблизился с ним и Дантоном и, наконец, удостоился доноса от Марата, которого он, говорят, поколотил за нанесенные оскорбления. Он был из числа тех патриотов, за которыми признавали большие заслуги, но которых начинали упрекать за удовольствия, находимые ими во время революции, а главное, не жаловали на то, что они требовали от войск дисциплины, а от офицеров – знаний, не соглашались увольнять каждого генерала из дворян и не обзывали изменником каждого генерала, потерпевшего поражение.

Вестерман составил свой Германский легион из 4–5 тысяч человек. Во главе этой маленькой армии, которую он держал под полным

контролем, учредив в ней строгую дисциплину, Вестерман выказал замечательную отвагу и совершил блестящие подвиги. Переведенный в Вандею со своим легионом, он его заново организовал и выгнал подлецов, донесших на него. Он питал нисколько не скрываемое презрение к безобразным полчищам, которые грабили и опустошали край, громко высказывал те же мысли, что и Бирон, и вместе с ним причислялся к аристократам.

Военный министр Бушотт еще до их прибытия, как мы видели выше, разослал своих якобинских и кордельерских агентов по всей Вандее. Там они соперничали с народными представителями, разрешали грабежи и насильственные поборы, называя их «военными реквизициями», и поощряли своеволие под тем предлогом, что надо же защитить солдата от деспотизма офицеров. После Бушотта военной частью заведовал Венсан, молодой кордельер, исступленный фанатик – самая опасная и буйная голова этого буйного времени. Он вертел Бушоттом, назначал кого хотел, и притеснял генералов с неслыханной строгостью. Ронсен – тот самый, которого отправили к Дюмурье, когда отменили его подряды, друг Венсана и Бушотта и глава их агентов в Вандее – распоряжался в Вандее в звании товарища министра. Он имел под своим началом типографщика Моморо, комедианта Граммона и еще несколько человек, действовавших в том же духе и с тем же неистовством.

Вестерман, и без того уже не ладивший с ними, окончательно восстановил их против себя следующим энергичным поступком. Некто Россиньоль, бывший золотых дел мастер, отличившийся 20 июня и 10 августа и командовавший одним из полков, набранных в Орлеане, принадлежал к числу новых офицеров, которым кордельерское правительство всячески потакало. Однажды за попойкой, в которой участвовало несколько солдат Вестермана, Россиньоль стал говорить, что солдаты не должны быть рабами офицеров, что Бирон – бывший аристократ и изменник, что следует выгонять горожан из домов, чтобы поместить в них войска. Вестерман велел его арестовать и предал военному суду. Ронсен поспешил вытребовать Россиньоля и тотчас же послал в Париж донос на Вестермана.

Последний, нисколько не смущаясь этим происшествием, выступил со своим легионом, думая пробраться в самое сердце Вандеи.

Двинувшись с противоположной от Луары стороны, то есть с южного конца театра войны, он сначала взял Партене, потом вступил в местечко Амайу и сжег его, чтобы отомстить Лескюру, который, войдя в Партене, строго обошелся с жителями, поддерживавшими революцию. Потом Вестерман сжег замок Клиссон, принадлежавший Лескюру, и вызвал всюду испуг своими быстрыми движениями и преувеличенными слухами о военных экзекуциях. Вестерман не был жесток, однако первым начал эти пагубные экзекуции, которые разорили нейтральные земли, обвиняемые каждой из партий в потворстве противной стороне. Всё население бежало в Шатийон, где собрались семейства вандейских вождей и остатки их армий.

Третьего июля Вестерман, проникнув в центр возмущенного края, не пугаясь опасности, вступил в Шатийон и изгнал оттуда верховный совет и главный штаб вандейцев. Молва об этом подвиге разнеслась далеко, но положение Вестермана оставалось шатким. Он выставил на мельнице за городом пост, обзоревавший окрестности. Вандейцы, подкравшись согласно своей всегдашней тактике, окружили этот пост и напали на него со всех сторон. Вестерман, извещенный об этом немного поздно, поспешил послать людей на помощь, но посланные им отряды были отбиты и вернулись в Шатийон. Республиканской армией овладел страх; она в беспорядке бежала из города, и сам Вестерман, несмотря на чудеса храбрости, был увлечен этим потоком; ему пришлось спасаться, оставив множество убитых и пленных.

Пока в Шатийоне происходили эти события, Бирон условился с Канкло о том, как им действовать. План их состоял в том, чтобы обоим спуститься до Нанта, очистить левый берег Луары, повернуть к Машкулю, подать руку генералу Булару, который должен был выступить из Сабля, затем, отделив таким образом вандейцев от моря, идти прямо на Верхнюю Вандею, чтобы покорить весь край. Народные представители забраковали этот план. Они настаивали на том, что надо двинуться с пункта, на котором стояла армия, идти к мостам Се с войсками, собранными в Анжере, и условиться, чтобы с противоположной стороны их поддержала колонна, выступившая из Ньора. Бирон, рассерженный этим противодействием, немедленно подал в отставку. Но в это самое время пришло известие о поражении при Шатийоне, и все упреки обрушились на Бирона. Стали говорить,

что он допустил осаду Нанта и не поддержал Вестермана. По доносу Ронсена и его агентов Конвент потребовал Бирона к себе – объясниться и оправдаться. Вестерман был отдан под суд, а Россиньоль немедленно выпущен. Такова была участь начальников армии в Вандее, среди якобинских агентов.

Генерал Лабарольер принял начальство над войсками, оставленными Бироном в Анжере, и, согласно желанию народных представителей, стал готовиться к походу в центр края через мосты реки Се. Оставив 1400 человек в Сомюре и 1500 при мостах Се, он двинулся на Бриссак, где тоже поставил отряд, чтобы обеспечить себе коммуникации. Эта армия, чуждая всякой дисциплины, совершила ужаснейшие опустошения в землях, преданных Республике. Пятнадцатого июля на нее напали вандейцы. Авангард, состоявший из регулярных войск, энергично защищался. Главный корпус чуть не подался, но вандейцы, всегда отступавшие, стали в беспорядке уходить. Тогда за дело принялись новые полки, и, чтобы поощрить их, им расточали похвалы, заслуженные одним авангардом. Семнадцатого июля армия подошла близко к Вийе, и новое нападение, принятое и выдержанное с той же твердостью авангардом и теми же колебаниями основной массой армии, было опять отбито. В тот же день республиканцы вступили в Вийе. Несколько генералов, полагая, что эти орлеанские полки слишком дурно организованы, чтобы действовать в открытом поле, и что нельзя с подобными войсками оставаться посреди неприятельской земли, предлагали отступить. Лабарольер решил, что надо ждать в Вийе и защищаться тут, если последует нападение.

На следующий день, в час пополудни, являются вандейцы. Республиканский авангард встречает их так же твердо; но остальные войска вновь колеблются при виде неприятеля и уступают его напору вопреки всем усилиям своих начальников. Парижские отряды, находя гораздо более удобным кричать «Измена! Измена!», нежели драться, разбегаются. Смятение становится всеобщим. Сантерр, бросившийся в самую жаркую схватку с величайшим мужеством, чуть не взят в плен. Народному представителю Бурботту грозит та же опасность, а армия отступает с такой быстротой, что в несколько часов приходит в Сомюр. Отряд из Нюра, только собиравшийся двинуться, останавливается, и 20-го числа решают, что он дождется, пока вновь организуется сомюрская

колонна. Так как нужно было кого-нибудь привлечь к ответу за такое поражение, Ронсен и его агенты донесли на начальника Главного штаба Бертье и генерала Мену, слывших за аристократов, потому что они стояли за дисциплину. Бертье и Мену были немедленно затребованы в Париж, как Бирон и Вестерман.

Так шла эта война. Вандейцы, внезапно восставшие в апреле и мае, взяли Туар, Луден, Дуэ и Сомюр из-за неудачного набора республиканского войска: его составляли одни новобранцы. Но спустившись до Нанта в июне, вандейцы были выбиты оттуда генералом Канкло, а из Ле-Сабль-д'Олона – Буларом, то есть единственными двумя генералами, сумевшими ввести в свои войска порядок и дисциплину. Вестерман, действуя смело и имея подготовленные войска, прошел до Шатийона в начале июня, но, преданный жителями и застигнутый инсургентами врасплох, потерпел поражение; наконец, колонну из Тура постигла участь, общая для всех неправильно организованных армий. Следовательно, в конце июля вандейцы господствовали на всей своей территории. Что же касается храброго и несчастного Бирона, обвиненного в том, что он не был в одно и то же время в Нанте и в Нижней Вандее и не помогал Вестерману, когда уславливался с Канкло о кампании, – он был похищен из армии, не имея времени что-нибудь предпринять; да и пока оставался при армии, подвергался непрерывным обвинениям. Канкло находился в Нанте, но храброго Булара уже не было в Сабле, и оба отряда из Жиронды тоже уже удалились. Такую картину представляла собой Вандея в июле.

На востоке и севере шли осады Майнца и Валансьена – обе неудачно для французов.

Майнц стоит на левом берегу Рейна, со стороны Франции, напротив слияния с этой рекой реки Майн, и образует большую дугу, причем Рейн является ее хордой. Значительное предместье Кассель, переброшенное на другой берег, сообщается с городом посредством моста на плашкоутах^[2]. Остров Петерзау, лежащий ниже Майнца, северным своим концом настолько близко подходит к этому мосту, что оттуда можно обстреливать его и бить крепость с тыла. Со стороны реки

Майнц защищен лишь одной кирпичной стеной, но с другой стороны город укреплен крайне заботливо. Начиная от берега, остров Петерзау защищает ограда со рвом, по которому в Рейн течет ручей Цальбах. У крайнего конца этого рва стоит форт Хауптштейн, так что эта сторона защищена вдвойне – огнем и водою. С этой точки ограда продолжается вплоть до верхнего течения Рейна, но ров прерывается и заменяется другой стеной, параллельной первой. Двойная стена требует и двойной осады. Цитадель, примыкающая к двойной ограде, еще усиливает ее.

Таков был Майнц в 1793 году, еще до того, как его укрепления были усовершенствованы. Гарнизон крепости составлял 20 тысяч человек, потому что генерал Шааль, который собирался удалиться с одной дивизией, был отброшен назад в город и не смог соединиться с армией Кюстина. Запасы провианта не соответствовали такому большому гарнизону. Поскольку не было известно, удастся ли сохранить Майнц, по этой части мер не приняли. Наконец Кюстин распорядился. Явились евреи, но взяли подряд на очень невыгодных условиях: они требовали, чтобы им заплатили и за те транспорты, которые в пути будут отбиты неприятелем. Ревбель и Мерлен не согласились на это условие, опасаясь, как бы евреи не продали транспорт неприятелю, чтобы получить деньги с обеих сторон. Собственно, в зерне недостатка не было, но можно было предвидеть, что если мельницы, стоящие на реке, будут разрушены, то молотье его будет негде. Мяса было мало, а фуражу на гарнизонных лошадей, которых имелось три тысячи, решительно не хватало. Артиллерия состояла из ста тридцати бронзовых и шестидесяти чугунных орудий, найденных в крепости в очень плохом состоянии; французы, правда, привезли восемьдесят орудий в исправности. То есть было что расставить по стенам, но пороха в достаточном количестве не было.

Герою и ученому Менье поручили защиту Касселя и постов правого берега; д'Уарэ руководил работами в самой крепости; Обер-Дюбайе и Клебер командовали войсками; народные представители Ревбель и Мерлен воодушевляли гарнизон. Войска стояли в промежутке между обеими оградами и занимали ряд отдаленных постов. Они находились в наилучшем настроении, вполне полагались на свою крепость, своих вождей, свои силы и, вдобавок, твердо знали, что должны отстоять пункт первой важности для спасения Франции.

Генерал Шёнфельд, стоявший лагерем на правой стороне, окружал Кассель с 10 тысячами гессенцев. Австрийцы вели главную атаку на Майнц. Перед двойной стеной стояли пруссаки с центром в крепости Мариенберг, где находилась главная квартира прусского короля. Левое крыло – также прусское – стояло напротив Хауптштейна и рва, питаемого водами Цальбаха. Эта осадная армия состояла приблизительно из 50 тысяч человек. Ею начальствовал старик Калькрейт. Герцог Брауншвейгский командовал обсервационным корпусом со стороны Вогезских гор и вместе с Вурмзером прикрывал эту обширную операцию. Имея недостаток в тяжелой осадной артиллерии, союзники вступили в переговоры с голландцами, которые опорожнили еще часть своих арсеналов.

Осада началась в апреле. В ожидании транспортов артиллерии наступательная роль была предоставлена гарнизону, который беспрестанно совершал вылазки. Одиннадцатого апреля, после того как сомкнулась осада, французские генералы решили попытаться неожиданно напасть на гессенцев, слишком широко растянувшихся по правому берегу. В ту же ночь они вышли из Касселя тремя колоннами. Менье пошел прямо на Хохгайм; две другие колонны спустились вдоль правого берега к Бибериху; но в колонне генерала Шааля нечаянно выстрелило чье-то ружье, вызвав среди войск переполох. Солдаты были новобранцами и не успели еще обрести хладнокровия и уверенности, которые скоро приобретут под началом своих генералов. Пришлось вернуться. Клебер с грозным спокойствием прикрыл отступление своей колонной. Эта вылазка, впрочем, принесла хотя бы ту пользу, что осажденные загнали сорок голов скота.

Шестнадцатого числа неприятель хотел взять приступом пост при Визенау, беспокоивший своей близостью к Рейну и правому флангу. Французы, несмотря на то что деревня была подожжена, ушли на кладбище и укрепились там; представитель Мерлен был с ними, и пост удалось сохранить благодаря чудесам храбрости.

Через десять дней пруссаки отправили в крепость ложного парламентаря, который сказал, будто прислан прусским королем с предложением гарнизону сдаться. Генералы, депутаты, солдаты, успевшие привязаться к крепости, притом убежденные, что оказывают отечеству большую услугу, удерживая Рейнскую армию на границе,

отвергли все предложения. Третьего мая король приказал взять пост при Костхайме на правом берегу, напротив Касселя. Защищал его Менье. Атака, начатая 3 мая и возобновленная 8-го, была оба раза отбита с большими потерями для осаждающих. Менье, со своей стороны, пробовал атаковать острова, занимающие устье Майна, – взял их, потом потерял опять, но оба раза обнаружил необыкновенную отвагу.

Тридцатого мая французы решили сделать общую вылазку на Мариенбург, где находился король Фридрих-Вильгельм. Пользуясь темнотой, шесть тысяч человек прошли ночью сквозь неприятельскую линию, взяли укрепления и проникли до главной квартиры. Когда наконец поднялась тревога, им пришлось справляться со всей армией: они возвратились, потеряв много людей. На другой день рассерженный король открыл свирепый огонь по городу. В этот же день Менье совершил новую попытку захватить острова. Раненый в колено, он вскоре умер, не столько от раны, сколько от разочарования, которое причинила ему необходимость бросить работы. Весь гарнизон присутствовал на его похоронах; прусский король велел остановить огонь, пока герою воздавались последние почести, и салютовал артиллерийским залпом. Останки были опущены в землю у Кассельского бастиона, воздвигнутого самим Менье.

Между тем из Голландии пришли ожидаемые транспорты. Пора было приниматься за осадные работы. Один прусский офицер советовал завладеть островом Петерзау, конец которого врезался в реку между городом и предместьем Кассель, поставить на нем батареи, разрушить плашкоутный мост и мельницы и овладеть Касселем, отрезав его от всякой помощи со стороны города и крепости. Затем офицер предлагал идти ко рву, через который протекал Цальбах, так как батареи на Петерзау служили бы достаточным прикрытием, и попытать счастья с этой стороны, защищаемой одною только оградой. План был смелый и опасный, так как следовало сперва высадиться на остров, потом броситься в ров под самый огонь батарей. Но зато и результата можно было ждать очень скорого. Высшее начальство предпочло открыть траншею со стороны двойной ограды напротив цитадели, хотя бы и пришлось устраивать двойную осаду.

Шестнадцатого июня заложили первую параллель в восьмистах шагах от первой стены. Осажденные всячески мешали работам;

пришлось несколько отступить. Восемнадцатого числа была заложена другая параллель, гораздо дальше, в полутора тысячах шагов, и это почтительное расстояние вызвало насмешки людей, предлагавших смелую атаку на Петерзау. Скоро неприятель опять придвинулся на восемьсот шагов и поставил батареи. Осажденные вновь прервали работы и заклепали орудия, однако были отогнаны непрерывным огнем. Двести орудий были нацелены на крепость 28 и 29 июня и закидывали ее снарядами. Плавающие батареи, пущенные по Рейну, тоже вредили городу, обстреливая его с наиболее открытой стороны.

Между тем последняя параллель еще не была открыта, первая стена не была разрушена и гарнизон, бодрый и свежий, и не помышлял о сдаче. Чтобы избавиться от плавающих батарей, французы бросались в воду и подрезали канаты неприятельских канонерок. Один храбрец вплавь притащил на буксире одну из этих лодок – с бывшими на ней восемьдесятю солдатами, которых взяли в плен.

Однако гарнизону приходилось очень тяжело. Мельницы были сожжены, молоть зерно можно было не иначе как на ручных мельницах, да и то никто не хотел заниматься этой работой, потому что неприятель, зная место, где стояли мельницы, закидывал его бомбами. К тому же и зерна почти уже не было; всякое мясо, кроме лошадиного, давно закончилось. Солдаты ели крыс и ходили на Рейн ловить мертвых лошадей, плывших по течению. Многие погибли от этой пищи; пришлось воспретить ее и поставить сторожей по берегам реки, чтобы запрет не нарушался. За кошку платили шесть франков, мясо павших лошадей продавалось по два франка за фунт.

Офицеры питались не лучше солдат: Обер-Дюбайе, пригласив обедать свой главный штаб, подал в виде изысканного угощения кошку с гарниром из двенадцати мышей. Всего прискорбнее в положении гарнизона было совершенное отсутствие всяких известий. Все сношения были так мастерски перерваны, что осажденные уже три месяца решительно ничего не знали о том, что происходило во Франции. Делали попытки уведомить своих о бедственном положении: однажды через даму, ехавшую в Швейцарию, в другой раз через священника, отправлявшегося в Нидерланды, наконец, через лазутчика, который брался пройти через неприятельский лагерь. Но ни одна из этих депеш не дошла по назначению. В надежде на то, что, может быть, кому-то

пришло в голову посылать им известия с верховьев Рейна посредством бутылок, предоставленных течению, осажденные стали расставлять неводы и каждый день снимали их, но ничего в них не находили.

Пруссак, пускавшийся на всякие хитрости, напечатал во Франкфурте несколько подложных номеров «Монитора», в которых говорилось, что Дюмурье низверг Конвент и Людовик XVII царствует. Занимавшие аванпосты пруссаки передавали эти поддельные номера гарнизонным солдатам, и это чтение сильно тревожило их и ко всем страданиям прибавляло еще тяжелую мысль о том, что они, быть может, защищают погибшее уже дело.

Однажды ночью вдруг раздался гром частой канонады. Гарнизон пробудился, радостно бросился к оружию, готовый идти на помощь своим и поставить неприятеля между двух огней. Тщетная надежда! Грохот пушек умолк – а избавители не явились. Наконец, положение сделалось до того невыносимым, что две тысячи жителей попросили разрешения уйти из города. Обер-Дюбайе разрешил им выйти, но они не были приняты осаждавшими, остались меж двух огней, и большая их часть погибла под стенами города. На другое утро многие солдаты принесли в своих плащах раненых детей.

Рейнско-мозельская армия не сдвинулась за всё это время ни на шаг. Кюстин командовал ею до июня. Он сильно приуныл после своего отступления и перестал колебаться только в апреле и мае. Генерал всё говорил, что у него еще недостаточно сил; что, только имея гораздо больше кавалерии, он может выдержать на равнинах Пфальца натиск неприятельской кавалерии; что у него мало фуража, нечем кормить лошадей и необходимо дожидаться, пока созреет рожь, чтобы можно было срезать ее на фураж; и вот тогда он пойдет выручать Майнц.

Богарне, его преемник, настолько же нерешительный, также упустил случай спасти этот город. Линия Вогезов, как известно, тянется вдоль Рейна и кончается недалеко от Майнца. Тот, кто займет оба склона этой цепи и главные ее проходы, пользуется громадным преимуществом, потому что может переходить то на одну, то на другую ее сторону. Рейнская армия занимала восточный склон, а Мозельская – западный. Силы герцога Брауншвейгского и Вурмзера были разбросаны у окончания цепи, по длинному кордону. Располагая проходами, обе французские армии могли соединиться на том или другом склоне,

задавить герцога и Вурмзера, напасть на осаждавших с тыла и спасти Майнц. Богарне, храбрый, но не предприимчивый человек, делал одни лишь неуверенные движения и не пошел на помощь майнцскому гарнизону.

Представители и генералы, запертые в Майнце, понимая, что не следует доводить дела до последней крайности, и если прождать еще неделю, то могут истощиться последние средства, а тогда придется сдаться в плен всем гарнизоном, тогда как если теперь же согласиться на капитуляцию, можно выговорить свободный выход со всеми военными почестями и сохранить все 20 тысяч человек, – решили, что надо сдать город. Конечно, в несколько лишних дней Богарне мог выручить гарнизон, но прождав так долго, позволительно было сомневаться в его помощи, а поводы к сдаче были самые уважительные.

Прусский король не поставил обременительных условий; он согласился на свободный выход гарнизона с оружием и обозами и потребовал только, чтобы гарнизон целый год не выступал против союзных держав. Но и внутри страны оставалось довольно врагов, против которых можно было с пользой применить этих превосходных солдат. Они были до того привязаны к своему посту, что не хотели повиноваться начальникам, когда потребовалось выйти из крепости, – любопытный пример стойкости духа и привязанности к месту, защищаемому в течение нескольких месяцев! Наконец гарнизон покорился, и, пока он проходил церемониальным маршем, прусский король, исполненный уважения к доблести славных солдат, окликал по имени наиболее отличавшихся и выражал им свое восхищение с рыцарственной любезностью. Это произошло 25 июля.

Мы оставили австрийцев блокировавшими крепость Конде и обложившими Валансьен осадой. Эти операции, которые велись одновременно с рейнскими, также приближались к концу. Принц Кобургский во главе наблюдательного корпуса стоял напротив Лагерь Цезаря; герцог Йоркский командовал осадным корпусом. Атака, сначала направленная против цитадели, потом была смещена на пункт между предместьем Марли и воротами Моне. Этот пункт был защищен хуже, ему и оказали предпочтение. Предлагалось днем обстреливать укрепления, а ночью поджечь город, чтобы больше напугать жителей и

скорее поколебать их.

Четырнадцатого июня городу предложили сдаться. Генерал Ферран и народные представители Кошон и Бриез ответили с большим достоинством. Их гарнизон составлял 7 тысяч человек, кроме того, они превосходно настроили жителей, из части которых организовали канонирские команды, оказавшиеся впоследствии весьма полезными.

Две параллели были заложены в ночь на 14-е, а затем в ночь на 19 июня и вооружены сильными батареями, устроившими ужасные опустошения. Жители и гарнизон отвечали с неменьшей энергией и несколько раз уничтожали работы осаждавших. Особенно ужасным был день 25 июня. Неприятель до полудня метал зажигательные снаряды, а город всё не отвечал; но в полдень со всех стен по траншеям открылся страшный огонь.

Двадцать восьмого июня была заложена третья параллель, и мужество жителей начало ослабевать. Часть города уже сгорела; дети, старики, женщины прятались по подвалам. Сдача Конде, покоренного голодом, еще увеличивала уныние осажденных. Кроме того, их сбивали с толку подосланные неприятельские эмиссары. Начались сходки, требовавшие капитуляции. Муниципалитет придерживался тех же мыслей и тайно разделял настроения горожан. Депутаты и Ферран ответили на эти требования с большой энергией и с помощью гарнизона разогнали сходки.

Двадцать пятого июля осаждавшие приготовили мины и собрались взять приступом прикрытый путь^[3]. К счастью для них, мины, заложенные гарнизоном, не сработали. Тогда атакующие кинулись вперед тремя колоннами, перешли за частоколы и проникли в прикрытый путь. Испуганный гарнизон уже отступал, бросая свои батареи, но генерал Ферран вернул его на стены. Артиллерия, совершавшая чудеса во время осады, и теперь причинила много вреда и остановила осаждавших буквально у ворот города. На следующий день герцог Йоркский опять предложил Феррану сдаться, причем предупредил генерала, что по истечении дня не примет уже никаких предложений и, заняв город, вырежет всех жителей. Вследствие этой угрозы опять начали собираться уличные сходки; толпа, состоявшая по большей части из вооруженных пистолетами и кинжалами людей,

окружила муниципалитет. Двадцать человек явились от имени всех и потребовали сдачи города. Военный совет заседал среди всей этой сумятицы; его члены не могли выйти; им объявили, что не выпустят их, пока они не решатся сдать город. Ко всему этому прибавлялись два пролома в городских стенах – сопротивляться уже не оставалось возможности, и город сдали 28 июля. Гарнизон вышел со всеми военными почестями, но должен был сложить оружие; впрочем, солдатам разрешили возвратиться во Францию с прежним условием не воевать в течение года. Так правительство получило в свое распоряжение еще 7 тысяч отличных солдат. Валансьен выдержал сорок один день бомбардировки; за это время на город было сброшено 84 тысячи ядер, 48 тысяч бомб и 20 тысяч гранат. Генерал и гарнизон исполнили свой долг, а артиллерия покрыла себя славой.

К этому времени от войны федералистов оставались только два очага: продолжались восстания, с одной стороны, в Лионе, с другой – в Марселе и Тулоне.

Лион хоть и соглашался признать Конвент, но отказывался повиноваться двум декретам: о пересылке в Париж дел, начатых против патриотов, и об образовании нового временного муниципалитета. Аристократы, скрывавшиеся в Лионе, пугали город, предсказывали вероятное возвращение прежнего муниципалитета из монтаньяров и вовлекали горожан в открытое восстание с его вполне реальными опасностями. Пятнадцатого июля лионцы убили двух патриотов, Шалье и Пикара, и с этого дня были объявлены бунтующими мятежниками. Находившиеся в Лионе два жирондиста Шассе и Бирото, увидев, что роялизм поднимает голову, поспешно удалились. Однако на место председателя народной комиссии, преданного эмигрантам, был назначен другой, и постановления сделались не столь уже враждебными. Лионом признавалась конституция и предлагалась полная покорность, с неизменным условием: быть уволенным от исполнения двух главных декретов. В то же время отливали пушки, копили военные запасы, и видно было, что распре разрешиться не иначе как оружием.

Марсель представлял гораздо более серьезную опасность. Марсельские отряды, после того как Карто отбросил их за Дюране, не могли оказать продолжительного сопротивления, но от Марселя

заразился мятежным духом Тулон, до тех пор вполне республиканский. Этот порт, один из лучших в мире и безусловно лучший на Средиземном море, возбуждал зависть англичан, крейсировавших у берегов Прованса. Английские эmissары интриговали в городе и подготавливали гнусную измену. Секции собрались там 13 июля и, в подражание всем прочим на юге, сменили муниципалитет и закрыли якобинский клуб. Власть, переданная в руки федералистов, легко могла перейти от одной фракции к другой, а затем – к эмигрантам и англичанам. Армия Ниццы была слишком слаба, чтобы предотвратить подобное несчастье. Следовательно, можно было опасаться чего угодно, и громадная грозовая туча, собиравшаяся на всем южном небосклоне, окончательно повисла над двумя городами – Лионом и Тулоном.

Итак, в последние два месяца положение выяснилось, опасность сделалась менее повсеместной, менее ошеломляющей и более определенной. В 1792 году, когда пруссаки шли на Париж и взяли Верден и Лонгви; в апреле 1793-го после отступления в Бельгии, после поражения при Неервиндене, отступления Дюмурье и первого восстания Вандеи; 31 мая 1793 года, после общего восстания департаментов, вторжения испанцев в Руссильон, потери лагеря при Фамаре – в эти три момента опасность была, несомненно, ужасающей, но едва ли столь определенной, как в этот четвертый и последний кризис Революции. Франция была менее невежественна и менее опытна в военном деле, нежели в сентябре 1792 года, менее запугана изменами, нежели в апреле 1793-го, менее измучена восстаниями, нежели 31 мая и 12 июня; зато если она закалилась и добилась большей покорности, то и подвергалась неприятельскому нашествию одновременно со всех сторон.

Но пятью или шестью аренами, на которых лилась человеческая кровь, еще далеко не ограничивались бедствия, в то время терзавшие Республику. Внутреннее состояние ее было не менее плачевно. Хлеб всё еще был дорог и не изобилен. Перед пекарнями люди всё еще дрались даже из-за маленьких булок. Торговцы не принимали ассигнаций в уплату за предметы первой необходимости. Нужда царила крайняя. Народ жаловался на скупщиков, не пускавших хлеб в продажу, и на биржевых спекулянтов, которые поднимали на него цены и подрывали кредит ассигнаций. Правительство, бедствовавшее не менее народа,

тоже должно было пробавляться одними ассигнациями, которые были дешевле наличных денег втрое, а иногда и вчетверо. Выпускать новые ассигнации тоже было нельзя – из опасения еще больше уронить их ценность. Словом, ни народ, ни правительство не знали, что делать дальше.

Между тем производство в стране не уменьшилось. Франция не имела пока недостатка ни в зерне, ни в сырье, ни в выделанных материалах, но равномерное распределение этого богатства сделалось невозможным по милости бумажных денег. Революция, низвергая монархию, хотела все-таки заплатить ее долги; отменяя продажность должностей, она обязалась возратить заплаченные за них деньги; наконец, защищая новый порядок против соединившейся Европы, она должна была нести расходы всеобщей войны; располагало же правительство при этом только национальным имуществом, отнятым у духовенства и эмигрантов. Чтобы пустить в оборот ценность этого имущества, новая власть придумала выпуск ассигнаций, которые были наглядным обозначением этой ценности. Но так как большинство сомневалось в окончательном успехе революции, то имущество не покупалось. Ассигнации оставались в обороте как неакцептованные векселя^[4] и падали в цене вследствие сомнений и своего огромного количества.

Одна звонкая монета оставалась неизменной мерой ценностей, а ничто так не вредит спорным бумажным деньгам, как соперничество денег металлических. Последние ежятся и прячутся, тогда как первые предлагаются в изобилии и этим роняют себя. Революция, роковым образом вынужденная прибегать к насильственным мерам, не могла остановиться. Она выпустила в принудительный оборот еще не реализованную ценность национальных имуществ; вольно или невольно она должна была стараться поддерживать их курс принудительными же мерами. Одиннадцатого апреля, вопреки жирондистам, которые боролись против роковой революционной необходимости честно, но неосторожно, Конвент издал закон, приговаривавший к шести годам каторги каждого, кто станет продавать металлические деньги, то есть менять известное количество золота или серебра на номинально большее количество ассигнаций. Такое же наказание

предусматривалось для тех, кто оценивает свой товар в зависимости от того, звонкой монетой или ассигнациями производится уплата за него.

В июне один металлический франк равнялся трем франкам ассигнациями, а в августе, всего двумя месяцами позднее, – шести; то есть ценность ассигнаций упала ровно наполовину.

При таком положении дел торговцы не продавали своих товаров по прежним ценам, так как предлагавшаяся им монета представляла лишь пятую или шестую долю своей номинальной цены. Все должники спешили платить свои долги, и кредиторы, вынужденные принимать фиктивную ценность, получали лишь одну четверть, одну пятую или шестую долю своего капитала. Наконец, рабочий люд, всегда находясь перед необходимостью предлагать свои услуги, продавать их каждому желающему купить их, не умея еще сговариваться, чтобы удваивать или утраивать заработную плату, по мере того как ассигнации падали в такой же пропорции, получал лишь часть того, что ему требовалось для покупки предметов первой необходимости. Торговец, наполовину разоренный, злился молча; но народ бесновался, называл торговцев скупщиками и душегубами и требовал, чтобы их отправили на гильотину.

Это прискорбное положение было естественным следствием выпуска ассигнаций, так же, как выпуск ассигнаций был неизбежным следствием выплаты старых долгов и расходов разорительной войны. По тем же причинам скоро должно было последовать назначение максимума. В самом деле, какой был бы прок в принудительном курсе, если бы торговцу удавалось простым повышением цен избавиться от необходимости покориться ему? Надо было сделать курс товаров таким же принудительным, как курс монеты. Уж если закон сказал, что «такая-то бумага стоит шесть франков», он должен был сказать также, что «такой-то товар стоит только шесть франков», иначе торговец, назначив этому товару цену в двенадцать франков, обходил закон.

Следовательно, пришлось, вопреки мнению жирондистов, приводивших превосходные доводы, почерпнутые из экономической науки, назначить максимум цен на хлеб. Величайшее страдание для народа – это недостаток хлеба. Голод более давал себя чувствовать в Париже, нежели где-либо во Франции, потому что труднее было набрать запасы для этого громадного города; рынки его отличались

большей неуправляемостью, фермеры боялись там показываться. Конвент не мог не издать 3 и 4 мая декрет, обязывавший всех торговцев хлебом объявлять, сколько у них хлеба, промолоть хлеб, хранившийся в скирдах, начать возить его на рынки и продавать по принудительным средним ценам, назначаемым каждой коммуной. Никому не дозволялось закупать для своего домашнего обихода более чем на месяц; кто покупал или продавал по цене выше максимума, подлежал пене в размере от трехсот до тысячи франков.

Начали проводить обыски для проверки показаний; кроме того, таблицы всех показаний должны были посылаться муниципалитетами министру внутренних дел, чтобы по ним можно было составить общую статистику продовольствия во Франции. Парижская коммуна, присовокупляя свои полицейские постановления к декретам Конвента, сверх того издала расписание для раздачи хлеба в пекарнях. В пекарни можно было являться только с билетами. На этих билетах, выдаваемых революционными комитетами, обозначалось количество хлеба, какое предъявитель имел право требовать и какое соразмерялось с числом лиц в семье. Предписывалось даже, каким порядком ждать очереди перед пекарней. К двери прикреплялась веревка; каждый держался за нее рукою, чтобы не терять очереди и чтобы не вышло беспорядка. Но рассерженные женщины часто перерезали веревку, следовали ужасные бесчинства, и для восстановления порядка требовалась вооруженная сила.

Вздорожание съестных припасов, приведшее к максимуму, распространялось на все товары первой необходимости. Мясо, овощи, плоды, пряности, освещение, топливо, питье, материя для одежды, кожа для обуви – всё дорожало по мере того, как ассигнации падали, и народ с каждым днем всё враждебнее смотрел на торговцев как на злонамеренных скупщиков. В феврале, как мы видели выше, парижане разграбили по совету Марата москательные лавки. В июле пришла очередь барок с мылом, пливших в Париж по Сене. Коммуна, придя в негодование, издала строжайшие постановления, и Паш напечатал следующее простое и лаконичное уведомление:

«От мэра Паша согражданам.

Париж заключает в себе семьсот тысяч жителей; почва Парижа

ничего не производит для их пропитания, одежды, содержания, следовательно, Париж должен всё извлекать из других департаментов и из-за границы.

Если жители будут расхищать съестные припасы и товары, которые приходят в Париж, то их перестанут присылать. Парижу нечем будет кормить, одевать, содержать своих многочисленных жителей, и семьсот тысяч человек, лишенные всего, пожрут друг друга».

Народ перестал грабить, но по-прежнему требовал грозных мер против торговцев, а Жак Ру поднял кордельеров, чтобы заставить Конвент внести в конституцию статью против скупщиков. Народное воображение всюду создавало себе чудовищ, всюду видело ожесточенных врагов, тогда как в действительности были только жадные игроки, которые пользовались злом, но не причиняли его.

Обеспечения ассигнаций стали искать за границей. Всякий спешил достать векселя Лондона, Амстердама, Гамбурга, Женевы, отдавал за них национальные имущества и тем еще более ронял ассигнации. На уплату векселей, превратившихся в гинеи и дукаты, шли остатки прежней роскоши: великолепная мебель, часы, зеркала, золоченая бронза, фарфор, картины, драгоценные издания. Но разменивалась лишь самая малая доля этих векселей. За ними охотились трусившие капиталисты, не решавшиеся эмигрировать и только желавшие добыть своему состоянию надежное обеспечение. Они составили особую массу капиталов, гарантированных заграничными банками и соперничавших с французскими ассигнациями. Есть поводы полагать, что Питт подговорил английских банкиров подписать множество таких бумаг и даже открыл значительный кредит с целью увеличить их количество и тем еще больше подорвать кредит ассигнаций.

Большим спросом пользовались также акции финансовых обществ, которые, казалось, стояли вне опасностей революции или контрреволюции и представляли выгодное помещение капитала. Акции Ссудно-учетной кассы (*La Caisse d'Escompte*) были еще в большом ходу, но акции Ост-Индской компании расхватавались с непомерной жадностью, потому что основывались на имуществе, до которого не могла добраться чернь, которое составлялось из кораблей, магазинов и складов, рассеянных по всему земному шару. Тщетно закон пытался

подчинить эти акции пошлине; правление компании обходило закон, уничтожая акции и заменяя их записью в учетных книгах, совершавшейся без всяких формальностей. Таким образом, государство лишалось большого дохода: предосторожности, принимаемые против биржевой игры, становились бесполезными. С шестисот франков акции компании постепенно поднялись до тысячи и даже двух тысяч франков, составляя конкуренцию революционной монете и подрывая ее.

Конкуренцию государственным ассигнациям составляли не только такого рода фонды, но и некоторые отделы государственного долга, даже другие виды ассигнаций. Имелись займы разных времен и разных типов, к примеру, относившиеся еще к эпохе Людовика XIII. В целом бумаги займов, предшествовавших конституционной монархии, предпочитались бумагам займов, открытых уже революцией. Но все эти бумаги составляли конкуренцию ассигнациям, залогом которых служили имущества, отнятые у духовенства и эмигрантов. Наконец, даже эти ассигнации ценились не одинаково. Из пяти миллиардов, выпущенных со времени учреждения ассигнаций, один вернулся вследствие покупки части национальных имуществ; в обороте оставалось около четырех миллиардов, а из них насчитывалось пятьсот миллионов, выпущенных при Людовике XVI, с изображением короля. Эти последние бумаги, как говорили, не совсем пропадут в случае успеха контрреволюции и будут приняты хотя бы за часть их номинальной цены. Поэтому они ходили на 10–15 % дороже других. Следовательно, республиканские ассигнации – единственное денежное средство правительства, единственная разменная монета народа – лишались всякого кредита и должны были бороться одновременно против металлических денег, товаров, иностранных бумаг, акций финансовых обществ, различных государственных займов, наконец, против королевских ассигнаций.

Война и страх нового, еще более ужасного переворота прервали многие торговые операции, вызвали много крупных ликвидаций и еще увеличили массу капиталов, ищущих гарантий. Эти накопившиеся капиталы служили ставкой в постоянной игре на бирже и превращались то и дело в золото, серебро, съестные припасы, векселя, акции, старые государственные бумаги и прочее. Появились, как водится, пылкие игроки, бросавшиеся на всякую азартную игру, спекулировавшие

случайностями торговли, продовольствованием армий, честностью правительства и т. д. Они извлекали выгоду из всех повышений цен, производимых падением ассигнаций; падение же это начиналось прежде всего на бирже, а затем продолжалось в лавках и на рынках. Однако товары дорожали не так быстро, как звонкая монета, потому что рынки далеки от биржи и не так чутки, притом торговцам столкнуться не так просто, как биржевикам, собирающимся в одной зале. Пятифранковая ассигнация, на бирже стоившая уже только два франка, на рынках стоила еще три, так что биржевики имели довольно времени для своих спекуляций.

Они составляли довольно значительный класс. Были меж ними иностранные банкиры, ростовщики, бывшие священники или дворяне, революционные выскочки, даже несколько депутатов. К чести Конвента, однако, следует сказать, что последних было не более пяти или шести; зато они пользовались чрезвычайным преимуществом: возможностью содействовать колебанию цен сделанными кстати предложениями. Они кутили и веселились с актрисами, бывшими монахинями или графинями, которые нередко переходили от роли любовниц к роли посредниц в делах. В основном двое депутатов занимались этими интригами: Жюльен, представитель Тулузы, и Делоне, представитель Анжера. Первый жил с графиней Бофор, второй – с актрисой Луизой Декуэн. Уверяют, будто Шабо, развратник, бывший капуцин, занимавшийся иногда финансовыми вопросами, участвовал в биржевой игре совместно с двумя братьями Фрей, изгнанными из Моравии за революционные убеждения. Фабр д'Эглантин тоже не брезговал этими делами; обвиняли даже Дантона, впрочем, не имея на то никаких доказательств.

Эти люди были по большей части преданы Революции и несколько не думали вредить ей, а только хотели, на всякий случай, обеспечить себя. Никто не знал всех их тайных происков, но так как они спекулировали в ущерб ассигнациям, то их винили в создании зла, из которого они лишь извлекали для себя выгоды. Так как заодно с ними действовали многие иностранные банкиры, то их называли агентами Питта и коалиции; столь страшное для всех тайное влияние английского министра мерещилось и тут. Одним словом, негодование было одинаково сильным против биржевиков и скупщиков, наказание

ожидало тех и других.

Итак, пока север и юг Франции, Рейн и Вандея терпели нашествия внешних и внутренних врагов, финансовые средства Франции составляли деньги, никем не признаваемые, представлявшие залог такой же неверный, как и сама революция, при каждом новом несчастном случае падавший в цене соответственно опасности. Опасность между тем росла, и, следовательно, средства должны были увеличиваться. Но они, напротив, убавлялись: военные припасы уходили от правительства, а съестные – от народа. Стало быть, следовало в одно и то же время создавать солдат, оружие, монету – и потом уже хлопотать о победе.

Глава XXVI

Отступление Северной армии из лагеря Цезаря – Годовщина 10 августа и празднество Конституции 1793 года – Новые декреты – Декрет против Вандей, иностранцев и Бурбонов

Представители, посланные первичными собраниями праздновать годовщину 10 августа и принять конституцию от имени всей Франции, прибыли в Париж. Этой минутой хотели воспользоваться, чтобы возбудить восторженный порыв и примирить провинции со столицей, и гостям приготовили блестящий прием. Торговцев созвали со всех окрестностей. Была в большом количестве накоплена провизия, голод не испортил праздника и представители насладились зрелищем мира, порядка и довольства. Даже всем держателям дилижансов был отдан приказ уступать представителям места, хотя бы прежде занятые другими пассажирами.

Администрация департамента, которая наперебой с коммуной старалась отличиться суровым слогом речей и прокламаций, сочинила адрес к братьям из первичных собраний. «Здесь, – говорилось в этом адресе, – люди, прикрытые личиной патриотизма, будут с восторгом говорить вам о свободе, равенстве, Республике, единой и нераздельной, тогда как в глубине души они стремятся лишь к восстановлению монархии и уничтожению своего отечества. Это богачи; а богачи во все времена гнушались добродетели и убивали нравственность. Тут вы найдете развратных женщин, слишком обольстительных, которые будут стараться вовлечь вас в порок. Бойтесь, бойтесь в особенности бывшего Пале-Рояля: именно в этом саду вы найдете коварных. Этот знаменитый сад, колыбель Революции, недавно еще приют друзей свободы и равенства, ныне сделался, несмотря на наш надзор, не чем иным, как грязным стоком общества, притоном злодеев, вертепом всех заговорщиков... Бегите от этого зачумленного места; предпочитайте опасному зрелищу роскоши и разврата полезные картины трудолюбивой добродетели; посетите предместья, основу нашей свободы, войдите в мастерские, где люди деятельные, простые и

добродетельные, как и вы готовые защитить отечество, давно ждут вас, чтобы теснее сплотить узы братства. А главное – бывайте в наших народных обществах. Соединимся, воодушевимся в виду новых опасностей, грозящих отечеству, и поклянемся предать тиранов смерти и истреблению!»

Представителей первым делом повлекли в Клуб якобинцев, где их приняли с величайшей предупредительностью и предложили свою залу для собраний. Они приняли предложение, и было решено, что они будут совещаться среди самого общества и сольются с ним на всё время своего пребывания в Париже. Таким образом, в Париже образовалось внезапно четыреста лишних якобинцев. Общество, заседавшее через день, решило собираться ежедневно, чтобы иметь больше времени для совещаний. Говорили, что некоторые представители клонились к снисхождению, и им было поручено просить общей амнистии в день принятия Конституции. Действительно, многих занимала мысль, как спасти пленных жирондистов и других политических арестантов. Но якобинцы не хотели никакого соглашения, они жаждали мщения. «Комиссаров первичных собраний оклеветали, – заявил сторонник якобинцев Гассенфратц, – распространяя слух, будто они намерены предложить амнистию; они на это неспособны и скорее присоединятся к якобинцам, требуя наказания всех изменников». Представители приняли эти слова к сведению, и если некоторые из них, впрочем, не многие, и продолжали желать амнистии, но ни один не осмелился вслух высказать такое предложение.

Утром 7 августа их везут в коммуну, а из коммуны в бывший епископский дворец. Там готовят примирение департаментов с Парижем, потому что именно оттуда исходили первые действия против народного представительства. Мэр Паш, прокурор Шометт и весь муниципалитет идут во главе шествия. С той и другой стороны начинаются речи. Парижане объявляют, что никогда не думали пренебрегать правами департаментов или присваивать их себе; представители, в свою очередь, признают, что на Париж клеветали. Все обнимаются в неизреченном восторге. Вдруг возникает порыв идти в Конвент и сообщить ему о свершившемся примирении. Все отправляются и беспрепятственно попадают в залу заседаний. Прения прерываются, один из посланцев говорит: «Граждане депутаты, мы

пришли сообщить вам о трогательной сцене, происшедшей сейчас в зале избирателей, куда мы ходили, чтобы подарить лобзание мира нашим парижским братьям. Скоро, надеемся, головы клеветников, очернивших этот республиканский город, падут под мечом закона. Мы все монтаньяры; да здравствует Гора!»

Другой делегат выражает желание, чтобы все по-братски облобызались. Трогательная и восторженная сцена продолжается несколько мгновений, после чего представители торжественно проходят через залу с криками «Да здравствует Гора!», «Да здравствует Республика!» и песней «Карманьола».

Затем представители вновь отправляются в Клуб якобинцев и составляют там от имени всех делегатов первичных собраний адрес к департаментам, объявляющий, что Париж оклеветали: «Братья и друзья! Успокойтесь! Мы здесь все воодушевлены одним чувством. Все души наши слились, и торжествующая свобода покоит взоры свои на одних только якобинцах, братьях и друзьях. Болота более не существует. Мы все здесь образуем одну громадную, грозную Гору, которая скоро будет изрыгать пламя на всех роялистов и сторонников тирании. Пусть гибнут сочинители гнусных пасквилей, оклеветавшие Париж!.. Мы бодрствуем день и ночь и трудимся сообща с нашими столичными братьями для общего блага... Мы вернемся домой не иначе как с вестью о том, что Франция свободна и отечество спасено». Этот адрес, чтение которого вызвало восторженные рукоплескания, посылают в Конвент для немедленного внесения в бюллетень заседания. Всех охватывает какое-то опьянение, множество ораторов осаждают кафедру. Робеспьер при виде общего смятения просит слова. Каждый охотно уступает ему. Якобинцы, комиссары, все аплодируют знаменитому оратору, которого многие еще никогда не видели и не слышали.

Робеспьер поздравляет департаменты с тем, что они спасли Францию. «Они раз уже спасли ее, — говорит он, — в 89 году, добровольно вооружившись; в другой раз — придя в Париж для совершения дела 10 августа; наконец, теперь в третий раз, даря столице зрелище согласия и общего примирения. В настоящее время тяжкие события удручают Республику и подвергают опасности ее существование; но республиканцы не должны ничего бояться, и им надлежит с недоверием относиться к душевному волнению, которое

легко может вовлечь их в беспорядки. И теперь есть люди, которые хотели бы вызвать голод и бунт – подговорить народ идти в арсенал и расхватать припасы или даже поджечь его, как это происходило недавно в нескольких городах.

Наконец, эти люди всё еще не отказываются от мысли вызвать события в тюрьмах, чтобы опять оклеветать Париж и разорвать согласие, в котором только что поклялись. Берегитесь всех этих ловушек, будьте покойны духом и тверды; смотрите бесстрашно в лицо бедствиям отечества; будем все трудиться над спасением его». Собрание успокаивается и расходится, поприветствовав разумного оратора многократными рукоплесканиями.

В последующие дни в Париже не было беспорядков, но не забыли ничего, что могло бы расшевелить воображение народа и расположить его к самоотверженной восторженности. Ни одной опасности, ни одной несчастной вести от людей не скрывали. Одно за другим разглашались поражения в Вандее, всё более угрожающие известия из Тулона, попятное движение Рейнской армии, отступавшей перед победителями Майнца, наконец, крайняя опасность, в которой находилась Северная армия, выступившая из Лагеря Цезаря: австрийцы, англичане, голландцы, взяв Конде, Валансьен и составив двойную силу, могли уничтожить ее одним ударом. От Лагеря Цезаря до Парижа было никак не более сорока лье и ни одного полка, ни одного препятствия, могущего задержать неприятеля. Как только не стало бы Северной армии, всё бы погибло; поэтому с большой тревогой собирались малейшие слухи, доходившие с этой границы.

Опасения были на этот раз основательны, и в эту минуту лагерь действительно находился в величайшей опасности. Вечером 7 августа союзники подошли к нему и стали угрожать со всех сторон.

Между Камбре и Бушеном тянется ряд возвышенностей. Шельда, протекая между ними, защищает их. Эта-то позиция, опирающаяся на две крепости и окаймленная рекой, называлась Лагерем Цезаря. Герцог Йоркский, взявшись обойти французов, явился перед Камбре, крепостью, образовавшей правое крыло Лагеря Цезаря. Он пригласил город сдаться; комендант в ответ запирает ворота и сжигает предместья. В тот же вечер принц Кобургский с войском в 40 тысяч человек двумя

колоннами подходит к берегу Шельды и располагается биваком перед самым лагерем. Удушливая жара лишает сил людей и лошадей; в течение этого дня несколько солдат умирают от солнечного удара. Кильмен, назначенный на место Ктостина, но согласившийся принять начальство только временно, не считает возможным удержаться в такой опасной позиции. Угрожаемый справа герцогом Йоркским, имея едва 35 тысяч человек, притом упавших духом, против 70 тысяч победоносных солдат, он находит более благоразумным отступить и выиграть время, перейдя на другую позицию. Линия реки Скарп, за линией Шельды, кажется ему подходящей для этой цели. Между Аррасом и Дуэ ряд возвышенностей, окаймленных Скарпом, образуют лагерь, подобный Цезареву, и тоже опирающийся на две крепости и защищаемый рекой. Кильмен готовится начать отступление на следующее утро.

Он распоряжается отправить свой главный корпус через речку Сенс, протекавшую с тыла вдоль занимаемой им местности, а сам решает пойти с сильным арьергардом вправо, куда уже подошел герцог Йоркский. На заре тяжелая артиллерия, обоз и пехота трогаются с места, переходят Сенс и уничтожают все средства переправы. Час спустя Кильмен с несколькими батареями легкой артиллерии и сильным отрядом кавалерии поворачивает, согласно плану, направо. Он не мог явиться более кстати. Два батальона, отставшие и заблудившиеся, застряли в местечке Маркьон и энергично защищались от англичан. Несмотря на все их усилия, неприятель уже начинал окружать их. Кильмен, подоспевший в эту минуту, ставит свою легкую артиллерию с фланга англичан, пускает на них кавалерию и заставляет отступить. Батальоны высвобождаются и догоняют войско. Тогда англичане и союзники, одновременно подойдя к Лагерю Цезаря с правой стороны и с фронта, находят его уже совершенно пустым. Наконец, уже к вечеру, французы благополучно собираются в лагере Гаврель, опираясь на Аррас и Дуэ и имея перед собой Скарп.

Итак, 8 августа Лагерь Цезаря оставлен, как был оставлен перед тем и лагерь при Фамаре. Камбре и Бушей предоставлены собственным силам, как Валансьен и Конде. Линия Скарпа, лежащая позади линии Шельды, находится, как известно, не между Шельдой и Парижем, а между Шельдой и морем. Следовательно, Кильмен отступил в сторону, а не назад, и этим открыл часть границы и дал союзникам возможность

свободно перемещаться по всему департаменту Нор. Теперь вопрос был в том, что они сделают? Двинутся ли еще на один день, чтобы напасть на лагерь при Гавреле и постараться разбить ускользнувшего неприятеля? Пойдут ли на Париж или возвратятся к своему прежнему плану против Дюнкерка? Пока союзники двинули несколько отрядов до Перонна и Сен-Кантена; в Париже с ужасом узнали, что Лагерь Цезаря потерян, а Камбре выдан врагам, как Валансьен. На Кильмена накидываются со всех сторон, забывая о громадной услуге, которую он оказал во время отступления.

Торжественное празднество 10 августа, долженствовавшее наэлектризовать все умы, готовилось среди этих зловещих слухов. Девятого числа Конвенту представили отчет о подсчете голосов. Оказывается, все сорок четыре тысячи муниципалитетов приняли конституцию, за исключением Марселя, Корсики и Вандеи. Единственная община, Сен-Тонан, в департаменте Кот-дю-Нор, осмелилась требовать восстановления Бурбонов на престоле.

Десятого августа празднество начинается с самого рассвета. Знаменитый живописец Давид назначен распорядителем. В четыре часа утра кортеж уже находится на площади Бастилии. Конвент, делегаты первичных собраний, из которых выбраны восемьдесят шесть человек по старшинству лет, народные общества и все вооруженные секции размещаются вокруг большого фонтана, названного фонтаном Возрождения. Этот фонтан представляет собой колоссальную статую Природы, из груди которой в обширный бассейн льется вода. Как только первые лучи солнца золотят крыши зданий, восход приветствуют строфами, положенными на музыку «Марсельезы». Президент Конвента берет чашу, проливает на землю часть воды Возрождения, потом пьет и передает чашу представителям департаментов, которые пускают ее по кругу. Совершив этот обряд, шествие трогается в путь по бульварам. Первыми идут народные общества со знаменами, потом Конвент в полном составе. Каждый депутат держит букет из колосьев, а восемь человек, идущих в центре, несут на плечах ковчег с Конституцией и Декларацией прав человека. Вокруг Конвента представители департаментов образуют цепь и идут соединенные трехцветным шнуром. Каждый держит в руках масличную

ветку – знак примирения провинций с Парижем, и пику, изображающую согласие и силу департаментов. За этой частью шествия следуют народные группы, несущие орудия разных ремесел. Среди них на плуге едут старик со старухой, которых везут их сыновья. Следом едет военная колесница, на которой покоится урна – память о воинах, умерших за отечество. Шествие замыкают телеги с наваленными в кучу скипетрами, коронами, гербами и коврами с лилиями.

Шествие направляется к площади Революции. Проходя по бульвару Пуассоньер, президент Конвента подает лавровую ветвь героиням 3 и 6 октября, восседающим на своих пушках. На площади Революции он останавливается еще раз, поджигает все инсигнии монархии и дворянства, сваленные на телегах, и наконец срывает покров, накинутый на статую. Открытие статуи сопровождается пушечными залпами, и в то же мгновение тысячи птиц с привязанными к шее легчайшими полосками бумаги, выпущенные на свободу, взвиваются под небеса, как бы возвещая, что земля освобождена.

Потом шествие направляется через площадь Инвалидов к Марсову полю и торжественно проходит перед колоссальной статуей, изображающей народ, который, поборов федерализм, втоптывает его в болото. На Марсовом поле кортеж разделяется на две колонны, которые растягиваются вокруг Алтаря Отечества. Президент Конвента с основными представителями департаментов занимают самую вершину жертвенника; делегаты и представители первичных собраний становятся по ступеням. Народные группы по очереди кладут вокруг алтаря продукты своего ремесла – ткани, плоды, разнообразные предметы. Затем президент, собрав все акты, которые уже отметили первичные собрания, слагает их на жертвенник. Общий пушечный залп раздается в ту же минуту; вся громадная толпа сливает свой мощный голос с грохотом орудий и клянется защищать революцию – пустейшая клятва относительно буквы конституции, но геройская и свято исполненная, если иметь в виду родную землю и самую революцию! Действительно, конституций перебивало и перешло много, но землю и революцию защищали с геройским упорством.

После этой церемонии представители вручают свои пики президенту, который образует из них связку и вверяет, вместе с конституционным актом, делегатам первичных собраний, увещевая их

объединить все силы вокруг ковчега нового союза. Потом собрание расходится. Часть кортежа провожает урну в храм, для нее назначенный; другая сопровождает ковчег конституции к тому месту, где он должен храниться до следующего дня, когда будет возвращен в залу Конвента. Остаток дня заняло большое представление, изображавшее осаду и бомбардировку Лилля и героическую защиту этого города.

Таков был третий праздник Федерации. В нем уже не участвовали, как в 1790 году, все сословия великого народа, на мгновение слившиеся в общем упоении, наскучившие взаимной ненавистью, простившие друг другу на несколько часов различие званий и убеждений. На этот раз праздник отмечал народ, который говорил уже не о прощении, а об опасности, самоотвержении, отчаянных решениях и с исступлением наслаждался всей этой колоссальной праздничной обстановкой, готовясь на другой же день отправиться на поле брани. Одно обстоятельство возвышало характер этой сцены и искупало ее нелепые стороны, которые нетрудно отыскать враждебно-критическому взгляду: присутствие опасности и увлечение, с которым все эти люди шли ей навстречу. Четырнадцатого июля 1790 года революция была еще невинна и добродушна, но она могла также быть недостаточно серьезной, могла закончиться как фарс – вмешательством иностранных штыков. В августе 1793-го она была трагически великой, ознаменованной победами и поражениями, серьезной, как бесповоротное и героическое решение.

Настала минута принять серьезные меры. Всюду бродили самые эксцентричные мысли: предлагалось отстранить всех дворян от государственных должностей; издать закон о поголовном заключении в тюрьму подозрительных лиц, против которых еще не имелось точного закона; созвать ополчение, завладеть всеми припасами и поместить их на склады для раздачи правительством отдельным лицам. Наконец, придумывали и никак не могли придумать средство для немедленного обеспечения достаточных сумм. Отдельно вели речь о том, чтобы Конвент сохранил власть и не уступал ее новым законодателям и чтобы ковчег конституции остался под покрывалом, пока не будут разбиты все враги Республики.

Все эти мысли предлагались в Клубе якобинцев. Робеспьер уже не сдерживал порывов, а, напротив, возбуждал их, особенно настаивая на необходимости сохранить Конвент, и это был мудрый совет. Распустить в такую минуту собрание, которое держало в своих руках всю правительственную власть и в среде которого наконец прекратились раздоры, и заменить его собранием новым, неопытным, в котором возобновилась бы игра партий, – стало бы пагубным делом. Делегаты провинций, окружив Робеспьера, объявили, что поклялись не расходиться, пока Конвент не примет нужных мер для общего блага, и что они принудят его продолжать свои труды. Одуэн, зять Паша, предложил потребовать поголовного ополчения и ареста всех подозрительных лиц. Комиссары первичных собраний в ту же минуту составили петицию и на другой день, 12 августа, явились с нею в Конвент. Они потребовали, чтобы Конвент сам взял на себя заботу о спасении отечества, чтобы не было никакой амнистии, чтобы подозрительные лица были арестованы и первыми посланы против неприятеля, а народное ополчение шло вслед за ними.

Часть этих предложений приняли. Аресты подозрительных лиц утвердили в принципе, но проект поголовного ополчения, как избыточный, отослали на рассмотрение Комитету общественного спасения. Якобинцы, далеко не удовлетворенные, начали настаивать на своем и продолжали повторять у себя в клубе, что нужно движение не частное, а всеобщее.

В последующие дни комитет внес свой доклад и предложил декрет слишком неопределенный и прокламации слишком холодные. «Комитет сказал не всё! – воскликнул Дантон. – Он не сказал, что если Франция будет побеждена, растерзана, то богатые станут первыми жертвами алчности тиранов; он не сказал, что побежденные патриоты скорее сами изорвут и подожгут Республику, чем предадут ее в руки дерзких победителей! Вот что нужно втолковать богатым эгоистам. На что надеетесь вы? Вы, которые не хотите ничего сделать для спасения Республики? Полюбуйтесь, какой была бы ваша участь, если бы свобода пала! Регентство в руках полоумного, малолетний король, долгое несовершеннолетие, наконец, раздробление наших областей и страшный разрыв! Да, богачи, тогда на вас свалились бы все налоги, из вас выпили бы соков больше, в тысячу раз больше того, что вам

придется истратить для спасения отечества и свободы!.. Конвент держит в руках народные громаы – пусть же он мечет их в головы тиранам! В его распоряжении комиссары первичных собраний, свои собственные депутаты – пусть же он разошлет их распорядиться всеобщим вооружением».

Проекты законов опять отослали комитету. На другой день якобинцы снова отправили комиссаров первичных собраний в Конвент. Они еще раз потребовали всеобщего ополчения, говоря, что полумеры смертельны, потому что всю нацию легче расшевелить, нежели часть граждан. «Если, – присовокупили они, – вы потребуете еще сто тысяч солдат, стольких не найдется; но миллионы людей отзовутся на общий клич. Пусть ничем не сможет отговориться ни один гражданин, физически способный носить оружие, чем бы он ни занимался; пусть только земледелию будет оставлено необходимое число рук, пусть течение торговли на время будет приостановлено, пусть прекратится всякое дело и пусть великим, единственным, общим делом всех французов станет спасение Республики!»

Конвент был не в состоянии долее противиться столь настоятельному требованию. Поддавшись всеобщему увлечению, он приказал своему комитету удалиться, чтобы сию же минуту составить проект поголовного ополчения. Комитет возвратился всего через несколько минут и внес следующий проект, который приняли среди общего восторга.

«Ст. 1. Французский народ заявляет, что весь восстанет для защиты своей свободы, своей конституции и для того, чтобы наконец избавить свою территорию от врагов.

Ст. 2. Комитет общественного спасения завтра внесет проект организации этого великого национального движения».

Другими статьями назначались восемнадцать представителей для рассылки их по всей Франции с поручением руководить делегатами первичных собраний при сборе реквизиций людьми, лошадьми, военными и съестными припасами. Когда уже был дан этот главный импульс, всё становилось возможно. Когда уже было объявлено, что вся Франция – люди, равно как и вещи – принадлежит правительству, правительство это, сообразно своим возрастающим познаниям и энергии, могло делать всё, что сочтет справедливым и необходимым.

Конечно, не было надобности буквально поднимать всё население поголовно, прерывать производство, необходимое для пропитания страны; но нужно было, чтобы правительство могло потребовать всего этого.

Следовало в одно и то же время поставить население на ноги, снабдить его оружием и достать денег на это громадное предприятие какой-нибудь новой финансовой мерой. Надо было соотнести бумажные деньги с ценами; распределить армии и военачальников, приноравливаясь к каждому театру войны. Наконец, удовлетворить революционный гнев многочисленными казнями. Сейчас мы увидим, что сделало правительство, чтобы удовлетворить и эти неотложные нужды, и эти дурные страсти, которым оно вынуждено было покориться, так как они были неразлучны с энергией, спасающей народ в опасности.

Требовать от каждой местности положенного контингента людей при существующих обстоятельствах не приходилось: это значило бы выказать сомнение в восторженном патриотизме французов, а чтобы внушить этот патриотизм, приходилось делать вид, что он предполагается как нечто само собой разумеющееся. Притом этот германский способ устанавливать налог людьми так же, как деньгами, был противен самому принципу поголовного ополчения. Всеобщий набор по жребию тоже был делом неподходящим. Так как призваны были бы не все, то каждый стал бы стараться отделиться от общего дела и сетовал на судьбу, принудившую его служить. Ополчение, правда, подвергало Францию опасности всеобщего расстройства и вызывало насмешки более умеренных революционеров. Комитет общественного спасения придумал средство, самое приличное обстоятельствам: объявить всё население в распоряжении правительства, разделить его на поколения и отправлять эти поколения по порядку лет, по мере надобности. «С этой минуты, – гласил декрет от 23 августа, – и до той, когда враги будут прогнаны с территории страны, все французы находятся в состоянии постоянной реквизиции для военной службы. Молодые люди пойдут в бой; семейные люди будут ковать оружие и перевозить припасы; женщины будут изготовлять палатки, одежду, исправлять лазаретную службу; дети будут щипать корпию из старого белья; старики хоть на руках заставят себя нести на публичные

площади, чтобы воспламенять мужество воинов, проповедовать ненависть к королям и любовь к Республике».

Все холостые молодые люди или бездетные вдовцы (от 18 до 25 лет) должны были составить первый призыв или, как это тогда называлось, первую реквизицию. Они должны были собираться тотчас же – в главных городах округов, а не департаментов: после всплеска федералистского движения правительство опасалось больших собраний по департаментам, которые внушали жителям сознание собственной силы и мятежные мысли. К тому же было бы очень затруднительно скопить в одном городе продовольствие, необходимое для такого большого количества народа. Батальоны, сформированные в главных городах округов, должны были немедленно приступить к военным учениям и быть в готовности отправиться в самом скором времени.

Поколению 25–30 лет было велено готовиться, а пока нести внутреннюю службу. Остальные – до 60 лет – оставались в распоряжении народных представителей, отправленных для произведения постепенного набора. В то же время поголовное и немедленное ополчение постановлялось в некоторых наиболее угрожаемых местностях: Вандее, Лионе, Тулоне, на Рейне и т. д.

Средства, используемые для вооружения, размещения, прокорма ополченцев, соответствовали обстоятельствам. Все лошади и вообще все выючные животные, без которых могли обходиться земледелие и фабрики, отдавались в полное распоряжение организаторов армий. Мушкеты отдавались выступавшим, охотничьи оружия и пики сохраняли для внутренней службы. В тех департаментах, где можно было учредить оружейные заводы, отводились под мастерские площади и большие дома, входившие в число национальных имуществ. Главный такой завод находился в Париже. Кузницы помещались в Люксембургском саду, сверлильные машины стояли на берегах Сены. Все рабочие по оружейной части были взяты на реквизицию так же, как и часовщики, которые в это время сидели почти без работы. Для этого одного завода в распоряжение военного министра было отдано тридцать миллионов франков. Эти чрезвычайные средства должны были использоваться до тех пор, пока производство ружей дойдет до тысячи в день. А в Париже этот завод был учрежден потому, что там, под надзором правительства и якобинцев, всякое нерадение становилось

невозможным и все рассчитывали на чудеса быстроты и энергии. Завод действительно в весьма скором времени вполне выполнил свою задачу.

Сказался недостаток в селитре – придумали извлекать ее из погребов и подвалов. Для этого необходимо было осмотреть все погреба и подвалы и исследовать, содержит ли земля, в которой они вырыты, сколько-нибудь селитры. И каждому землевладельцу пришлось покориться этой мере и дозволить выщелачивание земли там, где в ней оказывалась селитра.

Дома, уже включенные в национальные имущества, были превращены в казармы и магазины.

Для доставки продовольствия ополченцам были приняты разные меры, не менее предыдущих выходившие из ряда обыкновенных. Якобинцам хотелось, чтобы Республика, получив список всех имевшихся припасов, сама всё скупил и потом раздавала бы солдатам даром, а прочим гражданам – по умеренным ценам. Им хотелось, чтобы правительство решительно за всё бралось само, и они обижались, что Конвент не слепо следовал их советам. Впрочем, депутаты приказали поспешить с составлением списков, уже заказанных муниципалитетам, и прислать их безотлагательно в министерство внутренних дел для составления общей статистики потребностей и средств; домолотить хлеб там, где это еще не сделано; собрать с фермеров и владельцев хлеба недоимки за две трети 1793 года.

Способ исполнения этих необычайных мер тоже не мог не быть необычайным. Вверенные местным властям ограниченные полномочия, которые ежеминутно задерживались бы сопротивлением, негодились ни по свойству постановленных мер, ни по их безотлагательности. Диктатура комиссаров Конвента и тут была единственно возможным средством. Такие комиссары были посланы уже для первого набора в 300 тысяч человек, постановленного в марте, и исполнили свое дело хорошо и скоро. Когда их посылали в армии, они получали контроль над начальниками и их операциями, иногда мешали специалистам, основательно знавшим военное дело, но всюду воспламеняли усердие и внушали волю и энергию. В осаждаемых крепостях, как, например, в Майнце и Валансьене, они геройски выдерживали труд и лишения осады. Разосланные по провинциям, они всячески способствовали подавлению федерализма. Поэтому и теперь назначили комиссаров с

неограниченной властью. Имея под своим началом делегатов первичных собраний с правом во всем руководить ими и передоверять им часть своих полномочий, комиссары постоянно держали под рукой верных людей, коротко знакомых с состоянием каждой местности и пользовавшихся лишь такой долей власти, какую им было решено предоставить, смотря по надобности. В провинциях уже находились несколько представителей – в Вандее, Лионе, Гренобле и т. д.; было назначено еще восемнадцать.

К этим военным мерам следовало присоединить еще и финансовые, чтобы было чем покрыть военные расходы. Известно, каково было положение Франции в этом отношении. Что же было делать при таких условиях? Занять или выпустить еще ассигнаций? Занять было невозможно при том беспорядке, в котором находился государственный долг, и малом доверии к обязательствам Республики. Выпустить ассигнации было легко: стоило только засадить за работу национальную типографию. Но для покрытия расходов следовало выпустить громадную массу бумажных денег, раз в пять или шесть больше номинальной суммы, а этим неизбежно увеличить бедственное падение их стоимости и вызвать новое вздорожание товаров.

Мы увидим сейчас, какая гениальная мысль пришла в голову людям, взявшимся оснастить Францию. Первой и самой необходимой мерой было привести в порядок государственный долг, сделать так, чтобы он не был более раздроблен на контракты всех форм и всех времен и своим разнообразным происхождением и свойствами не подавал повод к биржевым спекуляциям. Чтобы знать всё об этих старых бумагах, проверить их, рассортировать, требовалась особая наука, и вся счетная часть отличалась потому ужасающей сложностью. Человек, получавший государственную ренту, мог получать ее только в Париже, да еще нередко из двадцати разных рук, вследствие раздробления кредита на разные части. Существовал долг так называемый утвержденный, долг со срочным платежом, долг ликвидационный и т. д., так что казначейство каждый день вынуждено было производить уплаты и беспрестанно добывать на это суммы. «Надо сделать долг однородным и республиканским, – заявил Камбон и предложил занести все обязательства в книгу под названием Большая книга государственного долга – с тем, чтобы эти записи и выдаваемые

по ним бумаги составляли единый реестр для кредиторов. Для спокойствия последних другой экземпляр этой книги предлагалось хранить в архивах казначейства; ей не более грозили опасности от огня или других случайностей, нежели реестрам, хранившимся у нотариусов.

Кредиторы обязывались в известный срок представить свои рентные свидетельства, которые по совершении записи должны были сжигаться. Нотариусам было приказано представить все свидетельства, у них хранившиеся, и объявлено наказание в десять лет каторги за утаивание или выдачу копий с них. Если кредитор не являлся в течение полугода, он лишался процентов, а после года – и всего капитала, теряя все свои права. «Таким образом, – объяснял Камбон, – долг, заключенный деспотизмом, ничем не будет отличаться от долга, заключенного после Революции. Когда состоится эта операция, вы увидите, что капиталист, желающий иметь короля, потому что король ему должен и он боится потерять свои деньги, станет желать продолжения Республики, потому что будет бояться, лишаясь ее, лишиться своего капитала».

В этом заключалась не единственная выгода операции: были и другие, не меньшие, но самое главное – ею открывалась система общественного кредита. Капитал каждого долга превращался в вечную ренту, притом 5-процентную. Стало быть, кредитор на сумму в тысячу франков попадал в Большую книгу с рентой в 50 франков. Таким образом, старые долги, некоторые из которых давали ростовщический процент, а по другим несправедливо удерживалась часть процентов или взимались какие-нибудь пошлины, приводились к одинаковой и справедливой процентной норме. Государство, превращая свой долг в вечную ренту, не могло оказаться перед необходимостью возвратить весь капитал. Кроме того, оно открывало себе возможность легко и выгодно расплатиться совсем: скупать ренту на бирже, когда она почему-нибудь упала бы ниже курса. Так, если рента в 50 франков дохода и тысячу франков капитала будет стоить только 900 или 800 франков, объяснял Камбон, то государство останется в прибыли на одну десятую или одну пятую долю капитала, купив ее на бирже.

Итак, запись в Большой книге упрощала форму долга, обуславливала существование долга существованием Республики и превращала капитал долга в вечную ренту по процентной норме,

одинаковой для всех записей. Эта простая мысль была отчасти заимствована у англичан, но требовалось большое мужество, чтобы применить ее во Франции, а сделать это именно теперь было двойной заслугой. Конечно, несколько форсированной может показаться операция, имеющая целью так круто изменить самую сущность долга, привести процент к единой норме, лишить всех прав кредиторов, которые не согласились бы на это превращение; но для государства лучший порядок – справедливость, а это обширное и энергичное уравнивание государственного долга было вполне достойно революции смелой и цельной, задававшей мыслью всё подчинить общему праву.

Проект Камбона соединял со смелостью самое строгое уважение к обязательствам на определенный срок, принятым относительно иностранцев. Он гласил, что так как за границей ассигнации не принимаются, то иностранным кредиторам будут производиться выплаты металлическими деньгами. Кроме того, так как коммуны делали свои особые долги, то государство брало эти долги на себя и отнимало из их имуществ лишь столько, сколько требовалось для покрытия уплаченных сумм.

Проект этот был принят целиком и так же хорошо выполнен, как и задуман. Уравненный таким образом капитал долга был превращен в ренту, равнявшуюся 200 миллионам ежегодно. Прежние разного рода пошлины, лежавшие на нем, сочли за лучшее заменить общим равным налогом, при этом вычиталась одна пятая доля всей ренты. Исчез один из главных источников биржевой игры, и доверие начало возрождаться, потому что частное банкротство сделалось невозможным, а общее по всему долгу трудно было предположить.

С этой минуты становилось легче прибегнуть к новому займу. Далее мы увидим, как эта мера послужила к поддержке ассигнаций.

Богатство, которым Революция располагала для своих чрезвычайных надобностей, всё еще заключалось единственно в национальных имуществях. Этот капитал, представляемый ассигнациями, колебался при обращении. Нужно было облегчить продажи, чтобы вернуть как можно более ассигнаций и поднять их цену, уменьшая количество. Самым верным, но не самым легким средством поощрять покупки было одерживать победы. Чтобы заменить это средство, придумали разные льготы. Так, например, покупателям

обещали рассрочивать платежи на несколько лет. Но эта мера, имевшая целью помочь поселянам приобретать земли, не столько могла вернуть в казну ассигнации, сколько вызвать продажи. Чтобы еще более содействовать продаже национальных имуществ,

Конвент, создавая Большую книгу, объявил, что рентные записи будут приниматься в уплату за эти имущества, в размерах до половины всей покупной суммы. Эта льгота также должна была иметь следствием новые продажи и возвращение большего количества ассигнаций.

Но всех этих средств все-таки было еще недостаточно, и бумажных денег всё еще было слишком много. Учредительное собрание, Законодательное собрание, Конвент в несколько приемов выпустили их на 5 миллиардов 100 миллионов франков; в августе 1793 года в обращении оставалось 3 миллиарда 676 миллионов.

Первой заботой было принизить ценность ассигнаций с изображением короля, так как они пользовались большим спросом и вредили республиканским ассигнациям. Но хотя эти ассигнации и перестали быть денежной единицей, они не потеряли своей ценности; а потому были превращены в билеты казначейства на предъявителя, с тем чтобы до следующего 1 января их принимали в уплату налогов или за купленные национальные имущества. По истечении этого срока они лишались всякой ценности. Ассигнаций этих имелось на 558 миллионов. Вследствие этой меры они должны были исчезнуть из оборота в четыре месяца, а так как известно было, что они все находились в руках спекулянтов, враждебных революции, то правительство поступило с высокой справедливостью, не уничтожив их просто без разговоров и только принуждая возвратить в казначейство.

Читатели помнят, что в мае, когда было объявлено о создании революционных армий, издали также декрет о принудительном займе в один миллиард у богатых людей. Этот заем должен был, по проекту Камбона, вынуть из обращения ассигнаций на миллиард. Чтобы предоставить некоторый выбор более благомыслящим гражданам, и обеспечить им некоторые выгоды, открывался заем добровольный. Желавшие подписаться получали рентную запись по установленной 5-процентной норме. Другие же, злобно дожидавшиеся принудительных мер, получали бумагу беспроцентную, то есть такую же республиканскую ценность, как и рентная запись, но не приносящую

процентов. Наконец, по новому закону, добровольные заимодавцы, получая рентную запись, имели возможность немедленно вернуть свой капитал в форме национальных имуществ (с уплатой половины суммы такими записями), тогда как квитанции принудительного займа должны были приниматься в уплату за приобретенные национальные имущества только через два года после заключения мира. Этим условием, говорилось в проекте, предполагалось заинтересовать богатых людей в скорейшем окончании войны и примирении Европы.

Посредством принудительного или добровольного займов Конвент рассчитывал вернуть на миллиард ассигнаций. Кроме того, недоимок ожидалось 700 миллионов, из них 588 – королевскими ассигнациями, уже изъятыми из обращения и принимаемыми только в уплату налогов. Таким образом, предстояло в течение двух или трех месяцев вернуть ассигнаций на 1 миллиард 700 миллионов, так что долг в 3 миллиарда 776 миллионов сокращался до 2 миллиардов и 76 миллионов. Предполагая, что само право менять рентные записи на национальные имущества вызовет новые покупки, можно было этим путем вернуть еще 500–600 миллионов. Уменьшая эту сумму более чем наполовину, ассигнациям возвращали их ценность, и оставшимися в кассе 484 миллионами уже можно было располагать. Возвращенные путем налогов 700 миллионов, из которых 558 миллионов, перепечатанные с изображением Республики, должны были снова попасть в обращение, тоже поднимались в цене и могли пойти на расходы следующего года.

Способ исполнения этого принудительного займа был, по самому своему свойству, произвольным. Как оценить состояние без ошибки, без несправедливости, даже в спокойное время, на досуге, принимая в соображение все вероятия? А то, что не было возможно даже при самых благоприятных обстоятельствах, во сколько раз менее должно было быть возможно в эпоху насилия и торопливости? Но когда необходимость заставляла тревожить столько жизней, снести столько голов, можно ли было беспокоиться об ошибке в оценке состояний и неточностях в раскладке займа? Итак, для осуществления принудительного займа, как и для реквизиций, был учрежден род диктатуры, которую возложили на коммуны. Каждый был обязан заявить цифру своего дохода.

Из каждой коммуны Генеральный совет назначал инспекторов,

которые, руководствуясь своим знанием местных порядков, должны были решать, правдоподобны ли эти заявления. Если они считали их ложными, то имели право удвоить показанную цифру. Из дохода каждого семейства вычиталось по тысяче франков на человека. Всё, превышавшее эту цифру, считалось излишним доходом, подлежащим налогу. С этого-то излишнего дохода взималась одна десятая часть. Доход, превышавший 10 тысяч, брался весь без остатка. Взять у более или менее богатых классов их излишек за один год, когда столько тысяч людей собиралось жертвовать жизнью на поле битвы, – еще не слишком тяжкое притеснение; и вдобавок эта сумма менялась на ценную бумагу, которую владелец мог превратить в государственную ренту или часть национальных имуществ.

К этим мерам, принятым с целью поддержать бумажные деньги, были присоединены еще и другие. Надо было уничтожить соперничество акций финансовых компаний. Для этого Конвент декретом упразднил общество страхования жизни, Ссудно-учетную кассу – словом, все общества, капитал которых заключался в акциях на предъявителя, в бумагах, могущих быть передаваемыми и покупаемыми, в записях в какой-нибудь книге, могущих быть передаваемыми по желанию. Было решено, что ликвидация этих обществ последует в самом скором времени и впредь одно только правительство будет иметь право создавать такого рода учреждения. Конвент в то же время приказал, не мешкая, составить доклад об Ост-Индской компании, требовавшей, по своей важности, особого рассмотрения. Нельзя было помешать существованию иностранных векселей, но можно было объявить изменниками всех французов, помещавших свои капиталы в банках или торговых домах стран, с которыми Республика находилась в состоянии войны, – что и было сделано.

Наконец, были приняты новые и строгие меры против торговли металлическими деньгами. Уже было объявлено шесть лет каторги за покупку и продажу металлических денег; была также объявлена пеня каждому продавцу или покупателю, который торговал бы по разным ценам ассигнациями или звонкой монетой. Так как трудно было добраться до подобных провинностей, Конвент, как бы из мщенья,

усилил наказание: он присудил каждого, уличенного в подобном проступке, к выплате пени в три тысячи франков и шестимесячному тюремному заключению в первый раз, а в случае повторения – к двойной пене и двадцати годам каторги. Наконец, так как требовалось хождение медных денег и нелегко было заменить их чем-нибудь другим, последовало распоряжение изготовить из меди колоколов десимы (монеты в одну десятую франка).

Но какие бы ни применялись средства, чтобы поднять ассигнации и уничтожить подрывавшую их конкуренцию, нельзя было надеяться поднять их на один уровень с ценой товаров; следовало насильственно понизить цену последних. Притом народ был уверен, что купцы нарочно скупают и копят товары, и каково бы ни было по этому поводу мнение самих законодателей, они уже не могли усмирять в этом отношении народ, неистовствовавший во всех других. Итак, вышел декрет, причислявший скупку и накопление товаров к уголовным преступлениям, подлежащим смертной казни. Скупщиком считался тот, кто не пускал в обращение товары первой необходимости, не выставлял их публично на продажу. Товарами первой необходимости были объявлены: хлеб, вино, мясо, зерно всякого рода, мука, овощи, плоды, угли, дрова, масло, сало, конопля, лен, соль, кожа, соленья и колбасы, сукно, шерсть и все ткани, кроме шелковых.

Средства для исполнения подобного декрета могли быть только самые инквизиторские. Каждый торговец должен был предварительно заявить, какой товар имеет в лавке. Эти заявления проверялись путем домашних обысков. Всякий обман или соучастие в обмане наказывались смертью. Комиссары, назначенные коммунами, должны были требовать счетов и накладных и по этим документам определять цену, которая, оставляя умеренный барыш торговцу, не превышала бы средств народа. Итак, в этом декрете, как и в том, которым назначался максимум цен на хлеб, коммунам предоставлялось право устанавливать цены в каждой провинции согласно местным условиям. Недалеко было то время, когда пришлось обобщить эти меры и сделать их еще более насильственными, распространяя их.

Военные, административные и финансовые меры этой эпохи были задуманы настолько хорошо, насколько это позволяло положение страны, и своей энергичностью соответствовали степени опасности.

Никогда ни одно правительство не принимало одновременно более обширных и более смело задуманных мер, и чтобы обвинить авторов этих мер в насилии и произволе, нужно забыть о грозившем со всех сторон неприятельском нашествии и о необходимости пробавляться одними национальными имуществами, не находившими покупателей. Из этих двух причин вытекала вся система принудительных мер. Легко теперь критиковать эти меры, находить, что одни насильственны, а другие противоречат здравым началам политической экономии, но это доказывает только невежество и поверхностность суждения. Если припомнить факты, то мы отдадим справедливость людям, которым стоило таких усилий и опасностей спасти свое отечество.

Вслед за этими общими финансовыми и административными мерами были приняты и другие, специально приспособленные к каждому театру войны. Чрезвычайные средства, давно задуманные для Вандеи, облекли в форму декрета. Характер этой войны теперь был хорошо известен. Силы мятежников состояли не в правильно организованных войсках, которые можно уничтожить победами, а в мирном населении, занятом полевыми работами, которое вдруг по знаку восставало, смущало республиканские войска неожиданными нападениями, а в случае неудачи скрывалось в лесах и принималось за свои прежние работы с таким невинным видом, что невозможно было отличить солдата от того, кто никогда им не был. Упорная борьба, длившаяся уже более полугода; восстания, в которых нередко участвовало до ста тысяч человек; поступки, свидетельствовавшие о безумной отваге; громкая слава вандейцев; установившееся мнение, что самая страшная опасность грозит от этой пожирающей междоусобной войны, — все эти обстоятельства не могли не обратить на Вандею особенного внимания правительства, не вызвать против нее самых энергичных и гневных мер.

Давно уже говорилось, что единственным средством покорить этот несчастный край было не бороться с ним, а уничтожить его. Это желание наконец удовлетворил ужасный декрет от 1 августа, которым приговаривались к истреблению Вандея, последние Бурбоны и иноземцы. Вследствие этого декрета военный министр получил приказ отправить в непокорные департаменты горючие вещества, чтобы

выжечь леса, кусты и заросли. «Леса, – было сказано в декрете, – будут вырублены, притоны бунтовщиков уничтожены, жатвы срезаны отрядами рабочих, скот будет захвачен и угнан из края. Старики, женщины, дети будут вывезены из края, и существование их будет обеспечено, как того требует гуманность».

Кроме того, военачальникам и комиссарам Конвента было предписано собирать вокруг Вандеи большие запасы, а потом в прилежавших к ней департаментах призвать ополчение. И не постепенно, как в других частях Франции, а разом, вдруг, чтобы обрушить одно население на другое. Выбор людей соответствовал характеру мер. Мы выше видели, что Бирон, Бертье, Мену, Вестерман скомпрометировали себя и лишились власти из-за своей преданности дисциплине, а Россиньоля, дисциплину нарушившего, освободили агенты министерства. Из простых батальонных командиров Россиньоля был вдруг произведен в главнокомандующие армией Ларошельских берегов. Ронсен, глава тех самых министерских агентов, которые будили в Вандее якобинские страсти и стояли на том, что нужны начальники не столько опытные, сколько искренне преданные Республике, и что каждый новобранец уже солдат, а каждый солдат может стать генералом, – Ронсен в течение четырех дней был произведен в капитаны, эскадронные командиры и бригадные генералы и представлен к Россиньолю, чтобы наблюдать за ведением войны по новой системе.

В то же время бывший майнцский гарнизон перевели с Рейна в Вандею. Недоверие было так сильно, что генералы этого храброго гарнизона попали под арест за то, что капитулировали. К счастью, комиссар Мерлен, которого всегда слушали с уважением, признавая его геройский характер, засвидетельствовал их мужество и преданность. Клебер и Обер-Дюбайе были возвращены своим солдатам (которые хотели уже силой идти освобождать их) и повели их в Вандею, где предстояло поправить беды, наделанные агентами министерства.

Страсть не бывает ни разумной, ни просвещенной, но одна только страсть может спасти народ в великой крайности – эту истину приходится повторять беспрестанно. Назначение Россиньоля было до странности смелым шагом, но показывало твердое, неизменное решение. После этого полумеры становились невозможны, и все

местные администрации, доселе колебавшиеся, оказались поставлены перед необходимостью высказаться. Эти пылкие якобинцы, рассеянные по всем армиям, часто поднимали в них возмущение, но зато сообщали им ту энергическую решимость, без которой не было бы ни вооружения, ни продовольствия, ни каких-либо средств. Они были безбожно несправедливы к военачальникам, но никому не давали высказывать слабость или колебаться.

Их безумная горячность в соединении с благоразумием более спокойных людей скоро возымела великие и счастливые результаты. Кильмен, отличившийся таким искусным отступлением и спасший этим Северную армию, был смещен; заменил его генерал Гушар из Мозельской армии, пользовавшийся некоторой известностью за храбрость и усердие. В Комитете общественного спасения тоже произошло несколько перемен. Тюрио и Гаспарен вышли из него по болезни. На место одного из них поступил Робеспьер, который в первый раз попал в правительство (примечательно, что до сих пор Конвент ни разу не назначал его ни в один комитет, зато теперь громадное могущество Робеспьера вполне признали и подчинились ему). Другое вакантное место было занято знаменитым Карно, который, будучи послан в Северную армию, заявил себя искусным знатоком военного дела.

Ко всем этим административным и военным мерам прибавим еще мщение: энергия с одной стороны сопровождается жестокостью с другой. Мы уже видели, что согласно требованию делегатов первичных собраний решено было издать закон против подозрительных лиц. Оставалось внести проект этого закона. Каждый день его требовали, говоря, что недостаточно декрета 27 марта, ставившего аристократов вне закона. По этому декрету требовался еще и суд, теперь же хотели такого декрета, который позволял бы арестовывать без суда, только чтобы сделать их безопасными, граждан подозрительных в силу их убеждений.

Требовали также более строгих положений против иноземцев. Они уже были отданы под надзор комитетов, но это считалось недостаточным. Представление об иностранном заговоре, будто бы имевшем главным двигателем Питта, более чем когда-либо наполняло умы, после того как в одном из пограничных городов нашли портфель с

письмами на английском языке: очевидно, переписку агентов, находящихся во Франции. В этих письмах говорилось о значительных суммах, посылаемых тайным агентам, рассеянными по французским лагерям, крепостям и главнейшим городам. Одним поручалось сблизиться с начальниками и собирать точные сведения о состоянии войск, крепостей и запасов, другим – пробраться в арсеналы и склады с налитанными фосфором фитилями и поджигать их. «Старайтесь поднять курс до двухсот ливров за фунт стерлингов, – говорилось в этих письмах. – Нужно, по возможности, подорвать кредит ассигнаций и отказываться брать те, на которых нет изображения короля. Поднимайте цены на все товары. Прикажите вашим торговцам скупать и не продавать предметы первой необходимости. Если можете уговорить Кот...а покупать сало и свечи по какой угодно цене, то заставьте народ платить до пяти франков за фунт сальных свечей. Милорд весьма доволен тем, как поступил Б. Мы надеемся, что убийства будут совершаться с осторожностью. Переодетые священники и женщины всех лучше годятся для этой операции».

Письма эти только доказывали, что Англия держала нескольких шпионов во французских армиях и нескольких агентов на французских биржах, и, пожалуй, были между ними такие, кто выпрашивал деньги под тем предлогом, что при случае возьмутся совершить полезные убийства. Но всё это было совсем не опасно, и, конечно, многое бывало преувеличено, как всегда в рапортах такого рода агентов. Случились, правда, пожары в Дуэ, Валансьене, на парусной фабрике в Лорьяне, в Байонне и в артиллерийских парках близ Шемиле и Сомюра. Может быть, эти агенты и были виновниками пожаров, но уж конечно не они направили кинжал лейб-гвардейца Пари против Лепелетье или кинжал Шарлотты Корде против Марата. А если они и играли на бирже иностранными бумагами и ассигнациями, если они скупали кое-какие товары благодаря кредиту, открытому им в Лондоне Питтом, то всё же оказывали лишь ничтожное влияние на торговое и финансовое положение Франции, которое зависело от прочих, несравненно более важных, нежели эти низкие интриги, обстоятельств. Однако эти письма, совпав с пожарами, двумя убийствами и биржевой игрой, возбудили всеобщее негодование. Конвент декретом обличил английское правительство и объявил Питта врагом рода человеческого. В то же

время он повелел немедленно арестовать всех иностранцев, поселившихся во Франции позже 14 июля 1789 года.

Наконец, вышел декрет о поспешном окончании процесса над Кюстином. Бирон и Ламарш были отданы под суд. С обвинительным актом против жирондистов велели поспешить, и Революционный трибунал получил приказ приступить к процессу в самом скором времени. Народный гнев обрушился и на последних Бурбонов, на несчастную семью, оплакивавшую в башне Тампля смерть последнего короля. Декретом от 1 августа объявлялось, что все остававшиеся во Франции Бурбоны будут сосланы, за исключением тех, что находились под мечом закона; что перевезенный в мае в Марсель герцог Орлеанский, которого федералисты не дали судить, будет опять привезен в Париж и осужден революционным трибуналом. Его казнь должна была послужить ответом тем, кто обвинял Гору в намерении сделать из него короля.

Злополучная Мария-Антуанетта тоже была обречена погибнуть на эшафоте. Она слыла душой всех заговоров бывшего двора и считалась гораздо более виновной, чем Людовик XVI. А главное, она имела несчастье быть дочерью Австрийского дома, а Австрия в эту минуту была самой опасной из неприятельских держав. Следуя обычаю выказывать особенно дерзкое пренебрежение самому опасному врагу, Конвент решил казнить Марию-Антуанетту в то самое время, когда императорские армии вторгались на французскую территорию. Бывшая королева была переведена в тюрьму Консьержери, как простая подсудимая, подлежащая суду Революционного трибунала. Принцесса Елизавета, которую полагали сослать в колонии, была задержана, чтобы дать показание против сестры. Обоих детей полагалось воспитывать и содержать в заключении за счет Республики, с тем чтобы по заключении мира решить, как лучше поступить с ними.

До тех пор пленная семья в Тампле содержалась с некоторой пышностью, напоминавшей ее звание. Теперь декретом постановили ограничить это содержание самым необходимым. Наконец, в довершение всех этих актов революционного мщения, было решено взрыть и разрушить все королевские могилы в аббатстве Сен-Дени.

Глава XXVII

Осада Лиона войсками Конвента – Измена Тулона – Раздоры между республиканскими генералами – Учреждение революционного правительства – Закон против подозрительных лиц – Процесс и казнь Кюстина – Арест семидесяти трех членов Конвента

После отступления французов из Лагерь Цезаря в Гамрельский союзникам следовало бы дальше преследовать деморализованную армию, испытывавшую одни неудачи с самого открытия кампании. Разбитая уже в марте при Аахене и Неервиндене, эта армия потеряла голландскую Фландрию, Бельгию, Фамарский и Цезарев лагерь, крепости Конде и Валансьен. Один ее главнокомандующий предался неприятелю, другой был убит. С самой битвы при Жемапе она совершала лишь одни отступления, правда, нужные и прекрасно исполненные, но отступления не придают бодрости войскам. Не задумывая даже такого смелого шага, как поход прямо на Париж, союзники могли уничтожить ядро армии и свободно занять все крепости, какие нашли бы удобными для себя. Но тотчас после взятия Валансьена англичане, в силу договора, заключенного в Антверпене, потребовали осады Дюнкерка.

Тогда, пока принц Кобургский оставался между Шельдою и Скарпом, чтобы занимать французов и взять, если удастся, еще и Ле-Кенуа, герцог Йоркский с англо-ганноверской армией прошел через Орши, Менен, Диксмей-де и Фурне и стал перед Дюнкерком. Эти две предполагавшиеся осады давали Франции еще некоторую отсрочку. Гушар, посланный в Гаврель, наскоро собирал там все более или менее свободные войска, чтобы спешить на помощь Дюнкерку. Дюнкерк считался важнейшим пунктом на всем театре войны – и из необходимости не дать англичанам захватить континентальный порт, и из желания разбить их отдельно от других главных врагов Франции, лишить всякой выгоды в этой войне и доставить английской оппозиции новое оружие против Питта. «Спасение Республики там», – писал

Гушар Комитету общественного спасения, и Карно, сознавая всю бесполезность войск, стоявших на Рейне и Мозеле, уговорил комитет отделить от них подкрепление для Фландрии. В приготовлениях прошло от двадцати до двадцати пяти дней – весьма умеренное промедление со стороны французов, которым надо было стянуть свои войска, разбросанные на больших расстояниях, но непостижимое для англичан, которые в четыре-пять переходов могли прийти под самые стены Дюнкерка.

Мы оставили Рейнскую и Мозельскую армии в ту минуту, когда они пытались, но уже слишком поздно, двинуться к Майнцу. После взятия этого города они отступили в Саарбрюккен, Хорнбах и Вейсенбург. Здесь надо дать представление о театре войны, чтобы все эти движения сделались понятны. Французская граница довольно странно иззубрена на севере и на востоке. Шельда, Маас, Мозель, цепь Вогезских гор, Рейн – все эти линии почти параллельно идут к северу. Рейн, дойдя до крайнего конца Вогезов, вдруг заворачивает и прекращает эти параллельные линии, огибая подножие Вогезов и принимая в свое течение Мозель и Маас. Союзники, наступая на северную границу, выдвинулись между Шельдой и Маасом, а между Маасом и Мозелем они не продвинулись нисколько, потому что небольшой корпус, оставленный ими между Люксембургом и Триром, не мог ничего предпринять. Союзники стали на Вогезах: на восточном и на западном склонах.

План действий представлялся весьма простой. Смотря на хребет Вогезов как на реку, через которую следовало отрезать все переходы, можно было перевалить на одну сторону, подавить неприятеля, потом перейти опять на другую сторону и там тоже подавить его. Ни французам, ни союзникам эта мысль в голову не пришла, и с самого взятия Майнца пруссаки стояли на западном склоне, лицом к Рейнской армии, а французы расположились между знаменитыми (после кампании 1706 года) Вейсенбургскими линиями. Мозельская армия в количестве 20 тысяч человек стала в Саарбрюккене, на реке Саар; Вогезский корпус в 12 тысяч находился в Хорнбахе и примыкал среди гор к крайнему левому крылу Рейнской армии. Рейнская армия, состоявшая также из 20 тысяч, охраняла реку Лаутер от Вейсенбурга до Лаутербурга. Это и были Вейсенбургские линии: Саар течет из Вогезов

к Мозелю, Лаутер – из Вогезов к Рейну, обе реки образуют одну линию, которая почти перпендикулярно перерезает Мозель, Вогезы и Рейн.

Завладеть этими линиями можно, только заняв Саарбрюккен, Хорнбах, Вейсенбург и Лаутербург. Это и сделали французы. На всей этой границе было немногим более 60 тысяч человек, потому что следовало еще послать помощь Гушару. Пруссак целых два месяца подходили и наконец пришли в Пирмазенс. Подкрепленные 40 тысячами, только что закончившими осаду Майнца, и соединенные с австрийцами, они могли уничтожить французов на том или другом склоне, но между Пруссией и Австрией имелись разногласия по поводу раздела Польши. Фридрих-Вильгельм, всё еще стоявший лагерем в Вогезах, не поддерживал горячего, нетерпеливого Вурмзера, который, несмотря на годы, каждый день совершал новые попытки против Вейсенбургских линий. Его нападения оставались безуспешными и только давали повод бесполезно перебить много солдат. Таково было положение дел на Рейне еще в первых числах сентября.

На юге события разворачивались стремительно. Долгая нерешительность лионцев наконец разрешилась открытым сопротивлением, и осада стала неизбежной. Они соглашались покориться и признать конституцию, но даже не упоминали о пресловутых декретах, напротив, скоро нарушили их самым явным образом, отправив Шалье и Пикара на эшафот, постоянно готовясь к войне, забирая деньги из касс и удерживая транспорты, назначавшиеся армиям. Многие сторонники эмиграции пугали граждан восстановлением прежнего муниципалитета из монтаньяров. Кроме того, лионцев ублажали надеждой на скорое прибытие марсельцев, которые якобы уже идут вверх по Роне, и пьемонтцев, которые будто бы скоро спустятся с Альп с 60 тысячами храбрецов. Хотя лионцы, искренне преданные федерализму, питали равную ненависть к иноземцам и эмигрантам, однако Гора и прежний муниципалитет наводили на них такой ужас, что они были готовы скорее подвергнуться опасности и позору союза с иноземцами, нежели мщению Конвента.

Сона течет между Юрой и Кот-д'Ор, Рона течет из Вале между Юрой и Альпами, и обе реки сливаются в Лионе, или, вернее, этот богатый город стоит у места их слияния. Вверх по Соне, в сторону

Макона, страна была вполне предана Республике, а депутаты Лапорт и Ревершон, собрав несколько тысяч солдат, прервали сношения с Юрой. Дюбуа-Крансе шел с резервом Савойской армии со стороны Альп и оберегал верхнее течение Роны. Зато лионцы были полными хозяевами нижнего течения и правого берега вплоть до Овернских гор. Они были хозяевами в области Форез, часто совершали туда набеги и ходили запасаться оружием в Сент-Этьен. Один искусный инженер окружил город превосходными укреплениями; некий иностранец отлил там несколько орудий. Население делилось на две части: молодые люди участвовали в набегах, а женатые мужчины и отцы семейств охраняли город и укрепления.

Наконец 8 августа Дюбуа-Крансе, усмиривший федералистское восстание в Гренобле, собрался идти на Лион. Альпийская армия состояла из 25 тысяч человек и ждала вскоре пьемонтцев, которые, пользуясь августом, готовились выйти через главную горную цепь. Эта армия лишилась уже двух отрядов, посланных подкрепить Итальянскую армию и усмирить марсельцев. Пюи-де-Дом, который должен был отдать этой армии своих новобранцев, сам нуждался в них для усмирения восстания в Лозере. Гушар взял себе рейнский легион, назначавшийся той же Альпийской армии, и министерство обещало подкрепление в тысячу лошадей, которое всё не появлялось. Несмотря на это, Дюбуа-Крансе отрядил регулярные войска и прибавил к ним 7–8 тысяч молодых солдат. С этими силами он стал между Соной и Роной так, чтобы занять их верхнее течение, отрезать лионцам подвоз воды, сохранить сообщение с Альпийской армией и прервать сообщения осажденных со Швейцарией и с Савойей. Этими распоряжениями он всё еще оставлял лионцам Форез и в особенности важные для них Фурвьерские высоты. Главной задачей было занять обе реки и отрезать Лион от Швейцарии и Пьемонта.

Чтобы довершить блокаду, Дюбуа-Крансе ждал обещанных подкреплений и осадного парка, который ему приходилось добывать из французских альпийских крепостей. На перевозку этого парка требовалось 5 тысяч лошадей.

Восьмого августа он потребовал сдачи города. Условиями генерал поставил сдачу оружия и арсенала, а также составление временного муниципалитета. Но в эту критическую минуту эмигранты,

скрывавшиеся в комиссии и главном штабе, продолжали обманывать граждан, страдая их возвращением муниципалитета из монтаньяров и уверяя, что 60 тысяч пьемонтцев в самом скором времени придут выручать их. Схватка, случившаяся на аванпостах и закончившаяся в пользу лионцев, разгорячила их до последней степени и окончательно заставила принять пагубное решение, исход которого оказался для них столь ужасен. Дюбуа-Крансе открыл огонь со стороны холма Круа-Русс, между обеими реками, и с первого же дня его артиллерия причиняла много вреда. Так один из важнейших мануфактурных городов Франции довел себя до ужасов бомбардировки, и республиканцам пришлось устроить эту бомбардировку почти перед глазами пьемонтцев, которые каждую минуту могли спуститься с гор.

Карто тем временем шел на Марсель и перешел Дюране в августе. Марсельцы отступили из Экса в свой город и намеревались защищать ущелье Сетема, через которое проходит дорога из Экса в Марсель. Генерал Доппе атаковал их 24-го числа с авангардом войска Карто; сражение было довольно горячим, но одна из секций, всегда составлявшая оппозицию прочим, перешла на сторону республиканцев и решила исход в их пользу. Ущелье было взято с боя, и 25 августа Карто вступил в Марсель со своей маленькой армией.

Однако это событие повлекло за собой другое, прискорбнее которого для Республики еще не бывало. Город Тулон, воодушевляемый, по-видимому, самыми жаркими республиканскими чувствами, пока в нем держался муниципалитет, совершенно изменил свой настрой под новой властью секций и готовился перейти под иное владычество. Якобинцы, собравшиеся в муниципалитете, неистовствовали против аристократов – морских офицеров; они не переставали жаловаться на медлительность, с которой ремонтировалась эскадра, и на ее бездействие в порту и громогласно требовали, чтобы были наказаны офицеры, которых они винили в неудаче экспедиции в Сардинию. Умеренные республиканцы тут, как и везде, отвечали, что старые офицеры одни способны командовать эскадрами; что корабли нельзя так скоро исправить; что выпустить их против соединенных испанского и английского флотов было бы верхом неосторожности; что, наконец, офицеры, наказания которых требовали якобинцы, – не

изменники, а храбрые воины, которым не повезло. В конце концов умеренные одержали в секциях верх. Тотчас же целый рой тайных агентов, интриговавших в пользу эмигрантов и англичан, пробрался в Тулон и завлек жителей гораздо далее, чем они думали идти. Агенты эти снеслись с адмиралом Худом и достоверно узнали, что союзные эскадры будут держаться по соседству, в готовности явиться по первому знаку.

Сначала, по примеру лионцев, они подговорили жителей судить и казнить президента якобинского клуба по имени Севестр. Потом они возвратили непокорным священникам право совершать богослужение, наконец, вырыли из могил и носили по городу кости нескольких несчастных, павших во время смут за роялистское дело. Когда Комитет общественного спасения приказал эскадрам задерживать корабли, отправлявшиеся в Марсель, чтобы разорять город, бунтовщики не допустили исполнения этого приказа и вменяли себе это в заслугу перед марсельскими секциями. Потом агенты начали исподволь толковать об опасностях, которым город подвергался из-за своего сопротивления Конвенту, о необходимости заручиться чьей-нибудь помощью против ярости собрания и о возможности добыть помощь англичан, провозгласив королем Людовика XVII.

Начальник морского ведомства был, кажется, главным орудием этого заговора: он собирал деньги из всех касс, посылал за разными суммами морем, например в департамент Геро, писал в Геную, чтобы там удерживали транспорты продовольствия, и вообще ставил Тулон в самое критическое положение. Состав главных штабов изменили, один морской офицер, скомпрометировавший себя в сардинской экспедиции, был не только выпущен из тюрьмы, но стал комендантом; во главе гвардии был поставлен бывший лейб-гвардеец, а форты вверили вернувшимся эмигрантам. Наконец, заговорщики обеспечили себе содействие адмирала Трогова, иностранца, осыпанного милостями во Франции. Они открыли переговоры с адмиралом Худом под предлогом обмена пленными и в ту минуту, когда Карто вступал в Марсель, когда Тулон обмирал от страха, когда в нем искали убежища 8—10 тысяч провансальцев, отъявленных врагов Революции, осмелились сделать секциям позорное предложение: принять англичан, с тем чтобы они взяли город «на сохранение» именем Людовика XVII.

Морское ведомство пришло в негодование и послало секциям депутацию, чтобы воспротивиться такой гнусности. Но тулонские и марсельские контрреволюционеры с небывалой смелостью отвергли всякие протесты и настояли на своем. Англичанам тотчас, 29 августа, был дан условный сигнал. Адмирал Трогов, приняв начальство над теми, кто хотел сдать порт, призвал эскадру, вывесив белый флаг. Честный контр-адмирал Сен-Жюльен, объявив Трогова изменником, поднял на своем корабле адмиральский флаг и хотел собрать вокруг себя верных людей. Но изменники, уже завладевшие фортами, угрожали сжечь его суда, и ему пришлось бежать с несколькими матросами. Адмирал Худ, долго не решавшийся, наконец появился и, приняв порт «на сохранение», сжег и разрушил его.

Всё это время в Пиренеях не происходило никакого движения. На западе готовились к исполнению мер, постановленных Конвентом. Мы оставили колонны Верхней Вандеи в тот момент, когда они, расстроенные, старались организовать в Анжере, Сомюре и Ниоре. Вандейцы тем временем взяли мост Се и внушили такой страх республиканцам, что те подвергли Сомюр осаде. Колонна, находившаяся в Дюсоне и Сабле, одна могла действовать наступательно. Ею командовал генерал Тюнк, один из так называемых военных аристократов, и Ронсен давно уже хлопотал, чтобы его сменили. При Тюнке находились два представителя: Бурдон, депутат Уазы, и Гупильо, депутат Фонтене, разделявшие его воззрения и враждебно относившиеся к Ронсену и Россиньолю. Особенно Гупильо, уроженец этого края, по своим родственным и дружеским связям был склонен щадить жителей и избавлять их от строгостей, к которым прибегали Ронсен и его сторонники.

Вандейцы, находя колонну в Дюсоне неудобной и опасной, решили направить против нее свои победоносные силы. В первых числах августа они двинули в сторону Дюсона несколько отрядов, но были побиты Тюнком и решили дать открытый бой. Д'Эльбе, Лескюр, Ларошжаклен и Шаретт собрали 40 тысяч человек и 14 августа снова появились в окрестностях Дюсона. У Тюнка было немногим более 6 тысяч солдат. Лескюр, полагаясь на численное превосходство, дал пагубный совет атаковать республиканскую армию в открытом поле. Он

и Шаретт приняли начальство над левым крылом, д'Эльбе над центром, Ларошжаклен над правым крылом.

Лесктор и Шаретт действовали против республиканского правого крыла с большой энергией, но в центре мятежники, не привыкшие драться в открытом поле против регулярных войск, выказали нерешительность, а Ларошжаклен, заблудившись, опоздал с нападением на правое крыло. Тогда генерал Тюнк, искусно пустив в ход против поколебленного уже центра свою легкую артиллерию, вконец расстроил его и в несколько минут обратил в бегство все 40 тысяч вандейцев. Такого страшного удара последним переносить еще не приходилось. Они лишились всей своей артиллерии и разбегались, пораженные ужасом.

Как раз в это время Тюнк получил сообщение об отставке, о которой так хлопотал Ронсен. Бурдон и Гупильо в негодовании заставили депутата сохранить должность, написали в Конвент, требуя, чтобы он отменил решение министра, и нажаловались, уже не в первый раз, на сомюрских возмутителей порядка, которые, по их словам, только распространяли хаос и хотели заменить всех генералов, знающих свое дело, невежественными демагогами. В это время Россиньолю, объезжая колонны, находившиеся в его подчинении, приехал и в Люсон. Его свидание с Тюнком, Бурдоном и Гупильо стало обменом взаимными упреками. Несмотря на две одержанные победы, Россиньолю был недоволен тем, что сражались фактически против его воли: он был убежден, впрочем, не без оснований, что следует избегать всякого сражения до всеобщего преобразования армий. Они расстались врагами, и через некоторое время Бурдон и Гупильо, узнав об очередных строгостях Россиньоля, имели смелость издать постановление о его увольнении. Депутаты, находившиеся в Сомюре, – Мерлен, Бурботт, Шудье и Ревбель, – тотчас же объявили постановление недействительным, и дело поступило в Конвент. Россиньолю был снова утвержден и победил своих противников: Бурдона и Гупильо отозвали, а Тюнка временно отрешили от должности.

В таком положении находились дела, когда Майнцская дивизия пришла в Вандею. Надо было решить, как действовать и в какую сторону направить этих храбрых солдат. Присоединить ли их к Ларошельской армии и подчинить Россиньолю, или отдать Брестской

армии, под начало Канкло? Каждый хотел забрать новоприбывших себе, потому что, где бы они ни появились, они должны были решить исход борьбы. Все соглашались, что следовало одновременно напасть из всех пунктов обширного круга, обнимающего весь непокорный край, и стремиться при этом к центру круга. Но так как колонна, получившая Майнцскую дивизию, непременно должна была действовать более энергично и оттеснить вандейцев на другие колонны, то возникал вопрос, на какую точку будет выгоднее всего толкнуть неприятеля. Россиньоль и его приверженцы утверждали, что самым лучшим будет двинуть колонну на Сомюр, чтобы толкнуть вандейцев на море и Нижнюю Луару. Канкло, напротив, находил крайне опасным оставлять море открытым вандейцам. Английская эскадра на днях была замечена поблизости, и нельзя было ручаться, что англичане не помышляют о высадке в Маре. Эта мысль, хоть и ошибочная, занимала все умы.

Между тем англичане еще только прислали в Вандею эмиссара. Он приехал переодетый и осведомлялся об именах вождей, их намерениях и настоящих целях: вот до какой степени плохо в Европе знали о событиях, совершавшихся во Франции. Вандейцы просили денег и военных припасов и обещали двинуть 50 тысяч человек туда, где англичане решились бы высадить десант. Такой план был еще в большом отдалении, но во Франции воображали, что осуществление его очень близко.

Итак, по мнению Канкло, следовало направить колонну из Майнца в Нант, чтобы отрезать вандейцев от моря и оттеснить к Верхней Вандее. Если они рассеются по всему краю, решил он, то скоро будут истреблены, что же касается потери времени, то это соображение нельзя принимать в расчет, потому что Сомюрская армия находилась в плачевном состоянии и не могла бы действовать раньше, чем через десять или двенадцать дней, даже с помощью Майнцской дивизии.

Имелось еще одно соображение, о котором, однако, умалчивали: уже опытная Майнцская дивизия предпочитала службу с регулярными войсками и под началом испытанного генерала, каким был Канкло, службе под началом невежественного Россиньоля; помимо того, солдаты этой дивизии предпочитали Брестскую армию, отличившуюся славными делами, Сомюрской, известной одними поражениями. Представители, сторонники дисциплины, были того же мнения и

боялись компрометировать Майнцскую дивизию, окружив ее беспутными якобинскими войсками.

Филиппо, самый горячий из противников партии Ронсена, отправился в Париж и выхлопотал постановление Комитета общественного спасения в пользу плана Канкло. Ронсен через своих приверженцев отменил это постановление; тогда в Сомюре решили собрать военный совет. Совет сошелся 2 сентября, в нем участвовало много представителей и генералов. Мнения вновь разделились. Россиньоль предложил Канкло принять на себя начальство, если только он согласится двинуть на Сомюр Майнцскую дивизию. Однако мнение Канкло одержало верх; было решено присоединить майнцовцев к Брестской армии и направить главную атаку против Верхней Вандеи. План кампании был подписан, и начальники договорились выступить в назначенный день из Сомюра, Нанта, Ле-Сабль-д'Олона и Ниора.

Сомюрская партия возмутилась. Россиньоль был честен и усерден, но не имел ни знаний, ни здоровья и, хоть и искренне преданный делу, был неспособен служить ему с пользою. Принятое решение менее раздражало его, нежели его приверженцев – Ронсена, Моморо и правительственных агентов. Последние немедленно послали в Париж жалобу на решение совета и тем выказали настроение, не дававшее повода рассчитывать на их усердную поддержку при исполнении задуманного плана. Ронсен довел свое неудовольствие до того, что прервал выдачу припасов майнцским войскам: якобы так как они переходят из Ларошельской армии в Брестскую, то отныне заботиться об их продовольствии подобает начальству последней. Гарнизон немедленно пошел в Нант, и Канкло сделал все нужные распоряжения, чтобы приступить к исполнению плана.

Проследив общий ход дел на различных театрах войны в течение августа и сентября, мы должны теперь проследить и крупные операции, следовавшие за этими приготовлениями.

Герцог Йоркский привел под Дюнкерк 21 тысячу англичан и ганноверцев и 12 тысяч австрийцев. Маршал Фрейтаг находился в Оост-Каппеле с 10 тысячами, а принц Оранский – в Менене с 15 тысячами голландцев. Последние два корпуса назначались обсервационными. Остальных союзных войск, рассеянных вокруг Ле-Кенуа и до самого Мозеля, было около 100 тысяч. Стало быть, от 160 до 170 тысяч человек

стояло вдоль этой громадной линии. Карно, начинавший управлять операциями французов, уже подметил, что задача состояла не в том, чтобы драться на всех пунктах, а в том, чтобы к месту использовать одну из групп войск на каком-нибудь определенном пункте. Поэтому он посоветовал перевести 35 тысяч человек с Мозеля и Рейна на север. Его совет приняли, но во Фландрию прибыло только 12 тысяч человек. Впрочем, и с этим подкреплением и лагерями – Гаврельским, Лилльским и Кассельским – французы могли образовать силу в 60 тысяч человек и, при раздробленности неприятеля, нанести несколько больших ударов.

Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на театр войны. Если проследить фландрский берег по направлению к Франции, мы сначала находим Фюрн, потом Дюнкерк. Эти два города, омываемые с одной стороны океаном, а с другой обширными болотами, могут сообщаться друг с другом лишь благодаря узкому перешейку. Герцог Йоркский, подойдя со стороны Фюрна, стал на этом перешейке, между морем и болотами. Обсервационный корпус Фрейтага между тем стал не в Фюрне, чтобы прикрыть осаждающую армию с тыла, а, напротив, довольно далеко, перед болотами и Дюнкерком, так, чтобы отрезать помощь из Франции, если бы таковая пришла. Голландцы принца Оранского, стоявшие в Менене, в трех днях пути от этого пункта, были совсем бесполезны. Если бы 60 тысяч человек быстро прошли между голландцами и Фрейтагом, они могли бы пробраться в Фюрн, в тыл герцога Йоркского, и, ловко маневрируя между тремя неприятельскими отрядами, разбить их один за другим. Для этого требовались одна плотная масса войск и большая быстрота движений. Но в то время думали только о том, чтобы идти прямо вперед и против каждого отряда выставить такой же отряд. Тем не менее некоторые члены Комитета общественного спасения задумали изложенный нами план и приказали составить один большой корпус и идти на Фюрн. Гушар понял эту мысль, но не остановился на ней и просто решил идти против Фрейтага, загнать его в тыл герцогу Йоркскому и затем стараться помешать осаде.

Пока Гушар спешил со своими приготовлениями, Дюнкерк энергично защищался. Генерал Суам с помощью молодого Гоша, который вел себя в этой осаде самым героическим образом, уже отбил несколько атак. Осаждающим нелегко было открыть траншею в

песчаном грунте, под которым вода встречалась иногда на глубине не более трех футов. Флотилии, ожидаемой с Темзы для открытия бомбардировки, всё еще не было, тогда как, напротив, французская флотилия, вышедшая из Дюнкерка и ставшая вдоль берега, беспокоила осаждающих, теснившихся на узком перешейке, лишенных приличной воды для питья и подвергавшихся всякого рода опасностям.

Наступил подходящий момент, чтобы поспешить и нанести решительный удар. Дело было в последних числах августа. Согласно обычаям старинной тактики Гушар начал с ложной атаки против Менена, которая стоила много крови и ни к чему не привела. Подняв предварительную тревогу, он пошел несколькими дорогами к линии Изера; эта маленькая речка отделяла его от обсервационного корпуса Фрейтага. Вместо того чтобы стать между этим корпусом и осаждавшими войсками, Гушар поручил Гедувилью идти на Русбрюгге, чтобы только не давать Фрейтагу спокойно отступить в Фюрн, сам же двинулся против него, отправившись через Уткерк, Эрзель и Бамбек. Фрейтаг расставил свой корпус по довольно длинной линии, и при первом напоре Гушара рядом с Фрейтагом оказалась только часть корпуса. Он защищался, но после довольно горячего сражения был вынужден перейти Изер обратно и отступить на Бамбек, а потом на Кийм. Отступая таким образом, он оставлял оба свои крыла в большой опасности, дивизия Вальмодена оказалась справа от него, а Гедувиль угрожал его собственному отступлению.

Фрейтаг решил в тот же день опять двинуться вперед и взять Рекспозд, чтобы соединиться с дивизией Вальмодена. Он приходит в Рекспозд в ту самую минуту, когда туда вступают французы. Завязывается жаркий бой: Фрейтаг, раненый, попадает в плен. Между тем наступает вечер. Гушар, опасаясь ночной атаки, уходит из деревни, оставив в ней три батальона. В это самое время подходит Вальмоден, спасавший свою дивизию, и решает напасть на Рекспозд, чтобы пробиться. Среди ночи опять завязывается кровопролитный бой. Вальмоден пробивается, освобождает Фрейтага, и французы всей массой отступают в деревню Ондскот. Эту деревню, стоявшую на краю болота и на дороге к Фюрну, нельзя было миновать, отступая к этому последнему городу. Гушар уже отказался от главной мысли — маневрировать в сторону Фюрна между осадным и обсервационным

корпусами; стало быть, ему приходилось только напирать на Фрейтага и атаковать Ондскот.

Весь день 7 сентября прошел в наблюдении за неприятельскими позициями, защищаемыми очень сильной артиллерией, и 8-го числа решили начать главное наступление. С утра французская армия строится в атаку. Правое крыло под начальством Гедувиля растягивается от Кийма до Беверена; центр, которым командовал Журдан, идет прямо на Ондскот; левое крыло атакует между Киймом и каналом Фюрна. Сражение завязывается в подлеске, закрывающем центр. С той и другой стороны самые крупные силы направлены на одну точку. Французы несколько раз возобновляют атаку и наконец завладевают неприятельскими позициями. Пока центр побеждает, правое крыло приступом берет укрепления, и неприятель решается отступить к Фюрну.

В то время как эти события происходили при Ондскоте, гарнизон Дюнкерка под предводительством Гоша совершил энергичную вылазку и подверг осаждающих большой опасности. На другой день после сражения последние собрали военный совет. Чувствуя, что опасность грозит им с тыла, и всё еще не видя обещанной флотилии, они решили снять осаду и удалиться в Фюрн, куда только что пришел Фрейтаг.

Последнее сражение дало название всей этой операции, и победа при Ондскоте стала спасением Дюнкерка. Действительно, этой победой прерывался длинный ряд неудач и поражений на севере, наносился урон англичанам и расстраивалась их заветная мечта, Республика спасалась от самого чувствительного удара, а Франция приободрялась.

Победа при Ондскоте вызвала в Париже невероятную радость, воодушевила молодежь и внушила надежду на успех принятых энергичных мер. Неудачи не страшны, когда к ним примешиваются и удачи, возвращая побежденным мужество и надежду. Чередование тех и других только усиливает энергию и доводит пылкость сопротивления до экзальтации.

Пока герцог Йоркский шел к Дюнкерку, принц Кобургский решил совершить атаку на Ле-Кенуа. Этот город не имел никаких средств к обороне, и Кобург подошел к нему совсем близко. Комитет общественного спасения, не забывая и эту часть границы, немедленно

приказал двинуть колонны из Ландреси, Камбре и Мобёжа. К несчастью, эти колонны не могли действовать одновременно: одна оказалась запертой в Ландреси; другая была окружена на равнине при Авене, выстроилась в каре и была разбита после упорного сопротивления. Наконец, 11 сентября Ле-Кенуа капитулировал. Эта утрата была не столь важной рядом с освобождением Дюнкерка, но примешивала к радости некоторую горечь.

Гушар, принудив герцога Йоркского сосредоточиться в Фюрне с Фрейтагом, не мог предпринять на этом пункте больше ничего блистательного. Ему оставалось только кинуться с равными силами на более закаленных солдат. В таком положении самым лучшим было напасть на голландцев, несколькими отрядами рассеянных вокруг. Осторожно приступая к делу, Гушар приказал Лилльскому лагерю совершить вылазку на Менен, сам же собирался действовать против города Ипра.

Схватки на аванпостах продолжались два дня. Та и другая сторона вели себя очень храбро, но не очень умно. Принц Оранский, хоть и теснимый со всех сторон, лишившись своих аванпостов, упорно защищался, потому что узнал о сдаче Ле-Кенуа и приближении генерала Больё, который шел к нему на помощь. Наконец, 13-го числа он вынужден был очистить Менен, потеряв в эти дни от двух до трех тысяч человек и сорок орудий. Хотя французская армия и не извлекла из своего положения той выгоды, какую из него можно было извлечь, и вопреки инструкциям комитета действовала слишком раздробленными силами, однако она заняла Менен, 16-го числа покинула его и пошла на Куртре. В Биссегеме французам встретился Больё. Началось сражение, и все выгоды оказались на стороне французов; но внезапное появление отряда кавалерии посеяло страх, лишенный всякого основания. Солдаты развернулись и отступили в Менен, но и там не прекратили это непостижимое бегство. Паника сообщилась всем лагерям, всем постам, и вся армия спаслась под пушками Лилля.

Такая паника не новость. В данном случае причиной были юность и неопытность войск. Известие об этом происшествии произвело в Париже самое пагубное впечатление, отняло у Гушара плоды его первой победы и возбудило против него неистовую бурю обвинений, отчасти отразившихся и на Комитете общественного спасения. Последовал

новый ряд неудач, который снова вверг Францию в то опасное положение, из которого она как будто вырвалась на мгновение победой при Онд скоте.

Пруссаки и австрийцы, всё еще стоя на обоих склонах Вогезских гор, перед двумя французскими армиями, Мозельской и Рейнской, наконец совершили серьезную попытку. Старик Вурмзер, принимая дело ближе к сердцу, нежели пруссаки, и чувствуя, как выгодно было бы перейти через Вогезы, решил занять важный пост Боденталь близ верхнего Лаутера. Он рискнул отрядом в четыре тысячи человек, который, пройдя опасными горными тропами, занял Боденталь. Представители, находившиеся при Рейнской армии, со своей стороны, уступая общему импульсу, везде вызывавшему удвоенную энергию, решились 12 сентября совершить общую вылазку из Вейсенбургских линий. Генералы Дезе, Дюбуа и Мишо, разом бросившись на австрийцев, вернулись после бесполезных усилий: попытка, направленная против австрийского отряда, занявшего Боденталь, не удалась. Однако стали готовить новую атаку на 14 сентября.

Генерал Ферретт должен был идти на Боденталь, а Мозельская армия, в то же время действуя на другом склоне, должна была атаковать Пирмазенс, точку, соответствовавшую Боденталю, где стоял герцог Брауншвейгский с частью прусской армии. Атака генерала Ферретта вполне удалась: его солдаты с геройской отвагой напали на австрийские позиции, захватили их и возвратили под свой контроль крайне важное бодентальское ущелье. Но не то было на другом склоне. Герцог Брауншвейгский знал, как важно удержать Пирмазенс, ключ ко всем ущельям; при нем находились значительные силы, и он занимал превосходные позиции. Пока Мозельская армия сражалась с остальной прусской армией, 12 тысяч французов были переброшены из Хорнбаха в окрестности Пирмазенса. Они могли надеяться взять Пирмазенс не иначе как неожиданным нападением, но были тотчас замечены, и по ним открыли жестокий картечный огонь, так что следовало отступить. Генералы это и хотели сделать, но представители им не позволили и велели идти в атаку тремя колоннами, через три оврага, ведущих к возвышенности, на которой стоит Пирмазенс. Солдаты благодаря своей храбрости уже прошли довольно много, правая колонна даже

готовилась перейти овраг и обогнуть Пирмазенс, когда с обеих сторон по ней неожиданно открыли убийственный огонь. Солдаты сначала выдерживали его, но огонь удвоился, и им пришлось вернуться назад по тому же оврагу. То же самое случилось и с другими колоннами.

Армия была вынуждена возвратиться к тому посту, из которого вышла. К великому счастью, пруссакам не пришло в голову гнаться за бегущими или занять их лагерь в Хорнбахе. Французы потеряли в этом деле двадцать два орудия и четыре тысячи человек убитыми, ранеными и пленными. Это поражение могло иметь весьма важные последствия. Союзники, ободренные успехом, намеревались напрячь все свои силы; они собирались идти на Саар и Лаутер и отбить у французов Вейсенбургские линии.

Осада Лиона продвигалась медленно. Пьемонтцы, спустившись с Альп в долины Савойи, устроили диверсию и заставили Дюбуа-Крансе и Келлермана разделить свои силы. Келлерман пошел в Савойю, Дюбуа-Крансе, оставшись под Лионом с недостаточными силами, тщетно осыпал ядрами и бомбами несчастный город, который, решившись уже на всё, не мог испугаться бомбардировки; взять его теперь можно было только приступом.

На Пиренеях французское оружие тоже понесло кровавое поражение. Французские войска оставались в окрестностях Перпиньяна, а многочисленные испанцы стояли в своем лагере — закаленные воины под началом искусного генерала, полные рвения и надежды. Мы уже описывали этот театр войны. Параллельно расположенные долины рек Тек и Те начинаются у главной цепи и заканчиваются у моря. Перпиньян построен в последней долине. Рикард ос перешел первую линию Тека и решился перейти также и Те, но гораздо выше Перпиньяна, так чтобы обогнуть город и вытеснить из него французов. С этой целью он думал сначала занять Вильфранш. Эта маленькая крепость, стоящая у верхнего течения реки Те, послужила бы его левому крылу надежной защитой против храброго Дагобера, который с отрядом из трех тысяч человек с успехом держался в Сердане.

Итак, в первых числах августа Рикардос отрядил генерала Креспо с несколькими батальонами. Последнему стоило только появиться перед Вильфраншем, и комендант впустил его, поступив в этом случае как изменник. Креспо оставил там гарнизон и вернулся к Рикардосу. В это

время Дагобер с маленьким отрядом, пройдя всю Сердань, заставил испанцев отступить до Сео-де-Уржеля. Но малочисленность отряда и взятие крепости Вильфранш успокоили Рикардоса: ему нечего было бояться французов на своем левом крыле, и поэтому он упорствовал в наступательном образе действий. Тридцать первого августа он сделал угрожающее движение против лагеря под Перпиньяном и перешел через реку Те, оттесняя французское правое крыло, которое отступило к Ле Салсу, местечку, лежавшему на несколько лье позади Перпиньяна, близ самого моря. Таким образом, французы, частью заключенные в Перпиньяне, частью припертые к Ле Салсу, оказались в опаснейшем положении.

Дагобер, правда, продолжал геройствовать в Сердане, но этого было слишком мало, чтобы серьезно потревожить Рикардоса. Народные представители Фабр и Кассен, находившиеся при войсках в Ле Салсе, решились призвать Дагобера на место генерала Барбантана, надеясь этим вернуть утраченное счастье. В ожидании нового начальника они велели одной колонне идти на Перпиньян и атаковать испанцев с тыла, пока сами нападут на них с фронта. Пятнадцатого сентября генерал Даву с отрядом из 6–7 тысяч человек вышел из Перпиньяна, а Периньон напал на испанцев, выдвинувшись из Ле Салса. По условленному знаку оба с двух сторон бросились на неприятельский лагерь. Испанцы, теснимые со всех флангов, бежали за реку Те, бросив двадцать шесть орудий. Они снова заняли свой прежний лагерь, из которого вышли, чтобы совершить свою смелую, но неудачную наступательную операцию.

В это время прибыл Дагобер. Этот семидесятилетний воин, соединявший с юношеской пылкостью мудрую осторожность старого генерала, поспешил ознаменовать свое прибытие попыткой атаки на лагерь испанцев. Он разделил атаку на три колонны: одна должна была отправиться от правого крыла и обогнуть неприятеля; другой следовало действовать в центре, напасть на испанцев с фронта и опрокинуть; наконец третья, с левой стороны, должна была стать в лесу и отрезать неприятелю отступление. Последняя колонна под началом Даву едва атаковала и бежала в беспорядке. Тогда испанцы смогли направить все свои силы против остальных двух колонн. Рикардос, рассудив, что главная опасность находится с правой стороны, решил идти туда со

всеми своими силами, и ему удалось оттеснить французов. Только в центре, где стоял сам Дагобер, воодушевлявший всех своим присутствием, укрепления неприятеля были взяты и непременно была бы одержана победа, если бы Рикардос, победив левое и правое крыло, не бросился на генерала со всеми своими силами. Однако храбрый Дагобер всё еще держался, как вдруг один батальон с криком «Да здравствует Король!» сложил оружие. Дагобер вне себя от ярости нацелил на изменников две пушки и в то же время, собрав горсть оставшихся верными храбрецов, отступил с таким надменным видом, что неприятель не осмелился преследовать его.

Конечно, доблестный воин заслужил одни лавры своей твердостью среди такого разгрома, но желчная подозрительность представителей была так велика, что они обвинили его в случившемся несчастье. Глубоко оскорбленный такой несправедливостью, генерал возвратился в Сер-дань и опять занял свое прежнее место второстепенного начальника. Так, французская армия осталась припертой к Перпиньяну и легко могла лишиться важной для нее линии реки Те.

Между тем в Вандее приступили к исполнению плана кампании, принятого на военном совете 2 сентября. Майнцская дивизия, как мы уже видели, собиралась начать с занятия Нанта, где была встречена радостными демонстрациями и празднествами. Подготовили банкет, но прежде чем праздновать, пришлось выдержать горячую стычку с неприятельскими отрядами, бродившими по берегам Луары. Если нантская колонна радовалась прибытию славной Майнцской дивизии, то и последняя, со своей стороны, была не менее рада служить под началом храброго генерала Канкло. Согласно условленному плану колонны, отправившиеся со всех точек театра войны, должны были соединиться в центре и окончательно подавить неприятеля. Канкло, главнокомандующий Брестской армии, должен был, выйдя из Нанта, спуститься по левому берегу Луары, обогнуть большое озеро Гран-Лье, очистить Нижнюю Вандею, потом опять подняться к Машкулю и быть в Сен-Леже 11 или 13 сентября. Прибытие его туда должно было послужить сигналом для выступления Ларошельской армии, которой поручалось начать наступление с юга и востока. Она, как уже было сказано, состояла из нескольких дивизий, а главнокомандующим ее был

Россиньоль. Дивизией

Ле-Сабль-д'Олона руководил Мешковский; Люсонской – Беффруа; Ниорской – Шальбо; Сомюрской – Сантерр; а Анжерской – Дюу. Колонне Сабля было велено двинуться, как только Канкло прибыл бы в Сен-Леже, и 16-го присоединиться к нему в Мортане. Люсонская и ниорская колонны должны были составить цепь, двинуться к Брессюиру и Аржантону и быть там 14 сентября; наконец, сомюрская и анжерская колонны, отправившись от Луары, должны были, тоже 14-го, оказаться в окрестностях Вийе и Шемилье. Таким образом, согласно этому плану следовало обойти весь край и запереть инсургентов в пространстве между Мортаном, Брессюиrom, Аржантоном, Вийе и Шемилье. Гибель их тогда становилась неизбежной.

Мы уже видели, что вандейцы, дважды отогнанные от Люсона с большими потерями, страстно желали отыграться. Они собрались прежде, нежели республиканцы успели привести свои планы в исполнение, и, пока Шаретт осаждал лагерь Нодьер невдалеке от Нанта, напали на Люсонскую дивизию, которая дошла уже до Шантони. Эти две попытки последовали 5 сентября. Шаретт получил отпор, но нападение на Шантони, неожиданное и толково совершенное, ввергло республиканцев в панику. Молодой и храбрый Марсо совершил чудеса, чтобы устранить грозившее бедствие, но его дивизия, потеряв обоз и артиллерию, отступила в Люсон. Эта неудача могла повредить уставленному плану, потому что расстройство одной из колонн оставляло пустое место между дивизиями Сабля и ниорской, но представители приложили все усилия, чтобы скорее привести ее в порядок, и послали к Россиньолью курьеров известить о случившемся.

Все вандейцы в это время собрались в Эрбье с главнокомандующим д'Эльбе. Между ними царило такое же несогласие, как и между их противниками. Вандейские вожди так же не ладили между собой, ревнуя друг к другу, как и республиканские. Они мало уважали свой верховный совет, который старался придать себе вид державной власти. Имея в руках материальную силу, они не имели никакой охоты уступать власть собранию, им одним обязанному своим призрачным существованием.

Притом они завидовали д'Эльбе и уверяли, что в главнокомандующие скорее годился Боншан. Шаретт, со своей стороны,

хотел один хозяйничать в Нижней Вандее.

Короче говоря, вандейцы были не слишком расположены к тому, чтобы противопоставить свой план плану республиканцев, о котором узнали из перехваченной депеши. Один Боншан предложил смелый проект, изобличавший большую глубину мысли. Он полагал, что окажется невозможным долго сопротивляться силам Республики в Вандее и необходимо немедленно вырваться из всех этих лесов и оврагов; он доказывал, что гораздо лучше выбраться плотной колонной из Вандеи и перейти в Бретань, где они будут желанными гостями и где Республика не рассчитывала на ответные удары. Боншан советовал идти до берегов океана, завладеть каким-нибудь портом, войти в сношения с англичанами, принять у себя одного из принцев-эмигрантов и оттуда идти на Париж. Словом, начать войну наступательную и решительную. Этот совет не был принят вандейцами; вожди думали лишь о том, чтобы разделить край на четыре части, где они могли бы царствовать, каждый сам по себе. Шаретту досталась Нижняя Вандея, Боншану – берега Луары, ближе к Анжеру, Ларошжаклену – остальная часть Верхнего Анжу, Лескюру – вся восставшая часть Пуату. Д'Эльбе сохранил свой пустой титул главнокомандующего, а верховный совет – свою призрачную власть.

Оставив для защиты Нанта в лагере Нодьер сильный резерв под началом Груши и Аксо, Канкло двинулся 9 сентября и направил к Сен-Леже майнцскую колонну. Тем временем старая Брестская армия под предводительством Бейссера, обойдя всю Нижнюю Вандею, должна была в Сен-Леже соединиться с майнцской колонной. Авангардом майнцской колонны командовал Клебер, а главным корпусом – Обер-Дюбайе, и она рассеяла перед собой всех неприятелей. Клебер, гуманный настолько же, насколько и храбрый, размещал свои лагеря вне селений и не давал войскам грабить или опустошать местность. «На пути мимо красивого озера Гран-Лье, – писал он, – нам встречались прелестные ландшафты, виды привлекательные и разнообразные. На обширном лугу паслись большие стада, предоставленные сами себе. Я не мог не скорбеть в душе об участи несчастных жителей, которые, введенные в заблуждение и фанатизированные своими кюре, отвергали благодеяния нового порядка и стремились к верной гибели...»

При главном штабе работала специальная гражданская комиссия, заведовавшая исполнением декрета от 1 августа, который повелевал разорять земли и переселять жителей в другие места. Солдатам было запрещено что-либо поджигать, и строго следили за тем, чтобы опустошительные средства пускались в ход лишь по приказанию военных начальников и гражданской комиссии.

Четырнадцатого сентября майнцская колонна сошлась в Леже с брестской, которой командовал Бейссер. Тогда же колонна из Ле-Сабль-д'Олона под началом Мешковского подошла к Сен-Фюльжану и армии Канкло. Люсонская колонна, задержанная поражением при Шантоне, несколько отстала, но благодаря стараниям представителей, которые дали ей нового начальника, Беффруа, опять двинулась вперед. Ниорская колонна была в Ла-Шатеньере. Таким образом, хотя движение замедлилось на день или два, это не нарушило согласных действий, и всё еще можно было исполнить задуманный план. Однако в это время в Сомюр дошло известие о поражении люсонского отряда: Россиньоля, Ронсен и весь главный штаб переполошились и, опасаясь, чтобы что-нибудь в том же роде не случилось с колоннами Сабля и Ниора, решили немедленно вернуть их. Такой приказ был верхом неблагоразумия, однако отдали его не из коварства, не из желания открыть армию Канкло; просто эти люди не верили в план и были склонны при малейшем препятствии объявить его невозможным и бросить.

Канкло между тем с успехом шел вперед. Он атаковал Монтегю с трех пунктов: Клебер по Нантской дороге, Обер-Дюбайе по дороге из Рошезервьера, а Бейссер из Сен-Фюльжана в одно время ринулись на город и живо выгнали из него неприятеля. Семнадцатого числа Канкло взял Клиссон и, не зная еще о действиях Россиньоля, решил остановиться и ограничиться рекогносцировками в ожидании известий.

Итак, Канкло расположился в окрестностях Клиссона, оставил Бейссера в Монтегю и послал Клебера с авангардом в Торфу. Это было 18-го числа. Контрприказ из Сомюра был получен ниорским отрядом, а оттуда сообщен другим; все три колонны тотчас вернулись, чем привели вандейцев в непомерное изумление и поставили Канкло в затруднительное положение. Вандейцев было около ста тысяч. Огромное число их находилось в окрестностях Вийе и Шемилье, напротив анжерской и сомюрской колонн, еще большее — около

Клиссона и Монтегю. То есть вандейцев было достаточно, чтоб задать республиканцам работы на всех пунктах. В этот день они шли вовсе не на войска Россиньоля, а на Канкло: д'Эльбе и Лескюр из Верхней Вандеи решили выступить против майнцской колонны.

Россиньоль, узнав о том, что Канкло успешно проник в самый центр Вандеи, отменяет свой контрприказ и велит возвращавшимся колоннам опять идти вперед. Сомюрская и анжерская колонны, находясь к нему ближе, первыми исполняют этот приказ; начинаются стычки при Дуэ и у мостов Се. Аванпосты оказываются равной силы, и 18-го сомюрская колонна под началом Сантерра хочет пройти из Вийе в маленькую деревню Корон. Артиллерия, кавалерия, пехота смешиваются в кучу из-за бестолковых распоряжений, путаются и запруживают улицы деревни, которую неприятель обстреливает сверху. Сантерр хочет исправить эту ошибку, вывести войска и выстроить их на возвышенности, но Ронсен, который в отсутствии Россиньоля присваивает себе высшую власть, упрекает Сантерра в том, что тот хочет отступить, и не дает ему действовать. В эту минуту вандейцы, нагрянув внезапно, приводят ряды республиканцев в страшный беспорядок. В отряде республиканцев было много новобранцев – они все разбегаются, увлекая за собой остальных, так что бегство становится общим. На следующий день вандейцы идут против Анжерской дивизии, удачно оттесняют неприятеля и снова завладевают мостами Се.

Там, где стоит Канкло, тоже дерутся. Двадцать тысяч вандейцев нападают в окрестностях Торфу на авангард Клебера, в котором едва две тысячи человек. Клебер становится посреди своих солдат и поддерживает их мужество в неравной борьбе. Место, на котором ему приходится сражаться, – это дорога с возвышенностями по сторонам; несмотря на такую невыгодную позицию, его солдаты отступают твердо и стройными рядами. Однако одно орудие каким-то образом снимается с передка, происходит некоторое смятение, и храбрые солдаты в первый раз подаются. Тогда Клебер, чтобы задержать неприятеля, ставит офицера с несколькими солдатами у моста и говорит им: «Друзья мои, защищайте это место до последней капли крови». Они буквально исполняют это приказание, а между тем подходит главный корпус и придает делу другой оборот. В итоге вандейцы отогнаны и дорого платят за свое минутное торжество.

Все эти события происходили 19 сентября. Приказ двинуться вперед, так неудачно исполненный Сомюрской и Анжерской дивизиями, еще не дошел до Люсонской и Ниорской дивизий по причине больших расстояний. Бейссер всё еще стоял в Монтегю, образуя правое крыло Канкло, и не был прикрыт. Канкло, не желая понапрасну подвергать его опасности, приказал генералу выйти из Монтегю и приблизиться к главному корпусу и в то же время велел Клеберу идти к нему, чтобы прикрыть это движение. Бейссер по нерадению плохо стерег Монтегю, и Лескюр и Шаретт напали на его отряд и вырезали бы его, если бы не храбрость двух батальонов, которые своим упорством замедлили погоню и отступление. Артиллерия и обоз пропали, и остатки отряда поспешили в Нант, где их принял храбрый резерв, оставленный в этом городе. Тогда Канкло решил отступить, чтобы его армия не осталась в одиночестве и без всякой защиты во враждебной стране, и вернулся в Нант со своими майнцскими молодцами.

Причина, помешавшая успеху и этой экспедиции в Вандею, очевидна. Главный штаб в Сомюре остался недоволен планом, отдававшим майнцскую колонну в распоряжение Канкло; неудача 5 сентября была для него достаточным предлогом, чтобы отчаяться в успехе плана и отказаться от него; отсюда контрприказ колоннам Ларошельской армии. Канкло, успешно двинувшийся вперед, оказался один, и проигрыш при Торфу сделал его положение еще более затруднительным. Между тем Сомюрская армия, узнав о его успехе, выступила опять и, если бы не поторопилась разбежаться, то, весьма вероятно, одержала бы верх. Очевидно, что опрометчивое отступление от условленного плана, плохая организация новых контингентов и сила вандейцев, собравшихся в числе более ста тысяч, стали причинами этих новых несчастий. Но не было ни измены со стороны сомюрского главного штаба, ни ошибки в плане Канкло.

Действие этих неудач было пагубным, потому что успешное сопротивление Вандеи оживляло надежды контрреволюции и непомерно увеличивало опасности, грозившие Республике. Наконец, если Брестская и Майнцская армии остались нетронутыми, то Ларошельская вконец расстроилась, и новобранцы последнего набора разошлись по домам и селам, распространяя всюду полное уныние.

Обе партии, на которые распалась армия, поспешили обвинить одна другую. Филиппо первым написал Комитету общественного спасения письмо, полное кипучего негодования, и прямо приписывал в нем измене контрприказ, данный колоннам Ларошельской армии. Шудье и Ришар, комиссары Сомюра, написали ругательные ответы, а Ронсен лично помчался в Париж обличать погрешности злосчастного плана. Канкло, по его словам, действуя в Нижней Вандее слишком большими силами, отбросил всё мятежное население в Верхнюю Вандею и этим вызвал поражение сомюрской и анжерской колонн. На обвинение в измене Ронсен ответил обвинением в аристократизме и обе армии, Брестскую и Майнцскую, назвал притоном подозрительных злоумышленников. Так всё больше разрасталась ссора между якобинцами и сторонниками дисциплины и регулярной войны.

Непостижимая паника и бегство при Менене, бесполезная и кровопролитная попытка у Пирмазенса, поражение в Восточных Пиренеях, прискорбный исход новой экспедиции в Вандею – все эти несчастья стали известны в Париже почти одновременно и произвели пагубнейшее впечатление. Страх, как это всегда бывает, вызвал усугубление насилия. Мы уже видели, как самые свирепые агитаторы собирались в Клубе кордельеров, где соблюдалось еще менее сдержанности, нежели у якобинцев, и распоряжались в военном министерстве, которым управлял слабый Бушотт. Венсан был главой их в Париже, подобно Ронсену в Вандее. Кордельерам, стоявшим ниже Конвента, ужасно хотелось отделаться от его мешавшей им власти: в армиях – в лице представителей и в Париже – в лице Комитета общественного спасения. Комиссары не давали им со всем неистовством исполнять революционные меры, а комитет беспрестанно действовал им наперекор. Поэтому кордельеров часто посещали мысли об учреждении новой исполнительной власти согласно положениям конституции.

Введение в силу конституции, которой настойчиво добивались аристократы, было сопряжено с большими опасностями. Для этого требовались новые выборы, на место Конвента заступило бы другое собрание, поневоле неопытное, неизвестное стране и заключающее в себе фракции всех возможных оттенков. Восторженные

революционеры, чувствуя эту опасность, требовали не нового состава народного представительства, а только исполнения тех положений конституции, которые им вполне подходили, но всё ещё не выполнялись. Почти все эти люди занимали места в различных ведомствах и хотели только учреждения конституционного правительства, независимого от законодательной власти и, следовательно, от Комитета общественного спасения. Венсан имел дерзость составить в Клубе кордельеров петицию об учреждении конституционного правительства и отзыве из армий комиссаров Конвента. Немедленно возникло живейшее волнение. Лежандр, друг Дантона, тщетно противился; петиция была принята за исключением одной статьи, согласно которой комиссары конвента отзывались. Польза, которую приносили эти представители, была до того очевидна и в статье проглядывало такое чувство личной вражды к Конвенту, что ее не посмели отстаивать. Эта петиция вновь переполошила Париж и повредила власти комитета.

Кроме этих исступленных противников у комитета имелись еще и другие, из числа новых умеренных, которые обвинялись в стремлении возродить систему жирондистов и противодействовать революционной энергии. Резко расходясь во мнениях с кордельерами и якобинцами, они не переставали жаловаться комитету и даже упрекали его в том, что он не высказывается против анархистов с достаточной силой.

Итак, против комитета выступили две новые партии, только еще начинавшие формироваться. Они обе воспользовались несчастными событиями, чтобы обвинить народное собрание, и обе, сходясь в том, что действия его заслуживают порицания, критиковали их каждая по-своему.

Поражение при Менене уже было известно; о последних неудачах в Вандее начинали доноситься смутные вести. Пока неопределенно говорили о поражении, понесенном около Корона, Торфу, Монтегю. Тюрио, отказавшийся вступить в комитет и обвиняемый в принадлежности к партии новых умеренных, встал в самом начале заседания и высказался против интриганов, подрывавших организацию и только что сделавших предложения крайне насильственного характера по поводу продовольствия. «Комитетам и исполнительному совету, — сказал он, — не дает проходу интригующая сволочь, которая напускает

на себя патриотизм, только когда ей выгодно. Да, пришло время, и нужно прогнать этих людей, воображающих, что революция произошла для них; чистый и честный человек поддерживает революцию лишь ради блага рода человеческого».

Предложения, против которых восстал Тюрио, отвергаются. Жан Дебри, один из комиссаров, посланных в Валансьен, читает критическую записку о военных операциях и доказывает, что никогда ни одна война не велась с такой медлительностью, несвойственной французскому духу; что до сих пор воевали по мелочи, малыми силами; и что именно в этой системе следует искать причины всех неудач. Потом, открыто не нападая на Комитет общественного спасения, он как будто дает понять, что этот комитет не обо всём известил Конвент: так, например, близ Дуэ будто бы стоял австрийский отряд в шесть тысяч человек, который можно было бы разбить, а между тем этого не сделали.

Конвент, выслушав Дебри, причисляет его к Комитету общественного спасения. В этот самый момент из Вандеи приходят подробные вести, которые вызывают общий порыв. «Вместо того чтобы робеть, – восклицает один из депутатов, – поклянемся спасти Республику!» При этих словах всё собрание встает и клянется спасти Республику, какие бы ей ни грозили опасности. Члены комитета, которых еще не подошли, входят в эту минуту. Барер, постоянный докладчик, начинает говорить:

– Всякое подозрение, направленное против комитета, было бы победой, одержанной Питтом. Мы не должны давать нашим врагам такого громадного преимущества, нам не следует самим подрывать кредит власти.

Потом Барер сообщает о мерах, принятых комитетом.

– Вот уже несколько дней, – продолжает он, – как комитет имел повод заподозрить, что большие ошибки совершены в Дюнкерке, где можно было истребить англичан до последнего человека, и в Менене, где не было сделано ничего, чтобы остановить странную панику, овладевшую войсками. Комитет сменил Гушара и дивизионного генерала Гедувиля, и поведение этих двух генералов будет изучено в скором времени. Затем комитет приступит к очищению всех главных штабов и всех военных администраций; он поставит флот на такую

ногу, что мы сможем помериться с неприятелем силами; только что набраны еще 18 тысяч человек и постановлена новая система атаки большими силами; наконец, комитет думает напасть на Рим в самом Риме, и 100 тысяч человек, высадившись в Англии, пойдут в Лондон и там задушат систему Питта. Стало быть, Комитет общественного спасения обвинен безосновательно; он по-прежнему заслуживает доверие, доселе оказываемое ему Конвентом.

Тогда просит слова Робеспьер.

– Давно уже, – говорит он, – всячески стараются обесславить Конвент и комитет, облеченный его властью. Дебри, который должен был бы умереть в Валансьене, подло ушел оттуда, чтобы в Париже служить Питту и коалиции, подрывая уважение к правительству. Недостаточно того, чтобы Конвент продолжал оказывать нам доверие – он должен заявить об этом торжественно и отменить свое решение относительно Дебри, которого он только что включил в наши ряды.

Это требование встретили рукоплесканиями и немедленно постановили не делать Дебри членом комитета и подтвердить единодушно, без голосования, что комитет сохраняет полное доверие Национального конвента.

Партия умеренных, заседавшая в Конвенте, потерпела поражение. Но самые опасные противники комитета, пламенные революционеры, заседали у якобинцев и кордельеров. От последних надлежало обороняться в особенности. Робеспьер отправился в Клуб якобинцев и, рассчитывая на свое влияние, описал всю деятельность комитета, оправдал его в обвинениях, взводимых на него умеренными и крайними, и растолковал, как опасны петиции, требующие учреждения конституционного правительства. «Необходимо, – сказал он, – чтобы какое-нибудь правительство заменяло то, которое мы уничтожили. Организовать в настоящую минуту конституционное правительство – значит изгнать Конвент и уничтожить власть в присутствии неприятельских армий. Эта мысль могла прийти в голову одному лишь Питту. Его агенты распространили ее, обольстили честных патриотов, и народ, страждущий и легковерный, всегда склонный жаловаться на правительство, которое не может помочь всем бедам, стал верным отголоском их клевет и предложений. Вы же, якобинцы, слишком искренние, чтобы вас можно было переманить, слишком просвещенные,

чтобы поддаться обольщениям, – вы защитите Гору от нападений и поддержите Комитет общественного спасения, который хотя и оклеветать, и с вашей помощью он восторжествует над всеми происками врагов народа!»

Речи Робеспьера аплодировали, а в его лице аплодировали и всему комитету. Кордельеры вынуждены были остановиться, об их петиции забыли, и нападение Венсана, получив решительный отпор, осталось без всяких последствий.

Всё же следовало принять какое-то решение относительно конституции. Уступить место новым революционерам – неизвестным, скорее всего, несогласным между собою – было опасно. Следовательно, нужно было заявить всем партиям, что Конвент намерен присвоить всю власть и, прежде чем предоставить Республику самой себе и данным ей законам, будет управлять ею, пока не обеспечит ее процветание. В Конвент уже поступило множество петиций, упрашивавших собрание оставаться на своем месте.

Сен-Жюст, 12 октября говоря от имени Комитета общественного спасения, предложил новые правительственные меры. Он представил печальную картину Франции и, нанеся на этот холст самые мрачные краски, порожденные меланхолическим воображением, с помощью великого таланта и фактов, совершенно, впрочем, справедливых, вверг слушателей в ужас. Сен-Жюст предложил и убедил Конвент принять декрет, содержащий следующие положения. Первой статьей правительство Франции объявлялось революционным до заключения мира; это значило, что временно приостанавливается действие конституции и учреждается чрезвычайная диктатура до того времени, пока минуют все опасности. Этой диктатурой облакались Конвент и Комитет общественного спасения. «Исполнительный совет, – гласил декрет, – министры, генералы, любые власти и собрания подчиняются надзору Комитета общественного спасения, который каждую неделю будет отдавать в них отчет Конвенту». Мы уже рассказывали, как министры, генералы, все должностные лица, будучи обязаны представлять свои действия на одобрение комитета, кончили тем, что не смели ничего предпринимать от себя и по всякому поводу ждали приказаний комитета.

Далее в декрете говорилось: «Революционные законы должны исполняться быстро. Так как причина бедствий заключается в инерции правительства, то сроки исполнения этих законов будут назначены специально. Просрочка будет приравливаться к покушению на свободу и наказываться соответствующе».

К этим правительственным мерам присовокуплялись меры по части продовольствия, потому что хлеб, как сказал Сен-Жюст, есть право народа. Общий список продуктов продовольствия должен был рассылаться всем властям. Предлагалось составить приблизительную смету того, что требовалось каждому департаменту, и гарантировать требуемое; что же касается излишков, то они подлежали реквизициям либо для армии, либо в пользу провинций, нуждавшихся в самом необходимом. Этими реквизициями заведовала продовольственная комиссия. К 1 марта следующего года Париж, как крепость в военное время, должен был быть снабжен на целый год. Наконец, постановлялось учредить особый суд для рассмотрения действий и состояния лиц, управлявших государственной казной.

Этой обширной и важной декларацией правительство, состоявшее отныне из Комитета общественного спасения, Комитета общественной безопасности и трибунала, пополнялось и утверждалось на всё время опасности. Это равнялось объявлению военного положения и применению к Революции всех чрезвычайных законов этого положения на всё время, пока оно продлится. Чрезвычайное правительство было дополнено разными учреждениями, которых давно требовали и которые сделались наконец неизбежными.

Требовалась революционная армия, то есть вооруженная сила, имевшая специальное назначение исполнять приказы правительства внутри Франции. Декрет о ней вышел уже давно; наконец эта армия была организована. Она состояла из 6 тысяч человек, не считая 1200 канониров. Это был подвижный корпус, который можно было отправлять из Парижа в те города, где понадобится его присутствие, и содержать там за счет жителей. Кордельеры хотели, чтобы такая армия была образована в каждом департаменте, но Конвент на это не согласился, говоря, что это равнялось бы возвращению к федерализму и что не следует давать каждому департаменту своей особой, так сказать, личной армии. Те же кордельеры требовали, чтобы каждый отряд

революционной армии возил с собой гильотину на колесах. Нет такой дикой мысли, которая не пришла бы на ум распалившимся людям. Конвент отверг и это требование.

Составить эту армию поручили Бушотту, и он ее набрал в Париже из беспутных бездельников, всегда готовых сделаться орудиями господствующей власти. Он наполнил главный штаб этой армии якобинцами и в еще большей степени – кордельерами и вызвал Ронсена из Вандеи, чтобы поставить его во главе этого революционного сблища. Он представил список членов главного штаба якобинцам и подверг каждого офицера искусу голосования: ни один не был утвержден министром, если его предварительно не одобрили якобинцы.

Наконец, ко всем этим законам Конвент присовокупил еще закон против подозрительных лиц, столько раз уже требуемый и в принципе уже принятый, как и поголовное ополчение. Чрезвычайный трибунал, хоть и организованный так, чтобы судить лишь на основании возможного, всё еще не удовлетворял разгоряченное воображение народа. Желательно было держать под замком тех, кого по каким-то причинам нельзя было казнить, и требовались распоряжения, позволявшие задерживать таковых без промедления. Декрет, ставивший вне закона аристократов, был слишком размыт и требовал суда, тогда как хотели иметь право по одному доносу революционных комитетов, без суда, немедленно заключать в тюрьму человека, объявленного подозрительным.

Семнадцатого сентября вышел знаменитый декрет, известный под названием Закона о подозрительных лицах, которым постановлялось задержание, до заключения мира, всех граждан, могущих вызвать подозрение. Таковыми признавались: 1) лица, своим поведением, сношениями либо речами, устными или писаными, выказавшие себя сторонниками тирании и федерализма и врагами свободы; 2) лица, не могущие доказать (способом, предписанным законом 20 марта текущего года), какие имеют средства существования, а также исполнили ли они свои гражданские обязанности; 3) лица, которым было отказано в свидетельстве о гражданстве; 4) публичные должностные лица, уволенные или временно отрешенные от должности Конвентом или его комиссарами; 5) бывшие дворяне, мужья, жены, отцы, матери, сыновья и дочери, братья и сестры или агенты эмигрантов, не обнаружившие

постоянной привязанности к Революции; 6) лица, эмигрировавшие в промежуток между 1 июля 1789 года и до обнародования закона от 9 апреля 1792 года, хотя бы они и вернулись во Францию в назначенные сроки.

Арестанты должны были содержаться в государственных домах за их же собственный счет. Им позволялось перенести в эти дома мебель, какая им могла понадобиться. Комитеты, на которые возлагалась обязанность приговаривать к аресту, выносили приговоры только большинством голосов, с обязательством предоставлять Комитету общественной безопасности список подозрительных лиц и мотивы к каждому аресту. Так как с этой минуты их обязанности становились весьма обширными и почти непрерывными, то были признаны некоторого рода службой, имевшей право на жалованье.

В дополнение к этим распоряжениям по настоятельному требованию Парижской коммуны было издано еще одно, которым отменялся декрет, запрещающий ночные обыски. С этой минуты каждый гражданин, подвергавшийся гонению, не имел уже ни минуты безопасности или отдыха ни днем ни ночью. До сих пор подозрительные, запершись на день в крайне тесных, но ловко устроенных тайниках, могли свободно вздохнуть по крайней мере ночью, теперь же у них отнималась и эта возможность.

Секционные собрания происходили каждый день, но простому народу уже некогда было на них ходить, а без него некому было поддерживать революционные предложения. Потому решили, что эти собрания впредь будут заседать только два раза в неделю и каждому гражданину, который придет в собрание, будут платить по два франка за заседание. Это было самое верное средство привлечь больше народа: платить и звать не слишком часто. Пламенные революционеры очень рассердились на это ограничение числа заседаний и составили весьма резкую петицию, в которой жаловались на посягательство против прав державного народа, которому мешали собираться, когда ему угодно. Юный Варле был автором этой петиции; ее отвергли и оставили без внимания наравне со многими другими, внушенными революционным брожением.

Итак, машина находилась на полном ходу по двум наиболее важным в государстве делам — по военной и полицейской части. И

война, и полиция – всё сосредоточилось в Комитете общественного спасения. Этот комитет, имея возможность требовать любые богатства страны, посылать граждан в бой или на плаху, был облечен – для защиты революции – грозной, безусловной диктатурой. Правда, он должен был каждую неделю отдавать Конвенту отчет в своих трудах, но этот отчет всегда одобрялся. Оппозицию этой силе составляли только умеренные, так и не переступившие черты, и новые крайние, легко перемахнувшие через нее, но те и другие были не опасны.

Мы уже видели, что Робеспьера и Карно приняли в Комитет общественного спасения на место Гаспарена и Тюрио, уволившихся по болезни. Робеспьер принес в дар комитету свое могучее влияние, а Карно – свои военные познания. Конвент хотел присоединить к Робеспьеру еще и Дантона, его товарища и соперника, но Дантон, утомленный, притом мало способный к административной рутине и вдобавок наскучив клеветами различных партий, не хотел более участвовать ни в каких комитетах. Он и так достаточно поработал на пользу революции: придумал все меры, которые, хоть и будучи жестокими в исполнении, придали революции спасшую ее энергию. Теперь Дантон становился менее необходимым, потому что после первого нашествия пруссаков опасность отчасти вошла в привычку. Мщение, готовившееся против жирондистов, претило ему; он недавно женился по любви (одарив свою молодую жену бельгийским золотом, по словам его врагов, а по словам друзей – суммами, полученными от правительства за должность адвоката). Он страдал, подобно Мирабо и Марату, от тяжелого заболевания; словом, нуждался в отдыхе и просил отпуска, чтобы съездить в Арси-сюр-Об, на свою родину, и насладиться природой, которую страстно любил.

Ему советовали удалиться на время, чтобы положить конец клевете. Победа революции теперь уже могла совершиться без него: для этого достаточно было еще двух месяцев войны и энергии; и Дантон намеревался возвратиться после победы и тогда возвысить свой могучий голос в пользу побежденных и лучших порядков. Пустое самообольщение, плод лени и утомления! Оставить на два месяца, даже на один только месяц, такую быструю революцию значило сделаться для нее чужим и бессильным!

Итак, Дантон отказался от места и взял отпуск. В комитет

поступили Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа и привнесли в него первый – свою холодную непреклонность, а второй – страстную пылкость и свое влияние на буйных кордельеров.

Комитет общественной безопасности также подвергся преобразованию: число членов было сокращено с восемнадцати до девяти, причем были оставлены самые последовательные.

Пока правительство таким образом организовалось, во всех принимаемых решениях отмечали удвоенную энергию. Обширные меры, принятые в августе, еще не принесли ожидаемых результатов. Вандея, хотя нападение против нее и было поведено по правильному плану, не поддавалась; поражением при Менене были почти утрачены выгоды, доставленные при Ондскоте; требовались новые усилия. Революционный энтузиазм подсказал мысль о том, что на войне, как и во всём, воля имеет решающее значение, и в первый раз армии было велено победить к назначенному сроку во что бы то ни стало.

Все опасности, грозившие Республике, патриоты видели сконцентрированными в Вандее. «Уничтожьте Вандею, – говорил Барер, – и Валансьен и Конде не будут больше во власти австрийцев. Уничтожьте Вандею – и англичане не будут больше заниматься Дюнкерком. Уничтожьте Вандею – и Рейн будет избавлен от пруссаков. Уничтожьте Вандею – и Испания будет побеждена и завоевана. Уничтожьте Вандею – и часть внутренней армии отправится подкрепить храбрую Северную армию, столько раз преданную, столько раз расстроенную. Уничтожьте Вандею – и Лион более не будет сопротивляться, Тулон восстанет против испанцев и англичан, а дух Марселя снова поднимется на высоту Революции. Наконец, каждый удар, который вы нанесете Вандее, отразится на непокорных городах, на федералистских департаментах, на одолеваемых неприятелем границах!.. Вандея и снова Вандея! Там нужен решительный удар до 20 октября, до начала зимы, до бездорожья и распутицы.

Комитет в следующих немногих словах может изложить все пороки Вандеи:

- слишком много представителей;
- слишком много нравственного раздора;
- слишком много военного раздробления;

слишком серьезное отсутствие дисциплины;
слишком много ложных отчетов о ходе событий;
слишком много алчности у начальников и администраторов».

В конечном итоге Конвент сократил число представителей, слил Брестскую и Ларошельскую армию в одну под названием Западной и назначил командовать ею не Канкло и не Россиньоля, а Лешеля, бригадного генерала Люсонской дивизии. Наконец, Конвент назначил день, к которому надлежало окончить вандейскую войну, – 20 октября.

Вот прокламация, которой сопровождался декрет 1 октября.

«От Национального конвента Западной армии. Солдаты свободы! Надо, чтобы вандейские разбойники были истреблены до конца октября! Благо Отечества требует того; нетерпение французского народа повелевает; его мужество должно это исполнить. Национальная благодарность ожидает к тому времени всех, чьи храбрость и патриотизм бесповоротно утверждают свободу и Республику!»

Не менее быстрые и энергичные меры были приняты относительно Северной армии, чтобы сгладить разгром при Менене и достичь новых побед. Смененный уже Гушар был арестован. Генерал Журдан, командовавший центром при Ондскоте, был назначен главнокомандующим Северной и Арденской армиями. Ему предписали собрать в Гизе большие силы, чтобы атаковать неприятеля. Мелкие стычки порицались в один голос, все хотели нового метода ведения войны, более приспособленного, как говорили, к пылкости французского характера. Карно сам поехал в Гиз к Журдану, чтобы описать ему новую систему войны, чисто революционную. К Дюбуа-Крансе отправили еще трех комиссаров произвести ополченский набор и двинуть новобранцев прямо на Лион. Ему предписывалось отказаться от методических атак и взять непокорный город приступом. Везде удваивались усилия, чтобы победоносно окончить кампанию.

Но увеличение энергии всегда сопровождается усилением строгостей. Процесс Кюстина, по мнению якобинцев слишком долго откладываемый, был наконец начат и велся со всей суровостью новых судебных форм. Ни один главнокомандующий еще не оказывался на эшафоте. Всех разбирало нетерпеливое желание сразить высоко стоявшую голову и заставить начальников армий преклониться перед

народной властью; главное же – надо было заставить кого-нибудь из генералов искупить отступничество Дюмурье, а на Кюстина выбор пал потому, что по убеждениям и наклонностям его считали другом Дюмурье. Кюстин был арестован, когда находился в Париже, приехав ненадолго, чтобы договориться о своих дальнейших действиях с министерством. Сначала его заключили в тюрьму, потом враги его потребовали и добились декрета о переведении его в Революционный трибунал.

Кюстин наделал много ошибок, но измены – ни одной. В свидетели на процесс были призваны представители, агенты исполнительной власти, все заклятые враги генералов, недовольные офицеры, члены клубов в Страсбурге, Майнце и Камбре, наконец, ужасный Венсан, тиран военного ведомства при Бушотте. Это была орава обвинителей, громоздившая несправедливые и противоречивые обвинения, совершенно чуждые настоящей военной критике, основанные на случайных несчастьях, в которых подсудимый не был виноват и которых нельзя было ему приписывать. Кюстин с некоторой военной запальчивостью отвечал на все эти обвинения, но был подавлен ими.

Процесс затянулся. Обвинения были такими неопределенными, что суд колебался. Дочь Кюстина и многие лица, принимавшие в обвиняемом участие, хлопотали за него: хотя страх был велик, однако в то время еще осмеливались выказывать некоторое участие к жертвам. Но вот у якобинцев раздались обвинения и против

Революционного трибунала. «Прискорбно, – сказал там Эбер, – находится перед необходимостью обличать власть, которая была надеждой патриотов, которая сначала заслужила их доверие, а теперь скоро станет для них бичом. Революционный трибунал собирается оправдать злодея, в пользу которого, правда, повсюду ходатайствуют самые хорошенькие парижанки. Дочь Кюстина, так же искусно разыгрывающая комедию здесь, как разыгрывал ее отец во главе армий, ходит ко всем и всё на свете обещает, чтобы добиться помилования». Робеспьер, со своей стороны, обличал овладевшие судом дух интриги и любовь к формальностям и утверждал, что Кюстин достоин смерти уже за одно то, что хотел увезти артиллерию из Лилля.

Венсан, в свою очередь, перебрал весь архив и принес письма и приказы, в авторстве которых обвиняли Кюстина, хотя в них, уж

конечно, не было ничего преступного. Фукье-Тенвиль, основываясь на них, вывел между Кюстином и Дюмурье параллель, которая погубила несчастного генерала. «Дюмурье, – сказал он, – быстро двинулся в Бельгию и не менее быстро из нее ушел, оставляя неприятелю солдат, склады и представителей. Так и Кюстин быстро двинулся в Германию, бросил солдат во Франкфурте и Майнце и хотел вместе с этим последним городом предать в руки врагов двадцать тысяч человек, двух представителей и всю артиллерию, нарочно вывезенную из Страсбурга. Подобно Дюмурье, он дурно говорил о якобинцах и Конвенте и расстреливал храбрых волонтеров под предлогом сохранения дисциплины».

После проведения этой параллели трибунал более не колебался. Кюстин в продолжение двух часов объяснял свои военные операции, а Тронсон дю Кудре защищал его административную и гражданскую деятельность, но безрезультатно. Суд объявил генерала виновным, к большой радости якобинцев и кордельеров, наполнивших залу. Однако Кюстин был осужден не единодушно: по трем предложенным против него обвинениям было десять, десять и восемь голосов из одиннадцати. Когда президент спросил генерала, не имеет ли он, чего еще сказать, Кюстин обвел залу взором и, не находя более своих защитников, ответил: «У меня больше нет защитников; я умираю спокойным и невиновным».

Он был казнен на следующее утро. Вид эшафота как будто заставил колебаться этого воина, известного своей храбростью. Однако он стал на колени у подножья лестницы, прочел краткую молитву, оправился и мужественно встретил смерть. Такой была кончина несчастного генерала, который не имел недостатка ни в уме, ни в твердости характера, но грешил непоследовательностью и излишней самоуверенностью и совершил три капитальные ошибки. Ни одна из них, однако, не заслуживала смерти; он был казнен больше потому, что нельзя было казнить Дюмурье.

Казнь Кюстина послужила грозным уроком военачальникам и сигналом к безусловному повиновению приказаниям революционного правительства. Этим приговором открылся непрерывный ряд казней. Было сделано новое распоряжение об ускорении процесса Марии-Антуанетты. Столько раз требуемый обвинительный акт против

жирондистов, до сих пор еще не составленный, был представлен Конвенту. Написал его Сен-Жюст. Несколько петиций, внесенных якобинцами, заставили Конвент принять его. Он был направлен не только против знаменитых двадцати двух и членов Комиссии двенадцати, но еще и против семидесяти трех членов правой стороны, хранивших мертвое молчание с самой победы Горы и составивших весьма известный протест против событий 31 мая и 2 июня. Несколько бешеных монтаньяров хотели обвинения – то есть смерти всех этих лиц, – но Робеспьер был против этого и предложил среднюю меру: первых и вторых судить Революционным трибуналом, а семьдесят три депутата посадить под арест. Так и сделали. Двери залы были тотчас же заперты, семьдесят три народных представителя были арестованы, а Фукье-Тенвиль получил предписание заняться несчастными жирондистами.

Так Конвент, делаясь всё послушнее, допустил приказ об умерщвлении части своих членов.

Глава XXVIII

Взятие Лиона – Победа при Ватиньи – Бегство вандейцев за Луару – Неудачи на Рейне

Каждая неудача пробуждала революционную энергию, а эта энергия вызывала следующую удачу. Так постоянно происходило во всю эту достопамятную кампанию. С поражения при Неервиндене до половины августа тянулся непрерывный ряд бедствий, который наконец вызвал отчаянные усилия. Уничтожение федерализма, защита Нанта, победа при Ондскоте, снятие блокады Дюнкерка стали плодами этих усилий. Новые неудачи при Менене, Пирмазенсе, в Пиренеях, при Торфу и Короне в Вандее вызвали взрыв энергии, которая должна была привести к благоприятным результатам на всех театрах войны.

Из начатых операций с наибольшим нетерпением ожидался конец осады Лиона. Мы оставили Дюбуа-Кран-се перед этим городом с 5 тысячами регулярного войска и 7–8 тысячами солдат для реквизиции. Он мог вскоре ожидать нападения сардинцев, которых слабая Альпийская армия более не могла остановить. Дюбуа-Крансе стал к северу от города, между Соной и Роной, перед редутами Круа-Русс, а не на высотах Сент-Фуа и Фурвьер, находившихся на западе, с которых и следовало повести атаку. К такому предпочтению побуждала генерала не одна причина. Ему прежде всего важно было сохранить сообщение с альпийской границей, где находился главный корпус республиканской армии и откуда пьемонтцы могли прийти на помощь лионцам. Кроме того, верхнее течение обеих рек было занято, и становился невозможным подвоз съестных припасов водным путем. Запад, правда, в этом случае оставался открытым, и лионцы могли беспрестанно совершать набеги на Сент-Этьен и Монбризон, но каждый день приходили вести о прибытии контингентов из Пюи-де-Дом, и, раз собрав эти новые реквизиционные войска, Дюбуа-Крансе мог замкнуть блокаду с западной стороны и тогда уже выбрать самый подходящий пункт для атаки.

Пока он довольствовался тем, что сильно теснил город,

обстреливал Круа-Русс и начинал подводить свои линии с восточной стороны, перед мостом Гийотьера. Перевозка военных припасов производилась с затруднениями и медленно. Требовалась работа пяти тысяч лошадей: надо было привезти в лагерь 14 тысяч бомб, 34 тысячи ядер, 300 тысяч фунтов пороха, 800 тысяч патронов и 130 орудий.

С первых же дней осады начались толки о приближении пьемонтцев через Малый Сен-Бернар и Мон-Сени. Следуя настоятельным просьбам департамента Изер, туда тотчас же отправился Келлерман, оставив вместо себя перед Лионом одного из своих генералов, который, впрочем, заменял его только для вида, потому что Дюбуа-Крансе, депутат и искусный инженер, один заправлял всеми осадными операциями. Чтобы ускорить набор реквизиционных войск в Пюи-де-Дом, он послал туда генерала Николя с небольшим отрядом кавалерии, но отряд этот был перехвачен жителями Фореза и выдан лионцам. Тогда Дюбуа-Крансе послал туда тысячу человек с представителем Жавоном. На этот раз успех был полным: Жавон усмирил аристократов в Сент-Этьене и Монбризоне, набрал 7–8 тысяч поселян и привел их к Лиону.

Дюбуа-Крансе поставил их у моста Уллена, к северо-западу от Лиона, так чтобы препятствовать сношениям города с Форезом. Он призвал депутата Ревершона, который набрал несколько тысяч реквизиционных войск и поставил их на Сону. Таким образом, блокада становилась строже, но операции шли медленно, энергичные атаки оставались невозможными.

Укрепления Круа-Русс, между Роной и Соной, перед которыми находился главный осадный корпус, невозможно было взять приступом. С восточной стороны и с левого берега Роны мост у Морана был защищен редутом в форме подковы, построенным очень искусно. На западе высоты Сент-Фуа и Фурвьер могли быть взяты лишь сильной армией, и в ту минуту следовало думать только о том, как перехватить транспорты с провиантом, плотнее заблокировать город и поджечь его.

С начала августа до половины сентября Дюбуа-Крансе не мог делать ничего другого, и в Париже его уже бранили за медлительность, не вникая в причины таковой. Между тем он уже нанес большие повреждения несчастному городу. Пожары уничтожили великолепную площадь Белькур, арсенал, квартал Сен-Клер и пристань и сильно

повредили прекрасное здание больницы, величественно возвышавшееся на берегу Роны. Тем не менее лионцы продолжали защищаться с большим упорством. Был пущен слух, будто 50 тысяч пьемонтцев в самом скором времени явятся выручать их; эмиграция сулила им золотые горы, однако не шла на помощь, и все эти честные буржуа, в душе искренне преданные Республике, были поставлены в ложное положение и должны были желать пагубной и позорной помощи эмиграции и иноземцев. Настоящие их чувства не раз высказывались слишком недвусмысленно. Комендант Преси хотел бы поднять белое знамя, но должен был сознаться, что это невозможно. Лионцы были республиканцами; но страх мщения Конвента, лживые обещания из Марселя, Бордо, Кана и особенно от эмиграции вовлекли их в бездну ошибок и несчастий.

Пока лионцы утешали себя надеждой на прибытие сардинцев, Конвент приказал представителям Кутону, Менье и Шатонёф-Рандону отправиться в Овернь и окрестные департаменты, чтобы распорядиться там ополчением, а Келлерман спешил навстречу пьемонтцам в альпийские долины.

Пьемонтцам опять представлялся прекрасный случай совершить смелую попытку, которая не могла не удалиться: им надо было собрать свои главные силы на Малом Сен-Бернаре и действительно выйти к Лиону. Известно, что три долины Салланш, Тарантез и Морьенн, прилегающие одна к другой, заворачиваются улиткой и, выходя из Малого Сен-Бернара, открываются к Женеве, Шамбери, Лиону и Греноблю. Небольшие французские отряды уже были разбросаны по этим долинам. Быстро спустившись по одной из них и став у выхода, пьемонтцы по всем правилам военного искусства неизбежно захватили бы эти отряды и заставили бы их сложить оружие. Они не имели причин бояться привязанности савойцев к Франции, потому что по милости ассигнаций и реквизиций из даров свободы те познакомились ближе только с разорением и строгостями. Герцог Монферратский, напротив, взял 20–25 тысяч человек, отправил один отряд направо в долину Салланш, сам спустился с главным корпусом в долину Тарантез и послал генерала Гордона в долину Морьенн с левым крылом. Движение, начатое 14 августа, не было окончено еще и в сентябре. Французы, хоть

и гораздо меньшим числом, сопротивлялись энергично и растянули свое отступление на восемнадцать дней. Придя в Мустье, герцог Монферратский постарался объединиться с Гордоном на хребте, разделяющем долины Тарантез и Морьенн, и нисколько не думал о том, чтобы быстро идти на Конфлан, точку слияния долин. Эта медлительность и самая численность его армии – 25 тысяч человек – достаточно доказывают, как мало ему хотелось идти на Лион.

Между тем Келлерман поднял на ноги национальные гвардии Изера и других окрестных департаментов. Он ободрил савойцев, которые начинали побаиваться мщенья пьемонтского правительства, успел собрать около двенадцати тысяч человек и послал подкрепление отряду, стоявшему в долине Салланш, а сам двинулся на Конфлан, к выходу из обеих долин. Эго случилось около 10 сентября. В это время герцог Монферратский получил приказ двинуться вперед. Но Келлерман предупредил пьемонтцев и имел смелость атаковать позицию Эпьер, занятую ими на хребте, чтобы проложить сообщение между долинами. Не будучи в состоянии приступить к этой позиции с фронта, он послал отряд обогнуть ее. Отряд этот совершил героическое усилие и на руках поднял орудия на почти неприступные высоты. Французская артиллерия внезапно загремела над головами пьемонтцев, которые пришли от этого в ужас. Гордон немедленно отступил из долины Морьенн в Сен-Мишель, а герцог Монферратский возвратился в долину Тарантез. Келлерман беспокоил его с флангов и скоро заставил уйти в Сен-Морис и Сен-Жермен, а 4 октября наконец отбросил назад за Альпы. Так и эта кампания, которая могла бы закончиться для пьемонтцев счастливо, не удалась по тем же причинам, по каким не удавались все прочие попытки союзников.

Пока сардинцы были вынуждены отступить за Альпы, три депутата, посланные в Пюи-де-Дом распорядиться ополчением, поднимали там селения, проповедуя что-то вроде крестового похода и уверяя народ, что Лион не только не защищает Республику, но сделался сборным пунктом эмиграции и иностранцев. Разбитый параличом Кутон, исполненный деятельной энергии, ни на минуту не ослабевшей от телесных недугов, вызвал всеобщее движение. Он отправил Менье и Шатонёфа с первой колонной в 12 тысяч ополченцев, а сам остался, собираясь привести другую, в 25 тысяч, но сначала решил запастись

провиантом.

Дюбуа-Крансе поставил новобранцев с западной стороны, к Сент-Фуа, и этим сомкнул блокаду. В то же время он получил отряд валансьенского гарнизона, который, по условиям капитуляции, мог служить только внутри Франции, как и майнцский. Дюбуа-Крансе поставил регулярные войска впереди реквизиционных, так чтобы у колонн составились сильные авангарды. Армия его теперь состояла приблизительно из 25 тысяч реквизиционных войск и 8—10 тысяч войск регулярных, то есть еще и опытных солдат.

В полночь 24 октября был взят редут моста у городка Уллен, ведущий к подножию высот Сент-Фуа. На другой день генерал Доппе, савоец, отличившийся под началом Карто в войне против марсельцев, прибыл, чтобы сменить Келлермана, которого отстранили за малое усердие и оставили на несколько лишних дней только затем, чтобы довести до конца экспедицию. Генерал Доппе тотчас условился с Дюбуа-Крансе атаковать высоты Сент-Фуа.

Всё было приготовлено к ночи на 29 сентября. Приступ начался в одно время с севера против Круа-Русс, с востока против моста Моран, с юга с моста Мюратьер, находившегося пониже города, на месте слияния Соны и Роны. Главный приступ предполагалось повести с моста Уллена против высот Сент-Фуа. Приступ начался только 29-го, в пять утра, двумя часами позже других. Доппе, вдохновляя своих солдат, с необыкновенным увлечением бросился с ними на первый редут, потом на второй. Между тем южная колонна, взяв мост Мюратьера, вступила на перешеек, у оконечности которого сливаются обе реки. Эта колонна уже чуть не пробралась в Лион, но вовремя подоспел Преси со своей кавалерией и отбросил колонну. Начальник артиллерии Вобуа, со своей стороны атаковав мост Моран, пробился к редуту, имевшему форму подковы, но вынужден был опять уйти из него.

Из этих приступов вполне удался только один — приступ Сент-Фуа, зато он был главным. Оставалось перейти отсюда на высоты Фурвьер, укрепленные гораздо грамотнее и представлявшие гораздо большую трудность. Дюбуа-Крансе, действовавший систематически, как искусный тактик, считал, что не следует рисковать новым приступом по следующим причинам: он знал, что лионцы уже едят гороховую муку, имеют провианта всего на несколько дней и необходимость заставит их

вот-вот сдаться. Он нашел в них весьма храбрых противников во время защиты мостов и опасался, чтобы атака против высот Фурвьер не вышла неудачной: это расстроило бы всю армию и принудило ее снять осаду. «Самое лучшее, что можно сделать для осажденных, когда они храбры и доведены до отчаяния, – говорил он, – это дать им случай спастись с помощью сражения. Дадим им погибнуть от последствий голода».

Кутон прибыл из Оверня 2 октября с 25 тысячами ополченцев. «Иду, – писал он, – с моими овернскими молодцами и сразу брошу их на предместье Вез». Он застал Дюбуа-Крансе среди армии, безусловным начальником которой был, в которой постановил все правила военной субординации и чаще начинал свой день в военном мундире, нежели в костюме народного представителя. Кутон раздражился тем, что один из представителей заменил равенство военной иерархией и в особенности слышать не хотел о регулярной войне. «Я ничего не смыслю в тактике. Я пришел с народом: его святой гнев всё снесет. Надо наводнить Лион нашими войсками и взять его силой. Притом я обещал моим поселянам дать отпуск на понедельник – им надо идти домой, собирать свой виноград». Дюбуа-Крансе, привыкший к регулярным войскам, выказал некоторое пренебрежение к этому беспорядочно набранному мужичью, не имевшему даже порядочного оружия. Он предложил отобрать тех, кто моложе, принять их в организованные батальоны, а остальных отпустить. Кутон не стал слушать эти благоразумные советы и решил немедленно атаковать Лион со всех сторон, со всеми 60 тысячами, которыми мог теперь располагать. В то же время он написал в Комитет общественного спасения, чтобы Дюбуа-Крансе отозвали. На военном совете решили начать приступ 8 октября.

Еще до этого дня Дюбуа-Крансе и его товарищ Готье были отозваны. Лионцы ужасно боялись Дюбуа-Крансе, видя, как он в продолжение двух месяцев трудился против них, и говорили, что ни за что ему не сдадутся. Седьмого октября Кутон в последний раз предложил им сдаться и написал, что теперь он, Кутон, с представителями Менье и Лапортом и по поручению Конвента заправляет осадой. Пальба была прекращена до 4 часов пополудни, но возобновилась с крайней яростью. Собирались уже начать приступ, когда явилась депутация для переговоров. Главной целью этой депутации, кажется, было дать Преси и двум тысячам наиболее

скомпрометированных жителей уйти из города, сомкнувшись в колонну. Они действительно воспользовались моментом и вышли через предместье Вез, думая уйти в Швейцарию.

Переговоры едва начались, когда одна из республиканских колонн проникла в предместье Сен-Жюст. Теперь уже не время было заключать условия, притом Конвент не хотел никаких условий. Девятого числа армия во главе с представителями вступила в Лион. Жители попрятались, но монтаньяры, терпевшие гонения, толпой вышли встречать победителей и устроили нечто вроде народного триумфа. Генерал Доппе заставил войска соблюдать строжайшую дисциплину и предоставил депутатам самим распоряжаться революционным мщением, на которое несчастный город был обречен.

Преси, между тем, со своими двумя тысячами беглецов шел по направлению к Швейцарии. Но Дюбуа-Крансе, предвидя, что это их единственный выход, давно уже занял все проходы. Несчастные были разогнаны и перебиты ополченцами; только восемьдесят человек и сам Преси добрались до швейцарской границы.

Едва вступив в город, Кутон снова водворил в должности прежний муниципалитет, состоявший из монтаньяров, и велел ему разыскивать инсургентов, потом снарядил комиссию для суда над ними. Он написал в Париж о том, что в Лионе есть три разряда жителей: 1) богачи-преступники; 2) богачи-эгоисты; 3) невежественный рабочий люд, ничему и никому не преданный, не способный ни к добру, ни к злу. Первых надо гильотинировать; у вторых – отобрать всё состояние, третьих перевезти в другое место и заменить республиканской колонией.

Взятие Лиона вызвало в Париже живейшую радость и вознаградило за дурные известия конца сентября. Однако, несмотря на успех, там остались недовольны медлительностью Дюбуа-Крансе; его обвинили в бегстве лионцев, несмотря на то, что окончательно спаслось только восемьдесят человек. Кутон в особенности нападал на него за то, что он сделался в своей армии деспотическим начальником, что чаще являлся в офицерском мундире, нежели в костюме народного представителя, что чванился своим знанием тактики и, наконец, что отдавал предпочтение системе осады перед системой атаки большими силами. Якобинцы тотчас же начали над Дюбуа-Крансе следствие, невзирая на то, что его

деятельность и энергия оказали столько услуг в Гренобле, на юге и перед Лионом. В то же время Комитет общественного спасения подготовил несколько громоподобных декретов, чтобы внушить больше страха и повиновения.

Вот текст одного из декретов, внесенного Барером и немедленно изданного:

«Ст. 1. Национальным конвентом, по представлению Комитета общественного спасения, будет назначена комиссия из пяти народных представителей, которые безотлагательно отправятся в Лион, чтобы захватить и предать военному суду всех контрреволюционеров, взявшихся в этом городе за оружие.

Ст. 2. У всех жителей Лиона оружие будет отобрано и отдано тем, кто будет признан не участвовавшим в восстании, и защитникам отечества.

Ст. 3. Город Лион будет разрушен.

Ст. 4. Будут сохранены лишь дома бедных, мануфактуры, промышленные мастерские, госпитали, публичные здания учебных заведений.

Ст. 5. Этот город больше не будет называться Лионом. Названием его станет Освобожденная коммуна.

Ст. 6. На развалинах Лиона будет воздвигнут памятник, на котором начертаят слова: “Лион воевал против свободы – Лиона более не существует”.

Этот декрет был дан 18-го дня 1-го месяца года II Республики».

Известие о взятии Лиона было тотчас же сообщено двум армиям – Северной и Вандейской, – собиравшимся нанести решительные удары, и вышла прокламация, приглашавшая их подражать Лионской армии. Вот что говорилось Северной армии: «Знамя свободы развевается на стенах Лиона и очищает их. Вот предзнаменование победы; победа принадлежит мужеству! Она ваша; бейте, истребляйте служителей тиранов! Отечество следит за вами, Конвент поддерживает вашу благородную преданность. Еще несколько дней – и тиранов больше не будет, и Республика будет вам обязана своим счастьем и своею славою!» Солдатам Вандеи говорили: «И вы также, храбрые воины, и вы одержите победу. Довольно уже Вандея изнуряет Республику: идите,

разите, убивайте! Все наши враги должны пасть разом: армия победит! Ужели вы последние пожнете лавры, заслужите славу истреблением мятежников и спасением Отечества?»

Комитет, как видно, ничего не упускал из виду, чтобы извлечь возможно большую пользу из взятия Лиона. Это событие действительно имело огромное значение. Оно освобождало восток Франции от последних остатков восстания, отнимало всякую надежду у эмигрантов, интриговавших в Швейцарии, и у пьемонтцев, которые уже не могли рассчитывать ни на какую диверсию. Оно сдерживало Юру, обеспечивало тылы Рейнской армии, позволяло послать в Тулон и Пиренеи необходимую помощь людьми и военными припасами; наконец, взятие Лиона запугало все города, склонные к восстанию, и заставило их окончательно покориться.

На Севере комитет хотел проявить наибольшую энергию и таковой же требовал от солдат и начальников. Пока Ктостин всходил на эшафот, Гушар, за то только, что не сделал под Дюнкерком всего, что можно было бы сделать, отправился в Революционный трибунал. Неудовольствие, выраженное против комитета в сентябре, заставило его обновить состав главных штабов. В этой перетасовке простые офицеры получили самые высокие чины. Гушар, бывший полковником в начале кампании и до конца ее сделавшийся главнокомандующим, а теперь ставший подсудимым; Гош, простой офицер при осаде Дюнкерка, а теперь назначенный начальником Мозельской армии; Журдан, батальонный командир, потом командующий центром в деле при Ондскоте и наконец назначенный главнокомандующим Северной армией, — вот несколько разительных примеров быстрых перемен и перестановок в этих республиканских армиях. Эти скоропостижные повышения не оставляли генералам и солдатам времени узнать друг друга и приобрести взаимное доверие, но давали страшное представление о той высшей воле, которая распоряжалась так полновластно всеми жизнями и уничтожала не только в случае доказанной измены, но по одному подозрению, за недостаток усердия, за неполную победу; отсюда проистекали безусловная преданность со стороны армий и беспредельные надежды в головах, настолько смелых, чтобы не бояться опасной чести попасть в начальники той или другой армии.

К этому времени следует отнести первые успехи военного искусства. Конечно, основные начала этого искусства знали во все времена и применяли полководцы, соединявшие смелый ум со смелым характером. Еще в самое недавнее время Фридрих Великий подавал пример великолепнейших стратегических комбинаций. Но как только гениальный человек исчезает и уступает место обычным людям, военное искусство снова впадает в малодушную осторожность и рутину. Эти люди вечно хлопочут о защите или атаке какой-нибудь одной линии, изощряются в искусстве вычислять все выгоды ландшафта, приспособлять к нему то или другое оружие, но, со всеми этими средствами, целые годы возятся из-за какой-нибудь провинции, которую смелый полководец взял бы в один прием; и эта осмотрительность, свойственная посредственности, в конце концов убивает больше людей, чем гениальная отвага, потому что убивает их без результата, и конца этому не видно. Так поступали ученые тактики союзников. Против каждого батальона они выставляли такой же; они стерегли все дороги, угрожаемые неприятелем, и в то время как одним смелым походом могли бы уничтожить революцию, боялись сделать шаг, чтобы не открыть себя.

В военном искусстве был необходим переворот. Составить плотную силу, вдохнуть в нее смелость и доверие, быстро перекинуть войска за реку, за цепь гор, нагрянуть на неприятеля, когда он этого не ожидает, дробя его силы, отрезая его от помощи и всяких средств, отнимая у него столицу, — это было великое искусство, требовавшее гения, искусство, которое могло развиваться только среди революционного брожения.

Революция, расшевелив умы, подготовила эпоху обширных военных комбинаций. Прежде всего, она подняла на ноги громадные массы людей, каких никогда не поднимали короли. Она возбудила непомерное, нетерпеливое желание победы, внушила отвращение к медленным и методическим военным действиям и подала мысль о внезапных вторжениях больших войск в одну точку. Со всех сторон только и слышалось: «Надо драться большими армиями!» Это был общий голос солдат на всех границах, якобинцев во всех клубах. Кутон по прибытии под Лион на все рассуждения Дюбуа-Крансе отвечал одно — что атакует всеми силами. Наконец, Барер написал ловкий и

глубокомысленный отчет, в котором доказывал, что причина всех неудач – манера сражаться малыми силами. Так Революция постепенно подготовила возрождение военного дела.

Эта перемена не могла совершиться без некоторого беспорядка. Поселяне, рабочие, перенесенные прямо на поле битвы, в первые дни несли туда лишь свое невежество, своеволие, панику – естественные последствия плохой организации. Представители, приезжавшие в лагеря, чтобы раздувать в солдатах революционные страсти, часто требовали невозможного и поступали с заслуженными людьми жестоко. Дюмурье, Кюстин, Гушар, Брюнэ, Канкло, Журдан погибли или отступились от дела перед этим потоком. Но однажды эти рабочие из якобинцев-горлодеров делались храбрыми и послушными солдатами; эти представители сообщали армиям необычайную смелость и силу воли и своей требовательностью и беспрестанными перетасовками находили отважные умы, подходившие к обстоятельствам.

Наконец явился человек, который внес правильность в это обширное движение: это был Карно. Этот бывший офицер инженерных войск, сделавшись членом Конвента, а потом Комитета общественного спасения, то есть до известной степени пользуясь неприкосновенностью, мог безнаказанно внести порядок в бессвязные операции, а главное – придать им единство и цельность, каких до него не мог бы добиться ни один министр, потому что министров не слушались. Одна из главных причин неудач заключалась в той неразберихе, которой всегда сопровождаются сильные потрясения. Когда комитет утвердился и сделался всесильным, а Карно выступил, облеченный всей властью этого комитета, тогда мысль этого мудрого человека, который предписывал движения, строго согласованные между собою и устремленные к одной цели, была понята и встретила повиновение. Отдельные военачальники теперь уже не могли, как в свое время Дюмурье и Кюстин, действовать каждый по-своему, привлекая каждый к себе всю войну и все средства. Представители, с другой стороны, тоже не могли более распоряжаться, устраивать или расстраивать маневры, отступая от приказов, данных свыше. Надо было повиноваться верховной воле комитета и сообразоваться с его предначертаниями. Поставленный в центре всего, носясь над всеми границами, ум Карно мог возвыситься, расшириться; генерал задумал

обширные планы, в которых осторожность совмещалась со смелостью. Инструкция, посланная Гушару, служит тому доказательством.

Конечно, планы Карно иногда обладали недостатками кабинетных планов: его приказания не всегда оказывались приспособленными к местности или удобоисполнимыми в данную минуту; но недостатки деталей искупались стройностью замысла, и этим планам Франция была обязана повсеместными победами в следующем году.

Карно сам поспешил на северную границу, к Журдану. Перед тем было решено смело напасть на неприятеля, хоть он и казался очень сильным. Карно просил генерала составить свой план, чтобы судить о его взглядах и согласовать их со взглядами комитета, то есть со своими. Союзники, возвратившись от Дюнкерка к середине линии, собрались между Шельдой и Маасом и могли нанести решительные удары. Мы уже познакомили читателей с театром войны. Несколько линий разделяют пространство между Маасом и морем: реки Лис, Скарп, Шельда и Самбра. Союзники, взяв Конде и Валансьен, обеспечили себе два важных пункта на Шельде. Только что взятый Ле-Кенуа служил опорой между Шельдой и Самброй, но на самой Самбре у них не было ни одного пункта. Выбор пал на Мобёж, так как эта крепость своим местоположением сделала бы союзников почти полными хозяевами на пространстве между Самброй и Маасом. При открытии следующей кампании Валансьен и Мобёж послужили бы превосходной базой для операций, и кампания 1793 года прошла бы не совсем бесполезно. Итак, союзники на этом и остановились – следовало занять Мобёж.

Французы, у которых начинал развиваться вкус к комбинациям, решили двигаться на Лилль и Мобёж, то есть на оба неприятельских фланга, в надежде расстроить центр. Таким образом, правда, французы рисковали навлечь на себя все неприятельские силы на том или другом фланге, но в этом замысле было уже много меньше рутины, чем в предыдущих. Однако самым безотлагательным делом было выручить Мобёж. Журдан, оставив около 50 тысяч человек в лагерях при Гавреле, Лилле и Касселе, чтобы образовать сильное левое крыло, собирал в Гизе как можно больше народа. Он уже образовал армию в 45 тысяч и наскоро размещал по полкам новобранцев, доставляемых ополчением. Но эти новобранцы создавали такой беспорядок, что надо было оставить несколько отрядов линейных войск только затем, чтобы присматривать

за ними. Журдан назначил Гиз сборным пунктом для всех ополченцев и пятью колоннами двинулся на помощь Мобёжу.

Неприятель уже окружил этот город. Подобно Валансьену и Лиллю, он поддерживался укрепленным лагерем, находившимся на правом берегу Самбры, с той самой стороны, с которой подходили французы. Две дивизии – Дежардена и Мейе – охраняли течение Самбры, одна выше, другая ниже Мобёжа. Неприятель, вместо того чтобы подойти двумя плотными колоннами, Дежардена оттеснить к Мобёжу, а Мейе отбросить назад за Шарлеруа, перешел Самбру небольшими отрядами и дал обоим дивизиям соединиться в укрепленном лагере. Отделив Дежардена от Журдана и помешав ему тем самым увеличить действующую армию, союзники поступили умно; но позволив Мейе присоединиться к Дежардену, они разрешили этим генералам образовать 20-тысячное войско, которое легко могло выйти из роли простого гарнизона, особенно при приближении Журдана с большой армией. Впрочем, необходимость прокормить такое множество людей была неудобством, крайне обременительным для Мобёжа, и могла до известной степени служить извинением оплошности союзных генералов.

Принц Кобургский поставил голландцев в числе 12 тысяч на левом берегу Самбры и занялся сожжением складов, чтобы ускорить наступление голода в Мобёже. Он послал генерала Коллоредо на правый берег и поручил ему окружить укрепленный лагерь. Перед Коллоредо Клерфэ с тремя дивизиями образовал наблюдательный корпус и должен был препятствовать приближению Журдана. Союзных войск было около 65 тысяч человек.

Имей принц Кобургский смелость и некоторую сметливость, он оставил бы 15 или 20 тысяч перед Мобёжем, с 45 или 50 тысячами пошел бы против Журдана и неминуемо побил бы его, так как помимо выгоды, которую всегда имеет наступающая сторона при равном числе, его войска должны были иметь превосходство над французскими, еще дурно организованными. Но вместо того, чтобы следовать этому плану, принц Кобургский оставил около 35 тысяч вокруг города и расположился, наблюдая, с остальными 30 тысячами в Дурле и Ватиньи.

В таком положении Журдан не мог пробить линию, занимаемую наблюдательным корпусом, пойти на Коллоредо, который окружал

укрепленный лагерь, поставить его меж двух огней, слиться со всей Мобёжской армией и, образовав силу в 60 тысяч человек, разбить все союзные войска, находившиеся на правом берегу Самбры. Для этого достаточно было одной атаки против Ватиньи, пункта самого слабого; но устремившись исключительно в эту сторону, он оставил бы открытой дорогу из Авена в Гиз, сборный пункт всех подкреплений. Журдан предпочел план более осторожный, но менее плодотворный: он велел атаковать обсервационный корпус с четырех пунктов, так, чтобы не терять из виду дорогу в Авен и Гиз. С левого фланга он отрядил на Сен-Вааст дивизию Фроментена с приказанием идти между Самброй и правым флангом неприятеля. Генерал Бало с несколькими батареями занял центр, напротив Дурле, чтобы мешать Клерфэ сильной канонадой. Генерал Дюкенуа с правого фланга пошел на Ватиньи, образовавший левое крыло неприятеля. Эта точка была занята лишь небольшим отрядом. Четвертая дивизия, дивизия генерала Борегара, поставленная еще дальше правого фланга, должна была поддерживать Дюкенуа в его атаке.

Все эти движения имели между собою мало связи и не были направлены против решительных пунктов. Они были исполнены утром 15 октября. Генерал Фроментен овладел Сен-Ваастом; но, не держась опушки леса, чтобы предохранить себя от кавалерии, подвергся нападению и должен был отступить в овраг Сен-Реми. В центре полагали, что Фроментен взял Сен-Вааст, и знали, что правому крылу удалось подойти к Ватиньи, а потому решили не обстреливать Дурле, а прямо атаковать эту позицию. По-видимому, это было мнение Карно, который решил дать атаку вопреки советам Журдана. Пехота кинулась в овраг, отделявший ее от Дурле, поднялась на противоположный край под убийственным огнем и выбралась на плоское место, где увидела перед собою сильные батареи, а с фланга многочисленную кавалерию, как раз собиравшуюся атаковать. В это самое мгновение появился еще один отряд, участвовавший в отпоре Фроментену, который грозил обойти пехоту и с левой стороны. Журдан с величайшим риском для себя старался удержать ее, но не мог: пехота в беспорядке бросилась назад в овраг и, к счастью, заняла свои прежние позиции, не подвергнувшись погоне. В этой попытке погибло около тысячи человек, а левое крыло потеряло свою артиллерию. Только Дюкенуа с правым

крылом имел успех: ему удалось подойти к Ватиньи.

Ценой этого урона французы лучше узнали позицию. Они увидели, что Дурле слишком хорошо защищен, чтобы направить на него главную атаку; что Ватиньи, едва охраняемый и лежавший позади Дурле, взять легче и что, если удастся прочно занять этот пункт, позиция при Дурле неизбежно падет. Журдан отрядил до семи тысяч человек к правому флангу, на подмогу Дюкенуа; он приказал генералу, слишком далеко стоявшему со своей четвертой колонной, перейти в Обреш и тоже двинуться на Ватиньи, но упорствовал в своей демонстрации против центра и опять велел Фроментену идти влево, чтобы объять весь неприятельский фронт.

На другой день, 16-го, атака возобновилась. Пехота наконец подступила к Ватиньи. Австрийские гренадеры, соединявшие Ватиньи с Дурле, были загнаны в леса. Удачно расположенная легкая артиллерия не дала неприятельской кавалерии развернуться, и Ватиньи был взят. Генералу Борегару повезло не так. Его накрыла посланная против него австрийская бригада; солдаты, переоценив силы неприятеля, разбежались и уступили часть занятой местности. В Дурле и Сен-Ваасте обе стороны взаимно сдерживали одна другую; но французы взяли Ватиньи – а это было главное. Журдан, чтобы упрочить эту позицию, послал туда подкрепление в 5–6 тысяч человек.

Принц Кобургский, слишком скоро поддаваясь опасности, отступил, несмотря на свою победу над Борегаром и приближение герцога Йоркского, который форсированными маршами шел со стороны Самбры. Весьма вероятно, что он не остался на правой стороне Самбры из опасения, что французы соединятся с теми 20 тысячами, которые находились в укрепленном лагере. Верно то, что, если бы Мобёжская армия во время канонады при Ватиньи напала на слабую осадную армию и старалась бы сама пройти к Журдану, союзники были бы уже разбиты. Солдаты требовали этого в один голос, но генерал Ферран не захотел действовать (впоследствии Революционному трибуналу был предан генерал Шансель, ошибочно обвиненный в этом отказе). Удачная атака Ватиньи заставила союзников снять осаду Мобёжа, и атаку стали называть победой при Ватиньи.

Итак, союзникам пришлось сосредоточить свои силы между Шельдой и Самброй. Комитет общественного спасения поспешил

извлечь всю возможную пользу из победы при Ватиньи, уныния, овладевшего неприятелем, и энергии, возвращенной французской армии, и решился сделать последнее усилие с целью прогнать союзников с французской территории до начала зимы и поселить в них унижающее сознание того, что вся кампания прошла даром. Журдан и Карно держались мнения, противоположного мнению комитета. Они считали дожди, уже частые и обильные, дурное состояние дорог и утомление войск достаточными причинами для того, чтобы разойтись по зимним квартирам, и советовали использовать зимнее время для организации армии и обучения ее дисциплине. Но комитет настаивал на освобождении, приказал идти на Мобёж и Шарлеруа с одной стороны, а на Сизуэн, Мод и Турне – с другой, и таким образом окружить неприятеля на занятой им территории. Это постановление было подписано 22 октября. Отдали все нужные приказания; Арденская армия должна была соединиться с армией Журдана; гарнизоны должны были выйти из крепостей, а на их место готовились новые реквизиционные войска.

Вандейская война тоже возобновилась с удвоенной энергией. Мы видели выше, что Канкло отступил в Нант и колонны, находившиеся в Верхней Вандее, возвратились в Анжер и Сомюр. Прежде чем вышли новые декреты, сливавшие Ларошельскую и Брестскую армии в одну и предоставлявшие начальство над этой армией генералу Лешелю, Канкло подготовил новое наступательное движение. От майнцского гарнизона по милости войны и болезней оставалось уже только 9-10 тысяч человек. Брестская дивизия была почти совсем расстроена. Канкло тем не менее решил предпринять весьма смелый поход в центр Вандеи, в то же время умоляя Россиньоля поддержать его своей армией. Россиньоля тотчас же (2 октября) созвал в Сомюре военный совет, на котором было решено, что колонии, находившиеся в Сомюре, Туаре и Да Шатеньере, 7-го числа соберутся в Брессюире и оттуда пойдут в Шатийон, чтобы согласовать свое движение с движением Канкло. Колоннам Ле Сабль-д'Олона и Дюсона Россиньоля приказал сохранять оборонительное положение, принимая во внимание недавно понесенный урон и опасности, грозившие им со стороны Нижней Вандеи.

Между тем Канкло пришел 1 октября в Монтегю и стал посылать

до Сен-Фюльжана рекогносцировки с намерением примкнуть правым крылом к люсонской колонне, если ей удастся опять действовать наступательно. Ободренный удачей, он 2-го числа приказал авангарду, которым всё еще командовал Клебер, двинуться на Тифож. Четыре тысячи майнцев встретили армию Боншана и д'Эльбе при Сен-Симфорьене, разбили ее после кровопролитного сражения и оттеснили.

В тот же вечер прислали декрет о смене Канкло, Обера-Дюбайе и Груши. В майнской колонне это решение вызвало крайнее неудовольствие, а Филиппо, Мерлен и Ревбель, видя, что у армии отнимают отличного начальника именно тогда, когда она стоит в самом центре Вандеи окруженная опасностями, пришли в сильное негодование. Конечно, было умно сосредоточить власть над всем западом в руках одного человека, но следовало возложить такую ношу на кого-нибудь другого. Лешель был не только невежественен, но и малодушен (говорит Клебер в своих записках) и ни разу не побывал под неприятельским огнем. Будучи простым офицером Ларошельской армии, он внезапно получил повышение, подобно Россиньолю, единственно за репутацию, которую составил себе как патриот, и назначившие его не знали, что, не имея ни природного ума, ни храбрости, Левель будет таким же дурным начальником, каким был солдатом. Впредь до его прибытия власть была передана Клеберу. Войска остались на своих позициях, между Монтегю и Тифожем.

Наконец 8 октября Лешель прибыл, и военный совет собрался в его присутствии. Вследствие только что полученного известия о движении на Брессюир колонн из Сомюра, Туара и Ла Шатеньере, было решено продолжать идти на Шоле и там соединиться с этими тремя колоннами; и в то же время Люсонской дивизии приказали двинуться к общему сборному месту. Лешель ничего не понял в рассуждениях остальных генералов и всё одобрил, только повторяя: «Надо идти величественно, всей массой». Клебер с презрением сложил свою карту. Мерлен сказал, что в ту армию, положение которой было всех опаснее, прислали самого невежественного из людей. С этой минуты представители поручили Клеберу одному руководить операциями и только для проформы отдавать в них отчет Лешелю. Последний воспользовался этим, чтобы держаться подальше от места сражения. Удалившись от опасности, он возненавидел храбрых воинов, дравшихся за него, но по крайней мере

не мешал им драться, как и когда им было угодно.

В это время Шаретт, видя опасности, угрожавшие вождям Верхней Вандеи, отделился от них под разными ложными предложениями, ушел к берегу и намеревался завладеть островом Нуармутье. Он действительно захватил его 12 октября с помощью измены коменданта и этим обеспечил себе возможность спасти свой отряд и войти в сношения с англичанами, но Верхнюю Вандею предоставлял почти неминуемой гибели. В интересах общего дела Шаретт мог сделать нечто гораздо лучшее: напасть на майнцскую колонну с тыла и, может быть, истребить ее. Его товарищи посылали ему письмо за письмом, умоляя сделать это, но ни разу не получили ответа.

Несчастливым вождям Верхней Вандеи не оставалось выхода ни с какой стороны. Республиканские колонны собрались в Брессюире в назначенный срок и 9-го числа выступили оттуда в Шатийон. По дороге они встретили армию Лескюра и привели ее в беспорядок. Вестерман, снова восстановленный в своей прежней должности, находился в авангарде с несколькими сотнями человек. Он вступил в Шатийон 9 октября вечером, а вся армия подошла 10-го. Лесюор и Ларошжаклен призвали к себе на помощь главную Вандейскую армию, находившуюся от них неподалеку, так как они сражались на небольшом расстоянии друг от друга. Все вместе они решились идти в Шатийон и двинулись 11 октября.

Вестерман уже шел из Шатийона в Мортань с пятьюстами солдатами авангарда. Сначала он не думал, что имеет дело с целой армией, и не просил больших подкреплений. Но внезапно окруженный со всех сторон, он вынужден был отступить и быстро возвратиться в Шатийон. В городе водворилось смятение, и республиканская армия поспешно оставила его. Вестерман объединился с генералом Шальбо и, собрав горсть храбрецов, остановил бегство и даже вновь подошел к Шатийону. По наступлении ночи он сказал бежавшим солдатам: «Вы сегодня потеряли свою честь, надо вернуть ее».

Вестерман взял сто всадников, за каждым велел сесть по гренадеру и ночью, пока вандейцы, беспорядочно заполнившие Шатийон, спали от усталости или вина, имел дерзость туда пробраться, один против целой армии. Произошла ужасная резня. Вандейцы, впотьмах не узнавая

своих, дрались между собой; женщины, дети, старики гибли среди страшного смятения. Вестерман вышел из города на рассвете с оставшимися при нем тридцатью или сорока солдатами и возвратился к армии, стоявшей на расстоянии одного лье от города. На следующий день глазам вандейцев предстало ужасающее зрелище; они сами ушли из Шатийона, залитого кровью и пожираемого пламенем, и направились в сторону Шоле. Шальбо, восстановив порядок в своей дивизии, 14 октября опять вступил в Шатийон и собирался снова двинуться вперед, чтобы соединиться с Нантской армией.

Все вандейские вожди – д'Эльбе, Лескюр, Боншан, Ларошжаклен – оставались со своими силами в окрестностях Шоле. Майнцкий гарнизон, выступивший 14-го, приближался; шатийонская колонна была уже недалеко, и Люсонская дивизия тоже шла туда же и должна была стать между Майнцской и Шатийонской. Наступала минута общего объединения. Пятнадцатого октября майнцская колонна шла двумя частями к Мортаню, из которого только что вышел неприятель. Клебер с главным корпусом образовал левый фланг, а Дюпюи – правый. В то же время люсонская колонна приближалась к Мортаню в надежде найти батальон, который Лешель обещал поставить на ее пути. Но Лешель, никогда ничего не делавший, не сделал даже этого второстепенного распоряжения, вследствие чего Лескюр неожиданно напал на колонну со всех сторон. К счастью, генерал Бопюи, находившийся недалеко, близ Мортаня, вовремя поспел на помощь и освободил люсонскую колонну. Вандейцев отогнали. Несчастный Лескюр получил рану над бровью и упал на руки своих солдат, которые унесли его и обратились в бегство. Тогда люсонская колонна соединилась с колонной Бопюи, и молодой Марсо принял над ней начальство.

На левом фланге в это же время Клебер сражался близ Сен-Кристофа и тоже отогнал неприятеля. Пятнадцатого числа вечером все республиканские войска стояли на биваках перед Шоле, куда удалились вандейцы. В Люсонской дивизии оставалось около трех тысяч человек, что вместе с майнцской колонной составляло приблизительно тринадцать тысяч.

Утром следующего дня вандейцы, сделав несколько пушечных выстрелов, очистили Шоле и отошли к Бопрео. Клебер тотчас же вступил в Шоле, но под страхом смертной казни запретил грабить и

содержал всё в величайшем порядке. Люсонская колонна так же поступила в Мортане. Следовательно, все историки, писавшие, что республиканцы сожгли Шоле и Мортань, допускали ошибку или откровенную ложь.

Все нужные распоряжения быстро сделал Клебер, так как Лешель отстал от армии на два лье. Речка Муан протекает мимо Шоле; за нею – полукругом – расположена холмистая, неровная местность. Налево от этого полукруга находится лес Шоле, в центре город Шоле, направо замок на возвышенности. Клебер поставил Бопюи с авангардом перед лесом, Аксо с майнцским резервом – за авангардом, так, чтобы поддержать его; люсонскую колонну под началом Марсо – в центре, Вимё с Майнцским главным корпусом – с правой стороны, на возвышенностях. Шатийонская колонна пришла в ночь на 17-е и состояла приблизительно из 10 тысяч; следовательно, республиканских войск набиралось около 22 тысяч.

Утром 17 октября состоялся военный совет. Клеберу не нравилась позиция перед Шоле, потому что она располагала только одним путем к отступлению – мостом, ведущим в город через речку Муан. Клебер хотел идти вперед, чтобы обогнуть Бопрео и отрезать вандейцев от Луары. Представители не соглашались с ним на том основании, что колонна, пришедшая из Шатийона, нуждалась в дне отдыха.

Тем временем вандейские вожди тоже совещались в Бопрео, среди ужаснейшей сумятицы. Поселяне тащили за собой своих жен, детей, скот и собрались переселяться. Ларошжаклен и д'Эльбе советовали сражаться на левом берегу Луары до последнего, но де Тальмой и д'Отишан, имевшие большое влияние, торопили с переправой на другой берег. Боншан, который, как говорили, имел с Англией какой-то план, также полагал, что следует переправиться, однако был не прочь и предпринять последнюю попытку капитального сражения перед Шоле. Прежде чем начать сражение, он послал отряд в Варад, чтобы приготовить всё к переправе в случае поражения.

Итак, было решено дать битву. Вандейцы в числе сорока тысяч двинулись на Шоле 17 октября в час пополудни. Республиканские генералы не ждали нападения и думали посвятить день отдыху. Вандейцы выстроились в три колонны: одна направлялась против

левого фланга республиканцев, где стояли Бопюи и Аксо, другая – против центра, где начальником был Марсо, третья – против правого фланга, вверенного Вимё. Вандейцы шли правильным строем, как регулярные войска. Все раненые вожди, если только были в состоянии ехать верхом, находились среди своих людей и поддерживали их в этот день, долженствовавший решить вопрос об их дальнейшем существовании и обладании родной землей. Между Бопрео и Луарой в каждой общине, еще не занятой республиканцами, служили мессы и возносили молитвы за несчастное гибнущее дело монархии.

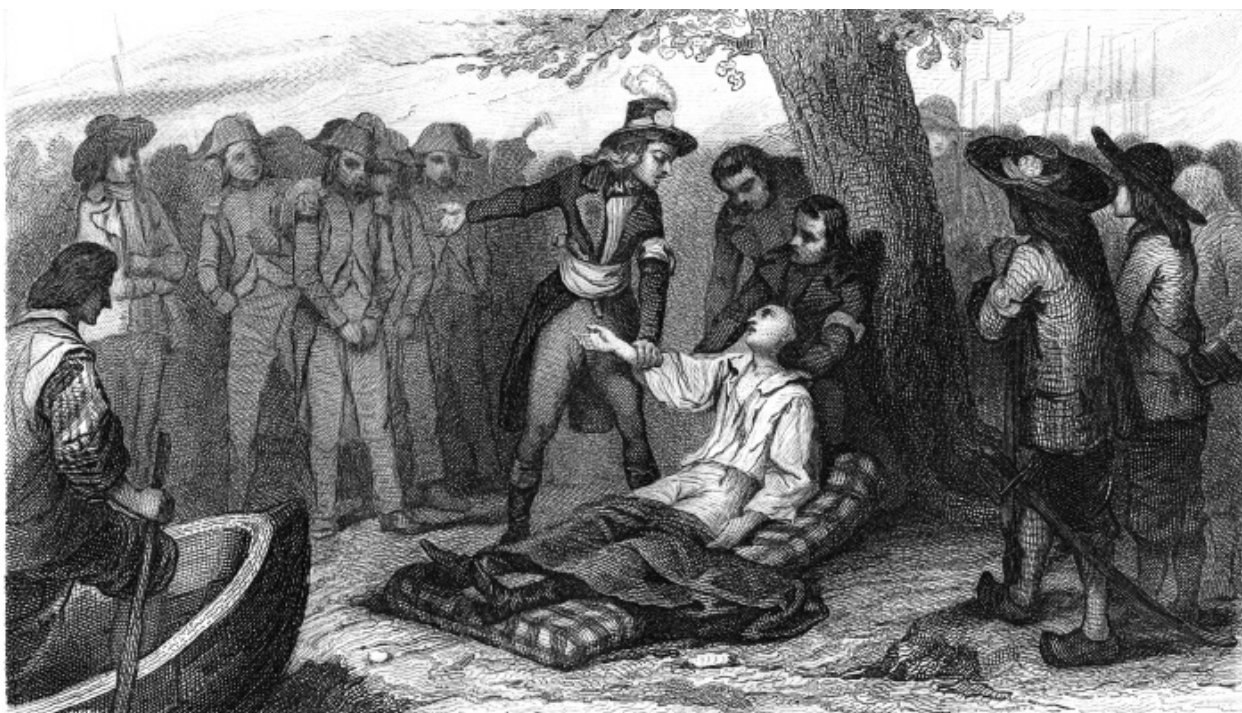
Вот вандейцы трогаются и подходят к самому авангарду Бопюи, поставленному, как мы уже говорили, на равнине впереди леса Шоле. Они надвигаются плотным строем и атакуют на манер линейных войск; какая-то их часть рассыпается как вольные стрелки, с намерением обогнуть авангард и даже левое крыло и проникнуть в лес. Республиканцы, подавленные числом неприятеля, вынуждены податься назад; под самым Бопюи убиты две лошади, он падает, запутавшись в шпорах, и едва не взят, но откидывается назад на зарядный ящик, бросается к первой попавшейся лошади и нагоняет свою колонну. В эту минуту появляется Клебер; он велит центру и правому флангу не посылать никуда людей и отправляет сказать Шальбо, чтобы тот вывел из Шоле одну из своих колонн на помощь левому флангу. Сам Клебер останавливается подле Аксо, возрождает уверенность в своих войсках, ведет назад тех, кто пошатнулся под напором численного превосходства. Вандейцы оттеснены, возвращаются с ожесточением – и снова получают отпор.

Между тем бой завязывается с такой же яростью в центре и на правом фланге. Вимё стоит так выгодно, что все старания неприятеля остаются безрезультатными. В центре, однако, вандейцы имеют больше успеха и пробиваются туда, где стоит молодой Марсо. Клебер скачет к нему, чтобы поддержать люсонскую колонну, и в то же мгновение из Шоле выходит запрошенная ранее колонна Шальбо. Это подкрепление было крайне важно в эту минуту, но при виде равнины, обътой огнем, колонна, не имевшая выдержки, как и все войска Ларошельской армии, разбегается и в беспорядке возвращается в Шоле. Клебер и Марсо остаются в центре с одной люсонской колонной. Начальник ее, молодой Марсо, не робеет, позволяет неприятелю подойти на ружейной выстрел,

открывает свои батареи и неожиданным огнем останавливает вандейцев. Последние сначала не поддаются; они плотнее строятся под дождем картечи, но скоро уступают и бегут в беспорядке – в центре и на обоих флангах. Бопюи, собрав свой авангард, с ожесточением гонится за отступающими.

Майнцская и люсонская колонны одни участвовали в этом сражении, то есть 13 тысяч человек разбили 40 тысяч. И та и другая стороны выказали необыкновенную храбрость, но организованность и дисциплина решили дело в пользу республиканцев. Марсо, Бопюи, Мерлен, который сам нацеливал орудия, вели себя героически. Клебер выказал свою обычную верность взгляда и энергию. Со стороны вандейцев д'Эльбе и Боншан, совершавшие чудеса, были смертельно ранены. Из всех вождей остался один Ларошжаклен, который сделал всё, чтобы разделить их славную участь. Сражение продолжалось четыре часа.

Темнело. Вандейцы бежали во все стороны, а Бопюи гнался за ними. Вестерман, не желая разделять бездействие войск Шальбо, взял отряд кавалерии и тоже во весь опор поскакал за беглецами. После продолжительной погони генералы остановились и наконец решили дать своим войскам отдохнуть. Однако рассудив, что скорее найдут хлеб в Бопрео, нежели в Шоле, они отправились в Бопрео, хоть и полагали, что вандейцы отступили именно туда. Но бегство оказалось таким быстрым, что часть вандейцев уже находилась в Сен-Флоране, на берегу Луары, остальные же при приближении республиканцев в беспорядке очистили Бопрео и уступили им место, которое не могли защищать.



Боншан просит пощады у республиканских солдат

На другое утро вся армия пошла из Шоле в Бопрео. Вдруг авангард Бопюи увидел толпу людей, бегущих по дороге из Сен-Флорана с криками «Да здравствует Республика!» и «Да здравствует Боншан!». Их допросили – они ответили, называя Боншана своим избавителем. Оказывается, этот молодой герой, лежа при смерти от раны в нижнюю часть живота, выпросил помилование четырем тысячам пленным, которых вандейцы тащили за собой и непременно хотели расстрелять. Эти-то пленные и возвращались к республиканской армии.

В это самое время 80 тысяч человек – женщины, дети, старики, вооруженные люди – толпились на берегу Луары с жалкими остатками своего имущества и оспаривали друг у друга каких-нибудь двадцать лодок, чтобы переправиться на тот берег.



Ларошжаклен

Совет, состоявший из вождей, еще способных рассуждать, спорил о том, разойтись или перенести борьбу в Бретань. Некоторые советовали рассеяться по Вандее и скрываться до лучших времен; этого мнения был и Ларошжаклен. Но одержало верх противное мнение: решено было остаться всем вместе и перейти реку. Между тем Боншан скончался, а никто другой не мог привести в исполнение план, который он задумал, рассчитывая на Бретань. Д'Эльбе, умирающего, послали в Нуармутье; Лесктора, также раненого смертельно, несли на носилках. Люди бросали свои поля, готовились нести опустошение на чужие поля и самим искать там гибели – и с какой целью! Пока эти несчастные великодушно переносили столько бедствий, коалиция даже не думала о них, эмигранты занимались придворными интригами и только немногие храбро дрались на Рейне, да и то в рядах иноземцев. И никто не помыслил послать хоть одного солдата, хоть один эю злополучной

Вандее, обессмертившей себя такой геройской борьбой, а теперь разбитой, рассеянной, отчаявшейся!

Республиканские генералы собрались в Бопрео и решили разделить и отправиться частично в Нант, частично в Анжер, чтобы против этих двух городов не могли устроить неожиданной диверсии. Представители думали, что Вандея уничтожена окончательно, в чем, однако,

Клебер с ними не соглашался. «Вандеи больше нет», – написали они Конвенту. Армии был положен срок до 20 октября, а она завершила дело 18-го. Северная армия в тот же день выиграла сражение при Ватиньи и окончила кампанию снятием блокады Мобёжа.

Итак, Конвенту казалось, что достаточно приказать победить – и победы одерживались. Упоение достигло высшей степени в Париже и во всей Франции, и люди начинали верить, что до конца года Республика победит всех своих врагов.

Одно только событие могло отчасти омрачить эту радость – потеря на Рейне Вейсенбургских линий, пробитых 13 и 14 октября. После урона при Пирмазенсе мы оставили пруссаков и австрийцев перед линиями Сарры и Лаутера, где они угрожали вторжением каждую минуту. Пруссаки, потревожив французов на берегах Сарры, принудили их отодвинуться. Вогезский корпус, отброшенный за Хорнбах, отступил далеко назад, в Бич, в самое сердце гор. Мозельская армия, оттесненная до Саргемина, была отделена от вогезского корпуса и Рейнской армии. В этом положении пруссакам, перешедшим на западном склоне черту Сарры и Лаутера, было легко обогнуть Вейсенбургские линии с левой стороны. Это и случилось 13 октября. Пруссия и Австрия, между которыми имелись разногласия, наконец помирились. Прусский король уехал в Польшу, оставив начальство над армией герцогу Брауншвейгскому, которому он приказал действовать сообща с Вурмзером. Пока пруссаки шли вдоль вогезской линии до Бича, Вурмзер должен был атаковать линии Лаутера с семью колоннами. Первая, которой командовал князь Вальдек и которой было поручено перейти Рейн и обогнуть Лаутербург, встретила в свойствах местности и мужестве пиренейских войск непобедимые препятствия. Вторая хоть и перешла линии повыше Лаутербурга, но получила отпор. Остальные, с

большим трудом преодолев сопротивление французов, завладели Вейсенбургом. Французские войска отступили за Гейсберг, стоявший несколько позади Вейсенбурга и гораздо менее доступный.

Вейсенбургские линии еще не могли считаться совсем потерянными, но известие о походе пруссаков заставило французов отодвинуться к Гаггенау и на линию Лаутера, уступая часть территории союзникам. Стало быть, на этом пункте граница не уцелела, но победы на севере и в Вандее перевесили это неприятное известие. Конвент послал Сен-Жюста и Леба в Эльзас, чтобы в зародыше подавить движение, возбуждаемое в Страсбурге эльзасским дворянством и эмигрантами. Туда же были направлены и ополченцы.

Ужасные опасения, возникшие в августе до побед при Ондскоте и Ватиньи, до взятия Лиона и отступления пьемонтцев за Альпы, до побед в Вандее, рассеялись. Теперь северная граница, самая важная и наиболее угрожаемая, была избавлена от неприятеля, Лион покорен, так же как и Вандея, внутренние восстания усмирены вплоть до итальянской границы, где Тулон, правда, еще держался, но держался уже один. Одержать еще по победе на Пиренеях, в Тулоне и на Рейне – и Республика стала бы победительницей, а эти победы одержать было, казалось, не труднее других.

Глава XXIX

Казни в Лионе, Марселе и Бордо – Процесс Марии-Антуанетты, ее приговор и казнь – Второй закон о максимуме – Учреждение новой системы весов и мер и республиканского календаря – Учреждение поклонения Разуму

Революционные меры, постановленные для спасения Франции, выполнялись по всей стране с крайней строгостью. Придуманные пламенными головами, эти меры в самой основе своей были жестоки; выполняемые же вдали от людей, задумавших их, в более низкой сфере, где вследствие меньшей просвещенности страсти более отзывались зверством, они делались еще более жестокими в применении. Часть граждан принуждали к переселению, а других арестовывали в качестве подозрительных; припасы и товары силой отнимали для продовольствования армий; назначили чрезвычайную повинность для быстрой перевозки транспортов, а взамен требуемых товаров выдавали только ассигнации или билеты казначейства, не внушавшие никакого доверия. Раскладка принудительного займа производилась быстро; лица, назначенные для этого от коммун, говорили одним: «У вас 10 тысяч франков дохода», а другим: «У вас 20 тысяч». И все должны были беспрекословно отдавать требуемую сумму.

Произволу был дан обширный простор, и следствием стали ужасные притеснения и несправедливость. Но армии наполнялись людьми, припасы в изобилии развозились по складам, и миллиард ассигнациями начинал понемногу изыматься из обращения. Невозможно без больших страданий действовать с такой быстротой и спасти государство, которому со всех сторон грозит гибель.

Везде, где близость опасности требовала присутствия комиссаров Конвента, революционные меры отличались особенной строгостью. Близ границ и во всех департаментах, подозреваемых в роялизме или федерализме, забирали в ополчение чуть ли не всё население, всё без исключения подвергали реквизициям, налагали на богатых поборы деньгами сверх общего побора в виде принудительного займа, торопили

с арестом подозрительных.

Комиссар Лапланш, посланный в департамент Шер, говорил в Клубе якобинцев: «Я всюду надлежащим образом водворил террор; всюду возложил на богатых и аристократов контрибуции. Орлеан дал мне 50 тысяч ливров, и двух дней в Бурже мне было достаточно, чтобы взять с этого города два миллиона. Так как я не мог везде быть сам, то мои делегаты замещали меня. Некто Мамен, богач, имевший до семи миллионов, принужденный отдать 40 тысяч ливров, пожаловался Конвенту, но Конвент одобрил мои действия. Имей я сам дело с этим человеком, я бы взял с него два миллиона. В Орлеане я потребовал у моих делегатов публичного отчета; они дали его на заседании народного общества, и народ утвердил и одобрил этот отчет. Я везде распорядился расплавить колокола и соединил по нескольку приходов в один. Я отрешил от должностей всех федералистов, заключил подозрительных под стражу, дал послабления санкюлотам. Священники пользовались в арестных домах всеми удобствами, а санкюлоты спали на соломе в тюрьмах: первые снабдили меня тюфяками для последних. Я везде наэлектризовал умы и сердца, организовал оружейные заводы, обошел мастерские, больницы, тюрьмы. Отправил несколько батальонов ополчения, дал смотр множеством местных гвардий, чтобы вдохнуть в них республиканский дух, и велел гильотинировать нескольких роялистов. Одним словом, я выполнил возложенное на меня поручение и везде действовал как горячий монтаньяр, как представитель Революции».

На три главных федералистских города – Лион, Марсель и Бордо – представители наводили самый глубокий ужас. Грозный декрет против Лиона гласил, что мятежников и их сообщников будет по законам военного времени судить особая комиссия, что санкюлоты будут кормиться за счет аристократов, что дома богатых людей будут уничтожены и городу дадут другое имя. Выполнение этого декрета было поручено Колло д'Эрбуа, Мон-то и Фуше, депутату из Нанта. Они отправились в Освобожденную коммуну и взяли с собой сорок якобинцев, чтобы организовать новый клуб и распространить в городе принципы якобинцев. Ронсен последовал за ними с двумя тысячами революционного войска – и начались неистовства.

Представители собственноручно нанесли первый удар молотом по

одному из домов, обреченных на слом, и восемьсот рабочих тотчас принялись разрушать красивейшие здания и улицы. Казни начались в то же время. Жители, которые подозревались в том, что брали в руки оружие против Республики, попадали на гильотину или под расстрел по 50–60 человек в день. В несчастном городе воцарился террор. Комиссары, увлеченные, опьяненные кровопролитием, воображая при каждом вопле страдания, что вновь начинается бунт, писали Конвенту, что аристократы еще не усмирены, а ждут только случая устроить контрреволюцию, и, для того чтобы уничтожить всякий повод к опасениям, следует истребить половину населения, а другую – переселить.

Применяемые до сих пор средства стали казаться недостаточно энергичными. Колло д'Эрбуа предложил уничтожать здания порохом, а приговоренных к смерти расстреливать картечью и написал Конвенту, что скоро пустит в ход средства более скорые и действенные для наказания непокорного города. В Марселе уже пало несколько голов; но весь гнев представителей был обращен против Тулона, осада которого продолжалась.

В Жиронде мщение совершалось с истинным бешенством. Изабо и Тальен, разместившись в Ла-Реоле, занимались составлением отряда революционных войск, а пока старались посеять раздор между секциями в самом Бордо. В этом им помогала одна вполне преданная Горе секция, которой удалось запугать остальные, закрыть все федералистские клубы и сменить департаментские власти. Тогда Изабо и Тальен с триумфом вступили в город и восстановили муниципалитет и городские власти из приверженцев Горы. Тотчас после того они издали постановление, гласившее, что Бордо переходит на военное положение, что у всех жителей отберут оружие, аристократов и федералистов будет судить особая комиссия и с богатых немедленно соберут денежный побор для покрытия расходов по содержанию революционной армии. Это постановление было тут же приведено в исполнение: граждане остались без оружия, а головы посыпались.

Как раз в это время бежавшие депутаты, отплывшие из Бретани, прибыли в Бордо. Они все искали прибежища в поместье родственницы Гюаде, в Сент-Эмильоне. Об этом имелись лишь смутные сведения, и Тальен прилагал все усилия, чтобы найти их. Это долго ему не

удавалось, но он успел изловить Бирото, приехавшего из Лиона, чтобы сесть на корабль в Бордо. Так как Бирото уже находился вне закона, Тальен, формально удостоверившись в его личности, сейчас же, без суда, велел казнить его. Дюшателя тоже нашли, но он не был объявлен вне закона, и потому его увезли в Париж для суда. С ним вместе были отправлены три молодых друга: Риуф, Жире-Дюпре и Марчена, давно примкнувшие к жирондистам.

Так все большие города Франции подвергались мщению Горы. Но Париж, наполненный именитейшими жертвами, вскоре должен был сделаться поприщем еще больших жестокостей.

Пока готовился процесс Марии-Антуанетты, жирондистов, герцога Орлеанского, Байи и множества генералов и министров, тюрьмы наполнялись подозрительными. Парижская коммуна, как мы уже не раз говорили, присвоила себе нечто вроде законодательной власти во всем, что касалось полиции, продовольствия, торговли и вероисповедания, и вслед за каждым декретом издавала пояснительное постановление, имевшее целью ограничить или расширить исполнение воли Конвента. По представлению Шометта коммуна до последней степени расширила определение «подозрительных лиц», данное законом 17 сентября. Шометт в специальной муниципальной инструкции перечислил все приметы, по которым их следовало узнавать. Эта инструкция, выданная всем секциям столицы, а затем и всей страны, была составлена в следующих выражениях:

«Подозрительными должны считаться:

1) те, кто в народных собраниях удерживает энергию народа хитроумными речами, буйными криками и угрозами;

2) кто с большой осторожностью и неопределенно говорит о несчастьях Республики, выражает соболезнование участи народа и всегда готов распускать дурные слухи с притворной горечью;

3) кто менял свое поведение и речи в зависимости от событий; кто, безмолвствуя о злодеяниях роялистов и федералистов, напыщенно ораторствуют против ничтожных ошибок патриотов и напускают на себя, чтобы казаться республиканцами, строгость, суровость, но тотчас уступают, если речь идет об умеренном или об аристократе;

4) кто жалеет откупщиков и жадных торговцев, против которых закон вынужден принимать меры;

5) кто, беспрестанно толкуя о Свободе, Республике и Отечестве, общаются с бывшими дворянами, священниками, контрреволюционерами, аристократами, фельянами и умеренными;

6) кто не принимал деятельного участия в революции и в оправдание себе ссылаются на уплату контрибуций и свои патриотические пожертвования;

7) кто равнодушно встретил республиканскую Конституцию и выражал ложные опасения относительно ее учреждения и долговечности;

8) кто, ничего не сделав против свободы, ничего также не сделал и для нее;

9) кто нечасто бывает на собраниях своих секций и отговаривается тем, что не умеет говорить или что мешают дела;

10) кто с презрением отзывается об учрежденных властях, символах закона, народных обществах и защитниках свободы;

11) кто подписывал контрреволюционные петиции или бывал в антигражданских обществах и клубах;

12) кто умышленно поступал неискренне; а также приверженцы Лафайета и те, кто ходил в атаку на Марсовом поле».

При таком определении подозрительным не было конца, и их число в парижских тюрьмах вскоре возросло от нескольких сотен до трех тысяч. Сначала подозрительных помещали в тюрьмы Ла Форс, Консьержери, Аббатства, Сен-Пелажи и Мадлонетт, словом, во все обычные казенные тюрьмы; но этих обширных помещений скоро оказалось недостаточно и пришлось устроить особые арестантские дома, исключительно для политических заключенных. Так как они содержались за свой собственный счет, то и эти дома нанимались на их деньги. Один такой дом был устроен на улице Анфер под названием Пор-Либр, другой, Сен-Лазар, – на Севрской улице. Таким же домом-тюрьмой стал колледж Плесси; наконец, Люксембургский дворец, сначала назначенный местом заточения двадцати двух жирондистов, оказался набит множеством арестантов, остатками блестящего общества предместья Сен-Жермен.

Вследствие переполненности тюрем новым арестантам первое время было очень неудобно. На соломе, находясь вместе с простыми преступниками, они жестоко страдали; но со временем наступил

некоторый порядок, а вместе с ним появились и разные льготы. Сношения с внешним миром дозволялись, так что арестанты получили возможность видеться со своими родными и могли добывать какие-то деньги. Тогда несчастные приобрели кровати и были отделены от уголовных преступников. Им позволяли иметь удобства, могущие сделать их положение сносным, так как декрет разрешал приносить в арестантские дома всё, что может понадобиться.

В Пор-Либре, в Сен-Лазаре, в Люксембургском дворце, где помещались заключенные из высших классов, водворились опрятность и относительное довольство. Пища была даже изысканной благодаря пошлине, которую тюремщики брали за пропуск. Однако количество посетителей сделалось слишком значительным, к тому же это показалось слишком большой милостью, и арестанты лишились этого утешения; сношаться с кем-нибудь теперь дозволялось только письменно и то лишь для того, чтобы требовать нужные предметы. С этой минуты между узниками установились более близкие отношения. Осужденные жить вместе стали сближаться согласно своим вкусам. Образовались кружки, составились правила и расписания. Узники распределили между собой хозяйственные работы в порядке очереди. Была открыта подписка на расходы по части квартир и стола, и более богатые частично платили за небогатых.

Закончив с заботами по хозяйству, жители комнат собирались в общих залах. Вокруг стола, печи или камина рассаживались группами. Работали, читали, разговаривали; поэты декламировали стихи; музыканты давали концерты; и в этих домах печали каждый день можно было слышать отличную музыку. Скоро явилась и роскошь. Женщины стали наряжаться; завязались дружеские и любовные связи – словом, до самого кануна смерти на эшафоте происходило всё то, что обыкновенно происходит в обществе. Поистине поразительное проявление французского характера с его беспечностью, веселостью, способностью извлекать удовольствие из всякого положения!

Добровольное равенство реализовало тут в действительности тот невозможный призрак равенства, который политические сектанты-изуверы хотели водворить искусственно. Не странно ли, что удалось им это только в тюрьмах, и то помимо собственной воли?

Правда, надменность некоторых узников не поддавалась даже этому

равенству несчастья. В то время как люди, отнюдь не равные по состоянию, образованию и рождению, отлично уживались вместе и с изумительным бескорыстием радовались победам той самой Республики, которая подвергала их таким гонениям, некоторые бывшие дворяне жили в опустевших особняках предместья Сен-Жермен, величая друг друга запрещенными титулами, и не скрывали своей досады, когда при них говорили, что австрийцы бежали при Ваттиньи или что пруссаки не смогли перейти Вогезских гор. Впрочем, горе заставляет все сердца возвратиться к природе и общечеловеческим чувствам: вскоре, когда Фукье-Тенвиль стал ежедневно стучаться в двери этих обитателей печали, требуя всё новых жертв, когда друзей и родных каждый день стала разлучать смерть, тогда остававшиеся стали грустить вместе, утешать друг друга и уже жили одной жизнью среди общих несчастий.

Тюрьма Консьержери, прилегавшая к судебному зданию и потому служившая местом заключения для лиц, ожидавших трибунала, представляла самое печальное зрелище: там сидели несколько сотен несчастных, которым оставалось жить три или четыре дня. Они переводились туда лишь накануне суда и проводили там краткий промежуток времени между судом и казнью. Сейчас там находились жирондисты, переведенные из Люксембургского дворца; жена Ролана, которая, устроив бегство мужа, сама не думала бежать и дала себя арестовать; Риуф, Жире-Дюпре и Буагюйон, привезенные в Париж из Бордо, чтобы быть судимыми вместе с друзьями-жирондистами; Байи, арестованный в Мелёне; бывший министр финансов Клавьер, которому не удалось бежать, подобно Лебрену; герцог Орлеанский, привезенный из Марселя; генералы Гушар и Брюнэ; наконец, злополучная Мария-Антуанетта, которой было суждено взойти на эшафот первой из всех этих славных жертв. В Консьержери никто не думал об удобствах, облегчавших жизнь в других тюрьмах. Узники помещались в мрачных, печальных кельях, куда не проникали ни свет, ни утешение, ни удовольствия. Они едва пользовались одной роскошью: спать на постелях, а не на соломе.

Так как эти узники уже не могли отвлечься от образа смерти (в отличие от тех кто был всего лишь под подозрением и потому надеялись

просидеть только до заключения мира), то они сделали себе из него забаву и сочиняли самые странные пародии на Революционный трибунал и гильотину. В полночь, когда тюремщики засыпали, начинались эти мрачные увеселения. Жирондисты в особенности часто импровизировали и разыгрывали дикие и страшные драмы, сюжетом которых были их собственная участь и Революция. Вот что придумал один из них. Они садились по кроватям, представляя судей и присяжных Революционного трибунала и самого Фукье-Тенвиля. Двое стояли напротив – в качестве подсудимого и защитника. Согласно обычаю этого кровавого судилища, приговор произносился только обвинительный. Приговоренного тотчас же клали в растяжку на доску и совершали над ним все обряды казни до мельчайших подробностей. После множества проведенных «казней» обвинитель, в свою очередь, становился подсудимым и ложился на доску. Потом он приходил, покрытый простынею, описывал мучения, которые терпел в аду, прорицал безбожным судьям ожидавшую их участь, бросался на них, с жалобными воплями увлекая в преисподнюю... «Так-то, – писал Риуф, – мы шутили в недрах самой смерти и в наших пророческих играх говорили правду среди наушников и палачей».

Уже со смерти Кюстина образовалась своего рода привычка к политическим процессам, в которых обычные убеждения вменялись в преступление, заслуживающее смерти. Кровавая практика приучила людей изгонять всякое зазрение совести и находить эшафот совершенно естественным исходом для всякого члена противной партии. Кордельеры и якобинцы добились декретов о предании суду королевы, жирондистов, нескольких генералов и герцога Орлеанского. Они настойчиво требовали, чтобы правительство сдержало данное слово, и горели нетерпением начать этот длинный ряд закланий именно с королевы. Женщина могла, казалось бы, обезоружить политическую ярость; но ненависть к Марии-Антуанетте была еще сильнее, чем к Людовику XVI. Ее, а не его обвиняли в придворных предательствах, в растратах казны и в особенности в ожесточении, с которым Австрия вела войну. Людовик XVI, говорили, всё давал делать другим, но Мария-Антуанетта всё делала сама; кара за всё должна была пасть на нее.

Мы уже видели, какие перемены произошли в Тампле. Мария-Антуанетта была разлучена с сестрой, дочерью и сыном в силу декрета, которым последние члены рода Бурбонов объявлялись подлежащими суду или ссылке в колонии. Ее перевели в Консьержери. Там, одинокая, заключенная в тесной келье, она получала лишь самое необходимое наравне со всеми прочими узниками. Неосторожность одного преданного друга сделала ее положение еще более тяжелым. Член муниципалитета Мишони, которому она внушала живое участие, вздумал привести к ней незнакомца, желавшего, по его словам, взглянуть на нее из любопытства. Этот незнакомец был эмигрантом; бесстрашный, но неосторожный, он подкинул ей цветок-гвоздику, в котором была спрятана крошечная бумажка со следующими словами: «Ваши друзья готовы». Ложная надежда, столь же опасная для той, кому она подавалась, сколь и для того, кто подавал ее! Мишони и эмигрант были замечены и тут же арестованы, а бедная узница с этой минуты подверглась еще более бдительному надзору. Жандармы постоянно караулили у двери ее темницы, и им было строго запрещено вступать с ней в разговор.

Гнусный Эбер, помощник Шометта и редактор отвратительного листка «Отец Дюшен», ставил перед собой задачу замучить оставшихся в живых несчастных членов развенчанной семьи. Он доказывал, что семейство тирана не должно иметь никаких преимуществ перед семейством любого санкюлота, и заставил коммуну издать постановление, запрещающее даже ту малую долю роскоши, которая позволялась в содержании пленной семьи. Им перестали подавать домашнюю птицу и пирожное; завтрак их состоял из одного блюда, обед – из супа, вареной говядины и еще чего-нибудь, ужин – из двух блюд; вина полагалось только по полбутылки. Восковые свечи заменились сальными, серебро – оловом, фарфор – фаянсом. В комнаты пленниц могли входить только люди, носившие им дрова и воду, да и то в сопровождении двух комиссаров. Пища доставлялась посредством вертящегося шкафчика; от многочисленной прислуги были оставлены только повар с помощником, два служителя и женщина для присмотра за бельем.

Как только вышло это постановление, Эбер отправился в Тампль и самым бесчеловечным образом отнял у пленниц даже несколько

безделушек, которыми они очень дорожили, и восемьдесят луидоров принцессы Елизаветы, которые она получила от принцессы Ламбал ь и очень берегла. Нет ничего зловреднее человека, не имеющего ни образования, ни хорошего воспитания и внезапно облеченного большой властью. А уж если у него вдобавок низкая душа, если он, подобно Эберу, который в свое время раздавал контрамарки у входа в театр и крал часть выручки, не имеет врожденного нравственного чувства, то подлость и жестокость будут поистине бесконечны.

Таким именно показал себя Эбер в Тампле. Он не довольствовался описанными притеснениями: придумали разлучить маленького принца с его теткой и сестрой. Башмачник Симон и его жена – вот воспитатели, которым сочли нужным поручить дофина, с тем чтобы воспитать его в духе санкюлотов. Симон с женой заперлись в Тампле и, сделавшись пленниками вместе с несчастным ребенком, принялись ухаживать за ним по-своему. Пища у них была лучше, чем у принцесс, потому что они получали тот же стол, что дежурные муниципальные комиссары, и в сопровождении двух комиссаров Симон мог выходить с ребенком во двор, чтобы дать ему погулять.

Эберу пришла в голову гнусная мысль вырвать у этого ребенка показания против его несчастной матери. Сочинил он сам эти показания или, злоупотребляя юными годами и жалким состоянием мальчика, заставил его сказать всё, что ему было нужно, – словом, составились возмутительные письменные показания, и так как года дофина не позволяли вести его в суд, то Эбер решил сам пересказать все сочиненные или надиктованные гадости.

Четырнадцатого октября Мария-Антуанетта явилась перед своими судьями. Заранее обреченная, она не имела ни малейших шансов быть оправданной: не для того якобинцы потребовали над нею суда. Однако всё же следовало предъявить обвинение. Фукье собрал все слухи, ходившие в народе с самого прибытия королевы во Францию. В своем обвинительном акте он утверждал, что она растратила государственную казну, – сначала на свои удовольствия, потом на отправку больших сумм своему брату, австрийскому императору. Фукье-Тенвиль особенно напирал на сцены 5 и 6 октября и на обед лейб-гвардейцев, уверяя, что королева именно в это время составила заговор, заставивший народ отправиться в Версаль, чтобы расстроить его. Прокурор, наконец,

обвинил ее в том, что она прибрала к рукам мужа, вмешивалась в назначения министров, сама вела интриги с депутатами, переманенными двором, подготовила поездку в Варенн, стала причиной войны и выдавала неприятельским полководцам все планы кампании. Еще Марию-Антуанетту обвинили в том, что она устроила заговор 10 августа, велела стрелять по народу и уговаривала мужа защищаться, укоряя его в трусости, а затем, во время своего заключения в Тампле, не переставала интриговать и поддерживать сношения с внешним миром и обращалась со своим маленьким сыном как с королем. Вот как всё извращается и вменяется в преступление в тот грозный день, когда долго копившееся народное мщение наконец разражается и обрушивается именно на тех государей, которые не заслужили его; видно, в каком свете раздраженному или озлобленному воображению представлялись расточительность и любовь к удовольствиям, столь естественные в молоденькой принцессе и государыне, ее привязанность к своему отечеству, ее сожаления о прошлом, всегда менее сдерживаемые женщиной, чем мужчиной, наконец, ее смелость и мужество.

Нужны были свидетели: вызвали Лекуэнтра, версальского депутата, участвовавшего в событиях 5 и 6 октября; Эбера, часто бывавшего в Тампле; чиновников различных министерств и служителей бывшего двора. Даже из тюрем были приведены свидетели: адмирал д'Эстен,

бывший начальник версальской гвардии; Латур дю Пен, бывший военный министр; почтенный старец Байи, будто бы являвшийся, вместе с Лафайетом, соучастником поездки в Варенн; наконец, Валазе, один из жирондистов, обреченных на казнь.

Точного, определенного факта не было приведено ни одного. Кто-то видел королеву веселой, когда лейб-гвардейцы выражали ей свою преданность; кто-то – печальной и сердитой, когда ее ввозили в Париж или везли из Варенна; одни присутствовали на пышных празднествах, непременно стоивших громадных сумм; другие слыхали в министерствах, что королева противится утверждению декретов. Одна женщина, служившая при дворе, еще в 1788 году слышала, как герцог Куаньи говорил, что австрийский император уже получил из Франции двести миллионов на войну с турками.

Циник Эбер, поставленный перед несчастной государыней, наконец осмелился перечислить показания, вырванные у маленького принца. Он сказал, что Шарль Капет описал Симону поездку в Варенн и назвал Лафайета и Байи главными организаторами. Потом он присовокупил, что ребенок имеет пагубные пороки, преждевременные, если судить по его годам; что Симон, нечаянно застав его и расспросив, узнал, что этим порокам научила его мать. Эбер пояснил, что Мария-Антуанетта, с самых ранних пор расслабляя организм своего сына, вероятно, хотела обеспечить себе власть над дофином – на случай, если бы он когда-нибудь взошел на престол. Слухи, носившиеся в течение двадцати лет о действительно развратном дворе, внушили народу самое неблагоприятное мнение о нравах королевы; однако даже публику в зале, всю состоявшую из якобинцев, возмутили обвинения Эбера. Он же имел наглость еще настаивать.

Несчастливая мать не отвечала; когда же к ней обратились отдельно, требуя, чтобы она объяснилась, Мария-Антуанетта сказала с чрезвычайным волнением: «Я полагала, что сама природа избавит меня от необходимости отвечать на подобное обвинение; но я взываю к сердцу всех матерей, здесь присутствующих». Эти простые, исполненные благородства слова потрясли всех.

Не все, однако, свидетельские показания были так тяжелы для Марии-Антуанетты. Честный д'Эстен, хоть она и была его врагом, ничего не показал против и говорил только о мужестве, выказанном королевой 5 и 6 октября, и о ее благородной решимости скорее умереть подле мужа, нежели бежать. Манюэль, несмотря на свои враждебные отношения с двором, объявил, что ничего не может сказать против подсудимой. Когда к присяге был приведен почтенный Байи – Байи, столько раз предсказывавший двору бедствия, которые тот навлечет на себя своими безрассудствами, – старец был глубоко опечален. Когда его спросили, знает ли он жену Капета, он ответил с почтительным поклоном: «Да, я знавал милостивую государыню». Байи объявил, что ничего не знает, что показания, вырванные у дофина касательно поездки в Варенн, ложны. В награду за такие показания он был осыпан ругательствами, из чего мог судить об ожидавшей его участи.

Во время всего допроса выяснились только два тяжких факта, засвидетельствованные Латур дю Пеном и Валазе, которые дали

показания только потому, что никак не могли увернуться. Латур дю Пен признался, что в бытность его военным министром Мария-Антуанетта просила у него точный список армий. Валазе, неизменно холодный, но почтительный, не хотел говорить ничего, что могло бы повредить подсудимой, однако не мог не заявить, что, когда он, будучи членом комиссии, проверял бумаги, найденные у казначея, выдававшего суммы на содержание короля, он видел бонды, подписанные королевой, что было вполне естественно. Но Валазе присовокупил, что видел еще письмо, в котором министр просил короля передать королеве копию плана кампании, бывшего у него. Эти два факта – требование списка армий и сообщение плана кампании – были истолкованы в самую дурную сторону: вывели заключение, что королева потребовала того и другого, чтобы переслать неприятелю, не находя вероятным, чтобы молодая государыня занималась административными делами и военными планами из любви к этим материям.

За этими показаниями последовали еще другие – касательно придворных расходов, влияния королевы в делах, происшествий 10 августа, всего, что делалось в Тампле... Самые смутные слухи, самые незначительные обстоятельства были признаны доказательствами.

Мария-Антуанетта много раз с большим присутствием духа и твердостью повторяла, что против нее нет ни одного неопровержимого факта, что в качестве супруги Людовика XVI она не ответственна ни за что, совершавшееся в его царствование. Фукье-Тенвиль тем не менее объявил улики достаточными. Шово-Лагард тщетно старался защитить ее – несчастная государыня была приговорена так же, как и ее муж.

Возвратившись в Консьержери, она довольно спокойно провела ночь перед казнью. Утром 16 октября Марию-Антуанетту отвезли, окруженную толпами народа, на ту же роковую площадь, на которой десятью месяцами раньше окончил свою жизнь Людовик XVI. Она спокойно слушала увещания сопровождавшего ее духовного лица и обводила равнодушным взором этот народ, столько раз восхищавшийся ее красотой, а теперь не менее энергично восхищавшийся ее унижением и казнью. Уже у подножия эшафота она увидела дворец Тюильри и выказала некоторое волнение, но поспешила подняться по роковым ступенькам и мужественно отдалась в руки палачей. Главный палач показал народу голову, как он это делал всегда, казнив именитую

жертву.

Якобинцы были вне себя от радости. «Пусть это известие будет сообщено Австрии! – говорили они. – Римляне продавали земли, занятые Ганнибалом, мы же рубим головы, самые дорогие государям, вторгшимся на нашу землю!»

Но это было еще только начало мщений. Тотчас после суда над Марией-Антуанеттой приступили к суду над жирондистами, заключенными в Консьержери.

До восстания Юга жирондистов можно было упрекать только в тех или других мнениях. Говорили, правда, что они сторонники Дюмурье, Вандеи, герцога Орлеанского; но это легко было говорить с кафедры, доказать же было невозможно даже перед трибуналом. Однако с того дня, как они подняли знамя междоусобной войны и враги их могли привести против них определенные факты, осудить их становилось легко. Конечно, депутаты, содержащиеся в Консьержери, были не теми же самыми, что вызвали восстание в Кальвадосе и в южных провинциях, но они были членами той же партии, опорами того же дела; имелось твердое убеждение, что одни сносились с другими. И хотя перехваченные письма не доказывали соучастия, но их было более чем достаточно для суда, который по самому своему свойству удовлетворялся вероятностью.

Так вся умеренность жирондистов превратилась в обширный заговор, развязкой которого стала междоусобная война. Медлительность, с которой они в Законодательном собрании восстали против престола, их сопротивление проекту 10 августа, борьба с коммуной с 10 августа до 20 сентября, протест против резни в тюрьмах, сострадание к Людовику XVI, оппозиция против инквизиторской системы, бесившей военачальников, и против трибунала, максимума и принудительного займа, наконец, старания основать сдерживающую власть (основание Комиссии двенадцати) и отчаяние после поражения в Париже, заставившее обратиться к провинциям, – всё это теперь истолковывалось в духе цельного, стройного заговора. По этой обвинительной системе мнения, высказанные с кафедры, были только сигналами, подготовкой к междоусобной войне, вспыхнувшей вскоре, и каждый, кто говорил в Конвенте так, как говорили депутаты,

удалившиеся в Кан, Бордо, Лион и Марсель, был виновен наравне с ними. Хотя не было прямых доказательств сообщничества, таковые находили в общих убеждениях этих людей, дружбе, связывавшей большую часть из них, в их частых собраниях у Ролана и Валазе.

Жирондисты, напротив, полагали, что их не смогут осудить, если только согласятся вступить с ними в полемику. Мнения их, говорили они, могли расходиться с мнениями монтаньяров относительно выбора средств, но не были преступными. Эти мнения не изобличали ни личного честолюбия, не предумышленного заговора, а, напротив, свидетельствовали, что по множеству вопросов жирондисты сами не были согласны между собою. Наконец, их сообщничество с восставшими депутатами было лишь предполагаемым, и их переписка, дружба, привычка сидеть на одних и тех же скамьях — отнюдь не достаточные основания для его доказательства. «Только бы нам дали говорить — тогда мы спасены!» — восклицали они. Печальное заблуждение, которое не только не спасло несчастных, но отняло у них часть достоинства — единственного вознаграждения в случае несправедливого приговора.

Если бы политические партии в целом были откровеннее, они выказывали бы больше благородства. В настоящем случае партия-победительница могла бы просто объявить партии побежденной: «Вы довели привязанность к системе умеренности до того, что пошли на нас войной, и поставили Республику на порог гибели зловредной диверсией. Вы побеждены — вы должны умереть». Жирондисты, со своей стороны, могли отвечать: «Мы смотрим на вас как на злодеев, которые возмущают Республику и позорят ее под видом защиты, и мы хотели бороться против вас и уничтожить вас. Да, мы всё равно виновны, мы все — сообщники Бюзо, Барбару, Петiona, Гюаде; они — великие и доблестные граждане, и мы провозглашаем их доблесть вам в лицо. Пока они удалились, с целью отмстить за Республику, мы остались здесь, чтобы прославить ее перед палачами. Вы победили — умертвите нас!»

Но мозг человека устроен не так, чтобы всё упрощать откровенностью. Победившая партия хочет убедить — и лжет; притаившийся в душе остаток надежды заставляет защищаться побежденную партию — и она тоже лжет; и во времена гражданских

междоусобиц мы видим постыдные процессы, в которых сильнейший слушает и не верит, а слабейший говорит и не убеждает, просит жизни – и просит напрасно. Когда произнесен приговор, когда потеряна всякая надежда, тогда опять пробуждается человеческое достоинство, и при виде орудия казни оно является в полном блеске.

Итак, жирондисты решились защищаться, а для этого они должны были прибегнуть к некоторым уступкам, к довольно изворотливым речам. Враги хотели доказать их преступление и послали свидетелями в трибунал их убежденных противников: Паша, Эбера, Шометта, Шабо и других, столь же лживых или грязных. Стечение народа было значительным: еще внове было видеть столько республиканцев, осужденных за свою же службу делу Республики. Двадцать один человек: все во цвете лет, во всей силе таланта, некоторые во всем блеске молодости и красоты. Одно уже перечисление имен и лет могло тронуть сердце. Буайе-Фонфред и Дюшатель, 27 лет; Менвьель и Дюко, 28 лет; Дюпра, 33 года; Верны), Жансонне и Легарди, 35 лет; Виже, 36 лет; Бриссо, Гардьен и Ласурс, 39 лет; Антибуль, 40 лет; Буало, 41 год; Валазе и Лаказ, 42 года; Лестер-Бове, 43 года; Дюперре, 46 лет; Фоше, 49 лет; Карра, 50 лет; Силлери, 57 лет.

Жансонне был спокоен и холоден; Валазе негодовал и вел себя презрительно; Верньо был взволнованнее, чем обыкновенно; молодой Дюко был весел; Фонфред, пощаженный 2 июня, потому что не подавал голоса в пользу арестов, требуемых Комиссией двенадцати, но потом, из-за многократных, настойчивых ходатайств за друзей удостоившийся разделить их участь, – с легкостью, казалось, отрешился от своего большого состояния, от молодой жены и от самой жизни.

Якобинец Амар составил обвинительный акт от имени Комитета общественной безопасности. Первым был заслушан Паш. Как всегда хитрый и осторожный, он сказал, что давно уже заметил фракцию, враждебную Революции, но при этом не привел ни одного факта, доказывавшего предумышленный заговор. Он только сказал, что когда Конвенту угрожал Дюмурье, он, Паш, ходил в финансовый комитет просить суммы на продовольствование Парижа и комитет в них отказал, а также что с ним обошлись очень дурно в Комитете общественной безопасности и Гюаде грозил, что потребует ареста муниципальных властей. Шометт, в свою очередь, описал борьбу коммуны с правой

стороной, уже известную из газет, и прибавил только один особый факт: Сантонакс был назначен посланником в колонии по рекомендации Бриссо, и, стало быть, Бриссо виновен во всех бедствиях Нового Света^[5]. Гнусный Эбер рассказал, как был арестован по приказу Комиссии двенадцати, и заявил, что Ролан подкупал всех журналистов, а жена Ролана хотела купить у него, Эбера, его пресловутый листок. Детурнель, министр юстиции, прежде служивший в коммуне, дал такие же неопределенные показания и повторил всё, что уже было известно.



Жансонне

Самым многоречивым свидетелем, показания которого, отличавшиеся особенным остервенением, продолжались несколько часов, был бывший капуцин Шабо, кипучая, но слабая и низкая душа. Жирондисты всегда смотрели на него как на сумасброда, и он не

прощал им их пренебрежения; он гордился тем, что хотел восстания 10 августа наперекор их мнению; уверял, что если бы его послали в тюрьмы, он спас бы арестантов, как спас швейцарцев. Словом, он хотел не только отмстить жирондистам, но еще и клеветой на них вернуть свою популярность, поколебленную у якобинцев, потому что его подозревали в биржевой игре.

Шабо сочинил длинное и злое обвинение, в котором показал жирондистов сначала старавшимися завладеть правительством Нарбонна, потом заместившими разом три министерства; 20 июня, говорил он, они устроили сами, чтобы ободрить своих сторонников; против 10 августа восстали, потому что не хотели республики, – словом, всегда поступали по рассчитанному вперед честолюбивому плану и – что ужаснее всего остального – допустили сентябрьские побоища и грабежи в Гард-Мёбль, чтобы погубить репутацию патриотов. «Если бы они хотели, – объявил Шабо, – я бы спас арестантов. Петион давал убийцам пить, а Бриссо не разрешил их арестовать, потому что в тюрьмах находился один из его врагов, Моранд!»

Вот какие низкие твари впиваются в порядочных людей, как только власть поощряет их к этому. Как только вожди бросают первый камень, все, кто копошится в грязи, поднимаются и закидывают этой грязью жертву. Фабру д'Эглантину, заподозренному, как и Шабо, в биржевой игре, тоже нужно было хлопотать о своей популярности, и он дал показания более сдержанные, но и более коварные: сентябрьские побоища и грабежи, по его словам, вполне могли входить в планы жирондистов.

Верньо наконец взорвался и воскликнул в негодовании: «Я не обязан оправдываться в соучастии с ворами и убийцами!»

Однако подсудимым так и не предъявили определенных фактов. Их обвиняли только в мнениях, публично заявляемых и отстаиваемых, а они отвечали, что эти мнения могли быть ошибочны, но что ошибаться вправе каждый человек. Им возражали, что их учение было результатом не заблуждения, невольного и потому простительного, а заговора, составляемого у Ролана и Валазе. На это они опять отвечали, что не только учение их не было плодом взаимного договора, но что они даже и не по всем пунктам сходились мнениями. Это была правда, но это и разобщало защиту, имело такой вид, будто они отрекаются друг от

друга и каждый точно осуждает меру, в которой не участвовал.

Буало довел желание оправдаться до такого малодушия, что даже опозорил себя. Он признал, что имелся заговор против единства и нераздельности Республики, что он теперь в этом убежден и заявляет о том правосудию; что он не может назвать виновных, но желает, чтобы они были наказаны, и провозглашает себя искренним монтаньяром. Гардьен имел малодушие отречься от Комиссии двенадцати. Но Жансонне, Бриссо, Верньо и в особенности Валазе сгладили дурное впечатление, произведенное поведением их товарищей. Они тоже признались, что не всегда сходились во мнениях и поэтому заговора между ними быть не могло, но не отреклись ни от своей дружбы, ни от своего общего учения. Валазе откровенно говорил о собраниях в его доме и доказывал, что жирондисты имели право собираться и общими силами развивать и прояснять свои мысли, как и все прочие граждане.

Когда, наконец, их упрекнули в сообщничестве с их бежавшими друзьями, они вновь отперлись. Тогда Эбер воскликнул:

– Подсудимые отрицают заговор! Но когда римский сенат должен был произнести приговор относительно заговора Каталины, если бы он спросил каждого обвиненного и удовлетворился бы отрицанием, они все спаслись бы от казни. Однако сборища в доме Каталины, бегство его, оружие, найденное у Леки, – всё это были материальные улики, и их было достаточно, чтобы заставить сенат решиться.

– Хорошо! – ответил Бриссо. – Я принимаю сравнение с Каталиной. Цицерон сказал ему: «У тебя найдено оружие; послы аллоброгов обвиняют тебя; подписи Лентула, Цетегга и Статилия доказывают твои гнусные замыслы». Нас сенат тоже обвиняет, но нашли ли у нас оружие? Приводят ли против нас подписи?..

К несчастью, были обнаружены письма, посланные в Бордо самим Верньо и дышавшие горячим негодованием. Нашли также письмо одного родственника Лаказа, и в этом письме говорилось о приготовлениях к восстанию; наконец, было перехвачено письмо Дюперре к жене Ролана, в котором он говорил, что имеет известия о Бюзо и Барбару и что они собираются наказать злодеяния, совершаемые в Париже.

Верньо на заданные ему по этому поводу вопросы ответил:

– Если бы я вам напомнил о том, что побудило меня так писать, то,

может стать, показался бы вам более достойным сожаления, чем порицания. Судя по 10 марта, я должен был думать, что нас хотят убить и распустить национальное представительство. Марат это писал 11 марта. Петиции, с таким ожесточением представляемые против нас, должны были утвердить меня в этой мысли. Тут-то я, убитый горем, и писал моим согражданам, что нахожусь под ножом, и протестовал против тиранства Марата. Он – единственный человек, которого я назвал по имени. Я уважаю мнение народа о Марате, но ведь Марат был моим мучителем!

При этих словах один из присяжных встал и заявил:

– Верньо жалуется, что терпел гонения от Марата. Замечу, что Марат убит, а Верньо еще здесь.

Это глупейшее замечание вызвало рукоплескания части слушателей, и вся прямота, вся разумность слов Верньо не произвела никакого впечатления на ослепленную толпу.

Однако Верньо добился того, что его стали слушать, и, говоря о поведении своих друзей, их преданности, жертвах, принесенных ими Республике, он обрел всё свое красноречие. Все присутствующие были потрясены, и приговор, хоть и заказанный, казался не бесповоротным.

Судоговорение продолжалось несколько дней. Якобинцы, рассерженные этой медлительностью, обратились к Конвенту с петицией, прося поторопить процедуру. По внушению Робеспьера был издан декрет, которым присяжным давалось право после трехдневного судоговорения объявить себя достаточно просвещенными касательно дела и приступить к суду, не слушая больше никого и ничего. И, чтобы название более соответствовало делу, он сверх того заставил переименовать чрезвычайный трибунал в Революционный.

Когда вышел этот декрет, присяжные не посмели тотчас же применить его и объявили, что еще недостаточно ознакомились с делом, но уже на следующий день воспользовались своим новым правом. Подсудимые, потеряв всякую надежду, решили умереть с достоинством. Они пришли на последнее заседание с просветленными лицами. Когда их обыскивали у выхода из Консьержери, чтобы отнять острые предметы, Валазе отдал пару ножниц своему приятелю Риуфу и сказал ему при жандармах: «На, друг мой, вот тебе запрещенное оружие: мы не

должны покушаться на наши жизни».

Тридцатого октября в полночь присяжные выносят приговор. У старшины их, Антонелля, лицо выражает истинное волнение. Камилл Демулен, услышав приговор, восклицает:

– Ах, это я их убил! Это мой «Изобличенный Бриссо» (брошюра, написанная им против жирондистов)! – И выбегает вон в отчаянии.

Подсудимых приводят. Услышав роковое слово смерть, Бриссо вдруг опускает обе руки, голова его падает на грудь. Жансонне хочет что-то сказать о применении закона, но его не слушают. Силлери, вронив костыли, восклицает:

– Этот день – лучший в моей жизни!

Многие надеялись, что спасутся молодые братья, Дюко и Фонфред, так как они казались менее скомпрометированными и примкнули к жирондистам не столько по сходству мнений, сколько из благоговения в отношении их характеров и талантов.

Фонфред, обнимая Дюко, говорит ему:

– Брат, я – причина твоей смерти!

– Утешься, – отвечает ему Дюко, – мы умрем вместе!

Аббат Фоше стоит со склоненным лицом, как будто молится. Карра сохраняет свой невозмутимый вид; во всем облике Верньо есть что-то презрительное и гордое.

Ласурс повторяет известные слова древних:

– Я умираю в тот день, когда народ потерял рассудок; в тот день, когда он снова обретет его, умрете вы.

Малодушные Буало и Гардьен также не пощажены. Буало бросает шляпу вверх и кричит:

– Я невинен!

– Мы невиновны! – повторяют все. – Народ, тебя обманывают!

Некоторые имеют бестактность бросить в толпу ассигнации, как бы взывая о помощи, но никто не трогается с места. Жандармы обступают несчастных, чтобы вести назад в тюрьму. Вдруг один из приговоренных падает к ногам жандармов; они поднимают его, залитого кровью. Это Валазе; отдавая Риуфу ножницы, он оставил себе кинжал, которым теперь и заколол себя. Суд тут же решает, что труп Валазе будет отвезен на место казни вместе с другими. Выходя из суда, жирондисты все вместе начинают петь «Марсельезу».

Последняя их ночь была достойна древних героев. Верньо имел при себе яд, но выбросил его, чтобы умереть с друзьями. Они вместе сели ужинать и за столом были оживлены и красноречивы. Бриссо и Жансонне выглядели серьезными и задумчивыми; Верньо тоном возвышенного сожаления говорил об умирающей свободе и с увлекательным красноречием – о судьбах человечества. Дюко прочитал стихи, написанные им в тюрьме, и все хором пели гимны Франции и свободе.

На другое утро, 31 октября, громадные толпы наполнили улицы, по которым должны были проехать жирондисты. Приехав на площадь Революции и сойдя с телег, они обнялись и крикнули в один голос: «Да здравствует Республика!» Силлери первым взошел на эшафот и, с достоинством поклонившись народу, в котором всё еще уважал немощное, обманутое человечество, принял роковой удар. Все подражали ему и умерли с тем же достоинством. Всего за тридцать одну минуту палач скосил эти славные головы; сколько в эти недолгие мгновения погибло молодости, красоты, доблести, таланта! Таков был конец этих мужественных, благородных граждан, павших жертвами собственной утопии. Не понимая ни народа, ни его пороков, ни средств, какими можно руководить им во время такого великого переворота, они вознегодовали на революцию, опошлившую и унизившую себя, и так упорно раздражали чудовище, что были им пожраны. Вечное уважение их памяти!

Тотчас за жирондистами последовали другие жертвы. Гильотина уже не отдыхала. Второго ноября были казнены Олимпия де Гуж (за мнимые контрреволюционные сочинения) и Адам Люкс, депутат Майнца, обвиненный в том же преступлении^[6]. Шестого ноября перед Революционным трибуналом явился несчастный герцог Орлеанский, перевезенный в Париж из Марсеа, и пострадал за то, что внушал подозрения всем партиям. Он был ненавистен эмиграции, подозрителен жирондистам и не вызывал ни у кого тех сожалений, которые утешают в несправедливом приговоре.

Будучи скорее врагом двора, чем восторженным поклонником Республики, он не имел даже убеждений, поддерживающих человека в

последнюю минуту, так что из всех жертв стал чуть ли не самой безотрадной и достойной сострадания. Последними его чувствами были отвращение ко всему и безусловный скептицизм. Он шел на казнь с необыкновенным спокойствием и равнодушием. Когда его везли по улице Сент-Оноре, герцог сухими глазами взглянул на свой дворец и ни на минуту не изменил своему презрению к людям и жизни. С ним вместе был казнен и адъютант его, Кутар, бывший, как и герцог Орлеанский, депутатом.

Два дня спустя пришла очередь жены Ролана, этой очаровательной и мужественной женщины, француженки по живости и грации и римлянки по героизму духа. Она почитала и нежно любила мужа, как отца; одного из бежавших жирондистов она любила с глубокой страстью, которой никогда не давала воли; она оставляла юную дочь, которую заранее поручила друзьям. И, как будто мало было постоянного страха за стольких дорогих существ, она считала безвозвратно погибшей свободу, которую любила так восторженно, которой принесла столько бесценных жертв!

Госпожа Ролан страдала всей душой. Приговоренная к смерти за сообщничество с жирондистами, она выслушала приговор почти с экзальтацией; с этой минуты и до минуты казни ее не покидало какое-то особое вдохновение, и во всех видевших ее она возбудила благоговейное удивление. Она оделась на казнь в белое и всю дорогу старалась подбодрить своего товарища, не отличавшегося мужеством; два раза ей даже удалось заставить его улыбнуться. Прибыв на место казни, госпожа Ролан склонила голову перед статуей Свободы и сказала: «О свобода, сколько злодеяний совершается во имя тебя!»

Ее муж между тем скрывался в окрестностях Руана. Узнав о трагической кончине жены, он решил не жить без нее. Чтобы никого не компрометировать, Ролан вышел из гостеприимного дома, приютившего его, и убил себя на большой дороге. Его нашли с проколотым шпагой сердцем, под деревом, в которое шпага была уперта. В кармане обнаружили записку о его жизни и работе в качестве министра.

В числе стольких славных смертей нельзя не упомянуть еще об одной, поражающей более других святостью и мужеством жертвы: мы говорим о смерти Байи. По тому, как с ним обошлись во время процесса

королевы, можно было судить о приеме, ожидавшем его самого. Сцена на Марсовом поле, провозглашение закона о военном положении и последовавшая затем ружейная стрельба – вот факты, в которых всего чаще и с наибольшей горечью упрекали наделенную властью партию. В лице Байи, друга Лафайета, хотели покарать все мнимые злодеяния Учредительного собрания. Он был приговорен, и казнить его решили на Марсовом поле, на самом месте его так называемого злодеяния. В холодное, дождливое утро 11 ноября его вели на казнь – пешком, среди поруганий черни, которую он кормил, когда был мэром; но ничто не могло нарушить спокойствия и неизменной ясности духа этого человека.



Жирондисты, идущие на смерть

Дойдя до эшафота, Байи, казалось, дождался конца своих мучений; но кто-то из извергов, преследовавших его, вдруг закричал, что поле

Федерации не должно быть осквернено его кровью. Народ бросается к гильотине и с тем же рвением, с каким некогда вскапывал это самое поле, переносит гильотину на берег Сены и ставит на куче всякой дряни, напротив квартала Шайо, где Байи провел свою жизнь и писал свои сочинения. Эта операция продолжается несколько часов. Байи же в это время заставляют несколько раз обойти Марсово поле с обнаженной головой и руками, связанными за спиной. Он тащится с трудом, но в него всё равно бросают комья грязи, бьют ногами и палками; наконец он изнемогает и падает, но его поднимают. От дождя и холода несчастного пронимает невольная дрожь.

– Ты дрожишь! – говорит ему один солдат.

– От холода, мой друг, – отвечает старец.

После нескольких часов этой муки перед самым лицом его сжигают красный флаг и наконец отдают Байи в руки палачу, который отнимает у Франции еще одного знаменитого ученого, одного из добродетельнейших ее сынов.

Чернь не изменилась с того времени, когда при Таците рукоплескала злодеяниям императоров. Всегда резкая и порывистая, она воздвигает то жертвенник отечеству, то эшафот и хороша только в армии, когда бесстрашно, с увлечением идет на врага. Ни деспотизму, ни свободе нельзя приписывать ее преступлений, а лишь невежеству; и следует только заботиться о просвещении варваров, которыми кишит дно каждого общества и которые всегда готовы на всякое постыдное и жестокое дело, кто бы ни призвал их.



Ролан, принимающий смерть

Двадцатого пятого ноября последовала казнь Манюэля, бывшего прокурора коммуны, депутата Конвента, вышедшего в отставку во время процесса Людовика XVI, потому что его обвинили в утаивании голосования. В суде Манюэля обвинили в том, будто он потворствовал сентябрьским побоищам с целью восстановить департаменты против Парижа. Сочинять подобные коварные клеветы, еще более безбожные, нежели сами приговоры, поручалось Фукье-Тенвиллю. В тот же день был приговорен к смерти несчастный генерал Брюнэ, за то, что не послал части своей армии из Ниццы в Тулон, а на следующий день, 26 ноября, тот же приговор объявили Гушару за то, что он не понял предначертанного плана и не двинулся в Фюрн, чтобы захватить всю английскую армию. Это, конечно, была громадная ошибка, но уж никак не заслуживающая смерти.

Эти казни начинали распространять повсеместный террор, а за ним и ужас. Страх поселился не только в тюрьмах, в зале Революционного трибунала и на площади Революции, но везде – на рынках и в лавках, где законы о максимуме и против накопления товаров были уже введены в силу. Мы видели выше, как упадок кредита и вздорожание

припасов заставили Конвент принять максимум цен, чтобы восстановить правильное соотношение между товарами и деньгами. Первое действие этого закона было самым бедственным и привело к закрытию множества лавок. Установление пошлины на предметы первой необходимости пало только на товары, находившиеся у мелкого торговца и готовые перейти из его рук в руки потребителя. Но мелкий торговец, купивший товар у оптового торговца или фабриканта до максимума, по цене выше нового тарифа, терпел громадные убытки и горько жаловался. Убыток его был не меньше и тогда, когда он продавал товар, купленный после учреждения максимума, потому что в постановлении говорилось только о готовых изделиях, но не о материале, заработной плате рабочему, перевозке водою или гужом. Следовательно, торговец, принуждаемый продавать свой товар потребителю по тарифу, но имевший дело с рабочим, фабрикантом или оптовым торговцем, не связанными этим самым тарифом, не был в состоянии продолжать такую убыточную торговлю. Большая часть торговцев закрывали свои лавки или с опасностью для жизни обходили закон, то есть продавали по максимуму только самый плохой товар, а хороший приберегали для тех покупателей, которые приходили потихоньку и платили настоящую цену.

Народ, замечавший эти уловки и видевший, как закрывается лавка за лавкой, бесновался и не давал покоя коммуне своими жалобами; люди требовали, чтобы торговцев силой заставили торговать. Раздраженный, недовольный народ обвинял мясников и колбасников в том, что они покупали больную скотину и не выпускали из нее всей крови, чтобы мясо было тяжелее; булочников — в том, что они продавали хорошую муку богатым, а для бедных оставляли дурную и не пропекали хлеба как следует, чтобы увеличить вес; виноторговцев — в том, что они примешивали к вину зловреднейшие снадобья; словом, всех мелких торговцев обвиняли в подделке товаров всевозможными способами.

Генерал-прокурор Шометт по этому случаю сказал громоносную речь.

— Все мы помним, — заявил он, — что в 1789 году и в следующие годы все эти люди вели обширную торговлю, но с кем? С иностранцами. Известно, что именно они уронили ассигнации и обогатили себя

посредством биржевой игры. Что они сделали, когда разжились? Они удалились из торговли, страдая народ скудостью товаров. Но если они имеют золото и ассигнации, то Республика имеет нечто более драгоценное – руки. Руками, а не золотом приводятся в движение фабрики и мануфактуры. Итак, если эти люди бросят фабрики, Республика ими завладеет и заберет на реквизицию все материалы и всё сырьё. Пусть они знают, что от Республики зависит, когда она захочет превратить в золу и грязь любое золото и ассигнации. Народный исполин должен задавить корыстных спекулянтов.

Мы сочувствуем страданиям народа, потому что мы сами народ. Весь совет состоит из санкюлотов, это народ-законодатель. Нам не важно, если наши головы падут, только бы потомство удостоило нас чести помнить о нас... Я сошлюсь не на Евангелие, а на Платона. Тот, кто сразит человека мечом, говорит этот философ, тот погибнет от меча, кто ядом – погибнет от яда; от голода погибнет тот, кто захочет морить народ голодом... Если образуется полный недостаток в припасах и товарах, за кого возьмется народ? За власти предрержащие? Нет. Он возьмется за поставщиков и подрядчиков. Руссо тоже был из народа, и он сказал: «Когда народу больше нечего будет есть, он станет есть богатых».

Одни принудительные средства ведут к другим, как мы это объясняли выше. Первые законы касались одних готовых изделий; теперь приходилось приниматься за сырьё и материалы; в головах бродила даже мысль прибрать к рукам всё сырьё и обрабатывать его уже за счет Республики. Страшное обязательство взваливают на себя те, кто берется насиловать природу и управлять всеми ее движениями. Скоро возникает необходимость вмешиваться во всё и заменять живую силу, самую жизнь – повелениями закона.

Коммуна и Конвент увидели себя вынужденными принять новые меры, каждый по своей части. Парижская коммуна обязала каждого торговца заявить, сколько у него товара и сколько и когда он ждет новых товаров. Каждый, кто торговал чем-нибудь в течение года, потом бросал торговлю или вяло продолжал ее, объявлялся подозрительным и подвергался аресту. Чтобы устранить скопление товара в немногих руках, коммуна постановила еще, что потребитель может обращаться только к мелкому торговцу, а мелкий – только к оптовому, и

определила, сколько каждый может потребовать. Билеты на покупку товаров и припасов выдавались революционными комитетами; они же назначали и количества.

Коммуна не ограничилась этим регламентом. Так как перед пекарнями царила всё та же давка и многие ожидали большую часть ночи, то Шометт предложил постановить, чтобы очередь соблюдалась наоборот, то есть выдача хлеба начиналась с последних прибывших; от этого конечно, не уменьшились ни давка, ни беспорядки. Так как народ жаловался, что ему дают дурную муку, то было постановлено выпекать в Париже только один сорт хлеба, состоявший из трех четвертей пшеницы и одной четверти ржи. Наконец, коммуна снарядила инспекторскую комиссию для осмотра припасов, обнаружения подделок и наказания виновных. Эти меры перенимались другими коммунами, нередко даже превращались в декреты и, следовательно, в общие законы. Таким образом, коммуна, как мы уже говорили, получила громадное влияние на всё, что касалось внутреннего управления и полицейской части.

Конвент, вследствие необходимости дополнить и расширить закон о максимуме, придумал новый закон, касавшийся уже сырья и материалов. Предлагалось составить таблицу цен на производство товаров в 1790 году. К ним прибавлялись, во-первых, одна треть сверх уже имевшейся цифры (учитывая обстоятельства момента); во-вторых, известная цена за доставку с места производства на место потребления; в-третьих, пять процентов барыша для оптового торговца и десять – для мелкооптового. Из всех этих элементов должна была состоять цена товаров первой необходимости. Местным администрациям поручалось составить эти таблицы: каждой – по части того, что производилось и потреблялось в ее районе. Полагалось вознаграждение каждому мелкому торговцу, который, имея 10 тысяч франков капитала, мог доказать, что потерял этот капитал по милости максимума. Коммуны должны были судить на глаз, как всё судилось тогда, как всё судится при всякой диктатуре.

Итак, закон, хоть и не добрался еще до сырья, определял цену товара по выходе его из фабрики, цену перевозки, доход торговца и таким образом заменял живую силу природы мертвыми правилами.

Для применения этой системы была назначена продовольственная

комиссия, власть которой простиралась на всю страну. Она состояла из трех членов, избранных Конвентом, которые были поставлены почти наравне с министрами и имели голос в исполнительном совете. Этой комиссии поручалось наблюдать за исполнением постановления и действиями коммун в этом отношении; наблюдать, чтобы перепись припасов производилась во всей Франции безостановочно; распоряжаться перевозкой товаров из одного департамента в другой и назначением реквизиций для армий согласно знаменитому декрету, учреждавшему революционное правительство.

Положение финансов было не менее странным. Оба займа, добровольный и принудительный, покрывались с чрезвычайной быстротой. Особенно спешили подписываться на первый, потому что его предпочитали за представляемые им выгоды. Приближалась минута, когда весь миллиард ассигнациями был бы изъят из обращения.

В кассах имелось на текущие нужды около 400 миллионов, остаток прежних выпусков, и до 500 миллионов королевских ассигнаций, возвращенных в казначейство декретом, который лишал их денежного значения и превращал в республиканские ассигнации на равную сумму. Стало быть, на текущие расходы имелось около 900 миллионов.

Невероятным покажется, что ассигнации, которые недавно теряли три четверти, даже четыре пятых своей номинальной ценности, опять поднялись и сравнялись с металлическими деньгами. Это повышение было отчасти естественным, отчасти же искусственным. Постепенное изъятие из обращения миллиарда, успех первого ополчения, давшего 600 тысяч человек за один месяц, последние победы Республики ускорили продажу национальных имуществ и несколько подняли кредит ассигнаций, но не настолько, чтобы сравнять их с металлическими деньгами.

Вот причины, которые, по-видимому, привели к этому результату. Читатели помнят, что закон под страхом тяжкого наказания запрещал торговлю деньгами, то есть обмен ассигнаций на металлические деньги с потерей на ассигнациях; что другой закон с такой же строгостью карал того, кто при покупке сторгуется по разным ценам, смотря по тому, производится уплата бумагой или металлическими деньгами. Таким образом, деньги, обмениваемые на ассигнации или на товары, не могли

сохранить свою цену – оставалось скрывать их. Но вышел последний закон, гласивший, что из скрытого золота, серебра или драгоценностей часть будет принадлежать казне, а часть – доносчику. После этого уже нельзя было ни использовать металлические деньги в торговле, ни прятать их; они становились проблемой и подвергали владельца подозрению; поэтому их вообще стали избегать и предпочитали ассигнации. Вот что на время вновь поставило бумагу альпари^[7]; но это альпари было фиктивным и не действовало в реальности даже в день выпуска ассигнаций.

Многие коммуны, дополняя законы Конвента своими постановлениями, даже запретили пускать металлические деньги в обращение и велели приносить их в кассы для обмена на ассигнации. Конвент, правда, отменил все эти особые постановления, но изданные им общие законы уже делали звонкую монету довольно бесполезной и даже опасной. Многие вносили ею налоги или свою долю займа или передавали ее иностранцам, которые торговали ею в больших количествах и специально приезжали в пограничные города, чтобы принимать металлические деньги в обмен на товары. Итальянцы, в особенности генуэзцы, привозившие во Францию много хлеба, стекались в южные порты и за бесценок скупали золото и серебро в монете и в изделиях. Таким образом, металлические деньги совсем исчезли, и партия пламенных революционеров, опасаясь, чтобы они когда-нибудь снова не явились и не повредили бумажным деньгам, требовала, чтобы их не только устранили из обращения, но и совсем запретили.

Террор почти прекратил биржевую игру. Спекуляции звонкой монетой сделались, как мы сейчас видели, невозможными. Иностранные бумаги не принимались в обращение и банкиры, со всех сторон обвиняемые в посредничестве между эмигрантами и Францией и в биржевой игре, жили в страхе и трепете. Одно время были даже опечатаны их дома, но Конвент скоро почувствовал, как опасно прерывать финансовые операции, то есть останавливать обращение капитала, и велел снять печати. Всё же страх был слишком велик, чтобы на ум шли какие-нибудь спекуляции.

Ост-Индская компания наконец была упразднена. Мы видели выше, какую интригу затеяли некоторые депутаты, чтобы спекулировать акциями этой компании. Барон Батц, Жюльен, Делоне и Шабо сговорились вносить в Конвент предложения запугивающего свойства, чтобы сбить акции, скупить их, потом более мягкими предложениями опять поднять, перепродать и положить в карман большие деньги. Аббат д'Эспаньяк, которого Жюльен поддерживал в комитете подрядов, должен был дать займы нужную сумму. Этим мошенникам удалось сбить акции и собрать значительный доход. Однако упразднение компании стало неизбежным, и тогда они вступили с нею в переговоры, предлагая, на известных условиях, смягчить декрет об упразднении. Делоне и Жюльен просто торговались с директорами, говоря: «Если вы нам дадите такую-то сумму, то мы внесем такой-то декрет, а если нет – то такой-то». Сторговались за 500 тысяч франков, и депутаты обещали, предлагая упразднение компании, выхлопотать ей разрешение самой произвести ликвидацию, что могло еще надолго протянуть ее существование. Обещанные полмиллиона должны были разделить между собою Делоне, Жюльен, Шабо и Базир, посвященный в интригу своим приятелем Шабо; однако Базир не захотел в ней участвовать.

Делоне внес декрет об упразднении компании 9 октября. Он предлагал упразднить компанию, заставить ее возвратить казне одолженные суммы и в особенности уплатить трансфертные пошлины, обойденные посредством превращения акций в записи в книгах компании. В заключение он предлагал предоставить самой компании заботу о собственной ликвидации. Фабр д'Эгл антин, еще не посвященный в тайну и, по-видимому, спекулировавший в другую сторону, тотчас же восстал против этого проекта, говоря, что позволить компании самой произвести свою ликвидацию значило бы увековечить ее и что под этим предлогом она протянет еще неопределенное время. Он советовал возложить ликвидацию на правительство. Камбон внес поправку, требуя, чтобы казна не брала на себя долгов компании, если при ликвидации окажется, что расходы ее превышают доходы. Декрет был принят с обеими поправками и отослан в комиссию для окончательной редакции.

Тогда интриганы решили, что надо приняться за Фабра, чтобы хоть

посредством редакции добиться некоторых изменений в декрете. Шабо отправили к Фабру со 100 тысячами франков, и он уговорил депутата. Вот что было сделано затем: декрет отредактировали в том виде, в каком он был принят Конвентом и дан для подписи Камбону и членам комиссии, не знавшим об интриге. Потом в него были вставлены несколько слов, совершенно изменивших смысл и распорядительную часть декрета. Шабо, Фабр, Делоне и Жюльен подписали подделанный декрет и передали его законодательной комиссии, которая напечатала и обнародовала его в качестве подлинного. Они надеялись, что члены, подписавшие его до этих незначительных с виду изменений, ничего не заметят, и разделили между собой полмиллиона. Один Базир ничего не взял, объявив, что не желает участвовать в подобных гадостях.

Между тем Шабо, которого начинали упрекать за роскошь, боялся себя скомпрометировать. Пришедшиеся на его долю 100 тысяч он привесил к потолку в отхожем месте, и его сообщники, видя, что он готов выдать их, грозились опередить его и открыть всё, если он от них отшатнется. Таков был исход позорной интриги, завязавшейся между бароном Батцем и несколькими депутатами. Террор, как гром грохотавший над всеми головами, даже самыми невинными, не обошел и их, поэтому спекуляции на время прекратились и никто более не думал о биржевой игре.

В это самое время, когда не боялись извращать все общепринятые понятия и ставить вверх дном все установившиеся привычки, приняли проект об изменении системы мер и весов и календаря. Любовь к порядку и презрение к препятствиям — эти черты отличали эту революцию, столь же философскую, сколь и политическую. Она разделила территорию на восемьдесят три равные части; она привела в единообразную форму гражданскую, религиозную и военную администрации; она уравнила все части государственного долга. Она не могла не внести свою любимую правильность в весы, меры и деление времени. Конечно, эта страсть к однообразию, переходя в чрезмерную систематичность, слишком часто заставляла людей забывать о необходимом и привлекательном разнообразии, свойственном природе, но только в состоянии такого «припадка» человеческий ум совершает обширные и трудные перевороты.

Новая система мер и весов, одно из лучших творений века, стала результатом этого отважного духа новизны. Единицей веса и единицей меры решили взять естественные величины, неизменные во всех странах. Так, мерилom веса была принята дистиллированная вода, а единицей меры – часть меридиана. Эти единицы, умноженные или разделенные на десять, до бесконечности, составили ту стройную, удобную систему, которая известна под названием десятичной или метрической системы.

Ту же правильность предполагалось внести в разделение времени. Нелегко было изменить закоренелые привычки целого народа, но это не могло остановить людей таких решительных, как те, что в то время управляли судьбами Франции. Они уже изменили христианское летоисчисление, заменив его республиканским, которое начиналось «первым годом свободы». Началом года и нового летоисчисления они назначили 22 сентября 1792 года, день, на который по счастливому совпадению приходились и учреждение Республики, и осеннее равноденствие. Согласно десятичной системе, следовало бы разделить год на десять равных частей; но принимая в основание разделения года на месяцы и двенадцать обращений луны вокруг земли, приходилось допустить двенадцать месяцев. Сама природа в этом случае заставляла нарушить десятичную систему. Месяц из тридцати дней был разделен на три десятка дней, или три декады. Десятый день каждой декады был посвящен отдыху и заменил собой воскресенье. Таким образом, на месяц приходилось одним днем отдыха меньше.

Католичество размножило праздники до бесконечности; Революция, превознося труд, считала своим долгом сократить их до последней возможности. Месяцы получили названия, соответствовавшие своему климатическому характеру. Первые три месяца приходились на осень, и их называли так: вандемьер (месяц сбора винограда), брюмер (месяц туманов) и фример (месяц морозов). Следующие три зимних месяца называли: нивоз (месяц снегов), плювиоз (месяц дождей), вантоз (месяц ветров); за ними следовали три весенних месяца: жерминаль (месяц всхода семян), флореаль (месяц цветов) и прериаль (месяц лугов или сенокоса). И наконец, вот три летних месяца: мессидор (месяц жатвы), термидор (месяц жара) и фрюктидор (месяц плодов). Эти двенадцать месяцев составляли только триста шестьдесят

дней. Оставалось еще пять дней для довершения года; они были названы дополнительными, и учредителям пришла в голову прекрасная мысль посвятить их национальным праздникам, которым было дано название санкюлотид – название нелепое, но извинительное по тем временам.

Первый из праздников предполагалось посвятить гению, второй – труду, третий – доблестным поступкам, четвертый – наградам, пятый – общественному мнению. Этот последний праздник, вполне своеобразный и как нельзя более подходящий французскому характеру, был чем-то вроде карнавала, продолжавшегося одни сутки, и в эти сутки дозволялось безнаказанно говорить и писать о каждом человеке, занимавшем видное место, всё, что придет в голову. Делом каждого было оградить себя своими добродетелями от обвинений и клеветы, которым в этот день давался полный простор. Ничто не может быть шире и нравственнее этой мысли. Из того, что сила судьбы уничтожила мысли и идеи того времени, не следует еще считать смешными все обширные и смелые замыслы этой эпохи. Римляне не сделали смешны от того, что в день триумфа воин, шедший за колесницей триумфатора, мог говорить всё, что подсказывала ему ненависть или веселость.

Через каждые четыре года, вследствие возвращения високосного года, дополнительных дней оказывалось шесть вместо пяти, и этот шестой день посвящался празднованию Революции; в этот день все французы должны были с большой торжественностью праздновать свое освобождение и основание Республики.

День был разделен согласно десятичной системе на десять часов или частей, те – еще на десять и т. д. Постановлено было для нового способа подсчета времени изготовить новые часы, но, чтобы не всё делать разом, эта последняя реформа была отложена на год.

Последний переворот, самый трудный и самый насильственный, касался вероисповеданий. Революционные законы об этом предмете остались такими, какими сделало их Учредительное собрание. Пока патриоты Конвента и Клуба якобинцев – Робеспьер, Сен-Жюст и другие революционные вожди – предлагали деизм, Шометт, Эбер и все нотабли коммуны и кордельеров, стоявшие ниже по должности и образованию, должны были, согласно общему закону, перейти границу и дойти до атеизма. Они не исповедовали открыто этого учения, но можно было

предполагать, что они его придерживаются: никогда, ни в своих речах, ни в своих листках, они не произносили имени Бога и беспрестанно повторяли, что народ ничем не должен управляться, как только одним Разумом, и не должен допускать иного поклонения, как только Разуму. Шометт не был ни низок, ни зол, ни честолюбив подобно Эберу; он не старался, преувеличивая господствующие взгляды и мнения, устранить настоящих вождей Революции и стать на их место; но, не имея политического кругозора, а только банальные взгляды, притом увлекаемый необычайной страстью к декламаторству, он проповедовал с жаром и умиленной гордостью миссионера чистоту нравов, труд, патриотические добродетели, наконец, разум, всегда тщательно избегая называть Бога. Шометт очень горячо восстал против грабежей; он энергично бранил женщин, которые бросали свои хозяйства и вмешивались в политические смуты, и имел храбрость закрыть их клуб; он запретил нищенство и основал общественные мастерские для снабжения бедных работой; он гремел против проституции и заставил коммуны запретить этот промысел, везде воспринимаемый как неизбежное зло. Шометт говорил, что проститутки – принадлежность монархических и католических стран, где есть праздные граждане и неженатые священники, и что труд и брак должны изгнать их из Республики.

Итак, Шометт, приняв на себя инициативу во имя разума, восстал против публичности католического вероисповедания. Он доказывал, что эта публичность составляет преимущество, которым католическая религия имеет право пользоваться не более другой; что если предоставить публичность каждой секте, то на улицах и площадях не будет прохода от всяких обрядов и процессий. Пользуясь тем, что коммуна заведовала полицейской частью, он уговорил ее постановить 14 октября (23 вандемьера), что пастырям какой бы то ни было религии не будет дозволено совершать обряды нигде, кроме своих храмов. По его внушению были учреждены новые погребальные обряды. Только друзьям и родным дозволялось идти за гробом. Все знаки религии были удалены с кладбищ и заменены статуей Сна, по примеру того, что Фуше сделал в департаменте Алье. Вместо кипарисов и всевозможных мрачных кустарников по кладбищам насадили самые яркие и душистые деревья. «Нужно, – заявлял Шометт, – чтобы блеск и благоухание

цветов вызывали самые тихие, приятные мысли; я бы желал, если возможно, вдыхать душу моего отца!» В том же самом постановлении было заявлено, что запретят продавать на улицах крестики, ладанки, изображения мадонн и прочее, а также лекарственные порошки, воды и тому подобные снадобья. Все изображения мадонн, находившиеся в нишах на углах улиц, были заменены бюстами Марата и Лепелетье.

Анахарсис Клоотс – тот самый прусский барон, который, имея сто тысяч дохода, оставил родину, чтобы явиться в Париже представителем рода человеческого, как он говорил, – без устали проповедовал Всемирную республику и поклонение Разуму. Преисполненный этими двумя мыслями, он непрестанно развивал их в своих писаниях и то в манифестах, то в адресах предлагал всем народам. Деизм казался ему столь же преступным, сколь и католицизм, он не переставал предлагать истребление тиранов и всякого рода богов, и уверял, что у человечества, освобожденного и просвещенного, должен остаться лишь чистый разум и благодетельное, бессмертное ему поклонение.

Инициатива, принятая Шометтом, оживила все надежды Клоотса. Он отправился к Гобелю, интригану, сделавшемуся конституционным епископом парижского департамента благодаря тому же быстрому движению, которое возвысило Шометта, Эбера и многих других. Он убедил епископа, что настала пора отречься перед лицом всей Франции от католического вероисповедания, что его пример увлечет и прочих пастырей, просветит нацию, вызовет всеобщее отречение и принудит Конвент решиться на отмену самого христианства. Гобель не согласился отречься от своей веры и этим заявить, что всю жизнь обманывал людей, но согласился сложить с себя епископский сан и уговорил своих викариев последовать его примеру. Было также решено, что все парижские власти будут сопровождать Гобеля и участвовать в депутации, чтобы придать ей большую торжественность.

Седьмого ноября (17 брюмера) Моморо, Паш, Люилье, Шометт, Гобель и все его викарии являются в Конвент. Шометт и Люилье, один – прокурор коммуны, другой – департамента, заявляют, что парижское духовенство пришло с целью воздать Разуму блистательную и искреннюю дань. Они представляют Гобеля. Последний, в красном колпаке, держа в руке митру, посох и перстень, говорит: «Я родился плебеем и, сделавшись приходским священником в Порантрюи, а потом

посланный моим духовенством в первое собрание и, наконец, избранный в парижские архиепископы, никогда не переставал повиноваться народу. Я сделался епископом, когда народ хотел иметь епископов; перестая быть им теперь, когда народ больше не хочет епископов». Гобель присовокупляет, что всё его духовенство, воодушевляемое теми же чувствами, поручает ему сделать то же заявление и от его имени. Сказав эту речь, он кладет митру, посох и перстень.

Его духовенство подтверждает это заявление. Президент собрания с большою ловкостью отвечает, что Конвент, постановив свободу вероисповеданий, предоставил полную свободу каждой секте и никогда не вмешивался в дела веры, но рукоплещет тем сектам, которые, просвещенные разумом, отрекаются от своих суеверий и заблуждений.

Гобель не отрекся от католической веры, но другие расширили сделанное им заявление. «Опомнившись, – говорит вожиарский приходский священник, – от предрассудков, которые фанатизм вложил в ум мой и сердце, я оставляю здесь грамоту о посвящении моем в духовный сан». Несколько других епископов и священников, члены Конвента, следуют этому примеру и слагают с себя сан или вовсе отрекаются от католичества. Жюльен, депутат Тулузы, отказывается от звания протестантского пастора.

Собрание и трибуны встречают эти отречения бешеными аплодисментами. В эту минуту Грегуар, епископ Блуа, входит в собрание. Ему рассказывают обо всем происшедшем и приглашают последовать примеру братьев. Он мужественно отказывается. «Идет ли речь о доходе, связанном с епископским саном? – говорит он. – Я без сожаления отказываюсь от него. Идет ли речь о моем звании священника и епископа? Я не могу сложить его с себя, моя вера запрещает мне это. Взываю к свободе вероисповедания». Конец слов Грегуара покрывает шум, депутация выходит из собрания, окруженная громадной толпой, и отправляется в ратушу принять поздравления коммуны.

Нетрудно было, когда был подан такой пример, побудить секции Парижа и все коммуны Франции подражать ему. Секции скоро собрались и объявили, одна за другой, что отрекаются от всех заблуждений суеверия и признают лишь одно поклонение Разуму.

Секция Вооруженного человека объявляет, что не признает другого исповедания, кроме поклонения истине и Разуму, другого фанатизма, кроме фанатизма свободы и равенства, другого догмата, кроме догмата братства и революционных законов, изданных после 31 мая 1793 года. Секция Соединения заявляет, что устроит костер из всех исповедален и всех книг, служивших католикам, и закроет свою церковь Сен-Мари. Секция Вильгельма Телля навсегда отрекается от исповедания заблуждений и лжи. Секция Муция Сцеволы отрекается от католичества и назначает на следующее декади (последний день декады) открытие на главном алтаре церкви Сен-Сюльпис бюстов Марата, Лепелетье и Муция Сцеволы. Секция Пик объявляет о своем намерении отныне не поклоняться другому богу, кроме бога свободы и равенства. Секция Арсенала тоже отрекается от католичества.

Так секции, принимая на себя инициативу, отрекались от католичества как от общественной религии и присвоили себе его здания и сокровища как имущество, принадлежащее общине. Депутаты, посланные комиссарами в департаменты, уговорили множество общин захватить церковную утварь, совершенно, по их словам, не нужную религии, притом составлявшую, как всякое общественное имущество, собственность государства и могущую быть употребленной для его нужд. Фуше прислал из департамента Алье много ящиков с серебряной посудой.

Множество таких ящиков пришло и из других департаментов. Этим же способом груды сокровищ были доставлены в Конвент из Парижа и его окрестностей. В Конвент составлялись процессии, и народ, всегда готовый издеваться над всем, пародировал церковные обряды и провожал депутации, распевая католические песнопения и в то же время отплясывая под «Карманьолу». Потом тем же порядком богатая добыча относилась на монетный двор, между тем как бюсты Марата и Лепелетье красовались в церквях, которые стали храмами нового вероисповедания.

По представлению Шометта решили превратить собор Парижской Богоматери в республиканское здание под названием храма Разума, и было придумано празднество, которое по декадным дням должно было заменить католическое воскресное богослужение. Мэр, муниципальные чиновники, общественные должностные лица отправлялись в храм

Разума, читали там вслух Декларацию прав человека и Конституцию, подвергали разбору известия из армий и рассказывали о замечательных происшествиях, случившихся за истекшую декаду. Круглая, подобная львиным пастьям в Венеции, устроенным для принятия доносов, помещалась в храме Разума для принятия уведомлений, укоров и советов, полезных для общего блага. Эти письма вынимались каждое декады и читались вслух; какой-нибудь оратор произносил речь нравственно-поучительного содержания; потом исполнялось несколько музыкальных пьес, и торжество заканчивалось пением республиканских гимнов. В храме были две трибуны – одна для стариков, другая для беременных женщин с надписью «Почтение к старости, почтение и внимание к беременным женщинам».

Первое торжество в честь Разума было отпраздновано с большой пышностью 10 ноября (20 брюмера). На нем с городскими властями присутствовали все секции. Молодая женщина – жена типографщика Моморо, приятеля Венсана, Ронсена, Шометта, Эбера – изображала богиню Разума. Она была одета в белую драпировку; плащ небесно-голубого цвета падал с ее плеч; распущенные волосы венчал революционный колпак. Она восседала на сиденье античной формы, окруженном плащом; четыре гражданина несли ее на плечах. Молодые девушки в белой одежде и венках из роз шли перед богиней и за нею. Следом несли бюсты Лепелетье и Марата и шли музыканты, войска и все секции, также вооруженные. Произносили речи, в храме Разума пели гимны. Потом шествие направилось в Конвент, где Шометт сказал следующую речь: «Законодатели, фанатизм уступил место Разуму. Его косоглазие не могло вынести блеска света. Ныне громадная толпа наполнила готические своды, в первый раз огласившиеся словами истины. Там французы совершили единственно истинное служение – Свободе и Разуму. Там мы высказали наши пожелания успеха республиканскому оружию. Там мы бросили неживые идола ради Разума, этого живого и мастерского создания природы!»

Говоря эти слова, Шометт указывает на живую богиню Разума. Молодая красивая женщина сходит со своего сиденья и подходит к президенту, который по-братски обнимает ее среди шумных криков «Браво!», «Да здравствует Республика!», «Да здравствует Разум!» и

«Долой фанатизм!». Конвент, еще не принимавший участия во всех этих демонстрациях, увлечен толпой и вынужден идти вместе с шествием, которое возвращается в храм Разума, чтобы спеть там патриотический гимн. Важное известие о взятии острова Нуармутье, куда удалился Шаретт, увеличивает общую радость и может служить ей более существенным поводом, нежели мнимое уничтожение фанатизма.

Противно останавливаться на этих празднествах, лишенных умиления и убедительности; противно припоминать, как целый народ менял свое вероисповедание, не понимая ни старого ни нового. Если взглянуть в картину, которую представляла Франция того времени, мы увидим, что никогда инертная и терпеливая масса, обыкновенно служащая материалом для политических опытов, не подвергалась стольким притеснениям всякого рода. Никто не смел высказывать своего мнения; каждый боялся видаться со своими друзьями или родными из опасения скомпрометировать себя и лишиться свободы или даже жизни. Сто тысяч арестов и несколько сотен казней делали мысль о тюрьме и эшафоте неотступной в умах двадцати миллионов людей.

Следовательно, никогда власть более безжалостно не выворачивала наизнанку привычек целого народа. Держать меч над всеми головами, обирать всех зажиточных или богатых людей, вводить обязательный курс валюты, переименовывать всё на свете, уничтожать внешние религиозные обряды – всё это, бесспорно, составляет свирепейшее, беззаконнейшее тиранство. Но, с другой стороны, следует принять во внимание опасность, грозившую государству, неизбежные торговые кризисы и дух систематизации, неразрывный с духом новизны.

Глава XXX

Возвращение Дантона – Политика Робеспьера и Комитета общественного спасения – Арест Ронсена, Венсана, четырех депутатов, подделавших декрет, и предполагаемых иностранных агентов

С самого падения жирондистов партия Горы, оставшаяся одна и победительницей, начала дробиться. Всё возрастающие революционные излишества еще более разъединили ее, и она оказалась близка к полному распаду. Многих депутатов огорчила участь жирондистов, Байи, Брюнэ, Гушара; другие порицали насилие, творимое против религии, считая его неразумным и опасным. Говорили, что новые суеверия только заменяют те, которые будто бы уничтожены, что мнимое поклонение Разуму есть не что иное, как атеизм, а атеизм не годится для всего народа, и потому все эти сумасбродства делаются за деньги, выдаваемые иностранными агентами. Партия, которая господствовала в Клубе кордельеров и в коммуне, рупором которой являлся Эбер, вождями – Венсан и Ронсен, а проповедниками – Шометт и Клоотс, – эта партия уверяла, что ее противники стараются воскресить умеренных и вызвать в Республике новый раздор.

Дантон между тем возвратился. Он не высказывал своих мыслей вслух, но вождь партии скрытничал тщетно: его мысль узнается близкими, передается от одних другим и скоро делается общим достоянием. Всем было известно, что ему хотелось бы помешать казни жирондистов; их трагический конец глубоко тронул Дантона; все знали, что он, сторонник и изобретатель революционных мер, начинал порицать слепое и зверское применение этих мер, которые, по его мнению, не должны простирались далее минуты опасности, и что по окончании настоящей кампании и изгнании неприятеля он намерен восстановить мягкие и справедливые законы.

Никто не смел нападать на Дантона с клубных кафедр, Эбер не смел ругать его в своем «Дюшене»; но изустно про него распускались самые зловердные слухи; в большом ходу были инсинуации против его

честности и коварные напоминания о лихоимствах в Бельгии; во время его удаления в Арси-сюр-Об говорилось даже, что он эмигрировал со своими богатствами. На одну доску с Дантоном ставили его приятеля Камилла Демулена – как и он, жалевшего жирондистов и защищавшего Дильона, – и Филиппе, который возвратился из Вандеи взбешенный против тамошних распорядителей и готовый на всякое обличение Ронсена и Россиньоля. К партии Дантона относили всех лиц, чем-либо не угодивших пламенным революционерам, а число этих лиц становилось весьма значительным.

Жюльен, депутат Тулузы, уже вызывавший подозрения своими связями с д'Эспаньяком и поставщиками, окончательно скомпрометировал себя докладом о федералистских администрациях, в котором старался извинять их проступки. Едва он прочел этот доклад, как якобинцы и кордельеры взбунтовались и принудили его отозвать доклад. Они снарядили следствие о его частной жизни, открыли, что Жюльен постоянно общается с биржевиками и любовница его – бывшая графиня, и объявили его развратником и умеренным. Фабр д'Эглантин вдруг изменил образ жизни и продемонстрировал роскошь, которой никто прежде за ним не знал. Шабо тоже обзавелся прекрасным хозяйством и женился на молоденькой сестре братьев Фрей, взяв за нею двести тысяч приданого.

Такая быстрая перемена возбудила подозрения, и предложение, вскоре сделанное в Конвенте, окончательно погубило их. Депутат Осселен был арестован за то, что будто бы спрятал у себя эмигрантку. Фабр, Шабо, Жюльен, Делоне, беспокоившиеся за себя, Базир и Тюрио, ни в чем себя не упрекавшие, но ужасавшиеся посягательствам даже на членов Конвента, внесли декрет о том, чтобы ни одного депутата нельзя было арестовать, сначала не выслушав его объяснений. Декрет был принят, но все клубы подняли из-за него шум и кричали, что так хотят восстановить неприкосновенность членов. Якобинцы заставили Конвент отменить декрет и начали строжайшее следствие по поводу предложивших его депутатов, их поведения и источников внезапно появившегося у них богатства. Депутаты в несколько дней лишились всей своей популярности и попали в разряд двусмысленно настроенных и умеренных. Эбер осыпал их в своем листке самыми площадными ругательствами и бросил их имена на растерзание самой низкой черни.

Той же участи подверглись еще четыре или пять человек, хоть они и признавались до сих пор пламенными патриотами: это были Проли, Перейра, Гусман, Дюбюиссон и Дефье, почти все иностранцы, бросившиеся в пучину Французской революции, подобно Клоотсу и братьям Фрей, отчасти из энтузиазма, отчасти же, вероятно, из желания разбогатеть. Никто не спрашивал, кто они такие, пока они действовали на стороне революции. Проли, уроженец Брюсселя, был послан вместе с Перейрой и Дефье к Дюмурье разведать его намерения. Они вызвали генерала на объяснение, а потом, как мы говорили выше, донесли на него Конвенту и якобинцам. До сих пор всё было хорошо; но с ними сошелся Лебрен, рассчитывая, что они, в качестве иностранцев и образованных людей, могут быть полезны по части иностранных сношений. Сойдясь с Лебреном, они прониклись к нему уважением и после защищали его. Проли коротко знал Дюмурье и, несмотря на его отступничество, упорно превозносил таланты генерала и говорил, что можно было бы удержать его. Наконец, почти все они, зная соседние страны лучше французов, порицали применение якобинской системы в Бельгии и провинциях, присоединенных к Франции.

Слова, сказанные ими при разных случаях, не были забыты, и когда всеобщее недоверие заставило выдумать призрак тайного вмешательства фракции, находившейся будто бы в сговоре с иноземцами, подозрение пало на них и речи их начали припоминаться. Узнали, что Проли – побочный сын Кауница: тотчас же решили, что он главный интриган, а остальных пожаловали в шпионы Питта и Кобурга. Скоро ярости уже не было предела, и самый преувеличенный патриотизм, которым несчастные рассчитывали оправдать себя, только еще больше компрометировал их. Они попали в один разряд с умеренными. Так, стоило Дантону или его друзьям сделать малейшее замечание касательно ошибок министерских агентов или насилия в отношении католического вероисповедания, как сейчас же партия Эбера, Ронсена и Венсана начинала кричать об умеренности, о подкупе, об иностранной фракции.

Как водится, умеренные тоже взводили обвинение на своих противников и говорили им: это вы – соумышленники иноземцев; всё вас сближает – и исступленность речи, и намерение всё извратить, толкая к крайности. Взгляните, продолжали они, на эту коммуну,

которая присваивает себе законодательную власть и издает законы под скромным названием постановлений; которая всем распоряжается – полицией, продовольствием, делами вероисповедания; которая самовольно заменяет одну религию другой, древнее суеверие – новым, проповедует атеизм и заставляет все муниципалитеты подражать себе; взгляните на военное ведомство, откуда рой агентов разлетается по провинциям, где они соперничают с депутатами, позволяют себе вопиющие притеснения и позорят революцию своим поведением; взгляните на эту коммуну и на это ведомство! Чего они хотят, как не похитить законодательную и исполнительную власть, отняв ее у Конвента и комитетов, и распустить правительство? Кто может толкать их к этой цели, как не иноземец?

Среди этих волнений и ссор власти необходимо было принять какое-нибудь энергичное решение. Робеспьер – и с ним соглашался весь комитет – считал эти взаимные обвинения крайне опасными. Его политика с 31 мая состояла, как мы уже видели, в том, чтобы помешать новому революционному витку привязать общественное мнение к Конвенту, а Конвент – к комитету. И для этого он сделал своим орудием якобинцев, в то время всесильных в общественном мнении. Эти новые обвинения против таких общепризнанных патриотов, как Дантон и Камилл Демулен, казались Робеспьеру очень опасными. Он начинал бояться, что ни одна репутация не устоит против разнузданного воображения толпы; он опасался, что насилие, совершенное против католического вероисповедания, раздражит часть Франции и революция от этого прослывет атеистической; наконец, и ему мерещилась в этом хаосе рука иноземца. Поэтому Робеспьер не преминул воспользоваться первым же случаем, поданным Эбером, чтобы объясниться с якобинцами.

О том, как на всё это смотрит Робеспьер, уже догадывались. Шли глухие толки о том, что он намерен строго поступить с Пашем, Эбером, Шометтом и Клоотсом, виновниками движения против католической церкви. Проли, Дефье и Перейра, зная, что скомпрометированы и находятся в опасности, решили соединить свою судьбу с судьбой Паша, Шометта и Эбера, повидали их и рассказали, что против лучших патриотов существует заговор; что им всем равно грозит опасность; что надо поддерживать и оберегать друг друга. Эбер 21 ноября (1 фримера)

отправился в Клуб якобинцев и пожаловался на план, придуманный с целью разъединить патриотов.

«На каждом шагу, – говорил он, – я встречаю людей, которые поздравляют меня с тем, что я еще не арестован. Распускают слухи, будто Робеспьер собирается донести на меня, Шометта и Паша... Что касается меня, каждый день выставляющего себя на передний край для пользы отечества и говорящего всё, что взбредет на ум, этот слух мог бы иметь какое-нибудь основание, но Паш!.. Я знаю, какое уважение питает к нему Робеспьер, и далеко отбрасываю от себя подобную мысль. Говорили, будто Дантон эмигрировал, нагруженный богатством, награбленным у народа... Я сегодня утром встретил его в Тюильрийском саду, и так как он уже в Париже, то должен прийти сюда и по-братски объясниться. Все патриоты обязаны опровергнуть распространяемые о них оскорбительные слухи».

Потом Эбер рассказал, что часть этих слухов он узнал от Дебюиссона, который хотел разоблачить перед ним заговор, составленный против патриотов, и, согласно обычаю всё сваливать на побежденных, закончил заявлением, что причина смут – соумышленники Бриссо, еще оставшиеся в живых, и Бурбоны, еще оставшиеся в Тампле.

Робеспьер тотчас взошел на кафедру. «Действительно ли правда, – начал он, – что опаснейшие враги наши – нечистые остатки племени наших тиранов? Я душевно желаю, чтобы всё племя тиранов исчезло с лица земли; но могу ли я быть настолько слеп к состоянию моего отечества, чтобы полагать, будто этого события было бы достаточно, чтобы затушить очаг раздирающих нас заговоров? Кого можно уверить в том, будто казнь сестры Капета больше застрашает наших врагов, нежели казнь самого Капета и его преступной подруги?

Правда ли и то, что причиной наших бедствий является фанатизм? Фанатизм! Он издыхает. Я бы даже мог сказать, что его уже нет. Направляя всё наше внимание на фанатизм, как это делается вот уже несколько дней, не отвращают ли это внимание от действительных опасностей? Вы боитесь священников – они спешат отречься от своего звания и променять его на звание муниципалов, администраторов, даже председателей народных обществ... Еще недавно они весьма дорожили своими духовными обязанностями – когда эти обязанности приносили

им до 70 тысяч дохода, но отказались от них, как только они стали приносить только 6 тысяч... Да, бойтесь не фанатизма их, а честолюбия! Не прежнего их платья, а новой шкуры, в которую они облеклись! Бойтесь не древнего суеверия, а нового и притворного, которое наши враги напускают, чтобы погубить нас!»

Затем Робеспьер, приступая прямо к вопросу, продолжал: «Пусть граждане, воодушевляемые чистым рвением, приносят на жертвенник отечества бесполезные и пышные памятники суеверия – отечество и разум с улыбкою принимают эти приношения; но по какому праву аристократия и лицемерие мешаются тут со своим влиянием? По какому праву люди, доселе неизвестные на поприще революции, выискивают среди всех этих событий средства приобрести ложную популярность, увлекать ложными мерами даже самих патриотов, поселять между нами смущение и раздор? По какому праву эти люди станут нарушать свободу вероисповеданий во имя свободы личности и нападать на фанатизм при помощи нового же фанатизма? По какому праву они превратят торжественную дань истине в смешной фарс?

Многие вообразили, будто Конвент уничтожил католическое вероисповедание, принимая гражданские пожертвования. Нет, Конвент этого не сделал и никогда не сделает. Он намерен удержать провозглашенную им свободу вероисповеданий и в то же время карать всех, кто станет злоупотреблять этой свободой для нарушения общественного порядка. Он не дозволит гонений против мирных пастырей различных религий, но и будет строго наказывать их каждый раз, как они осмелятся пользоваться своей должностью для того, чтобы обманывать граждан и поощрять предрассудки или роялизм.

Есть люди, которые хотят заходить еще дальше, которые под предлогом уничтожения суеверия хотят из самого атеизма сделать нечто вроде религии. Каждый философ, каждое отдельное лицо вольны на этот счет держаться какого угодно мнения, и кто бы вздумал вменить им это в преступление – тот безумец; но во сто раз безумнее был бы государственный человек, законодатель, который принял бы подобную систему. Национальный конвент гнушается ее. Конвент не сочинитель книг и систем. Он – народное, политическое тело. Атеизм аристократичен, а понятие о Высшем Существо, охраняющем угнетенную невинность и карающем торжествующий порок, – чисто

народное понятие. Народ, бедный люд, одобряет меня; если бы нашлись против меня критики, то между богатыми и преступными людьми. Я с самой школьной скамьи был довольно плохим католиком, но никогда не был холодным другом или неверным защитником. Тем более привязан я к изложенным выше нравственным и политическим понятиям. «Если бы Бога не было, то нужно было бы его выдумать».

Робеспьер, изложив таким образом свои убеждения, обвинил иноземцев в гонениях против церкви и в клевете, распускаемой против лучших патриотов. Сам до крайности недоверчивый и в самом деле подозревавший жирондистов в роялизме, он весьма верил в иностранную интригу, тогда как в действительности представителями этой интриги были только несколько агентов, разосланных по армиям, и несколько банкиров – посредников биржевой игры.

«Иноземцы, – говорит Робеспьер, – имеют две армии: одна, стоящая на наших границах, бессильна и близка к гибели благодаря нашим победам; другая, более опасная, находится среди нас самих. Это армия шпионов, негодяев на жалованьи, которые прокрадываются всюду, даже в народные общества. Эта-то фракция уверила Эбера, будто я намерен арестовать его, Паша, Шометта и вообще всю коммуну. Чтобы я, я преследовал Паша! Я, который всегда удивлялся ему и защищал его непритязательную, скромную добродетель! Я, который сражался за него против Бриссо и его сообщников!»

Робеспьер расхваливает Паша, но об Эбере умалчивает и только замечает, что не забыл заслуг коммуны в те дни, когда свобода была в опасности. Затем, набрасываясь со всей силой на тех, кого он величает иностранной фракцией, он переводит весь гнев якобинцев на Проли, Дюбюиссона, Перейру и Дефье. Робеспьер рассказывает их историю, изображает их агентами Лебрена и иноземцев, взявшимися растравлять ненависть, разъединять патриотов и натравливать одних на других. По тому, как он выражается, видно, что ненависть к давнишним друзьям Лебрена в значительной мере влияет на его недоверие. Наконец Робеспьер предлагает изгнать всех четверых из общества (что и совершается под шум бурных аплодисментов) и провести «очистительную баллотировку».

Итак, Робеспьер одним махом разгромил новое поклонение Разуму, преподал строгий урок всем новым затеям, ничего не сказал

успокоительного для Эбера, не скомпрометировал себя ни малейшей похвалой этому грязному писаке и всю грозу напустил на иностранцев, имевших несчастье быть друзьями Лебрена, поклонниками таланта Дюмурье и порицателями политики, проводимой Францией в завоеванных странах. Наконец, он присвоил себе право преобразовать состав общества, предложив «очистительную баллотировку».

В течение последующих дней Робеспьер продолжал действовать по своей системе. Он приходил к якобинцам читать анонимные и перехваченные письма, доказывавшие, что иноземцы если и не сочинили сумасбродств поклонения Разуму и клевету на патриотов, однако и то и другое одобряют. Дантон был приглашен Эбером объясниться. Он не пришел, чтобы не получилось, будто он повинуется приказанию, но недели две спустя воспользовался удобным случаем, чтобы заговорить о себе. Речь шла о предоставлении всем народным обществам помещения за счет казны. Дантон представил по этому поводу разные соображения и заявил, что если конституция и должна дремать, пока народ поражает и ужасает своих врагов революционными победами, однако не надлежит доверять тем людям, которые хотят завести тот же народ за пределы революции.

Купе, депутат Уазы, возражает Дантону и в самом своем возражении извращает его мысль. Дантон тотчас же опять всходит на кафедру – его встречает ропот. Тогда он повелительно требует, чтобы те, кто имеет повод не доверять ему, высказали свои обвинения с точностью, так, чтобы он мог публично на них ответить, и сетует на выказываемую ему немилость. «Или я утратил, – восклицает он, – черты, характеризующие свободного человека?!» Произнося эти слова, он мотает своей крупной головой, столько раз виденной во всех революционных бурях, головой, которая всегда поддерживала смелость республиканцев и наводила трепет на аристократов. «Разве, – продолжает он, – я уже не тот человек, который был при вас во все критические моменты? Не тот, кого вы так много преследовали и так хорошо знали? Кого так часто обнимали как друга, кому клялись умереть от одних опасностей?» Дантон напоминает о том, что был защитником Марата, и этим как бы прикрывает себя тенью этого человека, которого при жизни его презирал, но и защищал. «Вы удивитесь, – говорит он далее, – когда я изложу вам мою частную

жизнь, вы увидите, что колоссальное состояние, которое мне приписывают мои и ваши враги, сводится к тем небольшим деньгам, которые я всегда имел. Пусть-ка мои недоброжелатели приведут против меня какое-нибудь доказательство! Все их усилия не в состоянии поколебать меня. Я останусь один перед лицом народа; судите меня в его присутствии. Я не разорву страницу моей истории, как и вы – страницу вашей!»

В заключение Дантон требует снаряжения комиссии для рассмотрения обвинений, взводимых против него. Робеспьер избегает на кафедру с необычайной поспешностью. «Дантон, – восклицает он, – просит вас снарядить комиссию для рассмотрения его поступков; я согласен, если он полагает, что эта мера может быть ему полезна. Он требует, чтобы обвинения против него были высказаны с точностью. Хорошо! Я это сделаю. Дантон, говорили, что ты эмигрировал. Говорили, что ты ушел в Швейцарию; что ты притворился больным, чтобы скрыть от народа свое бегство; что ты домогался регентства при Людовике XVII; что всё было приготовлено к назначенному времени для провозглашения отпрыска Капетов; что ты – глава заговора; что наши настоящие враги не Питт, Кобург, Англия или Австрия, а ты, один ты; что Гора вся состоит из твоих сообщников; что не следует заниматься агентами, присланными иностранными державами, и что их заговоры – басни, достойные презрения; одним словом, что следует резать тебя, одного тебя».

Громкие рукоплескания покрывают голос Робеспьера. Он продолжает: «Разве ты не знаешь, Дантон, что чем больше у человека мужества и патриотизма, тем с большим упорством враги общего дела стараются погубить его? Разве ты не знаешь, и вы все, граждане, разве не знаете, что эта метода всегда имеет успех? Помилуйте! Да если бы на защитника свободы не клеветали, это было бы доказательством, что не осталось ни дворян, ни священников, с кем бы нам было бороться!»

Намекая затем на Эберовы листки, в которых его, Робеспьера, всегда превозносили, он прибавляет: «Враги отечества как будто нахваливают исключительно меня. Но мне не нужно этих похвал. Неужели эти люди думают, что рядом с похвалами, повторяемыми в известных листках, я не вижу ножа, которым они хотят резать отечество? Дело патриотов подобно делу тиранов: они все солидарны.

Я, может быть, ошибаюсь насчет Дантона, но, судя по его семейной жизни, он достоин одних похвал. В политическом отношении я за ним наблюдал; некоторое разногласие во мнениях заставляло меня изучать его тщательно, часто гневно. Он не сразу поспешил, я это знаю, заподозрить Дюмурье; он не довольно ненавидел Бриссо и его сообщников; но если он не всегда был одного мнения со мной, неужели я из этого заключу, что он предал отечество? Нет, я всегда видел, что он ревностно служил отечеству. Дантон хочет, чтобы его судили: он прав. Пусть судят и меня! Пусть явятся большие патриоты, чем мы! Бьюсь об заклад, что они окажутся дворянами, людьми привилегированными, священниками. Вы найдете между ними маркиза и получите верную мерку патриотизма людей, которые нас обвиняют».

Потом Робеспьер приглашает говорить всех, кто имеет, в чем обвинить Дантона, но никто не смеет. Сам Моморо, один из друзей Эбера, первым восклицает, что так как никто не является, то это доказывает, что против Дантона нечего сказать. Тогда один из членов предлагает, чтобы президент братски обнял Дантона. Собрание на это соглашается, и Дантон подходит к столу и обнимается с президентом среди общих рукоплесканий.

Робеспьер в этом случае поступил великодушно и ловко. Опасность, общая для всех патриотов, неблагодарность, которой платили Дантону за его заслуги, наконец, решительное превосходство этого человека над другими заставили Робеспьера изменить своему обычному эгоизму, и на этот раз, исполненный добрых чувств, он был красноречивее, нежели это было в его природе. Но услуга, которую он оказал Дантону, принесла больше пользы правительству и старым патриотам, чем самому Дантону, популярность которого уже была утрачена безвозвратно. Энтузиазм не подогревается, и еще нельзя было предположить такой большой опасности, которая дала бы Дантону случай своим мужеством вернуть свое влияние.

Робеспьер, продолжая начатое дело, непременно присутствовал при каждом очистительном заседании. Когда очередь дошла до Клоотса, его обвинили в сношениях с иностранными банкирами, братьями Ванденивер. Он старался оправдаться, но Робеспьер перебил его. Он напомнил о близких сношениях Клоотса с жирондистами, о его разрыве с ними после появления его брошюры «Ни Ролан, ни Марат», брошюры,

в которой Клоотс нападал на Гору не меньше, чем на Жиронду; о его чудовищных сумасбродствах, об упорстве, с которым он толковал о Всемирной республике, внушал страсть к завоеваниям и компрометировал Францию перед всей Европой.

«Да и каким образом, – спрашивает Робеспьер, – мог он так уж очень интересоваться счастьем Франции, когда он точно так же интересовался счастьем Персии и Мономотапы^[8]? Последним кризисом он может похвастаться. Я говорю о движении против религии, движении, которое при осторожности и медленности могло бы быть превосходным, но при такой насильственности может повлечь за собой величайшие несчастья. Господин Клоотс имел с епископом Гобелем ночное совещание... Гобель дал слово на следующий день и, вдруг изменив свои речи и одежду, явился в Конвент и сложил с себя сан свой... Господин Клоотс думал, что нас можно провести этим маскарадом. Нет, якобинцы никогда не будут считать за друга народа этого мнимого санкюлота, пруссака и барона, который имеет сто тысяч годового дохода, обедает с банкирами-заговорщиками и провозглашает себя оратором не французского народа, а рода человеческого!»

Клоотс был тут же исключен из общества, и, по предложению Робеспьера, решили изгнать из общества также всех дворян, священников, банкиров и иностранцев.

На следующем заседании очередь дошла до Камилла Демулена. Его упрекали за письмо Дильону и за порыв чувствительности в отношении жирондистов. «Я думал, что Дильон храбр и искусен, – сказал Камилл, – поэтому и защищал его. Что касается жирондистов, я находился в отношении к ним в особом положении. Я всегда любил Республику и служил ей, но много раз ошибался насчет людей, служивших ей; я боготворил Мирабо, нежно любил братьев Ламет – признаюсь в этом; но я пожертвовал моею дружбой и восторгом, как только узнал, что они перестали быть якобинцами. Надо же, чтобы по какой-то роковой игре судьбы из шестидесяти революционеров, подписавших мой брачный контракт, у меня осталось только два друга, Дантон и Робеспьер. Все остальные эмигрировали или гильотинированы, в том числе семеро из двадцати двух. Поэтому весьма простительно было на мгновение

расчувствоваться при этом случае. Я сказал, что они умерли как республиканцы, но республиканцы-федералисты, потому что, уверяю вас, я не думаю, чтобы между ними было много роялистов».

Все любили Демулена за его уживчивый характер, наивный и оригинальный склад ума. «Камилл дурно выбирал своих друзей, – заявил один якобинец, – докажем ему, что мы лучше умеем выбирать наших друзей, приняв его радушно». Робеспьер, всегда защищавший своих старых товарищей, свысока и покровительственным тоном заступился за Камилла: «Он слаб и доверчив, но всегда был республиканцем. Он любил Мирабо, Ламетов, Дильона, но сам разбивал своих кумиров, как только в них разочаровывался. Пусть он продолжает свое поприще и впредь будет осторожнее».

Выслушав эти советы, Камилла приняли с аплодисментами. Дантона приняли затем также без замечаний. Фабр д'Эглантин тоже был принят, но после нескольких вопросов насчет богатства, которое его товарищи имели деликатность приписать его литературным талантам. Этот очистительный процесс продолжался очень долго; он начался в ноябре 1793 года, но через несколько месяцев еще не был кончен.

Политика Робеспьера и правительства была хорошо известна. Энергия, с которой проявилась эта политика, заставила интриганов присмиреть и подумывать о том, как бы остановиться. Шометт, который, имея велеречивость клубного оратора, не имел ни честолюбия, ни мужества, подобающих вождю партии, нисколько не пытался соперничать с Конвентом и основать новое вероисповедание. Поэтому он поспешил приискать случай исправить свою ошибку, предложив коммуне издать толкование постановления, закрывавшего все храмы, и заявить, что коммуна не намерена стеснять религиозной свободы и не воспрещает последователям любой религии собираться в помещениях, нанимаемых и содержимых ими за свой счет. «Пусть не думают, – сказал он, – будто меня побуждает действовать слабость или политический расчет: ни на то ни на другое я неспособен. Побуждает меня убеждение, что наши враги хотят злоупотребить нашим рвением, чтобы увлечь его за должные пределы и запутать нас в ошибочных мерах; что если мы будем препятствовать католикам совершать свои

обряды публично и с ведома закона, желчные твари будут доводить себя до экзальтации или составлять заговоры по пещерам. Именно это убеждение заставляет меня так говорить».

Постановление, предложенное Шометтом и поддержанное Пашем, наконец приняли, хоть и не без ропота, скоро заглушенного, однако, громкими аплодисментами. Конвент, со своей стороны, заявил, что никогда не имел намерения декретами стеснять религиозной свободы, и запретил трогать еще остававшуюся в церквях серебряную и золотую утварь на том основании, что казначейство более не нуждается в такого рода вспоможениях. С этого дня в Париже прекратились все неприличные процессии, и обряды поклонения Разуму, которые так забавляли народ, тоже были прекращены.

Среди этой неразберихи Комитет общественного спасения с каждым днем всё более ощущал необходимость придать власти большую силу и быстроту и внушить большую в отношении нее покорность. Постоянно сталкиваясь с препятствиями, комитет с каждым днем становился искуснее и вносил новые усовершенствования в революционную машину, созданную на время войны. Он уже воспрепятствовал передаче власти в новые, неопытные руки, отсрочив роспуск Конвента и объявив правительство революционным до заключения мира. В то же время он сосредоточил власть в своих руках, поставив в зависимость от себя Революционный трибунал, полицию, военные операции, даже распределение съестных припасов. Благодаря двухмесячному опыту комитет обнаружил все препятствия, которые местные власти по недостатку или излишку усердия противопоставляли действию высшей власти. Отправка декретов часто прерывалась или замедлялась, а обнародование их слишком задерживалось в некоторых департаментах. Оставалось еще немало бывших федералистских администраций, у которых не отняли возможность бунтовать. Если, с одной стороны, департаментские администрации представляли некоторую опасность с точки зрения федерализма, то коммуны, напротив, действуя в противоположную сторону, забирали себе ограничительную власть, издавали законы, налагали пошлыны; революционные комитеты выступали против прав личности, применяя инквизиторский произвол и полновластие; революционные армии

дополняли эти мелкие правительства, тиранические, несогласные между собою, составлявшие помеху для правительства высшего. Наконец, власть комиссаров, в придачу ко всем другим, довершала хаос, ибо комиссары тоже взимали налоги и издавали карательные законы наравне с коммунами и самим Конвентом.

Бийо-Варенн в дурно написанном, но умном докладе изложил все эти неудобства, вследствие чего вышел декрет 14 фримера года II (4 декабря 1793 года), образец работы временного правительства, энергичного и полновластного. «Анархия, – говорил докладчик, – угрожает республикам при их рождении и в старости. Постараемся уберечься от нее». Этим декретом учреждался Бюллетень законов, прекрасная выдумка, никому еще не приходившая в голову; до сих пор законы посылались Конвентом министрам, а министрами рассылались местным властям, без определенных сроков, без протоколов об отправке и получении; так что изданные уже законы нередко подолгу не обнародовались и оставались неизвестными.

По новому декрету печатанию и отправке законов посвящались особая комиссия, типография, особая бумага.

Комиссия, составленная из четырех лиц, не зависимых от какой-либо власти, свободных от всякой другой заботы, получала закон, отдавала его в печать, отсылала по почте в определенные, неизменные сроки. Отсылка и получение свидетельствовались обыкновенным почтовым порядком. Одним словом, устанавливался правильный механизм. Затем Конвент объявлялся центром правительства. Этими словами прикрывалось полновластие комитетов, всё решавших вместо Конвента. Департаментские власти в некотором смысле отменялись; у них забирали все политические атрибуты; как парижскому департаменту 10 августа, им предоставлялись распределение контрибуций, содержание дорог, словом – чисто хозяйственные заботы. Таким образом устранялись слишком могущественные посредники между народом и высшей властью.

Со всеми атрибутами сохранялись только окружные и общинные администрации. Местным администрациям воспрещалось входить в сообщение с другими, перемещаться, посылать агентов, издавать постановления, расширяющие или ограничивающие декреты, собирать подати или набирать людей. Все революционные армии, стоявшие по

департаментам, распускались; оставили только одну такую армию – в Париже. Революционные комитеты обязывались поддерживать постоянные сношения с окружными властями, которым поручался надзор над ними, и с Комитетом общественной безопасности. Парижские революционные комитеты могли сноситься только с Комитетом общественной безопасности, но не с коммуной. Депутатам-комиссарам запрещалось собирать подати иначе как с разрешения Конвента и издавать карательные законы.

Итак, каждая власть обретала свою колею, и столкновения или заговоры между ними становились невозможными. Два главных комитета сохраняли свое верховенство. Комитет общественного спасения, помимо своего главенства над Комитетом общественной безопасности, продолжал заведовать дипломатическою частью, войной и надзором вообще надо всем. Он один мог называться комитетом общественного спасения. Ни один провинциальный комитет не мог принять этого титула.

Этот новый декрет, хоть и урезал власть коммун и даже имел целью прекратить их злоупотребления властью, однако был принят Парижской коммуной чуть ли не с подобострастием. Шометт, чванившийся своей покорностью высшей власти, сказал длинную речь в честь декрета. Неуклюжестью, с которой он поспешил включиться в систему правительства, Шометт даже подал повод к выговору и умудрился ослушаться, слишком стараясь слушаться. Декрет ставил парижские революционные комитеты в прямые и исключительные отношения с Комитетом общественной безопасности. В своем необузданном усердии они позволяли себе арестовывать людей из всех классов; говорили, что комитеты засадили множество патриотов и вообще состоят уже по большей части из ультрареволюционеров.

Шометт пожаловался на них верховному совету и предложил позвать всех в коммуну, чтобы дать им строгое увещание. Предложение его было принято, но Шометт со своей напускной покорностью забыл, что по новому декрету парижские революционные комитеты должны были сноситься с одним только Комитетом общественной безопасности. Комитет общественного спасения, решившись терпеть заискивания не больше, чем неповиновение, а главное – вовсе не расположенный допустить, чтобы коммуна позволяла себе давать уроки, даже полезные,

комитетами, поставленным под непосредственный надзор высшей власти, отменил постановление Шометта и запретил комитетам собираться в коммуне. Шометт принял это наказание с совершенным смирением. «Каждый человек способен ошибаться, – покаялся он немедленно, – и я, признаюсь чистосердечно, ошибся. Конвент отменил постановление, принятое по моему предложению, и исправил совершенную мною ошибку; он – наша общая мать; присоединимся к нему!»

Только посредством такой энергии комитет мог остановить беспорядочные движения, порождаемые чрезмерным усердием или непокорностью, и достичь в действиях правительства максимально возможной точности. Ультрареволюционеры, скомпрометировавшие себя покушениями на религию и с тех пор подавляемые, подверглись новой и еще более строгой умиротворяющей мере. Ронсен возвратился из Лиона, куда сопровождал Колло д'Эрбуа с отрядом революционной армии. Он прибыл в Париж в тот самый момент, когда слухи о кровавых казнях в Лионе возбуждали общее сострадание. Ронсен развесил по стенам листок, содержание которого возмутило Конвент. В листке говорилось, что из жителей Лиона только полторы тысячи человек не участвовали в восстании; что до конца фримера все виновные будут казнены и Рона унесет их трупы в Тулон. В столице ходило много толков о деспотизме, с которым Венсан хозяйничал в военном ведомстве, о поведении министерских агентов в провинциях, об их соперничестве с комиссарами. Энергия, выказанная Робеспьером и агитаторами, еще более поощряла общественное мнение высказываться против этих агитаторов. На заседании 17 декабря (27 фримера) начали прямо жаловаться на некоторые революционные комитеты. Лекуэнтр заявил о том, как один из министерских агентов арестовал курьера Комитета общественного спасения. Бурсо говорил, что проездом через Лонжюмо был арестован коммуной, и, хотя объявил о своем звании депутата, коммуна потребовала, чтобы его паспорт засвидетельствовал агент исполнительной власти, находившийся в этом городе. Фабр д'Эглантин обличал Майяра, руководителя сентябрьских убийц, посланного в Бордо исполнительным советом, тогда как его следовало отовсюду изгнать; он обличал Ронсена с его листком, заставившим всех содрогнуться, наконец, Венсана, который соединил все власти в одном

военном ведомстве и заявил, что взорвет Конвент, потому что не желает быть лакеем комитетов.

Конвент тотчас же велел арестовать Венсана, Ронсена, Майяра, еще трех агентов исполнительной власти, своими незаконными действиями заставивших говорить о себе, а также некоего Мазуэля, адъютанта революционной армии, утверждавшего, что Конвент организует заговоры и что ему, Мазуэлю, плевать на депутатов. Кроме того, Конвент объявил подлежащими смертной казни начальников революционных армий, незаконно образовавшихся в провинциях, если эти армии не разойдутся немедленно.

Этот энергичный поступок донельзя огорчил кордельеров и вызвал объяснения якобинцев. Последние еще не высказались насчет Венсана и Ронсена, но просили начать следствие по поводу их виновности. Исполнительный совет весьма смиренно пришел в Конвент оправдываться и уверял, что никогда не имел намерения соперничать с национальным представительством и что арест курьеров и неприятности, которым подвергся депутат Бурсо, произошли только вследствие приказа Комитета общественного спасения, которым повелевалось проверять все паспорта и все депеши.

Комитет, посадив Венсана и Ронсена в качестве ультра-революционеров, в то же время обратил свою строгость против двусмысленных и биржевиков. Он арестовал Проли, Дюбюиссона, Дефье и Перейру, обвиненных в том, что они иностранные агенты. Наконец, по приказанию комитета среди ночи у себя дома были захвачены депутаты Базир, Шабо, Делоне и Жюльен по обвинению в умеренности и внезапном обогащении.

Мы уже знаем историю тайного сговора этих представителей и организованного ими подлога. Мы видели, что Шабо, уже колебавшийся, готов был донести на своих товарищей и свалить всё на них. Слухи, разнесшиеся по поводу его свадьбы, и обличения, ежедневно повторяемые Эбером, заставили его вконец струсить, и он побежал к Робеспьеру и открыл всё ему; причем уверял, конечно, что не имел другой цели, вступая в эту интригу, как только проследить ее до конца и разоблачить; он приписывал интригу «иноземцам» и целью ее называл подкуп депутатов, который унизил бы национальное представительство. А потом Эбер и его компания должны были

разгласить дело и покрыть этих депутатов позором. Поэтому и заговор разделялся будто бы на две ветви: подкупающую и разглашающую, и обе вместе общими силами старались обесчестить и распустить Конвент. Участие в этой интриге иностранных банкиров, заявления Делоне и Жюльена, утверждавших, что Конвент кончит тем, что сам себя пожрет, и нужно нажиться как можно скорее, некоторое прикрытие жены Эбера с любовницами Жюльена и Делоне – все эти факты послужили Шабо подпорками для басни. Ему хватило, однако, совести, чтобы заявить о невиновности Базира. Так как он подкупал Фабра и рисковал обвинением с его стороны, если бы тот на него донес, то Шабо солгал, будто Фабр отверг сделанные ему предложения и сто тысяч франков ассигнациями, висевшие на ниточке в отхожем месте, – те самые, которые были предложены Фабру и от которых он отказался.

Эти басни не имели даже малейшего подобия правды, потому что было гораздо проще, согласившись участвовать в заговоре с целью потом открыть его правительству, дать знать об этом нескольким членам того или другого из комитетов и отдать деньги им на сохранение. Робеспьер отослал Шабо с его рассказом к Комитету общественной безопасности, который велел арестовать названных выше депутатов. Впрочем, Жюльену удалось уйти; а Базир, Делоне и Шабо были арестованы (27 брюмера).

Разоблачение этой постыдной интриги наделало много шума и подтвердило клеветы, которыми партии осыпали друг друга. Более чем когда-либо пошли в ход слухи об иностранной фракции, развращающей и подкупающей патриотов, побуждающей их тормозить ход революции: одни – неуместной умеренностью, другие – безумным преувеличением, постоянными пасквилями и гнусным атеизмом. А между тем сколько было правды во всех этих предположениях? С одной стороны – люди, менее обуреваемые фанатизмом, более способные жалеть побежденных и, вследствие этого, также поддаваться заманчивости подкупа и удовольствий; с другой – люди более свирепые и ослепленные, опиравшиеся на самую чернь, ругавшие всех, кто не разделял их фанатического бесчувствия, глумившиеся над древними знаками религии безо всякой пощады и приличия; посередине, между этими двумя партиями, – банкиры, пользовавшиеся каждым кризисом для биржевой игры, четыре депутата (из семисот пятидесяти),

согласившиеся на подкуп и принявшие участие в этой биржевой игре; наконец, несколько искренних революционеров-иностранцев, подозрительных уже поэтому, компрометировавших себя именно преувеличенным усердием, которым они надеялись заставить забыть о своем происхождении, – вот вся сущность дела; в нем не было ровно ничего необычайного, ничего такого, что указывало бы на серьезную и обширную махинацию.

Буйную партию, перечившую высшей власти и бесчестившую революцию, Робеспьер тотчас обвинил в сообщничестве, но против умеренной фракции еще ничего подобного не говорил, напротив, защитил ее, как мы видели, в лице Дантона. Если он еще щадил ее, то потому, что она не сделала ничего такого, что бы шло вразрез с ходом революции, и не составляла упорной, многочисленной партии, подобно покойной Жиронде, а состояла из отдельных лиц, не одобрявших безобразных сумасбродств ультрареволюционеров.

Таковы были положение различных партий и политика Комитета общественного спасения по отношению к ним в декабре 1793 года. Употребляя вверенную ему власть с такой энергией и довершая внутренний механизм революционного правительства, комитет с равной силой действовал на военном поприще и обеспечил торжество Революции блестящими победами.

Глава XXXI

Конец кампании 1793 года – Снятие блокады Ландау – Осада и взятие Тулона республиканской армией – Поражение в Мансе и уничтожение армии при Савене

Кампания 1793 года на всех границах оканчивалась самым блистательным и благополучным образом. В Бельгии наконец решено было разместиться по зимним квартирам, вопреки проекту Комитета общественного спасения, который хотел, пользуясь победой при Ватиньи, запереть неприятеля между Шельдой и Самброй. Стало быть, на этом пункте ничего не изменилось, и французы сохранили выгоды, доставленные им этой победой.

На Рейне кампания сильно затянулась вследствие утраты Вейсенбургских линий, последовавшей 13 октября (22 вандемьера). Комитет общественного спасения требовал взять их обратно любой ценой и желал, чтобы блокада Ландау была снята так же, как блокады Дюнкерка и Мобёжа. В Вогезах феодальный дух оказался необыкновенно живуч. Духовенство и дворянство сохранили там большое влияние; французский язык был там распространен мало, поэтому и революционные идеи почти туда не добирались. В очень многих общинах декреты Конвента не были известны вовсе; в иных даже не составили революционных комитетов, и эмигранты свободно разгуливали почти везде.

Эльзасские дворяне пошли за Вурмзером и рассеялись от Вейсенбурга до окрестностей Страсбурга. В этом последнем городе составилась заговор с целью сдачи города Вурмзеру. Комитет общественного спасения тотчас отправил туда Сен-Жюста и Леба с обычными полномочиями, какие давались комиссарам Конвента; назначил молодого Гоша, отличившегося во время осады Дюнкерка, начальником Мозельской армии; отобрал у праздной Арденской армии большой отряд, который разделил между Мозельской и Рейнской армиями; наконец, распорядился собрать ополчение во всех окружающих департаментах и послал его в Безансон. Ополченцы заняли

крепости, а гарнизоны присоединились к линейным войскам.

Сен-Жюст в Страсбурге применил всю свою энергию, весь свой ум. Он заставил злоумышленников трепетать, назначил комиссию для суда над лицами, заподозренными в намерении сдать Страсбург, и казнил их. Он внушил начальникам и солдатам новую бодрость и требовал, чтобы каждый день вдоль всей линии совершались атаки: это дало бы новобранцам случай попрактиковаться. Восторженное настроение овладело всей армией, общим кличем солдат стало «Ландау или смерть!».

Самое лучшее, что можно было сделать на этой части границы, это всё еще соединить Рейнскую и Мозельскую армии, с тем чтобы действовать общими силами на одном каком-нибудь склоне Вогезов. Для этого требовалось опять взять проходы, разрезавшие линию гор, утраченные с тех пор, как герцог Брауншвейгский прошел в центр Вогезов, а Вурмзер – под стены Страсбурга. У комитета был готов проект: его авторы хотели завладеть всей цепью, чтобы отделить австрийцев от пруссаков. Гошу, исполненному таланта и рвения, было поручено реализовать этот план, и по его первым движениям во главе Мозельской армии можно было ожидать весьма энергичных действий.

Чтобы обеспечить свое положение, пруссаки хотели взять посредством неожиданного нападения замок Бич, находившийся среди гор. Эта попытка не имела успеха благодаря бдительности гарнизона, который вовремя появился на стенах, и герцог Брауншвейгский, оттого ли, что боялся энергии Гоша, или потому, что был недоволен Вурмзером, с которым никогда не ладил, отступил в Кайзерслаутерн, в центре Вогезов. Он не предупредил Вурмзера об этом попятном движении, так что пока австриец действовал на восточном склоне, почти на высоте Страсбурга, Брауншвейг на западном склоне очутился позади даже Вейсенбурга, приблизительно на высоте Ландау. Гош шел почти по пятам Брауншвейга и после тщетной попытки окружить его в Бизингене решил напасть на него в самом Кайзерслаутерне, какие бы затруднения ни представляла местность.

Гош располагал почти тридцатью тысячами человек; он сражался 28, 29 и 30 ноября, но места были ему незнакомы и труднопроходимы. В первый день генерал Амбер, командовавший левым крылом, должен был сражаться, пока Гош с центром искал дороги; на следующий день

Гош остался один, а Амбер заблудился в горах. Благодаря сложностям ландшафта, своим силам и выгодной позиции герцог Брауншвейгский имел полный успех. Он потерял не более двенадцати человек, тогда как Гош вынужден был удалиться, потеряв около трех тысяч. Однако генерал не пришел в уныние и вновь собрал свои силы в Пирмазенсе, Хорнбахе и Цвайнбрюккене. Гош, хоть и был побит, но обнаружил смелость и решительность, поразившие комиссаров и армию. Комитет общественного спасения, который со вступления в него Карно был настолько просвещен, что мог позволить себе быть справедливым и карал только недостаток усердия, писал ему письма самого поощряющего свойства и похвалил побежденного военачальника. Гош, ни на минуту не потрясенный своим поражением, решил соединиться с Рейнской армией, чтобы подавить Вурмзера, у которого правый фланг был открыт, потому что он остался в Эльзасе, пока Брауншвейг уходил в Кайзерслаутерн. Гош направил генерала Тапонье с 12 тысячами на город Ердт, поручив ему пройти линию Вогезов и напасть на правый фланг Вурмзера, пока Рейнская армия атакует его с фронта.

Благодаря присутствию Сен-Жюста в конце ноября и начале декабря беспрестанно происходили сражения между Рейнской армией и австрийцами. Эта армия, каждый день бывая в деле, начинала закаляться. Ею командовал Пишегрю. Корпус, посланный Гошем в Вогезы, с большим трудом смог туда пробиться, однако это ему удалось, и французы стали тревожить правое крыло Вурмзера. Двадцать второго декабря (2 нивоза) Гош сам прошел горы и появился в Ердте, на вершине восточного склона. Он полностью разбил правое крыло Вурмзера, отнял у него много пушек и забрал множество пленников. Австрийцам пришлось оставить линию Модера и отступить в Вейсенбург, на Лаутерские линии. Отступление это они совершили в беспорядке. Эмигранты и эльзасские дворяне, бывшие с Вурмзером, разбежались очертя голову. Целые семьи спешили уйти и заполняли дороги. Обе армии, прусская и австрийская, были недовольны одна другой и мало друг другу помогали, а неприятель был энергичен и исполнен энтузиазма.

Итак, Рейнская и Мозельская армии соединились. Представители признали Гоша главнокомандующим обеих армий, и он тотчас же

сделал все распоряжения, чтобы взять обратно Вейсенбург. Пруссак и австрийцы, стянувшиеся вследствие своего общего попятного движения, лучше прежнего могли поддержать друг друга. Пруссак стояли в Вогезах и вокруг Вейсенбурга; австрийцы растянулись перед речкой Лаутер, от Вейсенбурга до Рейна. Конечно, если бы они не вздумали действовать наступательно, им не пришлось бы выдерживать атаку перед линиями, имея Лаутер в тылу; но они решились первыми напасть на французов, так что когда французы двинулись на них, пруссаки встретили авангарды неприятеля уже в движении. Генерал Дессе, командовавший правым флангом Рейнской армии, пошел на Лаутербург; генерал Мишо направился на Шлеталь; центр остановил австрийцев, выстроенных у Гейсберга, а левый фланг проник в горы с намерением обойти пруссаков. Дессе взял Лаутербург, Мишо занял Шлеталь, а центр, оттеснив австрийцев, заставил их отступить от Гейсберга до самого Вейсенбурга. Если бы французы тут же заняли Вейсенбург, это могло бы иметь для союзников бедственные последствия; но герцог Брауншвейгский поспел как раз вовремя, чтобы задержать французов, и сделал это с большой твердостью.

Отступление австрийцев после этого совершалось в меньшем беспорядке, но на следующий день французы опять заняли Вейсенбургские линии. Солдаты шли вперед под крики «Ландау или смерть!». Австрийцы поспешили перейти Рейн обратно, не рискуя ни одним днем больше на левом берегу и не давая пруссакам времени прийти в Майнц. Блокада Ландау была снята, и французы заняли зимние квартиры в Пфальце. Тотчас после того оба союзных генерала нажаловались друг на друга в своих противоречивых рапортах, и герцог Брауншвейгский уволился из прусской службы. Таким образом, в этой части театра войны Франция со славой очистила свои границы вопреки объединенным силам Австрии и Пруссии.

Итальянская армия ничего важного не предпринимала и после поражения, понесенного ею в июне, сохраняла оборонительное положение. В сентябре пьемонтцы наконец решились воспользоваться нападением англичан на Тулон как обстоятельством, могущим уничтожить французскую армию. Король Сардинии сам приехал на театр войны, и 8 сентября решили начать генеральную атаку на

французский лагерь. Самым верным способом атаки было бы занятие линии Вара, отделявшей Ниццу от французов. Таким образом были бы сбиты все позиции, занятые ими за Варом, и французы были бы вынуждены очистить графство, а может быть и сложить оружие.

Но пьемонтцы предпочли атаку на лагерь. Эта атака, выполненная несколькими отдельными отрядами из нескольких долин, не удалась, и король Сардинии, весьма недовольный, сейчас же опять удалился в свои владения. Около того же времени австрийский генерал Девине решился наконец действовать против Вара, но взял с собой всего три или четыре тысячи человек, дошел только до Изолы и, внезапно остановленный легкой неудачей, возвратился в Верхние Альпы, оставив попытку без последствий. Вот как незначительны были операции Итальянской армии.

Более важные интересы призывали общее внимание на Тулон. Этот город, будучи занят англичанами, служил им на юге Франции базой для предполагаемого вторжения. Следовательно, французам было чрезвычайно важно как можно скорее возвратить город себе. Комитет отдал на этот счет строжайшие приказания, но в осадных средствах ощущался серьезный недостаток. Карто, покорив Марсель, вывел 7–8 тысяч человек из Оллиульских ущелий и после краткого сражения расположился в виду Тулона. Генерал Лапуап, отделившись от Итальянской армии с 4 тысячами солдат, стал с противоположной стороны, близ Сольеса и Лавалетта. Став, таким образом, один на восток, другой на запад, французские корпуса оставили между собой такое большое расстояние, что едва видели друг друга и не могли подать друг другу помощи. Осажденные, действуя они немного энергичнее, могли бы напасть на них порознь и разбить одного за другим. К счастью, они думали только об укреплении города и снабжении его войсками. Пригласив высадиться 8 тысяч испанцев, неаполитанцев и пьемонтцев и два полка, прибывших из Гибралтара, французы довели гарнизон до 14–15 тысяч человек. Они усовершенствовали все верки^[9] и вооружили все форты, особенно прибрежные, защищавшие рейд, в котором их эскадры стояли на якоре. В особенности старались сделать неприступным форт Эгийет, находившийся на оконечности мыса, образующего внутренний, или

малый рейд. Приступ к нему сделали до того затруднительным, что этот форт прозвали в армии Маленьким Гибралтаром. Марсельцы и все провансальцы, нашедшие приют в Тулоне, сами добровольно занялись этими работами и выказали большое усердие.

Между тем в осажденном городе согласие не могло продолжаться долго. Там собрались республиканцы и роялисты всех оттенков и степеней. Сами союзники не были согласны между собою. Испанцев оскорбляло высокомерие англичан, и они не доверяли намерениям последних. Адмирал Худ, пользуясь этим несогласием, объявил, что если нет возможности поладить, то лучше подождать и не провозглашать пока никакой власти. Он даже не позволил жителям Тулона отправить к графу Прованскому депутацию с приглашением прибыть в город в качестве регента. С этой минуты нетрудно было предвидеть, как будут поступать англичане, и осознать всю вину и слепоту людей, выдавших Тулон злейшим врагам Франции.

Республиканцы при своих настоящих средствах не могли надеяться взять Тулон. Комиссары даже советовали отвести армию за Дюране и дожидаться следующего военного сезона. Однако взятие Лиона позволило располагать новыми силами, и в Тулон послали и войска, и военные припасы. Генерал Доппе, которому приписывалось взятие Лиона, был поставлен на место Кар-то. Скоро Доппе, в свою очередь, заменили генералом Дюгомье, который был гораздо опытнее и очень храбр. Теперь уже набиралось 28–30 тысяч человек, и вышел приказ закончить осаду до конца кампании.

На военных советах присутствовал один молодой офицер, командовавший артиллерией в отсутствие приставленного к этому оружию человека. Звали его Бонапарт, он был уроженцем Корсики. Воспитанный во Франции и верный ей, он сражался на Корсике за Конвент против Паоли и англичан, потом перешел в Итальянскую армию и теперь служил под Тулоном. Бонапарт выказывал большой ум и чрезвычайную энергичность и проводил ночи возле своих пушек.

Этому молодому офицеру, когда он взгляделся в осаждаемый город, пришла в голову мысль, которую он предложил военному совету. Форт Эгийет замыкал рейд, в котором стояли на якоре союзные эскадры. Если занять этот форт, то эскадрам уже нельзя будет стоять в рейде, не рискуя быть сожженными; они не могли также и выйти из него, оставив

гарнизон в 15 тысяч человек без сообщения, без помощи, перед необходимостью рано или поздно сложить оружие; следовательно, лишь только республиканцы завладеют фортом, эскадры и гарнизон вместе выйдут из Тулона. Было ясно, что форт Эгийет составлял ключ к городу, но его почти невозможно было взять. Тем не менее Бонапарт отстаивал свою мысль как самую подходящую к обстоятельствам и убедил совет принять ее.

Прежде всего осаду сделали теснее. Бонапарт поставил батарею, маскируя ее оливковой рощицей, очень близко к форту Мальбоске, одному из основных. Внезапно однажды утром эта батарея открыла огонь к большому удивлению осажденных, которые не предполагали, чтобы орудия можно было поставить так близко к форту. Английский генерал О'Хара, командовавший гарнизоном, решился на вылазку, чтобы разрушить батарею и заклепать пушки. К счастью, Бонапарт сам был невдалеке с одним батальоном. К батарее вел подземный ход. Бонапарт бросился в него со своим батальоном, без шума появился вдруг среди англичан и совершенно их озадачил. О'Хара сначала думал, что произошла ошибка и стреляют друг по другу его собственные солдаты. Он подошел к республиканцам, чтобы выяснить, в чем дело, но был ранен в руку и взят в плен. В то же мгновение Дюгомье, велевший бить в лагере тревогу, повел свои войска в атаку и выдвинулся между батареей и лагерем. Англичане, заметив, что легко могут оказаться отрезанными, отступили, лишившись своего начальника и не избавившись от опасной батареи.

Этот успех ободрил осаждающих и вызвал уныние в рядах осажденных. Между последними водворилась такая паника, что они начали говорить, будто О'Хара нарочно сдался в плен, чтобы продать Тулон республиканцам. Республиканцы тем временем готовились к рискованной атаке против Эгийета. Они уже сбросили на форт немало бомб и старались разрушить его стены орудиями 24-фунтового калибра. Решили идти на приступ 18 декабря (28 фримера) в полночь. Генерал Лапуап должен был одновременно повести атаку против форта Фарон.

Республиканцы поднялись в полночь, в страшную бурю. Солдаты, защищавшие форт, обыкновенно держались за стенами. Французы надеялись подойти незамеченными, но у подножия возвышенности они нашли неприятельских стрелков. Завязался бой. Заслышав ружейный

треск, гарнизон выбежал на стены и начал громить нападающих, которые то отходили, то опять приближались к стенам. Молодой артиллерийский капитан по имени Мюирон, пользуясь неровностями почвы, забрался наверх, бросился в первую амбразуру, солдаты последовали за ним; батареи и орудия были взяты, а за ними – и весь форт.

В этом деле лично участвовали и всячески поддерживали бодрость войска генерал Дюгомье, комиссары Саличетти и Робеспьер-младший и начальник артиллерии Бонапарт. Атака генерала Лапуапа была не менее удачной: он взял один из редутов форта Фарон.

Заняв Эгийет, республиканцы поспешили расположить орудия так, чтобы разгромить флот. Но англичане не дали им на это времени. Они решили немедленно очистить место и не продолжать трудной и сомнительной защиты. Прежде чем удалиться, они сожгли арсенал, доки и те суда, которые нельзя было взять с собой. Не предупредив испанского адмирала, не уведомив даже население о том, что оно будет выдано победителям, 18 и 19 декабря англичане выпустили приказ о выходе в море. Суда по очереди запаслись всем нужным из арсенала, и все форты были очищены, да так быстро, что две тысячи испанцев, уведомленных слишком поздно, остались за стенами и спаслись чудом.

Наконец был дан приказ поджечь арсенал. Двадцать судов вспыхнули среди рейда к отчаянию несчастных жителей, которые ничего не могли поделать для спасения пылавшей эскадры. Тогда более 20 тысяч человек – мужчин, женщин, стариков и детей, – нагруженные всем, что было у них ценного, высыпали на набережные, простирая руки к кораблям и умоляя принять их и спасти от победителей. Это были семейства провансальцев, скомпрометированных в Марселе, Эксе и Тулоне. Ни одна шлюпка не пришла на помощь этим безумцам, которые, доверившись иноземцам, выдали им главный порт своего отечества. Наконец испанский адмирал Лангара велел спустить шлюпки и принять на эскадру столько беглецов, сколько уместится. Адмирал Худ не посмел оставить без внимания этот пример и проклятия, которыми его осыпали со всех сторон. Он тоже приказал принимать беглецов, но было слишком поздно. Несчастные с яростью бросались в шлюпки, многие падали в море, другие были нечаянно разлучены со своими семьями. В эту ужасную минуту шайка разбойников,

пользуясь беспорядком, бросилась на беззащитную толпу и начала стрелять, сопровождая пальбу криками «Республиканцы идут!». Тут уже никто себя не помнил от страха: все кинулись к морю без оглядки и бросили большую часть имущества, которая и досталась разбойникам, поднявшим эту суматоху.

Наконец республиканцы вошли в город и нашли его наполовину пустым, а большую часть военных припасов – уничтоженной. К счастью, каторжники остановили пожар и не дали ему распространиться. Из пятидесяти шести судов уцелело только семь кораблей и одиннадцать фрегатов; англичане увели остальные суда с собой или сожгли. За ужасами осады скоро последовали ужасы революционных мщений. Мы впоследствии расскажем о бедствиях этого преступного и несчастного города.

Взятие Тулона вызвало необычайную радость, не меньшую, чем победа при Ватиньи, взятие Лиона или снятие блокады Ландау. Теперь уже не было повода опасаться, что англичане, имея точку опоры в Тулоне, принесут в южные провинции восстание и опустошения.

На Пиренеях кампания кончилась не так счастливо, однако, несмотря на многие неудачи и большую неумелость генералов, французы потеряли только линию Тека, а линия реки Те осталась за ними. После неудачного сражения 22 сентября (1 вандемьера), в котором генерал Дагобер выказал столько храбрости и хладнокровия, Рикард ос, вместо того чтобы идти вперед, пошел назад, к Теку; он решился на это вследствие того, что французы опять взяли Вильфранш и получили подкрепление в 15 тысяч человек. Сняв блокаду с Коллиура и Пор-Ван-дра, он перенес свой лагерь в Булон и оттуда охранял свои сообщения, то есть большую дорогу на Бельгард. Комиссары Фабр и Гастон, пылкие и нетерпеливые, настояли на атаке испанского лагеря, чтобы отбросить испанцев за Пиренеи, но атака осталась без последствий, если не считать бесполезного кровопролития.

Представитель Фабр, горевший желанием предпринять что-нибудь посерьезнее, давно уже мечтал о походе за Пиренеи. Его уверили, что форт Розес можно взять с боя. По его желанию и вопреки мнению генералов через Пиренеи послали три колонны с приказом сойтись в Эсполье. Но они оказались недостаточно сильны и действовали

несогласно, а потому были дорогой побиты и вернулись с большими потерями. Это произошло в октябре. В ноябре бури, нередкие в это время года, заставили реки разлиться, прервали сообщение между испанскими лагерями и поставили их перед большой опасностью.

Пришел самый удобный момент разом отмстить испанцам за всё. Они могли перебраться через Тек только посредством моста при Сере и голодали и мокли на левом берегу, практически во власти французов. Но ничего из того, что можно было сделать, сделано не было. Дагобер вынужден был уступить место Тюрро, а последний, в свою очередь, – Доппе. Армия была в расстройстве. Солдаты дрались в окрестностях Сера вяло, даже потеряли лагерь при Сен-Ферреоле, и Рикардос спасся от грозившей ему опасности. Вскоре после того он сам поступил гораздо искуснее и 7 ноября (17 брюмера) напал на французскую колонну, застрявшую на правом берегу Тека между рекой, морем и Пиренеями. Он разбил эту колонну, состоявшую из 10 тысяч человек, и привел ее в такой беспорядок, что она опять собралась только в Аржелесе. Немедленно вслед за тем Рикардос атаковал дивизию Делатра, взял Коллиур, Пор-Вандр и Сент-Эльм и отбросил французов за Тек.

Таким образом, кампания закончилась в конце декабря. Испанцы разместились в зимних квартирах на берегах Тека; французы – вокруг Перпиньяна и на берегах реки Те. Они потеряли часть территории, но меньше, чем можно было ожидать после стольких несчастий. Вдобавок это была единственная граница, на которой кампания не кончилась блистательно для Республики.

В Вандее между тем завязалась новая ужасная борьба, окончившаяся выгодно для Республики, но печально для Франции, так как с обеих сторон убивали и умирали французы же.

Вандейцы, разбитые при Шоле 17 октября (26 вандемьера), бросились, как мы видели выше, к берегу Луары в количестве 80 тысяч человек – мужчин, женщин, детей, стариков. Не смея возвратиться в земли, занятые республиканцами, не будучи в состоянии продолжать борьбу против победоносной армии, они думали перебраться в Бретань и исполнить замысел Боншана уже после того, как этот молодой герой скончался и не мог руководить их печальной судьбой. Мы видели, как накануне битвы при Шоле Боншан послал отряд на Луару, занять Варад.

Так как республиканцы плохо стерегли этот пост, то он и был взят в ночь на 17-е. Когда сражение было проиграно, вандейцы смогли безнаказанно перейти реку с помощью нескольких лодок, оставленных на берегу и укрытых от республиканского огня. Так как вся опасность до сих пор оставалась на левом берегу, то правительство не думало о том, чтобы защитить правый. Все бретонские города охранялись небрежно; редко разбросанные отряды гвардии не могли остановить вандейцев, а только бежали от них. Итак, мятежники шли, не встречая препятствий, и прошли через Канде, Шато-Гонтье и Лаваль.

Республиканская армия не знала точно ни куда они пошли, ни сколько их, ни что намерены делать. Одно время вандейцев посчитали погибшими, и депутаты так и писали об этом в Конвент. Один Клебер, всё еще командовавший армией от имени Лешеля, думал иначе и старался умерить эту опасную уверенность в безнаказанности. Действительно, скоро стало известно, что вандейцы далеко не истреблены, что между бежавшими осталось еще 30–40 тысяч вооруженных людей, способных сражаться. Тотчас же созвали военный совет, и так как неизвестно было, пойдут они на Анже или Нант, в Бретань или низовья Луары, чтобы соединиться с Шареттом, решили разделить армию, чтобы часть под началом генерала Аксо пошла брать остров Нуармутье у Шаретта, другая, под началом Клебера, заняла лагерь св. Георгия близ Нанта, а третья осталась в Анже, чтобы прикрывать этот город и наблюдать за неприятелем.

Конечно, если бы республиканцы имели более точные сведения, то поняли бы, что лучше не дробиться, а всей массой неустанно нагонять вандейцев. Те были в таком беспорядке и страхе, что стало бы весьма легко их разогнать и истребить, но не было известно, в какую сторону они пошли, и принятое решение было самым удачным.

Скоро, однако, получили более верные сведения. Узнав, что вандейцы пошли на Канде, Шато-Гонтье и Лаваль, республиканцы решили немедленно погнаться за ними и нагнать их прежде, нежели они успеют возмутить Бретань и завладеть каким-нибудь большим городом или портом на океане. Генералы Вимё и Аксо остались в Нанте и Нижней Вандее; вся остальная армия двинулась на Канде и Шато-Гонтье; Вестерман и Бопюи вели авангард, Шальбо, Клебер, Канюэль командовали каждый одним отрядом, а Лешель, оставаясь в отдалении,

предоставлял распоряжаться всем Клеберу, к которому армия относилась с уважением и полным доверием.

Вечером 25 октября (4 брюмера) республиканский авангард пришел в Шато-Гонтье; главный корпус отстал на один день. Вестерман, хотя его люди очень устали, была уже почти ночь и до Лавалья оставалось еще шесть лье, хотел идти туда сейчас же. Бопюи, столь же храбрый, но более осторожный, тщетно доказывал генералу, как опасно нападать на вандейцев среди ночи, на большом расстоянии от главного корпуса армии, с измученными войсками. Бопюи пришлось уступить воле начальника, и авангард опять двинулся. Придя в Лаваль среди ночи, Вестерман послал офицера на рекогносцировку. Этот офицер, увлекаемый пылкостью, вместо рекогносцировки совершил атаку и быстро оттеснил аванпосты. В Лавале поднялась тревога, колокола ударили в набат, неприятельские войска мигом поднялись на ноги и приготовились к бою с республиканцами. Бопюи с обычной твердостью выдержал их напор. Вестерман выказал величайшую храбрость, сражение было упорным и еще кровопролитнее обыкновенного вследствие темноты.

Республиканский авангард, хоть числом и много слабее вандейцев, устоял бы до конца, но кавалерия Вестермана, по храбрости не всегда достойная своего начальника, вдруг разбежалась и вынудила его отступить. Благодаря Бопюи она опять выстроилась в Шато-Гонтье в довольно хорошем порядке. Главный корпус пришел туда на следующий день, и 26-го числа армия наконец собралась. Но авангард был утомлен кровопролитным и бесполезным сражением, а главный корпус измучился во время длинного перехода, сделанного натошак, босиком, по осенней грязи. Вестерман и комиссары хотели опять двинуться вперед, но Клебер решительно восстал против этого и настоял на том, чтобы идти не далее Вилье, находившегося на полпути от Шато-Гонтье к Лавалю.

Надо было составить план атаки на Лаваль. Этот город стоит на реке Майенн. Идти прямо по левому берегу, занимаемому республиканцами, было бы неосторожно, как весьма основательно заметил Савари, превосходный офицер, отлично знавший эти места. Вандейцы легко могли занять мост при Лавале и очень долго там держаться, а потом, пока республиканцы без пользы толпились на левом

берегу, тихонько пройти по правому, перейти Майенн у них в тылу и неожиданно напасть.

Савари предложил разделить атаку и перевести часть армии на правый берег. С этой стороны не было моста, и можно было занять Лаваль почти без препятствий. Этот план был принят советом и утвержден Лешелем. Но на другой день Лешель, который иногда выходил из своего ничтожества, чтобы совершить какую-нибудь ошибку, присылает глупейший приказ, противоречивший всему, что решили накануне. Он предписывает идти величественно, массой по левому берегу, против Лавая. Клебер и все офицеры негодуют, однако приходится выполнять приказ. Бопюи идет первым, Клебер – немедленно за ним. Вся вандейская армия стояла развернутой на высотах при Антраме. Бопюи начинает бой; Клебер растягивает свои войска справа и слева от дороги, чтобы занять как можно больше места, но, сознавая всю невыгодность позиции, велит сказать Лешелю, чтобы тот двинул дивизию Шальбо на фланг неприятеля, думая этим движением поколебать вандейцев. Однако колонна, состоявшая из батальонов, набранных в Ниоре и Орлеане, столько раз уже бежавших, разбегается и теперь, еще до начала движения. Лешель первым скачет прочь во весь опор, боольшая половина армии, еще не сражавшаяся, подражает этому примеру и, имея Лешеля во главе, бежит в Шато-Гонтье, а оттуда, не переводя духа, в Анже. Храбрые майнцевцы, еще никогда не уступавшие ни пяди земли, бегут в первый раз. Одним словом, бегство делается общим. Бопюи, Клебер, Марсо, комиссары Мерлен и Тюрро прилагают невероятные, но тщетные усилия, чтобы остановить бегущих. Бопюи ранен в грудь. Отнесенный в какую-то хижину, он говорит: «Оставьте меня здесь и покажите мою окровавленную рубашку солдатам». Наконец часть армии останавливается в Лион-д'Анжере, другая добирается до самого Анже.

Трус Лешель, первым подавший пример бегства, вызвал против себя общее негодование. Солдаты громко роптали, а на другой день, во время смотра, те немногие молодцы, которые не покидали своих знамен, все солдаты, принадлежавшие к Майнцскому батальону, кричали: «Долой Лешеля! Да здравствуют Клебер и Дюбайе! Верните нам Дюбайе!» Лешель слышал эти крики и еще больше невзлюбил Майнцскую армию и генералов, позоривших его своей храбростью.

Комиссары, видя, что солдаты больше не хотят слушаться Лешеля, временно отрешили его от должности и предложили его место Клеберу. Клебер отказался: его не соблазняло звание главнокомандующего, вечно подчиненного комиссарам, министру и Комитету общественного спасения, и он согласился только управлять армией от имени другого. Тогда комиссары назначили главнокомандующим Шальбо, как более старшего годами генерала. Лешель предупредил постановление комиссаров и сам просил отставки под предлогом болезни, а затем уехал в Нант, где вскоре умер.

Клебер, получив армию в самом жалком состоянии, разбросанную, деморализованную, предложил стянуть ее всю в Анже, дать отдохнуть несколько дней, потом одеть, обуть солдат и радикально преобразовать армию. Совет этот был принят. Лешель, выходя в отставку, не преминул на прощанье очернить Майнцскую армию, приписывая храбрым солдатам поражение, которым они были обязаны единственно его трусости. Уже давно эта армия возбуждала недоверие своим моральным духом, привязанностью к своим начальникам, оппозицией сомюрскому главному штабу. Криками «Долой Лешеля! Да здравствует Дюбайе!» солдаты Майнцской армии окончательно скомпрометировали себя в глазах правительства. Вышло постановление Комитета общественного спасения с повелением распустить армию и разместить солдат по другим корпусам. Операция была возложена на Клебера. Хотя эта мера принималась против него и его товарищей, однако генерал охотно взялся исполнить ее, потому что сознавал, как опасны дух соперничества и ненависть, укоренявшиеся между майнцским гарнизоном и остальными войсками. Он в особенности находил весьма выгодным образовать хорошие головы колонн, которые, будучи распределены искусно, могли бы сообщить силу остальной армии.

Пока всё это происходило в Анже, вандейцы, избавившись от республиканцев под Лавалем и не видя других препятствий своему дальнейшему походу, не знали, однако, на что решиться и куда перенести театр войны. Им представлялся выбор между двумя одинаково выгодными местностями: окончечностью Бретани и окончечностью Нормандии. Оконечность Бретани была подчинена влиянию дворян и священников, и население с радостью приняло бы

вандейцев; ландшафт, чрезвычайно неровный, был бы как нельзя удобнее для их целей; наконец, они были бы на берегу моря и могли бы сноситься с англичанами. Находившийся на оконечности Нормандии полуостров Котантен лежал несколько дальше; зато на нем гораздо легче было держаться, потому что, взяв прибрежные Порбай и Сен-Ком, его можно было совсем запереть. Там вандейцы нашли бы важный для них город и порт, Шербур, весьма доступный со стороны материка, наполненный всякого рода припасами, а главное – очень удобный для сообщения с англичанами.

Оба эти плана представляли большие выгоды, а препятствий при выполнении виделось немного. Дорогу в Бретань охраняла одна только Брестская армия под началом Россиньоля, состояла она из каких-нибудь 5–6 тысяч человек, и то плохо организованных. Дорогу в Нормандию защищала армия Шербура, состоявшая из ополченцев, готовых разбежаться при первом выстреле, и нескольких тысяч солдат регулярного войска, но последние еще не выступили из Кана. Стало быть, ни та ни другая армия не были страшны вандейцам. При некотором проворстве они даже могли легко избежать встречи с неприятелем. Но вандейцы не знали местности, у них не было офицера, который мог бы сказать, на что похожи Бретань и Нормандия, какие там крепости и какие имеются военные преимущества. Так, например, они воображали, что Шербур укреплен со стороны материка. Следовательно, вандейцы не могли действовать стремительно и начать движение, собирая более верные сведения по дороге.

Хотя вандейцев было много, но армия их находилась в самом плачевном состоянии. Главные вожди их были убиты или ранены. Боншан скончался на левом берегу, д'Эльбе раненым был отнесен в Нуармутъё, Лескюр, получивший пулю в лоб, еще не умер, его тащили с собой. Оставался один Ларошжаклен; после него первым был Стоффле. Когда армии пришлось уйти с родной земли, ее следовало организовать; вместо того она шла беспорядочной ордой, с женщинами, детьми, повозками. В регулярной армии храбрые и трусы, сильные и слабые, имея свое положенное место в строю, поневоле остаются вместе и поддерживают друг друга; нескольких молодцов довольно, чтобы воодушевить целую армию. Тут же, где не соблюдалось ни строя, ни разделения на батальоны, роты и прочее, где каждый шел, с кем сам

хотел, – тут самые храбрые собрались вместе и составили отряд в 5–6 тысяч человек, всегда готовый быть первым. За этим отрядом шел другой, менее надежный, годный больше на то, чтобы достичь победы, нападая с флангов на уже поколебленного неприятеля. Наконец, за этими двумя отрядами беспорядочно валила толпа, готовая разбежаться от первого выстрела.

Таким образом, если в армии и набиралось 30–40 тысяч человек, то, в сущности, они сводились к 5–6 тысячам храбрецов, всегда расположенных драться. Одни вандейцы шли за Ларошжакленом, другие за Стоффле. Отдавать приказания было невозможно; единственное, чего удалось добиться, это чтобы люди шли по сигналу.

Стоффле имел только нескольких верных людей, которые передавали другим его желания или намерения. Всадников было человек двести, и то плохих, а пушек – десятка три, в дурном состоянии, с дурной обслугой. Обоз мешал: женщины и старики, ища безопасности, совались в самую середину главного отряда, путали его строй и мешали движениям. Появлялось также недоверие к офицерам. Люди говорили, что они стремятся к океану только для того, чтобы самим сесть на корабли и бросить на произвол судьбы несчастных поселян, оторванных от дома. Совет, власть которого сделалась фикцией уже окончательно, разделился; священники возмущались военными вождями; словом, не было ничего легче, чем истребить подобную армию, если бы только и у республиканцев не царил такой же беспорядок.

Итак, вандейцы не были в состоянии задумать или исполнить какой-нибудь план. Они уже двадцать шесть дней назад перешли Луару и в это продолжительное время не сделали ровно ничего. После бесконечных колебаний они наконец решились. С одной стороны, им говорили, что Ренн и Сен-Мало заняты значительными войсками, с другой – что Шербур защищен со стороны материка. Поэтому вандейцы решили осадить Гранвиль, лежащий на берегу океана, между оконечностями Бретани и Нормандии. Этот план был выгоден тем, что приближал их к Нормандии, которую им описывали как край плодородный и изобилующий всевозможными припасами. Вандейцы пошли на Фужер. По дороге они встретили 15–16 тысяч ополченцев, которые разбежались без выстрела. Десятого ноября они пришли в Доль, а 12-го – в Авранш.

Четырнадцатого ноября (24 брюмера) они направились на Гранвиль, оставив в Авранше половину армии и весь обоз. Гарнизон сделал вылазку, но вандейцы отогнали его и вслед за ним ворвались в предместье. Гарнизон только успел запереть за собой ворота, но предместье осталось во власти вандейцев, что облегчало их задачу. Из предместья они подошли к только что выстроенному частоколу и, не стараясь взять его, довольствовались стрельбой по стенам, с которых отвечали ядрами и картечью.

В то же время вандейцы поставили несколько орудий на окрестные высоты и без толку обстреливали стены и дома города. Ночью они разбрелись и оставили предместье, где не было покоя из-за огня противника. Отойдя подальше, они приискали себе помещение, съестные припасы и в особенности топливо, так как становилось очень холодно. Вожди насилу смогли удержать в предместье несколько сотен человек, чтобы продолжать стрельбу.

На следующий день вандейцы еще яснее убедились в своей неспособности взять крепость. Они пробовали сделать еще что-нибудь с помощью батарей, но без успеха. Постреляв еще вдоль частокола, они скоро пришли в совершенное уныние. Вдруг кто-то вздумал воспользоваться отливом, перейти через отмель и забраться в город со стороны порта. Вандейцы уже готовились исполнить этот план, когда предместье загорелось: его подожгли депутаты, находившиеся в Гранвиле. Вандейцам пришлось оставить предместье и отступить. На другой день они вернулись в Авранш к своим. Уныние после этого достигло высшей степени; несчастные с еще большей горестью стали жаловаться на вождей, которые увели их из родной страны и теперь собирались бросить, и шумно требовали возвращения на Луару. Тщетно Ларошжаклен во главе отборного отряда сделал новую попытку, думая увлечь людей в Нормандию; тщетно он пошел на Виль-Дьё и взял этот город – едва тысяча человек пошли за ним. Остальные направились назад в Бретань и взяли мост через речку Селюн, необходимый, чтобы пройти в Понторсон, к себе.

Пока в Гранвиле происходили эти события, в Анже организовалась республиканская армия. Едва дав им отдохнуть, солдат повели в Ренн, где их ждали еще 6–7 тысяч человек Брестской армии под началом

Россиньоля. Там военный совет решил, какие принять меры относительно дальнейшей погони. Шальбо выпросил позволения остаться в тылу по болезни. Россиньоль был назначен главнокомандующим Западной и Брестской армиями. Решили, что эти две армии тотчас двинутся на Антрэн; что генерал Трибу, находившийся в Доле с 3–4 тысячами, пойдет в Понторсон, а генерал Сефер, у которого было 6 тысяч человек Шербурской армии, будет с тыла следовать за вандейской колонной. Поставленная между морем, Понторсоном, армией в Антрэне и Сефером, прибывшим в Авранш, эта колонна не могла уцелеть.

Все эти распоряжения выполнялись в то самое время, когда вандейцы, выйдя из Авранша, заняли мост, отправляясь в Понторсон. Это случилось 18 ноября (28 брюмера). Генерал Трибу был декламатором, не владевшим военным делом; чтобы сохранить Понторсон, ему стоило только занять узкий проход через болото, которое прикрывало этот город и которое нельзя было обойти. Заняв такую выгодную позицию, он не дал бы вандейцам сделать ни шага. Вместо этого он, как только завидел неприятеля, оставил проход и пошел неприятелю навстречу; но вандейцы, уже подбодренные взятием моста, энергично атаковали Трибу, заставили его солдат отступить в беспорядке, бросились за ними по проходу через болото и заняли Понторсон, к которому их не следовало и близко подпускать.

Из-за этой непростительной ошибки перед вандейцами открылся новый путь. Теперь они могли идти на Долю; но из Доля им надо было идти в Антрэн, то есть пройти через весь главный корпус республиканской армии. Они оставляют Понторсон и идут на Долю. Вестерман бросается за ними в погоню. Пылкий, как всегда, он увлекает за собой Мариньи с его гренадерами и осмеливается нагонять вандейцев с одним авангардом. Действительно нагнав, он толкает их в беспорядке в город; но вандейцы, скоро отправившись, опять выходят из Доля и метким ружейным огнем, на который они были такие мастера, принуждают республиканский авангард отступить.

Клебер, советами которого всё еще руководствовалась армия, хотя главнокомандующим был не он, предлагает, чтобы довершить истребление вандейской колонны, блокировать ее и извести голодом, нуждой и болезнями. В республиканской армии панические бегства

стали таким обыкновенным делом, что рисковать общей атакой было слишком небезопасно. Напротив, укрепляя Антрэн, Понторсон и Динан, можно было запереть вандейцев между морем и тремя укрепленными пунктами, и при ежедневных мелких стычках с Вестерманом и Мариньи они должны были неминуемо погибнуть. Комиссары одобрили этот план и издали все необходимые приказы. Но вдруг является офицер, присланный Вестерманом, и говорит, что если поддержать этого генерала и атаковать Доль со стороны Антрэна, пока Вестерман поведет атаку со стороны Понторсона, то католической армии не будет никакого спасения. Комиссаров это предложение очень воодушевляет. Приёр, депутат Марны, такой же храбрец, как Вестерман, настаивает на изменении первоначального плана; решено двинуть против Доля колонну под началом Марсо.

Двадцать первого ноября Вестерман с утра выдвигается на Доль. В своем нетерпении он даже не думает удостовериться, пришла ли колонна Марсо, и спешит в атаку. Неприятель встречает его страшным огнем. Вестерман разворачивает пехоту и двигается вперед; вдруг обнаруживается нехватка зарядов. Генерал вынужден податься назад и стать на плато. Вандейцы пользуются этим обстоятельством и кидаются на колонну – она рассыпается.

Тем временем наконец подходит Марсо. Вандейцы, ободренные победой, объединяются против него; он целый день с геройской твердостью отстаивает поле битвы и окончательно его удерживает. Но позиция республиканцев весьма ненадежна, и Марсо посылает за Клебером. Клебер спешит к нему и советует занять позицию в окрестностях Трана, правда, несколько далее, но очень сильную. Сначала этому совету не решаются следовать, но вандейские стрелки заставляют войска податься назад. Они сначала разбегаются, но скоро опять собираются на указанной Клебером позиции. Тогда Клебер снова предлагает свой первоначальный план – блокировать вандейцев. С ним соглашаются, но не хотят возвращаться в Антрэн, а решают остаться в Тране и укрепиться тут, чтобы быть ближе к Доль. Вдруг, с непоследовательностью, отличавшей все эти решения, совет еще раз меняет мнение и опять решает действовать наступательно, несмотря на вчерашний опыт. Вестерману посылают подкрепление с приказом атаковать со своей стороны, пока главный корпус армии поведет атаку

со стороны Трана.

Клебер тщетно возражает, что войска Вестермана, деморализованные вчерашним событием, не выдержат сражения; комиссары настаивают, атака назначается на следующий же день и действительно выполняется. Но Вестермана и Мариньи предупреждает неприятель. Их войска, несмотря на подкрепление, разбегаются, они тщетно собирают вокруг себя горсть молодцов: вандейцы, одержав победу, оставляют этот пункт и бросаются вправо, навстречу армии, шедшей из Трана.

В то время как вандейцы, одержав одну победу, готовились к другой, пушечная пальба наводила ужас на город Доль и тех из повстанцев, кто еще не участвовал в боях. Женщины, старики и дети метались во все стороны и бежали по направлению к Динану и морю. Священники с распятиями и крестами в руках тщетно старались вернуть их. Наконец всю толпу удалось собрать и направить на дорогу в Тран, вслед за храбрецами, опередившими ее.

Не меньшая сумятица царила в главном лагере республиканцев. Россиньоль и комиссары командовали все вместе и никак не могли поладить между собой и решить что-нибудь определенное. Клебер и Марсо в отчаянии выдвинулись вперед, чтобы провести рекогносцировку местности и попробовать выдержать напор вандейцев. Завидев неприятеля, Клебер хотел развернуть авангард Брестской армии, но солдаты разбежались от первого выстрела. Тогда он выставил бригаду Канюэля, состоявшую, по большей части, из солдат Майнцкого батальона; эти храбрые солдаты не изменили своей славе, сражались весь день и наконец оказались одни на поле битвы, оставленные всеми войсками. Но вандейский отряд, разбивший Вестермана, напал на них с фланга и заставил отступить. Вандейцы воспользовались этим преимуществом и гнались за республиканцами до самого Антрена. Наконец необходимость вынудила республиканскую армию уйти из города и отступить в Ренн.

Тогда стало очевидно, каким верным был совет Клебера. Россиньоль, уступая одному из тех благородных порывов, на которые был способен, несмотря на свою неприязнь к майнцским генералам, явился в военный совет с бумагой в руках.

– Я не гожусь командовать армией, – сказал он. – Дайте мне батальон, и я исполню свой долг, но быть главнокомандующим – это не для меня. Поэтому вот моя просьба об отставке, и не принять ее – значит быть врагом Республики.

– Не надо отставки! – восклицает Приёр. – Ты старший сын комитета. Мы дадим тебе генералов, которые будут помогать тебе советами и нести за тебя ответственность за ход войны!

Между тем Клебер, донельзя огорченный всеми этими промахами, предложил план, который один мог всё поправить, но не был по душе комиссарам.

– Нужно, – объявил он, – оставляя Россиньоля в звании главнокомандующего, назначить начальника пехоты, начальника кавалерии и начальника артиллерии.

До сих пор предложения его принимались, и он решился предложить на первую должность Марсо, на вторую – Вестермана, а на третью – Дебийи, несмотря на то, что эти офицеры были подозрительны правительству в качестве членов Майнцкого батальона. Завязался спор о личностях, но совет наконец уступил влиянию этого искусного и благородного генерала, который любил Республику не из экзальтации, а, так сказать, по темпераменту, служил ей с изумительной преданностью и бескорыстьем, любил свое дело до страсти и в высокой степени обладал военным гением.

Клебер назначил Марсо потому, что вполне мог рассчитывать на этого молодого и храброго офицера. Он был уверен, что если только Россиньоля не будет ни во что вмешиваться, то он, Клебер сможет благополучно закончить войну.

Шербурская дивизия, пришедшая из Нормандии, соединилась с Брестской и Западной армиями, после чего республиканцы выступили из Ренна и направились к Анже, где вандейцы старались перейти обратно Луару. Последние, обеспечив себе обратный путь двойной победой, только и думали о том, как возвратиться на родину.

Они невозбранно снова прошли через Фужер и Лаваль, намереваясь занять Анже. Последняя их попытка против Гранвиля еще недостаточно убедила их в неспособности брать запертые города.

Третьего декабря они ворвались в предместья города Анже и

начали стрелять по крепости. Но как ни сильно было желание вандейцев пробить себе путь на родину, от которой их отделяла одна только река, они скоро отчаялись в успехе. Авангард Вестермана, прибыв 4-го, окончательно отнял у них всякую надежду и заставил отказаться от своего предприятия. Повстанцы пошли вверх по Луаре, не зная, где бы через нее переправиться. Пока они совещались, Клебер подъехал со своей дивизией по большой дороге на Сомюр и вновь заставил их спасаться в Бретань. И вот эти несчастные, голодные и босые, не имея повозок для своих семейств, ослабевшие и страдающие болезнями, опять пустились по Бретани, не находя себе ни приюта, ни выхода. Они падали прямо на дорогах, и перед Анже, на биваках, были найдены дети и женщины, умершие от голода и холода. Многие бросали оружие и убегали домой потихоньку от других. Наконец, наслушавшись о Мансе, о богатстве этого края и настроении его обитателей, они решили идти туда. Взяв Ла-Флеш, вандейцы вступили в Мане после легкой стычки.

Республиканская армия последовала туда за ними. Между республиканскими генералами возникли новые несогласия. Клебер своей твердостью укротил неугомонных и заставил комиссаров отослать Россиньоля в Ренн с дивизией Брестской армии. Тогда Комитет общественного спасения отдал Марсо титул главнокомандующего и отрешил от должности всех майнцских генералов, тем не менее разрешая Марсо временно оставить при себе Клебера. Марсо объявил, что не примет начальства, если Клебер не останется с ним и не будет всем распоряжаться.

– Принимая эту должность, – сказал Марсо Клеберу, – я принимаю на себя все дразги и всю ответственность, а тебе предоставляю действительную власть и средства к спасению армии.

– Будь спокоен, друг мой, – ответил ему Клебер. – Мы вместе станем драться и вместе подставим голову под гильотину.

Итак, армия выступила, и с этой минуты во всем явились единство и твердость. Авангард Вестермана пришел в Маис 12 декабря и тотчас же атаковал вандейцев. Вандейцев охватила паника, но несколько тысяч молодцов под началом Ларошжаклена выстроились перед городом и принудили Вестермана податься назад к приближавшей уже дивизии Марсо. Клебер еще оставался позади с главным корпусом армии.

Вестерман хочет тотчас же опять идти в атаку, хотя уже темнеет;

Марсо, с одной стороны, увлекаемый своим горячим темпераментом, а с другой – боясь неудовольствия Клебера, холодная и спокойная сила которого никогда не увлекала его к безумствам, колеблется. Но Вестерман соблазняет его и наконец заставляет решиться. В городе между тем звонят в набат, и всех объемлет ужас. Вестерман и Марсо, среди ночи вторгаются в город, рубят и разгоняют всех перед собой и, несмотря на жестокий огонь из окон, загоняют большую часть вандейцев на главную площадь города. Марсо справа и слева перерезает улицы, выходящие на эту площадь, и блокирует вандейцев. Однако его положение тоже опасно: пробравшись в центр города в ночное время, он легко мог быть окружен. Марсо посылает к Клеберу, торопит его, и Клебер является на рассвете. Большая часть вандейцев уже бежала, оставались только самые храбрые, чтобы прикрыть отступление. Следует атака в штыки, отряд пробит и разогнан, и начинается резня.

Такого кровавого разгрома еще не случалось. Множество женщин, оставленных в городе, попали в плен. Марсо спас одну молодую девушку, которая, лишившись родителей, в отчаянии умоляла, чтоб ее убили. Она была скромна и хороша собой. Марсо с изысканной деликатностью усадил ее в свою карету и велел отвезти в безопасное место.

Поля кругом были покрыты трупами. Неутомимый Вестерман не давал покоя беглецам. Несчастные, не зная куда бежать, в третий раз вошли в Лаваль и сейчас же опять вышли из этого города, направляясь к Луаре. Они решили переправиться через нее при Ансени. Ларошжаклен и Стоффле кое-как перебрались на тот берег, с тем чтобы, как говорили, достать лодки и привести их на правый берег, но более не возвращались. Уверяют, что это было невозможно.



Марсо спасает юную вандейскую девушку

Таким образом, вандейцы не смогли переправиться. Лишившись двух своих последних вождей, они стали спускаться по течению реки и всё искали, где бы переправиться. Наконец, в совершенном отчаянии, вся колонна решила бежать на оконечность Бретани, в Морбиган. Повстанцы отправились в Блен, где арьергард армии одержал еще одну небольшую победу, а затем прошли в город Саване, надеясь дальше пробраться в Морбиган.

Республиканцы без устали гнались за этой колонной и появились перед Саване вечером того же дня. Саване окружен слева Луарой, а справа болотами, перед городом растет лес. Клебер понял, как важно подавить вандейцев в тот же день, не дав им времени выйти из города. Он двинул вперед авангард; сам же, пользуясь минутой, когда вандейцы выходили из леса, чтобы дать отпор этому авангарду, смело бросился туда с отрядом пехоты и выгнал их из леса. Тогда вандейцы бежали в Саване и заперлись там, не прерывая, однако, огня всю ночь.

Вестерман и комиссары предлагали немедленно начать атаку и покончить со всем той же ночью. Но Клебер, опасаясь, чтобы новая ошибка не вырвала у него из рук верную победу, положительно

объявил, что атаки не начнет, а затем, погрузившись в свое невозмутимое хладнокровие, предоставил всем говорить, но ни на что больше не давал ответов.

На следующий день, 23 декабря, еще до рассвета, он уже сидел с Марсо на конях, и оба они разъезжали вдоль строя. Вдруг вандейцы, вконец отчаявшись, решившись не пережить этого дня, первыми бросаются на республиканцев. Марсо ведет центр, Канюэль – правое крыло, Клебер – левое. Все кидаются вперед и заставляют вандейцев отступить. Марсо и Клебер объединяются в городе, забирают с собой кавалерию и мчатся в погоню. Луара и болота отрезают несчастным вандейцам всякое отступление. Множество повстанцев были заколоты штыками, кто-то попал в плен, весьма немногим посчастливилось спастись.

В этот день Вандейская армия была окончательно истреблена, и Вандейская война окончилась. Вся армия погибла между Саване, Луарой и болотами. Вестерману поручили преследовать остатки вандейских беглецов, а Клебер и Марсо возвратились в Нант, куда пришли 24 декабря. Народ встретил их с триумфом и якобинский клуб поднес им венки.

Если обозреть эту достопамятную кампанию 1793 года в целом, то нельзя не признать в ней величайшего усилия, когда-либо совершенного обществом, окруженным опасностями. В великом и грозном 1793 году мы видим Европу всей тяжестью налегшей на революцию, проникшей сквозь все французские границы разом; мы видим часть самой Франции восставшей и соединившей свои усилия с усилиями мощного врага. Такого грозного, величественного зрелища еще не бывало в истории. Франция вернула всё, что, казалось, потеряла, кроме Конде, Валансьена и нескольких фортов в Руссильоне. Европейские державы, напротив, вместе борясь против одной страны, ничего не добились, взаимно друг друга обвиняли и сваливали друг на друга позор этой кампании. Франция между тем приводила свои средства в порядок и собиралась выступить гораздо грознее в следующем году.

Глава XXXII

Камилл Демулен издает «Старого Кордельера» – Голод в Париже – Арест и казнь Венсана, Ронсена, Эбера – Арест, процесс и казнь Дантона, Камилла Демулена, Фабра д'Эглантина

Конвент начал выказывать некоторую строгость в отношении буйной фракции кордельеров и министерских агентов. Ронсен и Венсан сидели в тюрьме. Их сторонники волновались. Моморо у кордельеров и Эбер у якобинцев старались вызвать сочувствие к бедам революционеров. Кордельеры составили петицию, в которой довольно непочтительным тоном спрашивали, хотят ли наказать Ронсена и Венсана за то, что они мужественно преследовали Дюмурье, Кюстина и Бриссо, и заявляли, что они, кордельеры, считают этих двух граждан истинными патриотами и всегда сохраняют их членами своего общества.

Якобинцы внесли более умеренную петицию и ограничились просьбой поспешить с докладом о Ронсене и Венсане, чтобы наказать их, если они окажутся виновными, или выпустить из тюрьмы, если они окажутся невиновны. Комитет общественного спасения еще молчал. Один Колло д'Эрбуа, хоть и член комитета, а следовательно, неприменимый приверженец правительства, выказал живейшее участие в отношении Ронсена. Это было весьма естественно: до Венсана Колло не было никакого дела, но участь Ронсена, который вместе с ним ездил в Лион и исполнял там кровавые приказы, касалась его очень близко. Колло д'Эрбуа вместе с Ронсеном утверждал, что из жителей Лиона лишь одна сотая доля – патриоты, что всех остальных следует сослать или убить, что надо запугать весь юг и в особенности непокорный город Тулон. Ронсен сидел в тюрьме за то, что повторил эти ужасные слова в своем листке. Для Колло д'Эрбуа, отозванного, чтобы дать отчет в своих действиях, было крайне важно оправдать Ронсена: этим он оправдывал себя.

В это самое время пришла петиция, подписанная несколькими лионскими гражданами и содержащая душераздирающую картину бедствий, постигших их город.

Они описывали, как расстрел картечью из пушек заменил гильотину; как населению целого города грозит истребление; как богатый мануфактурный край разрушается уже не молотом, а порохом. Эта петиция, под которой имели мужество подписаться четыре гражданина, произвела на Конвент тяжелое впечатление.

Колло д'Эрбуа поспешил внести свой доклад и в свойственном ему революционном упоении представил эти отвратительные экзекуции в том виде, в каком они представлялись его воображению, то есть как нечто совершенно естественное и необходимое. Сущность его доклада состояла в том, что лионцы побеждены, но говорят, что скоро отмстят за себя. Нужно запугать этих всё еще не смирившихся бунтовщиков, а вместе с ними – всех, кто вздумал бы подражать им; нужен пример, быстрый и страшный. Обыкновенное орудие казни действовало недостаточно скоро, молот разрушал медленно; тогда картечь истребила людей, а порох истребил здания. У казненных руки, в свою очередь, были обагрены кровью патриотов. Народная комиссия отбирала их из толпы арестантов быстрым и верным глазом, и нет причин сожалеть ни об одном из них.



Террор в Лионе

Такими объяснениями Колло д'Эрбуа вынуждает изумленное собрание одобрить то, что ему самому кажется естественным. Потом он отправляется к якобинцам жаловаться на то, как трудно было оправдать свои действия, и на сочувствие, вызванное лионцами. «Сегодня, — рассказывает он, — мне пришлось прибегать к перифразам, чтобы заставить Конвент одобрить казнь изменников. Они там плакали, спрашивали: “Умирали ли изменники с первого раза?..” С первого раза! Контрреволюционеры! А Шалье разве умер с первого раза?! Вы осведомляетесь, сказал я Конвенту, как умерли эти люди, покрытые кровью наших братьев. Да если бы они не умерли, вы бы здесь не совещались!.. Что ж, они едва поняли эти речи. Они слышать не могли о мертвецах, не умели защитить себя от теней!»

Потом, перейдя к Ронсену, Колло д'Эрбуа сказал, что делил на юге с патриотами все опасности, постоянно рисковал погибнуть вместе с ними от кинжала аристократов и выказал величайшую твердость с

целью заставить уважать власть Республики; что в эту минуту все аристократы радуются его аресту и видят в нем повод к надеждам. «И что же сделал Ронсен, чтобы быть арестованным? – удивлялся Колло. – Я у всех спрашивал, и никто не мог мне сказать».

На следующий день, 23 декабря (3 нивоза), Колло опять явился в клуб и объявил о смерти патриота Гайара, который, видя, что Конвент склонен будто бы осудить энергию, выказанную в Лионе, умертвил сам себя. «Обманул ли я вас, – воскликнул Колло, – говоря, что патриоты придут в отчаяние, если патриотический дух ослабнет?!»

Так, пока эти два вождя ультрареволюционеров сидели под арестом, за них волновались их приверженцы. В клубах и в Конвенте отбоя не было от ходатайств, и даже один из членов Комитета общественного спасения защищал их, чтобы защитить самого себя. Противники их, с другой стороны, нападали тоже энергично. Филиппо, возвратившийся из Вандеи преисполненным негодования против Сомюрского главного штаба, требовал, чтобы комитет начал преследование Россиньоля, Ронсена и других, и усмотрел измену в неудаче кампании 2 сентября.

Мы уже видели, сколько в этом деле было промахов, недоразумений и несогласий по несходству характеров. Россиньоля и Сомюрский главный штаб выражали недовольство и досаду, но не изменяли. Комитет мог не одобрить их поведения, но произнести над ними роковой приговор не было бы ни справедливым, ни разумным. Робеспьер желал любовного объяснения; но раздраженный Филиппо набросал едкую брошюру, в которой описал войну, примешивая к большой доле правды много ошибок. Эта брошюра должна была произвести сильное впечатление, потому что Филиппо нападал на самых ярых революционеров и обвинял их в гнуснейших изменах. К несчастью, Комитет общественного спасения, который ему следовало склонить на свою сторону, Филиппо тоже не очень щадил. Недовольный тем, что комитет не сочувствует его негодованию, депутат как будто и на него взваливал часть вин, которые вменял Ронсену, и даже использовал между прочими следующее оскорбительное предположение: «Если вы были только обмануты».

Брошюра, как мы сейчас сказали, произвела сильное впечатление. Камилл Демулен не знал Филиппо лично, но был в восторге от того, что

в Вандее ультрареволюционеры отличились так же, как в Париже. Не представляя, что гнев мог ослепить Филиппо до того, чтобы ошибку превратить в измену, Демулен с большим интересом прочел брошюру, удивлялся мужеству депутата и, по наивности своей, говорил всем и каждому: «Читали вы Филиппо?.. Прочтите Филиппо». Ему казалось, что все обязаны прочесть эту брошюру, ясно показывавшую, каким опасностям подвергалась Республика по милости ультрареволюционеров.

Камилл очень любил Дантона, и Дантон его тоже любил. Оба были того мнения, что Республика спасена недавними победами и пора прекратить жестокости, теперь уже бесполезные; что эти жестокости, если будут продолжаться, могут только скомпрометировать революцию и что никто, кроме иностранцев, не может желать их и подстрекать к их продлению. Демулену пришлось в голову начать издавать новую газету под названием «Старый кордельер», потому что он и Дантон были старейшими членами этого знаменитого клуба. Он направил свою газету против всех новых революционеров, которые хотели свергнуть и опередить революционеров более старых и испытанных.

Никогда этот автор – самый замечательный журналист революции и один из самых остроумных и наивных французских писателей – не обнаруживал столько оригинальности, грации и даже красноречия. Первый свой номер он начал так: «О Питт! Преклоняюсь перед твоим гением! Кто приехал из Франции в Англию и дал тебе такие добрые советы и указал такие верные средства погубить мою родину? Ты увидел, что вечно будешь разбиваться об нее, если не поставишь себе задачей погубить в общественном мнении тех, кто вот уже пять лет расстраивает все твои планы. Ты понял, что тебе надо победить тех, кто всегда побеждал тебя; что надо заставить обвинить в продажности именно тех, кого тебе не удалось подкупить, а в холодности – тех, кого ты не смог охладить». «Я раскрыл глаза, – говорил Камилл в другом месте, – я увидел число наших врагов: множество их зовет меня из Дома инвалидов и заставляет вернуться в бой. Надо писать! Надо бросить свой медлительный карандаш, которым я рисовал у камина историю Революции, и взяться вновь за быстрое перо журналиста и мчаться во весь опор за революционным потоком. Я депутат с совещательным голосом, только после 3 июня никто со мною не совещался, – и вот я

выхожу из своего кабинета, в котором у меня было время, чтобы на досуге обстоятельно понаблюдать за нашими врагами».

Демулен до небес превозносил Робеспьера за его поведение у якобинцев, за великодушные услуги, оказанные им старым патриотам, а про церковь и казни писал следующее: «Больному духу человеческому нужна постель, вызывающая сладкие сны; эта постель – религиозные предрассудки; глядя на учреждаемые празднества и процессии, я думаю, что больного только перекадывают на другую постель и при этом вынимают у него из-под головы подушку, надежду на другую жизнь...»

Потом Демулен, рассказывая об обществе при римских императорах и притворяясь, будто только переводит

Тацита, сделал ужасающий намек на закон о подозрительных лицах. «В старину, – писал он, – в Риме, по словам Тацита, существовал закон, определявший государственные преступления, которые подлежали смертной казни. Эти преступления ограничивались при республике четырьмя видами: если армия была покинута в неприятельской стране; если кто-то возбуждал мятежи; если члены собраний, облеченных властью, дурно управляли делами или общественной казной; если величие римского народа было унижено. Императорам пришлось многое прибавить к этому закону, чтобы иметь возможность обрекать на гибель целые города. Август первым расширил этот закон, включив в него сочинения, которые он называл контрреволюционными. Скоро расширениям не стало границ. Как только простые речи были возведены в государственные преступления, остался всего один шаг до превращения в преступления обычных взглядов, печали, сострадания, вздохов, даже самого молчания.

Скоро город Нурсия оказался виновен в преступлении, потому что воздвиг памятник своим гражданам, павшим во время осады Модены; оказался виновен Друз Либон, потому что спросил оракулов, не будет ли когда-нибудь обладать большими богатствами; Кремуций Корд – потому что назвал Брута и Кассия последними римлянами; один из потомков Кассия – потому что держал у себя портрет своего прадеда; Марк Скавр – потому что написал трагедию, включавшую в себя стих, которому можно было придать двоякий смысл. Стало преступлением жаловаться на тяжелые времена, потому что это значило порицать правительство или не молиться божественному духу Калигулы. За такие

упущения многие граждане были истерзаны, отданы на съедение зверям, посланы на рудники, а некоторые даже распилены пополам. Надо было выказывать радость по поводу смерти друга или родственника, чтоб не навлечь гибель и на себя.

Всё раздражало тирана. Пользовался ли какой-нибудь гражданин популярностью? Он становился соперником правителя и мог возбудить междоусобную войну. Подозрителен!

Избегал ли кто, напротив, популярности и сидел у своего очага? Эта уединенная жизнь привлекала к нему внимание, приобретала ему уважение. Подозрителен!

Богаты ли вы? Явная опасность для народа оказаться развращенным вашими щедростями. Подозрителен!

Бедны ли вы? Помилуй, непобедимый император! Надо зорко смотреть за этим человеком: нет человека предприимчивее, чем тот, кто не имеет ничего. Подозрителен!»

Так Камилл Демулен продолжал исчислять подозрительных и изображал страшную картину того, что делалось в Париже, описывая происходившее в Риме.

Если письмо Филиппо произвело сильное впечатление, то газета Демулена произвела впечатление ошеломляющее. Каждый номер раскупался по 50 тысяч экземпляров. Провинции требовали газеты неистово; узники тихонько передавали ее друг другу и читали с наслаждением и некоторой надеждой. Демулен не предлагал раскрыть тюрем или двинуть революцию назад, но требовал учреждения комитета помилования, который перебрал бы всех арестантов, выпустил тех, кто содержался в заключении без достаточной причины, и остановил кровопролитие там, где крови пролилось уже достаточно.

Нападки Филиппо и Демулена в высшей степени раздражили ревностных революционеров и не были одобрены якобинцами. Эбер ругал их в клубе и даже предложил исключить авторов из списков общества. Кроме того, он указал на Бурдона и Фабра д'Эглантина как на сообщников. Мы видели выше, что Бурдон заодно с Гупильо хотел отставки Россиньоля; после того он рассорился с Сомюрским главным штабом и не переставал восставать в Конвенте против партии Ронсена. Оттого его теперь и поставили на одну доску с Филиппо. Фабр обвинялся в деле с подложным декретом, и обвинению этому не прочь

были верить, хотя Шабо и оправдал его. Сознавая свое опасное положение, понимая, что для него всего страшнее система чрезмерной строгости, Фабр два или три раза выступал в пользу системы снисхождения, совсем перессорился с ультра-революционерами, и «Отец Дюшен» обозвал Фабра интриганом.

Якобинцы, не принимая яростных предложений Эбера, предложили, тем не менее, чтобы Филиппо, Демулен, Бурдон и Фабр д'Эглантин явились в клуб объяснить по поводу своих статей и речей в Конвенте. Заседание, назначенное для этих объяснений, привлекло огромное стечение народа. Из-за мест выходили чуть не драки, и за некоторые было заплачено по двадцать пять франков. Предстоял суд всесильных якобинцев над двумя новыми группами патриотов. Филиппо, хоть и не был членом общества, однако не отказался явиться и повторил все обвинения, которые уже привел в переписке с комитетом и в своей брошюре. Он не более, чем до сих пор, щадил личности и два или три формально обвинил Эбера во лжи в самых оскорбительных выражениях.

Эти нападки начинают волновать собравшихся, и заседание становится бурным, когда Дантон замечает, что для обсуждения такого важного вопроса требуется величайшее внимание и спокойствие; что он не имеет готового мнения насчет Филиппо и обоснованности предъявляемых ему обвинений; что он уже говорил ему самому: «Ты должен доказать свою невиновность или нести свою голову на эшафот»; что во всем этом, может быть, виноваты сами события, но во всяком случае необходимо выслушать всех, и выслушать не только для проформы.

Робеспьер выступает после Дантона. Он говорит, что не читал брошюры Филиппо и знает только, что в этой брошюре на комитет возлагается ответственность за потерю тридцати тысяч человек и что комитету некогда отвечать на пасквилы и вести письменную полемику; однако он, Робеспьер, по-прежнему не думает, что у Филиппо были дурные намерения, он только излишне увлекается. «Я не имею претензии, — заявляет Робеспьер, — заставить замолчать совесть моего товарища, но пусть он проверит сам себя и рассудит, нет ли в нем самом тщеславия и мелочных страстей. Я верю, что патриотизм увлекает его не менее, чем гнев; но пусть он подумает, пусть размыслит о борьбе,

теперь завязывающейся! Он увидит, что умеренные за него вступятся, аристократы станут на его сторону, сам Конвент разделится и в нем, может быть, возникнет оппозиция, а это было бы большим бедствием и возобновило бы борьбу, только что конченную, и заговоры, расстроить которые стоило так много труда».

И Робеспьер приглашает Филиппо проверить свои тайные побуждения, а якобинцев – выслушать его. Ничто не могло быть разумнее и приличнее этих слов, если не считать тона, всегда напыщенного и назидательного, особенно с тех пор, как Робеспьер получил полную власть над якобинцами.

Филиппо опять начинает говорить – и опять переходит на личности, опять вызывает волнение. Дантон теряет терпение и восклицает, что надо прекратить все эти дразги и назначить комиссию, которая рассмотрела бы дело и документы. Кутон говорит, что, прежде чем прибегнуть к этой мере, надо удостовериться, стоит ли того вопрос, не просто ли это личная перебранка между частными людьми, и предлагает спросить у Филиппо, думает ли он, в душе и по совести, что имела место измена. Кутон прямо обращается к Филиппо:

– Думаешь ли ты, в душе и по совести, что была измена?

– Да, – неосторожно отвечает Филиппо.

– В таком случае, – говорит Кутон, – другого средства нет: надо назначить комиссию, которая выслушала бы обвиняемых и обвинителей и представила обществу доклад об этом деле.

Предложение принимается, и комиссии поручается рассмотреть, помимо обвинения Филиппо, поведение Бурдона, Фабра д'Эглантина и Камилла Демулена.

Было 23 декабря (3 нивоза). Пока комиссия готовила доклад, полемика и взаимные укоры не прерывались ни на минуту. Кордельеры исключили Демулена из своего общества, представили петиции в пользу Венсана и Ронсена и пришли вручить их якобинцам, приглашая последних поддержать их в Конвенте. Толпа авантюристов и негодяев, из которых почти исключительно состояла революционная армия, везде – на гуляньях, в трактирах, в кофейнях и театрах – показывалась в шерстяных эполетах, шумела и буянила, прославляя Ронсена, своего генерала, и Венсана, своего министра. Их прозвали эполетчиками и

очень боялись. С тех пор как вышел закон, запрещающий секциям собираться больше двух раз в неделю, секции превратились в народные сборища самого буйного свойства. Туда посылали своих агентов все партии, которым почему-либо требовалось вызвать очередное волнение. Эполетчики бывали на этих сборищах всегда, и по их милости редкое заседание обходилось без скандала.

Робеспьер, всё так же крепко державшийся у якобинцев, заставил их отвергнуть петицию кордельеров и, сверх того, лишить все народные общества, составившиеся после 31 мая, формальной связи с якобинцами. Это были энергичные меры, разумные и похвальные.

Между тем комитет, прилагая величайшие усилия, чтобы подавить беспокойную фракцию, вынужден был также избегать даже намека на вялость или умеренность. Для того чтобы сохранить свою силу и популярность, комитету следовало выказывать всё ту же строгость относительно фракции соперников.

Вот почему 25 декабря (5 нивоза) Робеспьеру поручили сделать новый доклад о принципах революционного правительства и предложить строгие меры против некоторых знаменитых узников. Отчасти из политического расчета, отчасти по заблуждению Робеспьер упорно указывал на мнимую иностранную фракцию и приписывал ей все вины как умеренных, так и ультрареволюционеров. «Иностранные дворы, — заявил он, — прислали во Францию ловких злодеев, которых держат у себя на жалованье. Эти злодеи совещаются в наших администрациях, втираются в наши секционные собрания и клубы и даже заседали в нашем Национальном собрании; они управляют и будут вечно управлять контрреволюцией. Они рыщут среди нас, выведывают наши тайны, волнуют наши страсти и даже стараются внушить нам наши мнения». Дополняя картину, Робеспьер показал, как мнимые враги толкают то к слабости, то к чрезмерной строгости; вызывают в Париже гонения на религию, а в Вандее восстанавливают фанатическую ненависть к правительству; убивают Лепелетье и Марата, а потом вливаются в группы людей, воздающих им почести; дают или отнимают у народа хлеб, то выпуская, то пряча деньги, словом — пользуются любыми случайностями, чтобы обратить их в ущерб революции и Франции.

Робеспьер, именно в этом обстоятельстве видевший причину всех

бедствий, не хотел признать их неизбежными и приписывал проискам иноземцев, которые, конечно, могли быть довольны этими бедствиями, но предоставляли дело порокам человеческой природы и даже не имели средств искусственно вызывать эти бедствия. Считая всех именитых узников сообщниками коалиции, Робеспьер предложил немедленно предать их Революционному трибуналу. Решили безотлагательно судить Дитриха, мэра Страсбурга, сына Кюстина, Бирона и всех офицеров – друзей Дюмурье, Кюстина и Гушара. Конечно, не требовалось декрета Конвента, чтобы Революционный трибунал поразили эти жертвы, но подобное внимание должно было служить доказательством того, что правительство не ослабело. Робеспьер, кроме того, предложил на одну треть увеличить размер награды – то есть земель, обещанных защитникам отечества.

Вслед за этим докладом Бареру поручили составить другой, об арестах. Говорили, что число их с каждым днем возрастает, и просили изыскать средства для проверки поводов к этим арестам. Целью доклада было ответить, не подавая в том вида, «Старому Кордельеру». Барер строго отнесся к переводам древних ораторов, однако предложил назначить комиссию для проверки арестов, что весьма походило на комитет помилования, придуманный Демуленом. Но вследствие замечаний, сделанных несколькими членами, комитет остался при своих прежних декретах, обязывавших революционные комитеты излагать Комитету общественной безопасности мотивы арестов и позволявших арестантам обращаться к этому комитету с жалобами.

Таким образом, правительство продолжало идти своим путем между обеими новыми партиями, тайно склоняясь на сторону умеренных, но всё еще боясь слишком это показывать. В это время Демулен выпустил номер под заглавием «Моя защита», оказавшийся еще сильнее предыдущих. Это было смелое, беспощадное обличение его противников.

По поводу своего исключения из Клуба кордельеров Демулен пишет: «Простите, братья и друзья, если я еще осмеливаюсь использовать название “Старого Кордельера” после того, как постановление клуба запретило мне украшать себя этим именем. Но, по правде сказать, это такая неслыханная дерзость со стороны внуков – бунтовать против деда и запрещать ему носить их имя, что я хочу

постоять за себя против этих неблагодарных. Я хочу посмотреть, за кем должно остаться это имя: за дедом или за внуками, подкинутыми ему, которых он никогда не признавал, да и десятой части которых никогда и не знал, но которые теперь имеют претензию выгнать его из дома!»

Затем Демулен объясняет свои убеждения. «Корабль Республики плывет между двумя подводными камнями, скалой преувеличения и отмелью модерантизма^[10]. Видя, что папаша Дюшен и все патриоты-часовые стоят на палубе с подзорными трубами и только кричат: “Берегитесь! Вы близки к модерантизму!”, поневоле мне, старому кордельеру, пришлось принять на себя трудную вахту, от которой отказывались все из опасения скомпрометировать себя, и кричать: “Берегитесь! Вы сейчас наткнетесь на преувеличение!” Вот за что все мои товарищи в Конвенте должны быть мне благодарны: я рискую самую свою популярность, чтобы спасти корабль, на котором у меня груза не больше, чем у них».

Потом он оправдывает себя по поводу слов, за которые на него много нападали. Демулен написал как-то: «Венсан-Питт управляет Бушоттом-Георгом». «Назвал же я Людовика XVI в 1787 году толстым простаком, и не засадили же меня в Бастилию! Уж не больший ли барин Бушотт?..» Демулен перебирает в статье всех своих противников. Колло д’Эрбуа он говорит, что если у него, Демулена, был Дильон, то у Колло есть Брюн и Проли, которых он защищал. Бареру он говорит: «Монтаньяры уже знать не хотят друг друга. Пусть бы меня, старого кордельера, от души пожурил какой-нибудь прямолинейный патриот, например Бийо-Варенн, я бы еще стерпел; я бы сказал, что это пощечина, которую пылкий апостол Павел дает согрешившему апостолу Петру. Но ты, любезный Барер, ты, невезучий опекун Памелы^[11], ты, президент фельянов, предложивший учредить Комитет двенадцати, ты, который 2 июня предлагал комитету обсудить, не следует ли арестовать Дантона! Ты, о котором я мог бы порассказать еще многое, если бы захотел рыться в старом мешке^[12]. И вдруг ты вздумал перецеголять Робеспьера и так сухо и резко со мною говоришь! Всё это не что иное, как домашняя ссора с друзьями, патриотами Колло и Барером, но вот и я сейчас буду чертовски зол на папашу Дюшена, который называет меня жалким интриганишкой,

болваном, которого надо вести на гильотину, заговорщиком, который хочет, чтобы правительство раскрыло тюрьмы и сделало из них новую Вандею, усыпителем, нанятым Питтом, длинноухим ослом. погоди, Эбер, я к твоим услугам. И я на тебя нападу не с грубыми ругательствами, а с фактами».

Тут Демулен, которого Эбер обвинял в том, будто он женился на богатой и обедает с аристократами, рассказывает всю историю своей женитьбы и набрасывает картину своей простой, скромной жизни. Переходя от себя к Эберу, он напоминает о том, как тот прежде раздавал контрамарки, был выгнан из театра за многократные кражи, как он вдруг разбогател – обстоятельство всем известное, – и покрывает Эбера заслуженным позором. Он приводит доказательства тому, что Бушотт передал Эберу из военных сумм сначала 12 тысяч франков, потом 10 тысяч, потом 60 – за экземпляры «Отца Дюшена», раздаваемые армиям, притом что этих экземпляров было всего на 16 тысяч и вся остальная сумма, следовательно, украдена у нации.

«Двести тысяч франков! – восклицает Демулен. – Этому бедному санюлоту Эберу за то, что он поддерживает предложения Клоотса и Проли! Двести тысяч за то, что он клеветает на Дантона, Ленде, Камбона, Тюрио, Лакруа, Филиппо, Бурдона, Барраса, Фрерона, Эглантина, Лежандра, Демулена и почти всех комиссаров Конвента! Чтобы наводнить Францию его писаниями – двести тысяч франков от Бушотта!.. Кто после этого станет удивляться этому сыновнему восклицанию Эбера на заседании якобинцев: “Сметь нападать на Бушотта! На Бушотта, который поставил во главе армий генералов-санюлотов, на Бушотта, такого незапятнанного патриота!” Я только удивляюсь, как папаша Дюшен не воскликнул в порыве благодарности: “На Бушотта, который с июня передал мне двести тысяч франков!”

Ты толкуешь о моем обществе, но кто не знает, что великий патриот Эбер, оклеветав в своем листке самых незапятнанных людей Республики, отправляется на радостях со своей Жаклин проводить ясные летние дни с закадычным другом Дюмурье, банкиром Кохом и госпожой Рошешуар, агентом эмигрантов, и распивает с ними Питтово вино, и предлагает тосты за гибель доброго имени основателей свободы!»

Потом Демулен упрекает Эбера за слог его листка. «Разве ты не

знаешь, Эбер, что тираны Европы хотели бы уверить свои народы, что Франция покрыта мраком варварства, а Париж, столь восхваляемый за тонкое остроумие и вкус, населен вандалами? Разве ты не знаешь, несчастный, что они помещают в своих газетах отрывки именно из твоего листка, как будто народ так невежественен, как ты хотел бы уверить Питта; как будто этим языком говорят Конвент и Комитет общественного спасения; как будто вся нация причастна к твоим сальностям; как будто парижская сточная канава – это Сена!»

Далее Демулен обвиняет Эбера в том, что тот своими листками усилил скандалы, связанные с поклонением Разуму, и в заключение восклицает: «И этот-то подлый наущатель, нанятый за двести тысяч, станет меня попрекать четырьмя тысячами дохода, которые принесла мне жена! Этот-то приятель кохов, рошешуаров и множества плутов станет меня попрекать моим обществом! Этот-то безумный или коварный писатель станет попрекать меня моими статьями в то время, когда я доказываю, что его листки составляют усладу Кобленца и единственную надежду Питта! Этот оратор помойных ям будет регулятором общественного мнения, ментором французского народа!

Пусть не надеются запугать меня слухами о предстоящем аресте. Мы знаем, что злодеи замышляют новое 31 мая против самых энергичных членов Горы! О, мои братья! Я скажу вам, как Брут и Цицерон: “Мы слишком боимся смерти, изгнания, бедности”. Как! Когда каждый день миллион двести тысяч французов идут на редуты, уставленные убийственными батареями, и переходят от победы к победе, мы, депутаты Конвента, мы, которые не можем погибнуть, как погибает солдат – во мраке ночи, подстреленный впотьмах, без свидетелей; мы, чья смерть за свободу не может не быть славною, торжественною, принятою в присутствии всей нации, Европы и потомства; неужели мы будем большими трусами, чем наши солдаты?! Неужели побоимся прямо смотреть в глаза Бушотту? Не посмеем навлечь на себя грозный гнев папаши Дюшена, чтобы одержать победу, которой ждет от нас народ, – победу над ультрареволюционерами и контрреволюционерами, победу над всеми интриганами, всеми плутами и честолюбцами, над всеми врагами общего блага?!

Неужели думают, что даже на эшафоте, поддерживаемый глубоким сознанием того, что страстно любил родину и Республику, увенчанный

уважением и сожалением всех истинных республиканцев, я захочу променять казнь на состояние этого подлого Эбера, который в своем листке доводит до отчаяния и бунта граждан; который, чтобы забыть свою клевету и угрызения совести, нуждается в опьянении сильнее того, какое дает вино, и хватает для этого ртом кровь, стекающую с гильотины? Да и что такое эшафот для патриота, как не пьедестал Сиднея и Яна де Витта? В военное время, когда у меня оба брата были изрублены за свободу, что такое гильотина, как не тот же удар саблей, самый славный из всех для депутата, который становится жертвой своего мужества и принципов?»

Этот номер газеты вызвал еще большее волнение, нежели предыдущие. Эбер не переставал нападать на него у якобинцев и требовать доклада комиссии. Наконец 5 января (16 нивоза) Колло д'Эрбуа начал читать доклад. Народу было столько же, сколько в тот день, когда начались прения, и места продавались так же дорого.

Колло выказал больше беспристрастия, нежели можно было ожидать от приятеля Ронсена. Он упрекнул Филиппо в том, что тот в своих обвинениях затронул Комитет общественного спасения, обнаружил расположение к подозрительным, с похвалой отозвался о Бироне, тогда как последний всячески ругал Россиньоля, словом, выказал те же пристрастия, что и аристократы. Один упрек при данных обстоятельствах был довольно важен: в последней своей статье Филиппо отрекся от обвинений, возведенных им на генерала Фабрфона, брата Фабра д'Эглантина. Дело в том, что Филиппо, не знавший ни Фабра, ни Демулена, обвинил брата первого, которого тоже считал в чем-то виновным в Вандее. Но сблизившись с Фабром и обвиненный наравне с ним, он по весьма естественной деликатности взял назад всё, что сказал против его брата. Одно это уже доказывает, что они действовали порознь, каждый сам по себе, а не составляли фракцию. Но рассудили иначе, и Колло дал понять, что имеется глухая интрига, договор между лицами, заподозренными в модерантизме. Он много рылся в прошлом и попрекнул Филиппо тем, как тот подал голос в деле Людовика XVI и Марата. С Демуленом Колло д'Эрбуа обошелся гораздо благосклоннее, представив его добрым патриотом, который введен в заблуждение дурным обществом и которому надо простить, советуя, однако, больше так не увлекаться. Итак, Колло потребовал

исключения Филиппо и предложил выразить неодобрение Демулену.

В эту минуту Демулен, присутствовавший на заседании, послал президенту письмо с заявлением, что его защита изложена в последнем номере, и просьбой, чтобы общество соблаговолило выслушать его. Эбер, ничего так не боявшийся, как чтения этого номера, в котором были разоблачены все его гнусности, воскликнул, что автор только хочет клеветой усложнить прения и обвиняет его в воровстве, чтобы отвлечь внимание, тогда как это ужаснейшая ложь. «У меня есть доказательства!» – отвечает Демулен. Эти слова вызывают большой шум. Робеспьер-младший говорит, что надо устранить личные споры, что общество собралось не ради интересов частных репутаций и что если Эбер и воровал, то ему, обществу, нет до этого дела; что те, кто сами не без вины, не должны останавливать общих прений...

На эти не очень приятные слова Эбер запальчиво возражает:

– Мне не в чем себя упрекнуть.

– Смуты в департаментах, – обрывает его Робеспьер-младший, – твое дело, ты по большей части виновен в них нападками на свободу вероисповедания.

Эбер молчит. Робеспьер-старший в свою очередь говорит – сдержаннее брата, но не благоприятнее для Эбера, – что Колло представил вопрос с надлежащей точки зрения; что неприятный эпизод нарушил основательность прений, что неправы были все – как Эбер, так и те, кто ответил ему.

– То, что я сейчас скажу, – продолжает Робеспьер, – не относится ни к кому лично. Не пристало жаловаться на клевету тому, кто сам клеветал. Не следует возмущаться несправедливостями тому, кто сам судил других опрометчиво, легкомысленно и яростно. Пусть каждый допросит свою совесть и применит эти размышления к себе. Я было хотел предотвратить настоящие прения, я хотел, чтобы в частных разговорах, в дружеских беседах каждый объяснился и признал, в чем сам неправ. Тогда можно было бы поладить и избежать скандала. Но не тут-то было: на следующий же день брошюры пошли по рукам и противники поспешили вызвать именно скандал. Теперь для нас важно в этих личных ссорах насколько основательны обвинения, которые Филиппо направил против лиц, ответственных за самую важную нашу войну. Вот что следует разъяснить в интересах не личностей, а

Республики.

Робеспьер находил, что бесполезно толковать о нападках Демулена на Эбера, так как всем известно, до какой степени эти нападки основательны, и притом в них не заключалось ничего такого, проверка чего была бы полезна Республике, тогда как, напротив, было крайне важно разъяснить поведение военачальников в Вандее.

Итак, продолжаются прения по первоначальному вопросу. Заседание проходит в виде допроса множества очевидцев, но среди этих противоречивых показаний Дантон и Робеспьер объявляют, что ничего не могут разобрать и совсем сбиты с толку. Прения откладываются до следующего заседания.

Седьмого января 1794 года прения возобновляются. Филиппо не появляется. Депутаты начинают уже утомляться поднятым вопросом, тем более что ничего не разъясняется. Тогда речь снова заходит о Камилле Демулене. Ему приказывают объясниться по поводу похвал Филиппо и своих с ним отношений. Демулен уверяет, что не знает Филиппо; что факты, засвидетельствованные Бурдоном, сначала убедили его в том, что Филиппо говорит правду, и исполнили негодованием, но что теперь, после прений, он замечает, что Филиппо во многом извратил правду, и потому берет свои похвалы назад и объявляет, что не имеет больше никакого мнения по этому вопросу.

Робеспьер опять начинает говорить о Камилле и повторяет то, что уже говорил: что характер у него превосходный, но это не дает ему права писать против патриотов; что его статьи подхватываются аристократами с наслаждением и расходятся по всем департаментам; что он перевел Тацита, не понимая его; что к нему следует относиться, как к ветреному ребенку, который взял в руки опасное оружие и применяет его во вред себе и другим, и советовать ему бросить аристократов и дурные общества, развращающие его; наконец, что его надо простить, но сжечь номера его газеты.

Тут уже Демулен, забыв осторожность, которую необходимо было соблюдать, имея дело с надменным Робеспьером, кричит со своего места:

— Жечь не значит отвечать!

— Так хорошо же, — откликается раздраженный Робеспьер, — если так, то не станем жечь, а будем отвечать: пусть сейчас же прочтут эти

номера. Если уж Камилл хочет, пусть будет покрыт позором; пусть общество не сдерживает своего негодования, если уж он упорствует и настаивает на своих выходках и опасных принципах. Человек, который так крепко держится за злокозненные статьи, может быть, больше чем заблуждается. Если бы он был искренен, если бы он писал в простоте сердечной, то не посмел бы долее отстаивать сочинения, порицаемые патриотами и нравящиеся контрреволюционерам.

Демулен тщетно просит слова и старается успокоить Робеспьера; его не слушают и немедленно принимаются за чтение листков. Как ни стараются люди лично щадить друг друга в ссорах между партиями, рано или поздно самолюбие оказывается затронуто. При щепетильной обидчивости Робеспьера и наивной ветрености Демулена несогласие во мнениях должно было скоро превратиться в раздор и ненависть. Робеспьер слишком презирал Эбера и его клику, чтобы ссориться с ними, но он мог поссориться с таким знаменитым писателем, как Камилл Демулен, а Камилл не умел действовать настолько ловко, чтобы избежать разрыва.

Чтение газеты занимает целых два заседания, и только потом очередь доходит до Фабра. Его допрашивают, хотят заставить рассказать, какое участие он принимал в недавно вышедших статьях. Фабр отвечает, что там нет ни одной его запятой, и он может уверить всех, что не знает Филиппо и Бурдона.

Наконец речь заходит о необходимости принять какое-нибудь решение насчет четырех обвиненных лиц. Робеспьер, хотя не был более расположен щадить Демулена, предлагает оставить эти прения и перейти к другому, более важному предмету, более достойному общества, более полезному, а именно — к порокам и злодеяниям английского правительства. «Это ужасное правительство, — говорит он, — скрывает под некоторым подобием свободы отвратительный принцип деспотизма и макиавеллизма; надо обличить его перед его собственным народом и ответить на его клеветы, доказывая пороки его организации и его злодеяния». Якобинцы были не прочь перейти к этому предмету; но некоторым хотелось сначала исключить Филиппо, Демулена, Бурдона и Фабра. Один голос даже обвиняет Робеспьера в том, что он присваивает себе какую-то диктаторскую власть. «Моя диктатура, — возражает тот, — та же, что диктатура Марата и Лепелетье;

она состоит в том, чтобы каждый день подвергаться опасности погибнуть от кинжалов тиранов. Но мне надоели споры, возникающие в обществе ежедневно и не приводящие ни к какому полезному результату. Настоящие наши враги — иноземцы; их-то и нужно преследовать, их козни разоблачать». Итак, Робеспьер повторяет свое предложение, и общество среди аплодисментов решает, что отложит в сторону споры, возникшие между частными лицами, и на следующих заседаниях займется обсуждением пороков английского правительства.

Этой резолюцией беспокойное воображение якобинцев весьма кстати отвлекалось и направлялось на предмет, могущий надолго занять его. Филиппо уже удалился, не дожидаясь решения. Демулен и Бурдон не были ни исключены, ни утверждены. Что касается Фабра д'Эглантина, то хотя Шабо безусловно оправдал его, однако факты, каждый день доходившие до сведения комитета, не позволяли больше сомневаться в его соучастии; пришлось издать приказ об аресте и присоединять Фабра к Шабо, Базиру, Делоне и Жюльену.

От всех этих дразг осталось впечатление, неблагоприятное для новых умеренных. Между ними не было никакого заговора. Филиппо, прежде бывший почти жирондистом, не знал ни Демулена, ни Фабра, ни Бурдона; один Камилл был довольно близок с Фабром; а Бурдон совсем не знал всех троих. Однако вообразили, что существует тайная секция, в которой они были сообщниками или которой они дали себя оплести. Легкость характера, эпикурейские вкусы Демулена, два-три раза пообедавшего с богатыми финансистами, доказанное сообщничество Фабра с биржевиками и его недавнее богатство дали повод полагать, что они связаны с продажной фракцией. Если не смели указывать на Дантона как на главу этой фракции, если его и не обвиняли публично, если Эбер в своем листке и кордельеры со своей кафедры и щадили могучего революционера, то между собой они говорили то, чего не смели разглашать.

Самым вредным для этой партии человеком оставался Лакруа; его хищения в Бельгии были доказаны, и можно было открыто обвинять его, не рискуя попасться за клевету. Лакруа причисляли к умеренным вследствие его прежней дружбы с Дантоном, и его позор отчасти падал и на них.

Кордельеры, недовольные тем, что якобинцы перешли к очередным

делам, оставив без последствий дело о четырех обвиненных, объявили, что Филиппо – клеветник; Бурдон, ожесточенный обвинитель Ронсена, Венсана и военного ведомства, лишился их доверия и является для них не кем иным, как сообщником Филиппо; Фабр, разделяющий взгляды Бурдона и Филиппо, – только более ловкий интриган; и Демулен, уже исключенный из их среды, тоже лишился их доверия, хотя прежде и оказывал Революции большие услуги.

Ронсена и Венсана подержали в тюрьме и выпустили, потому что ни на каком основании нельзя было отдать их под суд. Невозможно было начать преследование Ронсена ни за его действия в Вандее, потому что события этой войны были окутаны мраком, ни за его действия в Лионе, потому что это значило бы поднять опасный вопрос и обвинить Колло д'Эрбуа и всё правительство. Точно так же невозможно было начать преследование Венсана только за то, что он деспотически распоряжался в военном министерстве. Против того и другого можно было бы начать только политический процесс, а для такого процесса еще не настало время. Итак, их освободили 2 февраля (14 плювиоза) к великой радости кордельеров и эполетчиков.

Венсан был совсем молодым человеком, лет двадцати с небольшим, но при этом изувером, у которого фанатизм доходил до болезненности; он был скорее помешан, чем честолюбив. Однажды жена, навещавшая его в тюрьме, рассказала ему обо всём, что происходило; он пришел в такое бешенство, что бросился к куску сырой говядины, съел его и заявил: «Я бы хотел так же сожрать всех этих злодеев».

Ронсен, становившийся поочередно то плохим памфлетистом, то поставщиком провизии для армии, то генералом, соединял с большим умом замечательное мужество и энергичность. От природы склонный увлекаться до крайности, он был все-таки много выше толпы авантюристов, вызвавшихся служить орудиями новому правительству. Сделавшись начальником революционной армии, он старался извлечь выгоду из положения и для себя, и для торжества своей системы. В Люксембургской тюрьме он и Венсан чувствовали себя хозяевами и не переставали толковать о том, как восторжествуют над интригой, как выйдут на свободу благодаря стараниям своих приверженцев, как возвратятся обратно и освободят заключенных патриотов, а всех других арестантов отправят на гильотину. Они мучили и тиранили несчастных

узников, наводя на них страх и ужас.

Выйдя из тюрьмы, Венсан и Ронсен стали говорить, что скоро отмстят и расправятся со своими врагами. Комитет общественного спасения едва ли мог не освободить их, но не замедлил убедиться, что спустил с цепи бешеных зверей и скоро надо будет их обезвреживать. В Париже оставалось четыре тысячи человек из революционной армии, в том числе авантюристы, воры, сен-тябристы и эполетчики, которые, скрываясь под личиной патриотизма, находили, что приятнее грабить дома, чем идти на границы и вести там жизнь бедную, суровую и полную опасностей. Эти тираны, с их усами и большими саблями, выказывали во всех публичных местах беспощадный деспотизм. Имея артиллерию, снаряды и предприимчивого вождя, они могли сделаться опасными. К ним примыкали воротилы, наполнявшие военное ведомство по милости Венсана, который был их гражданским начальником, тогда как Ронсен был их военным главой. Они имели связь с коммуной через Эбера и мэра Паша, всегда готового принять у себя все партии и обласкать людей, которые вызывали у всех страх. Моморо, один из президентов кордельеров, был их верным сторонником и адвокатом у якобинцев. Поэтому на одну доску ставились Ронсен, Венсан, Эбер, Шометт и Моморо и в тот же список вносились Паш и Бушотт.

Эти люди уже не сдерживались в своих речах против представителей, которые хотели, по их словам, присвоить себе власть навеки и помиловать аристократов. Однажды, обедая у Паша, они встретили Лежандра, друга Дантона, прежде подражавшего его неистовствам, а теперь — его умеренности, много терпевшего из-за этого, потому что он выдерживал нападки, которых не смели направлять против самого Дантона. Ронсен и Венсан обратились к Лежандру с обидными словами. Венсан обнял его, но сказал при этом, что обнимает прежнего Лежандра, а не нового, что новый Лежандр сделался умеренным и не заслуживает ни малейшего уважения. Далее Венсан иронически спросил его, носил ли он костюм представителя, когда становился комиссаром. Лежандр ответил, что носил его в армиях, а Венсан заметил, что костюм этот очень пышен, но недостойн истинных республиканцев; что он нарядит в этот костюм манекен, созовет народ и скажет ему: «Вот каких представителей вы себе

выбрали! Они проповедуют равенство, а сами покрывают себя золотом и перьями!» Лежандр, в свою очередь, назвал Венсана сумасшедшим и крамольником. Они чуть не сцепились тут же, к великому ужасу Паша. Тогда Лежандр обратился к Ронсену, который казался спокойнее, и просил его умерить Венсана, но тот ответил, что Венсан, правда, несколько вспыльчив, но его характер подходит к обстоятельствам и подобные люди нужны в такие времена. «У вас в Конвенте завелась враждебная фракция, — сказал он. — Если вы не прогоните ее, то ответите нам за это!»

Лежандр вышел в негодовании и повторил другим всё, что видел и слышал на этом обеде. Разговор этот сделался известен и дал полное представление о наглости и сумасбродной беззастенчивости этих двух только что освобожденных людей. Они демонстрировали большое уважение к Пашу и его добродетелям, как это делали якобинцы, когда Паш был в правительстве. Их приводило в восторг, что такие страсти одобряет человек, имевший все наружные признаки истинного мудреца. Новые революционеры говорили, что они сделают из Паша важное лицо в новом правительстве, потому что, не имея определенной цели, не составив проекта восстания, даже не имея на это достаточно мужества, они много болтали, подобно всем заговорщикам средней руки, которые всегда распаляют себя словами и испытывают свои силы. Они везде говорили, что нужны другие учреждения. В настоящей организации правительства им не нравилось ничего, кроме Революционного трибунала и революционной армии. Новые революционеры придумали структуру, состоявшую из верховного суда под председательством главного судьи и военного совета, которым будет руководить генералиссимус. В этом новом правительстве суд и администрация будут устроены по военному образцу, а генералиссимус и члены верховного суда будут главными должностными лицами. При суде будет состоять главный обвинитель под названием цензора. Следовательно, по этому плану, составленному в минуту революционного брожения, главных обязанностей было две: казнить и драться; это были бы, собственно, единственные обязанности нового правительства.

Неизвестно, был ли этот план плодом бреда одного фантазера или нескольких, заключался ли он в одних лишь словах или был изложен на

бумаге, но верно то, что образцом ему служили революционные комиссии, учрежденные в Лионе, Марселе, Тулоне, Бордо и Нанте, и что с воображением, исполненным подвигами, совершенными в этих городах, ужасные палачи хотели управлять всей Францией и возвести насилие в общий принцип.

Они имели в виду еще только одного из требовавшихся им высоких сановников. Паш как раз подходил для должности верховного судьи; заговорщики утверждали, что он должен быть и будет им. Многие, не имея понятия ни о самом плане, ни о предполагаемой должности, повторяли как новость: Паша сделают судьей. Этот слух разошелся без объяснений и оставался непонятным большинству. Что касается должности генералиссимуса, то Ронсен хоть и был генералом революционной армии, не смел, однако, метить так высоко, и даже его приверженцы не смели предлагать его. На Шометта некоторые указывали как на будущего цензора, но имя его произносилось редко.

В течение всей революции, когда страсти очередной партии оказывались готовы к взрыву, предлогом для этого взрыва всегда служило какое-нибудь бедствие: поражение в битве, измена, голод. Так случилось и теперь. Вышел второй закон о максимуме, определявший уже не розничные цены, а цену на месте производства и за перевозку, а также доход оптового и розничного торговцев. Торговля обходила деспотический закон тысячами способов и более всего – самым пагубным способом: застоем. Стагнация усилилась больше прежнего; товар, если не мог отказаться от уплаты ассигнациями, вовсе прятался от покупателя. Этот общий застой торговли, разумеется, произвел общее оскудение. Однако правительству, благодаря чрезвычайным усилиям и заботливости продовольственной комиссии, удалось не допустить слишком большого оскудения и уменьшить страх голода, столь же опасный, как и самый голод по причине беспорядка и смятения, которые вносятся таким страхом в торговые сношения.

Но вскоре дало себя почувствовать новое бедствие: недостаток в мясе. Большие партии скота, которые Вандея всегда поставляла соседним областям, перестали пригонять со времени восстания. Прирейнские департаменты тоже перестали поставлять скот с тех пор, как в них началась война. Кроме того, мясники, покупавшие скот по

высоким ценам и принуждаемые продавать мясо по ценам максимума, старались обходить закон. Народ возмущался обвешиванием, качеством мяса, малым количеством костей, дававшихся в придачу, и обилием тайных рынков, которые появились вокруг Парижа. За недостатком мяса приходилось бить тельных коров, и народ тотчас объявил, что мясники-аристократы хотят вывести весь скот и следует постановить смертную казнь против тех, кто станет бить тельных коров и овец.

Но и это еще было не всё: на рынки больше не привозили ни овощи, ни плоды, ни яйца, ни масло, ни рыбу. Телеги с провизией поджидали на дороге, обступали, товар раскупался по какой угодно цене, и лишь немногие доезжали до Парижа, где народ тщетно ждал их. Как только на что-нибудь появляется спрос, появляется и предложение. Нужно было выходить далеко в поле, чтобы встречать поселян, привозивших овощи: сейчас же нашлись толпы мужчин и женщин, которые занялись этим и раскупали продукцию для зажиточных горожан, назначая цены выше максимума. Если где-нибудь открывался рынок побогаче, эти люди бежали туда и разбирали товар тем же порядком. Народ страшно злился на занимавшихся этим промыслом; говорили, что между ними было много несчастных публичных женщин, которые, лишившись по милости Шометта своего прежнего печального промысла, принялись за это новое дело.

Чтобы устранить все эти неудобства, коммуна запретила мясникам выходить за пределы рынков встречать скот; обязала их бить скотину только в узаконенных бойнях; приказала полиции принимать их и рассылать по разным рынкам; запретила стояние перед дверями мясных лавок в ожидании своей очереди раньше шести часов утра.

Всё это никак не облегчало жизни людей. Ультрареволюционеры ломали головы, придумывая какие-нибудь дополнительные средства. Наконец они набрали на новую мысль: сады, которыми изобиловали парижские предместья, в особенности Сен-Жерменское, можно было превратить в огороды. Коммуна, не отказывавшая ультрареволюционерам ни в чем, тотчас же постановила: посадить в садах картофель и другие овощи.

Затем возникло предположение, что если подвоз в город овощей, молочных продуктов и домашней птицы прекратился, то причина тому – аристократы, удалившиеся в свои загородные дома: и действительно,

множество людей скрывались в это время в предместьях. Несколько секций предложили коммуне издать постановление или потребовать закона, обязывающего всех их вернуться в город. Однако Шометт почувствовал, что такое насилие было бы уж чересчур гнусным посягательством на личную свободу, и удовольствовался угрожающей речью против аристократов, удалившихся из Парижа в тяжелый час, обратился к ним с приглашением вернуться и поручил местным муниципалитетам надзирать за ними.

Между тем нетерпение народа достигло высшей степени. На рынках усилились беспорядки. Перед мясными лавками собирались такие же толпы и, несмотря на запрещение, всё так же рано. Сюда перешел обычай, возникший перед пекарнями: к двери привязывалась веревка, и каждый держался за нее, чтобы нельзя было сбить очередь. Но и тут, как перед пекарнями, злоумышленники или люди, недовольные своим местом в очереди, перерезали веревку; тогда очередь сбивалась, вся толпа приходила в беспорядок, и нередко затевались драки.

Теперь уже решительно не знали, кого винить. Однако надо было жаловаться и сетовать. Эполетчики, чиновники Бушотта, кордельеры говорили, что причиной всему – фракция умеренных в Конвенте; что виновники всего – Камилл Демулен, Филиппо, Бурдон и их друзья; что дальше так существовать нельзя и надо прибегнуть к чрезвычайным средствам. При этом они повторяли вечную песнь всех восстаний «Нам нужен глава!» и таинственно шептали друг другу на ухо: «Паш будет назначен главным судьей».

Однако, хотя новая партия и располагала довольно значительными средствами, хотя на ее стороне были революционная армия и голод, она не имела за собой ни правительства, ни общественного мнения, потому что якобинцы были против нее. Ронсен, Венсан и Эбер вынуждены были выказывать к властям наружное почтение, скрывать свои замыслы и разрабатывать их подпольно. Перед 10 августа и 31 мая заговорщики были полными хозяевами в коммуне и всех клубах, включая якобинский и кордельерский, имели в Национальном собрании и комитетах многочисленных и энергичных приверженцев, могли открыто составлять заговоры, увлекать за собою народ и использовать его для выполнения задуманного. Не то было теперь, когда очередь дошла до

ультрареволюционеров. Теперь власть не отказывала ни в каких чрезвычайных средствах в отношении обороны, ни даже в мщении; не было более измен, обличавших ее в недостатке бдительности; напротив, победы, одержанные на всех границах, свидетельствовали о ее силе, искусстве и усердии. Следовательно, те, кто нападал на эту власть и сулил большую энергию и большее искусство, были интриганам, действовавшими в видах собственного честолюбия. Таково было убеждение общества, и заговорщики не могли льстить себя надеждой увлечь за собой народ. Поэтому они могли быть опасны, если дать им действовать, но нисколько не опасны, если вовремя остановить.

Комитет наблюдал за новыми революционерами и продолжал подрывать влияние обеих партий. На ультрареволюционеров он смотрел как на настоящих заговорщиков, которых надлежало истребить, тогда как в умеренных видел только старых друзей, одних с ним убеждений, патриотизм которых никак не подлежал сомнению. Но если бы власть поразила одних ультрареволюционеров, могло бы показаться, что остальным делают послабления, а потому были вынуждены усиливать террор и поступать строго и с умеренными. Последние протестовали. Демулен выпускал новые номера газеты; Дантон и его друзья оспаривали в своих беседах доводы комитета; завязалась словесная и письменная полемика, которая вскоре перешла во взаимное раздражение. Сен-Жюст, Робеспьер, Барер, Бийо-Варенн, сначала отвергавшие умеренных только из политического расчета, начинали уже преследовать их из личного раздражения и ненависти. Демулен напал, как мы видели, на Колло и Барера. В своем письме к Дильону он отпускал на счет догматического фанатизма Сен-Жюста и жесткости Бийо-Варенна шутки, глубоко уязвившие этих двух вождей. Наконец, он раздражил Робеспьера и, расточая ему похвалы, кончил, однако, тем, что совершенно отдалил его от себя. Дантон был неприятен этим людям благодаря своей громкой репутации, а теперь, когда он остался в стороне от дел и только критиковал правительство, как будто вдохновляя едкое и болтливое перо Демулена (так выразился сам Камилл в одной из статей), то с каждым днем становился ненавистнее, и Робеспьер вряд ли еще раз рискнул бы защитить его.

Робеспьер и Сен-Жюст, привыкшие излагать принципы от имени комитета и заведовать, так сказать, нравственной частью правительства,

тогда как Бареру, Карно, Бийо и другим предоставлялись материальная и административная части, внесли два доклада: один – о нравственных принципах, которыми должно руководствоваться революционное правительство, а другой – об арестах, против которых Демулен восставал в своем «Старом кордельере». Стоит посмотреть, как эти два мрачных ума понимали революционное правительство и способы возрождения государства.

«Основной принцип демократического правительства – добродетель, – писал Робеспьер в своем докладе, зачитанном на заседании 5 февраля (17 плювиоза), – а средство его, пока оно учреждается, – террор.

Мы хотим заменить в нашем отечестве эгоизм – нравственностью, честь – честностью, обычаи – принципами, приличия – обязанностями, тиранию моды – владычеством разума, презрение к несчастью – презрением к пороку, дерзость – гордостью, тщеславие – величием духа, любовь к деньгам – любовью к славе, хорошее общество – хорошими людьми, интригу – заслугами, остроумие – гением, блеск – правдой, скуку сладострастия – прелестью счастья, мелочность вельмож – величием человека, милый, легкомысленный и несчастный народ – народом великодушным, могущественным, счастливым. Одним словом, заменить все пороки и смешные стороны монархии всеми доблестями и чудесами республики».

Чтобы достичь этой цели, объяснялось далее в докладе, требуется правительство суровое, энергичное, преодолевающее сопротивление всякого рода. С одной стороны – невежество, зверское, алчное, которое ничего не хочет, кроме смут и переворотов, с другой – растление, трусливое, подлое, которое хочет пользоваться всеми наслаждениями старой роскоши и не может решиться на добродетели демократии. Отсюда вытекают две фракции: одна хочет довести всё до крайности, переступить всякие границы, чтобы искоренить суеверие, хотела бы уничтожить самого Бога и пролить потоки крови под предлогом отмщения за Республику; другая, малодушная, порочная, не чувствует в себе столько добродетели, чтобы быть грозной, и только умеет стенать над необходимыми жертвами, которых требует водворение добродетели. Одна из этих фракций, как сказал как-то Сен-Жюст, хочет обратить свободу в вакханку, другая – в проститутку.

Робеспьер и Сен-Жюст перечисляли сумасбродства нескольких агентов революционного правительства и двух-трех прокуроров, имевших претензию повторить энергичность Марата, намекая при этом на сумасбродства Эбера и его клики. И в то же время они указывали на вред, слабости, угодливость, приписываемые новым умеренным; упрекали их за жалость к вдовам генералов, к интриганкам из бывшего дворянства и к аристократам за то, что те всё толкуют о строгостях республики, далеко уступающих жестокостям монархии. «У вас теперь сто тысяч человек содержатся в заточении, – говорил Сен-Жюст, – и Революционный трибунал приговорил уже трехсот виновных. Но при монархии у вас было четыреста тысяч арестантов; в год вешали по пятнадцать тысяч контрабандистов, колесовали три тысячи человек; да и теперь еще в Европе имеется четыре миллиона узников, воплей которых вы не слышите, между тем как ваша преступная умеренность позволяет торжествовать всем врагам вашего правительства».



Сен-Жюст

Оба – и Робеспьер, и Сен-Жюст – в один голос говорили, что эти две фракции, внешне столь противоположные, имеют одну точку опоры – иностранцев, которые заставляют их действовать на погибель Республике.

Ясно, что в систему взглядов комитета входили и фанатизм, и политический расчет, и ненависть. Демулен усматривал нападки на себя и своих друзей в намеках и даже прямых высказываниях. В «Старом Кордельере» он противопоставлял системе добродетели систему счастья, говоря, что следует любить республику потому, что она должна увеличить общее благоденствие; потому, что торговля и промышленность цвели с большим блеском в Афинах, в Венеции, во Флоренции, чем во всех монархиях; потому, что только республика может осуществить лживое пожелание монархий, чтобы в каждом доме

варилась курица^[13]. «Чем мешала бы Питту свобода Франции, – писал Демулен, – если бы служила только тому, чтобы вернуть нас к невежеству древних галлов, к их первобытной одежде, дубовой омеле, домам, которые были не чем иным, как глиняными, тесными, душными мазанками? Питт не только не сокрушался бы из-за приобретения нами такой свободы, но, думаю, дал бы немало гиней, чтобы она у нас водворилась. Но свобода состоит не в равенстве в лишениях, и лучшей похвалой Конвенту было бы, если бы он мог сказать о себе: “Я застал нацию без штанов, а оставляю – в штанах”»^[14].

Что за прелесть эта афинская демократия! Солон там не слыл за щеголя; и хотя его нисколько не затрудняло признаваться в склонности к вину, женщинам и музыке, однако он считался образцом законодателя, и оракул провозгласил его первым из семи мудрецов, и слава его мудрости утвердилась так прочно, что и теперь его имя произносится в Конвенте и у якобинцев не иначе как имя величайшего законодателя».

Демулен сетовал, что к афинским нравам не захотели присовокупить и свободу слова, которой пользовалась эта республика. Аристофан рисовал полководцев, ораторов, философов, даже самый народ; и афинский народ, изображаемый то в виде старика, то в виде юноши, не только не сердился, но провозглашал Аристофана победителем в играх и поощрял его похвалами, рукоплесканиями и венками. Многие из его комедий были направлены против ультрареволюционеров того времени и содержали жестокие насмешки. «И если бы сегодня, – продолжал Демулен, – кто-нибудь перевел любую из этих комедий, сыгранных за 430 лет до Рождества Христова, Эбер утверждал бы, что она написана не далее как вчера и сочинил ее Фабр д’Эглантин против него и Ронсена, а виновник голода при этом, несомненно, переводчик...

Впрочем, я обманываю себя, говоря, что люди переменились. Люди всегда были такими же, и свобода слова была не более безнаказанна в древних республиках, нежели в новых. Сократ, обвиненный в злословии против богов, должен был выпить цикуту; Цицерон, за то, что напал словесно на Антония, был казнен».

Итак, бедный молодой человек предсказывал, что свобода не

пройдет ему даром, как не прошла стольким другим. Эти шутки, это красноречие раздражали комитет. Пока комитет следил за Ронсеном, Эбером, Венсаном и всеми агитаторами, в его недрах зарождалась пагубная злоба против талантливого писателя, насмехавшегося над его взглядами; против Дантона, который будто бы вдохновлял этого писателя; наконец, против всех предполагаемых друзей или сторонников этих двух вождей.

Чтобы не уклоняться от начертанной линии, комитет вслед за отчетами Робеспьера и Сен-Жюста внес два декрета, имеющих целью осчастливить народ в ущерб его врагам. Этими декретами Комитет общественной безопасности один облакался правом рассматривать жалобы узников и освобождать тех, кто будет признан патриотом. Все же те, напротив, кто будет признан врагами Революции, должны были оставаться под арестом до заключения мира, а потом их следовало навсегда изгнать из страны. Их временно конфискованное имущество предлагалось разделить между неимущими патриотами, списки которых поручили составить коммунам. Декреты эти, придуманные Сен-Жюстом, должны были служить ответом ультрареволюционерам и сохранить репутацию комитету.

Заговорщики тем временем волновались и бесновались всё больше. Ничто не доказывает, что у них были какие-либо установившиеся планы или что в эти планы были посвящены коммуна и Паш. Но они принялись за дело как перед 31 мая, поднимали народные общества, кордельеров, секции, распространяли угрожающие слухи и старались извлечь выгоду из голода, который с каждым днем ощущался с большей силой.

На рынках вдруг появились афиши и брошюры, объявлявшие, что причиной всех страданий народа является Конвент и нужно вырвать из его рядов опасную фракцию, которая стремится снова вызвать к жизни бриссотинцев и их пагубную систему. В некоторых из этих писаний даже говорилось, что надо обновить весь состав Конвента, сменить главу, организовать исполнительную власть и прочее и прочее... Словом, все мысли, которые долго вынашивали Венсан, Ронсен и Эбер, наполняли эти страницы и выдавали авторов.

В то же время непомерно возгордились и разбушевались

эполетчики, громко грозя отправиться в тюрьмы резать врагов, которых Конвент с таким упорством щадит. Они говорили, что в тюрьмах с аристократами перемешано много патриотов, что надо освободить патриотов и дать им оружие. Ронсен в парадном костюме генерала революционной армии, в трехцветном шарфе с красной кистью, окруженный несколькими офицерами, лично обходил тюрьмы, требовал книги и составлял списки.

Наступает 6 марта (15 вантоза). Секция Марата собирается под председательством Моморо и объявляет, что, негодуя по поводу махинаций врагов народа, она поднялась на ноги, желает приостановить действие Декларации прав и пробудет в этом состоянии до тех пор, пока народу не будет обеспечено пропитание, а враги его не будут наказаны. В тот же вечер шумно сходятся кордельеры. Их ораторы представляют картину страданий народа; рассказывают, каким гонениям недавно подвергались патриоты Ронсен и Венсан, как они лежали больные в Люксембургской тюрьме и не могли добиться даже врача. Итак, Отечество в опасности, действие Декларации прав человека временно приостановлено. Так начинались все восстания: заявлением о том, что действие всех законов приостанавливается и народ вступает в полное пользование своими державными правами.

На другой день секция Марата и кордельеры явились в коммуну, чтобы сообщить ей свои постановления и привлечь ее к тем же мерам. Паш предусмотрительно не пришел в ратушу, и на заседании Генерального совета председательствовал некто Любен. Он отвечает депутации с видимым замешательством; говорит, что в то самое время, когда Конвент принимает такие решительные меры против врагов Революции и для поддержки неимущих граждан, странно устраивать такие демонстрации и приостанавливать действие Декларации прав. Притворяясь, будто защищает Генеральный совет (точно его обвиняют), Любен присовокупляет, что совет сделал всё, чтобы обеспечить людей продовольствием и урегулировать раздачу провизии.

Шометт произносит такие же неопределенные речи, уговаривает депутацию сохранить мир, требует доклада о новых огородах и продовольствовании столицы, которая, согласно декрету, должна быть снабжена провиантом, как крепость в военное время.

Итак, главы коммуны колебались, и движение, хотя и бурное, не было настолько сильным, чтобы увлечь их за собою и внушить достаточно храбрости. Всё же беспорядок образовался большой, начиналось восстание, которое вызывало не меньшие, чем раньше, опасения. По неприятному стечению обстоятельств Комитет общественного спасения в эту минуту был лишен самых влиятельных своих членов: Бийо-Варенн и Жанбон Сент-Андре отсутствовали из-за административных дел; Кутон и Робеспьер были больны, и последний не мог посещать своих верных якобинцев и управлять ими. Оставались только Сен-Жюст и Колло д'Эрбуа. Они отправились в Конвент, и по их предложению Конвент сейчас же призвал Фукье-Тенвиля, поручил ему немедленно отыскать распространителей поджигательных статей, разошедшихся по рынкам, агитаторов, будораживших народные общества, — словом, всех заговорщиков, угрожавших общественному спокойствию. Декрет приказывал немедленно арестовать их и представить об этом в Конвент доклад не позднее, чем через три дня.

Конвент никогда не отказывал в декретах против возмутителей; не отказывал даже жирондистам против непокорной коммуны. Но декретов было мало; надо было обеспечить исполнение этих декретов, склонив на свою сторону общественное мнение. Колло, пользовавшийся большой популярностью у якобинцев и кордельеров благодаря своему красноречию и в особенности благодаря известной всем энергии, берется всё устроить и отправляется в Клуб якобинцев. Он представляет им картину фракций, угрожающих свободе и готовящих заговоры.

— Скоро откроется новая кампания, — говорит он. — Заботы комитета, так счастливо окончившие последнюю кампанию, обеспечат Республике новые победы. Рассчитывая на ваше доверие и одобрение, комитет предавался своим трудам, но вдруг наши враги вздумали помешать ему; они подняли патриотов с целью составить из них оппозицию, а потом заставить их перерезать друг друга. Но нет, благодаря вашей рассудительности мы останемся добрыми друзьями и будем только солдатами свободы! Опираясь на вас, комитет сумеет достойно сопротивляться, подавить агитаторов, выбросить их из рядов патриотов и, принеся эту необходимую жертву, продолжит свои труды. Вы нас поставили на опасное место, но никто из нас не трепещет. Комитет общественной безопасности принимает на себя тяжелую

задачу – надзирать за всеми врагами, тайно расставляющими козни свободе, и преследовать их; Комитет общественного спасения ничего не упускает, чтобы справиться со своей громадной задачей, но оба нуждаются в вашей поддержке. В эти опасные дни нас немного. Следовательно, необходимо одно из двух: или поддержите нас, или мы удалимся.

– Нет! нет! – кричат якобинцы. – Не уходите, мы вас поддержим!

Эти ободряющие слова сопровождаются громкими рукоплесканиями. Колло продолжает и рассказывает всё, что происходило у кордельеров.

– Есть люди, – говорит он, – которые никогда не имели твердости духа, чтобы вынести даже несколько дней заключения; люди, которые ничего не терпели в продолжение всей революции; люди, за которых мы заступились, когда считали их угнетенными, и которые захотели вызвать восстание в Париже, потому что посидели немного в тюрьме. Восстание из-за того, что два человека пострадали, что за ними не ухаживал доктор, когда они были нездоровы! Анафема тем, кто хочет восстания!

– Да! Да! Анафема! – в один голос вторят якобинцы.

– Марат был кордельером, – продолжает Колло. – Марат был якобинцем, и что же! Он тоже подвергался гонениям, и, конечно, гораздо больше этих выскочек; он был поставлен перед судилищем, перед которым должны были являться только аристократы. И вызвал ли он восстание? Нет! Священное восстание, то восстание, которое должно избавить род человеческий от всех его притеснителей, исходит из чувств более благородных, чем мелкое чувство, в которое нас хотят вовлечь сейчас.

Комитет общественного спасения не поддается интриганам, он принимает решительные меры и, хотя бы ему пришлось погибнуть, не отступит перед столь славною задачей!

Едва Колло останавливается, Моморо принимается оправдывать секцию Марата и кордельеров. Он подтверждает, что действие Декларации приостановлено, но от прочих фактов отрекается; отрицает проект восстания и утверждает, что секция Марата и кордельеры воодушевлены самыми светлыми чувствами. Заговорщики, начавшие себя оправдывать, обречены. Как только они не могут поднять

восстание, как только одно декларирование цели не вызывает порыва общественного мнения в их пользу, — они бессильны. Якобинцы слушают Моморо с явным неодобрением и поручают Колло отправиться от их имени к кордельерам, побрататься с ними и вернуть братьев, введенных в заблуждение коварными наущениями.

Была уже поздняя ночь, и Колло не мог отправиться к кордельерам ранее следующего дня; но опасность, сначала ужасающая, теперь уже не была так страшна. Становилось очевидно, что общественное мнение сложилось неблагоприятно для заговорщиков, если всё еще можно было их так называть. Коммуна отшатнулась; якобинцы остались верны комитету и Робеспьеру, хотя он был в отсутствии и болен. Кордельеры, буйные, слабо управляемые, не могли не подчиниться красноречию Колло д'Эрбуа, особенно чувствуя себя оставленными коммуной и якобинцами; их не могла также не подкупить честь видеть у себя такого знаменитого члена правительства. Венсан со своим сумасбродством, Эбер с его грязной газеткой, Моморо с его постановлениями секции Марата не могли вызвать решительного движения. Один Ронсен, имея за собой эполетчиков и порядочное количество зарядов, мог попытаться что-нибудь предпринять. У него хватило бы на это смелости, но оттого ли, что он не встретил такой же смелости в своих друзьях или не мог положиться на своих людей, — он даже не пошевелился, и всё дело ограничилось волнениями и угрозами. Эполетчики, рассеянные по народным обществам, пошумели, но не посмели взяться за оружие.

Восьмого марта (17 вантоза) вечером Колло явился в Клуб кордельеров, где был встречен громкими рукоплесканиями. Он сказал там, что тайные враги Революции стараются ввести их в заблуждение и настаивают на том, что Отечество в опасности, тогда как, напротив, в отчаянном положении находятся монархия и аристократия. Он заявил, что эти люди старались посеять раздор между кордельерами и якобинцами, тогда как они, напротив, должны образовать одну семью, с едиными принципами и намерениями; что сам план восстания и приостановка действия Декларации прав радуют аристократов и что, следовательно, если они не хотят осчастливить врага, то должны поспешить с исправлением ошибки. Кордельеры были увлечены сказанным и, хотя между ними было много чиновников Бушотта, поспешили покаяться, сорвали креп, брошенный на Декларацию прав,

и просили Колло уверить якобинцев в том, что они всегда будут идти тем же путем.

Колло д'Эрбуа поспешил к якобинцам объявить им о победе над кордельерами и ультрареволюционерами. Стало быть, заговорщики были покинуты решительно всеми, им оставалось идти только напролом, а это, как мы уже говорили, было почти невозможно. Комитет общественного спасения решил предупредить всякое движение с их стороны, арестовав главных зачинщиков и тотчас же отослав их в Революционный трибунал. Фукье велели подыскать факты и немедленно подготовить обвинение. Сен-Жюсту в то же время было поручено составить доклад Конвенту.

Тринадцатого марта (23 вантоза) Сен-Жюст представляет свой доклад. Придерживаясь принятой системы, он упорно указывает на «иноземцев», управляющих двумя фракциями. Он говорит, что одна из этих фракций приняла на себя почин, пыталась поднять знамя восстания, но вовремя остановлена и безотлагательно будет арестована, а он, Сен-Жюст, поэтому просит декрета, объявляющего смертную казнь всем, кто задумывал ниспровержение властей, старался разными махинациями развратить общественный дух и республиканские нравы, мешал подвозу продовольствия и каким бы то ни было способом потворствовал плану, задуманному «иноземцами».

Наконец, Сен-Жюст объявляет, что с этой минуты необходимо руководствоваться лишь справедливостью, честностью и всеми республиканскими добродетелями.

В этом докладе, исполненном неистового фанатизма, угрозы доставались всем партиям поровну, но выдавались Революционному трибуналу только заговорщики-ультрареволюционеры Эбер, Ронсен и Венсан и депутаты, подделавшие декрет, – Шабо, Базир, Фабр и Жюльен. Те, кого Сен-Жюст именовал снисходительными и умеренными, хранили зловещее молчание.

Вечером того же дня Робеспьер является в Клуб якобинцев, где его принимают с восторженными рукоплесканиями, обступают, поздравляют с выздоровлением, обещают безграничную преданность. Он просит на следующий же день назначить чрезвычайное заседание для разъяснения тайны, окружающей раскрытый заговор. Заседание назначают. Коммуна тоже спешит заявить о себе с хорошей стороны. По

предложению Шометта она требует чтения последнего доклада Сен-Жюста и посылает в правительственную типографию за экземпляром.

Всё покоряется всесильной власти Комитета общественного спасения. В эту ночь по распоряжению Фукье-Тенвиля арестованы Эбер, Венсан, Ронсен, Моморо, Мазуэль (один из офицеров Ронсена), наконец, банкир Кох. Таким образом, комитет арестовал двух иностранных банкиров, чтобы убедить всех в том, что обеими фракциями управляет коалиция. Барон Батц должен был служить живым доказательством этого факта в деле Шабо, Жюльена и Фабра, в ущерб всем умеренным. Кох должен был доказать то же самое в отношении Венсана, Ронсена и ультрареволюционеров.

Обвиненные дали себя арестовать, не сопротивляясь, и на другой день были отправлены в Люксембургскую тюрьму. Узники радостно сбежались посмотреть на этих бешеных, которые так пугали их, угрожая новым сентябрем. Ронсен обнаружил большую твердость и беспечность, подлый Эбер трусил и совсем упал духом, Моморо находился в каком-то оцепенении, с Венсаном сделались конвульсии. Слух об этих арестах мигом разнесся по Парижу и вызвал всеобщую радость. К несчастью, говорилось также, что это еще не всё и что будут поражены все фракции. То же самое повторяли и на чрезвычайном заседании у якобинцев.

Военное ведомство, революционная армия, кордельеры были задеты в равной степени. Решили принять строгие меры и против коммуны. Только и было толков, что о должности главного судьи для Паша; но он был известен как человек, неспособный связаться с заговором, послушный высшей власти, уважаемый народом, и потому комитет не решился тронуть его, чтобы не наделать слишком большого шума. Предпочли арестовать Шометта, который не был ни смелее, ни опаснее Паша, но из тщеславия и увлечения оказался автором самых безрассудных постановлений коммуны и одним из усерднейших проповедников поклонения Разуму. Итак, несчастный Шометт был арестован и отправлен в Люксембургскую тюрьму вместе с епископом Гобелем и Клоотсом, уже исключенным из списка якобинцев и из Конвента.

Когда Шометта привезли в тюрьму, подозрительные сбежались встречать его и осыпали насмешками. Бедняга, при всей страсти к

декламаторству, не имел и тени отваги Ронсена или ярости Венсана. Его жидкие волосы, его боязливые взоры придавали ему вид проповедника. Узники напоминали Шометту его речи против публичных женщин, против аристократов, против голода, против подозрительных. Он стал дрожащим тоном извиняться и после уже не смел выходить из своей кельи в общий двор.

Комитет, арестовав этих несчастных, поручил Комитету общественной безопасности составить обвинительный акт против Шабо, Базира, Делоне, Жюльена и Фабра. Все пятеро были отданы под суд и отосланы в трибунал. В это самое время вдруг узнали, что некая эмигрантка, преследуемая одним из революционных комитетов, укрылась у Эро де Сешеля. Этот депутат, пользовавшийся известностью, обладавший не только большим состоянием и знатным происхождением, но и замечательной красотой, умом и образованием, друг Дантона, Камилла Демулена и Проли, сам часто пугавшийся, видя себя среди этих ужасных революционеров, – этот депутат уже попал в число подозрительных; хоть он и являлся основным автором конституции, но это было забыто. Комитет поспешил арестовать его, во-первых, потому, что не любил; во-вторых, чтобы показать, что не даст никому поблажки и не будет снисходительнее к провинившимся умеренным, нежели к другим. Удары грозного молота одновременно падали на людей всех званий, всех убеждений, всякого рода различий.

Двадцатого марта (1 жерминаля) начался суд над частью заговорщиков. Под одно обвинение подвели Ронсена, Венсана, Эбера, Моморо, Мазуэля, Коха, Леклерка, продовольственных комиссаров Анкара и Дюкроке и еще нескольких членов революционной армии и военного ведомства. Чтобы поддержать идею о сообщничестве ультрареволюционной фракции с иностранной, в тот же обвинительный акт включили Проли, Дюбюиссона, Перейру и Дефье, которые не имели никаких сношений с остальными обвиняемыми. Шометта оставили впредь до суда над Гобелем и другими участниками сцен поклонения Разуму.

Клоотса следовало бы поместить в последнюю группу, но в качестве иностранца он был присоединен к первой. Эта группа состояла из двенадцати человек. Ронсен и Клоотс отличились наибольшей

смелостью и твердостью.

«Это политический процесс, – говорил Ронсен своим товарищам. – К чему все ваши бумаги и приготовления к защите? Вы будете осуждены. Когда надо было действовать – вы говорили. Сумейте же хоть умереть. Что до меня, клянусь, я глазом не моргну; постарайтесь и вы держать себя так же».

Труссы Эбер и Моморо стонали и стонали, что свобода погибла. «Свобода погибла оттого, – воскликнул однажды Ронсен, – что гибнут несколько жалких личностей! Свобода бессмертна; наши враги погибнут после нас, а свобода переживет их всех!»

Прочие обвиняемые осыпали друг друга упреками, но Клоотс пристыдил их, доказывая, как глупо еще увеличивать общее несчастье пошлыми перебранками. До самого эшафота погруженный в свои философские идеи, Клоотс старался искоренить в своих товарищах последние остатки деизма и не переставал проповедовать учение о природе и разуме с пламенным усердием и непостижимым презрением к смерти.

Когда заключенных привели в трибунал, их ожидало там громадное стечение публики. Из самого рассказа об их деяниях видно, к чему сводился знаменитый заговор. Эти клубисты третьей руки, чиновники-интриганы, головорезы, зачисленные в революционную армию, всё преувеличивали – как свойственно подчиненным, которые вечно искажают данные им приказы чрезмерным усердием. Они хотели довести революционное правительство до звания простой военной комиссии, отмену суеверий – до гонений против всех вероисповеданий, республиканские нравы – до грубости, свободу слова – до отвратительнейшего площадного сквернословия, наконец, демократическое недоверие и строгость – до ужаснейших поношений. Им было слишком далеко до глубоко продуманного настоящего заговора, да еще в сообщничестве с иностранцами. Это коварное предположение было чисто вымыслом комитета, который поручил не менее гнусному, чем его обвиняемые, Фукье-Тенвиллю доказать суду основательность заговора, а суду приказал принять его за чистую монету.

Словесные оскорбления, нанесенные Венсаном и Ронсеном Лежандру, когда они вместе обедали у Паша, их многократно

повторяемые предложения организовать исполнительную власть – всё это было приведено в качестве доказательства их намерений уничтожить национальное представительство и Комитет общественного спасения. Обеды у банкира Коха приводились как доказательства сношений с «иноземцами». К этим «уликам» присовокупили еще следующую: в письмах из Парижа и Лондона, напечатанных в английских газетах, говорилось, что, судя по господствующему хаосу, следует ожидать новых волнений. «Письма эти, – объявили подсудимым, – доказывают, что иноземцы были посвящены в ваши замыслы, так как заранее предсказывали ваши заговоры».

Голод, в котором мнимые заговорщики обвиняли правительство, был приписан им одним, и Фукье, оплачивая за клевету клеветой, уверял их, что виноваты в нем они, потому что посылали грабить по дорогам телеги с овощами. Военные припасы, скопленные в Париже для революционной армии, были отнесены к приготовлениям к восстанию, посещение тюрем Ронсеном оказалось намерением дать оружие подозрительным и выпустить их на Париж; наконец, афиши и брошюры, пущенные по рынкам, и приостановление действия Декларации прав были выданы за начало исполнения заговора. Эбер был покрыт позором. Его почти не обвиняли в политических замыслах и в издании газеты, а только доказали, что он воровал рубашки и платки.

Но оставим эти постыдные препирательства между достойными друг друга подсудимыми и обвинителем. Если из этих негодяев, принесенных в жертву общественному спокойствию, некоторые личности и заслуживают более почетного места, то это несчастные иностранцы, Проли и Анахарсис Клоотс, приговоренные как агенты коалиции. Проли, как мы уже говорили, хорошо зная Бельгию, свою родину, порицал невежественное насилие, с которым якобинцы там распоряжались; он был поклонником таланта Дюмурье и сознался в этом перед судом. Благодаря своему знанию иностранных дворов он два или три раза оказался полезен Лебрену – и в этом тоже сознался. На это ему объявили: «Ты порицал революционную систему в Бельгии, ты восхищался изменником Дюмурье, ты был другом Лебрена – следовательно, ты агент иноземцев». Других фактов приведено не было. Что касается Клоотса, то его Всемирная республика, сто тысяч ливров дохода и попытка спасти какую-то эмигрантку были признаны

достаточными уликами.

Едва началось судоговорение, как присяжные уже объявили себя достаточно просвещенными и приговорили всех к смертной казни. Один только человек был оправдан: некто Лабуро, служивший Комитету общественного спасения в этом деле в качестве шпиона.

Двадцать четвертого марта (4 жерминаля) в четыре часа пополудни осужденные были отвезены на место казни. Толпа была так же велика, как при любой из предшествовавших казней. Места занимали на телегах и на столах, расставленных для этого вокруг эшафота. Ни Ронсен, ни Клоотс не моргнули глазом, по их собственному страшному выражению. Эбер, изнемогая от стыда, подавленный всеобщим презрением, даже не старался преодолеть своего малодушия и ежеминутно падал в обморок, а чернь преследовала его до конца знакомым криком разносчиков «Чертовски зол отец Дюшен!».

Так эти жалкие люди были принесены в жертву необходимости установить твердое и сильное правительство; потребность в порядке и повиновении не была пустым софизмом, отговоркой для прикрытия излишних жестокостей. Вся Европа травила Францию, все агитаторы хотели захватить власть и компрометировали общее дело своими ссорами. Было необходимо, чтобы несколько наиболее энергичных людей присвоили себе власть, предмет стольких споров, удержали ее и употребили на то, чтобы дать отпор Европе. Жаль только, что против таких людишек была пущена в ход ложь, что в число их попал человек с таким мужеством, как Ронсен, такой безвредный фантазер, как Клоотс, наконец, может быть, и интриган, но уж никак не заговорщик, притом человек истинно честный, каковым был Проли.

Тотчас после казни эбертистов снисходительные возрадовались открыто и стали говорить, что они не ошибались, обличая Эбера, Ронсена и Венсана, если сам Комитет общественного спасения и сам Революционный трибунал казнили их. «В чем же нас обвиняют? — спрашивали они. — Вся наша вина в том, что мы упрекали этих крамольников в стремлении перевернуть вверх дном страну, уничтожить Национальный конвент, стать на место Комитета общественного спасения, усугубить опасность междоусобной войны опасностью войны религиозной и произвести всеобщий хаос. В этом же

их обвинили Сен-Жюст и Фукье-Тенвиль, за это их послали на эшафот. Так почему же мы – заговорщики и враги Республики?»

Ничто не могло быть вернее этих рассуждений, и комитет был одного мнения с Камиллом Демуленом, Дантоном, Филиппо и Фабром по поводу опасности такого анархического буйства. Доказательством этому служит то, что с 31 мая Робеспьер не переставал защищать Дантона и Демулена и обвинять анархистов. Но, как мы уже сказали, комитет, карая последних, рисковал навлечь на себя обвинения в умеренности, поэтому должен был выказать большую строгость и относительно другой стороны. Следовало критиковать мнения Дантона и Демулена, хоть и разделяя эти мнения, беспощадно бить дантонистов в своих речах, чтобы не показалось, будто им потворствуют больше, нежели эбертистам. В своем докладе против обеих фракций Сен-Жюст одинаково обвинял ту и другую и обошел снисходительных грозным молчанием. У якобинцев Колло сказал, что еще не всё закончено, что готовится доклад против других лиц, еще не арестованных. К этим угрозам присоединился арест Эро де Сешеля.

Такие факты отнюдь не выдавали намерений делать какие-либо послабления, однако со всех сторон говорили, что комитет собирается повернуть вспять, смягчить революционную систему и карать только всякого рода головорезов. Те, кто желали возвращения к более милосердой политике, – узники, их семейства и все мирные граждане, называемые равнодушными, – предались неосторожным надеждам и стали громко говорить, что господство кровавых законов вот-вот кончится. Это скоро сделалось общим мнением; оно разошлось по департаментам, особенно распространилось в департаменте Рона, где уже несколько месяцев творились зверства и где Ронсен наводил на жителей такой ужас. В Лионе вздохнули свободнее, набрались даже смелости взглянуть в лицо угнетателям и предсказать, что скоро наступит конец их жестокостям.

Эти слухи, эти надежды мирного среднего сословия привели патриотов в негодование. Лионские якобинцы отписали в Париж, что аристократия снова поднимает голову, что с ними скоро уже нельзя будет справиться и если они не получают подкреплений и поощрений, то им останется один исход – самоубийство, к которому прибег патриот Гайар, когда Ронсен был арестован в первый раз.

«Я видел, – сказал Робеспьер в Клубе якобинцев, – письма некоторых лионских патриотов. Они все выражают то же отчаяние и, если им не будет оказано самое скорое пособие, найдут облегчение единственно в рецепте Кутона и Гайара. Коварная фракция, которая под вывеской преувеличенного патриотизма хотела истребить патриотов, сама истреблена, но это неважно для иноземца: у него всегда есть в запасе другое. Если бы Эбер восторжествовал, Конвент был бы ниспровергнут, Республика впала бы в хаос, тирания была бы удовлетворена; но под влиянием умеренных Конвент утрачивает свою энергию, злодеяния аристократии остаются безнаказанными, тираны торжествуют. Следовательно, иноземец питает надежды в отношении той и другой фракции и должен всем давать деньги, но ни к одной не привязываться. Какое ему дело до того, что Эбер умирает на эшафоте, когда у него остаются изменники другого рода, при помощи которых он точно так же может добиться своего? Следовательно, вы ничего не сделали, если у вас осталась еще одна фракция».

Одним словом, комитет признал необходимым смыть с себя обвинение в умеренности новым жертвоприношением. Робеспьер защитил Дантона, когда дерзкая фракция нападала на одного из знаменитейших патриотов. Тогда политический расчет и общая опасность побуждали его защищать своего старого товарища. Теперь же, продолжая защищать его, уже утратившего популярность, он компрометировал сам себя. К тому же поведение Дантона должно было навести эту завистливую душу на разные размышления. Что делал Дантон вдали от комитета? Окруженный такими людьми, как Филиппо и Демулен, он казался вдохновителем и главой этой новой секты, которая преследовала правительство критикой и горькими насмешками. С некоторых пор Дантон, сидя против кафедры, с которой выступали члены комитета, казалось, всем своим видом выражал угрозу и презрение. Его позы, его слова, передаваемые из уст в уста, его связи – всё доказывало, что он, отделившись от правительства, сделался цензором и держится в стороне как бы для того, чтобы преграждать правительству путь своей обширной славой. Это еще не всё. Хотя Дантон утратил свою популярность, однако всё еще пользовался репутацией человека, обладающего чрезвычайной отвагой и политической гениальностью. Не будь его, вне комитета не осталось бы

ни одного громкого имени, да и в комитете были уже одни только второстепенные личности: Сен-Жюст, Кутон, Колло д'Эрбуа.

Соглашаясь на эту жертву, Робеспьер одним ударом уничтожал соперника, возвращал правительству его репутацию энергичного и бескомпромиссного, а главное – усиливал свою славу как поборника добродетели, карая человека, обвиняемого в любви к деньгам и удовольствиям. Кроме того, его уговаривали на эту жертву все его товарищи, завидовавшие Дантону еще более его самого. Кутону и Колло д'Эрбуа было небезызвестно, что знаменитый трибун относится к Робеспьеру с некоторым пренебрежением. Бийо, человек холодный и при этом кровожадный, находил в Дантоне что-то великое, подавляющее. Сен-Жюст, суровый и гордый догматик, чувствовал антипатию к деятельному, великодушному, щедрому революционеру и ясно видел, что умри Дантон, он, Сен-Жюст, сделается вторым лицом в Республике. Наконец, все знали, что, предлагая обновить состав комитета, Дантон думал оставить одного Робеспьера. Поэтому все обступили Робеспьера, и не понадобилось слишком больших усилий, чтобы вырвать у него решение, столь приятное его гордости. Неизвестно, вследствие каких объяснений состоялось это решение и в какой именно день, но вдруг все сделались таинственными и грозными.

В Конвенте, в Клубе якобинцев хранили глубокое молчание, но зловещие слухи начали ходить в городе – слухи о том, что Дантон, Демулен, Филиппо и Лакруа скоро будут принесены в жертву для упрочения власти их товарищей. Общие друзья Робеспьера и Дантона, пугаясь этих слухов и понимая, что после подобного акта уже ни одна голова не будет в безопасности, полагая, что и самому Робеспьеру нельзя будет жить спокойно, старались сблизить их и уговаривали объясниться. Робеспьер заперся в упорном молчании, не ответил на эти попытки и соблюдал суровую сдержанность. Когда ему стали говорить о давнишней дружбе с Дантоном, он лицемерно отвечал, что не может ничего сделать; что он ни за ни против своего товарища и на то и существует правосудие, чтобы защитить невинность; что же касается его лично, то вся жизнь его была жертвою чувств отечеству, и если его друг виновен, он с прискорбием пожертвует им Республике, но пожертвует как всеми прочими.

Стало ясно, что всё кончено, что лицемерный соперник Дантона не

хочет быть ему ничем обязанным и предоставляет себе относительно него полную свободу действий. В самом деле, слухи о скором аресте подтверждались всё более. Друзья Дантона собирались у него, приставали, уговаривая стряхнуть нашедшую на него вялость и лень, опять выступить и показать это грозное чело, которое никогда не показывалось среди бури даром. «Знаю, – говорил Дантон на это, – они хотят арестовать меня... Да нет! – спохватывался он затем, – они не посмеют!..» Что ему оставалось делать? Бежать не было возможности. Какая страна захотела бы приютить у себя этого колосса? Да и неужели ему следовало подтвердить своим бегством клевету, распускаемую его врагами? Наконец, он любил свою родину. «Разве отечество можно унести с собою на подметках башмаков?» – говаривал он.

С другой стороны, оставаясь во Франции, Дантон располагал немногими средствами. Кордельеры были преданы ультрареволюционерам, якобинцы – Робеспьеру. На какую силу ему было опереться?.. Вот чего не сообразили те, кто не мог постичь, чтобы этот человек, разгромивший монархию 10 августа, поднявший народ против иноземцев, пал без сопротивления. Революционная гениальность заключается не в том, чтобы подогревать остывшую популярность и создавать силы из ничего, а в том, чтобы смело направлять народ, когда обладаешь его любовью. Великодушие Дантона, его уход от дел отдалили от него народ, во всяком случае настолько, что он не имел уже достаточных сил, чтобы низвергнуть господствующую власть. Сознывая свое бессилие, он ждал и только твердил: «Они не посмеют!» Действительно, можно было предположить, что перед таким великим именем, такими великими заслугами противники его задумаются. Потом Дантон опять впадал в свою лень и в беспечность, свойственную сильным личностям, которые ожидают опасности, не слишком волнуясь и не слишком стараясь избегнуть ее.

А комитет всё молчал, и зловещие слухи всё росли. Шесть дней прошло после казни Эбера. Было 9 жерминаля. Вдруг миролюбивые люди, возымевшие слишком смелые надежды вследствие падения партии бешеных, начали говорить, что скоро поклонению памяти Марата и Шалье придет конец, что в их жизни отыскались какие-то обстоятельства, которые превратят их, так же скоро, как Эбера, из великих патриотов в злодеев. Этот слух, связанный с мыслью о

попятном движении, разошелся с необычайной быстротой, и повсюду повторяли, что бюсты Марата и Шалье скоро будут разбиты. Лежандр донес об этих слухах Конвенту и якобинцам, как бы протестуя от имени своих умеренных друзей против подобного проекта. «Будьте покойны, – заявил Колло якобинцам, – эти слухи будут опровергнуты. Мы разгромили гнусных людей, обманывавших народ, мы сорвали с них маску, но они не одни!.. Мы сорвем все маски. Пусть снисходительные не воображают, что мы ратовали за них, что мы для них собирались здесь на славные заседания. Мы скоро сумеем вывести их из заблуждения».

Действительно, на следующий день Комитет общественного спасения призвал к себе Комитет общественной безопасности и, чтобы придать своим мероприятиям больший авторитет, законодательный комитет. Сен-Жюст начинает говорить и в одном из тех яростных и коварных докладов, на которые он был такой мастер, обвиняет Дантона, Демулена, Филиппо и Лакруа и предлагает арестовать их. Члены обоих других комитетов, испуганные, трепещущие, не осмеливаются противоречить и надеются своим согласием отодвинуть опасность от себя. Приказывается хранить о происходящем глубочайшее молчание, и в ночь на 1 апреля (11 жерминаля) Дантон, Лакруа, Филиппо и Камилл Демулен подвергаются аресту и перевозятся в Люксембургскую тюрьму.

Уже с утра слух об этом событии разошелся по Парижу и поверг город в какое-то оцепенение. Конвент собрался, но хранил молчание, отчасти из страха. Комитет еще не подошел: члены комитета всегда заставляли себя ждать и успели уже усвоить высокомерную дерзость, которую дает власть. Лежандр, которого сочли недостаточно важным человеком, чтобы арестовать вместе с друзьями, поспешил заговорить первым: «Граждане, сегодня ночью арестованы четыре члена этого собрания, один из них Дантон; кто другие – я не знаю, но кто бы они ни были, я требую, чтобы мы их выслушали здесь, в Конвенте. Граждане, заявляю, что считаю Дантона таким же незапятнанным, как я сам, а я не думаю, чтобы кто-нибудь мог меня упрекнуть хоть в чем-нибудь. Я не стану нападать ни на одного члена комитетов, но я вправе опасаться, что частная ненависть и личные страсти отнимут у свободы людей, оказавших ей величайшие и полезнейшие услуги. Тот человек, который

в 1792 году спас Францию своей энергией, заслуживает, чтобы его выслушали, и должен иметь возможность объясниться, когда его обвиняют в измене отечеству».

Предоставить Дантону возможность говорить в Конвенте было лучшим средством спасти его и разоблачить его противников. Многие члены хотели позволить ему говорить, но в эту минуту, раньше других членов комитета, вдруг входит Робеспьер и гневным, угрожающим тоном произносит следующие слова: «По давно не бывалому смятению, царствующему в собрании, по волнению, которое вызвал депутат, сейчас говоривший, видно, что речь идет о крупных интересах, о вопросе, будет ли сегодня нескольким людям дан перевес перед отечеством. Но как могли вы настолько забыть ваши принципы, чтобы хотеть сегодня доставить нескольким людям преимущество, в котором вы же недавно отказали Шабо, Делоне, Фабру д'Эглантину? Откуда такое различие в пользу определенных людей? Какое мне дело до похвал, которые человек воздает себе и своим друзьям?.. Слишком большой опыт научил нас не доверять этим похвалам. Всё дело не в том уже, совершил ли человек такое-то патриотическое действие, а в том, какова была вся его карьера.

Лежандр, по-видимому, не знает имен всех арестованных лиц, однако они известны всему Конвенту. Его друг Лакруа находится в числе арестованных, и почему Лежандр притворяется, будто этого не знает? Потому что он хорошо знает, что нельзя защищать Лакруа без наглости. Он назвал Дантона, потому что думает, что с этим именем связана какая-то привилегия... Нет, мы не хотим привилегий, мы не хотим кумиров!..»

При этих последних словах раздаются рукоплескания, и трусы, которые в это мгновение сами трепещут перед кумиром, рукоплещут низвержению другого кумира, потому что он более не страшен.

Робеспьер продолжает: «Чем Дантон лучше Лафайета, Дюмурье, Бриссо, Фабра, Шабо или Эбера? Что говорят о нем, чего нельзя было бы сказать о них? Однако щадили ли вы их? Вам говорят о деспотизме комитетов, как будто доверие, дарованное вам народом и перенесенное вами на эти комитеты, не было верной гарантией их патриотизма. Высказывают какие-то опасения; но говорю вам, всякий, кто в настоящую минуту трепещет, виновен сам, потому что невинность не

боится общественного надзора. — Тут вновь рукоплещут те же трусы, которые дрожат, но хотят доказать, что не трусят. — И меня тоже хотели напугать, — продолжает Робеспьер. — Меня хотели уверить, что опасность, подходя к Дантону, может дойти и до меня. Мне писали. Друзья Дантона закидали меня письмами, приставали ко мне лично; они думали, что память о старинной связи, прежняя вера в ложные добродетели охладят мое рвение и мою страсть к свободе.

Я объявляю, что если бы опасность, в которой находится Дантон, угрожала и мне, это соображение не остановило бы меня ни на минуту. Тут-то нам всем и требуется некоторое мужество и величие духа. Пошлым или преступным душам всегда страшно смотреть, как падают другие подобные им, потому что, не имея более перед собой преграды из преступников, они остаются под ярким светом истины. Но если в этом собрании есть пошлые души, то есть и геройские, и они сумеют побороть всякий ложный страх. Притом число виновных невелико; зло нашло между нами немногих сторонников, и ценою лишь нескольких голов отечество будет спасено».

Робеспьер набил руку в искусстве ловко и с уверенностью говорить то, что хотел сказать, но еще никогда не достигал такой ловкости и такого коварства. Говорить о жертве, которую приносил он лично, предоставляя Дантона его участи, вменяя себе это в заслугу, объявить,

что готов разделить с ним опасность, наконец, успокоить трусов, упоминая о малом числе виновных, — это было верхом лицемерия и ловкости. Цель была достигнута: все товарищи Робеспьера единогласно решили не дать четверем членам, арестованным этой ночью, выступить в Конвенте.

В эту минуту появляется Сен-Жюст и читает свой доклад. Его выступлениями всегда травили избранных жертв, потому что с хитроумной тонкостью, необходимой, чтобы исказить факты и придавать им значение, которого они не имели в действительности, Сен-Жюст соединял редкую силу и неистовство слога. Никогда еще не был он так ужасно красноречив, никогда так ужасно не лгал, потому что при всей своей ненависти не мог верить во всё, что утверждал в своем докладе. После длинной клеветы, возведенной на Филиппо, Камилла Демулена, Эро де Сешеля, после обвинения Лакруа Сен-Жюст наконец добирается до Дантона и выдумывает самые небывалые факты или

безобразно искажает факты действительные, всем известные. Если верить ему, Дантон жаден, ленив, лжив и даже труслив: он продавал себя сначала Мирабо, потом Ламетам; вместе с Бриссо редактировал петицию, ставшую причиной стрельбы на Марсовом поле, не для того, чтобы низвергнуть монархию, а чтобы погибли лучшие граждане.

Потом он безнаказанно уехал в Арси-сюр-Об отдыхать и наслаждаться плодами казней, а 10 августа спрятался и показался опять только для того, чтобы сделаться министром. Он связался с орлеанской партией, и благодаря его влиянию герцог Орлеанский и Фабр попали в число депутатов. Затем Дантон связался с Дюмурье, к жирондистам он питал лишь притворную ненависть и всегда умел с ними ладить; был против 31 мая и хотел арестовать Анрио. После наказания Дюмурье, Орлеана и жирондистов он вступил в переговоры с партией, которая желала восстановить на престоле Людовика XVII. Он брал деньги из всех рук – Орлеана, Бурбонов, иностранцев, – обедал с банкирами и аристократами. Наконец, этот новый Каталина, алчный, ленивый, развратитель общественных нравов, еще раз схоронил себя в Арси-сюр-Об, чтобы насладиться награбленным добром. Затем он вернулся оттуда и опять столкнулся с врагами государства – Эбером и его кликой – через посредство иностранцев и с целью напасть на комитет и людей, которых Конвент облек своим доверием.

Выслушав это безбожное вранье, Конвент постановил: отдать под суд Дантона, Демулена, Филиппо, Эро де Сешеля и Лакруа. Арестованные депутаты были отвезены всё в ту же Люксембургскую тюрьму. Лакруа говорил Дантону:

– Нас арестовали! Нас!.. Никогда бы этого не подумал!

– Никогда бы не подумал? – повторил Дантон. – А я так и знал; меня уведомили.

– Ты знал и ничего не сделал?! – воскликнул Лакруа. – Вот она, твоя вечная лень; она погубила нас!

– Я не предполагал, чтобы они посмели привести свое намерение в исполнение, – возразил Дантон.

Все узники столпились у входа, чтобы посмотреть на знаменитого Дантона и Камилла Демулена, по милости которого луч надежды мелькнул в темницах. Дантон, по своему обыкновению, держался гордо,

спокойно и довольно весело; Демулен был озадачен и печален; Филиппо волновался, но был, казалось, выше опасности. Эро де Сешель, опередивший их на несколько дней, выбежал навстречу друзьям и весело обнял их.

— Когда люди делают глупости, — сказал Дантон, — надо уметь смеяться над ними.

Заметив Томаса Пейна, он обратился к нему:

— То, что ты сделал для счастья и свободы твоего отечества, я тщетно старался сделать для своего. Я был счастлив менее тебя, но не более виновен... Меня посылают на эшафот: что ж, друзья, надо отправляться весело!..

На другой день, 2-го числа, обвинительный акт был препровожден в Люксембургскую тюрьму, и обвиненных перевели в Консьержери, чтобы оттуда уже отправить в Революционный трибунал. Демулен пришел в бешенство от чтения этого акта, исполненного самой гнусной лжи, но скоро успокоился и сказал печально: «Я отправляюсь на эшафот за то, что пролил несколько слезинок над участью стольких несчастливцев. Единственное, о чем я сожалею, умирая, это то, что я ничего не смог сделать для них». Все арестанты, каковы бы ни были их убеждения, относились к Демулену с теплым, искренним участием и горячо желали его спасения.

Филиппо сказал несколько слов о своей жене, но оставался спокоен и тих. Эро де Сешель сохранил всю грацию ума и манер, отличавшую его даже между людьми его круга и звания. Он обнял своего верного слугу, который остался при нем в Люксембургской тюрьме, но не мог следовать за ним в Консьержери, утешил его и ободрил.

В то же время в Консьержери были переведены Фабр, Шабо, Базир и Делоне. Решено было судить их вместе с Дантоном, чтобы запятнать его кажущимся сообщничеством с людьми, попавшимися на подлоге. Фабр был болен, почти при смерти. Шабо, не перестававший писать из тюрьмы Робеспьеру, умоляя его о пощаде, и расточать ему самую низкую лесть, чем несколько его не тронул, теперь убедился, что ему не миновать смерти и позора, и решил отравить себя. Он принял сулемы, но страшные боли вызвали у него крики и стоны, он признался в своей попытке, не отказался от медицинской помощи и был переведен в Консьержери таким же больным, как Фабр. Среди мучений в его душе

мелькнуло только одно чувство благороднее других: жгучее сожаление о том, что он скомпрометировал своего друга, Базира, не принявшего участия в его преступлении. «Базир! – повторял Шабо. – Бедный мой Базир! Ты-то тут при чем?»

В Консьержери обвиненные возбудили такое же любопытство, как и в Люксембургской тюрьме. Им было отведено то же помещение, в котором жирондисты провели последние дни своей жизни. Дантон говорил так же энергично, как и вначале. «Сегодня ровно год, – заметил он между прочим, – как я посоветовал учредить Революционный трибунал. Прошу в этом прощения у Бога и людей. Моей целью было предотвратить новую сентябрьскую резню, а не напустить бич Божий». Потом, выражая презрение к своим товарищам, убивавшим его, Дантон сказал: «Эти каины ничего не смыслят в делах правительства. Я всё оставляю в ужасающем беспорядке...» Чтобы характеризовать бессилие слабака Кутона и подлеца Робеспьера, он употребил выражения неприличные, но оригинальные, обличавшие большую свободу и веселость мысли. Один только раз он выразил нечто вроде сожаления в том, что принял участие в революции. «Лучше быть бедным рыбаком, – сказал Дантон, – нежели управлять людьми!»

Лакруа удивился множеству узников, наполнявших темницы, и жалкому их состоянию. «Как?! – сказали ему. – Неужели телеги, нагруженные жертвами, недостаточно ясно показывали вам, что творится в Париже?» А удивление его было искренним: великий урок тем, кто, задавшись политической целью, не останавливают свою мысль на личных страданиях жертв и как будто даже не верят в эти страдания, пока сами не увидят их.

На другой день подсудимые, числом пятнадцать человек, предстали перед трибуналом. В эту группу вошли пять вождей умеренной партии – Дантон, Эро де Сешель, Демулен, Филиппо и Лакруа; четыре депутата, обвиненные в подлоге, – Шабо, Базир, Делоне и Фабр д'Эглантин; оба шурина Шабо, братья Фрей; поставщик д'Эспаньяк; несчастный Вестерман, обвиненный в лихоимстве и в сообщничестве с Дантоном; наконец, два иностранца, друзья обвиненных, испанец Гусман и датчанин Дидерихс. Комитет имел целью смешать умеренных с лихоимцами и иноземцами и этим доказать, что умеренность есть продукт недостатка республиканской доблести в соединении с

обольщениями золотом иноземцев.

Толпа на этот процесс сбегалась громадная. Дантон своим присутствием пробудил в людях частичку прежнего чувства. Фукие-Тенвиль, судья и присяжные, извлеченные из ничтожества его мощной рукой, чувствовали себя при нем неловко; его уверенная, гордая осанка смущала их, и он казался скорее обвинителем, нежели обвиняемым. Председатель Герман и Фукие-Тенвиль, вместо того чтобы назначить присяжных по жребии, согласно закону, назначили их по своему выбору и отобрали «надежных», по их собственному выражению.

Начался допрос подсудимых. На обычные вопросы касательно лет, имени и места жительства Дантон ответил, что ему тридцать четыре года, что имя его скоро будет в Пантеоне, а он сам – в небытии. Камиллу было тридцать три года, Базиру – двадцать девять, Эро де Сешелю и Филиппо – по тридцать четыре. Итак, это новая группа жертв, подобно жирондистской, тоже соединяла в себе таланты, мужество, патриотизм – и молодость.

Дантон, Демулен, Эро де Сешель и другие посетовали по поводу того, что их смешали с людьми, виновными в подлоге, но эта жалоба была оставлена без внимания. Сначала рассмотрели обвинение против Шабо, Базира, Делоне и Фабра. Шабо настаивал на своем и утверждал, что принял участие в заговоре биржевиков единственно для того, чтобы разоблачить его. Никто ему не поверил. Делоне был уличен. Фабр, несмотря на ловкую защиту, состоявшую в заявлении, что он, делая подчистки в копии декрета, думал, что это только проект, тоже был уличен Камбоном, откровенные и бескорыстные показания которого уничтожили его. Камбон доказал Фабру, что проекты декретов никогда не бывают подписаны, копия же, им подчищенная, была подписана пятью членами комиссии, и, следовательно, он не мог принять ее за проект. Защиты Базира, вина которого заключалась в том, что он не донес на виновных, почти не слушали, и он был приравнен к остальным. Потом суд перешел к д'Эспаньяку, который обвинялся в том, что подкупал Жюльена, чтобы тот поддерживал его подряды, а также в интриге Ост-Индской компании. Тут факты доказывались письмами, и д'Эспаньяк, при всем своем уме, ничего не мог поделать против таких улик.

Начался допрос Эро де Сешеля. Базир был признан виновным как

друг Шабо; Эро де Сешель – за то, что был другом Базира, кое-что знал через него об интриге биржевиков, потворствовал эмигрантке, был дружен с умеренными и подал повод к предположению об умеренности своей кротостью, приветливостью, состоянием и дурно скрываемыми сожалениями.

После Эро подошла очередь Дантона. Глубокое молчание водворилось во всем собрании, когда он встал, чтобы говорить.

– Дантон, – обратился к нему председатель, – Конвент обвиняет вас в заговорах с Мирабо, Дюмурье, Орлеаном, жирондистами, иноземцами и фракцией, которая хочет восстановить Людовика XVII.

– Голос мой, – прогремел Дантон, – голос мой, столько раз возвышавшийся ради общей пользы, не затруднится опровергнуть клевету. Пусть явятся подлецы, обвиняющие меня, и я их покрою позором... Пусть комитеты придут сюда, я стану отвечать лишь в их присутствии; они нужны мне в качестве обвинителей и свидетелей... Пусть явятся... А впрочем, мне всё равно нет дела до вас и вашего суда... Я уже сказал вам: небытие скоро станет моим убежищем. Жизнь в тягость мне, избавьте меня от нее... Я жду не дождусь, когда от нее избавлюсь!

В конце этих слов Дантона одолевает негодование, ему претит отвечать подобным людям. Его требование заключается в том, чтобы были призваны комитеты, и он положительно отказывается отвечать иначе как в их присутствии.

Эти слова смутили суд и произвели большое волнение. Такая очная ставка была бы очень неудобна для комитетов: они бы непременно провалились и обвинение легко могло бы не состояться.

– Дантон, – сказал тогда председатель, – дерзость свойственна вине, а невинности свойственно спокойствие.

На это Дантон пылко ответил:

– Личную дерзость, несомненно, следует карать; но национальная дерзость, пример которой я столько раз подавал, благодаря которой я столько услуг принес свободе, – самая достойная из всех добродетелей. Эта дерзость – моя; к ней я здесь прибегаю для пользы Республике против подлецов, обвиняющих меня. Когда на меня так низко клеветают, могу ли я сдерживать себя? Не от такого революционера, каков я, ждите холодной защиты... Люди моей закалки недооценены в революциях...

на их челе лежит печать гения свободы.

Говоря это, Дантон мотал головой своим привычным вызывающим движением. Его грозные черты производили глубокое впечатление. Народ, которого всегда трогает сила, издал одобрительный ропот.

– Меня, – продолжал Дантон, – обвиняют в заговорах с Мирабо, Дюмурье, Орлеаном! В том, что я пресмыкался перед гнусными деспотами!.. Мне приказывают отвечать правосудию неизбежному, неизменному! (Выражения, употребленные в обвинительном акте.) Это ты, подлый Сен-Жюст, ты ответишь потомству за обвинение против лучшего столпа свободы!.. Пробегая этот список гадостей, – присовокупляет Дантон, указывая на обвинительный акт, – я содрогаюсь всем существом!

Председатель снова советует Дантону быть спокойнее и приводит ему в пример Марата, который отвечал суду почтительно. Дантон берет себя в руки и объявляет, что если уж этого хотят, то он опишет свою жизнь. Тогда он напоминает о том, как трудно ему было добиться муниципальных должностей, как члены Учредительного собрания всеми силами старались не допустить его до них, как он оппонировал проектам Мирабо, а в особенности о том, как держал себя в тот пресловутый день, когда, обступив карету короля с громадной толпой, не пустил короля в Сен-Клу. Потом Дантон излагает свои действия на Марсовом поле, когда он привел народ подписывать петицию против королевской власти, и напоминает, что было побуждением к этой знаменитой петиции; напоминает, с какой смелостью первым потребовал низвержения престола в 1792 году; с каким мужеством провозгласил восстание вечером 9 августа; какую твердость обнаружил во всё время двенадцатичасового восстания.

На этом месте Дантона вновь начинает душить негодование и, намекая на обвинение в том, что он будто прятался 10 августа, Дантон восклицает:

– Где те люди, которым понадобилось понукать Дантона, чтобы заставить его показаться в этот день? Где те привилегированные существа, у которых он позаимствовал энергию? Пусть они явятся, мои обвинители!.. Я нахожусь в полном рассудке, требуя этого. Я разоблачу трех пошлых негодяев, которые окружили и погубили Робеспьера... Пусть они явятся сюда, и я их погружу в ничтожество, из которого им

не следовало выходить...

Председатель опять хочет прервать Дантона и звонит в колокольчик. Дантон перекрывает звук колокольчика своим могучим голосом.

— Разве вы меня не слышите? — говорит ему председатель.

— Голос человека, который защищает свою жизнь, — отвечает ему Дантон, — свою честь, посильнее звона твоего колокольчика!

Однако он утомлен сильным негодованием; голос его несколько осип. Тогда президент участливо предлагает ему отдохнуть, чтобы потом продолжать свою защиту с большим спокойствием.

Дантон умолкает. Суд переходит к Демулену, читают его «Старого Кордельера», и он тщетно возмущается против произвольного толкования статей. Потом очередь доходит до Лакруа; суд с горечью упоминает о его действиях в Бельгии, и он, подобно Дантону, требует прихода в суд нескольких членов Конвента.

Это первое заседание произвело всеобщее потрясение. Толпа, окружавшая здание суда и простиравшаяся до самых мостов, казалась тронутой. Судьи были в ужасе. Бадье, Булан, Амар, самые убежденные из членов Комитета общественной безопасности, присутствовали при судоговорении, спрятавшись в типографии, которая прилежала к зале суда и сообщалась с ней с помощью маленького оконца. Оттуда они со страхом наблюдали за отвагой Дантона и настроением публики и начинали сомневаться в возможности обвинительного приговора.

Герман и Фукье прямо из суда отправились в Конвент и известили депутатов о желании подсудимых, требовавших очной ставки с несколькими членами Конвента. Комитет начинал колебаться. Робеспьер ушел к себе; Бийо и Сен-Жюст одни оставались в Конвенте. Они запретили Фукье отвечать, приказали ему затянуть судоговорение, довести дело до конца положенных законом трех дней, не объяснившись, а тогда заставить присяжных заявить, что они достаточно ознакомились с делом.

Пока всё это происходило в трибунале, комитете и городе, в тюрьмах господствовало не меньшее волнение: там узники принимали живейшее участие в подсудимых и не видели надежды ни для кого, если будут убиты такие люди. В Люксембургской тюрьме находился

несчастный Дильон, друг Камилла Демулена, который защищал его; он узнал от Шометта, который, подвергаясь той же опасности, примкнул к умеренным, о том, что происходило на суде. Дильон, у которого была горячая голова и который в качестве старого солдата иногда искал развлечения в вине, неосторожно поговорил с неким Ла Флотом, содержащимся в той же тюрьме. Дильон сказал ему, что пора добрым республиканцам поднять голову против гнусных угнетателей; что народ как будто проснулся; что Дантон объявил о своем намерении отвечать только в присутствии комитетов; что обвинительный приговор против него далеко не верен; что жене Демулена при помощи раздачи ассигнаций удастся поднять народ и что, если бы только ему, Дильону, удалось уйти из тюрьмы, он набрал бы достаточно решительных людей, чтобы спасти республиканцев, которых суд старается погубить.

Это были, конечно, пустые слова, сказанные в припадке опьянения и горя. Однако, кажется, зашла речь о том, чтобы доставить жене Демулена тысячу экю и письмо. Подлец Ла Флот, надеясь доносом заслужить жизнь и свободу, побежал к привратнику тюрьмы, сочинив, будто в тюрьмах и за их стенами состоялся заговор с целью насильно освободить подсудимых и убить членов обоих комитетов. Сейчас мы увидим, для чего пригодилось это роковое показание.

На другой день стечение публики в суде было так же велико. Дантон и его товарищи, по-прежнему стойкие в своих намерениях, снова требуют очной ставки с несколькими членами Конвента и обоими комитетами. Фукье, поставленный перед необходимостью ответить, говорит, что не видит препятствий к вызову нужных свидетелей. «Но этого недостаточно, — настаивают подсудимые, — надо, чтобы он их сам вызвал». Фукье возражает, что вызовет всех, кого укажут подсудимые, кроме членов Конвента, потому что только сам Конвент может решить, пойдут ли его члены в свидетели. Подсудимые жалуются, что им отказывают в средствах защиты. Поднимается шум. Председатель допрашивает еще нескольких подсудимых — Вестермана, братьев Фрей и Гусмана, — а затем спешит закрыть заседание.

Фукье тотчас после заседания написал комитету письмо, в котором сообщил обо всём происшедшем и просил дать ему средство ответить на требования подсудимых. Положение было затруднительным, и все начинали колебаться. Робеспьер нарочно, с аффектацией, не подавал

своего мнения. Один Сен-Жюст, самый упорный и бесстрашный, считал, что отступать не следует, а надо закрыть подсудимым рот и послать их на эшафот. Он только что получил показания Да Флота и увидел в них зародыш заговора и предлог к декрету, который завершит борьбу с ними. На другое утро Сен-Жюст является в Конвент, говорит, что отечеству грозит большая, но последняя опасность, и что если Конвент мужественно вооружится против нее, то скоро ее преодолет. «Подсудимые, – продолжает он, – присутствующие в Революционном трибунале, совсем взбунтовались: они грозят суду; они доводят свою дерзость до того, что кидают в судей хлебными шариками; они возбуждают народ и легко могут сбить его с толку. Это еще не всё: они подготовили в тюрьмах заговор; жена Демулена получила денег, чтобы начать восстание; генерал Дильон должен выйти из Люксембургской тюрьмы, стать во главе нескольких заговорщиков, перерезать оба комитета и освободить виновных».

Выслушав этот лицемерный и лживый рассказ, покорные слуги комитета кричат, что это ужасно, и Конвент единодушно принимает декрет, тут же предложенный Сен-Жюстом. В силу этого декрета трибунал должен продолжать процесс Дантона и его сообщников, не вставая с места, и отнять право защиты у тех подсудимых, которые проявят непочтение к правосудию или будут стараться произвести беспорядок в публике. С декрета немедленно снимается копия. Вулан и Вадье несут ее в суд, где уже началось третье заседание, и удвоенная смелость подсудимых ставит Фукье в самое затруднительное положение.

Действительно, в этот третий день подсудимые решили возобновить свои требования по поводу вызова свидетелей. Они встают все вместе и говорят Фукье, чтобы он представил свидетелей. Они хотят еще большего: чтобы Конвент назначил комиссию для расследования разоблачений, которые они желают сделать по поводу проекта диктатуры, обнаруживающегося в комитете. Фукье, пребывая в замешательстве, уже не знает, что отвечать. В эту минуту его вызывает судебный пристав, он выходит в смежную залу и находит там запыхавшихся Амара и Вулана, которые говорят ему: «Прихлопнули злодеев! Вот что нас выведет из затруднения!» – и вручают только что изданный декрет. Фукье радостно схватывает его, возвращается в залу,

просит слова и читает бессовестную бумагу.

Дантон в негодовании встает со словами:

– Беру публику в свидетели, что мы не оскорбляем суда!

– Это правда! – раздается в зале несколько голосов. Вся публика изумлена и негодует на такую несправедливость в отношении подсудимых.

– Придет день, – продолжает Дантон, – когда истина станет известна... Я вижу большие бедствия, которые нагрянут на Францию... Вот диктатура. Она показывается открыто...

Демулен, услышав рассказ о Люксембургской тюрьме, Дильоне и своей жене, в отчаянии восклицает:

– Злодеи! Мало того, что зарежут меня, они хотят еще зарезать мою жену!

Дантон замечает в конце залы и в коридоре Амара и Вулана, которые прятались в тени и наблюдали за происходящим. Он указывает на них стиснутым кулаком.

– Смотрите, – восклицает он, – на этих подлых убийц! Они нас травят, они не отстанут от нас до самой смерти!

Бадье и Вулан, испуганные, исчезают. Суд вместо всякого ответа закрывает заседание.

Следующий день был четвертым, и присяжные имели право закрыть прения, объявив себя достаточно ознакомленными с делом. Так они и сделали, не дав подсудимым времени защищаться. Демулен приходит в ярость, объявляет присяжным, что они убийцы, и призывает народ в свидетели этого беззакония. Тогда его вместе с его товарищами выводят из залы. Он сопротивляется, и его уводят силой.

Тем временем Бадье и Вулан с живостью что-то обсуждают с присяжными, хотя те вовсе не нуждаются в подстрекательстве. Герман и Фукье выходят с ними в холл. Герман бесстыдно заявляет присяжным, будто перехвачено письмо из-за границы, доказывающее сговор Дантона с коалицией. Только три или четыре присяжных осмеливаются подать голос за подсудимых, большинство же настроены против них. Старшина присяжных, некто Треншар, возвращается, исполненный зверской радости, и с видом беснующегося произносит безбожный приговор.

Подсудимых не привели в зал суда для оглашения приговора; один

из секретарей спустился для этого в их тюрьму. Они его прогнали, не дав закончить чтение и объявив, что их могут вести на казнь и так. Теперь, когда приговор был произнесен окончательно, Дантон, до сих пор бушевавший от избытка негодования, опять стал спокоен, и в нем осталось лишь прежнее чувство презрения к своим противникам. Демулен тоже скоро утомился, погоревал о жене, но благодаря счастливому отсутствию предусмотрительности ему не пришлось в голову, чтобы и ей грозит та же участь; эта мысль сделала бы его последние часы невыносимо тяжелыми. Эро был весел, как всегда. Все они держали себя твердо, а Вестерману не изменила храбрость, прославившая его имя.

Все они были казнены 5 апреля (16 жерминаля). Отвратительная шайка, нанятая для того, чтобы надругаться над жертвами, провожала телеги. Камилл при виде нее вышел из себя, хотел говорить с толпой и осыпал подлого лицемера Робеспьера ужасными проклятиями. Гнусная шайка ответила ему ругательствами. От неистовых телодвижений у Демулена разорвалась рубашка и обнажились плечи. Дантон, обводя шайку спокойным, презрительным взором, сказал ему: «Да сиди же смирно, оставь в покое всю эту сволочь».

Приехав к эшафоту, Дантон хотел обнять Эро де Сешеля, который протягивал к нему руки, но палач не позволил им этого. Тогда Дантон, улыбаясь, обратился к нему со страшной шуткой: «Ты сумел быть более жесток, чем смерть. Не беспокойся, ты не помешаешь нашим головам целоваться в корзине».

Таков был конец Дантона, человека, бросившего на Революцию яркий отблеск и бывшего ей столь полезным. Смелый до дерзости, пламенный душою, жадный до сильных ощущений и наслаждений, он ринулся в омут и во всем блеске являлся в самые страшные дни. Мужественный, быстрый в решениях и действиях, не смущаемый ни новостью, ни трудностями необычайного положения, он умел рассудить, какие необходимы средства, и ни одного не пугался, ни одно не претило ему. Этот человек, такой могучий в деле, в промежутках между опасностями предавался милым его сердцу увеселениям и лени. Он страстно любил самые невинные наслаждения – сельские, в кругу друзей и боготворимой им жены. Тогда он забывал побежденных, не был в силах ненавидеть их; умел даже отдавать им справедливость,

жалеть и защищать. Но в эти-то промежутки отдыха, необходимые для его пламенной души, соперники его понемногу, упорством своим, зарабатывали себе славу и влияние, которые ему давались одним днем опасности. Фанатики упрекали его за способность нежиться и за доброту и забывали, что по части политических жестокостей он поравнялся с ними со всеми в сентябрьские дни.

Пока он, полагаясь на свою славу, ленился и мешкал, носился с благородными мыслями о том, как вернуть мягкие законы, ограничить господство насилия днями большой опасности, отделить душегубцев, безвозвратно погрязших в крови, от людей, лишь уступивших обстоятельствам, наконец, организовать Францию и примирить ее с Европой, на него предательски накнулись его же товарищи, которым он предоставил дело управления страной. Политика требовала жертв, зависть выбрала их – и убила человека самого славного и грозного. Несмотря на свою славу и заслуги, Дантон пал по знаку того самого страшного правительства, которое организовалось отчасти его стараниями.

По словам одного современника, Дантон был чужд решительно всякой претензии, даже претензии отгадывать то, чего не знал, тогда как люди его закалки обыкновенно на это падки. Он охотно слушал Фабра д'Эглантина и постоянно вызывал на разговор молодого друга,

Камилла Демулена. Дантон умер со своей обычной силой духа и сообщил ее своему другу. Подобно Мирабо, он до конца гордился собой и считал, что с избытком искупил свои ошибки великими заслугами и честными намерениями.

Пали вожди обеих партий. За ними в скором времени последовали остальные. По этому случаю людей самых несообразных друг с другом смешивали и судили вместе, чтобы упрочить мнение, будто все они соучастники одного заговора. Шометт и Гобель явились рядом с Дильоном и Симоном; отец и сын Грамоны, Лапалю и другие члены революционной армии попали в одну группу с генералом Бейссером. Наконец, жену Эбера, бывшую монахиню, судили вместе с женой Демулена; последняя была красавицей двадцати трех лет, поистине очаровательной. Шометт, всегда такой покорный и послушный, был обвинен в заговоре с коммуной против правительства, в том, что морил народ голодом и возмущал своими сумасбродными представлениями.

Гобель был признан сообщником Клоотса и Шометта; Дильон был приговорен на том основании, будто намеревался открыть тюрьмы в Париже и вырезать Конвент и комитеты, чтобы спасти своих друзей. Генерал Бейссер, так активно способствовавший спасению Нанта, вместе с Канкло, заподозренным в федерализме, был признан сообщником ультрареволюционеров. Жена Эбера была приговорена в качестве сообщницы своего мужа. Сидя на одной скамье с женою Демулена, она говорила ей: «Вы-то счастливая, против вас нет обвинений. Вы будете спасены». Действительно, единственное, в чем можно было обвинить эту молодую женщину, это страстная любовь к мужу и упорство, с каким она беспрестанно бродила около тюрьмы со своими детьми, чтобы видеть их отца и показывать им его. Тем не менее обе были приговорены и погибли в качестве сообщниц всё того же заговора. Бедная Люсиль Демулен умерла с мужеством, достойным ее любимого. После Шарлотты Корде и госпожи Ролан ни одна жертва не внушала такого нежного участия и глубокого сострадания.

Глава XXXIII

Декреты против бывших дворян – Комитет общественного спасения сосредоточивает всю власть в своих руках – Конвент провозглашает существование Высшего существа и бессмертие души

Правительство уничтожило две партии разом. Первая – партия ультрареволюционеров – была в самом деле опасна или могла сделаться таковой. Другая – партия новых умеренных – опасной не была. Истребление ее, стало быть, было не нужно, но могло оказаться полезным в целях устранения всякого подозрения в умеренности. Комитет уничтожил ее без убеждения, из одной зависти и лицемерия. Этот последний удар дался нелегко: комитет колебался, а Робеспьер засел дома, как всегда во время какой-нибудь опасности. Зато Сен-Жюст, поддерживаемый своим мужеством и ревнивой ненавистью, остался непоколебим, раздул усердие Германа и Фукье, запугал Конвент и вырвал у него роковой декрет.

Последний шаг к абсолютной власти всегда бывает самым трудным: нужна вся сила, чтобы побороть последнее сопротивление, но после того уступает всё, препятствий больше не остается. Тогда новая власть разворачивается вполне, хватает через край и губит себя. Пока все рты зажаты, а на всех лицах покорность, в сердцах копится ненависть и против победителей готовится обвинительный акт уже среди их торжества. Комитет общественного спасения, благополучно истребив два разряда людей, столь различных между собой, но вздумавших противодействовать его власти или даже только критиковать его, стал неодолим. Зима кончилась. Кампания 1794 года должна была открыться с наступлением весны. Грозные армии должны были развернуться по всем границам и показать миру страшную силу, которая так жестоко давала себя чувствовать дома.

Каждый, кто только выказал малейшее поползновение к несогласию или участие к погибшим, должен был спешить заявить о своей покорности. Лежандр, сделавший усилие в тот день, когда были

арестованы Дантон,

Лакруа и Демулен, старавшийся повлиять на Конвент в их пользу, счел своим долгом как можно скорее исправить неосторожность и отречься от симпатии последним жертвам. Он получил несколько анонимных писем, приглашавших его ранить тиранов, которые, как говорилось в этих письмах, теперь сбросили маску.

Лежандр отправился к якобинцам 10 апреля (21 жерминаля), заявил о письмах и выразил негодование из-за того, что его принимают за какого-то сеида, которому можно дать в руки кинжал. «Ну, если уж меня к тому принуждают, — сказал он, — то заявляю народу, который всегда слышал от меня только искренние речи, что теперь считаю делом доказанным: заговор, вожди которого более не существуют, действительно имел место, и я был игрушкой изменников. Я нашел тому доказательства в разных документах, хранящихся в Комитете общественного спасения, а главное — в преступном поведении подсудимых перед лицом национального правосудия и в махинациях их сообщников, которые хотят вооружить честного человека кинжалом убийцы. До открытия заговора я был задушевым другом Дантона; я бы головой поручился за его принципы и действия; но ныне я убедился в его преступлении и убежден в том, что он хотел ввести народ в заблуждение. Быть может, я и сам бы впал в подобное заблуждение, если бы не был вовремя просвещен. Объявляю анонимным писакам, которые желали бы уговорить меня убить Робеспьера и мечтают сделать меня орудием своих махинаций, что я вышел из народа, вменяю себе в почетную обязанность остаться с народом и скорее умру, чем отрекусь от его прав. Они не напишут ни одного письма, которого я не принес бы в комитет».

Все скоро стали подражать покорности Лежандра. Отовсюду начали приходить адреса, поздравляющие Конвент и Комитет общественного спасения с выказанной ими энергией. Всевозможными способами, в более или менее нелепой и смешной форме, каждый спешил выразить свое одобрение действиям правительства и признать их справедливость. Город Родез прислал следующий адрес: «Достойные представители свободного народа! Итак, тщетно сыны тиранов подняли свое надменное чело, их всех поразила молния!.. Как, граждане! Из-за презренных богатств продать свою свободу!.. Конституция, которую вы

нам дали, расшатала все престолы, привела в ужас всех королей. Свобода идет исполинскими шагами, деспотизм подавлен, суеверие уничтожено, страна объединяется, заговорщики разоблачаются и наказываются, неверные народу уполномоченные, подлые и коварные, падают под секирой закона, оковы рабов нового мира разбиваются – вот каковы ваши трофеи! Если есть еще интриганы – да трепещут они; пусть смерть заговорщиков свидетельствует о вашем торжестве! Что же касается вас, представители, живите счастливо благодаря мудрым законам, составленным вами для народа, и примите дань нашей любви!»

Не из отвращения к кровавым средствам комитет казнил ультрареволюционеров, а для того, чтобы упрочить свою власть, и устранить всё, что сопротивлялось ему и мешало действовать. С этих пор он неукоснительно стремился к двоякой цели: делаться всё грознее и всё больше сосредоточивать власть в своих руках. Колло, выступавший у якобинцев в качестве правительственного оратора, самым энергичным образом выразил политику комитета. В свирепой речи, в которой он начертал властям новый путь и описал надлежащее рвение в исполнении обязанностей, Колло сказал: «Тираны утратили свои силы, их армии трепещут перед нашими; уже несколько деспотов пробуют выйти из коалиции. В этом положении у них остается одна надежда – на заговоры внутри страны. Следовательно, нужно неустанно следить за изменниками. Подобно нашим братьям, побеждающим на границах, будем все держать ружья нацеленными и стрелять вместе. Пока внешние враги будут падать под ударами наших солдат, пусть внутренние враги падают под ударами народа. Наше дело, защищаемое справедливостью и энергией, будет торжествовать.

Природа всё сделает в этом году для республиканцев: она обещает нам двойной урожай. Лист, который растет ныне, возвещает о падении тиранов. Повторяю вам, граждане, будем бодрствовать дома, пока наши воины сражаются на границах, пусть должностные лица, которым вверен общественный надзор, удвоят свои заботы и рвение; пусть они твердо проникнутся мыслью, что нет, может быть, улицы, переулка, где бы не нашлось изменника, замысливающего заговор. Пусть же этот изменник найдет смерть, и смерть самую быструю! Если служащие хотят найти место в истории – теперь самая благоприятная для этого минута. Революционный трибунал уже отвел себе в ней видное место.

Пусть все администрации подражают его усердию и неумолимой энергии, пусть в особенности революционные комитеты удвоят свою бдительность и избавятся от ходатайств, которыми их осаждают и которые склоняют их к снисходительности, пагубной для свободы».

Сен-Жюст прочел в Конвенте не менее свирепый доклад. Он, по обыкновению, восхвалял строгость и старался, как это было в моде в то время, с помощью всевозможных риторических фигур доказать, что начало всякого великого учреждения должно быть грозно. «Что бы случилось, — сказал он между прочим, — со снисходительной республикой?.. Мы мечу противопоставили меч — и республика основана. Она вышла из недр бури; это начало — общее для нее и всего мира, вышедшего из хаоса, и человека, который рождается с плачем». Сен-Жюст предложил общую меру против бывших дворян. Это была первая мера такого рода. В прошедшем году Дантон в пылком порыве заставил Конвент объявить всех аристократов стоящими вне закона. Этот декрет был неисполним по своей обширности, и потому издали другой, о временном заключении всех подозрительных лиц.

Но прямого закона против бывших дворян еще не было. Сен-Жюст указал на них как на непримиримых врагов Революции. «Что бы вы ни делали, — сказал он по этому поводу, — вы никогда не удовлетворите врагов народа, если только не восстановите тирании. Пусть же они ищут себе рабство в другом месте. Они не могут с вами помириться: вы говорите на разных языках, вы никогда не поймете друг друга. Так прогоните их!»

Сен-Жюст предложил декрет, которым все бывшие дворяне и все иностранцы изгонялись из Парижа, из укрепленных городов, из приморских портовых городов, а всех не повиновавшихся в десятидневный срок ставили вне закона. Другими положениями того же декрета власти обязывались удвоить свое усердие. Конвент без условий одобрил это предложение, как и все другие, и принял единодушно, без голосования. Колло д'Эрбуа, сообщая об этом декрете якобинцам, прибавил к метафорам Сен-Жюста свои. «Нужно, — сказал он, — заставить политическое тело пропотеть грязным потом аристократии: чем обильнее будет пот, тем оно станет здоровее».

Мы сейчас видели, что сделал комитет для утверждения своей

энергичной политики; а вот что он сделал для большего сосредоточения власти. Во-первых, распустили революционную армию. Эта армия, придуманная Дантоном, сначала была полезна, исполняя волю Конвента; но потом сделалась центром всех возмутителей и авантюристов и служила опорой демагогам. Необходимо было распустить ее. Правительству оказывалось такое слепое повиновение, что оно более не нуждалось в этих клеветниках, и они были распущены. Затем комитет предложил упразднение всех министерств. Министры еще считались слишком большой силой рядом с членами Комитета общественного спасения. Они или всё предоставляли делать комитету и в таком случае были бесполезны, или хотели действовать сами и становились неудобными конкурентами. Пример Бушотта, который наделал столько ошибок, был весьма поучителен.

Вследствие этих соображений министерства упразднили, а вместо них учредили следующие двенадцать комиссий:

- 1) Комиссия гражданской администраций, полиции и судов;
- 2) Комиссия народного просвещения;
- 3) Комиссия земледелия и ремесел;
- 4) Комиссия торговли и продовольствия;
- 5) Комиссия публичных работ;
- 6) Комиссия общественных пособий;
- 7) Комиссия перевозок и почт;
- 8) Комиссия финансов;
- 9) Комиссия организации и передвижения сухопутных армий;
- 10) Комиссия морских дел и колоний;
- 11) Комиссия оружия, пороха и горного дела;
- 12) Комиссия внешних сношений.

Эти комиссии, находившиеся в зависимости от Комитета общественного спасения, были не чем иным, как бюро, между которыми комитет распределил все административные обязанности. Герман, председатель Революционного трибунала во время процесса Дантона, получил в награду за свое усердие место начальника одной из этих комиссий, самой важной, – комиссии администраций, полиции и судов.

Были приняты и другие меры. Революционные комитеты в свое время учредили с тем, чтобы на каждую общину или секцию общины (коммуны) приходилось по одному комитету. Так как сельских общин

было много, а жителей в них мало, то комитетов этих оказалось с избытком, а дел у них – почти никаких. Притом самый состав их представлял одно большое неудобство. Поселяне были по большей части преданы революции, но безграмотны, а муниципальные должности почти все достались землевладельцам, живущим на своих землях и весьма мало расположенным применять свою власть на благо правительства; таким образом, надзор, особенно за имениями, был очень плох. Чтобы устранить эти неудобства, Комитет общественного спасения закрыл все общинные революционные комитеты и оставил только окружные. Полиция стала деятельнее, перейдя в руки окружных буржуа, почти в полном составе якобинцев, ревнующих к старому дворянству.

Якобинцы были главным обществом, единственно признанным правительством. Они соблюдали его принципы и интересы и враждебно относились к эбертистам и дантонистам. Комитету общественного спасения хотелось, чтобы это общество поглотило все остальные и сосредоточило в себе всю силу общественного мнения, подобно тому, как он сам сосредоточил в своих руках всю силу правительства. Это крайне льстило честолюбию якобинцев, и они прилагали все старания, чтобы исполнить желание комитета. С момента, как секционные собрания начали проходить только два раза в неделю, секции преобразовались в народные общества. Этих народных обществ в Париже оказалось очень много; в каждой секции их было по два и даже по три.

Мы уже говорили о жалобах, к которым они подали повод. Говорили, что «аристократы» – то есть приказчики, писцы, конторщики и т. п., – недовольные ополчением, бывшие слуги дворянских домов, словом, все, кто имел причины к неудовольствию революционной системой, собирались в этих обществах и составляли там оппозиционные планы, чего не смели делать в секциях и у якобинцев. Уже не раз звучали предложения об их закрытии. Якобинцы не имели права заниматься этим, да и правительство не могло затронуть эти общества, не покушаясь на право сходиться и совещаться – право столь высоко превозносимое в то время и считавшееся безусловным и безграничным. По предложению Колло якобинцы решили не принимать больше депутатов от обществ, образовавшихся в Париже позднее 10

августа, и прервать с ними всякие сношения. Относительно же обществ, образовавшихся до 10-го, постановили представить доклад о каждом отдельно, чтобы рассмотреть, следует ли продолжать с ними сношения. Эта мера касалась преимущественно кордельеров, уже пораженных в лице своих вождей – Ронсена, Венсана, Эбера – и с тех пор считавшихся подозрительными. Этим постановлением клеймились все секционные общества, а кордельеры подвергались обвинению.

Последствия этой меры заставили себя ждать недолго. Все секционные общества приняли к сведению эту демонстрацию и явились одно за другим в Конвент или к якобинцам – заявить о своем добровольном закрытии. Все поздравляли Конвент и якобинцев и заявляли, что если прежде собирались в видах общей пользы, то теперь добровольно расходятся, если уж власти рассудили, что собрания вредят делу, которому они желают служить. С этой поры в Париже осталось только одно главное общество якобинцев, а в провинциях – якобинские же второстепенные общества. Общество кордельеров, правда, еще существовало. Распустить его было нельзя, но о нем представили доклад. В этом докладе было упомянуто, что общество с некоторого времени весьма редко и небрежно сносится с якобинцами и что, следовательно, поддерживать с ним сношения вполне бесполезно. По этому случаю предложили рассмотреть вопрос: требуется ли в Париже больше одного народного общества? Некоторые осмелились даже сказать, что следовало бы установить только один центр общественного мнения. Этот некогда знаменитый клуб отжил свой век: покинутый, он не ставился ни во что, и якобинцы остались единственными владыками и руководителями общественного мнения.

Достигнув, если можно так выразиться, централизации общественного мнения, правительство стало думать о том, чтобы сделать выражение его более правильным, менее шумным и неудобным. Беспрестанные обличения и критика должностных лиц, депутатов, генералов, администраторов доселе составляли главное занятие якобинцев. Эта бешеная страсть постоянно нападать на представителей власти имела свои неудобства, но и свои выгоды, пока были поводы сомневаться в усердии и убеждениях чиновников. Но теперь, когда комитет забрал власть в свои руки, тщательно надзирал за своими

представителями и избирал их в самом революционном духе, он не мог более позволять якобинцам предаваться вечным подозрениям и беспокоить служащих, по большей части дельно выбранных и подвергавшихся бдительному надзору. Это было бы даже опасно для государства.

Колло д'Эрбуа громко бранил якобинцев за эту бестолковую манеру – преследовать генералов и должностных лиц всякого рода по поводу Шарбонье и Дагобера, на которых клеветали, пока один генерал побеждал австрийцев, а другой доживал свои дни в Сердане, покрытый ранами. По тогдашнему обычаю всё сваливать на умерших Колло приписал эту страсть к доносам и обличениям остаткам фракции Эбера и посоветовал якобинцам не терпеть больше этих публичных обличений, которые, по его словам, заставляли общество терять драгоценное время и подрывали доверие и уважение к представителям, избранным правительством. Руководствуясь этими соображениями, он предложил устроить у якобинцев особый комитет для принятия доносов и обличений, с тем чтобы тайно препровождать их в Комитет общественного спасения. Таким образом, обличения становились менее шумны и неудобны, а демагогические неурядицы начинали уступать место правильным административным формам.

Итак, без сомнения, честолюбие начинало значительно влиять на расчеты и решения комитета, гораздо более, нежели в начале его существования, однако не настолько, насколько можно было бы ожидать, судя по приобретенной им власти. Учрежденный в начале кампании 1793 года среди ужасных опасностей, комитет был порождением чистой необходимости, но наконец дошел до настоящей диктатуры. По самому своему положению он не мог совершать преобразований, не захватывая власть. Последние мероприятия комитета, бесспорно, были выгодны для него, но и сами по себе были разумны и полезны. Однако наступала минута, когда честолюбию предстояло господствовать одному, когда интересы собственной власти должны были заслонить интересы государства. Таков человек: он не может долго оставаться бескорыстным и скоро ставит самого себя на место прежней своей цели.

Комитету общественного спасения оставалась еще последняя забота – вопрос о религии. Слово добродетель оказалось у всех на устах,

честность и справедливость были объявлены главными принципами. Оставалось провозгласить Бога, бессмертие души и все нравственные добродетели и торжественно объявить религию государства. Комитет решил издать об этом декрет. Таким образом он думал противопоставить анархистам – порядок, атеистам – Бога, а развратникам – нравственность. Особенно хотели смыть с Республики упрек в безбожии, которым преследовала ее вся Европа; хотели отвечать священникам, обвинявшим комитет в безбожии за то, что они не веровали в известные догматы.

Были у комитета еще и другие побудительные причины. Обряды поклонения Разуму были отменены. Требовались празднества для декадных дней; нужно было позаботиться об удовлетворении не только нравственных и религиозных потребностей народа, но и воображения его, и доставить ему случаи к сборищам. К тому же время было самым благоприятным: Республика, победоносно окончившая последнюю кампанию, начинала новую также победами. Вместо полного отсутствия средств, подобно прошедшему году, она располагала мощными военными запасами. От страха быть завоеванной Республика начинала переходить к надежде завоевывать; вместо страшных восстаний всюду господствовала покорность. Наконец, если по милости ассигнаций и максимума внутреннее распределение продуктов еще шло довольно туго, то природа точно хотела осыпать Францию своими дарами: из всех провинций приходили известия, что урожай будет двойной и созреет месяцем ранее обыкновенного.

Теперь, стало быть, было самое время спасенной Республике, победительнице, осыпанной дарами, склониться к ногам Всевышнего. Случай был торжественный и значимый для тех, кто веровал, и необыкновенно удобный для тех, кто действовал из политических расчетов.

Заметим еще одно очень любопытное обстоятельство. Сектанты, которые не побоялись уничтожить древнейшее и наиболее укорененное вероисповедание, остановились перед двумя понятиями – о нравственности и о Боге! Если веровали и не все, то все ощущали необходимость порядка и сознавали необходимость подтвердить порядок в обществе признанием общего разумного порядка во Вселенной. В первый раз в истории мира распад всех властей превратил

общество в добычу систематических умов, и эти-то умы, далеко перегнавшие все привычные идеи, принимали и сохраняли идею о нравственности и Боге. Этот пример – единственный в летописях мира; он велик и прекрасен; история обязана на нем остановиться.

Доклад по этому торжественному случаю составил и прочел Робеспьер – да больше и некому было. Приёр, Робер Ленде и Карно по общему согласию заведовали административной и военной частью. Барер составлял большую часть докладов, особенно тех, что касались армий, и тех, которые надо было говорить экспромтом. Декламатор Колло д'Эрбуа ходил по клубам и народным сходбищам, где повторял решения комитета. Кутон, хоть и разбитый параличом, тоже везде бывал, выступал в Клубе якобинцев, в Конвенте, среди народа и обладал искусством привлекать внимание своей немощью и отеческим тоном, которым он говорил самые ужасные, свирепые вещи. Бийо, менее подвижный, заведовал корреспонденцией и иногда выступал по вопросам общей политики. Сен-Жюст, молодой, отважный, деятельный, разъезжал по театрам войны и, вдохнув в солдат энергию, возвращался в комитет сочинять убийственные доклады против партий, подлежащих истреблению. Наконец, Робеспьер, глава, вопрошаемый по всем областям, говорил редко, а когда говорил, то о высоких нравственных и политических вопросах. Роль докладчика по предстоящему вопросу и теперь по праву принадлежала ему. Никто сильнее него не высказывался против атеизма, никто не пользовался таким благоговением, такой репутацией непорочности и добродетели, никто, наконец, по авторитету не годился больше для этого своего рода священнослужения.

Никогда не предоставлялось Робеспьеру лучшего случая для подражания Руссо, мнения которого он во всеуслышание исповедовал, а слог – постоянно изучал. Талант Робеспьера чрезвычайно развился в долгой революционной борьбе. Этот человек, холодный и тяжелый на подъем, начинал хорошо импровизировать, а когда писал, слог его обладал чистотою, блеском и силой. В этом слоге было что-то, напоминавшее едкость и мрачность Руссо, но Робеспьер не мог обзавестись ни значительными мыслями, ни страстной и благородной душой автора «Эмиля».

Робеспьер взошел на кафедру 7 мая (18 флореаля) с речью,

тщательнейшим образом выработанной и отточенной. «Граждане, – начал он, – народ, равно как и частные лица, именно в благоденствии должны проникнуть в самих себя, чтобы в безмолвии страстей внимать голосу мудрости». Затем Робеспьер пространно развил свою систему. Республика, по его словам, есть добродетель, и все противники, встречаемые ею доселе, – только пороки всякого рода, возмущившиеся против нее и получающие за это плату от монархов. Анархисты, развратники, атеисты – всё это агенты Питта. «Тираны, – продолжал Робеспьер, – довольные дерзостью своих эмиссаров, поспешили выставить напоказ сумасбродства, ими же купленные; они притворялись, будто верят, что таков весь французский народ, и как бы говорили: “Какой вам прок стряхнуть с себя наше иго? Видите – республиканцы не лучше нас!”»

Бриссо, Дантон, Эбер поочередно упоминались в речи Робеспьера, и его разглагольствования против этих мнимых врагов добродетели, дышащие ненавистью и притом уж очень приевшиеся, возбуждают мало восторга. Но скоро он бросил эту часть своей программы и возвысился до мыслей истинно широких и нравственных, которые к тому же талантливо излагал. Тут ему рукоплескало всё собрание. Робеспьер немедленно заметил, что представители нации должны преследовать атеизм и провозгласить деизм.

«Какое дело вам, законодателям, – воскликнул он, – до различных гипотез, которыми некоторые философы объясняют явления природы?! Вы можете предоставить им эти предметы для вечных споров; сами же должны смотреть на них не с точки зрения метафизики, не с точки зрения богословия: в глазах законодателя всё, что полезно миру и хорошо на практике, есть истина. Понятие о Высшем существе и бессмертии души есть постоянное напоминание о необходимости праведной жизни, следовательно, это понятие полезно обществу и согласно с Республикой... Кто дал тебе миссию возвестить народу, что божества нет?! О ты, который пристрастился к этому бесплодному учению и так и не пристрастился к отечеству? Какую выгоду находишь ты в том, чтоб убеждать человека, что слепая сила управляет его судьбой и наудачу разит и преступление, и добродетель? Что душа его есть только легкое дуновение, прекращающееся у входа в могилу? Разве мысль о полном исчезновении внушит ему чувства более чистые и

возвышенные, нежели мысль о бессмертии? Внушит ли она ему больше уважения к себе подобным, более преданности отечеству, смелости против тирании, презрения к смерти или сладострастию? Оплакивая добродетельного друга, вам приятно думать, что лучшая часть его существа спаслась от смерти! Проливая слезы над гробом сына или жены, найдете ли вы утешенье в словах того, кто говорит вам, что от них остался лишь бренный прах? Несчастный, умирающий под ударом убийцы, с последним вздохом взывает к вечному правосудию! Невинность на эшафоте заставляет бледнеть тирана на триумфальной колеснице. Имела бы она эту силу, если б могила уравнивала угнетателя и угнетенного?..»

Говоря об атеистах, Робеспьер довольно странно высказался об энциклопедистах. «Эта секта, – говорит он, – по части политики всегда оставалась ниже прав народа; по части нравственности она зашла гораздо дальше уничтожения религиозных суеверий: ее корифеи иногда ораторствовали против деспотов, а получали от деспотов пенсии; они писали книги против двора, посвящения королям, речи для придворных, мадригалы для куртизанок; они держали себя гордо в своих сочинениях и пресмыкались в передних. Эта секта с большим усердием распространяла материалистическое учение, которое имело большой успех между высокопоставленными лицами и остроумными людьми; мы именно ей отчасти обязаны тем видом практической философии, которая смотрит на человеческое общество как на борьбу хитрости, на успех – как на мерило справедливого и несправедливого, на честность – как на вопрос вкуса и благопристойности, на мир – как на достояние ловких мошенников.

В числе тех, кто в упоминаемое мною время отличились на поприще литературы и философии, один человек по возвышенности души и величию характера выказал себя достойным священного сана наставника человеческого рода; он открыто напал на тиранию; он восторженно говорил о Божестве; его мужественное, честное красноречие огненными чертами изобразило прелести добродетели; он защищал утешительные догматы, которые разум дает человеку как опору. Чистота его ученья, почерпнутого в природе и глубокой ненависти к пороку, столько же, сколько его непобедимое презрение к софистам и интриганам, ложно присвоившим себе звание философов,

навлекли на него ненависть соперников и притворных друзей. О, если бы он был свидетелем этой революции, предтечей которой стал, кто сомневается в том, что его благородная душа с восторгом припала бы к делу правосудия и равенства?»

Затем Робеспьер постарался устранить мысль, будто правительство, провозглашая догмат о Высшем существе, делает это ради священников. «Что есть общего между католическими священниками и Богом? Они относятся к Нему как шарлатаны к медицине. Я ничего не знаю, что бы так походило на атеизм, как сочиненная ими религия. В древности жрецы представляли Его то огненным шаром, то быком, то человеком, то царем. Они же создали Бога по своему образу: ревнивого, прихотливого, жадного, жестокого, непримиримого. Они поступили с Ним как некогда майордомы с потомками Хлодвиги: заперли Его в небе как во дворце и призывали на землю только для взимания в свою пользу десятин, богатств, почестей, удовольствий и власти. Истинный храм Всевышнего – Вселенная; поклонение Ему – добродетель; Его празднества – радость великого народа, собирающегося под Его взорами, чтобы скрепить узы всемирного братства и воссылать к нему дань чувствительных и непорочных сердец!»

В заключение Робеспьер говорил о том, что народу нужны праздники: «Человек – самое великое творение в природе, а великолепнейшее из всех зрелищ – большое народное собрание». Поэтому он предлагает план – программу собраний на все декадные дни – и заканчивает свой доклад среди громких рукоплесканий. Предложенный им декрет принимается единодушно, без голосования.

«Ст. 1. Французский народ признает существование Высшего существа и бессмертие души.

Ст. 2. Он признает, что достойнейшее поклонение Высшему существу есть исполнение на практике прямых обязанностей человека».

Другие статьи касались учреждения специальных праздников, чтобы напомнить человеку о Божестве и его собственном достоинстве. Праздники эти получают названия в честь событий революции или добродетелей, наиболее полезных человеку. Кроме празднеств 14 июля, 10 августа, 21 января и 31 мая, Республика будет отмечать в декадные дни следующие праздники: в честь Всевышнего, человеческого рода, французского народа, благодетелей человечества, мучеников свободы,

свободы и равенства, Республики, любви к Отечеству, ненависти к тиранам и изменникам, истины, справедливости, стыдливости, славы, дружбы, воздержности, мужества, честности, героизма, бескорыстия, стоицизма, любви и супружеской верности, отеческой любви, сыновней любви, детства, юношества, возмужания, старости, земледелия, промышленности, предков, потомства, счастья.

Торжественное празднество назначили на 20 прериала, и составление программы к нему вверили Давиду. Надо прибавить, что в этом декрете снова провозглашалась свобода вероисповеданий.

Доклад Робеспьера тотчас по прочтении отдали в печать. В тот же день коммуна и якобинцы потребовали прочтения его, заглушили рукоплесканиями и постановили отправиться всем собранием в Конвент, чтобы поблагодарить за изданный им великий декрет. Было замечено, что якобинцы ни разу после казни обеих партий не высказывались и не ходили поздравлять Конвент и комитет. Один из членов обратил на это внимание и заметил, что представляется прекрасный случай доказать согласие якобинцев с правительством. Тотчас же составили адрес и принесли его в Конвент. Адрес этот кончался следующими словами: «Якобинцы пришли сегодня благодарить вас за изданный декрет; они присоединяются к вам для празднования великого дня, когда торжество в честь Всевышнего соберет со всех концов Франции добродетельных граждан, чтобы спеть гимн добродетели». Президент ответил депутации не менее напыщенно: «Достойно будет общества, наполняющего мир своею славою, пользующегося таким великим влиянием на общественное мнение, всегда примыкавшего к мужественнейшим защитникам прав человека, прийти в храм законов, чтобы преклониться перед Всевышним».

Президент продолжал еще некоторое время говорить в том же духе и после довольно длинной речи передал слово Кутону. Кутон произнес свирепую речь против атеистов и развратников и напыщенное похвальное слово обществу. Он предложил в этот торжественный день радости и благодарения оказать якобинцам справедливость, заявив, что с самого начала революции они не переставали заслуживать благодарности отечества. Это предложение приняли среди шумных аплодисментов, и Конвент и якобинцы расстались в восторге и каком-то опьянении.

Если Конвент получал много адресов после казни эбертистов и дантонистов, то теперь их стало приходить несравненно больше. Заразительная сила идей и слов действует на французов с чрезвычайной быстротой. У такого впечатлительного и общительного народа идея, занимающая нескольких, скоро занимает всех; слово, сказанное несколькими, скоро повторяется всеми. Адресы посыпались со всех сторон; поздравляли Конвент, благодарили его за учреждение добродетели и провозглашение Высшего существа. Все секции, одна за другой, пришли выразить те же чувства. Секция Марата тоже явилась и обратилась к Горе со словами: «Благодетельная Гора! Хранитель Синай! Прими и ты наши поздравления и благодарность за все великие декреты, которые ты каждый день изобретаешь для счастья рода человеческого. Из твоего кипучего лона исходит спасительный гром, который, раздробив атеизм, дает всем истинным республиканцам утешительную мысль, что они живут свободными под взорами Всевышнего и в ожидании бессмертия души. Да здравствуют Конвент! Да здравствует Республика! Да здравствует Гора!»

Все адреса повторяли просьбу сохранить за собой власть. В одном адресе Конвент даже приглашался заседать до тех пор, пока царство добродетели будет водворено в Республике на несокрушимых основах.

С этого дня слова «добродетель» и «Высшее существо» не сходили с языков. Прах Руссо был перенесен в Пантеон. Его вдову представили Конвенту и назначили ей пенсию.

Так Комитет общественного спасения, победив все партии, став во главе восторженной и победоносной нации, провозгласив царство добродетели и догмат о Всевышнем, дошел до пика своего могущества и до последних пределов своих.

Глава XXXIV

Состояние Европы в начале 1794 года – Политика Питта – Открытие кампании, занятие Альп и Пиренеев – Операции в Нидерландах – Конец вандейской войны и начало войны шуанов – Морское сражение

Зима в Европе и Франции прошла в приготовлениях к новой кампании. Англия всё еще оставалась душой коалиции и убеждала континентальные державы уничтожить пугавшую ее революцию и ненавистную ей соперницу. Непримируемый сын лорда Четэма^[15] приложил в этом году неимоверные усилия, чтобы раздавить Францию. Однако не без препятствий добыл он у парламента средства, соразмерные его обширным замыслам. Лорд Стенхоп в верхней палате и Фокс и Шеридан в нижней всегда были против войны. Они отказывали во всех пожертвованиях, которых требовали министры; они хотели предоставить только средства для вооружения берегов и не желали, чтобы эту войну именовали справедливой и необходимой; по их словам, она была бессовестной и разорительной и неудачи стали справедливым за нее наказанием. Приводимые побуждения – открытие Шельды, опасность для Голландии, необходимость защищать британскую конституцию – они называли лживыми предлогами. Делом министров, по мнению их противников, было уничтожить народ, захотевший освободиться, и увеличить свое личное влияние и могущество под предлогом обороны.

Притом борьба эта велась бесчестными средствами. Министры раздували междоусобную войну, но храбрые французы расстроили расчеты своих врагов беспримерным мужеством и подвигами. Стенхоп, Фокс и Шеридан выводили из этого, что подобная борьба бесчестит и разоряет Англию. Они ошибались в одном отношении. Английская оппозиция может попрекнуть свое правительство несправедливыми войнами, но только не убыточными.

Если к войне с Францией и не имелось справедливых оснований, тем не менее она мотивировалась самыми уважительными

политическими соображениями, и оппозиция, введенная в заблуждение благородными чувствами, забывала о выгодах, долженствовавших произойти из этой войны для Англии.

Питт притворялся, что его пугают угрозы высадки, произнесенные в Конвенте; он уверял, будто какие-то поселяне в графстве Кент говорили: «Вот французы принесут нам права человека». Основываясь на подобных изречениях (за которые, говорят, он же сам платил деньги), Питт доказывал, что конституции грозит опасность, обличал английские общества, становившиеся несколько деятельнее по примеру французских клубов, и утверждал, что они хотят учредить конвент под предлогом парламентской реформы. На основании всего этого Питт потребовал временно приостановить действие Хабеас корпус, захватить бумаги подозрительных обществ и даже предать суду нескольких их членов. Сверх того он требовал права вербовать волонтеров, увеличить состав сухопутной и морской армий, собрать наемный иностранный корпус из 40 тысяч человек – французских эмигрантов и других.

Оппозиция противилась этим требованиям. Она доказывала, что нет ни малейшего повода к временной отмене драгоценнейшего из английских прав; что упоминаемые общества заседают публично и их желания, выражаемые гласно, не могут считаться заговорами; что эти желания разделяет вся Англия, так как они ограничиваются парламентской реформой; что непомерное увеличение сухопутной армии представляет опасность для английского народа; что если можно вооружать волонтеров по подписке, то английский министр будет вправе набирать армии без разрешения парламента; что нанимать такое множество иностранцев – разорительно и что это значило бы только платить деньги французам, изменяющим своему отечеству. Несмотря на все доводы оппозиции, Питт добился всего, чего хотел, и все внесенные им законопроекты были приняты.

Настояв на своем, он удвоил число ополченцев; сухопутную армию довел до 60 тысяч, а морскую – до 80 тысяч человек, организовал новые корпуса из эмигрантов и отдал под суд нескольких членов конституционных обществ. Английский суд присяжных, гарантия более надежная, нежели парламент, оправдал подсудимых, но Питту это было уже неважно: у него теперь имелись все средства к подавлению малейшего политического движения и к обладанию колоссальной силой

в Европе.

Это была самая удобная минута для того, чтобы, пользуясь всеобщей войной, вконец разбить Францию, разорить ее флот, отнять у нее колонии: результат гораздо более верный и желательный в глазах Питта, чем подавление каких-нибудь религиозных и политических учений. В прошлом году ему удалось вооружить против Франции две морские державы, которым следовало бы всегда оставаться в союзе с нею, – Испанию и Голландию; теперь Питт заботился о том, чтобы они не вышли из своего политического заблуждения, и старался извлечь из него возможно большую для себя пользу. Англия могла вывести из портов по меньшей мере сто линейных кораблей, Испания – сорок, Голландия – двадцать, не считая множества фрегатов. Как могла Франция, с оставшимися у нее после тулонского пожара пятьюдесятью или шестьюдесятью кораблями, сладить с такими силами?

Действительно, хотя не произошло еще ни одного морского сражения, но английский флаг господствовал на Средиземном море и в Атлантическом океане. Еще одна кампания – и французская торговля должна была погибнуть, какой бы ни была участь французского оружия на материке. Из всего этого видно, что ничто не могло быть разумнее войны, которую Питт повел против Франции. Оппозиция оказалась бы права лишь в одном случае, и этот случай до сих пор не представился: если бы национальный долг Англии, постоянно возрастающий и достигший колоссальных размеров, в действительности превысил богатство страны.

Питт не останавливался ни перед какими насильственными методами, чтобы увеличить свои возможности и усилить бедствия Франции. Американцы, благоденствуя под управлением Вашингтона, свободно ходили по морям и начинали создавать ту обширную торговлю, которая обогащала их в течение долгих континентальных войн.

Английские эскадры останавливали американские суда и похищали матросов. Более пятисот судов уже подверглись такому насилию, и это служило предметом энергичных, но пока бесполезных протестов и представлений со стороны американского правительства. Это еще не всё: рассчитывая на нейтралитет, американцы, датчане и шведы заходили во французские порты, привозили хлеб, крайне драгоценное

подспорье в эту тяжелую годину, а также множество предметов, необходимых в морском деле, и взамен увозили вина и другие продукты, которыми Франция по сей день снабжает весь мир. Благодаря этому посредничеству нейтральных народов торговля не совсем прервалась и удовлетворялись хотя бы самые насущные потребности народа. Англия же, смотря на Францию как на осажденную крепость, которую требуется уморить голодом или довести до отчаяния, непременно хотела посягнуть на эти права нейтральных держав и обратилась к северным дворам с нотами, исполненными софистики, чтобы склонить их к явному нарушению международного права.

Пока Англия пускала в ход все эти разнородные средства, у нее всё еще оставалось 40 тысяч человек в Нидерландах под началом герцога Йоркского; лорд Мойра, не поспевший вовремя в Гранвиль, стоял на якоре в Джерси со своей эскадрой и десантными войсками; наконец, английское казначейство предоставляло большие суммы в распоряжение воюющих держав.

На материке усердие было далеко не так велико. Державы, не заинтересованные в войне так сильно, как Англия, а объявившие ее больше ради так называемых принципов, не занимались ею ни столь пламенно, ни столь деятельно. Англия всячески старалась ободрить своих союзников. Она держала Голландию под гнетом с помощью принца Оранского и принудила ее отправить в союзную армию свой контингент. Таким образом, эта несчастная нация вынуждена была служить кораблями и людьми самому страшному своему врагу против надежнейшей своей союзницы. Пруссия, несмотря на склонность своего короля к мистицизму, разочаровалась в иллюзиях, которыми ее питали уже два года. Отступление в Шампаньи в 1792 году и в Вогезских горах в 1793-м не особенно примирили ее с войной. Фридрих-Вильгельм, истощив казну и ослабив армию войной, которая не могла иметь хороших результатов для его государства, охотно отказался бы от нее, тем более что возмущение в бывшей Польше немало тревожили его.

Но Англия своим всемогущим золотом вывела прусского короля из колебаний и убедила продолжать войну. Она заключила с ним в Гааге трактат, которым Пруссия обязывалась поставить в распоряжение коалиции 62 тысячи человек; начальником этой армии назначался

пруссак, а будущие ее завоевания принадлежали обеим морским державам – Англии и Голландии. Эти две державы обещали выдавать Пруссии на содержание войск по 50 тысяч фунтов каждый месяц, а кроме того выдавать им хлеб и фураж; сверх этой суммы они давали еще 30 тысяч фунтов на первые расходы по открытию кампании и 100 тысяч на возвращение войск в прусские владения. На этих условиях Пруссия согласилась продолжать начатую невыгодную войну.

Австрийскому дому дела не было до того, что происходило во Франции, с тех пор как королева, супруга Людовика XVI, умерла на эшафоте. Революционная зараза была менее опасна для этой страны, нежели для всякой другой. Стало быть, она продолжала войну с Францией уже только из мести, вследствие принятого на себя обязательства и из желания поживиться несколькими крепостями в Нидерландах. Австрия принималась за дело горячее Пруссии, но, в сущности, немногим деятельнее, так как только укомплектовала и заново организовала свои полки, но числа их не увеличила. Большая часть ее войск находилась в Польше, потому что и ей, подобно Пруссии, приходилось думать о Висле не меньше, чем о Рейне, и Галиция занимала ее не менее Бельгии и Эльзаса.

Швеция и Дания благоразумно хранили нейтралитет и на софизмы Англии возражали, что международное право незыблемо, что нет ни малейшего повода нарушать его по отношению к Франции и применять к целой стране блокадные законы, применяемые только к осажденным городам; что датские и шведские суда хорошо принимают во Франции и они находят там вовсе не варваров, а правительство, честно поступающее с иностранными коммерсантами и оказывающее им всякое внимание; что, следовательно, нет причины прерывать обоюдные выгодные сношения. Мало того, Швеция и Дания, несмотря на то, что Россия как будто склонялась на сторону Англии, упорствуя в своем решении сохранить твердый и осторожный нейтралитет, заключили между собой договор, которым обязывались отстаивать права нейтральных народов и наблюдать за исполнением статьи трактата 1780 года, закрывавшей Балтийское море для вооруженных судов держав, не имевших на этом море портов. Таким образом, Франция могла надеяться и дальше получать с севера хлеб, лес и пеньку.

Немецкие государи следовали импульсу, получаемому от

Австрийского дома. Швейцария, охраняемая своими горами и избавленная от необходимости принимать участие в ссоре, по-прежнему оставалась в стороне и прикрывала своим нейтралитетом восточную границу Франции, самую открытую из всех. Она делала на континенте то, что американцы, шведы и датчане делали на море: она оказывала помощь французской торговле и получала ту же награду. Она поставляла Франции лошадей, в которых нуждались ее армии, и скот, которого не хватало с тех пор, как война опустошила Вогеzy и Вандею; она вывозила товары французских мануфактур и стала выгодной посредницей в торговле.

Пьемонт продолжал войну, несомненно, против своей воли, но он не мог сложить оружия, потеряв в этой кровавой игре две провинции, Савойю и Ниццу. Итальянские державы хотели остаться нейтральными, но им в этом всячески мешали. Генуэзская республика не сумела помешать англичанам совершить в ее порту гнусное дело, бессовестное покушение против международного права: англичане захватили французский фрегат, стоявший там на якоре под охраной генуэзского нейтралитета, и вырезали весь экипаж. Тоскана была вынуждена выслать французского посланника. Неаполь, признавший Республику, когда французские эскадры находились в виду его берегов, устраивал всяческие маневры против нее с тех пор, как английский флаг начал развеваться на Средиземном море, и даже обещал Пьемонту 10 тысяч человек. Рим, к счастью, бессильный, проклинал Французскую республику и позволил безнаказанно убить в своих стенах ее агента Басвиля. Наконец, Венеция, хотя ей не очень нравились демагогические речи Франции, вовсе не желала впутываться в войну и надеялась сохранить нейтралитет благодаря своему отдаленному положению. Корсика готова была ускользнуть от Франции, с тех пор как Паоли решительно стал на сторону англичан, и на всем острове у нее оставались уже только города Бастия и Кальви.

Испания, наименее виновный из всех врагов Франции, продолжала войну, упорствуя в той же ошибке, что и Голландия. Мнимый долг, победы Рикардоса и английское влияние заставили ее попытать счастья еще в одной кампании, несмотря на сильное истощение, недостаток в солдатах и в особенности в деньгах.

Из всего вышесказанного следует, что политика мало изменилась с

предыдущего года. Интересы, заблуждения, ошибки были те же. Одна Англия увеличила свои силы. Союзники всё еще имели в Нидерландах 150 тысяч человек – австрийцев, немцев, голландцев и англичан, 25 тысяч австрийцев находились в Люксембурге, 60 тысяч пруссаков и саксонцев – в окрестностях Майнца, 50 тысяч австрийцев с некоторой примесью эмигрантов стояли вдоль Рейна, от Мангейма до Базеля. Пьемонтская армия всё еще состояла из 40 тысяч солдат и 7–8 тысяч австрийских вспомогательных войск. Испания устроила небольшой набор для укомплектования своих полков и просила денежных пособий у духовенства, но ее армия не стала значительнее, чем в предыдущем году, и не превышала 60 тысяч человек, размещенных в Пиренеях.

Союзники с севера собирались нанести Франции самые решительные удары, опираясь на Конде, Валансьен и Ле-Кенуа. Знаменитый Макк составил в Лондоне план, от которого надеялись получить большие результаты. Немецкий тактик на этот раз несколько расхрабрился и внес в проект поход на Париж. К несчастью, поздно было храбриться, потому что французов уже нельзя было застать врасплох и силы у них были громадные. План этот состоял в том, чтобы взять еще одну крепость,

Ландреси, стянуть большую часть войск на этот пункт и идти вперед, оставляя по флангам два корпуса, один во Фландрии, другой на Самбре. В то же время лорд Мойра должен был высадить свои войска в Вандее и со своей стороны тоже идти на Париж.

Брать Ландреси, имея уже Валансьен, Конде и Ле-Кенуа, было совершенно лишним; весьма умно было прикрыть свои сообщения с Самброй, но не имело смысла оставлять корпус во Фландрии, когда требовалось образовать большую наступательную силу; наконец, диверсия из Вандеи сделалась невозможной, потому что Вандея пала. При сличении проекта с событиями мы увидим всю тщету этого плана, сочиненного, разумеется, в Лондоне.

Коалиция, повторяем, развернула не очень большие средства. Истинно деятельных держав в этот момент в Европе было три: Англия, Россия и Франция. Англии нужно было завладеть всеми морями, России – защитить Польшу, а для Франции речь шла о спасении самого существования и свободы, и она ради этого жизненного вопроса явила небывалый в истории пример энергии и героизма.

Постоянная реквизиция, постановленная декретом от августа 1793 года, уже доставила армиям большое подспорье и отчасти стала причиной побед, которыми окончилась кампания, но все результаты этой великой меры должны были обнаружиться лишь в следующую кампанию. Благодаря этому чрезвычайному движению миллион двести тысяч человек бросили дома и прикрыли собой границы или наполнили части внутри страны. Уже приступили к формированию бригад из этих новых солдат. Один линейный батальон соединялся с двумя батальонами ополченцев, и получались превосходные полки. По этому плану было уже организовано 700 тысяч человек, которые тотчас же были отосланы на границы и в крепости.

Считая гарнизоны, на севере было 250 тысяч человек, 40 тысяч – в Арденнах, 200 – на Рейне и Мозеле, 100 – в Альпах, 20 – в Пиренеях и 80 – от Шербура до Да-Рошели. Экипировку обеспечили такими же необычайными и быстрыми средствами. Устроенные в Париже и в провинциях оружейные заводы скоро достигли требуемой мощности и произвели множество пушек, ружей и сабель. Комитет общественного спасения, искусно используя особенности французского характера, сумел ввести в моду изготовление селитры; была даже издана инструкция, образцовая по простоте и ясности, учившая всех граждан самим выщелачивать землю в подвалах и погребах. Кроме того, комитет нанял нескольких химиков и поручил им научить граждан техническим приемам. Скоро этот новый обычай стал привычным, горожане передавали друг другу полученные наставления, и каждый дом поставил по несколько фунтов этой драгоценной соли. Целые кварталы собирались, чтобы с торжеством нести в Конвент или к якобинцам самодельную селитру. Придумали празднество, на котором каждый желающий клал свое приношение на Алтарь Отечества. Селитре придавались разные символические формы, расточались всевозможные замысловатые эпитеты: то ее называли соль-мстительница, то соль-избавительница. Народ забавлялся этим, но в то же время поставлял значительные количества селитры – и цель правительства была достигнута.

Правительство умудрилось ввести еще другую моду, не менее выгодную. Было легче набрать людей и изготовить оружие, нежели найти лошадей: в артиллерии и кавалерии был в них большой

недостаток. Пришлось прибегнуть к последнему средству – реквизиции, то есть забирать лошадей насильно. В каждом кантоне взяли одну лошадь из двадцати пяти, платя за нее по 900 франков. Однако как ни могущественна сила, добрая воля еще сильнее. Комитет тайно подговорил якобинцев пожертвовать отечеству одного всадника с полной экипировкой. Этот пример мигом вызвал подражания: общины, клубы, секции поспешили последовать ему, и Республика обогатилась так называемыми якобинскими всадниками, безукоризненно экипированными.

Солдаты нашлись, теперь требовались офицеры. Комитет и тут распорядился с обычной своей быстротой. «Революция, – сказал Барер, – должна всё торопить для своих нужд. Революция для человеческого ума – то же, что солнце Африки для растительности». Восстановили Военную школу на Марсовом поле; выбранные во всех областях молодые люди пешком, военным порядком, пришли в Париж. Им устроили лагерь, где они наскоро обучались всем отраслям военного искусства, а оттуда отправились по армиям.

Не меньше усилий было совершено для возрождения флота. В 1789 году он состоял из пятидесяти кораблей и стольких же фрегатов. Беспорядки, сопряженные с революцией, и несчастье в Тулоне свели его к пятидесяти судам, из которых едва тридцать могли выйти в море. Чего недоставало в особенности, так это экипажа и офицеров. Морская служба требовала опытных людей, а опытные люди были несовместимы с революцией. Реформа, произведенная в главных штабах сухопутных армий, была еще неизбежнее в штабах морской армии и должна была расстроить ее гораздо сильнее. Два министра, Монж и д'Альбарад, не справились с этими трудностями и ушли в отставку.

Комитет и тут решил пустить в ход чрезвычайные средства. Он послал Жанбона Сент-Андре и Приёра, депутата Марны, в Брест с полномочиями, какие обыкновенно давались комиссарам Конвента. Брестская эскадра, четыре месяца прокрейсировав вдоль западных берегов, чтобы препятствовать сообщениям вандейцев с англичанами, взбунтовалась, измученная страданиями. Как только она вернулась, адмирал Морар де Галь был арестован комиссарами и привлечен к ответу за беспорядки, происшедшие в эскадре.

Поселяне, никогда не бывавшие на море, были посланы на корабли

Республики, где они должны были маневрировать в виду опытных английских матросов; простые офицеры получили высшие чины, и корабельный капитан Вилларе-Жуайёз был произведен в начальники эскадры. В какой-нибудь месяц флот из тридцати кораблей оказался готов выйти в море и вышел, исполненный энтузиазма, напутствуемый громкими приветствиями горожан, – не для того, правда, чтобы напасть на страшные эскадры Англии, Голландии и Испании, а чтобы конвоировать транспорт из двухсот судов, который вез из Америки большое количество хлеба, и драться до последнего, если бы того потребовало спасение транспорта.

В Тулоне тем временем совершались не менее быстрые преобразования. Уцелевшие после пожара суда ремонтировались, и строились новые – всё это за счет богатых жителей, которые содействовали сдаче порта неприятелям. За неимением больших судов, еще не готовых после ремонта, множество каперов рассыпались по морям и захватывали значительные призы. Смелая и мужественная нация, у которой недостает средств на большую войну, всегда может прибегнуть к войне раздробленной и применить к ней весь свой ум и храбрость; на суше она ведет партизанскую войну, а на море корсарскую. Согласно докладу лорда Стенхопа, французские каперы в 1793 и 1794 годах взяли 410 судов, тогда как англичане – взяли только 316 французских. Следовательно, правительство не отчаивалось поправить свои дела даже на море.

Такие граничащие с чудом труды должны были принести свои плоды, и в 1794 году предстояло получить награду за усилия, совершенные в 1793-м.

Кампания открылась сначала в Альпах и Пиренеях. В Западных Пиренеях она шла довольно вяло, зато энергичнее разыгралась в Восточных, где испанцы взяли линию Тека и еще занимали знаменитый лагерь при Булу. Рикард ос умер, и этого искусного генерала заменил один из его офицеров, граф Ла-Унион, отличный солдат, но посредственный начальник. Не получив еще ожидаемых подкреплений, новый начальник хотел лишь сохранить Булу. Французами командовал храбрый Дюгомье, победитель Тулона. Часть складов и войск, с которыми он взял этот город, Дюгомье перевел под Перпиньян, пока

новобранцы организовались у него в тылу. Дюгомье мог вывести в бой 35 тысяч человек и воспользоваться расстроенным состоянием испанцев. Дагобер, всё такой же пламенный, несмотря на свои годы, предлагал план нашествия через Сердань: французы перешли бы через Пиренеи и, обойдя испанцев с тыла, заставили бы их отступить. Дюгомье предпочел начать атакой против лагеря при Булу, и Дагобер, находившийся со своей дивизией в Сердане, вынужден был ждать результата этой атаки. Лагерю Булу, расположенному на берегах

Тека и прислоненному к Пиренеям, выходом служила большая дорога на Бельгард, ведущая из Франции в Испанию. Дюгомье, вместо того чтобы напасть на отлично укрепленные неприятельские позиции с фронта, стал искать способ пробраться между Булу и большой дорогой, чтобы отрезать испанский лагерь. Всё удалось ему превосходно. Ла-Унион перед тем перенес свои главные силы в Сере и оставил высоты Св. Кристофа, господствующие над Булу, недостаточно защищенными. Дюгомье перешел через Тек, часть своих сил бросил к этим высотам, с остальными атаковал испанские позиции с фронта и после довольно горячего сражения овладел высотами.

После этого испанцы не могли оставаться в своем лагере; им надо было отступить по дороге на Бельгард, но Дюгомье завладел и ею, оставив испанцам только узкий и неудобный выход через ущелье Кольде-Портель. Отступление скоро превратилось в беспорядочное бегство, и французам достались 1500 пленных, 140 орудий, 800 мулов со всей кладью и лагерные принадлежности на 20 тысяч человек. Эта победа, одержанная в начале мая, возвратила французам реку Тек и возможность перейти через Пиренеи. Дюгомье тотчас же блокировал Коллиур, Пор-Вандр и Сент-Эльм. Пока одерживали эту победу, храбрый Дагобер, заболев лихорадкой, окончил свою долгую и славную жизнь. Благородного старца провожали любовь и сожаление всей армии.

Ничто не могло быть блистательнее такого дебюта. В Западных Пиренеях французы взяли долину Бастан, и победы над испанцами, первые в эту войну, вызвали общую радость.

Надо было установить оборонительную линию по всей главной цепи Альп. Французы в предыдущем году отбросили пьемонтцев в их

долины в Савойе, но следовало еще взять Малый Сен-Бернар и Мон-Сени. В Ницце Итальянская армия всё еще стояла лагерем перед неприступным Саорджио и никак не могла взять его. Место генерала Дюгомье в этой армии занял старик Жадар дю Мербьон, храбрый, но постоянно страдающий от подагры.

К счастью, он во всем слушался молодого Бонапарта, который, как мы видели выше, решил вопрос о взятии Тулона, посоветовав атаковать Малый Гибралтар. Эта заслуга доставила Бонапарту чин бригадного генерала и большое уважение в армии. Осмотрев неприятельские позиции, он убедился в невозможности взять лагерь, но ему пришла в голову такая же счастливая мысль, как та, которой он возвратил Республике Тулон. Саорджио стоит в долине реки Роны. Параллельно этой долине располагается долина Онелья, пересекаемая рекой Таджа. Бонапарт решил послать отряд в 15 тысяч человек в эту долину, приказав подняться вверх до истоков реки Танаро, потом взойти на гору Танарелло и таким образом перерезать дорогу в Саорджио между лагерем и Коль-ди-Тенда. Отрезанный от главных Альп, лагерь неминуемо должен был сдаться. Против этого плана можно было выдвинуть лишь одно возражение: армии приходилось пользоваться территорией Генуи. Но Республика не должна была этого стесняться, потому что в предыдущем году две тысячи пьемонтцев прошли по ее территории в Онелью и сели там на суда, отправляясь в Тулон; да и покушение против фрегата «Да Модесте», совершенное англичанами в порту Генуи, являлось несомненным нарушением нейтралитета.

Сверх того, было крайне выгодно растянуть правый фланг Итальянской армии до Онельи; этим можно было прикрыть часть генуэзского побережья, прогнать корсаров из маленького порта Онельи, где они обыкновенно скрывались, и обеспечить торговлю Генуи с югом Франции. Эту торговлю, производившуюся каботажными судами, постоянно тревожили английские эскадры и корсары, и необходимо было охранять ее, потому что она доставляла югу хлеб. Одним словом, нельзя было колебаться насчет принятия плана Бонапарта. Комиссары обратились к Комитету общественного спасения за разрешением и получили его.

Шестого апреля (17 жерминаля) отряд из 14 тысяч человек,

разделенный на пять бригад, перешел Ройю. Генерал Массена направился к Танаро, а Бонапарт с тремя бригадами – к Онелье, куда он вступил, изгнав

Австрийскую дивизию. Он нашел в Онелье двенадцать орудий и очистил порт от корсаров, от которых в морях не было прохода. Пока Массена от Танаро переходил к горе Танарелло, Бонапарт продолжал свое движение и из Онельи пошел в Ормеа, в долину реки Танаро. В этот город он вступил 15 апреля (18 жерминаля) и нашел там несколько ружей, двадцать орудий и полные склады сукна для обмундирования войск. Соединившись в долине Танаро, французские бригады направились к верховьям Гойи, чтобы исполнить задуманное движение против левого фланга пьемонтцев. Генерал дю Мербьон атаковал позиции пьемонтцев с фронта, пока Массена нападал на них с флангов и тыла. После нескольких довольно жарких стычек пьемонтцы бросили Саорджио и отступили к Коль-ди-Тенда, наконец бросили и этот проход, чтобы спастись за главной цепью Альп.

Пока это происходило в долине Ройи, левый фланг Итальянской армии очищал долины рек Тине и Везюби, и вскоре после того Альпийская армия, соревнуясь со своими товарищами, силой взяла Сен-Бернар и Мон-Сени. Итак, с половины флореаля (начала мая) французы уже занимали всю альпийскую цепь, начиная с первых апеннинских холмов и до Монблана. Правый фланг их, опираясь на Ормеа, простирался почти до ворот Генуи, покрывал большую часть побережья и охранял торговлю от пиратства. Они взяли в плен от трех до четырех тысяч человек, отобрали у неприятеля 50–60 орудий, много материала для экипировки и две крепости. Стало быть, дебют был так же блистателен в Альпах, как в Пиренеях; здесь, как и там, французы выиграли границу и часть средств, припасенных неприятелем.

На главном театре войны, на севере, кампания открылась несколько позднее. Там 500 тысяч человек готовы были сразиться от Вогезов до моря. Главные силы французов всё еще стояли около Лилля, Гиза и Мобёжа. Главнокомандующим их был Пишегрю. В прошедшем году он командовал Рейнской армией и сумел приписать себе честь снятия блокады Ландау, тогда как эта честь по справедливости принадлежала молодому Гошу. Пишегрю получил полное доверие Сен-Жюста, между

тем как Гоша заключили в тюрьму, и выпросил себе руководство Северной армией. Журдан, хоть и пользовался уважением как рассудительный военачальник, не считался достаточно энергичным для этого важного места и заменил Гоша при Мозельской армии. Мишо получил Рейнскую армию. Карно всё еще заведовал военными операциями из своего кабинета, а Сен-Жюст и Леба были посланы в Гиз разжигать энергию армии.

Характер местности требовал весьма простого плана операций, который, однако, мог привести к весьма скорым результатам. Следовало бы двинуть главные силы к реке Маас, близ Намюра, и стараться прервать сообщения австрийцев. Тут находился ключ войны, и он будет на реке Маас всякий раз, когда война будет вестись в Нидерландах против австрийцев, пришедших с Рейна. Каждый маневр во Фландрии становился неосторожностью, потому что крыло, двинутое во Фландрию, не было настолько сильно, чтобы справиться с союзниками, оно могло только сопротивляться им с фронта, а не мешать их отступлению. Союзникам стоило только дать ему двинуться в Западную Фландрию, чтобы окружить и припереть к морю.

Пишегрю, обладая познаниями, умом и решимостью, но довольно посредственным военным талантом, ошибочно оценил положение, и Карно, увлекшись своим прошлогодним планом, настоял на том, чтобы прямо атаковать центр неприятеля и тревожить его на обоих флангах. Вследствие этого решения главные силы должны были действовать из Гиза против центра союзников, между тем как два сильных отряда, действуя один на Лисе, другой на Самбре, совершали бы двойной маневр. Таков был план, противопоставленный наступательному плану Макка.

Кобург всё еще был главнокомандующим союзных армий. Император Австрии сам приехал в Нидерланды с целью прекратить раздоры, ежеминутно возникавшие между союзными генералами. Кобург собрал сто тысяч солдат на равнинах Като, чтобы блокировать Ландреси. Этим союзники хотели начать свои действия, пока удастся уговорить пруссаков идти от Мозеля к Самбре.

Движение началось в последние дни жерминаля. Неприятельская армия, отбросив французские отряды, рассеянные перед нею, расположилась вокруг Ландреси; герцог Йоркский занял

обсервационный пост около Камбре, а Кобург – около Гиза. Из-за этого движения союзников французские дивизии центра, отодвинутые назад, оказались отделенными от дивизий при Мобёже, образовавших правое крыло. Двадцать первого апреля (2 флореаля) было совершено усилие, чтобы соединиться с этими дивизиями, произошло жаркое сражение при Эльпе. Французские колонны, как всегда слишком раздробленные, потерпели поражение на всех пунктах и вынуждены были возвратиться на оставленные позиции.

Тогда решили было начать новую атаку, на этот раз генеральную, с центра и с обоих флангов. Дивизия Дежардена, находившаяся около Мобёжа, должна была совершить движение, чтобы соединиться с дивизией Шарбонье, шедшей из Арденн. В центре семь колонн собирались действовать одновременно и концентрически против неприятеля, находившегося возле Ландреси. Наконец с левой стороны, Суам и Моро, выйдя из Лилля с двумя дивизиями, получили приказ двинуться во Фландрию и завладеть двумя городами: Мененом и Куртре.

Левый фланг французской армии не встретил препятствий, потому что князь Кауниц, стоявший с дивизией на Самбре, не мог помешать соединению Шарбонье и Дежардена. Колонны центра тронулись 26 апреля и с семи разных точек пошли на австрийскую армию. Эта система одновременных, но бессвязных атак, столь дурно удававшаяся в прошлом году, удалась не лучше и на этот раз. Колонны, слишком далеко отстоявшие одна от другой, не могли поддерживать друг друга и ни на одном пункте не одержали решительной победы. Одна из них, колонна генерала Шапюи, даже потерпела полное поражение. Генерал этот, выйдя из Камбре, столкнулся с герцогом Йоркским, который прикрывал Ландреси. Подавляемый огнем англичан, Шапюи не выдержал кавалерийской атаки с фланга и бежал; дивизия его в беспорядке возвратилась в Камбре. Этих неудач зависели не столько от войск, сколько от способа ведения операций. Молодые солдаты иногда терялись в новом для них положении, под неприятельским огнем, но их легко было ободрить и повести назад в атаку; они нередко проявляли необычайную храбрость и энтузиазм.

Пока происходила эта бесплодная атака против центра, движение против Клерфэ во Фландрии вполне удалось. Суам и Моро вышли из

Лилля и двинулись к Куртре и Менену 26 апреля. Известно, что эти два города стоят на Лисе, один за другим. Моро окружил Менен, а Суам взял Куртре. Клерфэ, обманутый, искал французов там, где их не было, но скоро узнал об осаде Менена и взятии Куртре и решил заставить французов отступить, угрожая их сообщениям с Лиллем. Он 28 апреля двинулся в Мус крон с 18 тысячами, неосторожно вызывая на бой 50 тысяч французов. Моро и Суам тотчас же отрядили часть своих войск для защиты сообщений, а сами пошли в Мускрон и решились предложить Клерфэ сражение. Он занимал укрепленную позицию, доступную только через пять узких проходов, защищенных сильной артиллерией.

Двадцать девятого апреля (10 флореаля) вышел приказ начать атаку. Молодые солдаты, многие из которых в первый раз видели неприятельский огонь, сначала не выдержали его; но генералы и офицеры старались ободрить их. Это им удалось, и позиции были взяты. Клерфэ потерял 1200 человек пленными, из них 84 офицера, и тридцать три орудия, четыре знамени и пятьсот ружей. Это была первая большая победа на севере, и она неимоверно подняла настроение армии. Менен был взят тотчас после того, правда, отряд эмигрантов, запертый в этом городе, пробился и спасся.

Удача левого фланга и неудача центра заставили Пишегрю и Карно совсем отказаться от центра и действовать исключительно с флангов. Пишегрю послал генерала Бонно с 20 тысячами войска в Сэнген близ Лилля, чтобы обеспечить Моро и Суаму сообщение с остальной армией. Он оставил в Гизе только 20 тысяч человек под началом генерала Феррана и отрядил остальных в Мобёж с приказанием присоединиться к Дежардену и Шарбонье. Благодаря этому соединению правый фланг, назначавшийся для действий на Самбре, достиг 56 тысяч человек. Карно, еще лучше, чем Пишегрю, оценив положение дел, отдал приказ, решивший исход кампании. Начиная сознавать, что нужно бить союзников на Маасе и Самбре и что если они будут разбиты на этой линии, то окажутся отделены от базы операций, он приказал Журдану привести 15 тысяч человек из Рейнской армии, оставить на западном склоне Вогезов лишь столько войска, сколько необходимо для прикрытия этой границы, потом уйти с Мозеля и форсированными маршами перейти на Самбру. Армия Журдана, соединенная с

Мобёжской, должна была образовать массу в 90—100 тысяч человек и обеспечить поражение союзников на решительном пункте. Этот приказ, самый мастерский из всех в эту кампанию, вышел 30 апреля.

Кобург тем временем взял Ландреси. Не придавая должного веса поражению Клерфэ, он довольствовался тем, что отрядил герцога Йоркского к Ламену.

Клерфэ двинулся в Западную Фландрию между передовым отрядом французского левого крыла и морем; таким образом, он больше прежнего удалился от главной армии и помощи, которую хотел ему подать герцог Йоркский. Французы, расставленные в Лилле, Менене и Куртре, образовали передовую колонну во Фландрии; Клерфэ, придя в Тилт, оказался между морем и этой колонной. Герцог Йоркский в Ламене, близ Турне, стоял между той же колонной и главными силами союзников. Клерфэ напал на город Куртре 10 мая (21 флореаля). Суам в эту минуту находился за Куртре; он быстро сделал нужные распоряжения, возвратился в город на помощь Вандаму и отрядил Макдональда в Менен, поручив обойти Клерфэ.

Сражение произошло 11 мая. Клерфэ наилучшим образом распорядился на большой дороге в Брюгге и в пригородных предместьях, но молодые французские ополченцы пренебрегли огнем из домов и батарей и принудили Клерфэ к отступлению. Четыре тысячи человек с обеих сторон остались лежать на поле битвы, и если бы французы обошли неприятеля не с этой, а с противоположной стороны, то смогли бы отрезать союзникам отступление во Фландрию.

Итак, Клерфэ уже дважды был побит французским левым крылом. Правому крылу, на Самбре, везло не так. Этим крылом командовали несколько генералов, которые заседали на военных советах с Сен-Жюстом и Леба, и потому в их действиях не было такого единства, как в действиях дивизий Суама и Моро. Клебер и Марсо, переведенные сюда из Вандеи, могли бы привести к победе, но их советам внимали мало. Движение, предписанное правому крылу, состояло в том, чтобы перейти Самбру и идти на Моне. Переход совершился 9 мая (20 флореаля), но на том берегу не были сделаны надлежащие распоряжения, и армия не смогла на нем удержаться. Сен-Жюст решил попытаться вторично 22-го числа. Гораздо лучше было бы дожидаться Журдана, который со своими 45 тысячами сделал бы успех правого крыла неизбежным, но Сен-Жюст

не терпел ни колебаний, ни промедлений, и грозному проконсулу следовало повиноваться. Второй переход был не удачнее первого. Армия снова переправилась через Самбру, снова подверглась атаке на том берегу и погибла бы, если бы не храбрость Марсо и твердость Клебера.

Итак, уже целый месяц война деятельно велась от Мобёжа до моря – с неимоверным ожесточением, но без решительных результатов. Французские войска закалялись, и смелое, искусное движение, предписанное Журдану, готовило громадные результаты.

План Макка стал неисполним. Прусский генерал Мёллендорф отказывался идти на Самбру и говорил, что не имеет на это приказа от своего двора. Английские дипломаты поехали в Берлин требовать у прусского двора объяснений, а пока Кобург, одному из флангов которого грозила опасность, вынужден был, по примеру Пишегрю, распустить свой центр. Он послал подкрепления Кауницу на Самбру, а главный корпус армии сосредоточил во Фландрии, в окрестностях Турне. Следовательно, решительное дело готовилось на левом фланге.

Тогда в австрийском Главном штабе задумали план, которому дали название разрушительный; целью этого плана было отрезать французскую армию от Лилля, окружить ее со всех сторон и уничтожить. Подобная операция была возможна, потому что союзники могли пустить в дело около 100 тысяч против 70, но они приняли странные меры для достижения своей цели. Французы всё еще стояли в следующем порядке: Суам и Моро – в Менене и Куртре, с 50 тысячами, а Бонно – в окрестностях Лилля, с 20 тысячами. Союзники по-прежнему размещались по обоим флангам этой передовой линии: дивизия Клерфэ – слева, в Западной Фландрии, основные силы союзников – справа, близ Турне. Союзники решили произвести концентрическое нападение на Туркуэн, город, отделяющий Менен и Куртре от Лилля. Клерфэ должен был идти туда из Западной Фландрии, а генералы Буш и Отто и герцог Йоркский получили приказ идти туда же с противоположной стороны, то есть от Турне. Буш должен был идти к Мускрону, Отто – в Туркуэн, а герцог Йоркский – оказать помощь Клерфэ. Этим последним соединением Суам и Моро оказались бы отрезаны от Лилля. Генералу Кински и эрцгерцогу Карлу с двумя сильными колоннами поручили заставить Бонно отступить в Лилль. Для того чтобы эти распоряжения

удались, требовались недостижимые пока стройность и согласованность движений.

Движения эти должны были совершиться 17 мая (28 флореаля). Пишегрю в эту минуту находился при правом крыле, на Самбре, чтобы сгладить следы последних неудач. В его отсутствии армией управляли Суам и Моро. Первым исполнением плана союзников стало движение Клерфэ на Вервик. Республиканцы тотчас же двинулись туда; но узнав, что неприятель идет с противоположной стороны и может отрезать их сообщения, решились на быстрое и умное дело: самим произвести движение против Туркуэна, чтобы завладеть этой позицией между Мененом и Лиллем. Моро с дивизией Вандама остался на месте, чтобы задержать Клерфэ, а Суам с 45 тысячами войска двинулся на Туркуэн. Так как сообщения с Лиллем еще не были прерваны, то Бонно приказали тоже идти на Туркуэн и совершить могучее усилие, чтобы сохранить сообщение между этой позицией и Лиллем.

Распоряжения французских генералов увенчались полным успехом. Клерфэ двигался медленно; задержанный в Вервике, он не пришел в Ленсель в условленный день.

Генерал Буш сначала завладел Мус кроном, но потом понес легкий урон, а Отто, раздробив свои силы, чтобы подать ему помощь, оставил для себя в Туркуэне недостаточно войска; наконец, герцог Йоркский не мог соединиться с Клерфэ, потому что не дождался его. Кински и эрцгерцог Карл пришли к Лиллю лишь вечером 17 мая. На следующее утро Суам быстро двинулся к Туркуэну, опрокинул отряды неприятеля и завладел этой важной позицией. Бонно, со своей стороны, выступив из Лилля против герцога Йоркского, который должен был стать между этим городом и Туркуэном, нашел войска герцога рассыпанными по очень протяженной линии. Англичане, хоть и застигнутые врасплох, хотели сопротивляться, но молодые ополченцы с таким жаром наступали на них, что принудили отступить, а потом бежать, бросая оружие. Разгром был таким полным, что сам герцог Йоркский, скакавший во весь опор, оказался обязан спасением лишь быстроте своей лошади.

С этой минуты между союзниками водворилось общее смятение, и сам австрийский император с высот Тамплёва присутствовал при бегстве своей армии. В это время эрцгерцог Карл, неисправно получая

известия и занимая неудобную позицию, праздно стоял ниже Лилля, а Клерфэ, остановленный близ реки Лис, был вынужден удалиться. Таким был исход этого «разрушительного» плана. Он дал французам несколько тысяч пленных, много запасов и обаяние большой победы, одержанной с 70 тысячами солдат над почти 100 тысячами.

Пишегрю приехал, когда сражение было уже выиграно. Все союзные корпуса отступили к Турне. Клерфэ возвратился во Фландрию, на свою прежнюю позицию при Тил те.

Пишегрю не сумел воспользоваться этой важной победой как следовало. Союзники сгруппировались близ Турне, опираясь правым флангом на Шельду. Французский генерал хотел перехватить транспорт с фуражом, плывший вверх по Шельде и для этой-то ничтожной цели заставил сражаться всю армию. Он подошел к реке и стеснил союзников на их полукруглой позиции близ Турне. Скоро все его корпуса один за другим вынуждены были участвовать в бою на этом полукруге. Самое жаркое дело состоялось при Пон-а-Шене вдоль Шельды. Двенадцать часов продолжалось ужасное побоище даже без возможности достичь этим какого-нибудь результата. С обеих сторон погибло от 7 до 8 тысяч человек. Французская армия отступила, причем сожгла несколько лодок и лишилась ощущения превосходства, данного ей сражением при Туркуэне.

В целом, однако, французы могли считать себя победителями во Фландрии, и необходимость, перед которой был поставлен Кобург, – послать подкрепления в другое место – решительно усилила их превосходство. Сен-Жюст настоял на том, чтобы в третий раз совершить переход через Самбру и осадить Шарлеруа, но Кауниц, получив подкрепление, заставил его снять осаду в ту самую минуту, когда, к счастью, прибыл со всей Мозельской армией Журдан. После этого уже 90 тысяч человек могли действовать на операционной линии и положить конец всякому сомнению в победе.

На Рейне не случилось ничего важного. Только генерал Мёллендорф, пользуясь ослаблением французских сил на этом пункте, отбил у них Кайзерслаутерн, но сейчас же опять впал в бездействие. Таким образом, в конце мая французские армии по всей северной линии не только выдержали напор коалиции, но во многих столкновениях

одержали над нею верх, не говоря уже о большой победе. Потеря Ландреси ничего не значила при этих обстоятельствах и в сравнении с полученными выгодами.

Вандейская война не совсем кончилась разгромом при Савене. Трое вождей спаслись: Ларошжаклен, Стоффле и Мариньи. Кроме них был еще Шаретт, который, вместо того чтобы перейти Луару, занял остров Нуармутье и держался в Нижней Вандее. Но эта война теперь ограничивалась простыми стычками и уже не была страшна Республике. Генерал Тюрро получил начальство над западными провинциями. Он разделил армию на подвижные колонны, которые передвигались по всей территории, концентрически направляясь к одной точке, разбивая беглые шайки и исполняя декрет Конвента, то есть выжигая деревни и леса и уводя с собой население. Случилось несколько сражений, но без особых результатов. Аксо, отняв у Шаретта острова Нуармутье и Буэн, несколько раз надеялся захватить его самого, но смелый партизан всё ускользал от него и появлялся опять — искусный, бодрый, неустрашимый.

Эта злополучная война теперь превратилась просто в ряд опустошений. Генерал Тюрро был вынужден принять жестокие меры: приказал жителям селений уйти из края, так как в противном случае с ними поступят как с неприятелями. Им оставался один выбор: бросить землю, с которой были связаны все их средства к существованию, или терпеть военные экзекуции. Вот где таится самое зло междоусобной войны!

Бретань сделалась между тем поприщем нового рода войны — войны шуанов. Эта область уже не раз выказывала поползновение подражать Вандее; только там порыв был не таким всеобщим, немногие из жителей, пользуясь удобной местностью, разбойничали порознь. Скоро остатки вандейской колонны, перешедшей в Бретань, увеличили собой число этих партизан. Главная квартира их находилась в лесу Перш, и они бродили по краю шайками в 40–50 человек, иногда нападая на жандармов, собирая контрибуции с маленьких общин и совершая эти бесчинства во имя дела монархии и католицизма. Но настоящая война была кончена, и оставалось лишь скорбеть о частных бедствиях, посещавших этот несчастный край.

В колониях и на море война велась не менее деятельно, чем на континенте. В богатой колонии Сан-Домин-го разыгрались такие ужасы, о каких редко упоминает история. Белые с восторгом объявили себя сторонниками революции в надежде, что она приведет их к независимости от метрополии, мулаты – сделали то же, но они имели в виду не политическую независимость колонии, а получение для себя гражданских прав, в которых им постоянно отказывали. Учредительное собрание признало права мулатов, но белые, которые допускали революцию только в свою пользу, возмутились, и началась междоусобная война между древней расой свободных людей и вольноотпущенными. Пользуясь этой войной, негры, в свою очередь, вышли на сцену, заявляя о себе всюду огнем и мечом. Они резали своих господ и поджигали их дома и плантации. В колонии водворился страшный хаос; каждая партия обвиняла другую в появлении нового врага и укоряла ее в том, что именно она дала оружие этому врагу. Негры, не принимая еще ничью сторону, просто жгли и резали. Скоро, однако, они стали по наущениям испанцев уверять, что служат делу роялизма.

В довершение сумятицы в дело вмешались англичане. Часть белых призвала их в минуту величайшей опасности и уступила им важный форт Сен-Никола. Комиссар Сантонакс с помощью мулатов и другой части белых сопротивлялся вторжению англичан и наконец счел единственным средством избавиться от них – признать свободу негров, которые примут сторону Республики. Конвент утвердил эту меру и декретом провозгласил всех негров свободными. После этого декрета многие из служивших роялизму перешли на сторону Республики, и англичане, укрепившиеся в форте Сен-Никола, потеряли всякую надежду на обладание этой богатой колонией, которая, пройдя через столько бедствий, достигла наконец самостоятельности. Гваделупу несколько раз брали то одна, то другая сторона, но она окончательно осталась за Францией; Мартиника же пропала безвозвратно.

Пока все эти беспорядки совершались в колониях, на океане произошло важное событие: пришел американский транспорт, которого во французских портах ждали с таким нетерпением. Брестская эскадра в числе тридцати кораблей вышла в море; Жанбон Сент-Андре находился

на адмиральском корабле; Вилларе-Жуайёз был произведен в начальники эскадры; поселяне, никогда не видавшие моря, попали в матросы. И этим матросам, этим офицерам, этим адмиралам, созданным в один день, предстояло бороться с опытным английским флотом.

Вилларе-Жуайёз отплыл 20 мая (1 прериаля) и направил путь свой к острову Флориш, чтобы там поджидать транспорт. По пути он захватил множество английских торговых судов. Капитаны их говорили: «Вы нас забираете по одному, а адмирал Хау схватит вас оптом». Действительно, этот адмирал крейсировал близ берегов Бретани и Нормандии с тридцатью тремя кораблями и двенадцатью фрегатами. Французская эскадра завидела флот 28 мая (9 прериаля). Экипажи с нетерпением следили за тем, как черные точки становились крупнее, и, когда узнали англичан, разразились радостными криками и стали требовать сражения с тем горячим патриотизмом, которым всегда отличались жители прибрежной полосы. Хотя инструкции, данные адмиралу, разрешали ему сражаться только для спасения транспорта, Жанбон Сент-Андре, сам увлеченный всеобщим энтузиазмом, согласился дать сражение. К вечеру один корабль из арьергарда, «Революционер», убавив число парусов, вступил с англичанами в бой, сражался упорно, но лишился капитана и получил столько повреждений, что пришлось на буксире тащить его в Рошфор. Наступление ночи помешало общей битве.

На другой день эскадры стояли друг перед другом. Английский адмирал маневрировал против французского арьергарда. Французы маневрировали не так хорошо, и двое из их кораблей, «Неукротимый» и «Тиранобийца», затеяли сражение с превосходящими силами и дрались с крайним упорством. Вилларе-Жуайёз приказал подать сражающимся кораблям помощь, но его приказание не было ни хорошо понято, ни хорошо исполнено, так что он двинулся вперед, рискуя тем, что за ним не последует никто. Однако вся эскадра скоро атаковала неприятеля и заставила его отступить. К несчастью, французы не сумели остаться под ветром и потому только жестоко обстреливали английские суда, но не могли пуститься за ними в погоню. За французами, однако, остались два корабля и место сражения.

Густой туман окутал обе эскадры 30 и 31 мая. Французы старались завлечь англичан на север и запад от пути, по которому должен был

прийти транспорт. Первого июня (13 прериаля) туман рассеялся и яркое солнце осветило оба флота. У французов осталось только двадцать шесть кораблей, тогда как у неприятеля их было тридцать шесть, но они снова требовали сражения, и следовало удовлетворить их желание, чтобы занять англичан.

Это второе сражение, одно из достопамятнейших в истории океана, началось в 9 часов утра. Адмирал Хау двинулся вперед с намерением перерезать французскую линию. Ошибочный маневр корабля «Гора» позволил ему прорвать линию, отрезать левое крыло и налечь на него всеми силами. Правое крыло и авангард оказались одни. Адмирал хотел собрать их и идти на английскую эскадру, но ветер был встречный, и он целых пять часов не мог подойти к месту сражения. Тем временем отрезанные от него корабли дрались с необычайным героизмом. Англичане, более искусные по части маневров, теряли свое преимущество в непосредственных стычках между кораблями, потому что французы шли на abordаж с ужасным ожесточением и поддерживали страшный огонь. Среди этого жаркого дела корабль «Мститель», лишенный мачт, полуразрушенный, готовый идти ко дну, отказался опустить свой флаг. Англичане прекратили огонь и удалились, изумленные такой отчаянной храбростью.

Были захвачены шесть французских кораблей. На следующий день Вилларе-Жуайёз, соединив свой авангард с правым крылом, хотел отбить у англичан добычу. Но Жанбон Сент-Андре не допустил нового сражения, несмотря на энтузиазм экипажей, и англичанам дали спокойно возвратиться в порт. Они были почти испуганы своей победой и искренне удивлялись храбрости молодых французских моряков. Но главная цель этого страшного столкновения была достигнута: адмирал Ван Стабель в самый день битвы прошел там, где произошло сражение, нашел море покрытым обломками и благополучно вошел во французские порты.

Таким образом, 1794 год начался для французов блистательно и со славой, они одержали победы на Пиренеях и в Альпах, приняли грозное положение в Нидерландах, а на море вели себя героически и были настолько сильны, что заставили англичан дорого заплатить за свою победу.

Глава XXXV

Административные труды комитета – Состояние тюрем; политические гонения и казни – Празднество в честь Высшего существа – Закон 22 прериала – Крайний террор – Удаление Робеспьера

Пока Республика одерживала внешние победы, ее внутреннее состояние по-прежнему оставалось ненормальным. Недуги были всё те же: ассигнации, максимум, скудость припасов, закон о подозрительных, Революционный трибунал.

Затруднения, вытекающие из необходимости управлять всеми движениями торговли, только всё возрастали. Приходилось беспрестанно подвергать закон о максимуме каким-то новым видоизменениям. Но если множество предметов приходилось исключать из максимума, то множество других необходимо было вносить в него. От этих мер происходили те же неудобства: застой в торговле, закрытие рынков или тайная торговля – и тут уже власть была бессильна. Если она и могла выпуском ассигнаций реализовать ценность национальных имуществ, а посредством максимума поставить ассигнации в правильное отношение к товарам, но нельзя было никакими средствами препятствовать скрытию товаров от покупателей или вовсе остановке производства. Поэтому не было конца жалобам против торговцев, удалявшихся от дел или запиравших свои лавки.

Между тем по части продовольствия уже можно было быть спокойнее. Транспорты из Северной Америки и на редкость удачный урожай доставили количество зерна, достаточное для потребления всей Франции. Комитет, с одинаковой энергией распоряжавшийся всеми делами, повелел продовольственной комиссии составить перепись урожая и постановил немедленно смолотить часть зерна для снабжения хлебом рынков. Были опасения насчет того, чтобы странствующие жнецы не стали требовать непомерной платы; комитет заранее объявил, что все граждане и гражданки, занимающиеся полевыми работами, считаются реквизированными и полагающаяся им плата будет

определяться местными властями. Вскоре после того, по случаю бунта подмастерьев мясников и булочников, комитет принял более общую меру и подверг реквизиции всех рабочих, используемых при изготовлении, разработке, перевозке и продаже товаров первой необходимости.

Гораздо труднее было набрать нужное количество мяса. Недостаток в нем особенно чувствовался в Париже, и, с тех пор как эбертисты хотели вызвать по этому поводу восстание, ситуация всё ухудшалась. Пришлось посадить весь Париж на rationy. Комиссия определила ежедневное потребление в семьдесят пять быков, полтора ста quintalов телятины и баранины и двести свиней. Она сама добывала необходимый скот и посылала на общую бойню, единственную разрешенную властями. Мясники, избранные каждой секцией, приходили туда за мясом и получали количество, соразмерное числу покупателей. Они должны были раз в пять дней выдавать каждой семье по полуфунту мяса на человека, и в этом случае раздача производилась по билетам, выдаваемым революционными комитетами, с обозначением числа человек в семье. Во избежание беспорядков и бессонных ночей запрещалось собираться перед мясными лавками раньше 6 часов утра.

Недостаточность этих мер скоро дала себя знать. Завелись тайные мясные лавки, число которых с каждым днем увеличивалось. Скот не доходил до рынков; мясники ходили встречать его, а то покупали на самих пастбищах. Пользуясь небрежностью, с которой сельские коммуны наблюдали за исполнением закона, эти мясники продавали мясо по цене выше максимума и снабжали им жителей больших общин, в особенности Парижа, не довольствовавшихся полуфунтом на пять дней. Таким образом, деревенские мясники перебивали торговлю у городских, которым почти нечего было делать с тех пор, как им поручили раздавать rationy. Многие из них даже требовали закона, разрешающего отказаться от контрактов, по которым они снимали под свои лавки помещения. Тогда понадобились новые распоряжения, чтобы не дать скоту миновать рынки, и владельцы их подверглись крайне стеснительным формальностям и проверкам. Пришлось заниматься подробностями еще более мелкими: так как подвоз дров и угля почти прекратился, а это давало повод к подозрениям в скоплении

их в немногих руках, то вышел запрет держать у себя дома больше четырех возов дров и двух угля.

Новое правительство с непостижимой энергией справлялось со всеми трудностями. В то же время, пока издавалось такое множество разнородных регламентов, правительство занималось преобразованием сельского хозяйства, изменением арендных законов, введением нового чередования посевов, созданием искусственных лугов и улучшением скотоводства. В главном городе каждого департамента завели ботанические сады для ассимиляции чужеземных растений и разведения древесных питомников; открывались курсы земледелия для простых хлебопашцев. Правительство решило заняться осушением болот по плану обширному и хорошо задуманному; постановляло, что казна сделает для этого громадного предприятия нужные затраты, а землевладельцы, земли которых будут осушены и очищены от миазмов, будут платить известную пошлину или продадут их по определенной цене. Наконец, правительство приглашало архитекторов представить планы для перестройки деревень с помощью материалов, получаемых от срытия господских домов; занималось украшение сада Тюильри, чтобы сделать его удобнее для публики, и заказало художникам проект превращения оперной залы в крытую арену, где народ мог бы собираться зимой.

Стало быть, комитет делал почти всё разом или по крайней мере почти за всё принимался; это подтверждает ту великую истину, что чем больше у человека дела, тем он больше успевает и способен сделать.

Не меньшей заботой были финансы. Мы видели выше, какие были придуманы средства в августе 1793 года, чтобы возвысить ценность ассигнаций. Но кажущееся процветание продолжалось недолго: ассигнации скоро опять упали и новые выпуски быстро сбили их цену. Конечно, часть их возвращалась в казну вследствие продажи национальных имуществ, но этого было недостаточно.

Продажи производились по ценам выше оценочных, и в этом не было ничего удивительного, так как имущества оценивались серебром и золотом, а уплата производилась ассигнациями. В сущности, цена была все-таки значительно ниже оценочной, хотя номинально выходила выше. К тому же изъятие ассигнаций могло происходить только

медленно, тогда как выпускались они по необходимости, быстро и в громадных количествах. Надо было вооружить 1 200 000 человек, платить им жалованье, создать запасы, построить флот. Всё это требовало неимоверного количества бумажных денег, да еще низко стоявших в цене. Но так как других источников не было никаких, и притом еще капитал, обеспечивающий ассигнации, увеличивался благодаря конфискациям, то правительство покорилося необходимости и решило тратить их, сколько понадобится. Было уничтожено различие между кассами обыкновенной и экстраординарной, из которых первая образовалась из налогов, другая из ассигнаций. Оба источника слили в один, и каждый раз, когда обстоятельства того требовали, они пополнялись новыми выпусками.

В начале 1794 года вся сумма выпусков увеличилась вдвое. Около четырех миллиардов прибавилось к прежней сумме, так что всего получилось около восьми миллиардов. По вычету сумм, возвращенных и сожженных, и сумм, еще не истраченных, в обращении оставалось 5 миллиардов 536 миллионов. В июне 1794 года вышел декрет о выпуске еще миллиарда ассигнаций. Финансовый комитет снова прибег к принудительному займу у богатых. Сообразуясь с прошлогодними списками, всех, внесенных в эти списки, обложили чрезвычайной военной контрибуцией в одну десятую долю их взноса в принудительный заем, то есть всего получили 100 миллионов. Эта сумма была взята не с тем, чтобы возратить ее в каком-нибудь виде, а вовсе без возврата.

Чтобы довершить устройство Большой книги и уравнение государственного долга, оставалось капитализировать пожизненные ренты и записать их. Эти разнообразные ренты служили предметом сложнейшей биржевой игры. Подобно прежним, так называемым контрактам с казной, они представляли то неудобство, что основывались на монархических бумагах и потому предпочитались республиканским ценным бумагам, так как владельцы были твердо уверены, что если Республика и платит долги монархии, то монархия никогда не согласится платить долги Республики.

Камбон закончил свой великий труд по преобразованию долга, предложив и проведя закон о капитализации пожизненных рент; бумаги должны были быть представлены нотариусами и сожжены, подобно

контрактам. Капитал, когда-то выплаченный владельцем ренты, превращался в запись и давал вечные 5 %. Однако из уважения к старикам и людям, не имевшим большого состояния, которые именно для того купили пожизненную ренту, чтобы удвоить свои средства, были оставлены умеренные ренты с соразмерением к летам владельцев. Люди от сорока до пятидесяти лет сохранили нетронутой ренту в 1500–2000 франков; от пятидесяти до шестидесяти лет – в 3000–4000 и так далее до ста лет ренты в 10 500 франков. Если рента превышала эти цифры, то излишек капитализировался.

Поистине, нельзя было отнестись с большим вниманием к маленьким состояниям и старости; между тем ни один закон не подал повода к стольким жалобам, и за разумную и гуманно проведенную меру Конвент подвергся большим нареканиям, нежели за страшные меры, ежегодно свидетельствовавшие о грозной диктатуре. Биржевые игроки были крайне недовольны, потому что закон требовал – для признания рентных бумаг действительными – свидетельства жизни владельцев, а тем, у кого были бумаги эмигрантов, сложно было добыть такие свидетельства. Поэтому биржевые игроки, считая себя обиженными этим условием, подняли от имени стариков и больных большой гвалт: они кричали, что не оказывается уважения ни старости, ни бедности, уверяли владельцев рент, что им никогда не заплатят, потому что операция и сопряженные с нею формальности повлекут за собой бесконечные проволочки. Однако ничего такого не произошло. Камбон потребовал изменения некоторых статей декрета и постоянно лично бывал в казначействе, так что вся работа производилась с необыкновенной быстротой. Все владельцы рент, жившие своим собственным доходом, а не спекулировавшие чужими бумагами, стали получать, что им следовало, без малейшей задержки.

Одновременно с этими полезными реформами не прекращались репрессии. Закон, изгонявший бывших дворян из Парижа, укрепленных городов и с побережья, подавал повод к бесчисленным притеснениям. Различать настоящих дворян теперь, когда дворянское звание стало бедствием, было не легче, нежели в те времена, когда оно составляло лестное отличие. Простолюдинки, бывшие замужем за дворянами и овдовевшие, а также люди, купившие должности, давшие им титул,

протестовали, требуя, чтобы их избавили от знака отличия, которого они прежде жадно домогались.

Комиссары Конвента пользовались своей властью с крайней строгостью, а некоторые предавались чудовищным, безумным жестокостям. В Париже тюрьмы наполнялись каждый день всё больше. Полиция Комитета общественной безопасности наводила на всех ужас. Начальником ее был назначен некто Герои, который имел в своем распоряжении целую стаю агентов, вполне достойных его. Одни шпионили; другие, снабженные тайными приказами, производили аресты то в самом Париже, то в провинциях. На каждую экспедицию им выдавались определенные суммы; кроме того, они требовали денег с арестантов и жестокость довершали грабежом. Все авантюристы, составлявшие революционную армию и недавно распущенные или выгнанные из ведомств Бушотта, перешли в эту полицию и стали еще опаснее. Они отирались всюду; на гуляньях, в кофейнях, в театрах посетители каждую минуту могли подумать, что за ними следует или подслушивает их кто-нибудь из этих инквизиторов. Благодаря их усердию число подозрительных дошло до семи или восьми тысяч в одном Париже.

Тюрьмы уже не имели того вида, что в начале. Богатые уже не платили за бедных, люди всех убеждений и званий уже не вели там на общих началах довольно приятную жизнь, утешая себя в заточении удовольствиями, доставляемыми искусстваами. Такую жизнь нашли слишком сносной для так называемых аристократов. На том основании, будто подозрительные пользуются роскошью и изобилием, тогда как народ посажен на rationy, решено было изменить порядки в тюрьмах. Устроили столовые. В больших залах арестантам подавалась отвратительная и нездоровая пища, за которую с них брали большие деньги. Им уже не позволялось покупать себе ничего съестного. Делались обыски, у узников отбирали ассигнации, так что они лишались всяких средств доставить себе какое-нибудь облегчение. Они даже не могли свободно видаться и жить вместе; к пытке одиночества присоединялся страх близкой смерти, которая с каждым днем становилась неминуемее.

После казни эбертистов и дантонистов Революционный трибунал стал казнить до двадцати человек разом. Между прочими казнили

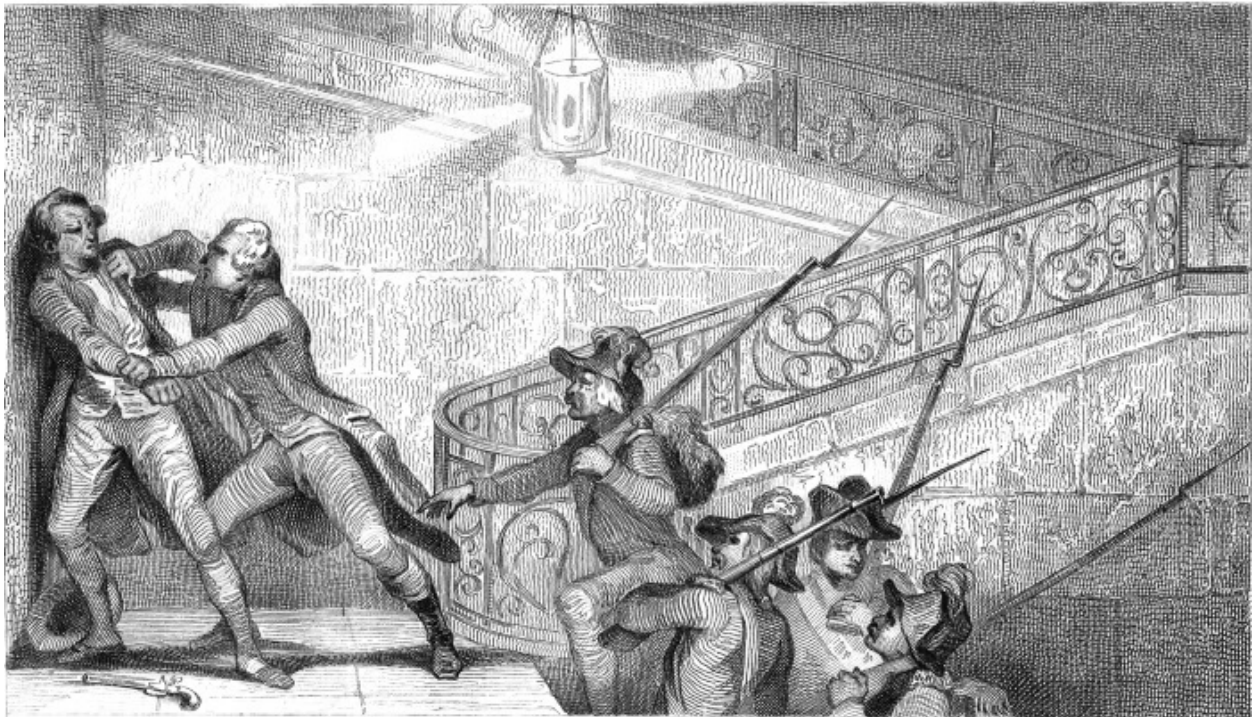
Мальзерба с его семьей и всеми родными, всего около двадцати человек. Почтенный старец, глава этого рода, встретил смерть со светлым спокойствием мудреца. Он споткнулся, когда шел к эшафоту, и с улыбкой заметил: «Дурное предзнаменование! Римлянин вернулся бы домой». За Мальзербами последовали двадцать два члена парламента. Тулузский парламент почти весь погиб на эшафоте. Наконец, бывшие откупщики были отданы под суд за давнишние торги с казной. Было доказано, что контракты эти заключают в себе обременительные для государства условия, и Революционный трибунал казнил откупщиков за то, что они наживались на соли, табаке и прочем. В число этих жертв попал великий химик Лавуазье; он тщетно просил нескольких дней отсрочки, чтобы записать одно открытие.

Импульс был дан: управление, война, казни – всё это шло рядом, в ужасающе стройном согласии. Комитеты, стоявшие в центре всего, правили с неослабевающей энергией. Конвент молчал и только назначал пенсии вдовам и детям убитых солдат, пересматривал некоторые приговоры, истолковывал декреты, регулировал обмен государственных имуществ, словом – занимался маловажными мелочами. Барер каждый день являлся в Конвент и читал доклады о победах. Эти доклады он называл карманьолами. В конце каждого месяца он заявлял, что срок полномочиям комитетов вышел и нужно возобновить их. На это ему с рукоплесканиями отвечали, что комитеты могут продолжить свои труды. Иногда он забывал исполнить эту формальность, и комитеты работали дальше.

В такие часы безусловной покорности иная душа взорвется от накопившегося негодования, и людям, завладевшим деспотической властью, грозит кинжал убийцы. Жил в Париже человек, служивший конторщиком в национальной лотерее. Ему было пятьдесят лет, и звали его Анри Адмира. Он служил раньше в нескольких знатных домах и жестоко ненавидел новые порядки, а потому задумал убить одного из наиболее влиятельных членов Комитета общественного спасения – Робеспьера или Колло д'Эрбуа. С некоторого времени Адмира занимал квартиру в одном доме с последним и всё не мог решить, кого выбрать. Решившись наконец убить Робеспьера, он 22 мая (3 прериала) отправился в комитет и прождал его весь день в галерее. Не

дождавшись, он вернулся к себе домой и притаился на лестнице с намерением убить Колло д'Эрбуа.

Около полуночи Колло возвращается домой и поднимается по лестнице; Адмира стреляет в него из пистолета в упор, но пистолет дает осечку. Он стреляет во второй раз, удача опять изменяет ему; наконец, третий выстрел удается, но попадает в стену. Начинается борьба, Колло д'Эрбуа кричит и зовет на помощь. К счастью для него, в это время по улице проходит патруль, который и прибегает на шум. Адмира запирается в своей комнате, за ним бросаются и стараются выломать дверь. Он кричит, что вооружен и выстрелит в первого, кто к нему войдет. Эта угроза не пугает патруль, дверь выламывают, но слесарь Жеффруа действительно получает ранение.



Адмира пытается убить Колло д'Эрбуа

Адмира арестовывают и уводят в тюрьму. Когда Фукье-Тенвиль подвергает его допросу, несчастный описывает свою жизнь, свои замыслы, даже то, как он сначала попытался убить Робеспьера, а потом уже Колло д'Эрбуа. Адмира спрашивают, кто побудил его к этому преступлению, и он с твердостью отвечает, что это не преступление, что он хотел оказать услугу отечеству, что он один задумал это дело, а

теперь жалеет лишь об одном – что оно не удалось.

Слух об этом покушении разошелся быстро, и, как всегда бывает, еще увеличил силу тех, против кого оно было направлено. На следующий день Барер поспешил в Конвент с докладом об этой новой махинации Питта. «Крамольники, – заявил он, – не прекращают своих сношений с этим правительством, торгующим союзами, подкупающим убийц, преследующим свободу как величайшего своего врага. Пока мы объявляем справедливость и доблесть бессменными добродетелями, коалиция тиранов восхваляет злодеяние и убийство. Вы встретите злонамеренный гений Англии везде: на наших рынках, на морях, на материках, у европейских государей и в наших городах. Всё та же голова управляет руками, убивающими Басвиля в Риме, французских моряков в Генуе, верных французов на Корсике; та же голова направляет кинжал против Лепелетье и Марата, гильотину против Шалье, пистолеты против Колло д'Эрбуа!»

Барер предъявил перехваченные из Лондона и Голландии письма, извещавшие, что Питт замышляет гибель комитетов и в особенности Робеспьера. В одном из этих писем выражалась следующая мысль: «Мы весьма опасаемся влияния Робеспьера. Чем более сосредоточится французское республиканское правительство, тем оно будет сильнее и тем труднее будет его низринуть».

Такое освещение фактов, конечно, должно было вызвать живейшее участие к комитетам и Робеспьеру и заставить слушателей отождествить их существование с существованием Республики. Барер далее описал само событие со всеми обстоятельствами, рассказал о трогательной заботливости, с которой власти поспешили принять меры к охранению национального представительства, в велеречивых выражениях повествовал о поведении слесаря, тяжело раненного в схватке с убийцей. Конвент осыпал Барера рукоплесканиями, приказал начать расследование, чтобы убедиться в том, не имеет ли Адмирал сообщников, декретом выразил благодарность гражданину Жеффруа и постановил, что бюллетень о состоянии его раны будет ежедневно зачитываться с кафедры.

Потом Кутон в громоподобной речи потребовал, чтобы доклад Барера был переведен на все языки и разослан во все страны. «Питт, Кобург! – воскликнул он. – И все вы, подлые и мелкие тираны, которые

смотрят на мир как на свое наследие, которые в последние мгновения агонии бьются так бешено! Точите, точите ваши кинжалы; мы слишком презираем вас, чтобы бояться, и вы хорошо знаете, что мы слишком великодушны для того, чтобы подражать вам!» Зала огласилась рукоплесканиями, и Кутон присовокупил: «Но закон, владычество которого поражает вас страхом, стоит над вами с занесенным мечом; он сразит всех вас! Человечество нуждается в этом примере, Небо, которое вы осыпаете проклятиями, хочет того!»

Колло д'Эрбуа появился как бы для того, чтобы принять от собрания заявления сострадания; его встретили удвоенными рукоплесканиями, и он едва добился, чтобы его выслушали. Робеспьер поступил гораздо хитрее: он вовсе не явился, как бы желая избежать ожидающих его оваций.

В этот самый день молодая девушка по имени Сесиль Рено является на квартиру к Робеспьеру с узелком под мышкой, говорит, что желает видеть его, и настаивает, чтобы ее ввели к нему. Она говорит, что общественное должностное лицо всегда должно быть готово принять имеющих к нему дело, и кончает даже бранью против хозяев Робеспьера, семейства Дюпле, которые не впускают ее. Такая настойчивость и странный вид девушки внушают подозрения, ее схватывают и передают полиции. В ее узелке оказывается несколько платьев и два ножа. Из этого заключают, что она хотела убить Робеспьера. Ее допрашивают. Она отвечает с такой же самоуверенностью, как Адмира. На вопрос, что ей было нужно от Робеспьера, она говорит, что хотела посмотреть, каким из себя бывает тиран. К ней пристают, спрашивают, зачем ей этот узелок, эти платья, эти ножи. Она отвечает, что ножи ей ни к чему, а платья захватила, ожидая, что ее отведут в тюрьму, а из тюрьмы к гильотине. Девушка присовокупляет, что она роялистка и что, по ее мнению, один король лучше пятидесяти тысяч королей. На дальнейшие вопросы и приставания она отвечать отказывается и только просит, чтобы ее скорее вели на эшафот. Этих улик было достаточно, чтобы решить, что девица Рено – одна из убийц, вооруженных против Робеспьера.



Сесиль Рено у Робеспьера

К этому последнему факту прибавился еще один. На другой день какой-то гражданин описывал в кофейне покушение на Колло д'Эрбуа и радовался, что оно не удалось. Монах, слушавший этот рассказ, возразил, что очень жаль, напротив, что эти злодеи, члены комитета, уцелели, но, надо надеяться, они рано или поздно всё равно попадутся. Несчастливого схватили и в ту же ночь привезли в Париж.

Всего этого было более чем достаточно, чтобы предположить обширные разветвления заговора и наличие целой шайки наемных убийц. Членов комитета обступили, осаждали просьбами беречь себя и охранять свою жизнь, столь драгоценную для отечества. Секции собрались и опять начали посылать Конвенту делегации и адреса, в которых говорилось, что в числе чудес, сотворенных Провидением в пользу Республики, спасение Робеспьера и Колло д'Эрбуа от рук убийц – не меньшее. Одна секция даже предложила выставить стражу из двадцати пяти человек для охраны членов комитетов.

На 25 мая (6 прериаля) приходилось заседание якобинцев.

Робеспьер и Колло д'Эрбуа явились туда и были приняты с неимоверным энтузиазмом. Когда люди, взявшие власть, устанавливают общую покорность, остается только дать волю низким душам, а уж они сами не только довершат владычество, но и дополнят его раболепным поклонением и почестями. Колло первым начал говорить с обычным своим свирепым увлечением и говорит, что волнение, которое он испытывает в настоящую минуту, доказывает ему, как сладко служить отечеству даже ценою величайших опасностей. Он убедился в том, что «тот, кто подвергся какой-нибудь опасности ради отечества, черпает новые силы в братском участии, которое внушает. Эти благосклонные рукоплескания суть новый залог союза между сильными душами. Тираны, загнанные и затравленные, чувствуя близкий конец свой, тщетно прибегают к кинжалам, яду, западне: республиканцы этим не смутятся. Разве тираны не знают, что когда патриот умирает под их ударами, пережившие его патриоты на его же могиле клянутся отмстить и увековечить свободу?»

Колло заканчивает речь среди рукоплесканий. Бентаболь предлагает президенту заключить Колло и Робеспьера в братские объятия. Лежандр, с подобострастием человека, бывшего другом Дантона и чувствующего, что может заставить забыть об этой дружбе лишь бесконечным раболепством, говорит, что рука злодеяния поднялась против добродетели, но Бог не дал совершиться преступлению. Он приглашает всех граждан образовать стражу вокруг членов комитета и сам первый вызывается охранять их драгоценные жизни. В эту минуту несколько секций требуют, чтоб их впустили в залу, происходит крайняя суматоха, но толпа уже так велика, что секциям приходится остаться у дверей.

Комитету предлагались инсигнии верховной власти; было весьма удобно отказаться от них. Ловкие вожди всегда удовольствуются следующей ситуацией: они сначала доведут людей до предложения им инсигний, а затем откажутся, и эта скромность будет вменена им в лишнюю заслугу. Присутствовавшие члены комитета с напускным негодованием отвергают такое предложение. Кутон говорит за всех. Он удивляется этому предложению, которое было уже сделано и в Конвенте. Он, так и быть, приписывает его непорочным побуждениям, однако только деспоты окружают себя стражами, а члены комитета не

желают, чтобы их приравнивали к деспотам. Они и не нуждаются в стражах. Их жизнь охраняется добродетелью, доверием народа и Провидением: им не нужно других гарантий безопасности. К тому же они сумеют умереть на своем посту и за свободу.

Лежандр спешит оправдать свое предложение. Он говорит, что не имел в виду назначить членам комитета организованную стражу, а только приглашал всех добрых граждан охранять дни их; что, впрочем, если он ошибся, то берет свои слова назад, а говорил он их из чистых побуждений. После него всходит на кафедру Робеспьер. Он говорит в первый раз. Раздаются бурные рукоплескания; наконец водворяется молчание, и ему можно начинать. «Я принадлежу, – говорит он, – к числу людей, которых меньше всего способны интересовать уже совершившиеся события, однако не могу в настоящем случае не высказать некоторых соображений. Что защитники свободы составляют цель кинжалов, тирании – этого следовало ожидать. Я уже говорил прежде: если мы побьем врагов, если расстроим махинации фракций – мы будем убиты. Что я предвидел, то и случилось: солдаты тиранов повергнуты в прах, изменники погибли на эшафоте и кинжалы занесены над нами. Я не знаю, какое впечатление эти события производят на вас, мое же впечатление вот каково: я чувствовал, что легче убить нас, чем побороть наши принципы и наши армии. Я сказал себе, что чем более жизнь защитников народа подвержена случайностям, тем они больше должны спешить наполнить свои последние дни полезными для свободы действиями.

Я, который не верю в необходимость жить, а единственно только в добродетели и в Провидение, я нахожусь в состоянии, в которое убийцы уж конечно не хотели меня поставить: я чувствую себя более, чем когда-либо, независимым от злобы людей. Злодеяния тиранов и кинжал убийц сделали меня более свободным и более опасным для врагов народа. Душа моя больше, нежели когда-либо, расположена изобличать изменников и срывать с них маски. Французы, друзья равенства, положитесь на нас и верьте, что мы употребим ту небольшую долю жизни, которую дарует нам Провидение, на то, чтобы бороться с окружающими нас врагами!»

Крики и аплодисменты усиливаются, вся зала шумит и колеблется. Робеспьер, насладившись несколько мгновений своим торжеством,

опять начинает говорить, на этот раз выступая против одного члена общества, предложившего воздать почести слесарю Жеффруа. Он доказывает, что оба предложения имеют целью возбудить зависть в отношении правительства, осыпая его лишними почестями. На этом основании Робеспьер предлагает исключить того, кто заговорил о почестях, о чем немедленно и выпускают постановление.

Находясь на том уровне реальной власти, которого достиг комитет, он должен был тщательно устранять всякий внешний признак ее. Он пользовался безусловной диктатурой, но не следовало позволять это слишком заметить, и всякая наружная пышность могла только компрометировать его без пользы. Честолюбивый солдат, мечом завоевавший власть и жадный до престола, спешит как можно скорее придать своему могуществу известный характер, не довольствуется самой властью, а непременно требует и ее инсигний; но вожди партии, управляющие этой партией только с помощью своего влияния и интеллектуального превосходства, должны, чтобы сохранить над нею власть, постоянно льстить ей, беспрестанно относить к ней эту власть и, управляя ею, делать вид, будто ей повинуются.

Членам Комитета общественного спасения, вождям Горы, нельзя было изолировать себя от нее и от Конвента; они, напротив, должны были устранять всё, что могло возвысить их над товарищами. И без того уже многие даже в их собственной партии опомнились и поражались громадности их власти. Многие уже смотрели на них как на диктаторов, и в особенности Робеспьер начинал раздражать своим непомерным влиянием. Вошло в привычку говорить не комитет хочет, а Робеспьер хочет. Фукье-Тенвиль так и говорил одному человеку, которому грозил Революционным трибуналом: «Если Робеспьер захочет, быть тебе там». Агенты власти постоянно действовали от имени Робеспьера, жертвы приписывали ему все свои бедствия, и в тюрьмах вели речи лишь об одном угнетателе, Робеспьере. Даже иностранцы в своих прокламациях называли французских солдат солдатами Робеспьера. (Мы находим это выражение в одной прокламации герцога Йоркского.)

Чувствуя, как опасно для него это постоянное упоминание его имени, Робеспьер поспешил произнести в Конвенте речь, в которой отвергал «коварные инсинуации, имевшие целью погубить меня». Эту

речь он повторил у якобинцев и был вознагражден рукоплесканиями, которыми там сопровождалось каждое его слово. Газеты на следующий день перепечатали речь, причем назвали ее мастерским произведением, разбор которого невозможен потому, что «каждое слово стоит целой фразы, а каждая фраза – целой страницы». Робеспьер по этому случаю сильно вспылал и на другой день пожаловался якобинцам на газеты, с аффектацией льстившие членам комитета с целью погубить их. Газетам пришлось взять свои слова назад и извиниться за то, что они похвалили Робеспьера.

Робеспьер был исполнен тщеславия, но не честолюбия. Жадный до лести и знаков уважения, он ими питался и только для вида отбивался от них, уверяя, что не добивается верховной власти. Вокруг него образовалось нечто вроде двора, состоявшего из нескольких мужчин и множества женщин, которые расточали ему нежнейшие заботы. Постоянно толпясь у дверей, они не уставали превозносить между собой его добродетели, красноречие, гениальность; они называли его божественным, человеком, стоящим выше человечества, и с каким-то неистовым ханжеством ухаживали за этим кровавым и надменным первосвященником. Восторженная подобострастность женщин есть вернейший признак особого отношения общества к данному лицу. Своими хлопотливыми заботами, своими речами, своей тревожной суетливостью они придают этому пристрастному отношению смешной оттенок.

К этим почитательницам Робеспьера примкнула некая недавно основанная странная и нелепая секта. Когда отменяются существующие вероисповедания, особенно плодятся секты, потому что потребность верить ищет новой пищи вместо отнятой старой. Некая старуха по имени Катрин Тео, мозг которой повредился от заключения в Бастилии, объявила себя Богородицею, возвестила о скором явлении нового Мессии и уверяла, что тогда для избранных начнется вечная жизнь. Эти избранные должны распространять свою веру всеми средствами и истреблять врагов истинного Бога. Монах-картезианец Дом Жерль, игравший некоторую роль при Учредительном собрании, стал в этой секте пророком. Робеспьер тоже попал в пророки, удостоившись этой чести, вероятно, за то, что исповедовал деизм. Катрин Тео называла его своим возлюбленным сыном, а посвященные смотрели на него с

благоговением и видели в нем сверхъестественное существо, призванное иметь высокую и таинственную судьбу.

Робеспьер, вероятно, знал об этих глупостях и если и не принимал в них участия, однако находил в сообщениях о них некоторое удовольствие. Достоверно то, что он оказывал Дому Жерлю протекцию, часто принимал его у себя и выдал ему подписанное собственноручно свидетельство о гражданской благонадежности, чтобы избавить от преследований одного из революционных комитетов.

Секта имела свои особые обряды и собиралась у Катрин Тео в одном из глухих парижских кварталов близ Пантеона. Там совершались посвящения – в присутствии самой Катрин, Дома Жерля и главных членов секты. Она начинала приобретать известность, и в обществе знали, что Робеспьер считается у нее пророком. Таким образом, все точно сговорились возвеличивать и компрометировать его.

Особенно между товарищами Робеспьера начинались неудовольствия и зависть. Уже возникали раздоры – и это было вполне естественно, потому что власть комитета окончательно упрочилась, стало быть, наступила пора соперничества между его членами. Комитет распался на несколько отдельных групп. После смерти Эро де Сешеля из двенадцати членов остались одиннадцать, Жанбон Сент-Андре и Приёр из Марны всё еще находились в разъездах; Карно занимался исключительно войной, Приёр из Кот-д’Ора – запасами, Робер Ленде – продовольствием. Этих последних прозвали экспертами. Они не вмешивались ни в политику, ни в раздоры.

Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст сблизились между собой. Какое-то превосходство в уме и манерах, высокое мнение о самих себе и презрение к остальным товарищам заставили их объединиться в особую группу; их прозвали надменными. Барер в их глазах был слабым, малодушным созданием, умевшим легко применяться к обстоятельствам и всем служить, Колло д’Эрбуа был всего лишь клубным декламатором, а Бийо-Варенн – человеком с посредственным, мрачным и завистливым умом. Эти трое не прощали своим коллегам затаенного презрения. Барер не смел высказываться, но Колло, а в особенности Бийо вследствие неукротимого характера не могли скрыть закипавшую в них ненависть. Они старались опереться на своих товарищей и склонить их на свою сторону. Они могли надеяться на

поддержку и со стороны Комитета общественной безопасности, которому начинало надоедать верховенство Комитета общественного спасения. Прикованный к чисто полицейской части и контролируемый в своей деятельности коллегами, Комитет общественной безопасности с нетерпением переносил эту зависимость. Самые жестокие члены комитета – Амар, Вадье, Вулан и Жато – были более всех расположены стряхнуть ее с себя.

Следовательно, недовольные из обоих комитетов могли сговориться и сделаться опасными для Робеспьера, Кутона и Сен-Жюста. Нельзя не признать, что распри начались из-за ужаленной гордости и из зависти, а не из-за политических разногласий, потому что Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа или Жато как революционеры были не менее неутомимы, чем трое их противников.

Одно обстоятельство еще более восстановило Комитет общественной безопасности против соперников. Поступало множество жалоб на аресты, постоянно увеличивавшиеся в числе и нередко несправедливые, так как были арестованы много деятелей, известных как пламенные патриоты; были также жалобы на грабежи и притеснения, совершаемые бесчисленными агентами, которым Комитет общественной безопасности передал часть своей власти. Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон, не смея ни упразднить комитет, ни потребовать обновления его личного состава, придумали устроить полицейское отделение в самом Комитете общественного спасения. Это значило, не упраздняя Комитета общественной безопасности, посягнуть на его атрибуты и фактически лишить его власти. Начальником этого отделения предполагалось назначить Сен-Жюста, но его опять отозвали к армиям, и место это занял Робеспьер. Полицейское отделение освобождало лиц, арестованных по приказу Комитета общественной безопасности, а этот комитет платил тем же своим соперникам. Такое смешение должностей привело к открытой ссоре. Слух этот быстро разнесся, и, несмотря на тайну, окружавшую все действия правительства, скоро стало известно, что члены его не в ладах между собою.

Другие неприятности, не менее опасного свойства, возникли в Конвенте. Он всё еще вел себя весьма покорно, но несколько членов

начинали бояться за себя, и опасность придавала им некоторую смелость. Это были старые друзья Дантона, скомпрометированные своей близостью с ним; в качестве остатков партии снисходительных им приходилось иногда выслушивать угрозы. Одни не совсем честно исполняли свои обязанности, другие не одобряли ежедневно усугублявшихся строгостей. Более всех из них был скомпрометирован Тальен. Про него говорили, что он нечестно наживался в коммуне, потом в Бордо, где был комиссаром, и что в этом последнем городе он смягчился, поддавшись обольщениям молодой женщины, красавицы, которая приехала с ним в Париж и недавно была брошена в темницу.

После Тальена называли Бурдона, депутата Уазы, скомпрометированного своей борьбой с сомюрской партией и исключенного из Клуба якобинцев в одно время с Фабром, Камиллом Демуленом и Филиппо. Называли еще Тюрио, тоже исключенного из якобинцев; Лежандра, которому, несмотря на его ежедневное раболепство, не забывали его дружбу с Дантоном; наконец, Фрерона, Барраса, Лекуэнтра, Паниса и других. Это личное беспокойство действовало заразительно, число недовольных росло с каждым днем, и депутаты уже готовы были присоединиться к тем членам того или другого комитета, которые подали бы им руку.

Восьмого июня (20 прериаля) наступил день, назначенный для празднества в честь Всевышнего. Заранее надо было избрать президента; Конвент единодушно избрал Робеспьера. Ему отводилась в торжестве первая роль. Товарищи льстили ему и старались умиловить почестями.

Приготовления были сделаны в громадных размерах, согласно плану Давида. Празднество должно было быть великолепно. Утром 8-го ярко светило солнце. Толпа, постоянная охотница до даровых представлений, собралась неимоверная. Робеспьер заставил себя ждать и наконец появился, тщательно и щеголевато разодетый, держа в руке букет из цветов, плодов и колосьев. На голове у него была шляпа, густо украшенная перьями. Его лицо, обыкновенно столь мрачное, сияло непривычной радостью.

Среди сада Тюильри возвышался амфитеатр, его занимал Конвент. Справа и слева помещались группы детей, мужчин, стариков и женщин. У детей на головах были венки из фиалок, у юношей — из мирты, у

мужчин – из листьев дуба, у стариков – из виноградных и масличных листьев. Женщины держали за руки своих дочерей и несли корзины с цветами. Напротив амфитеатра располагались фигуры, изображавшие Атеизм, Раздор, Эгоизм; они предназначались к сожжению.

Как только члены Конвента заняли свои места, грянула музыка, а затем президент сказал речь: «Французы! Республиканцы! Настал наконец вожденный день, посвящаемый французским народом Всевышнему! Никогда мир, Им созданный, не представлял зрелища более достойного Его взоров. Он видел царство на земле тирании, злодеяния и обмана. В настоящую минуту Он видит целую нацию, борющуюся со всеми угнетателями человеческого рода и прерывающую свои геройские труды, дабы возвыситься мыслями и чувствами до Великого Существа, поставившего задачей предпринять эти труды и пославшего ей мужество выполнить их!»

Проговорив несколько минут, президент сошел со своего места, взял факел и зажег громадные фигуры. Из их пепла встает статуя Мудрости, почерневшая от дыма и пламени, среди которого она явилась. Робеспьер возвращается на свое место и произносит вторую речь: об искоренении пороков, составивших союз против Республики.

После этого первого обряда все участники, а за ними и зрители, направляются к Марсову полю. Робеспьер идет впереди своих товарищей, но несколько депутатов в негодовании догоняют его и осыпают едкими замечаниями. Одни смеются над новым первосвященником и говорят, намекая на закоптившуюся статую Мудрости, что его мудрость потемнела. Другие произносят слово тиран и замечают, что «есть еще Бруты».

Наконец шествие приходит на Марсово поле. Там на месте, прежде занимаемом Алтарем Отечества, возвышается гора. На вершине ее находится дерево. Конвент размещается под его ветвями, по обе стороны становятся группы детей, стариков, женщин. Начинают исполнять симфонию, потом группы поют строфы, чередуясь; наконец, по сигналу, юноши обнажают мечи и клянутся защищать отечество; матери поднимают своих детей на руках; все присутствующие воздевают руки к небу, и раздаются клятвы и хвалы Всевышнему. Затем шествие возвращается в сад, и празднество кончается публичными играми.

Таким был знаменитый праздник, данный в честь Высшего Существа. Робеспьер в этот день достиг высшей точки почестей и могущества – но лишь затем, чтобы быть свергнутым с этой вершины. Его высокомерие оскорбило всех. Насмешки доходили до его слуха, и он заметил в некоторых своих товарищах непривычную смелость. На другой день он пожаловался в комитете на оскорбивших его накануне депутатов, на этих друзей Дантона, на эти поганые остатки партии снисходительных и потребовал их казни.

Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа, не менее других уязвленные ролью, которую Робеспьер сыграл накануне, выслушивают его очень холодно и не выказывают большого желания мстить. Они не защищают депутатов, на которых жалуется Робеспьер, но сводят речь ко вчерашнему празднику и выражают опасения насчет его последствий. Праздник этот, говорят они, вызвал много неудовольствия: эти понятия о Всевышнем, о бессмертии души, эти церемонии могут показаться возвращением к прежним суевериям и двинуть революцию назад. Робеспьера эти замечания раздражают; он утверждает, что никогда не хотел двигать назад революцию, а напротив, сделал всё, чтобы ускорить ее движение вперед. В доказательство своих слов он представляет новый проект закона, только что составленный им с Кутоном. Закон этот имел целью сделать Революционный трибунал еще более убийственным орудием и заключался в следующем.

Уже два месяца шла речь о внесении некоторых изменений в организацию Революционного трибунала. Защита Дантона, Демулена, Фабра и Лакруа дала почувствовать неудобства сохраненных до сих пор остатков судебных формальностей. Каждый день приходилось слушать свидетелей и адвокатов, и как ни короток был допрос свидетелей, как ни ограничено было право защиты, всё же это составляло большую трату времени и всегда сопровождалось некоторой оглаской. Главам правительства, которым нужно было, чтобы всё делалось быстро и без огласки, хотелось отменить эти неудобные формальности. Приучив себя думать, что революция вправе просто истреблять всех своих врагов и что различить этих врагов можно на глазок, они считали, что чем больше сократить процедуру, тем будет лучше.

Робеспьер, специально заведовавший судебной частью, изготовил новый закон только с Кутоном, так как Сен-Жюста в это время не было.

Он не стал советоваться с остальными товарищами по комитету, а только пришел прочесть им проект, прежде чем представить его в Конвент. Хотя Барер и Колло д'Эрбуа не меньше него готовы были одобрить кроважидные положения нового закона, они приняли Робеспьера холодно из-за того, что проект был составлен без их участия. Однако его решили представить на следующий день, а Кутону поручили написать по этому случаю доклад. Но за нанесенные накануне оскорбления Робеспьеру не было дано никакого удовлетворения. Мнения Комитета общественного спасения тоже не спросили. Члены комитета знали, что готовится такой закон, но к участию в составлении их не призвали. Из числа полагающихся пятидесяти присяжных комитет хотел назначить от себя по крайней мере двадцать, но Робеспьер не согласился и назначил только своих людей.

Закон был предложен 10 июня (22 периала). Докладчиком был Кутон. После обычных словоизвержений о непреклонности и быстроте, которыми должно отличаться революционное правосудие, он прочел проект, составленный в ужасающем духе. Суд должен был быть разделен на четыре отдела, состоящих из председателя, трех судей и девяти присяжных заседателей. Назначалось двенадцать судей и пятьдесят присяжных, которые должны были чередоваться так, чтобы заседания суда могли происходить ежедневно. Единственным наказанием полагалась смертная казнь. Суд, говорил закон, учрежден для того, чтобы карать врагов народа, придерживаясь самого неопределенного и обширного значения этого слова. К врагам народа причислялись и нечестные поставщики, и подрядчики, и алармисты (люди, распространявшие дурные известия). Право начинать преследование против граждан в Революционном трибунале признавалось за обоими комитетами, за Конвентом, за комиссарами и общественным обвинителем Фукье-Тенвилем. Если существовали доказательства вещественные или нравственные, свидетелей не полагалось призывать вовсе. Наконец, в законе стояли следующие слова: «Закон дает в защитники оклеветанным патриотам совесть присяжных патриотов; заговорщикам он защитников не дает».

Закон, окончательно разрушавший гарантии, ограничивающий следствие простой поименной перекличкой, дававший право обоим

комитетам начинать преследования в Революционном трибунале, то есть право жизни или смерти, – такой закон не мог не ввергнуть Конвент в истинный ужас, особенно тех членов, которые уже не были за себя спокойны. В проекте не говорилось, будут ли комитеты иметь право предавать депутатов суду, не испросив предварительно обвинительного декрета; если так, то комитетам, чтобы избавиться от своих товарищей, стоило столько указать на них Фукье-Тенвилю.

Понятно, что остатки мнимой фракции снисходительных возмутились, и в первый раз за долгое время в собрании обнаружилась оппозиция. Рюамп потребовал, чтобы проект был напечатан, но отложен на время; депутат заявил, что если этот закон будет принят безотлагательно, то остается только пустить себе пулю в лоб. Лекуэнтр, депутат Версаля, поддержал это требование. Робеспьер тотчас же поднялся, чтобы побороть неожиданное сопротивление.

– Есть два типа мнений, – сказал он, – существующих с самого начала нашей революции: одни стремятся наказывать заговорщиков быстро и неизбежно, другие – оправдывать виновных. Это последнее мнение не переставало проявляться при каждом случае. Оно проявляется и сегодня, и я постараюсь дать ему отпор. Вот уже два месяца, как суд жалуется на помехи, задерживающие его действия, на недостаток присяжных; а значит, нужен закон. Среди побед Республики заговорщики стали деятельнее и горячее прежнего; следует карать их. Эта неожиданная оппозиция, здесь обнаружившаяся, – неестественна. Конвент хотят разделить, напугать.

– Нет, нет! – кричат несколько голосов. – Нас не разделят.

– Мы, именно мы всегда защищали Конвент, – продолжает Робеспьер, – не нас ему бояться. А впрочем, мы дошли до той точки, на которой нас можно убить, но нельзя помешать спасти отечество.

Бурдон, депутат Уазы, возражает Робеспьеру, что если суд нуждается в присяжных, то почему бы и не утвердить немедленно предлагаемый список, так как никто не вправе задерживать ход правосудия, но что проект в целом следует отложить. Робеспьер опять всходит на кафедру и отвечает, что этот закон не сложнее и не темнее множества других, которые были приняты без прений, и что в ту минуту, когда защитникам свободы угрожают кинжалы, не следует препятствовать подавлению заговорщиков. Наконец, он предлагает

обсудить весь закон, статью за статьей, и продолжать заседание до середины ночи, чтобы издать его в тот же день. Авторитет Робеспьера еще раз одерживает верх – закон утверждается в несколько минут.

Однако Бурдон, Тальен и все члены, питавшие личные опасения, всерьез испугались закона. На другой день Бурдон просит слова.

– Давая комитетам, – говорит он, – право посылать каждого гражданина в Революционный трибунал, Конвент, конечно, не имел в виду, чтобы власть комитетов простиралась на всех его членов без предварительного декрета.

– Нет! Нет! – раздается со всех сторон.

– Я ждал этого ропота, – продолжает Бурдон, – он доказывает мне, что свобода несокрушима.

Это замечание производит глубокое впечатление. Бурдон предлагает объявить, что членов Конвента нельзя выдавать комитету без обвинительного декрета. Предложение Бурдона принимают.

В тот же вечер произошла сцена, добавившая шумихи этой неожиданной оппозиции. Тальен с Бурдоном гуляли в Тюильрийском саду; шпионы Комитета общественного спасения шли за ними на очень близком расстоянии. Тальену это надоело; он обернулся, назвал их гнусными соглядатаями и велел идти и донести своим господам о том, что они видели и слышали.

Эта сцена произвела сильное впечатление. Кутон и Робеспьер пришли в большое негодование и на следующий день явились в Конвент, решившись горячо пожаловаться на сопротивление. Делакруа и Малларме подают им в том повод. Делакруа требует более точного определения тех, кого закон именует развратителями нравов. Малларме спрашивает, что именно закон хочет сказать словами: «Закон дает в защитники оклеветанным патриотам совесть присяжных-патриотов»? Кутон всходит на кафедру и жалуется на предложенные поправки:

– Комитет общественного спасения оклеветали, – говорит он, – предполагая, будто он домогается права посылать членов Конвента на эшафот. То, что тираны клеветают на комитет, – это понятно; но то, что сам Конвент как будто слушает клевету, – подобная несправедливость невыносима, и комитет не может не пожаловаться на это. Вчера здесь радовались каким-то возгласам, доказывавшим будто бы, что свобода несокрушима (точно кто-нибудь свободе угрожал!). Для этого

нападения было выбрано время, когда члены комитета были в отсутствии. Такое поведение нечестно, и я предлагаю забрать назад поправки, принятые вчера, и другие, предложенные сегодня.

Бурдон отвечает, что требовать разъяснения какого-нибудь закона не преступление; что если он радовался, то это потому, что ему приятно было убедиться, что Конвент с ним согласен; что если с обеих сторон будут так придирааться, то всякие прения сделаются невозможными.

– Меня обвиняют, – замечает он, – в том, что я говорю как Питт или Кобург; если бы я отвечал в том же духе, куда бы мы зашли? Я уважаю Кутона, уважаю комитеты, уважаю Гору, которая спасла свободу.

Эти объяснения Бурдона вызывают рукоплескания; но объяснения эти равнялись извинениям, авторитет диктаторов был еще слишком велик, чтобы можно было идти против него напролом. Робеспьер начинает говорить и произносит многословную растянутую речь, исполненную надменности и горечи.

– Монтаньяры, – говорит он, – вы всегда будете оплотом общественной свободы, но вы не имеете ничего общего с интриганами и развратниками, кто бы они ни были. Если таковые и стараются оказаться между вами, то они всё же чужды ваших принципов. Не терпите же, чтобы несколько интриганов, более других достойные презрения, завлекли часть вас самих и сделались вождями партии....

Бурдон перебивает Робеспьера заявлением, что он никогда не хотел сделаться вождем какой-либо партии. Робеспьер ему не отвечает, но продолжает:

– Было бы верхом позора, если бы клеветники, вводя наших товарищей в заблуждение...

Бурдон опять перебивает его:

– Прошу доказать, а не говорить голословно. Довольно ясно было сказано сейчас, что я злодей.

– Я не назвал Бурдона, – возражает Робеспьер, – горе тому, кто сам себя называет! Да, Гора чиста, Гора велика; интриганы к Горе не принадлежат.

Робеспьер затем долго распространяется об усилиях, предпринятых с целью напугать членов Конвента, доказать им, что они в опасности, и говорит, что одни лишь виновные так трусят и пугают других. Затем он

описывает вчерашний эпизод между Тальеном и шпионами, которых он называет курьерами комитета. Этот рассказ вызывает горячее объяснение со стороны Тальена, который навлекает на себя много ругательств. Наконец все споры кончаются принятием предложений Кутона и Робеспьера. Вчерашние поправки забирают назад, новые поправки отвергаются, и безобразный закон 22 прериаля остается в неизменном виде.

Итак, интриганы комитета победили еще раз; их противники трусили; Тальен, Бурдон, Рюамп, Делакрыа, Малларме – словом, все, кто посмели возразить против нового закона, считали себя погибшими и каждую минуту ждали ареста. Хотя и требовался предварительный декрет Конвента, но Конвент находился в таком раболепном подчинении, что мог согласиться на всё, чего бы от него ни требовали. Выдал же он декрет против Дантона; а значит, мог выдать таковой и против его друзей. Пронесся слух, будто уже составлен список; насчитывалось двенадцать жертв, потом восемнадцать, называли их даже по именам. Страх стал так велик, что более шестидесяти членов Конвента не ночевали на своих квартирах.

Однако имелось одно обстоятельство, которое не позволяло так легко расправиться с ними, как они того боялись. Главы правительства были между собой в раздоре. Мы уже видели, что Бийо-Варенн, Колло и Барер холодно отозвались на первые жалобы Робеспьера на их товарищей. Члены Комитета общественной безопасности относились к нему враждебнее, чем когда-либо, после того как были удалены от всякого участия в законе 22 прериаля, и есть даже указания на то, что против некоторых из них замышлялось недоброе. Робеспьер и Кутон были крайне требовательны: им хотелось казнить множество депутатов; они поговаривали о Тальене, Бурдоне, депутате Уазы, Тюрио, Лекуэнтре, Панисе, Лежандре, Фрероне, Баррасе; они подбирались даже к Камбону, который мешал им своей репутацией и не сочувствовал, по-видимому, их жестокостям. Наконец, они бы хотели распорядиться даже несколькими самыми отъявленными членами Горы: Дювалем, Одуэном, Леонаром Бурдоном. Но Бийо, Колло, Барер и все члены Комитета общественной безопасности не соглашались. Опасность, простираясь над столькими головами, могла скоро дойти и до них.

Они находились в таком враждебном настроении, что нельзя было

рассчитывать на новую уступку с их стороны, и вдруг одно обстоятельство привело к окончательному разрыву. Комитет общественной безопасности раскрыл собрания, проходившие у Катрин Тео, узнал, что эта полоумная секта возвела Робеспьера в пророки, а Робеспьер выдал Дому Жерлю свидетельство о гражданственности. Бадье, Булан, Жато, Амар решились отомстить ему, представив эту секту сборищем опасных заговорщиков, донесся на нее Конвенту и поставив Робеспьера в смешное и неловкое положение из-за его связи с нею. Комитет послал агента Сенара, который под видом неопита получил доступ к собранию. Посреди обряда посвящения Сенар подошел к окну, подал условный знак ожидавшему внизу вооруженному отряду, который вошел и забрал почти всю секту. Дом Жерль и Катрин Тео были арестованы. В постели старухи нашли письмо, которое она писала своему возлюбленному сыну, первому пророку, словом, Робеспьеру.

Когда Робеспьер узнал, что начинаются преследования секты, он хотел воспротивиться этому и вызвал прения в Комитете общественного спасения. Мы уже видели, что Бийо и Колло не очень благоволили деизму и с подозрением смотрели на политическое применение этого учения, которым задался Робеспьер. Они стояли за преследование. Робеспьер настаивал, чтобы преследования не начинали. Завязался весьма горячий спор; Робеспьеру пришлось выслушать крайне оскорбительные обращения; он не преуспел в своих стараниях и удалился со слезами бешенства.

Ссора вышла такая громкая, что члены комитета решили перейти на верхний этаж, чтобы их не слышали люди, проходившие по коридорам. Доклад о секте Катрин Тео был сделан в Конвенте. Барер, желая отмстить Робеспьеру, сам писал доклад, который Вулан должен был прочесть. В этом докладе секта изображалась не только смешной, но и опасной. Конвент, то возмущаясь, то забавляясь картиной, начертанной Барером, постановил предать суду главных лиц секты.

Робеспьер, негодуя на встречаемое сопротивление и оскорбительные речи, которые ему пришлось выслушать, решил не приходить больше в комитет и не принимать участия в его совещаниях. Он удалился во второй половине июня. Это удаление показывает, какого рода было его честолюбие. Настоящий честолюбец никогда не

дуются: он раздражается препятствиями, захватывает власть и залавливает ею тех, кто ему сопротивлялся. Слабый и тщеславный декламатор злится и — уступает, когда не находит больше лести и поклонения. Дантон удалился из лени и потому, что ему все опостыло; Робеспьер — из уязвленного тщеславия. Это отступление было для него так же пагубно, как для Дантона. Кутон остался один против Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера, и эти трое теперь могли прибрать к рукам все дела.

Эти раздоры пока еще не разглашались; известно было только, что комитеты между собой не в ладах; общество приходило от этого в восторг, надеясь, что несогласие помешает новым казням. Лица, которым грозила опасность, сближались с Комитетом общественной безопасности, ублажали его, упрашивали и даже от нескольких членов его слышали успокоительные слова и обещания. Лучшие из членов этого комитета — Лакост, Моиз Бейль, Лавиконтери, Дюбарран — обещали не подписывать новых списков жертв.

Среди этой борьбы якобинцы оставались преданными Робеспьеру. Они еще не проводили различия между членами комитета, между Кутонем, Робеспьером и Сен-Жюстом с одной стороны, и Бийо-Варенном, Колло д'Эрбуа и Барером с другой. Они видели только, что здесь — революционное правительство, а там — остатки снисходительных, нескольких друзей Дантона, которые по поводу закона 22 прериаля вдруг взбунтовались против этого спасительного правительства. Робеспьер, который, защищая закон, защищал правительство, по-прежнему был для них первым и величайшим гражданином Республики, все прочие оставались только интриганам. Якобинцы не преминули исключить Тальена из своего комитета за то, что он не ответил на обвинения, заявленные против него на заседании 12 июня.

С этого дня Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа, чувствуя влияние Робеспьера, перестали являться к якобинцам. Что могли они сказать? Они бы не могли изложить свои жалобы, так как их неудовольствие было чисто личного свойства, не могли взять публику в судьи между собой и Робеспьером. Им оставалось только молчать и ждать. Стало быть, Робеспьер и Кутон пользовались с этой стороны полной свободой

действий. Так как слух о новых гонениях произвел опасное впечатление, то Кутон поспешил опровергнуть предполагаемые замыслы против двадцати четырех или даже шестидесяти членов Конвента.

«Тени Дантона, Эбера и Шометта, – сказал он, – еще разгуливают между нами; она стараются увековечить смуты и раздоры. То, что происходило на заседании 12-го числа, служит показательным примером. Хотят разъединить правительство, подорвать кредит его членов, изображая их Суллами и Неронами; происходят тайные совещания, составляются мнимые списки новых казней, граждан пугают, чтобы сделать их врагами общественных властей. Несколько дней назад стали распускать слух, будто комитеты собираются арестовать восемнадцать членов Конвента, которых даже называли. Не верьте таким коварным нашептываниям; распускают эти слухи сообщники Эбера и Дантона; они страшатся наказания за свои преступные действия; они стараются присоединиться к непорочным людям в надежде, что, прячась за ними, смогут ускользнуть от взоров правосудия. Но будьте покойны: число виновных очень невелико; их всего четверо, самое большее – шестеро, и они погибнут, потому что настало время избавить Республику от последних врагов. Положитесь в ее спасении на энергию и справедливость комитетов».

Заявление о том, что Робеспьер собирается покарать лишь весьма немногих, было очень искусной уловкой! Якобинцы по обыкновению рукоплескали речи Кутона, но она не успокоила никого из тех, кто боялся за себя, и они не перестали ночевать вне дома. Никогда террор не достигал таких размеров, и не только в Конвенте, а по тюрьмам по всей Франции.

Жестокие агенты Робеспьера – общественный обвинитель Фукье-Тенвиль, председатель суда Дюма – ухватились за закон 22 прериаля и принялись очищать тюрьмы. Скоро, говорил Фукье, на дверях тюремных зданий вывесят доски с надписью «Сдается внаем». Задумано было избавиться от большей части подозрительных. На них привыкли смотреть как на непримиримых врагов, которых надлежало истребить ради блага Республики. Умертвить несколько тысяч человек, единственная вина которых состояла в том, что они думали известным образом и которые нередко даже и не расходились во мнениях со

своими гонителями, казалось делом самым естественным вследствие приобретенной привычки к взаимному истреблению.

Легкость, с которой люди убивали и сами умирали, сделалась невероятной. На поле битвы, на эшафоте тысячи людей гибли каждый день, и никого больше это не удивляло. Первые убийства, совершенные в 1793 году, произошли из-за реального раздражения, вызванного опасностью. Теперь же опасность миновала, победа была за Республикой, и резня становилась следствием уже не негодования, а пагубной привычки. Этот страшный механизм, который нужда заставила создать для обороны от врагов всякого рода, становился ненужным, но, приведя в действие, его уже не умели остановить. Всякая сила достигает крайности и только тогда погибает. Революционное правительство не должно было окончить свое существование в тот день, когда враги Республики оказались бы достаточно застращены; оно неизбежно следовало дальше, не останавливаясь, пока его лютостью не возмутились все сердца.

Всего страшнее то, что, когда подан сигнал, когда воплощается мысль о необходимости жертвовать жизнями и этим спасать государство, всё приспособляется к этой безобразной цели с ужасающей легкостью. Каждый действует без угрызения совести; к этой работе привыкают, как судья привыкает читать приговоры преступникам, как хирург привыкает видеть людей, мучающихся под его ножом, как полководец привыкает отдавать приказы, посылающие на смерть многие тысячи солдат. Слагается особый отвратительный язык, люди даже умеют внести в этот язык игривость, они находят пикантные, шутливые слова для выражения кровавых понятий. Каждый следует течению, увлекаемый в чашу, и мы видим людей, еще накануне кротко занимавшихся ремеслом или торговлей, теперь с той же легкостью казнящих и разрушающих.

Комитет подал сигнал законом от 22 прериаля. Дюма и Фукие слишком хорошо поняли этот сигнал. Нужны были, однако, предлоги для такого побоища. В каком преступлении можно было обвинить всех этих несчастных, когда большинство из них были мирными, неизвестными гражданами, никогда ничем не заявлявшими государству о своем существовании. Выдумали, что они помышляли о побеге и что многочисленность их должна была внушать им сознание своей силы и

мысль применить эти силы для своего спасения. Мнимый заговор Дильона служил зачатком этой мысли, которую убийцы развили самым зверским образом. Несколько арестантов с подлой душой согласились играть гнусную роль доносчиков. Они указали в Люксембургской тюрьме на сто шестьдесят узников, которые будто бы принимали участие в заговоре Дильона. Такие же негодяи обнаружались и во всех прочих тюрьмах и в каждой из них назвали от ста до двухсот человек как сообщников тюремного заговора. Случившаяся в тюрьме Ла Форс попытка к бегству еще больше подтвердила эту гнусную басню, и в ту же минуту суд начал отдавать сотни несчастных под Революционный трибунал. Их из разных тюрем препровождали в Консьержери, оттуда в трибунал и на эшафот.

В ночь на 6 июля (19 мессидора) первые сто шестьдесят человек из Люксембургской тюрьмы явились в суд. Они трепетали, не зная, в чем их винят, а видели впереди только одно – смерть. Изверг Фукье, заручившись законом 22 прериаля, произвел большие перемены в зале суда. Вместо адвокатских мест и скамьи подсудимых, на которой могли поместиться человек восемнадцать или двадцать, он построил амфитеатр, способный вместить разом до полутораста подсудимых, и назвал это малыми скамьями. Он довел свое усердие до такого помрачения ума, что велел поставить эшафот в самой зале суда и собирався в одно заседание приговорить всех узников – сто шестьдесят человек.

Комитет общественного спасения, узнав о безумии, овладевшем общественным обвинителем, послал за ним, велел убрать эшафот из залы и запретил судить больше шестидесяти человек единовременно. «Ты хочешь деморализировать казнь?» – спросил его Колло д'Эрбуа в порыве гнева. Надо, однако, заметить, что Фукье утверждал противное и уверял, что просил разрешения судить этих людей в три приема. Между тем всё доказывает, что комитет не дошел до такого безумия, как его служитель, и попридержал его пыл.

Сто шестьдесят подсудимых из Люксембурга были разделены на три группы, осуждены и казнены в три дня. Процедура упростилась и сократилась наподобие той, которая установилась в приемной Аббатства в ночи 2 и 3 сентября. Телеги заказывали на каждый день; они ждали с утра во дворе здания, и подсудимые могли их видеть,

поднимаясь по лестнице. Председатель Дюма заседал, подобно какому-то маньяку, с парой пистолетов, лежавших перед ним на столе. Он спрашивал у подсудимых только имя и предлагал какой-нибудь вопрос самого общего содержания.

Вот как производился допрос. Председатель спрашивал у подсудимого Дориваля:

– Знаете вы о заговоре?

– Нет.

– Я ждал этого ответа, но он не убедителен. Следующего!

И председатель обращался к подсудимому Шампаньи:

– Не были ли вы дворянином?

– Да.

– Следующего! Вы священник?

– Да, но я присягал.

– Вы не имеете больше слова. Следующего! Не были ли вы слугою у бывшего члена Учредительного собрания Мену?

– Да.

– Следующего! Не содержится ли ваш тесть в Люксембургской тюрьме?

– Да.

– Следующего!

Таким-то образом разбиралось дело этих несчастных. Закон гласил, что допрос свидетелей будет опускаться лишь в том случае, если будут присутствовать какие-нибудь доказательства, материальные или нравственные, между тем свидетелей не вызывали вовсе, на том основании, что какие-нибудь доказательства всегда есть. Присяжные даже не трудились выходить в залу совещаний. Они произносили свой вердикт тут же в зале суда, и приговор зачитывался тотчас же. Подсудимым едва давалось время на то, чтобы встать и объявить свое имя.

Однажды вызвали подсудимого, имя которого в списке не находилось.

– Я не подсудимый, – сказал он суду, – моего имени нет в вашем списке.

– Что за важность? – возразил Фулье. – Назови его скорее.

Несчастный сказал свое имя и был казнен с другими.

Величайшая небрежность господствовала в этой варварской администрации. Часто второпях забывали предварительно читать подсудимым обвинительные акты и вручали их несчастным в самом суде. Случались удивительные ошибки. Один достойный старик по фамилии

Луазероль слышит рядом со своим именем имя своего сына, молчит и умирает вместо сына. Немного времени спустя в число жертв попадает и сын, которому следовало уже не считаться живым, однако это его не спасло. Не раз вызывались узники, давно казненные. Были заготовлены сотни обвинительных актов, в которые нужно было только вписать имя. То же касалось и приговоров.

Типография помещалась рядом с залой суда, формы были готовы, заголовок, обвинение, самый приговор набраны – всё, кроме имен, которые передавались через особое окошко. В ту же минуту отпечатывались множество экземпляров, которые разносили горе и отчаяние по семействам и тюрьмам. Курьеры продавали бюллетень суда под окнами тюрем, причем кричали: «Имена выигравших в лотерею святой гильотины!» Приговоренных казнили по выходе из суда, и казнь откладывалась до следующего дня только в случае, если было уже слишком поздно.

Головы сыпались по пятидесяти и шестидесяти каждый день. «Дело ладится, – говорил Фукье-Тенвиль, – головы валятся, как черепицы с крыши. Надо еще поддать жару в следующую декаду; мне нужно, чтобы дошло до четырехсот пятидесяти по меньшей мере». Чтобы достичь такого блестящего результата, шпионам, приставленным к подозрительным, делали так называемые заказы; эти гнусные твари сделались кошмаром тюрем. Их сажали в качестве подозрительных, и сначала никто не знал точно, кому именно поручено указывать на жертв; но скоро это становилось видно по их нахальству, по предпочтению, которое оказывали им тюремщики, по оргиям, которым они предавались в приемных с агентами полиции. Часто шпионы сами подчеркивали свое положение, чтобы извлечь из него выгоду. Трепещущие узники их ублажали, платили иногда значительные суммы за то, чтобы они не вписывали в свои списки то или другое имя. Шпионы эти выбирали свои жертвы наудачу. Про одного они доносили, будто он произносил непатриотические речи, про другого – будто он

пил вино, когда было получено известие о каком-нибудь поражении французской армии. Одно такое указание равнялось смертному приговору. Имена эти вписывались в специальный акт, а вечером эти акты сообщались узникам, которых немедленно переводили в Консьержери. На тюремном жаргоне это называлось читать вечернюю газету.

Каждый раз, когда все эти несчастные слышали грохот колес присланных за ними телег, они приходили в тревожное состояние, толпились у дверей приемных, прилеплялись к решеткам, чтобы услышать список, и каждый с трепетом ждал своего имени. Те, кто попал в список, обнимали товарищей и прощались с ними навеки. Каждый день происходили душераздирающие сцены. Оставшиеся в живых были несчастны не меньше; они ждали скорого соединения со своими родными. Когда роковая перекличка заканчивалась, обитатели тюрем переводили дух – до следующего вечера.

Между тем жалость начинала пробуждаться в народе и уже беспокоила палачей. Торговцы с улицы Сент-Оноре, по которой каждый день проезжали телеги, запирали свои лавки. Чтобы лишить жертв отрады, которую могли бы доставить им эти признаки сострадания, велели перенести эшафот к заставе Трона, но и в этом рабочем квартале жалость заговорила так же громко, как на самых богатых улицах Парижа. Народ в минуту опьянения может без жалости зарезать жертвы, им самим выбранные, но совсем другое дело – хладнокровно смотреть, как каждый раз изничтожается человек пятьдесят или шестьдесят, против которых нет сиюминутной злобы.

Однако эта жалость проявлялась пока безмолвно. Представители высшего общества исчезли из числа узников, включая и бедную сестру Людовика XVI; от высших сословий палачи спускались к нижним. В списках Революционного трибунала этого периода мы встречаем портных, сапожников, парикмахеров, мясников, земледельцев, даже рабочих, и весь этот люд погибал за какие-то будто бы контрреволюционные речи! Чтобы дать, наконец, понятие о числе казней за это время, достаточно привести один факт: с марта 1793 года до июня 1794-го трибунал приговорил к смерти 577 человек, а с 10 июня до 27 июля – 1285.

Палачи между тем были далеко не спокойны. Дюма находился в постоянной тревоге, Фукье не смел выходить ночью; ему постоянно чудилось, что родственники жертв стерегут его, чтобы убить. Однажды он проходил с Сенаром по залам Лувра и испугался легкого шороха: мимо него всего лишь прошел какой-то человек. «Если бы я был один, – воскликнул он, – со мною непременно что-нибудь случилось бы!»

В главных городах Франции террор нисколько не уступал террору в Париже. Комиссар Каррье был послан в Нант наказать Вандею. Еще молодой человек, он принадлежал к числу посредственных и злых существ, которые среди увлечения междоусобной войной становятся извергами и опережают других по части жестокости и сумасбродства. Приехав в Нант, Каррье с первого же раза объявил, что надо истребить всю контрреволюцию и что, несмотря на обещанную вандейцам пощаду, в случае если они сложат оружие, не следует миловать ни одного врага. Местные власти заикнулись было о том, чтобы сдержать слово, данное инсургентам. «Вы все подлецы, – ответил им Каррье, употребив любимое словцо папаша Дюшена, – дела своего не знаете, я вас всех перевешаю». И он принялся расстреливать несчастных вандейцев целыми партиями по сто и двести человек. Он приходил в популярное общество с саблей в руке, с ругательствами на устах и страдал всех гильотиной. Скоро, оставшись недовольным этим обществом, он распустил его.

Каррье до такой степени запугал должностных лиц, что они не смели являться к нему. Однажды кто-то из них заговорил с комиссаром о продовольствии: он ответил, что это не его дело, что первому негодяю, который опять станет говорить ему об этом, отрубят голову, потому что ему некогда заниматься такими глупостями.

Заодно Каррье хотел наказать и нантских федералистов, попытавшихся было вызвать движение в пользу жирондистов после осады города. Каждый день несчастные, уцелевшие после побоищ в Маисе и при Саване, толпами сгонялись в город. Каррье запирали их в тюрьмах и накопил уже до десяти тысяч человек. Потом он организовал отряд убийц, которые рассыпались по окрестным деревням, захватывали скрывавшиеся семейства и дополняли жестокость хищничеством.



Каррье

Каррье учредил революционную комиссию, которая судила и вандейцев, и федералистов. Скоро, однако, и эти формальности нашли излишними, а расстрел – неудобным. Этот способ казни был медленным, надо было хоронить убитых, а это было затруднительно. Трупы нередко подолгу оставались незарытыми и отравляли воздух, так что в городе начались эпидемии.

Луара, протекающая через Нант, навела Каррье на ужасную мысль: избавляться от пленников этим путем. На первый раз, в виде опыта, он загрузил на барку под предлогом ссылки девяноста священников и велел разбить барку на некотором расстоянии от города. Обнаружив такое отличное средство, Каррье решил воспользоваться им в больших масштабах. Он вовсе отменил формальность суда, которая и в самом деле стала лишь насмешкой, и просто брал из тюрем по сто или двести человек и приказывал посадить их в лодки. С этих лодок их

пересаживали на небольшие суда, нарочно подведенные для этой ужасной цели. Несчастных бросали в трюм; все люки заколачивались досками; палачи спускались в шлюпки, а плотники, стоявшие наготове в маленьких лодочках, топорами прорубали бока, так что судно немедленно шло ко дну.

Так погибли от четырех до пяти тысяч человек. Каррье радовался, что изобрел такой проворный и здоровый способ избавлять Республику от ее врагов. Он утопил не только мужчин, но и множество женщин и детей. Когда вандейские семейства разбрелись после разгрома при Саване, многие жители Нанта взяли себе детей на воспитание. «Это волчата», – рассудил Каррье и потребовал выдачи их от имени Республики. Бедных детей утопили почти всех.



Утопления в Луаре, организованные Каррье

Луара была запружена трупами; суда, бросая якорь, нередко поднимали со дна лодки, наполненные утопленниками. Хищные птицы стаями спускались на берега реки и питались мертвечиной. Рыба стала опасной пищей, и муниципалитет запретил ловить ее. Ко всем этим ужасам прибавились заразные болезни и голод. Среди этого побоища Каррье кипел и бесновался, запрещал малейшее движение жалости,

хватал приходивших к нему с мольбами о пощаде и замахивался на них саблей, прибил везде объявление о том, что каждый, кто придет просить за узника, сам будет посажен в тюрьму. К счастью, Комитет общественного спасения отозвал его и заместил другим комиссаром. Комитет согласен был истреблять врагов, но таких сумасшествий позволить не мог. Жертв Каррье насчитывается от четырех до пяти тысяч, всё больше вандейцев.

Бордо, Марсель, Тулон между тем искупали свой федерализм. В Тулоне комиссары Фрерон и Баррас расстреляли из пушки картечью двести человек, наказывая их за преступление, настоящие виновники которого ушли на иностранных эскадрах. Менье в департаменте Воклюз распоряжался так же беспощадно, как другие комиссары. Он сжег село Бедуан за непокорство, и по его требованию правительство учредило в Оранже Революционный трибунал, которому был подчинен весь юг. Этот трибунал был организован по образцу парижского, с той разницей, что не было присяжных, а пять судей на основании нравственных улик приговаривали несчастных, которых Менье хватал, совершая свои объезды. В Лионе прекратились казни оптом, введенные кровожадным Колло д'Эрбуа.



Жозеф Лебон

Революционная комиссия прислала отчет о своих трудах с обозначением числа осужденных и оправданных: оказалось, что 1684 человека были гильотинированы или расстреляны из ружей и из пушек картечью, а 1682 – освобождены правосудием комиссии.

На севере тоже имелся свой проконсул: Жозеф Лебон. Он прежде был священником и признавался, что в молодости из религиозного фанатизма способен был бы убить отца и мать, если бы ему приказали. Это был настоящий помешанный, может быть, менее жестокий, нежели Каррье, но с мозгами еще более расстроенными. По его речам и действиям было видно, что голова у него не в порядке. Лебон поселился в Аррасе. Там он с разрешения Комитета общественного спасения учредил трибунал и объезжал северные департаменты; с ним ехали судьи и везли гильотину. Лебон посетил Сен-Поль, Сент-Омер, Бетюн,

Бапом и другие местечки и везде оставил по себе кровавую память.

Когда австрийцы подошли близко к Камбре, Сен-Жюсту показалось, что аристократы этого города затеяли тайные сношения с неприятелем, и он призвал Лебона, который в несколько дней казнил множество людей и уверял, что спас Камбре своей твердостью. После каждого объезда он возвращался в Аррас и предавался отвратительнейшим оргиям со своими судьями и членами клубов. Палач допускался к столу и пользовался большим вниманием. Лебон присутствовал при казнях, сидя на балконе; с этого балкона он говорил с народом и слушал знаменитую песню «*Ca ira*», которую распорядился играть во время казней. Однажды, получив известие о какой-то победе, Лебон выбежал на балкон и велел приостановить казнь, чтоб приговоренные перед смертью услышали о торжестве Республики.

Он сумасшествовал так явно, что подлежал обвинению даже в Комитете общественного спасения. Многие жители Арраса искали убежища в Париже и всеми силами старались добраться до своего земляка Робеспьера в надежде встретить в нем сколько-нибудь сочувствия. Некоторые знали его в молодости, но никак не могли найти к нему доступа сейчас. Депутат Гюффруа, сам из Арраса, человек, обладавший большим мужеством, много хлопотал в комитетах, чтобы обратить их внимание на действия Лебона. Но так как комитеты не хотели ни показать, будто отрекается от своих агентов, ни согласиться, что с аристократами поступают слишком строго, то Лебона отправили обратно в Аррас с инструкцией, в которой имелись следующие слова: «Продолжай делать добро и делай его с такой мудростью и таким достоинством, чтобы аристократы не имели возможности клеветать на тебя».

Жалобы на Лебона, внесенные в Конвент Гюффруа, требовали доклада комитета. Бареру поручили написать этот доклад. «Все жалобы против комиссаров, — сказал он в докладе, — должны разбираться комитетом во избежание споров, которые только смутили бы правительство и Конвент. Так мы и поступили относительно Лебона; мы искали побуждения, руководившие им. Чисты ли эти побуждения? Полезен ли результат революции? Идет ли он впрок свободе? Не просто ли мстительный вопль аристократии составляют жалобы? Вот что комитет рассматривал в этом деле. Действительно, формы применялись

несколько жестокие, но эти формы разрушили западни, расставленные аристократией. Комитет, конечно, мог не одобрить их, но Лебон совершенно разбил аристократов и спас Камбре. Сколькими благородными чувствами может патриот покрыть некоторую свою озлобленность в гонениях против врагов народа! О революции следует говорить не иначе как с почтением, а о революционных мерах – не иначе как с уважением. Свобода – это дева, приподнимать покрывало которой преступно».

Результатом всего этого явилось то, что Лебона уполномочили продолжать его бурную деятельность, а Гюффруа причислили к неудобным критикам революционного правительства, следовательно, он сам подвергся опасности. Было очевидно, что весь комитет выступает за террор. Робеспьер, Кутон, Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Вадье, Вулан, Амар могли расходиться между собой из-за прерогатив, из-за выбора и числа новых жертв, но они были согласны по поводу системы, состоявшей в том, чтобы истреблять всех, кто служил помехой революции. Они не хотели, чтобы система применялась с таким сумасбродством, каким отличались Каррье и Лебоны, а хотели, чтобы в провинциях, по примеру Парижа, быстрым, верным и, по возможности, нешумным способом уничтожались враги, состоявшие, как воображалось им, в заговоре против Республики. Хоть они и порицали некоторые безумные жестокости, однако с себялюбием, свойственным власти, не хотели отрекаться от своих агентов; в сущности, они не одобряли безобразий, совершавшихся в Аррасе или в Нанте, но внешне – поддерживали, чтобы не признать себя ни в чем неправыми. Втянувшись в гнусное дело, они шли вперед уже зажмурившись, сами не зная, куда придут.

В том-то и состоит печальная участь человека, запутавшегося в зле, что он не может остановиться. Как только в нем зарождается сомнение в своих действиях, как только он чуть догадывается, что заблуждается, он вместо того, чтобы обратиться вспять, очертя голову кидается вперед, оглушая сам себя, будто для того, чтобы отогнать озаряющие его проблески сознания. Чтобы остановиться, ему нужно бы успокоиться, проверить, исследовать самого себя и произнести самому над собой такой страшный приговор, на какой ни у одного человека не хватит духа.

Только общее восстание могло остановить изобретателей ужасной системы террора. В этом восстании должны были участвовать и члены комитетов как соискатели верховной власти, и монтаньяры, жизнь которых висела на волоске, и негодующий Конвент, и, наконец, все возмущенные таким неслыханным кровопролитием. Но чтобы прийти к этому союзу зависти, страха и негодования, требовалось, чтобы зависть имела еще успех в комитетах, чтобы страх Горы достиг крайней степени, чтобы негодование пробудило заглушенное мужество в Конвенте и в самом обществе. Наконец, нужен был случай, который заставил бы все эти чувства вспыхнуть разом, нужно было, чтобы угнетатели нанесли первый удар, а у мятежников хватило храбрости отразить его.

Общественное мнение находилось в надлежащем состоянии, и наступала минута, когда движение против революционных неистовств становилось возможным. Теперь, когда Республика одерживала победу за победой и враги ее оказались поражены страхом, люди готовы были перейти от боязни и ярости к доверию и жалости. Такой поворот стал возможен в первый раз с начала революции. Когда погибли жирондисты, а потом дантонисты, еще не время было взывать к человеческим чувствам. Революционное правительство тогда еще не перестало быть полезным и не утратило кредита.

Пока, до решительной минуты, противники наблюдали друг за другом, и злоба закипала в сердцах. Робеспьер совсем перестал появляться в Комитете общественного спасения. Он надеялся подорвать доверие своих товарищей к правительственным действиям, не принимая в них участия. Он показывался только у якобинцев, куда не смели больше являться Колло и Бийо и где его с каждым днем боготворили всё больше. Робеспьер начинал вести там речь о комитетных раздорах. «Когда-то, – говорил он, – клика, образовавшаяся из остатков партии Дантона и Демулена, нападала на комитеты в целом. Ныне же она предпочитает вести интригу против нескольких членов отдельно, чтобы этим путем разорвать связи. Когда-то эта клика не смела нападать на национальное правосудие; ныне же она считает себя достаточно сильной, чтобы клеветать на Революционный трибунал и декрет о его организации; она приписывает то, что составляет принадлежность целого правительства, одному лицу; она дерзает говорить, что Революционный трибунал учредили для того, чтобы вырезать

Национальный конвент, и, к несчастью, слишком многие поверили ей. Поверили этой клевете, с аффектацией стали распускать ее, говорить о диктаторе.

Утверждают, что это будто бы я, и вы содрогнулись бы, если бы я вам сказал, где это было говорено.

Правда — мое единственное убежище против злодеяния. Эта клевета, конечно, не заставит меня впасть в уныние, но повергнет в нерешительность насчет моих дальнейших действий. Впредь до того времени, когда мне можно будет сказать больше, я взываю для спасения Республики к добродетелям Конвента, комитетов, добрых граждан, наконец, к вашим добродетелям, столь часто приносившим пользу отечеству».

Из этого отрывка видно, какие коварные инсинуации Робеспьер начинал применять в отношении комитетов, привязывая якобинцев исключительно к себе. За это якобинцы платили ему беспредельным доверием. Революционная система приписывалась ему одному; поэтому понятно, что все революционные власти были преданы Робеспьеру и с жаром стояли за него. К якобинцам должны были примкнуть коммуна, всегда во всем вторившая и подражавшая им, и все судьи и присяжные Революционного трибунала. Всё это вместе составляло порядочную силу, и, при большей решимости и энергии, Робеспьер мог бы сделаться весьма опасным. Через якобинцев он располагал мощной силой, которая до сих пор была представительницей общественного мнения и властвовала над ним; через коммуны располагал местными властями, которые во всех восстаниях брали инициативу и вооруженными отрядами Парижа. Мэр Паш, комендант Анрио, спасенные Робеспьером, когда их чуть не отдали под суд вместе с Шометтом, были ему безусловно преданы. Бийо и Колло, правда, посадили Паша, пользуясь отсутствием Робеспьера, но новый мэр Флерио был ему предан точно так же, а Анрио у него отнять не посмели.

Если прибавить к этим лицам председателя суда Дюма, вице-председателя Коффиналя и всех судей и присяжных, то можно составить себе понятие о средствах, которыми Робеспьер располагал в Париже. Если комитеты и Конвент не слушались его, ему стоило только пожаловаться якобинцам, вызвать среди них движение, сообщить это движение коммуне, объявить через муниципальную власть, что народ

снова вступает в свои державные права, поднять на ноги секции и послать Анрио в Конвент требовать выдачи пятидесяти или шестидесяти депутатов. Дюма, Коффиналь и весь трибунал были к его услугам для расправы с депутатами, которых Анрио похитил бы.

Одним словом, Робеспьер имел в руках все средства устроить новое 31 мая, только быстрее и вернее, чем прежде. Поэтому приверженцы и клеветы обступали его и упрашивали только подать сигнал. Анрио вызывался развернуть свои колонны и обещал действовать энергичнее, чем 2 июня. Робеспьер, который предпочитал всё делать сам и полагал, что его слово еще очень сильно, хотел подождать. Он надеялся подорвать популярность комитетов своим уходом и речами у якобинцев, а достигнув этого, предполагал открыто атаковать их в Конвенте при первом удобном случае. Он продолжал заправлять трибуналом и поддерживать деятельную полицейскую систему посредством бюро. Таким образом, Робеспьер следил за своими противниками и знал о каждом их шаге.

Теперь он позволял себе несколько больше развлечений, нежели прежде. Он часто ездил в прекрасное поместье, где жила преданная ему семья, – в Мезон-Аль-фор, в трех лье от Парижа. Туда ездили и все его приверженцы: Дюма, Коффиналь, Флерио, Анрио со всеми своими адъютантами. Они скакали по большой дороге по пяти в ряд, сбивая встречавшихся пешеходов и наводя страх и ужас на весь околотов. Хозяева поместья и друзья Робеспьера, беспрестанно проговариваясь, давали повод предполагать существование таких планов, каких еще даже не было задумано и на какие у них не хватило бы храбрости.

В Париже Робеспьер всегда был окружен теми же лицами; за ним на небольшом расстоянии постоянно следовали несколько якобинцев или присяжных, люди преданные, ходившие с палками и спрятанным оружием, готовые при первой опасности броситься к нему на помощь. Их называли телохранителями.

Между тем Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и Барер, со своей стороны, забрали в свои руки все дела и в отсутствии своего соперника сблизилась с Карно, Робером

Ленде и Приёром (депутатом Кот-д'Ора). Общие интересы сблизжали их с Комитетом общественной безопасности, и все они

хранили полнейшее молчание. Они старались понемногу ослаблять могущество своего соперника, ослабляя вооруженные отряды Парижа. Каждая из сорока восьми секций имела по отряду канониров; эти отряды при всяком удобном случае демонстрировали в высшей степени революционный дух и всегда стояли за всякое восстание. Вышел декрет, по которому половина их должна была остаться в Париже, а другую половину позволялось переместить. Бийо и Колло приказали начальнику комиссии передвижения последовательно направить войска к границе.

Все свои операции они тщательно скрывали от Кутона, который не удалялся, подобно Робеспьеру, а напротив, внимательно следил за ними и стеснял их. Бийо, мрачный и желчный, редко отлучался из Парижа; но остроумный Барер, любивший пожить в свое удовольствие, часто отправлялся в Пасси с главными членами Комитета общественной безопасности – стариком Бадье, Амаром и Буланом. Они собирались у Дюпена, бывшего откупщика, прославившегося при монархии своей кухней, а при революции – докладом, погубившим других откупщиков. Там они наслаждались жизнью в обществе красивых женщин, и Барер острил насчет первосвященника Всевышнего, а также насчет первого пророка и возлюбленного сына полоумной старухи, вообразившей себя Богоматерью. Повеселившись, они возвращались в Париж из объятий своих куртизанок и снова погружались в кровь и соперничество.

С другой стороны, старые члены Горы, не чувствуя себя в безопасности, тайно виделись и старались договориться. Добрая, благородная женщина, которая в Бордо полюбила Тальена и спасла множество жертв своим влиянием, из тюрьмы торопила Тальена нанести тирану решительный удар. К Тальену примкнули Лекуэнтр, Бурдон (депутат Уазы), Тюрио, Панис, Баррас, Фрерон, Гюффруа, противник Лебона, Дюбуа-Крансе, скомпрометированный при осаде Лиона и ненавидимый Кутаном, а также Фуше (депутат Нанта); последний был в ссоре с Робеспьером, и его обвиняли в том, что он вел себя в Лионе недостаточно патриотично. Тальен и Лекуэнтр были наиболее отважными и нетерпеливыми среди них. Фуше же был особенно опасен своим умением завязать интригу, и триумвиры накинулись на него с наибольшим ожесточением.

По поводу петиции от лионских якобинцев, которые жаловались якобинцам Парижа на свое настоящее положение, опять всплыла вся история этого злополучного города. Кутон снова начал обличать Дюбуа-Крансе, как он это делал уже несколько месяцев назад, и велел исключить его из числа якобинцев. Робеспьер обвинил Фуше и приписал ему интриги, которые привели патриота Гайара к самоубийству. По его предложению общество решило потребовать Фуше к ответу. Но Робеспьер боялся происков Фуше не столько в Лионе, сколько в Париже, и хотел наказать его именно за них. Фуше, чуя опасность, написал якобинцам уклончивое письмо, прося повременить со своим суждением, пока Конвент, которому он только что изложил всю свою деятельность, с приложением всех документов, произнесет свой приговор. «Странно, – сказал на это Робеспьер, – что Фуше нынче обращается к помощи Конвента против якобинцев. Боится он, что ли, глаз и ушей народа? Боится, чтобы печальный лик не обличил его в злодеянии? Боится, чтобы шесть тысяч взоров, устремленных на него, не открыли в его глазах души, скрывающей его мысли, и не прочли в них эти мысли? Поведение Фуше изобличает виновного; вы не можете долее держать его среди вас – надо его исключить». Фуше был изгнан тотчас же, как и Дюбуа-Крансе. Итак, гроза с каждым днем сильнее рокотала над головами монтаньяров, и небосклон со всех сторон заволакивали тучи.

В виду этой надвигавшейся грозы те из членов комитетов, которые боялись Робеспьера, были бы не прочь объяснить и предпочли бы соглашение опасной борьбе. Робеспьер выписал из армии своего молодого товарища Сен-Жюста, и тот немедленно вернулся. Было предложено свидание с целью на чем-нибудь поладить. Робеспьер заставил долго себя просить, прежде чем согласился, однако наконец оба комитета собрались. Начались взаимные попреки весьма язвительного свойства. Робеспьер говорил о себе со своей обычной гордыней, обличал тайные сходбища, толковал о необходимости наказать депутатов-заговорщиков, неодобрительно выразился обо всех действиях правительства, всё выбранил – администрацию, войну и финансы. Сен-Жюст поддержал Робеспьера, произнес в его честь пышное похвальное слово и заявил, что последняя надежда иностранцев состоит в том, чтобы разъединить правительство. Сен-Жюст привел по

этому поводу слова одного офицера, взятого в плен перед Мобёжем. Если верить этому офицеру, союзники выжидали, пока умеренная партия свергнет правительство и установит господство других принципов. Сен-Жюст привел этот пример, чтобы сильнее дать почувствовать необходимость примирения и согласованных действий.

Противники Робеспьера вполне разделяли это мнение и соглашались на многое, чтобы остаться в правительстве; но нужно было согласиться на всё, чего бы ни потребовал Робеспьер, а на такие условия они пойти не могли. Члены Комитета общественной безопасности жаловались на покушение против их власти; Эли Лакост осмелел настолько, что не побоялся объявить, что Кутон, Сен-Жюст и Робеспьер образуют комитет в комитетах, и дерзнул даже произнести слово триумvirат. Однако сделали несколько взаимных уступок. Робеспьер согласился ограничить деятельность своего отделения полиции надзором за агентами Комитета общественного спасения, а противники его в ответ на эту любезность согласились поручить Сен-Жюсту доклад об этой встрече. В этом докладе, само собой, не должно было говориться о несогласиях, бывших между комитетами, а только о потрясениях, испытанных общественным мнением за последнее время, и предполагалось начертать дальнейший путь, по которому собиралось идти правительство.

Бийо и Колло д'Эрбуа осторожно намекнули, что лучше бы не слишком много говорить в этом докладе о Высшем Существе, — они не могли забыть про первосвященничество Робеспьера. Однако Бийо сказал Робеспьеру с мрачным, неприязненным видом, что никогда не был его врагом, и собравшиеся расстались, не примирившись на самом деле. В подобном примирении не могло быть ни капли искренности, потому что каждый остался при своем честолюбии; это была одна из тех попыток уладить распрю сделкой, к которым прибегают все партии, прежде чем сцепиться.

Впрочем, если это свидание и не водворило согласия между членами комитетов, оно по-настоящему испугало монтаньяров; они уверились в том, что залогом мира станет их погибель, и всеми силами старались выведать, в чем именно заключались условия договора. Члены Комитета общественной безопасности поспешили рассеять опасения несчастных. Эли Лакост, Дюбарран, Моиз Бейль, самые

влиятельные члены комитета, успокоили монтаньяров, сказав, что ни о каких жертвах речи не было. Это соответствовало действительности, и именно это помешало полному примирению.

А все-таки Барер, весьма дороживший согласием, не преминул повторять в своих ежедневных докладах, что члены правительства в ладах между собою, что слухи об обратном есть чистейшая клевета, что они общими силами стремятся сделать Республику победоносной. Он сделал вид, что принимает обвинения, направленные против триумвиров, на счет всех и отверг эти обвинения. «Среди криков победы, – сказал Барер по этому поводу, – раздаются глухие слухи, расползается темная клевета, тонкий яд растворяется в газетах, составляются пагубные заговоры, готовятся беспорядки. Правительство беспрестанно встречает неприятности, помехи, клевету и угрозы. А между тем – что оно сделало?..» И далее следовал привычный список достоинств правительства...

Глава XXXVI

Операции Северной армии – Занятие Брюсселя – 8 и 9 термидора – Арест и казнь Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона

Пока Барер прилагал все усилия, чтобы скрыть распри между комитетами, Сен-Жюст, несмотря на возложенную на него обязанность написать доклад, вернулся в армию, где происходили важные события. Маневры, начатые на обоих флангах, продолжались. Пишегрю продолжал свои операции на Лисе и Шельде, Журдан начал свои на Самбре. Пользуясь оборонительной позицией, которую Кобург занял в Турне после сражений при Туркуэне и Пон-а-Шене, Пишегрю намеревался побить Клерфэ отдельно. Но он не смел идти до Тилта и решился начать осаду Пира с двоякой целью: привлечь к себе Клерфэ и взять этот город, который мог укрепить господство французов в Западной Фландрии. Клерфэ ждал подкрепления и не двигался с места. Тогда Пишегрю так энергично занялся осадой Ипра, что и Клерфэ, и Кобург сочли своей обязанностью оставить позиции, чтобы идти на помощь городу. Обнаружив это, Пишегрю выслал часть войск из Лилля и велел произвести против Орши такой крупный маневр, что Кобург должен был остаться в Турне.

В то же время французский генерал двинулся вперед, прямо на Клерфэ. Его быстрые и хорошо продуманные движения дали французам возможность напасть на Клерфэ отдельно. К несчастью, одна дивизия ошиблась дорогой; Клерфэ получил время вернуться в свой лагерь при Тилте, понеся только легкие потери. Но три дня спустя, 13 июня (25 прериала), подкрепленный отрядом, которого он ожидал, Клерфэ вдруг развернул перед французскими колоннами 30-тысячное войско. Французские солдаты немедленно бросились к оружию, но правый фланг от жаркого напора рассыпался, оставив левый фланг открытым на плоской возвышенности при Хогледе. Этим левым флангом командовал Макдональд; он сумел отстоять его против многократных атак, которые ему пришлось выдержать с фронта и с флангов, после чего принудил Клерфэ отступить со значительными потерями. В пятый раз был побит

австрийский генерал в эту кампанию вследствие того, что его плохо поддержали.

Это дело, принесшее столько чести дивизии Макдональда, заставило осажденный город сдаться. Четыре дня спустя Ипр открыл свои ворота, и гарнизон его в семь тысяч человек сложил оружие. Кобург собирался на помощь, когда узнал, что опоздал. События, совершавшиеся на Самбре, заставили его тогда направиться к противоположному концу театра войны. Он оставил герцога Йоркского на Шельде, а Клерфэ – в Тилте, и двинулся со всеми австрийскими войсками к Шарлеруа.

Это был настоящий разрыв между двумя главными союзными державами – Англией и Австрией; они давно уже не ладили между собою, и различие интересов в этом случае обнаруживалось наглядно. Англичане оставались во Фландрии, ближе к приморским провинциям, а австрийцы спешили защитить свои сообщения. Это разделение сил немало увеличило взаимное неудовольствие. Австрийский император удалился в Вену, наскучив этой безуспешной войной, а Макк, видя, что все его планы расстроены, снова вышел из Главного штаба Австрии.

Мы видели выше, что Журдан прибыл в Шарлеруа в ту минуту, когда французы, в третий раз отбитые, в беспорядке переходили через Самбру. После нескольких дней отдыха, предоставленного солдатам, одни из которых были расстроены вследствие поражения, другие – вследствие быстрого похода, было сделано несколько изменений в организации армии. Из дивизий Дежардена и Шарбонье и дивизий, прибывших с Мозеля, образовали одну отдельную армию под названием Армии Самбры-и-Мааса; начальство над этой армией числом около 70 тысяч было отдано Журдану. Дивизия из 15 тысяч человек под началом Шерера осталась охранять Самбру.

Журдан тотчас решил снова перейти Самбру и обложить Шарлеруа войсками. Атаковать город поручили дивизии Атри, а главный корпус армии расположился кругом с целью поддержать осаду. Шарлеруа лежит на Самбре. За стенами города находится ряд позиций, которые образуют полукруг, упирающийся обеими оконечностями в Самбру. Эти позиции не очень выгодны, потому что полукруг имеет десять лье протяженностью да еще реку с тыла. Клебер стоял с левым флангом от

Самбры до Орши и стерег речку Пьетон, протекавшую через поле сражения и впадающую в Самбру. В центре Морло охранял Госли; Шампионне шел между Эпиньи и Ваше; Лефевр занимал Ваше, Флёрюс и Ламбюзар.

Наконец на правом фланге Марсо растянулся перед лесом Кампинер и связывал главную французскую линию с Самброй.

Журдан, чувствуя неудобство этих позиций, не хотел на них оставаться и, чтобы сойти с них, собирался сам начать атаку рано утром 16 июня (28 прериаля). Кобург еще не двинулся вперед; он был в Турне, где присутствовал при поражении Клерфэ и взятии Ипра. Принц Оранский, посланный в сторону Шарлеруа, командовал всей союзной армией. Он решился со своей стороны предупредить грозившую ему атаку и, развернув свои войска утром 16-го числа, заставил французов принять сражение на занимаемой ими позиции. Четыре колонны, расположенные против французского центра и правого фланга, уже проникли в лес Кампинер, отбили Флёрюс у Лефевра, а Эпиньи – у Шампионне, и были готовы загнать Морло из Пон-а-Миньту в Госли, когда Журдан, вовремя подойдя с кавалерийским резервом, остановил четвертую колонну удачной атакой, вернул войска Морло на прежние позиции и восстановил равновесие в центре.

На левом фланге так же удачно действовал Вартенслебен в направлении Тразньи. Но Клебер, благодаря нескольким умным и быстрым распоряжениям, опять взял Тразньи, потом пользуясь удобной минутой, заставил Вартенслебена повернуть назад, отбросил его за Пьетон и даже пустился за ним в погоню, с двумя колоннами.

Сражение до сих пор продолжалось с выгодой для французов, и победа уже готова была решительно остаться за ними, когда принц Оранский, соединив свои две первые колонны близ Ламбюзара, стал угрожать их сообщениям. Тогда правому флангу и центру пришлось отступить. Клебер, отказавшись от погони, прикрыл отступление. Этим и кончилось первое дело 16 июня. В четвертый раз французы вынуждены были перейти Самбру, но на этот раз с гораздо большей честью для своего оружия. Журдан не унывал. Он несколько дней спустя снова занял свои позиции 16-го числа, снова обложил Шарлеруа и начал крайне энергичную бомбардировку.

Кобург, извещенный о новых операциях Журдана, стал наконец

подходить к Самбре. Для французов было весьма важно взять Шарлеруа до прибытия подкреплений, которых ожидала австрийская армия. Инженер Мареско с таким оживлением повел осадные работы, что через восемь дней огонь из города прекратился, и можно было приготовиться к атаке. Комендант прислал парламентаря с письмом 26 июня (7 мессидора). Сен-Жюст, всегда имевший в лагере первый голос, даже не распечатал письмо и отпустил офицера с таким ответом: «Нам нужен город, а не лист бумаги».

Гарнизон вышел из города в тот же вечер, в то самое время, когда Кобург появился в виду французской линии. Обладание городом значительно укрепило позицию французов и уменьшило опасности предстоящего сражения с рекой в тылу. Дивизия Атри, теперь свободная, передвинулась к Рансару, для подкрепления центра, и всё было готово к решительной битве на следующий день, 27 июня (8 мессидора).

Французы занимали те же самые позиции, что 16 июня. Клебер командовал левым флангом, от Самбры до Тразньи; Марло, Шампионне, Лефевр и Марсо составляли центр и правый фланг и располагались от Госли до Самбры. В Эпиньи построили укрепления для защиты центра. Кобург повел атаку против всех пунктов полукруга, вместо того чтобы направить концентрическое движение на одну из его оконечностей, например правую, и отрезать переправы через Самбру.

Атака началась утром 27-го. Принц Оранский и генерал Латур, стоявшие против Клебера и левого фланга, сначала заставили французов пошатнуться, прогнали их через лес Монсо до берега Самбры, где стоит Маршьен-о-Пон. Клебер, к счастью, стоявший на левом фланге для того, чтобы направлять туда все дивизии, немедленно поспешил на опасное место, послал батареи на возвышенности, окружил австрийцев в лесу Монсо и напал на них со всех пунктов. Австрийцы, со своей стороны, подходя к Самбре, узнали, что Шарлеруа уже находится во власти французов, и начали выказывать некоторые колебания. Клебер этим воспользовался и энергичной атакой принудил их удалиться из Маршьена.

Пока Клебер спасал одну из оконечностей полукруга, Журдан трудился над спасением центра и правого фланга. Морло,

находившийся перед Госли, долго боролся с генералом Кваздановичем и, испробовав несколько маневров, чтобы обойти его, кончил тем, что сам дал себя обойти. Он отступил к Госли, сделав всё, что от него зависело. Шампионне держался с таким же упорством, опираясь на редут при Эпиньи; но корпус Кауница двинулся вперед с целью обогнуть этот редут в то самое время, как пришло известие об отступлении Лефевра на правом фланге. Шампионне, обманутый этим известием, решил отступить и уже покинул редут, когда Журдан, сознавая опасность, послал на этот пункт часть дивизии Атри, опять взял Эпиньи и выпустил свою кавалерию на равнину, на войска Кауница.

Пока с обеих сторон атака следует за атакой, еще более жаркое сражение происходит близ Самбры, при Ваше и Ламбюзаре. Больё, подвигаясь по обоим берегам вверх вдоль Самбры, чтобы атаковать крайнее левое крыло французов, встает и сбивает с позиции дивизию Марсо. Эта дивизия бежит без оглядки через леса, окаймляющие Самбру, и даже переправляется через эту реку. Тогда Марсо собирает несколько батальонов и, не думая о беглецах, бросается в Ламбюзар, решившись скорее умереть, нежели уступить этот пункт, прилегающий к Самбре и составляющий необходимую опору крайнего правого фланга. Лефевр, стоявший в Ваше, Эпиньи и Ламбюзаре, отзывает свои аванпосты и перекидывает несколько полков в Ламбюзар, чтобы поддержать Марсо. Это место делается ядром сражения. Больё, заметив это, направляет туда еще и третью колонну. Журдан, не упуская из виду ни одной опасности, выставляет остальной резерв. Бой вокруг деревни Ламбюзар отличается необычайным ожесточением. Пальба до того часта, что уже нельзя различить отдельных выстрелов. Хлеба и деревянные постройки загораются, и битва продолжается среди пожара. Наконец Ламбюзар окончательно остается во власти республиканцев.

Таким образом, французы, сначала побитые, успели одержать успех на всех пунктах. Клебер прикрыл Самбру на левом фланге, Морло, отступив в Госли, держался там;

Шампионне снова взял Эпиньи, и яростный бой при Ламбюзаре обеспечил французам обладание этой позицией. День клонился к концу, когда Больё узнал то, о чем принц Оранский узнал раньше его, — что Шарлеруа принадлежит французам. Тогда Кобург, не смея более

настаивать, отдал приказ к общему отступлению.

Таков краткий отчет об этой решительной битве, одной из самых ожесточенных в эту кампанию, происходившей на полукруге в десять лье, между двумя армиями, каждая приблизительно в 80 тысяч человек. Хотя деревня Флёрюс сыграла в этой битве второстепенную роль, ее называли Битвой при Флёрюсе, потому что герцог Люксембургский прославил это место еще при Людовике XIV. Хотя результаты битвы на самом месте были незначительны, но эта битва заставила австрийцев решиться на отступление и стала причиной множества событий. Австрийцы не могли дать второй битвы. Им нужно было бы присоединиться или к герцогу Йоркскому, или к Клерфэ, а эти два генерала были заняты борьбой с Пишегрю на севере. Притом им грозила опасность на Маасе, и они должны были отступить, чтобы не пострадали их сообщения. С этой минуты отступление союзников стало всеобщим, и они решились стянуть свои силы около Брюсселя, чтобы защитити хотя бы этот город.

Исход кампании был уже решен, но Комитет общественного спасения совершил ошибку, которая помешала достичь таких быстрых и решительных результатов, на какие можно было рассчитывать. Пишегрю составил превосходный план, это была лучшая из мыслей, приходивших ему в голову. Герцог Йоркский был на Шельде, на высоте Турне, Клерфэ находился очень далеко оттуда, в Тилте, во Фландрии. Пишегрю, упорствуя в своем намерении уничтожить сначала Клерфэ, хотел перейти Шельду при Ауденарде, отрезать его таким образом от герцога Йоркского и атаковать еще раз. Потом, когда герцог Йоркский собрался бы присоединиться к Кобургу, Пишегрю хотел побить и его, а затем наконец напасть на Кобурга с тыла или присоединиться к Журдану. Этот план, кроме той выгоды, что Клерфэ и герцог Йоркский были бы разбиты порознь, представлял еще другую выгоду, приближая все французские силы к Маасу. Но он не состоялся вследствие одной весьма глупой мысли Комитета общественного спасения. Кто-то уговорил Карно послать адмирала Вен Стабеля с десантными войсками на остров Валхерен, чтобы возмутить Голландию. Карно предписал армии Пишегрю идти вдоль берега океана и завладеть всеми портами Западной Фландрии; кроме того, он приказал Журдану отрядить от

своей армии к морю 16 тысяч человек. В особенности этот последний приказ был крайне неразумен и опасен. Генералы доказали Сен-Жюсту всю нелепость этого плана, и он не был исполнен, но Пишегрю все-таки пришлось двинуться к морю и брать Брюгге и Остенде, пока Моро брал Ньивпорт.

На обоих флангах тоже продолжались движения. Пишегрю предоставил Моро с частью армии заняться осадой Ньивпорта и Леклюза, а сам с остальной частью взял Брюгге, Остенде и Гент. Потом он пошел на Брюссель. Журдан шел туда же со своей стороны. Произошли арьергардные стычки, и наконец 10 июля (22 мессидора) французский арьергард вступил в столицу Нидерландов. Несколько дней спустя в Брюсселе произошло соединение двух армий – Самбры-и-Мааса и Северной. Это было в высшей степени важное событие: 150 тысяч французских солдат, сосредоточенные в столице Нидерландов, могли с этой точки нагрянуть на неприятельские армии, которые, побитые всюду, старались выбраться кто к морю, кто к Рейну.

Тотчас же начались осады четырех городов – Конде, Ландреси, Ле-Кенуа и Валансьена, – взятых в прошлую кампанию союзниками, и Конвент декретом повелел вырезать гарнизоны этих городов, если они не сдадутся тотчас же. Перед тем вышел еще один декрет: не брать англичан в плен, а убивать – в наказание за все злодеяния Питта относительно Франции. Французские солдаты не стали исполнять этого декрета. Один сержант взял в плен нескольких англичан и привел их к офицеру.

– Зачем ты их захватил? – сказал ему офицер.

– Затем, что нам пришлось делать меньше выстрелов, – отвечал сержант.

– Да ведь комиссары принудят нас расстрелять их.

– Только уж не мы будем их расстреливать, – объявил сержант. – Пошлите их к комиссарам, и если они такие варвары, пусть сами убьют их и хоть съедят, если им нравится!

Итак, союзники предоставили Нидерланды французам. Со всех сторон славили такую изумительную удачу. Но эти успехи не радовали Робеспьера, так как они улучшали репутацию комитета, в особенности

Карно, которому, надо сказать правду, одному приписывались блистательные результаты кампании. Всякая полезная мера, принимаемая комитетом в отсутствие Робеспьера, всякое приращение к славе комитета говорили против Робеспьера, тогда как поражение в эту минуту принесло бы ему пользу, снова разжигая революционную ярость. Поражение дало бы ему возможность обвинить комитеты в бездействии или измене, оправдать свое выступление и удаление, продолжавшееся уже четыре декады, дало бы высокое понятие о его прозорливости и возвело его на высшую степень могущества.

Робеспьер поставил себя в печальнейшее из положений – оказался перед необходимостью желать поражения. А всё доказывает, что он действительно желал его. Он, конечно, не говорил этого и не давал повода это заметить. Но это желание против его воли сквозило в его речах; он старался, когда говорил у якобинцев, охладить восторг, возбуждаемый победами Республики; он разными инсинуациями давал почувствовать, что союзники отступают сейчас, как отступали перед Дюмурье, – лишь с тем, чтобы скоро возвратиться; что, отходя от границ, они только хотят предать французов их собственным страстям. Он добавлял: «Не над неприятельскими армиями всего больше следует добиваться победы. Настоящая победа – это победа друзей свободы над фракциями, только эта победа водворяет утраченный мир, правосудие и счастье. Нация еще прославит себя тем, что низвергнет тиранов или поработит другие народы. Такова была судьба римлян и нескольких других наций; наша судьба, несравненно более высокая, заключается в том, чтобы основать на земле царство мудрости, справедливости и добродетели» (заседание якобинцев, 9 июля (21 мессидора)).

Робеспьер не показывался в комитете с последних дней прериала. Стояли первые дни термидора, стало быть, прошло около сорока дней, с тех пор как он отделился от своих товарищей: пора было на что-нибудь решиться. Его приверженцы громко говорили, что нужно повторение 31 мая: Дюма, Анрио, Пайен и другие убеждали его скорее подать сигнал к восстанию. Робеспьер не имел такой природной склонности к насильственным средствам и не мог разделять их грубого нетерпения. Привыкший управлять словом, притом уважая законы, он предпочел попытаться достичь своей цели речью, в которой собирался обличить комитеты и требовать обновления их личного состава. Удайся ему эта

мирная попытка – он сделался бы безусловным хозяином, без опасности переворота. А в случае неудачи всегда можно было прибегнуть к насильственным мерам. Робеспьер решил поступить именно так, так было поступлено перед 31 мая: сначала заставить якобинцев подать петицию, потом произнести длинную речь, и наконец выставить Сен-Жюста с докладом. Если бы все эти средства оказались недостаточными – у него были в запасе якобинцы, коммуны и парижское войско. Но он твердо надеялся не доводить до повторения сцены 2 июня. Он еще слишком уважал Конвент и был слишком несмел он природы, чтобы желать чего-нибудь подобного.

С некоторого времени Робеспьер работал над пространной речью, в которой шаг за шагом «разоблачал» все злоупотребления правительства и всё, в чем обвиняли его, сваливал на своих товарищей. Он выписал Сен-Жюста из армии, удержал своего брата, которому следовало бы отправиться на границу Италии, стал каждый день являться в Клуб якобинцев и подготовил всё к атаке.

Как это всегда бывает в критических положениях, несколько отдельных случаев еще усилили общее волнение. Некто Маженти подал нелепую петицию о смертной казни против тех, кто позволит себе всуе упоминать имя Бога. Наконец, один из революционных комитетов посадил в качестве подозрительных нескольких напившихся рабочих. Эти два случая подали повод к толкам не в пользу Робеспьера; подозревали, что он скоро начнет притеснять людей хуже католических попов и что того и гляди будет восстановлена инквизиция. Сознывая всю опасность подобных обвинений, Робеспьер поспешил сам обличить у якобинцев Маженти как аристократа, нанятого иностранцами, чтобы подорвать уважение к верованиям, принятым Конвентом; он даже настоял на предании его Революционному трибуналу. Наконец, пользуясь услугами своего полицейского бюро, Робеспьер распорядился арестовать всех членов революционного комитета Нераздельности.

Приближалась развязка, и членам Комитета общественного спасения, в особенности Бареру, хотелось помириться; но Робеспьер стал так требователен, что не было никакой возможности с ним поладить. Однажды вечером Барер, возвращаясь домой с одним из своих друзей, сказал ему: «Этот Робеспьер ненасытен! Пусть бы он требовал головы Тальена, Бурдона, Тюрио, Гюффруа, Ровера,

Лекуэнтра, Паниса, Барраса или Дюбуа-Крансе, всей дантонистской клики; так ведь нет, подавай ему Дюваля, Одуэна, Леонара Бурдона, Бадье, Булана! Невозможно согласиться!» Примирение становилось невозможно; надо было идти напролом и принять борьбу. Однако ни один из противников Робеспьера не посмел бы взять на себя почин в этом деле. Члены комитетов ждали от него обличения; обреченные на гибель монтаньяры ждали, чтобы он потребовал их голов, все хотели не нападать, а обороняться – и были правы. Гораздо лучше было дать Робеспьеру начать сражение и скомпрометировать себя в глазах Конвента своими кровавыми требованиями. Тогда они сразу становились людьми, защищающими свою жизнь и даже жизнь других, так как нельзя было предвидеть пределов убийств, если позволить еще хоть одно.

Всё было подготовлено, и первое движение началось у якобинцев 21 июля (3 термидора). В числе лиц, которым Робеспьер вполне доверял, был некто Сижас, состоявший при комиссии передвижения войск. Робеспьер и его партия были недовольны этой комиссией из-за того, что она выпроводила из Парижа один за другим множество канонирских отрядов и этим ослабила столичную армию. Однако он не смел упрекнуть ее в этом прямо. Сижас начал жаловаться на таинственность, которая будто бы сопровождает Пиля, руководителя этой комиссии, и всё, чего не смели говорить о Карно и Комитете общественного спасения, стали говорить о Пиле. Сижас доказывал, что остается одно только средство: обратиться к Конвенту с докладом против Пиле.

Другой якобинец принялся обличать одного из агентов Комитета общественной безопасности. Тогда заговорил Кутон. Он сказал, что надо брать выше и подать Конвенту адрес обо всех махинациях, снова угрожающих свободе. «Приглашаю вас, – сказал он, – представить Конвенту ваши соображения. Он непорочен, он не подчинится четырем или пяти злодеям. Что до меня, заявляю, что не подчинюсь им». Предложение Кутона было немедленно принято. Петицию тут же написали, она была одобрена 23 июля (5 термидора) и подана в Конвент.

Слог этой петиции был, как всегда, почтителен по форме, но

повелителен в сущности. В ней говорилось, что якобинцы решились излить Конвенту озабоченность народа, повторялись неизменные витиеватые сетования против иноземцев и их сообщников, против системы снисхождения, против опасений, умышленно распускаемых с целью разъединить национальное представительство и прочее. Точных выводов не делали, но в общих выражениях утверждали: «Вы заставите трепетать изменников, плутов, интриганов; успокоите порядочных людей; поддержите согласие, в котором ваша сила; сохраните во всей его чистоте вероисповедание, служителем которого является каждый гражданин, а единственным обрядом стала добродетель. И народ, доверяясь вам, будет уважать и защищать своих представителей всегда». Нельзя было яснее сказать: вы сделаете всё, что предпишет вам Робеспьер, иначе не ждите ни уважения, ни защиты.

Петиция эта была выслушана в мрачном молчании и осталась без всякого ответа. Но по окончании чтения взошел на кафедру Дюбуа-Крансе и, не говоря ни о петиции, ни о якобинцах, стал жаловаться на бесконечные доносы и неприятности, которым он подвергается уже полгода, и на несправедливость, которой ему отплатили за его услуги отечеству. Затем он попросил Конвент поручить Комитету общественного спасения представить о нем доклад, хотя в этом комитете, прибавил он, находятся два его врага.

Конвент согласился на его просьбу, не сделав ни одного замечания, ни словом не нарушая гробового молчания. Барер занял место Дюбуа-Крансе на кафедре и прочел пространный доклад о сравнительном состоянии Франции в июле 1793-го и в июле 1794 года. Разница, несомненно, была громадной, и, сравнивая Францию, терзаемую одновременно роялизмом, федерализмом и войной с иноземцами, с Францией, побеждающей на всех границах и владеющей Нидерландами, нельзя было не принести благодарности правительству, совершившему такую перемену в течение одного года. Эти похвалы комитету были единственным оружием, которым Барер осмеливался, хоть и косвенно, нападать на Робеспьера; впрочем, он формально хвалил его в своем докладе. По поводу глухого волнения, преобладающего в последнее время, и неосторожных возгласов некоторых агитаторов, требовавших нового 31 мая, Барер заявил, что «представитель, пользующийся репутацией патриота, заслуженной пятилетними трудами, своими

несокрушимыми правилами и преданностью идее независимости и свободы, с жаром опроверг эти контрреволюционные толки». Конвент выслушал и этот доклад и молча разошелся, ожидая какого-нибудь важного события. Депутаты безмолвно переглядывались и не смели объясниться или задать друг другу вопросы.

На следующий день, 26 июля (8 термидора), Робеспьер наконец решился произнести свою речь. Все его агенты находились в готовности, ждали Сен-Жюста. Робеспьера слушали в гробовом молчании.

«Граждане, – начинает он, – пусть другие рисуют вам приятные картины, я же намерен высказать полезные истины. Я не желаю оправдывать опасений, распространяемых коварством; напротив, хочу потушить, если это будет возможно, факел раздора одной силой истины. Я буду защищать перед вами вашу же оскорбленную власть и нарушенную свободу. Я буду защищать себя сам: вы этому не удивитесь». Затем Робеспьер представляет картину волнений, господствовавших с некоторого времени, опасений, распущенных в народе, замыслов против Конвента, приписываемых комитету и ему. «Мы! – восклицает он. – Чтобы мы напали на Конвент?! Да что же мы такое без него? Кто защищал его с опасностью для собственной жизни? Кто жертвовал собою, чтобы вырвать его из рук крамольников?» После стольких доказательств своей преданности он удивляется, как могли разойтись зловещие слухи. «Правда ли, – спрашивает он, – что по рукам ходят гнусные списки, в которых обозначено в качестве жертв известное число членов Конвента, и что эти списки выдаются за дело комитета и мое? Правда ли, что некоторые осмелились выдумать несуществующие заседания комитета, свирепые постановления и аресты, также вымышленные? Правда ли, что некоторых безукоризненных представителей старались уверить, будто их гибель – решенное дело? Правда ли, что вся эта ложь распущена с такой ловкостью и смелостью, что множество представителей не ночуют у себя дома? Да, это всё факты достоверные, и у Комитета общественного спасения имеются доказательства».

Затем Робеспьер жалуется на то, что обвинения, сначала возводимые на комитеты в целом, теперь легли на него одного. Он упоминает, что на него сваливали всё, что правительство делало

дурного. Если задерживали патриотов вместо аристократов, говорили: «Так хочет Робеспьер». Если казнили патриотов, говорили: «Так велел Робеспьер». Если многочисленные агенты Комитета общественной безопасности грабили и притесняли людей, говорили: «Их посылает Робеспьер». Его обозвали тираном! За что же? За то, что он приобрел некоторое влияние, всегда говоря правду. «Кто я такой, я, которого обвиняют? – восклицает Робеспьер. – Раб свободы, живой мученик Республики, жертва столько же, сколько и враг порока. Человек оклеветан, лишь только он знаком со мною; из моего усердия делают преступление. Я несчастнейший из людей; я не пользуюсь даже правами гражданина. Что я говорю! Мне даже не дозволяется исполнять обязанности представителя народа!»

Защищаясь такими привычными хитросплетенными и пространными фразами, Робеспьер впервые встречает в Конвенте мрачное безмолвие и почти скуку, вызванную длиной его речи. Наконец он добирается до сути вопроса: он начинает обвинять. Перебирая правительство, Робеспьер сначала критикует финансовую систему. Он, автор закона от 22 прериаля, с глубоким пренебрежением распространяется насчет закона о пожизненных рентах; он не обходит своими нападка даже максимум и говорит, что Конвент склонили к насильственным мерам интриганы. Потом он переходит к войне; презрительно отзывается о победах, «которые описывают вам с академической легкостью, точно они не стоили ни крови, ни труда». «Надзирайте за победой, – говорит он, – надзирайте за Бельгией. Ваши враги удаляются и предоставляют вас внутренним раздорам; военная аристократия пользуется протекцией; верные Республике генералы подвергаются гонениям; военная администрация забирает себе подозрительную власть. Эти истины стоят эпиграмм». Робеспьер не упоминает о Карно и Барере, предоставляя Сен-Жюсту обличать нравы Карно.

Потом он распространяется о Комитете общественной безопасности, о множестве его агентов, об их жестокостях и хищничестве; он обличает Амара и Жаго как людей, захвативших всю власть в полиции и делающих всё, чтобы пустить дурную славу о революционном правительстве. Он жалуется на насмешки по поводу Катрин Тео и утверждает, что это только нарочно выставляли

вымышленный заговор, чтобы скрыть настоящий. Во всем существующем он не находит ничего хорошего, кроме самого революционного правительства, да и то только в принципе, а не в осуществлении. Принцип принадлежит ему; но враги искажают его.

Робеспьер заканчивает свою речь следующим кратким повторением: «Положим, что существует заговор против общественной свободы; что он обязан своей силой преступной коалиции, интригующей в недрах самого Конвента; что эта коалиция имеет сообщников в Комитете общественной безопасности и подведомственных ему учреждениях; что враги Республики противопоставили этот комитет Комитету общественного спасения и таким образом установили два правительства; что некоторые члены Комитета общественного спасения участвуют в этом заговоре и составленная таким образом коалиция старается погубить патриотов и отечество. Каково же средство против этого зла? Наказать изменников, обновить личный состав учреждений, подведомственных Комитету общественной безопасности, очистить состав и самого этого комитета и подчинить его Комитету общественного спасения, образовать правительство под верховной властью Национального конвента, который есть центр и судья, и подавить таким образом все фракции тяжестью национальной власти, дабы воздвигнуть на их развалинах могущество правосудия и свободы. Таковы принципы. Если нет возможности поставить их на вид, не прослав честолубцем, я выведу заключение из этого, что между нами господствует тирания, но отнюдь не что я должен молчать. Ибо что можно сказать против человека, который прав и сумеет умереть за свое отечество? Я создан для того, чтобы бороться против порока, а не управлять им. Еще не пришло время, когда порядочным людям можно служить отечеству безнаказанно».

Робеспьер начал свою речь среди глубокого молчания, среди такого же молчания он и закончил ее. Депутаты, столь, бывало, предупредительные, сделались ледяными; все лица стали непроницаемы. Понемногу какой-то глухой гул поднялся в собрании, но никто еще не решался говорить. Лекуэнтр, один из самых энергичных врагов Робеспьера, выступил первым, но лишь для того, чтобы требовать напечатания речи. Бурдон, депутат Уазы, осмелился

высказаться против напечатания на том основании, что эта речь заключает в себе слишком важные вопросы, и предложил отослать ее обоим комитетам.

Барер, всегда осторожный, поддержал предложение о напечатании, исходя из того, что «в свободной стране надо печатать всё». Кутон выскочил на кафедру в негодовании, что вместо порыва восторга вышел холодный спор, и требовал не только напечатания речи, но и рассылки ее всем общинам и армиям. Он говорил, что ощущает потребность излить свое уязвленное сердце, ибо с некоторых пор самые верные народному делу депутаты только и встречаются, что неприятности; их обвиняют в пролитии крови, однако же если бы он мог думать, что способствовал гибели хотя бы одного невинного, то лишил бы себя жизни с отчаяния. Слова Кутона пробудили в собрании последние остатки покорности: решают напечатать речь и разослать ее всем муниципалитетам.

Противники Робеспьера почувствовали, что могут остаться ни с чем. Бадье, Камбон, Бийо-Варенн, Панис и Амар требуют слова, чтобы ответить на обвинения. Опасность возбуждает в них мужество – начинается борьба. Все хотят говорить разом, и приходится установить очередь. Вадье первым допущен к кафедре. Он оправдывает Комитет общественной безопасности и утверждает, что доклад о Катерине Тео имел целью разоблачить глубокий заговор, причем у него в руках есть документы, доказывающие важность и опасность этого заговора. Камбон оправдывает свои финансовые законы и упоминает о том, что его честность признается всеми, несмотря на наличие стольких искушений, которым подвержена его должность. Он говорит со своей обычной пылкостью, доказывает, что одни только биржевики могли пострадать от его финансовых приемов, и, наконец выходя из пределов соблюдаемой доселе умеренности, восклицает: «Пора сказать всю правду! Меня ли следует обвинять в захвате чего бы то ни было? Человек, захвативший всё, человек, парализовавший вашу волю, – это Робеспьер!»

Такая запальчивость озадачивает Робеспьера: он возражает, что никогда не вмешивался в вопросы финансов и, нападая на планы Камбона, не имел в виду нападать на его намерения. Однако он только что обозвал его плутом.

Бийо-Варенн, не менее грозный, говорит, что хочет вывести кое-кого на чистую воду; он напоминает об удалении Робеспьера из комитетов, о перемещении канонирских команд, присовокупляет, что сорвет все маски и пусть лучше его труп послужит ступенькой честолюбцу, нежели он станет потакать своим молчанием его посягательствам. Он требует отмены декрета о напечатании речи Робеспьера.

Панис жалуется на беспрестанную клевету Робеспьера, который хотел выдать его за виновника сентябрьских событий. Он требует, чтобы Робеспьер и Кутон высказались в точности, казни каких это пяти или шести депутатов они уже целый месяц не перестают требовать у якобинцев. Это требование тотчас подхватывается со всех сторон. Робеспьер, запинаясь, отвечает, что пришел разоблачать злоупотребления, а не чтобы оправдывать или обвинять того или другого.

– Имена! Назовите имена! – кричат ему.

Робеспьер опять уклоняется, говорит, что, имея мужество высказывать Конвенту вещи, по его мнению, полезные, он не думал, чтобы... Его опять прерывают. Шарлье кричит ему:

– Вы, рисующийся мужеством добродетели! Имейте же мужество сказать правду. Назовите имена!

Смятение усиливается. Конвент возвращается к вопросу о напечатании речи. Амар настаивает на отсылке ее комитетам. Барер, заметив, что выгоднее будет стать на его сторону, как бы извиняется в том, что требовал противного. Наконец Конвент отменяет свое же решение и объявляет, что речь Робеспьера будет не напечатана, а отослана комитетам на рассмотрение.

Это заседание стало истинно необычайным событием. Депутаты, обыкновенно столь покорные, расхрабрились. Робеспьер, всегда имевший лишь нахальство, а не настоящую смелость, был удивлен, раздосадован, смешался и оробел. Ему нужно было прийти в себя: он побежал к своим верным якобинцам, чтобы отвести душу с друзьями и позаимствовать у них бодрости.

Там уже знают о происшедшем. Едва Робеспьер появляется, его осыпают рукоплесканиями. Кутон следует за ним и получает свою долю

ований. Требуют чтения речи. Робеспьер повторяет ее всю, на что требуется два часа. Его ежеминутно прерывают крики и бешеные аплодисменты. Окончив речь, он присовокупляет к ней несколько скорбных слов: «Эта речь, – говорит он, – мое завещание; я это видел сегодня. Лига злодеев настолько сильна, что я не могу надеяться уйти от нее. Я паду без сожалений. Оставляю вам память обо мне: она будет вам дорога, и вы ее защитите». Ему кричат, что теперь не время бояться и отчаиваться, что, напротив, якобинцы отмстят за отца отечества всем злодеям.

Анрио, Дюма, Коффиналь, Пайен обступают Робеспьера и заявляют о своей готовности действовать. Анрио говорит, что знает дорогу в Конвент.

– Отличайте злодеев от малодушных, – отвечает им Робеспьер. – Избавьте Конвент от угнетающих его злодеев; окажите ему услугу, которой он ждет от вас, как 31 мая и 2 июня. Идите, спасите свободу, пока еще можно! Если, несмотря на все эти усилия, нам все-таки придется пасть, ну тогда, друзья, вы увидите, что я спокойно выпью цикуты.

– Робеспьер! – восклицает один депутат. – И я выпью с тобою!

Кутон предлагает новую очистительную баллотировку и требует немедленного исключения депутатов, подавших голос против Робеспьера; он имеет при себе их список и тотчас его предъявляет. Предложение это принимается среди страшного шума. Колло д'Эрбуа пытается возражать; свист и крик не дают ему говорить. Он напоминает о своих заслугах, о двух выстрелах, сделанных Анри Адмира; его осмеивают, ругают, сгоняют с кафедры. Все депутаты, указанные Кутоном, изгоняются, некоторые даже с побоями. Колло едва спасается от ножей, занесенных над ним. Общество в этот день было представлено людьми не слова, а дела, которые в минуты смут входят без билетов или с подложными билетами. Они не остановились бы даже перед убийством.

Национальный агент Пайен, человек решительный, предложил смелый план. Он советовал тотчас же отправляться и похитить всех заговорщиков: это было возможно, так как они вместе заседали в комитетах. Таким образом, борьба окончилась бы без столкновения, одним неожиданным ударом. Робеспьер этого не хотел: он не любил

такой быстроты в действиях и считал необходимым повторить процедуру 31 мая. Была уже подана торжественная петиция, Сен-Жюст, только что приехавший, должен был на следующее утро представить доклад; потом опять должен был говорить Робеспьер, и если всё это не удастся, тогда народные власти, заседающие в коммуне и поддерживаемые вооруженной силой секций, объявят, что народ опять вступает в свои державные права, и явятся в Конвент, чтобы избавить его от злодеев, вводящих его в заблуждение.

Собрание разошлось, порешив на том, что Робеспьер на следующий день будет в Конвенте, якобинцы – в своей зале, муниципальные чиновники – в коммуне, а Анрио – во главе секций. Рассчитывали еще на молодежь из Военной школы, начальник которой был предан коммуне.

Таков был этот знаменитый день 8 термидора, известный как последний день террора. И в этот день революционная машина еще не прекратила свою работу. Трибунал заседал, положенное число жертв погибло на эшафоте. В числе их были два знаменитых поэта: Руше, автор поэмы «Месяцы», и молодой Андре Шенье, оставивший прелестные вещи, много обещавшие. Франция всегда будет оплакивать его наравне со всеми даровитыми людьми, загубленными эшафотом и войной. Поэты утешали друг друга на роковой телеге, повторяя стихи из Расина. Андре, всходя на эшафот, испустил горький возглас: «Умереть таким молодым! А ведь тут было кое-что!» И он ударил себя по лбу.

В последовавшую затем ночь волнение стало всеобщим, и каждый собирался с силами. Оба комитета совещались о крупных событиях истекшего дня, а также о завтрашних. То, что произошло у якобинцев, доказывало, что мэр и Анрио будут поддерживать триумвиров и завтра придется бороться против всех сил коммуны. Арестовать этих двух зачинщиков было бы благоразумнее всего, но комитеты всё еще колебались. Они видели, что если Конвент окажется достаточно сильным, чтобы победить Робеспьера, то вступит во все свои права, они же, если и избавятся от опасного соперника, лишатся диктатуры. Поладить с ним, без сомнения, было бы лучше, но стало уже слишком поздно.

Робеспьер, конечно, не появился после заседания у якобинцев. Сен-

Жюст наблюдал за якобинцами и молчал. Его спросили о докладе, порученном ему при последнем свидании; он ответил, что не может разглашать его. Его просили сообщить по крайней мере заключение, к которому он пришел. Он отказал и в этом. В эту минуту вошел Колло, взбешенный сценой, только что происшедшей у якобинцев.

– Что творится у якобинцев? – спрашивает его Сен-Жюст.

– Ты еще спрашиваешь?! – гневно возражает Колло. – Точно ты не сообщник Робеспьера! Точно вы не вместе составили все ваши планы! Вижу: вы образовали гнусный триумвират, вы хотите нас убить; но если мы погибнем, вы недолго будете наслаждаться плодами ваших злодеяний! – Тут он запальчиво подходит к Сен-Жюсту и продолжает: – Ты хочешь завтра утром донести на нас; у тебя карманы полны записок против нас – так показывай их!

Сен-Жюст выворачивает карманы, уверяя, что у него нет никаких записок. Другие члены успокаивают Колло и требуют у Сен-Жюста, чтобы он пришел в одиннадцать часов и сообщил комитету свой доклад, прежде чем прочтет его в Конвенте. Комитеты, перед тем как разойтись, договариваются требовать у Конвента отставки Анрио и объяснений мэра и национального агента.

Сен-Жюст поспешил домой писать свой доклад и обличил в нем с большей краткостью и силой, нежели Робеспьер, поступки комитетов, захват ими власти, надменность Бийо-Варенна, фальшивые маневры Карно. Этот рапорт был так же коварен, как речь Робеспьера, но в сто раз ловчее. Сен-Жюст решил прочесть его в Конвенте, не показывая комитетам.

Пока заговорщики пробовали договориться, монтаньяры, до сих пор сообщавшие друг другу свои опасения, но ничего не решившие, обещали друг другу назавтра напасть на Робеспьера и, если это будет возможно, добиться его обвинения и ареста. Для этого им требовалось содействие депутатов Равнины, которых они столько раз стращали, тогда как Робеспьер, разыгрывая роль миротворца, когда-то защищал их. Следовательно, монтаньяры имели не много шансов надеяться на это содействие, однако они отправились к Буасси д'Англа, Дюрану де Майяну и Палану де Шампо; все трое были прежде членами Учредительного собрания, и их пример должен был заставить решиться остальных. Им сообщили, что на них ляжет ответственность за всю

кровь, какую еще прольет Робеспьер, если они не согласятся подать против него голос. Два раза монтаньяры получили отпор и только на третий слышали требуемое обещание. Всё утро 27 июля (9 термидора) прошло в хлопотах и беготне. Тальен обещал начать атаку и только просил, чтобы другие не оробели и поддержали его.

Каждый поспешил на свое место. Мэр Флерио и национальный агент Пайен сидели в коммуне, Анрио со своими адъютантами разъезжал по парижским улицам. Депутаты явились в Конвент гораздо раньше обычного часа. Они шумно расхаживали по коридорам, и монтаньяры оживленно уговаривали всех поддержать борьбу. Было половина двенадцатого. Тальен, стоявший у одной из дверей залы, разговаривал с несколькими товарищами, когда увидел вошедшего Сен-Жюста, который прямо направился к кафедре. «Пора, – сказал он, – войдем!» Другие последовали за ним, скамьи заполнились, и собрание безмолвно ожидало начала последующей сцены, одной из самых грозных, из разыгранных во всё время бурной Первой республики.

Сен-Жюст, не исполнивший слова, данного товарищам, и не прочитавший им свой доклад, стоит на кафедре. Оба Робеспьера, Леба и Кутон сидят рядом. Колло д'Эрбуа занимает президентское кресло. Сен-Жюст заявляет, что ему поручено составить доклад, и получает слово. Он начинает с того, что не принадлежит ни одной фракции, а исключительно только правде, что кафедра для него, как для многих других, может стать Тарпейской скалой^[16], но он всё равно выскажет свое мнение о вспыхнувших несогласиях. Тальен едва дает ему договорить первую фразу, как уже просит слова для предложения, касающегося порядка, и получает слово. «Республика, – говорит он, – находится в самом бедственном состоянии, и ни один добрый гражданин не может воздержаться от слез по ней. Вчера один член правительства отделился и донес на своих товарищей; сегодня другой явился сюда с тем, чтобы сделать то же. Довольно растравлять наши язвы! Я требую, чтобы завеса, наконец, была сорвана!»

На эти слова отвечают громкие и продолжительные рукоплескания. Это – предзнаменование падения триумвиров. Бийо-Варенн, завладевший кафедрой после Тальена, говорит, что якобинцы вчера устроили мятежное заседание, на которое были призваны убийцы,

заявившие о своем намерении перерезать членов Конвента. Обнаруживается общее негодование. «Я вижу теперь на трибунах, – продолжает Бийо-Варенн, – одного из тех людей, которые вчера угрожали честным депутатам. Схватить его!» Указанного человека тотчас же хватают и передают жандармам. Бийо утверждает затем, что Сен-Жюст не имеет права говорить от имени комитетов, потому что не прочел им своего доклада; что настало время для Конвента не бояться, иначе он погибнет. «Нет! Нет! – кричат депутаты, размахивая шляпами. – Конвент не будет бояться и не погибнет!»

Требуя слова Леба, но Бийо не уступает ему, и тот волнуется, шумит, добиваясь слова. По требованию депутатов президент призывает его к порядку, но Леба продолжает настаивать. «В Аббатство мятежника!» – кричат несколько монтаньяров. Между тем Бийо продолжает и, бросив всякую сдержанность, говорит, что Робеспьер всегда старался властвовать над комитетами; удалился, когда они восстали против его закона от 22 прериаля; хотел спасти дворянина Лавалетта, заговорщика, действовавшего в Лилле, и не допустил ареста Анрио, сообщника Эбера; что, кроме того, он не допустил ареста секретаря комитета, укравшего 114 тысяч франков, и через свое полицейское бюро арестовал лучший революционный комитет в Париже; что он всегда и во всем исполнял лишь свою волю и хотел сделаться безусловным владыкой всего. Бийо присовокупляет, что мог бы привести еще много других фактов, но достаточно будет сказать, что вчера агенты Робеспьера в Клубе якобинцев – Дюма, Коффиналь и другие – брались вырезать часть Национального конвента.

Пока Бийо перечисляет преступления, в собрании то и дело происходит движение негодования, а Робеспьер, помертвевший от бешенства, встает со своего места и поднимается на ступени кафедры. Он стоит позади Бийо и неистово требует слова.

– Долой тирана! Долой тирана! – раздается со всех концов залы. Дважды повторяется этот грозный крик: собрание наконец осмелилось дать тирану подобающее ему имя. Пока Робеспьер настаивает, на кафедру вбегает Тальен, требует слова и получает его.

– Сию минуту, – говорит он, – я требовал, чтобы завеса была окончательно сорвана. И я вижу, что это уже сделано. Заговорщики разоблачены. Я знал, что моей голове грозила опасность, и – молчал. Но

вчера я присутствовал на заседании якобинцев и видел, как образовался отряд нового Кромвеля. Я содрогнулся за родину и вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь, если у Конвента не хватит храбрости издать против него обвинительный декрет!

Тальен показывает кинжал, и собрание встречает его рукоплесканиями. Тогда Тальен предлагает арестовать вождя заговорщиков Анрио. Бийо предлагает арестовать заодно Дюма и некоего Буланже, яростно выступавшего накануне у якобинцев. В ту же минуту принимается соответствующий декрет.

Барер желает выступить с предложениями от комитета, выработанными прошлой ночью. Робеспьер, не сходящий с кафедры, пользуется этим перерывом, чтобы еще раз потребовать слова. Его противники заранее решили не допускать его выступления, чтобы его голос не пробудил в собрании остатки страха или раболепства. С самой вершины Горы они поднимают шум и крик. «Долой! Долой тирана!» – режут они в то время, как Робеспьер обращается то к президенту, то к собранию. Бареру дают слово, не обращая внимания на Робеспьера. Говорят, что этот человек, который из тщеславия захотел играть главную роль, а теперь по малодушию трусил, приготовил и принес с собой две речи: одну – за Робеспьера, другую – за комитеты. Он пересказал предложение, составленное ночью, – об отмене должности главнокомандующего, о восстановлении закона, в силу которого каждый начальник легиона по очереди получает командование над вооруженными силами Парижа, и, наконец, о возложении на мэра и национального агента ответственности за спокойствие столицы. Этот декрет немедленно принимается, и один из приставов отправляется сообщить его коммуне, подвергаясь при этом величайшим опасностям.

По принятии декрета, предложенного Барером, опять начинается перечисление вин Робеспьера; каждый упрекает его в чем-нибудь. Тальен, потеряв терпение, снова всходит на кафедру и говорит, что надо возвратиться к настоящей сути вопроса. В самом деле, Конвент издал декрет об арестах и обозвал Робеспьера, но никакого решения еще не принял. Тальен замечает, что не следует останавливаться на мелких подробностях жизни тирана, а следует выставить полное его изображение. Он принимается рисовать точный портрет этого ратора, трусливого, медлительного и кровожадного... Робеспьер, задыхаясь от

бешенства, прерывает его яростными воплями. Луше восклицает:

– Надо покончить с этим: арестовать Робеспьера!

Лозо прибавляет:

– Под суд обвинителя!

– Под суд! Под суд! – повторяет толпа.

Луше встает и, озираясь кругом, спрашивает, поддерживают ли его.

– Да! да! – отвечают ему сотни голосов.

Робеспьер-младший говорит, не оставляя своего места:

– Я причастен к злодеяниям моего брата; присоедините меня к нему!

На эту преданность едва обращают внимание.

– Арестовать! Арестовать! – раздается со всех сторон.

В эту минуту Робеспьер, всё время бросавшийся то от своего места к президентскому столу, то от стола к своему месту, опять подходит к президенту и просит слова. Но Тюрио, заменивший Колло д'Эрбуа, в ответ только звонит в колокольчик. Тогда Робеспьер обращается к Горе, но встречает там только холодных как лед бывших друзей или разъяренных врагов. Он переводит взоры свои на Равнину.

– К вам, – говорит он, – к вам обращаюсь, непорочные, доблестные мужи, а не к разбойникам!

Но и там от него отворачиваются и отвечают угрозами. Наконец Робеспьер еще раз бросается к президенту и кричит ему:

– В последний раз, президент убийц, прошу у тебя слова!

Последние слова он произносит задыхающимся голосом.

– Это кровь Дантона душит тебя, – говорит ему Гарнье, депутат Оба.

Дюваль, наскучив этой борьбой, встает со словами:

– Президент, долго ли еще этот человек будет хозяином в Конвенте?

– Как, однако, трудно повалить тирана! – восклицает Фрерон.

– Голосовать! Голосовать! – кричит Лозо.

Наконец начинается голосование, и декрет об аресте принимается. В ту же минуту все встают, и гремит общий крик:

– Да здравствует свобода! Да здравствует Республика! Тиранов больше нет!

Множество депутатов встают и заявляют, что имели в виду также

арест сообщников Робеспьера – Сен-Жюста и Кутона. Эти имена тотчас же вписываются в декрет. Леба просит, чтоб включили и его: просьба исполняется – так же, как и просьба Робеспьера-младшего. Эти люди еще внушают такой страх, что приставы не осмеливаются заставить их стать перед решеткой. Заметив, что арестованные еще на своих местах, депутаты спрашивают, отчего они не перешли на места обвиненных. Президент отвечает, что приставы не смогли привести приказ в исполнение. Поднимается общий крик: «К решетке! К решетке!» Все пять обвиненных становятся перед решеткой, Робеспьер – снедаемый бешенством, Сен-Жюст – спокойный и презрительный, остальные трое – до крайности смущенные столь новым для них унижением. Наконец они очутились на том месте, на которое поставили Верньо, Бриссо, Петиона, Демулена, Дантона и еще столько своих товарищей, людей доблестных, даровитых, бесстрашных.

Было пять часов. Конвент ранее объявил заседание постоянным; но в эту минуту, одолеваемые усталостью, депутаты принимают опасное решение прервать заседание до семи, чтобы немного отдохнуть. Обвиненных отводят в Комитет общественной безопасности и подвергают допросу перед заключением в тюрьмы.

Пока в Конвенте совершались эти важные события, коммуна пребывала в состоянии ожидания. От Конвента явился пристав Курваль и сообщил декрет об аресте Анрио и призывании мэра в Конвент. Он был принят очень дурно, и когда потребовал расписки, мэр ответил ему: «В такой день, как сегодня, расписок не дают. Ступай в Конвент и скажи, что мы сумеем поддержать своих. И Робеспьеру скажи, чтобы не боялся, что мы тут». Потом мэр самым таинственным образом высказался перед общим советом о причине собрания: он говорил только о декрете, повелевавшем коммуне наблюдать за спокойствием в Париже, и напомнил о моментах, когда коммуна проявила великое мужество, весьма ясно намекая на 31 мая.

Национальный агент Пайен выступил вслед за мэром и предложил послать двух членов совета на площадь перед ратушей, где собралась громадная толпа, с поручением пригласить народ присоединиться к своим главам и спасти отечество. Затем был составлен адрес, в котором говорилось, что злодеи притесняют Робеспьера, добродетельного гражданина, автора декрета о Высшем существе и бессмертии души;

Сен-Жюста, апостола добродетели, прекратившего измены на Рейне и на севере; Кутона, доблестного гражданина, у которого только и есть, что сердце и голова, зато то и другое пылают патриотизмом. Постановили созвать секции и призвать их председателей для сообщения им приказаний. Была отправлена депутация к якобинцам, с приглашением прийти брататься с коммуной и просьбой прислать своих самых энергичных членов и побольше граждан и гражданок с трибун. Не произнося еще решительного слова восстание, коммуна принимала к тому все меры и открыто шла к этой цели. Она не знала об аресте пяти депутатов и потому еще соблюдала некоторую сдержанность.

Анрио в это время разъезжал верхом по улицам Парижа. Он начал будоражить народ, крича, что злодеи угнетают честных депутатов, что арестовали Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера. Негодяй был пьян, качался в седле и размахивал саблей как бесноватый. Сначала он отправился к Сент-Антуанскому предместью, поднимать рабочих, которые едва понимали, что он им говорил, притом что они уже начинали с жалостью смотреть на проезжавшие мимо каждый день телеги с новыми жертвами. К несчастью, Анрио встретил такие телеги. Узнав об аресте Робеспьера, народ окружил их и хотел вернуть. Анрио появился именно в эту минуту, разогнал толпу, и эта последняя казнь совершилась по его милости.

Потом он галопом возвратился в Люксембургский дворец и приказал жандармам собраться на площади перед зданием коммуны (ратуши). Он взял с собой отряд и поскакал вдоль набережных к площади Карусель, намереваясь освободить арестованных депутатов, всё еще находившихся в Комитете общественной безопасности. В этой бешеной скачке он сваливает с ног нескольких людей. Какой-то человек, шедший под руку с женой, кричит жандармам: «Арестуйте этого разбойника; он больше не начальник вам!» Один из адъютантов отвечает ему ударом сабли, а Анрио продолжает свой путь и сворачивает на улицу Сент-Оноре. Выехав на площадь Пале-Рояль, он вдруг видит Мерлена, депутата Тионвиля, и бросается к нему с криком: «Арестуйте этого мошенника! Он один из тех, кто преследует честных представителей!» Мерлена хватают и с руганью и побоями ведут на ближайшую гауптвахту.

Во дворе Манежа Анрио приказывает своей свите слезть с

лошадей, а сам хочет войти во дворец собрания. Гренадеры не пускают его и скрещивают перед ним штыки. В эту минуту выходит пристав со словами: «Жандармы, арестуйте этого бунтовщика! Так велит декрет Конвента!» Анрио сейчас же обступают, отбирают у него оружие, так же, как и у нескольких его адъютантов, и ведут их, связанными, в залу Комитета общественной безопасности, где они находят обоих Робеспьеров, Кутона, Сен-Жюста и Леба.

До сих пор для Конвента всё шло хорошо: его декреты, изданные твердо и смело, благополучно исполнялись. Но коммуна и якобинцы, еще не провозгласившие открыто восстание, теперь должны были выступить решительно и осуществить свой план переворота. К счастью, пока Конвент неосторожно прервал свое заседание, коммуна сделала то же, так что это время пропало одинаково для всех.

Совет снова собрался лишь в шесть часов. Когда возобновилось заседание, было уже известно об аресте Анрио и пяти депутатов. Совет вне себя объявляет, что восстает против угнетателей народа, которые хотят погубить защитников свободы, и велит ударить в набат в ратуше и во всех секциях. Он посылает по одному из своих членов в каждую секцию, чтобы вдохновить на восстание и уговорить прислать коммуне свои отряды, а затем приказывает жандармам запереть все заставы города, а привратникам всех тюрем – не принимать арестантов, кого бы им ни привели. Наконец, совет назначает исполнительный комитет из двенадцати членов, в том числе Пайена и Коффиналя, для управления восстанием и облакает этот комитет всеми державными правами народа.



Кутон

Между тем на площади перед ратушей уже собрались несколько отрядов, присланных секциями, несколько команд канониров и множество жандармов. Приступают к принятию присяги от начальников всех этих отрядов, а потом Коффиналь с несколькими сотнями человек отправляется в комитет освобождать арестантов.

В это время Робеспьера-старшего уже отправили в Люксембургскую тюрьму, Робеспьера-младшего в – Сен-Лазар, Кутона – в Пор-Либр, Сен-Жюста – в Экоссе, а Леба – в здание суда. Приказ, отданный коммуной, был исполнен в точности, и арестантов нигде не приняли. Полицейское начальство взяло их на свое попечение: их посадили в кареты и повезли в мэрию. Там Робеспьера бросились обнимать, заверять в преданности, клялись умереть за него и за всех честных депутатов. Тем временем Анрио один оставался в Комитете

общественной безопасности. Коффиналь, вице-президент якобинцев, явился туда с обнаженной саблей и несколькими отрядами, выгнал из залы всех членов и освободил

Анрио с его адъютантами. Анрио тотчас побежал на площадь Карусель, еще застал там своих лошадей, оседлал одну из них и с немалым присутствием духа объявил канонирам, что комитет оправдал его и возвратил начальство над войсками. Тогда его обступили, и он начал отдавать приказы о штурме Конвента и готовить осаду здания.

Было семь часов вечера. Конвент только еще собирался, чтобы возобновить прерванное заседание, а коммуна уже успела немало переделать. Она могла при некоторой смелости быстро пойти на Конвент и принудить его отменить свои декреты. Сверх того, коммуна рассчитывала на Военную школу, начальник которой, Ла Бретеш, был вполне предан ей.

Депутаты наконец собираются и с ужасом сообщают друг другу последние известия. Члены комитетов, неуверенные, испуганные, сходятся в небольшой зале рядом. Там они совещаются, не зная, на чем остановиться. Несколько депутатов сменяются на кафедре и рассказывают обо всем, что произошло в Париже за последние часы. Бурдон предлагает выйти всем собранием и показаться народу, чтобы вразумить его. Лежандр старается успокоить депутатов, уверяя, что он везде найдет верных и честных монтаньяров, которые защитят его, и вообще в эту критическую минуту выказывает мужество, которого не выказал против Робеспьера. Бийо всходит на кафедру и сообщает, что Анрио находится на площади Карусель; что он уговорил канониров обратить орудия против здания Конвента и сейчас начнет атаку. Колло д'Эрбуа тут же садится в президентское кресло, в которое, по расположению залы, должны попасть первые ядра, и говорит: «Представители, вот минута умереть на нашем посту. Злодеи вот-вот вторгнутся во дворец собрания». При этих словах все депутаты садятся на свои места и погружаются в торжественное молчание. Напротив, с трибун со страшным шумом разбегается толпа, оставляя за собой облако пыли. Конвент, покинутый всеми и убежденный, что пришел его последний час, но твердо решивший лучше умереть, чем терпеть нового Кромвеля, остается на своих местах. Поразительна власть обстоятельств

над духом людей! Эти самые люди, так долго и раболепно покорявшиеся напыщенному ритору, теперь с геройской твердостью ждут ядер из направленных против них орудий!

Приходят известия о том, что делается на площади Карусель. Анрио всё еще распоряжается там. «Вне закона! Поставить разбойников вне закона!» – раздаются в зале голоса. В ту же минуту составляется декрет, и несколько депутатов выходят с ним на площадь, чтобы обнародовать его.

Анрио, обманувший канониров, теперь убеждает стрелять по Конвенту. Но канониры колеблются. Депутаты кричат им: «Неужели вы себя опозорите?! Этот разбойник – вне закона!» Тогда канониры твердо отказываются повиноваться Анрио, который едва успевает ускакать в коммуну.

По миновании этой первой опасности Конвент объявляет вне закона депутатов, уклонившихся от повиновения его декретам, и всех членов коммуны, участвующих в восстании. Однако дело этим кончиться не могло. Хотя Анрио уже не было на площади Карусель, но бунтовщики еще находились в коммуне со всеми своими силами и еще могли произвести переворот. Надо было отклонить эту великую опасность, а Конвент совещался и ничего не предпринимал. В маленькой зале, где собрались комитеты и множество представителей, предложили назначить начальника вооруженных сил из членов собрания.

– Кого? – раздается вопрос.

– Барраса! – отвечает чей-то голос. – У него хватит мужества принять это назначение!

Вулан бросается к кафедре и предлагает назначить Барраса начальником вооруженных сил Парижа. Конвент принимает предложение, назначает Барраса, дает ему в помощники еще шестерых депутатов – Фрерона, Феррана, Ровера, Дельма, Болетти, Леонара Бурдона и Бурдона, депутата Уазы. К этому предложению один из членов собрания присовокупляет другое, не менее важное: назначить депутатов, которые отправились бы в секции вразумлять людей и просить вооруженной помощи.

Эта последняя мера была самой необходимой, потому что пора было заставить колеблющиеся и обманутые секции на что-нибудь

решиться.

Баррас спешит к уже собравшимся отрядам, чтобы сообщить им о своем назначении и разместить вокруг Конвента. Депутаты, посланные в секции, отправляются исполнить данное им поручение. В эту минуту большинство секций еще находится в нерешительности; весьма немногие держат сторону коммуны и Робеспьера. Каждому опротивела ужасная система, приписываемая ему, каждый желает события, которое избавило бы Францию от Робеспьера. Но страх еще сковывает всех. Никто не решается.

Коммуна, которой секции привыкли повиноваться, требует от них помощи, и некоторые, не смея ослушаться, посылают комиссаров. Не для того, чтобы поддержать восстание, а чтобы следить за событиями. Париж находится в страхе и неизвестности. Родственники узников, их друзья, все, кто страдает от существующих жестоких порядков, выходят из домов и, переходя от улицы к улице, приближаются к кварталам, где господствуют шум и волнение, и стараются получить хоть какие-то сведения.

Несчастные узники, видя из своих решетчатых окон такое движение и слыша сильный шум, догадывались, что происходит что-то необычайное, но трепетали при мысли о том, как бы в результате предстоящих событий их положение не ухудшилось еще больше. Однако уныние тюремщиков, слова, сказанные на ухо составителям списков, испуг, причиняемый такими сообщениями, – всё это отчасти рассеивало сомнения. Скоро из случайно пророненных слов выяснилось, что Робеспьер находится в опасности. Тогда узники, собираясь толпами, дали волю своей радости. Гнусные доносчики, дрожавшие за себя, отводили в сторону подозрительных, старались оправдывать себя, уверяли, что не они составляли списки казней. Некоторые признавали себя виновными, но уверяли, что исключили много имен. В своем страхе эти подлецы обвиняли один другого и сваливали друг на друга свой позор.

Депутаты, разосланные секциям, без большого труда одержали верх над темными личностями, присланными от коммуны. Секции, уже отправившие свои отряды к ратуше, отзывали их назад, другие отправляли свои к зданию собрания. Дворец этот уже был достаточно окружен. Баррас пришел доложить об этом Конвенту, а потом поспешил

занять место смененного к тому времени Ла Бретеша и привести Военную школу на помощь Конвенту.

Национальное представительство было теперь в безопасности. Появилась даже возможность идти на коммуну и принять на себя инициативу, которой та почему-то не принимала. Так и решили сделать. Леонар Бурдон во главе целой толпы двинулся к ратуше. «Иди! – сказал ему Тальен, занимавший президентское кресло. – Иди, и пусть солнце, когда взойдет, не найдет уже заговорщиков живыми!»

Бурдон по набережным прошел на площадь перед ратушей. Там еще оставалось множество жандармов, канониров и просто вооруженных граждан, присланных секциями. Один агент Комитета общественного спасения по имени Дюла оказывается настолько неустрашимым, что пробирается в их ряды и зачитывает декрет Конвента, которым члены коммуны объявляются вне закона. Уважение к этому собранию, именем которого в течение двух лет совершалось в стране всё, уважение к словам, закон и республика одерживают верх. Отряды разделяются: одни возвращаются домой, другие присоединяются к Бурдону – и площадь коммуны пустеет. Как те, кто собрались защищать ее, так и те, кто пришли захватить ее, рассеиваются по прилегающим улицам, чтобы занять все приступы к ратуше.

При водворившемся преувеличенном мнении о решимости заговорщиков почти полная их неподвижность в ратуше казалась до того загадочной, что страшно было к зданию даже подойти. Леонар Бурдон боялся даже того, что здание может быть заминировано. Однако ничуть не бывало. Собравшиеся просто совещались и спорили; предлагали писать к армиям и провинциям, но не знали, от чьего имени, и не смели ни на что решиться. Если бы

Робеспьер был человеком дела и отважно показался и пошел на Конвент, то положение депутатов стало бы весьма опасным. Но он был только ритором и к тому же чувствовал, что общественное мнение отвернулось от него. Настал конец ужасному владычеству. Всё повиновалось Конвенту, и объявление непокорных вне закона произвело волшебное действие. Будь Робеспьер даже одарен энергией, он упал бы духом от стечения обстоятельств, несравненно более сильного, чем всякая личная сила.

Декрет, объявляющий Робеспьера и его приверженцев вне закона,

действительно поразил всех как громом, когда весть о нем с площади проникла в ратушу. Пайен, получив декрет, прочел его вслух и с большим присутствием духа прибавил к списку лиц, объявленных вне закона, «народ, находящийся на трибунах», чего в тексте не было. Против его ожидания, народ в ужасе хлынул вон с трибун. Тогда глубочайшее уныние овладело заговорщиками. Анрио вышел на площадь, думая произнести перед канониками речь, но не нашел ни одного человека. Он выругался и воскликнул: «Как! Эти злодеи, которые спасли меня несколько часов назад, теперь меня же бросают?!» – и в бешенстве возвратился наверх с этим известием.

Заговорщики пришли в отчаяние: покинутые своими войсками, оцепленные войсками Конвента, они начинают винить и укорять друг друга. Коффиналь, энергичный человек, не встретивший надлежащей поддержки, выступает против Анрио и со словами: «Негодяй! Это ты нас погубил своей трусостью!» – бросается на него и вышвыривает из окна. Несчастный падает на кучу навоза, смягчившую падение, так что оно не оказалось смертельным. Леба стреляет в себя из пистолета; Робеспьер-младший выбрасывается из окна. Один Сен-Жюст остается спокоен и неподвижен, с оружием в руке, но не применяя его. Тут наконец Робеспьер решается покончить с собой и находит на это мужество в своем отчаянном положении: он спускает курок пистолета, но пуля, попав выше губы, только проходит через щеку и легко ранит его.

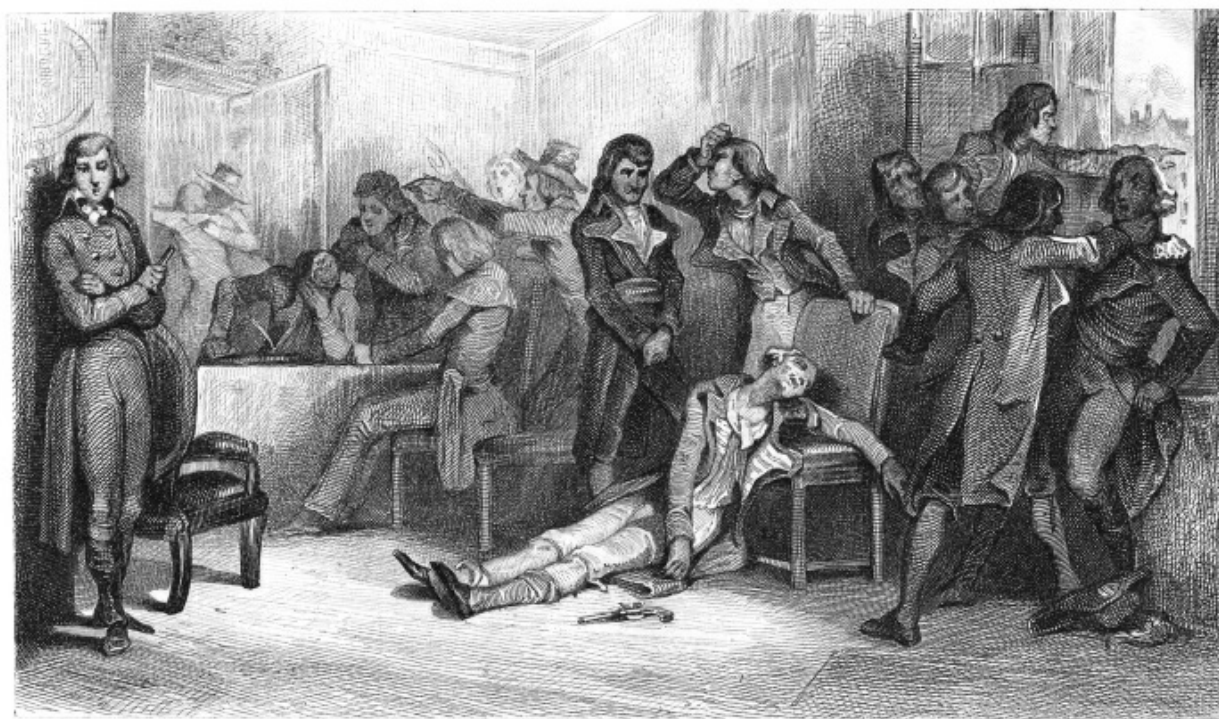
Между тем несколько смелых людей – упомянутый уже Дюла, жандарм Мерда и несколько других, – оставив Бурдона с отрядами на площади, поднимаются по лестнице, вооруженные саблями и пистолетами, и входят в залу совета в то самое мгновение, как раздаются два выстрела. Муниципальные чиновники хотят скинуть с себя шарфы, но Дюла грозит саблей первому, кто это сделает. Все остаются неподвижными. Немедленно схвачены Пайен, Флерио, Дюма, Коффиналь и другие; раненых уносят на носилках, и шествие с триумфом направляется в Конвент.

Победные крики раздаются вокруг залы и оглашают ее своды. Тогда крики «Да здравствует свобода! Да здравствует Конвент! Долой тиранов!» раздаются отовсюду. Президент произносит следующие слова:

– Представители! Робеспьер и его сообщники за дверями вашей залы. Желаете вы, чтобы их доставили сюда?

– Нет! Нет! – кричат множество голосов. – Казнить заговорщиков!

Робеспьера с остальными переводят в залу Комитета общественного спасения. Его кладут на стол и подпирают ему голову несколькими картонками. Он сохраняет полное присутствие духа и бесстрастный вид. На нем синий фрак – тот самый, что был в день празднества Высшего существа, – нанковые штаны и белые чулки, спустившиеся к щиколоткам. Кровь льется из раны, и Робеспьер утирает ее чехлом от пистолета. Ему время от времени подают клочки бумаги, и он утирает ими лицо.



Арест Робеспьера

Так пролежал он несколько часов, став предметом любопытства и поруганий толпы. Когда пришел хирург, чтобы перевязать ему рану, Робеспьер сам сошел со стола и сел в кресло. Он выдержал весьма болезненную перевязку, не испустив ни одного стога, не отвечая ни на какие слова. Потом его вместе с Сен-Жюстом, Кутоном и остальными перенесли в Консьержери. Брата его и Анрио полумертвыми подобрали

на площади у ратуши.

Для лиц, объявленных вне закона, суда не требовалось; достаточно было удостоверения личности. И утром 28 июля (10 термидора) виновные, в числе двадцати одного, явились перед тем самым судом, которому они послали столько жертв. Фукье-Тенвиль приступил к удостоверению личностей и в четыре часа пополудни послал их на казнь. Толпа, давно уже не ходившая смотреть казни, в этот день стекалась отовсюду с крайней жадностью. Эшафот стоял на площади Революции. Толпы народа запрудили собой улицу Сент-Оноре, сад Тюильри и громадную площадь. Родственники павших жертв шли за телегами с проклятиями и ругательствами. Многие подходили близко и спрашивали, кто из ехавших Робеспьер. Жандармы указывали на него саблями. Когда виновных привезли к эшафоту, палачи показали Робеспьера народу, сняли перевязку с его щеки и этим вырвали у него первый и единственный крик боли. Он умер с той же бесстрастностью, которую выказывал во все последние сутки; Сен-Жтост – с мужеством, всегда отличавшим его. Кутон был уныл; Анрио и Робеспьер-младший были еле живы.

Каждый удар рокового топора сопровождался рукоплесканиями, и толпа предавалась необузданной радости. В Париже господствовало общее веселье. В тюрьмах пели песнопения. Люди обнимались в каком-то упоении и платили до тридцати франков за номер газеты с описанием последних событий. Хотя Конвент не объявлял, что отменяет систему террора, и хотя сами победители были либо виновниками, либо поборниками этой системы, однако все были уверены, что террор умер вместе с Робеспьером, до такой степени этот человек воплотил в себе весь его ужас.

Так совершилась эта благодетельная катастрофа, которой кончилось восходящее движение революции и началось движение нисходящее. Спрашиваешь себя, что было бы, если б Робеспьер победил? Одиночество, в котором он оказался, доказывает, что этого не могло случиться. Но и останься он победителем, ему пришлось бы уступить всеобщему чувству или он всё равно пал бы после. Подобно всем узурпаторам, он увидел бы себя вынужденным вслед за ужасами смутных времен водворить спокойную и мягкую систему правления. К тому же Революция была слишком обширна, чтобы один и тот же

человек, бывший депутатом в Учредительном собрании в 1789 году, мог быть провозглашен протектором или императором в 1804-м.



День 2 июня 1793 года

Следовательно, Робеспьеру не могла выпасть роль узурпатора. Почему ему дано было пережить всех славных революционеров, людей, стоявших бесконечно выше его по даровитости и силе, — хоть бы Дантона?.. Робеспьер был безусловно честен и неподкупен — чтобы пленить людей, необходимо доброе имя. Он был безжалостен — во времена революций жалость губит людей, обладающих ею. Он был горд — и это единственный способ всегда быть на виду. С этими данными он неизбежно должен был пережить своих соперников. Бесстрастный ханжа, не имеющий пороков, в которые вовлекают страсти, но не имеющий и мужества, величия и сердечной теплоты, которыми они обыкновенно сопровождаются; ханжа, живущий только тщеславием и верой в свои теории, который прячется в минуту опасности и опять

является требовать поклонения после победы, одержанной другими, – презреннее такого существа не бывало в числе личностей, управлявших людьми.

Глава XXXVII

Последствия 9 термидора; изменения в революционном правительстве – Декреты об аресте Фукье-Тенвиля, Лебона, Россиньоля и других агентов диктатуры; освобождение подозрительных – Состояние финансов, торговли и земледелия после террора – Останки Марата переносятся в Пантеон

События 9 и 10 термидора вызвали всеобщую радость, которая не унималась в течение нескольких дней. Это было какое-то опьянение. Множество людей, уехавших из своих провинций, чтобы скрыться в Париже, теперь бросались в дилижансы и ехали к себе возвестить о всенародном избавлении. Их останавливали на дорогах, расспрашивая о подробностях. Узнав о счастливых событиях, одни возвращались в давно покинутые жилища, другие, прятавшиеся по подвалам и подземельям, осмеливались опять выйти на свет. Узники, наполнявшие многочисленные тюрьмы не только Парижа, но и всей Франции, начинали надеяться на свободу или по крайней мере переставали бояться эшафота.

Никто еще хорошо не уяснил себе свойств совершившегося только что переворота; никто еще не спрашивал себя, насколько оставшиеся в живых члены Комитета общественного спасения расположены держаться революционной системы и до какой степени Конвент готов примкнуть к их взглядам. Люди видели и понимали только одно: Робеспьера больше нет. Он был главой правительства, ему приписывались аресты, казни, словом, все действия недавней тирании. И если Робеспьера больше нет, то всё должно измениться. После каждого крупного события ожидания общества необходимо удовлетворять. Посвятив два дня принятию поздравлений, выслушиванию адресов, в каждом из которых непременно повторялась фраза «Каталины больше нет, Республика спасена», и награждению подвигов, Конвент наконец занялся мероприятиями, которых требовало положение дел.

Народные комиссии, учрежденные для составления списков

«смертников», Революционный трибунал, составленный Робеспьером, обвинительная власть, представляемая Фукье-Тенвилем, еще не были отменены и при первом знаке поощрения могли опять приняться за свои ужасные операции. На заседании 29 июля (11 термидора) предложили и постановили декретом очистить состав народных комиссий. Эли Лакост обратил внимание Конвента на Революционный трибунал и предложил приостановить его деятельность, пока он не будет преобразован и состав его не будет изменен. Это предложение было принято, и, чтобы не затягивать суд над сообщниками Робеспьера, решили назначить вместо трибунала временную комиссию. На вечернем заседании Барер, продолжавший исполнять должность докладчика, возвестил о новой победе, о вступлении французов в Люттих, потом заговорил о состоянии комитетов, несколько раз сокращаемых и доведенных эшафотом до небольшого числа членов. Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона накануне не стало; Эро де Сешель был казнен вместе с Дантоном; Жанбон Сент-Андре и Приёр из Марны находились в командировках. Оставались только Карно, Приёр из Кот-д'Ора, Робер Ленде, Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и, наконец, сам Барер. Словом, из двенадцати человек осталось всего шестеро. Состав Комитета общественной безопасности был полнее, и его хватало на текущие дела. Барер предлагал заменить трех членов, умерших накануне на эшафоте, тремя новыми, в ожидании общего обновления, назначенного на 20-е число каждого месяца, хоть оно и не производилось ни разу после безмолвного принятия диктатуры.

Это стало предисловием к большим вопросам: будут ли уволены люди, входившие в состав последнего правительства, последуют ли перемены только в людях или и в самых порядках? Будет ли изменена форма комитетов? Примут ли предосторожности против чрезмерного их влияния? Вот вопросы, которые поднимало предложение, сделанное Барером. Сначала собрание восстало против этого чересчур поспешного и диктаторского приема, потребовало напечатания списков кандидатов и отсрочки, чтобы сделать выбор. Дюбуа-Крансе зашел дальше и пожаловался на продолжительное отсутствие членов комитетов. Если бы, сказал он, давно заменили Эро де Сешеля, если бы не оставляли всё время Жанбона Сент-Андре и Приёра из Марны в командировках, то можно было бы рассчитывать на большинство и не пришлось бы так

долго колебаться, прежде чем напасть на триумвиров. Затем он начал доказывать, что люди изнашиваются, обладая властью долгое время, и власть прививает им опасные вкусы. Поэтому Дюбуа-Крансе предложил постановить декретом, чтобы впредь не посылали в командировки никого из членов комитетов и чтобы каждый месяц выбывала четверть членов.

Камбон завел прения еще дальше и заявил, что нужно преобразовать правительство целиком. Комитет общественного спасения, по его мнению, всё захватил в свои руки, вследствие чего члены его, работая день и ночь, не могут переделать все дела, а комитеты финансов, законодательства и общественной безопасности превратились в ничто. Следовательно, необходимо совершить полное перераспределение власти.

Бурдон, депутат Уазы, известный противник системы Робеспьера, тем не менее остановил это необдуманное движение. Он сказал, что до сих пор Франция имела правительство искусное и сильное, которому она обязана своим спасением и бессмертными победами, и поэтому следует остерегаться и не заносить неосторожно руку над его организацией; что все надежды аристократов пробудились опять и нужно, оберегая себя от новой тирании, с большой осторожностью менять учреждение, которому страна обязана такими прекрасными результатами. Однако Тальен, герой 9 термидора, непременно хотел, чтобы по крайней мере приступили к некоторым вопросам, и не видел опасности в немедленном их решении. Почему бы, например, не постановить тотчас же, что четверть членов комитетов будет выбывать каждый месяц? Это предложение Дюбуа-Крансе, повторенное Тальеном, встретили с восторгом и приняли при криках «Да здравствует Республика!». К этой мере депутат Дельмас хотел прибавить другую. «Вашим настоящим решением, – сказал он, – вы иссушили источник честолюбия. В дополнение предлагаю вам постановить, чтобы ни одному члену нельзя было бы вновь вступать в комитет раньше месяца после того, как он из него выбыл». Это предложение встретили так же восторженно и тоже приняли. Допустив эти основные начала, решено было назначить комиссию, которая представит новый проект преобразования правительственных комитетов.

На следующий день в Комитет общественного спасения были

избраны шесть членов на место умерших и отсутствующих. Назначили Тальена, в награду за его мужество; Бреара, Тюрио, Трельяра, бывших членами первого Комитета общественного спасения; наконец, депутатов Лалуа и Эшасерью-старшего. Последний был очень сведущ в финансовых и политико-экономических делах.

Комитет общественной безопасности тоже подвергся изменению. Все восставали против Давида, слывшего приверженцем Робеспьера, и против Жато и Лавиконтери, обвиняемых в самом гнусном инквизиторстве. Множество голосов требовали замены их другими, и на их место были назначены некоторые из монтаньяров, отличившихся 9 числа: Лежандр, Мерлен из Тионвиля, Гупильо из Фонтене, Андре Дюмон, Жан Дебри и Бернар де Сент. Затем был единодушно отменен закон от 22 прериаля. Собрание с негодованием восстало против декрета, которым дозволялось арестовать депутата, не выслушав его предварительно в Конвенте, рокового декрета, бывшего причиной смерти стольких славных жертв: Дантона, Демулена, Эро де Сешеля и других.



Фукье-Тенвиль

Недостаточно было изменить порядки; оставались люди, которым общество не могло простить. «Весь Париж, – воскликнул Лежандр, – требует заслуженной казни Фукье-Тенвиля!» На это требование ответили декретом об аресте Фукье. «Нельзя больше сидеть возле Лебона!» – закричал другой голос, и все взоры обратились к проконсулу, утопившему в крови Аррас и вызвавшему протесты своими безобразиями даже при Робеспьере. И против Лебона тотчас был издан такой же декрет. Затем вспомнили о Давиде, которого сначала только исключили из Комитета общественной безопасности, и арестовали и его. Та же мера была принята против Герона, начальника полицейских агентов Робеспьера, против хорошо известного генерала Россиньоля, против Германа, бывшего до Дюма председателем Революционного трибунала и сделавшегося по милости Робеспьера начальником судебной комиссии.

Итак, характер переворота постепенно прояснялся; открывался простор надеждам всякого рода. Узники, наполнявшие тюрьмы, и их родные с радостью убеждались, что сумеют воспользоваться результатами 9 термидора. До этой счастливой минуты родственники подозрительных не смели предъявлять жалоб даже на самых законных основаниях из опасения привлечь к себе внимание Фукье-Тенвиля или самим попасть в тюрьму за ходатайство в пользу аристократов. Пора постоянного страха миновала. Порядочные люди опять начали собираться в секциях, где недавно толпились лишь санкюлоты; теперь там стали появляться родственники узников – отцы, братья, сыновья жертв Революционного трибунала. Одних воодушевляло желание освободить своих близких, других – жажда мщения. Во всех секциях начали требовать освобождения узников; наконец, стали обращаться с просьбами об этом к Конвенту. Просьбы эти отсылались в Комитет общественной безопасности, на который была возложена проверка применения закона о подозрительных. Хотя в комитете еще заседали значительная часть лиц, подписывавших приказы об арестах, однако сила обстоятельств и прибавление новых членов должны были склонить его к милосердию.

Действительно, арестованных стали выпускать толпами. Некоторые члены комитета – Лежандр, Мерлен и другие – обошли тюрьмы, чтобы лично выслушать жалобы, и принесли в них радость своим присутствием и словами. Другие, дежуря денно и ночью, принимали просьбы родственников, стекавшихся ходатайствовать об освобождении близких. Комитету было поручено выяснить, были ли все эти подозреваемые арестованы согласно закону от 17 сентября и обозначены ли поводы к задержанию в приказах об арестах? Это, в сущности, стало возвращением к закону от 17 сентября, лишь с требованием более точного исполнения его; между тем этих мер оказалось достаточно, чтобы почти полностью опустели тюрьмы. Революционные агенты вообще действовали чрезвычайно торопливо: арестовывали, не мотивируя арестов и не сообщая своим жертвам, на каком основании они задерживаются.

Освобождения стали производиться так же, как и аресты, – массово. Радость, хотя менее шумная, стала живее и глубже: она разлилась в семействах, которым возвращали отцов, братьев, сыновей, давно отнятых и даже уже оплакиваемых как обреченных на эшафот. На свободу вышли и люди, которые по своим связям или холодности казались пугливо-недоверчивому правительству подозрительными, и те, патриотизм которых, даже доказанный делами, не мог спасти от мщенья за оппозиционные взгляды. Гош – тот молодой полководец, который, собрав на одном склоне Вогезов обе армии, освободил Ландау от блокады маневром, достойным величайших стратегов, а потом попал в тюрьму за сопротивление Комитету общественного спасения, был возвращен своему семейству и армиям, которые ему еще предстояло не раз вести к победе. Кильмен, спасший Северную армию снятием Лагерь Цезаря в августе 1793 года и наказанный за это прекрасное отступление, теперь также получил свободу. Молодая прелестная женщина, имевшая такую власть над Тальеном, была освобождена им и стала его женой.

С каждым днем увеличивалось число освобожденных, а поток просьб, которыми заваливали комитет, всё не уменьшался. «Победа, – сказал по этому случаю Барер, – отметила эпоху, когда отечество может быть снисходительным без опасности для себя и считать вины искупленными некоторым сроком заточения. Комитеты не перестают освобождать согласно подаваемым просьбам, не перестают исправлять

совершенные ошибки и несправедливости. Скоро след частных мщений исчезнет с лица Республики. Но стечение народа у дверей Комитета общественной безопасности только замедляет столь полезные труды. Мы отдаем справедливость вполне естественным проявлениям нетерпения, но зачем же задерживать ходатайствами и оскорбительными для законодателей и слишком многочисленными сходбищами скорые действия национального правосудия?»

Действительно, ходатайства всякого рода осаждали Комитет общественной безопасности. Особенно женщины применяли всё свое влияние, домогаясь помилований даже в пользу заведомых врагов Революции. Комитет не раз бывал обманут: так, например, герцоги д'Омон и Валентинуа были освобождены под вымышленными именами; да и множество других спаслись такими же хитростями. Большой беды тут не было, потому что, как сказал Барер, победа отметила эпоху, когда Республика могла сделаться сговорчивой и снисходительной. Но если бы разнесся слух, что освобождают аристократов, это могло снова пробудить революционное недоверие и нарушить кажущееся единодушие, с которым принимались кроткие и примирительные меры.

Секции волновались. Ведь невозможно было, чтобы родственники узников, выпущенные на свободу подозрительные, наконец, все те, кому было возвращено право говорить, удовлетворялись отменой прежних строгостей, не требуя мщения. Почти все были ожесточены против революционных комитетов и громко жаловались на них. Хотели изменить состав комитетов, даже вовсе уничтожить их, и эти споры стали причиной смут. Это была естественная реакция умеренного класса после столь долгого молчания и страха. И эта реакция не могла не обратить на себя внимания Горы.

Грозная Гора не погибла вместе с Робеспьером, пережила его. Некоторые монтаньяры остались убежденными в искренности и честности его намерений и не верили, что он мог сделаться узурпатором. Они смотрели на него как на жертву друзей Дантона и партии, остатки которой не удалось уничтожить; но так думало лишь меньшинство. Большинство же монтаньяров, искренне восторженные республиканцы, с отвращением относясь ко всякому узурпаторскому замыслу, помогали событиям 9 термидора не столько из желания свергнуть кровавую систему, сколько чтобы уничтожить

зарождающегося Кромвеля. Они, конечно, находили революционное правосудие, созданное Робеспьером, Сен-Жюстом, Фукье и Дюма, незаконным, но отнюдь не желали ослаблять правительство и не допускали пощады в отношении тех, кого называли аристократами. Это были по большей части люди безупречной нравственности, строгие к себе, чуждые диктатуры, несколько не заинтересованные в победе любой ценой, но и революционеры, недоверчивые, ревнивые, которые не хотели, чтобы 9 термидора перешло в реакцию и обратилось в пользу какой-нибудь одной партии. Они с недоверием смотрели на людей, слывших за плутов, расхитителей общественной казны, друзей Шабо, Фабра д'Эглантина, наконец, на биржевиков и развратителей. Они помогли им в борьбе против Робеспьера, но были готовы бороться и с ними. Сам Дантон обвинялся в лихоимстве, федерализме, роялизме – неудивительно, если против его победоносных друзей возникали такого же рода подозрения. Впрочем, враждебный шаг еще не был сделан; но многочисленные освобождения и общее движение против революции начинали возбуждать опасения.

Настоящие виновники 9 термидора, из которых главными были Лежандр, Фрерон, Тальен, Мерлен из Тионвиля, Баррас, Тюрио, Бурдон, депутат Уазы, Дюбуа-Крансе и Лекуэнтр, не более своих товарищей хотели перейти на сторону роялизма и контрреволюции, но, возбужденные опасностью и борьбой, с большей резкостью высказывались против революционных законов. Они к тому же в большей степени обладали способностью к сочувствию, которая погубила их друзей Дантона и Демулена. Постоянно окруженные похвалами и ходатайствами, они больше своих товарищей монтаньяров были склонны к проявлениям милосердия. Оказывать услуги убитым горем семействам, принимать заявления живейшей благодарности, заглаживать прежние строгости – такой ролью можно было соблазниться. Как те, кто подозрительно относились к их любезности, так и те, кто возлагали на нее свои надежды, уже называли их термидорианцами.

Часто по поводу освобождений возникали весьма оживленные споры. Так, например, по рекомендации депутата, заявившего, что он лично знает такого-то гражданина из своего департамента, комитет приказывал этого гражданина освободить. Тотчас же являлся другой

депутат от того же департамента, жаловался на то, что гражданина освободили, и уверял, что он аристократ. Эти споры и появление везде «врагов Республики» с радостными лицами вызвали меру, которой не была сначала придана особенная важность: решили вести печатный список лиц, освобождаемых по приказам Комитета общественной безопасности, с обозначением лиц, ходатайствовавших и ручавшихся за них.

Эта мера произвела крайне неблагоприятное впечатление. Еще не оправившись от недавнего ужаса, многие испугались, увидев свои имена в списке, который мог быть использован против них, если бы вновь водворился террор. Многие из тех, кто уже ходатайствовал, стали раскаиваться в своем усердии, другие не захотели больше высказываться.

В собрании обсуждали волнение, господствовавшее в парижских секциях. Секция Монтрейль явилась с жалобой на свой революционный комитет. Ей ответили, что следует обратиться к Комитету общественной безопасности. Дюгем, депутат Лилля, не участвовавший в действиях последней диктатуры, но друг Бийо-Варенна, убежденный, что не следует допускать послаблений в строгостях революционной власти, выступал против аристократии и умеренных, которые «уже поднимают свои дерзкие головы и воображают, что 9 термидора должно послужить исключительно их пользе». Бодо и Тайфер, которые мужественно сопротивлялись Робеспьеру, но были такими же ревностными монтаньярами, как Дюгем и Бадье, тоже утверждали, что аристократия зашевелилась и правительство должно быть справедливым, но непреклонным. Гране, депутат Марсея, тоже монтаньяр, сделал предложение, которое усилило волнение собрания: он потребовал, чтобы тех из освобожденных, поручители которых не заявят своих имен, безотлагательно снова арестовали.

Это предложение вызвало целую бурю. Бурдон, Лекуэнтр, Мерлен из Тионвиля всеми силами восстали против него. Спор, как обыкновенно бывает в подобных случаях, перешел от списков к общему положению дел, и начались резкие взаимные нападки. «Пора, – воскликнул Мерлен, – всем партиям отказаться от стремления подняться по ступеням престола Робеспьера! Не следует ничего делать наполовину, а надо признаться – 9 термидора Конвент многое сделал

наполовину. Если он еще оставил здесь тиранов, то они по крайней мере должны бы молчать».

Громкие рукоплескания последовали за этими словами, направленными преимущественно против Бадье. За Мерленом последовал Лежандр: «Комитет заметил, что у него обманом исходатайствовали освобождение нескольких аристократов, но их немного и они скоро опять попадутся. Зачем взаимно обвинять друг друга? Зачем смотреть друг на друга как на врагов, когда намерения сближают нас? Уйдем наши страсти, если мы хотим упрочить и ускорить успех революции. Граждане, я прошу вас отменить закон о списках освобожденных граждан. Этот закон уменьшил радость общества и обдал холодом все сердца!»

Тальен следует за Лежандром; его слушают с величайшим вниманием, так как он — главный из термидорианцев. «Вот уже несколько дней, — говорит он, — как, к прискорбию всех добрых граждан, вас стараются разъединить, стараются снова раздуть вражду, которая должна бы быть погребена в могиле Робеспьера. Когда я входил сюда, мне вручили записку, извещающую, что на этом заседании несколько членов подвергнутся нападению. Эти слухи распускаются, вероятно, врагами Республики; не будем же их подтверждать нашими раздорами! — Рукоплескания прерывают Тальена, но он продолжает: — Последователи Робеспьера, не ждите успеха! Конвент твердо решил скорее погибнуть, нежели терпеть новую тиранию. Конвент хочет правительства непреклонного, но справедливого. Возможно, граждане были обмануты по поводу нескольких содержащихся под арестом лиц; мы не верим в людскую непогрешимость. Но пусть нам объявят имена неуместно выпущенных лиц, и они снова будут посажены. Что до меня, я сделаю искреннее признание: я предпочту видеть на свободе двадцать аристократов, которые завтра опять попадутся, нежели одного патриота в неволе. Как?! Республика, располагая миллионом двумястами тысячами вооруженных граждан, убоится нескольких аристократов? Нет, она слишком сильна! Она сумеет открыть и сразить своих врагов!»

Рукоплескания, многократно прерывавшие Тальена, становятся еще громче по окончании его речи. После этих общих объяснений прения возвращаются к закону 23-го числа и к новому положению, которое Гране предложил присоединить к нему. Сторонники этого закона

доказывают, что не следует бояться заявить о себе таким патриотическим актом. Его противники возражают, что нет ничего опаснее списков; что даже если не будет повода бояться новой тирании, лица, имена которых внесут в эти новые списки, не будут иметь спокойной минуты. Наконец улаживаются о сделке. Бурдон предлагает печатать имена освобожденных без имен поручителей. Это предложение принимается. Но Тальен не удовлетворяется этим и опять всходит на кафедру. «Если уж вы постановили, – говорит он, – печатать список граждан, которым возвращена свобода, вы не можете отказаться обнародовать также список граждан, хлопотавших об их задержании. Справедливость требует, чтобы были известны люди, своими доносами посадившие патриотов».

Собрание, застигнутое врасплох этим предложением, сначала находит его основательным и тотчас же составляет о нем декрет. Но едва постановление принимают, как несколько членов спохватываются.

– Этот список, – говорят они, – будет сопоставлен с другим! А ведь это междоусобная война!

Это слово повторяется другими, и много голосов уже кричат:

– Это междоусобная война!

– Совершенно верно! – отвечает Тальен. – Да, это междоусобная война, и я так думаю. Ваши два декрета поставят друг против друга два разряда людей, которые никогда не смогут простить друг друга. Но я только хотел, предлагая второй декрет, заставить вас почувствовать неуместность первого. Теперь предлагаю вам отменить оба.

Со всех сторон кричат:

– Да! Да! Отменить оба декрета!

Сам Амар требует того же, и оба декрета отменяются. Итак, благодаря ловкой и смелой игре Тальена никаких списков никто не печатает.

Это заседание вернуло спокойствие множеству людей, уже начинавших вновь чувствовать себя, как на вулкане. Но оно доказало также, что еще не все страсти угасли, что не вся борьба закончена. Партии пострадали поочередно и лишились своих славнейших голов. Но если именитейшие вожди и погибли, то всё еще оставались их партии, и теперь им предстояло, тоже по очереди, оспаривать друг у друга руководство революцией и начать новое, многотрудное и

кровавое поприще. Дойдя до последней степени разъяренности, умы постепенно возвращались к исходной точке; во время этого возвращения власть должна была опять переходить из рук в руки, всё с тем же состязанием страстей, систем и влияний.

Затем Конвент обратился к преобразованию комитетов и временного правительства, которое должно было, как мы помним, управлять Францией до заключения всеобщего мира. Уже возникли прения о Комитете общественного спасения, и вопрос отослали на рассмотрение комиссии, которая собиралась представить новый план. Необходимо было заняться этим безотлагательно, что и было сделано в первых днях августа. Конвент оказался между двумя подводными камнями: страхом ослабить власть, на которой лежала ответственность за благо Республики, и опасностью продолжения тирании. Людям свойственно пугаться опасностей, когда они минуют, и принимать предосторожности против того, чего более не может случиться. Тирания последнего комитета была порождением необходимости: требовалось разрешить чрезвычайную задачу среди всевозможных препятствий. Несколько человек взялись делать то, чего не могло, не умело или не смело сделать целое собрание, и, прилагая неслыханные усилия в течение пятнадцати месяцев, они не могли ни объяснять свои операции, ни оправдывать их; они не имели времени совещаться даже между собой, и каждый безусловно распоряжался вверенной ему частью. Таким образом, они стали диктаторами поневоле, и скорее обстоятельства, нежели честолюбие, сделали их всемогущими.

Теперь, когда работа была почти кончена и крайняя опасность миновала, подобная власть возникнуть уже не могла, потому что к тому не могло представиться случая. Такое заботливое оберегание себя от невозможной уже опасности было просто ребячеством; кроме того, эта заботливость представляла большое неудобство: ослабляя власть, отнимала у нее всякую энергию. Миллион двести тысяч человек были набраны, прокормлены, вооружены и отправлены на границы, но ведь надо было и дальше содержать их, и это дело всё еще требовало большого прилежания, редких способностей, весьма обширных полномочий.

Конвент приказал, чтобы четверть состава комитетов выбывала

каждый месяц и, кроме того, чтобы выбывающие члены не могли быть снова приняты раньше чем через месяц. Эти два условия делали невозможной диктатуру, но точно так же – и всякую серьезную администрацию. Не могло быть ни последовательности, ни усидчивого труда, ни общих секретных операций в беспрестанно обновляемом правительстве.

Но реакция была неизбежна. За крайним сосредоточением власти должна была последовать почти столь же крайняя раздробленность, еще более опасная. Прежний Комитет общественного спасения, с безусловной властью заправляя всем, что касалось блага государства, имел право призывать другие комитеты и требовать от них отчета, таким образом прибирая к рукам всё, что было существенного в деятельности каждого из них. Чтобы устранить возможность подобного захвата в будущем, Конвент разделил атрибуты различных комитетов и сделал их независимыми один от другого. Было учреждено шестнадцать комитетов:

1. Комитет общественного спасения;
2. Комитет общественной безопасности;
3. Комитет финансов;
4. Комитет законодательства;
5. Комитет народного просвещения,
6. Комитет земледелия и промышленности;
7. Комитет торговли и продовольствия;
8. Комитет общественных проектов;
9. Комитет почтовых сообщений;
10. Военный комитет;
11. Морской и колониальный комитет;
12. Комитет общественного вспоможения;
13. Комитет распределения;
14. Комитет протоколов и архивов;
15. Комитет прошений, переписки и депеш;
16. Комитет смотрителей Дворца.

Комитет общественного спасения состоял из двенадцати членов; он сохранял высшее управление военными и дипломатическими операциями; на него возлагались набор и экипировка армий, выбор полководцев и планов кампаний и т. д. Но этим и ограничивалась его

власть. Комитет общественной безопасности, насчитывавший шестнадцать членов, заведовал полицией; комитету финансов (из сорока восьми членов) поручался надзор за государственными доходами, казначейством, монетами и ассигнациями. Комитеты могли объединяться по общим вопросам.

В то же время осуществлялись и другие реформы, считавшиеся не менее неотложными. Революционные комитеты, учрежденные в самых крошечных селениях для исполнения инквизиторских обязанностей, были наиболее ненавистными из всех начинаний, приписываемых партии Робеспьера. Чтобы сделать их деятельность несколько менее обширной и не столь невыносимой, оставили лишь по одному комитету в каждом округе. В Париже число революционных комитетов было сведено с сорока восьми к двенадцати. Эти комитеты должны были состоять из двенадцати членов; чтобы вызвать кого-нибудь в комитет, требовались подписи по меньшей мере трех членов, а чтобы арестовать человека, приказ должен был быть подписан не менее чем семью членами. Революционные комитеты, как и правительственные, выбывали по четвертям ежемесячно.

К этим распоряжениям Конвент прибавил и другие: постановили, что секционные собрания будут происходить один раз в декаду, по декадным дням, и что выдача двух франков за заседание будет прекращена. Это должно было загнать демагогию в более тесные пределы, прекращались злоупотребления, достигшие в Париже безобразных масштабов. Дело в том, что каждая секция платила деньги тысяче двумстам членам, тогда как на заседании присутствовало не более трехсот. Присутствующие отвечали за отсутствующих, и эта взаимная услуга оказывалась поочередно.

Самой важной мерой стало очищение, как тогда говорили, личного состава всех местных властей — революционных комитетов, муниципалитетов и т. д. Это были прибежища самых ярых революционеров, сделавшихся в каждой местности тем же, чем Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон были в Париже, и пользовавшихся своей властью со всей жестокостью мелких тиранов. Конвент поручил депутатам, находившимся в командировках, очистить состав администраций по всей Франции. Это было единственным средством обеспечить возможность выборов местной власти, а также избежать

враждебного столкновения двух партий, озлобленных друг против друга.

Наконец, возобновил свою деятельность недавно остановленный Революционный трибунал. Так как судьи и присяжные были назначены еще не все, то те, кто уже присутствовал, должны были немедленно вступить в должности и судить по законам, существовавшим до закона 22 прериаля. Эти законы еще были очень суровы; но люди, выбранные для их применения, и податливость, с которой всякое судебное учреждение следует направлению, сообщаемому ему правительством, в достаточной степени ручались, что не будет новых жестокостей.

Все эти реформы были совершены в конце августа (между 1 и 15 фрюктидора). Оставалось возобновить еще один важный институт: свободу печати. Ни в одном законе ей не предписывалось границ; она даже безусловно признавалась в Декларации прав; однако на деле свобода печати подвергалась при терроре наибольшим гонениям. Так как одно неосторожное слово могло стоить головы, то кто мог осмелиться писать?.. Участь бедного Камилла Демулена достаточно ясно показывает, каково было положение печати в ту эпоху. Дюран де Майян, бывший член Учредительного собрания, одна из тех робких личностей, которые совершенно стушевались во времена бурь, свирепствовавших в Конвенте, предложил теперь вновь, формально, гарантировать свободу печати. «Мы не могли раскрыть рта в этой зале, — сказал этот превосходный человек своим товарищам, — не подвергаясь поруганиям и угрозам. Если вы хотите знать наше мнение в будущих прениях, если хотите, чтобы мы могли содействовать нашими знаниями общему делу, то нужно дать новые гарантии тем, кто захочет говорить или писать».

Несколько дней спустя Фрерон, друг и товарищ Барраса в его командировке в Тулоне, приятель Дантона и Демулена и, со смерти их, самый ярый враг Комитета общественного спасения, присоединил свой голос к голосу Дюрана де Майяна и потребовал неограниченной свободы печати. Мнения разделились. Те, кто жили под постоянным гнетом недавней диктатуры и теперь желали наконец безнаказанно высказывать свое мнение обо всем, и те, кто были готовы энергично поддерживать реакцию против Республики, требовали формального

заявления, гарантирующего свободу устного и печатного слова. Монтаньяры же, предчувствуя, на что будет употреблена эта свобода, и предвидя поток обвинений, и многие другие, не питая личных опасений, но понимая, какое опасное оружие этим будет дано врагам Революции, не хотели формального заявления, потому что это значило бы провозглашать уже признанное право. «Стало быть, – возмутились Бурдон из Уазы и Камбон, – вы позволите роялизму открыто печатать против республики всё, что ему будет угодно?..» Все эти предложения были отосланы комитетам для рассмотрения вопроса о новом заявлении.

Итак, временное правительство было изменено согласно новой склонности общества к великодушию и милосердию. Правительственные комитеты, Революционный трибунал, местные администрации – всё подверглось очищению и преобразованию; была объявлена свобода печати, и всё возвещало новый ход событий.

Действие всех этих реформ не замедлило дать себя почувствовать. До сих пор партия революционеров находилась в самом правительстве; из нее составлялись комитеты, она властвовала в Конвенте, господствовала у якобинцев, наполняла собою администрации и революционные комитеты. Теперь же, лишенная власти, эта партия оказалась вне правительства и должна была стать враждебной ему.

Заседания якобинцев были временно прекращены в ночь на 10 термидора. Лежандр запер залу и положил ключи от нее на стол Конвента. Ключи были возвращены обществу, и якобинцам было разрешено снова собираться только с условием очищения. Пятнадцати из старейших членов, по выбору общества, поручили рассмотреть поведение всех остальных в ночь на 10 термидора. Должны были остаться только те, кто в памятную ночь пребывали на своем месте и оставались порядочными гражданами, а не шли в коммуну злоумышлять против Конвента. Впредь до очищения прежние члены были допущены в залу в качестве временных. Снарядить следствие о каждом отдельно было бы затруднительно; их просто допрашивали и судили по ответам. Можно себе представить, с какой снисходительностью производились допросы, так как судили себя сами же якобинцы. В несколько дней шестьсот с лишним человек были

оправданы по одному их заявлению о том, что они провели ту ночь на местах, указанных их обязанностями.

Общество скоро опять собралось в прежнем составе, поддерживаемое толпой, боготворившей Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона и оплакивавшей их как мучеников свободы и контрреволюции.

Рядом с этим обществом существовал еще и пресловутый электоральный клуб, куда приходил всякий, кто желал внести какое-нибудь предложение, которого нельзя было внести у якобинцев, и где замышлялись и готовились самые страшные события Революции. Клуб этот всё еще собирался в епископском дворце и состоял из бывших кордельеров, наиболее решительных якобинцев и людей, особенно скомпрометированных во время террора. Оба эти клуба естественным образом должны были стать убежищами всех чиновников, терявших места вследствие предпринятого очищения. Так и случилось. Судьи и присяжные прежнего Революционного трибунала, члены сорока восьми революционных комитетов, агенты тайной полиции Робеспьера и Сен-Жюста, рассыльные комитетов, образовавшие шайку пресловутого Герона, — словом, весь служивый люд, уволенный с прежних должностей, собирался у якобинцев или в электоральном клубе. Все они ходили туда изливать свои жалобы и свою злобу. Они беспокоились за себя и страшились мщения лиц, которых прежде преследовали; сверх того, они жалели о потерянных прибыльных должностях, в особенности если имели возможность пополнять свое жалованье всякого рода взятками и хищениями. Этот сброд составил свирепую, озлобленную и весьма упорную партию, в которой к увлечению крайними убеждениями присоединилось раздражение пострадавших денежных интересов.

То, что происходило в Париже, повторялось во всей Франции. Члены муниципалитетов, революционных комитетов, окружных директорий собирались в местных отделениях якобинского клуба и обменивались своими опасениями и злобой. За них была чернь, попавшая в немилость с тех пор как прекратилась выдача двух франков за посещение секционных собраний.

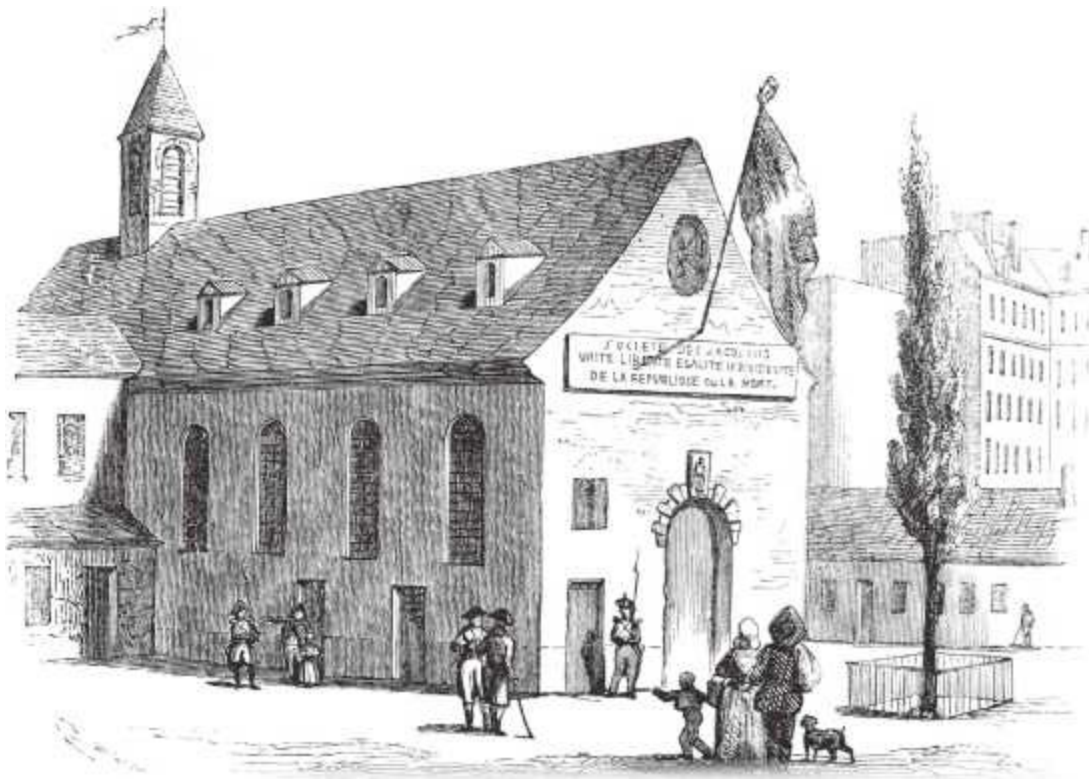
В противоположность этой партии образовалась или, вернее, воскресла другая партия. Она состояла из страдавших или молчавших во время террора, тех, кто думал, что настала минута проснуться и, в

свою очередь, дать направление революции. Новая дорога, на которую вступил

Конвент, и начатые реформы усилили надежду и храбрость этих первых застрельщиков. Они принадлежали ко всем классам, терпевшим угнетение, но в особенности к торговому классу, к буржуазии, к тому трудолюбивому и умеренному среднему сословию, которое держалось монархии и конституции при Учредительном собрании, потом приняло республиканские убеждения жирондистов, но совсем стушеввалось с 30 мая и подвергалось всякого рода гонениям. В его рядах скрывались теперь весьма редкие представители дворянства, которые не смели еще жаловаться на свое унижение, но жаловались на нарушение человеческих прав, и несколько приверженцев монархии, слуги или агенты бывшего двора, которые не переставали чинить революции препятствия, кидаясь во всякую оппозицию. Молодые люди высказывались с наибольшей резкостью и смелостью. Они заполняли секции, Пале-Рояль, публичные места и заявляли свои мнения об организаторах террора самым энергичным образом. У одних претерпели гонения семейства, другие боялись будущих гонений, если бы восстановился террор. Но настоящей тайной пружиной, двигавшей большинством этих людей, была военная реквизиция: некоторые от нее спрятались, другие просто ушли из армий, узнав о 9 термидора. К ним примыкали писатели, народ, всегда так же готовый к оппозиции, как и молодежь. Они уже заполнили брошюры и газеты своими неистовыми выступлениями против террора.

Обе партии самым резким образом высказались об изменениях, вносимых в революционные порядки. Якобинцы и завсегдатаи клубов возопили, что это проявила себя аристократия. Они бранили Комитет общественной безопасности за то, что он выпускал на свободу контрреволюционеров, бранили печать, которая уже начинала жестко отчитывать людей, спасших Францию. Самой ненавистной им мерой стало очищение властей. Якобинцы не смели восставать против обновления личного состава, потому что слишком открыто признались бы этим в собственных соображениях, но они не одобряли способа выбора новых лиц. Они утверждали, что следовало возратить право делать этот выбор народу; что поручать депутатам, находящимся в командировках, назначение членов муниципалитетов значило незаконно

захватывать власть; что ограничивать заседания секционных собраний одним в декаду – значит посягать на право граждан собираться для совещаний об общественных делах. Эти сетования прямо противоречили самому принципу революционного правительства, воспрещавшему всякие выборы до заключения мира, но противоречия партиям нипочем, когда затронуты их интересы: революционеры знали, что всеобщие выборы возвратили бы им потерянные места.



Клуб якобинцев

С другой стороны, волнующаяся молодежь и писатели запальчиво требовали неограниченной свободы печати и жаловались, что в комитетах и администрациях осталось слишком много агентов бывшей диктатуры. Они уже дерзали подавать петиции против некоторых депутатов за действия в той или другой командировке, ни во что не ставили истинные заслуги и начинали поносить самый Конвент. Тальен, который в качестве главного деятеля термидорианцев считал себя ответственным за новое положение дел, желал, чтобы изменениям было дано энергичное направление, без отклонений в ту или другую сторону.

В одной речи, преисполненной тонких различий между террором и революционным правительством, общий смысл которой заключался в том, что, не вдаваясь в систематическую жестокость, надлежит, однако, сохранять достаточную энергичность, Тальен предложил объявить, что утверждается революционное правительство и, следовательно, первичные собрания для выборов не будут созданы. Но в то же время он предложил заявить, что все средства, применяемые террором, отменяются, а преследования журналистов за свободное изъяснение мнений будут считаться таковыми средствами.

Эти предложения, не содержавшие какой-либо определенной меры, а только излагавшие взгляды термидорианцев, которые стремились держаться между обеими партиями, были отосланы на рассмотрение трем комитетам: общественного спасения, общественной безопасности и законодательства. Однако подобные методы не могли унять гнева партий; они продолжали с тем же неистовством ругать одна другую.

Что в особенности усиливало общее беспокойство, так это экономическое положение Франции, в эту минуту чуть ли не более прискорбное, нежели в самые бедственные эпохи Революции.

Ассигнации, несмотря на победы Республики, быстро понизились в цене и принимались не более чем за одну шестую или даже восьмую часть их номинальной стоимости, что вносило сумбур в меновые сделки и делало законы о максимуме более неисполнимыми и невыносимыми, нежели когда-либо прежде. Теперь уже не отсутствие доверия так роняло ассигнации, а выпуск их в чрезмерном количестве, возрастающем по мере падения. Налоги, с трудом взимаемые и вносимые бумажными деньгами, давали едва ли четверть или одну пятую часть того, что Республика тратила ежемесячно на чрезвычайные военные расходы, и приходилось прибегать к новым выпускам. Таким образом, с прошедшего года вся сумма находившихся в обороте ассигнаций, вместо того чтобы спуститься ниже двух миллиардов, как этого надеялись достичь разными комбинациями, доросла до 4 миллиардов 600 миллионов франков.

К этому чрезвычайному скоплению бумажных денег и неизбежному вследствие него падению цен присоединялись еще все бедствия, сопровождающие войну, а также отчасти порождаемые

неслыханными мерами, которых война потребовала. Читатели помнят, что после закона о максимуме были начаты реквизиции, то есть представителям или правительственным агентам было дано право забирать товары, требующиеся для армии, по ценам, назначенным законом, с уплатой ассигнациями по номинальной цене. Эти меры спасли Францию, но надолго расстроили меновые сделки и денежное обращение.

Мы уже видели выше, в чем заключался главный вред максимума. Все эти неудобства двойной торговли, сокрытие продовольствия, застой в производстве постоянно возрастали. Везде установились два типа торговли: один явный и убыточный, другой тайный, приносящий ростовщические барыши. Имелось два сорта хлеба, два сорта мяса, два сорта всего — один для богатых, которые могли платить звонкой монетой, другой для бедняков, рабочих, небогатых буржуа, которые могли расплачиваться лишь ассигнациями по номинальной цене. Крестьяне с каждым днем совершенствовались в хитростях: они не молотили хлеба под предлогом недостатка рук (отчасти, впрочем, не без основания, так как война поглотила более полутора миллиона людей); ссылались на плохой урожай (урожай действительно оказался не так хорош, как думали в начале года). Что касается фабрикантов, те совсем прекратили работы. То же самое произошло и с негоциантами. Они не могли продавать товары, привезенные в порты по ценам максимума, и тоже приостанавливали торговые операции.

Со временем возникли и другие неудобства. Цена хлебу была назначена одна для всей Франции. Между тем хлебное производство обходилось более или менее дорого, в зависимости от провинции, да и урожай оказывался различным, а значит, цена вышла на поверку разной. Предоставленное муниципалитетам право определять цену товара влекло за собой беспорядок. Когда в той или иной провинции имелся недостаток в каком-то одном товаре, власти повышали на него цену; тогда этот товар привозился туда в ущерб соседним общинам, происходило чрезмерное накопление его в одном месте и недостаток в другом, и движения торговли из правильных и естественных превращались в прихотливые и неровные, судорожные.

Результаты реквизиций оказались гораздо более прискорбными. К реквизициям прибегали для снабжения армий и обширных оружейных

заводов и арсеналов, для продовольствования больших общин, иногда для доставки мануфактурщикам требующегося материала. Осуществлять реквизицию могли представители, комиссары, состоявшие при армиях, агенты комиссии торговли и продовольствия. В минуты крайней опасности реквизиции производились второпях и беспорядочно. Часто с разных сторон требовали одни и те же товары, и владелец не знал, кого слушать. Притом право реквизиции было почти всегда не ограничено. Иногда реквизиция налагалась на весь товар известного рода в целой общине или даже департаменте. Тогда производители или торговцы не могли продавать этот товар никому, кроме агентов Республики. Вследствие перерыва в торговле товар, потребованный при реквизиции, лежал подолгу; его не брали и не платили за него, и обращение его прекращалось. В хлопотах не принимались в расчет расстояния; иногда подвергался реквизиции департамент, самый отдаленный от той общины или той армии, которую требовалось прокормить, и перевозки становились и вовсе разорительными. Так как вследствие чрезвычайной засухи много рек и каналов остались без воды, то перевозки могли производиться только гужом, и почти не осталось лошадей для земледелия. Если к этому прибавить принудительный набор для армии 44 тысяч лошадей, то станет понятно, как затруднительны оказывались перевозки.

Вследствие всех этих дурно рассчитанных и часто совсем лишних движений громадные партии товаров или предметов продовольствия залеживались наваленные без толка, нередко подвергаясь всякого рода порче. Скот, приобретенный для Республики, кормили дурно, доставляли на бойни в истощенном виде, вследствие чего явился недостаток в жире, сале и прочем. Наконец, дело не обходилось без гнуснейших злоупотреблений. Нечестные агенты по самым высоким ценам тайно передавали товары, взятые ими по реквизиции по ценам максимума. Этот вид мошенничества процветал между торговцами и производителями: они выпрашивали себе реквизиционный приказ, а потом тайно перепродавали по курсу то, что досталось им по максимуму.

Все эти обстоятельства, в добавление к сухопутной и морской войнам, довели торговлю до плачевного состояния. Не было больше сообщения с колониями; они сделались почти недоступны по милости

крейсировавших около них английских судов, притом почти все были опустошены войной. Главная из них, Сан-Доминго, была растерзана внутренними распрями. Уже это стечение обстоятельств делало всякое сообщение с внешним миром почти невозможным, но изоляции немало способствовала еще одна революционная мера: секвестр, наложенный на имущество всех иностранцев, принадлежавших к нациям, с которыми Франция вела войну. Решаясь на эту меру, Конвент имел в виду прекратить биржевую игру иностранными бумагами и помешать капиталам обходить ассигнации, обращаясь в векселя. Захватывая ценные бумаги, которыми обладали испанцы, голландцы, англичане и немцы во Франции, Конвент вызвал такую же меру со стороны иностранцев, так что между Францией и Европой прекратилось всякое обращение кредитных бумаг. Оставались отношения только с нейтральными странами: восточным Средиземноморьем, Швейцарией, Данией, Швецией и Соединенными Штатами. Но комиссия торговли и продовольствия одна пользовалась этими отношениями, чтобы доставлять себе хлеб и товары, необходимые морскому ведомству. Для этого комиссия забрала все ценные бумаги, выплачивая их стоимость французским банкирам ассигнациями, и отправляла эти бумаги в Швейцарию, Швецию, Данию и Америку в уплату за покупаемые продукты.

Итак, вся торговля Франции ограничивалась закупками, которые правительство делало за границей, на ценные бумаги, силой отнятые у своих банкиров. А если и приходили в порты кое-какие товары, доставленные свободной торговлей, они тотчас же подлежали реквизиции, так что у негоциантов окончательно отбили охоту к сделкам.

Единственные товары, встречавшиеся в портах в некотором изобилии, были отбиты у неприятеля; но и те приковывались к месту – отчасти реквизициями, отчасти запретом, наложенным на подобные товары.

Нант и Бордо, и без того уже разоренные междоусобной войной, были доведены этим состоянием торговли до крайней нужды. Марсель, некогда существовавший за счет своих торговых сношений с Востоком, теперь едва пробавлялся скудной, убыточной меновой торговлей с Генуей; англичане блокировали его порты, главные негоцианты города

разбежались от террора, мыловаренные заводы были разрушены или перенесены в Италию.

Города внутренних провинций находились в не менее печальном состоянии. Ним прекратил производство шелковых материй, которых он, случалось, вывозил на 20 миллионов в год. Богатый Лион лежал разоренный бомбами и минами и не изготовлял больше тех роскошных тканей, которых он прежде поставлял на 60 миллионов ежегодно. Декрет, останавливавший движение товаров, назначаемых непокорным общинам, задержал в окрестностях Лиона значительное количество товаров, которые должны были частью остаться в городе и частью только пройти через него, отправляясь в один из тех многочисленных пунктов, куда вела большая южная дорога. Шалон, Макон и Баланс воспользовались этим декретом, чтобы задержать товары, ехавшие по этому многолюдному тракту. Мануфактура в Седане вынуждена была прекратить производство тонких сукон и производить исключительно грубое сукно для войск; кроме того, главные фабриканты города преследовались по политическим мотивам. Департаменты Нор, Па-де-Кале, Сомма, Эна, столь богатые благодаря льну и конопле, были дотла разорены войной. Дальше к западу, в злополучной Вандее, больше шестисот квадратных лье были опустошены огнем и мечом. Поля были по большей части брошены, и скот бродил по ним большими стадами, без корма и без призрения.

Наконец, везде, где местные бедствия не довершали общих страданий, война страшно уменьшила число рабочих рук, и, с одной стороны, постоянный страх, а с другой – увлечение политикой совсем отучили от работы множество трудолюбивых граждан. Сколько встречалось людей, которые своим мастерским или полям предпочитали клубы, муниципальные советы, секционные собрания, где они могли шуметь, ничего не делать и получать за это по два франка!

Вот картина, которую представляла Франция, спасенная от иноземного меча, но изнуренная неимоверными усилиями, потребовавшимися от нее.

Пусть читатели представят себе две схватившиеся после 9 термидора партии, одна из которых твердо придерживается революционных методов, считая их необходимыми, и хочет удержать и

продлить положение дел, по самой сущности своей преходящее; тогда как другая, озлобленная несчастьями, неизбежными при чрезвычайном управлении, забывает про услуги, оказанные этим управлением, и хочет низвергнуть его за бесчеловечность. Пусть читатели представят себе борьбу этих двух партий, и они поймут, сколько при тогдашнем положении Франции должно было найтись поводов к взаимным обвинениям.

При таком настроении обе партии постоянно искали и находили во всем, что было уже сделано и еще делалось, поводы к нападкам и упрекам. Всё, что было до катастрофы, как хорошее, так и дурное, равно приписывалось членам прежних комитетов, которые теперь сделались мишенью для предводителей реакции. Хотя эти люди помогли низвержению Робеспьера, говорили, что они поссорились с ним только из честолюбия и из-за разделения власти, но что, в сущности, они руководствуются теми же принципами и хотят следовать той же системе.

В числе термидорианцев был Лекуэнтр, который, обладая пылким, опрометчивым умом, высказывался с неосторожностью, вызывавшей неодобрение его товарищей. Он задумал обвинить Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Барера, Давида, Амара, Вадье и Вулана как сообщников и последователей Робеспьера. Он не мог и не смел включить в этот список Карно, Приёра из Кот-д'Ора и Робера Ленде, так как общественное мнение определенно отделяло этих троих от их товарищей и признавало, что они занимались исключительно теми тяжкими трудами, которым Франция была обязана своим спасением. Лекуэнтр сообщил о своем намерении Тальену и Лежандру. Они отговаривали его, но он не отказался от своей мысли и на заседании 29 августа (12 фрюктидора) представил обвинение из двадцати шести пунктов. Эти двадцать шесть пунктов свелись в итоге к неопределенным обвинениям в сообщничестве с Робеспьером; в угнетении Конвента и Франции систематическим террором; в содействии произвольным поступкам обоих комитетов; в приказах, обрекавших граждан на гибель; в невнимании к жалобам несправедливо преследуемых граждан; в содействии смерти Дантона и отстаивании закона от 22 прериала; в недонесении на Робеспьера, когда он удалился из Комитета общественного спасения; наконец, в непринятии мер 8, 9 и 10

термидора для ограждения Конвента от планов заговорщиков.

Как только Лекуэнтр дочитал до конца свои двадцать шесть пунктов, Гужон, депутат Эны, молодой республиканец, искренний, горячий, бескорыстный монтаньяр, не принимавший никакого участия в действиях последнего правительства, – Гужон встал и заговорил с горечью.

– Я жестоко опечален, – начал он, – при виде того, с каким холодным спокойствием здесь бросают новые семена раздоров и предлагают погубить отечество. То предлагают заклеить общим именем террора всё, что было сделано в течение целого года; то предлагают обвинить людей, оказавших большие услуги революции. Они могут быть виновны; я этого не знаю, я был в армиях и не могу ни о чем судить. Но если бы у меня были документы, составляющие явные улики против членов Конвента, я бы вовсе не предъявлял их или предъявил бы с глубоким прискорбием. С каким хладнокровием вонзают кинжал в грудь людей, зарекомендовавших себя отечеству великими услугами! Заметьте, упреки, направленные против них, попадают в самый Конвент. Да, Конвент обвиняется, французский народ отдается под суд, потому что и тот и другой терпели тиранию бесчестного Робеспьера. Как сейчас говорил

Дебри, все эти предложения делаются или заказываются аристократами...

– И ворами! – прибавляют несколько голосов.

– Я требую, – продолжает Гужон, – чтобы прения об этом предложении немедленно прекратились.

Депутаты восстают против этого. Бийо-Варенн бросается к кафедре и настоятельно требует, чтобы прения продолжались.

– Не подлежит сомнению, – говорит он, – что если приведенные факты верны, то мы большие преступники и наши головы должны пасть. Но пусть-ка Лекуэнтр это докажет! С самого падения тирана мы сделали целью всех интриганов, и мы заявляем, что жизнь не имеет для нас цены, если они должны одержать верх.

Затем Бийо рассказывает, что он и его товарищи уже давно задумывали 9 термидора; что если они медлили, то только потому, что того требовали обстоятельства; что они первыми начали обличать

Робеспьера и первыми сорвали с него маску; что если это вменяется им в преступление, то в этом преступлении он повинится сам; что Дантон был сообщником Робеспьера, центром всех контрреволюционеров, и если бы остался жив, свобода погибла бы.

— С некоторых пор, — восклицает Бийо, — опять засуетились интриганы и воры!..

На этом слове Бурдон прерывает его:

— Слово сказано. Надо будет доказать его.

— Я берусь доказать его относительно одного, — объявляет Дюгем.

— Докажем и относительно других! — раздаются голоса монтаньяров.

Этим они всегда готовы были попрекнуть друзей Дантона, ставших термидорианцами. Бийо, не сходявший с кафедры во время этих перерывов и шума, настаивает, требуя следствия, которое разоблачило бы виновных. Камбон присоединяется к нему и говорит, что следует избежать ловушки, расставленной Конвенту; что аристократы хотят принудить его обесчестить самого себя, обесчестив нескольких депутатов; что если комитеты виновны, то виновен и он.

— И вся нация вместе с ним! — дополняет Бурдон, депутат Уазы.

Среди этого шума на кафедре появляется Бадье с пистолетом в руке и говорит, что не переживет клеветы, если ему не дадут оправдаться. Несколько человек окружают его и заставляют сойти с кафедры. Президент Тюрио объявляет, что сейчас закроет заседание, если шум не уменьшится. Дюгем и Амар требуют продолжения прений; они находят, что это обязанность собрания относительно обвиненных членов. Тюрио, один из самых горячих термидорианцев, но и ревностный монтаньяр, остается недоволен тем, что затрагиваются подобные вопросы. Он обращается к собранию, не вставая с кресел.

— С одной стороны, — говорит он, — интересы общества требуют, чтобы подобные прения прекратились немедленно; с другой — интересы обвиненных требуют, чтобы прения продолжались. Примирим те и другие, переходя к очередным делам по предложению Лекуэнтра и заявляя, что собрание встретило это предложение с глубоким негодованием.

Собрание с готовностью принимает предложение Тюрио и переходит к очередным делам.

На всех людей, истинно привязанных к своему отечеству, этот эпизод произвел крайне тяжелое впечатление. В самом деле, как вернуться к прошлому, как отличить добро от зла, разобрать, кто был тираном и кто терпел тиранию? Как определить и взвесить, что приходится на долю Робеспьера и комитетов, деливших с ним власть, а что – на долю Конвента, терпевшего их, наконец, нации, терпевшей и Конвент, и Робеспьера, и комитеты? Да и как судить об этой тирании? Была ли она преступным плодом честолюбия, или энергичным, но необдуманном актом людей, решившихся спасти свое дело во что бы ни стало и ослеплявших себя на счет применяемых для этого средств? Распутать такие темные нити, судить столько сердец – для этого не было никакой возможности. Следовало забыть прошлое; принять из рук людей, только что отстраненных от власти, спасенную Францию, привести в порядок пока беспорядочные движения, смягчить жестокие законы и помнить, что в политике следует исправлять содеянное зло, но никогда не мстить за него.

Таково было мнение разумных людей. Враги Революции радовались выходке Лекуэнтра и, когда закрылись прения, распустили слух, что Конвент трусил и не посмел приступить к слишком опасным вопросам. Якобинцы же и монтаньяры, еще преисполненные фанатизма и несколько не расположенные отречься от террора, не боялись прений и злились, что их прекратили. На другой же день, 30 августа (13 фрюктидора), толпа монтаньяров встает, чтобы заявить, что президент вчера застиг собрание врасплох своим неожиданным предложением; что в качестве президента он вовсе не имел права подавать мнения; что закрытие прений было несправедливостью, а справедливость к обвиненным, к Конвенту и к Революции требует, чтобы приступили к разбирательству, которого патриоты могут не опасаться. Тщетно термидорианцы Лежандр, Тальен и другие просили собрание отказаться от прений. Собрание, еще не перестав бояться Горы и уступать ей, согласилось отменить свое вчерашнее решение и открыло прения. Лекуэнтр был вызван на кафедру читать свои двадцать шесть пунктов и подтверждать их доказательствами.

Он не мог набрать документов для этого странного процесса, потому что требовались доказательства того, что происходило в самих комитетах, чтобы судить, до какой степени обвиненные члены были

причастны к тирании Робеспьера. Лекуэнтр мог сослаться по каждому пункту только на гласность фактов, на речи, произнесенные у якобинцев и в Конвенте, на подлинники нескольких приказов об аресте – а всё это само по себе ничего не доказывало. При каждом новом обвинении монтаньяры сердито кричали «Документы! Документы!» и не позволяли Лекуэнтру говорить, не приводя письменных доказательств. Он же, по большей части не имея возможности привести таковые, обращался к воспоминаниям собрания, спрашивал, не считали ли всегда присутствующих Бийо, д'Эрбуа и Барера во всем согласными с Робеспьером? Но это доказательство – единственно, впрочем, возможное – только показывало всю нелепость подобного процесса. С такими уликами можно было бы доказать, что Конвент являлся сообщником комитета и что вся Франция стала сообщницей Конвента.

Монтаньяры не давали Лекуэнтру договорить, кричали «Ты клеветник!» и заставляли перейти к следующему пункту. Как только он читал его, всё повторялось снова. Так Лекуэнтр дошел до двадцать шестого пункта и не сумел ничего доказать. После продолжительного и бурного заседания Конвент объявил обвинение Лекуэнтра ложью и клеветой и восстановил честь комитетов.

Эта сцена возвратила Горе всю ее энергию, а Конвенту – некоторую долю прежнего почтения к Горе. Однако Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа не захотели оставаться членами Комитета общественного спасения. Барер выбыл из него по жребии, Тальен – добровольно. Их места заняли Дельма, Мерлен из Дуэ, Кошон и Фуркруа. Итак, из членов прежнего, великого комитета оставались уже только Карно, Приёр из Кот-д'Ора и Робер Ленде. Из Комитета общественной безопасности тоже выбыла четверть членов: Эли Лакост, Вулан, Вадье и Моиз Бейль. Давид, Жаго, Лавиконтери были исключены перед тем постановлением Конвента. Приходилось назначать новых членов. Были назначены: Бурдон, депутат Уазы, Коломбель, Меоль, Клозель, Матье, Лесаж-Сено.

Одно неожиданное и совершенно случайное происшествие еще увеличило общее волнение: пороховой склад в Гренеле загорелся и взорвался. Этот страшный взрыв наполнил Париж ужасом, и все воображали, что он произошел вследствие нового заговора. Якобинцы обвиняли в нем аристократов, а аристократы якобинцев. За этим

происшествием последовало еще одно. Вечером 9 сентября (23 фрюктидора) Тальен возвращался домой. Вдруг какой-то человек, закутанный в плащ, кинулся на него со словами «Я тебя ждал! Ты не уйдешь от меня!», выстрелил в него в упор и раздробил плечо.

На следующий день в Париже опять царили шум и смятение. Мирные жители жаловались, что никому нет покоя от этих двух озлобленных партий, которые никогда не дадут покоя обществу. Одни приписывали покушение на жизнь Тальена якобинцам, другие – аристократам; иные даже говорили, что Тальен по примеру Гранжнева перед 10 августа сам велел прострелить себе плечо, чтобы обвинить в этом якобинцев и иметь предлог потребовать их роспуска. Лежандр, Мерлен из Тионвиля и другие друзья Тальена с запальчивостью бросились утверждать, что вчерашнее покушение совершено якобинцами. «Тальен, – говорили они, – не изменил делу Революции, однако есть бешеные, которые утверждают, будто он предался умеренным и аристократам. Следовательно, никак не этим последним могло прийти в голову покушаться на его жизнь; а только тем, кто его обвиняет, то есть якобинцам.

Мерлен указал на их последнее заседание и привел следующие слова Дюгема: «Жабы Болота поднимают головы; тем лучше – легче будет их срубить». Мерлен с обычной своей смелостью требовал роспуска этого знаменитого общества, которое, прибавлял он, оказало в свое время величайшие услуги, способствовало низвержению престола, но теперь, когда нет более престола, старается низвергнуть самый Конвент.

Заключения Мерлена не были приняты, но факты, по обыкновению, отослали комитетам для составления о них доклада. Так уже много раз поступали с вопросами, разделявшими партии. Были затребованы доклады по вопросам печати, ассигнаций, максимума, реквизиции, о причинах застоя в торговле, наконец, обо всем, что стало поводом к несогласиям и раздорам. Теперь решено было слить все эти доклады в один и поручить Комитету общественного спасения представить общий доклад «о настоящем положении Республики». Составление этого доклада возложили на Робера Ленде как на человека, лучше всех знакомого с положением дел, так как он был членом еще первого комитета, и наименее заинтересованного лично в этих

вопросах, так как он был занят исключительно службой отечеству, взяв на себя громадный труд заведования продовольствием и перевозками.

Этого доклада и декретов, к которым он должен был подать повод, ждали с нетерпением, а пока продолжались волнения. В саду Пале-Рояля собиралась молодежь, образовавшая движение против якобинцев. Там читали газеты и брошюры, в большом числе выходившие против недавних революционных порядков и продававшиеся в книжных лавках галерей Пале-Рояля. Часто эта молодежь разбивалась на группы и отправлялась мешать заседаниям якобинцев.

В день второй санкюлотиды^[17] составляется такая группа из молодых людей, которые, чтобы отличить себя от якобинцев, одевались тщательно, носили галстуки и получили прозвище мюскадены. Кто-то в этой группе сказал: если что случится, надо держаться Конвента, а якобинцы – лишь интриганы и злодеи. Один якобинец решил ответить на это, и завязалась драка. Прибежала гвардия, разогнала сборище, уже весьма значительное, и тем помешала общей схватке.

В день, предназначенный для доклада трех комитетов, Робер Ленде действительно прочел доклад. Печальную картину пришлось ему набросать. Изложив последовательный ход событий и успехи Робеспьера до его падения, он показал две партии: одну – состоящую из горячих патриотов, опасющихся за революцию и за себя, другую – состоящую из огорченных семейств, некоторые члены которых погибли на эшафоте или еще томились в заключении. «Неспокойные умы, – заявил Ленде, – воображают, что у правительства не хватит энергии, и всеми средствами стараются распространить свое мнение и свои опасения. Они посылают Конвенту адреса и депутации. Эти опасения безосновательны: в ваших руках правительство сохранит всю свою силу. Могут ли патриоты и общественные должностные лица бояться, чтобы оказанные ими услуги изгладились из памяти? Сколько мужества потребовалось им, чтобы принять и исполнять столь опасные должности! Но ныне Франция призывает их к их прежним трудам и занятиям, слишком надолго оставленным ими. Они знают, что должности их были лишь временными; что власть, оставаясь слишком долго в одних и тех же руках, возбуждает беспокойство, и они не

должны опасаться, что Франция предоставит их злобе или мщению».

Затем Ленде, переходя к партии пострадавших, сказал: «Возвратите свободу тем, кого ненависть, страсти и ошибки засадили в тюрьмы. Возвратите свободу земледельцам, торговцам, родственникам молодых героев, защищающих отечество. Ремесла преследовались, однако именно благодаря им вы научились ковать грома, искусство Монгольфье освещало путь армий, металлы готовились и очищались, кожи дубились и могли быть используемы через неделю. Охраняйте же их, помогайте им. Много полезных людей еще сидят в тюрьмах!»

Потом Робер Ленде представил картину земледельческого и торгового положения Франции. Он описал бедствия, причиняемые ассигнациями, максимумом, реквизициями, прекращением сношений с соседями. «Труд, – сказал он, – утратил большую область своего применения, во-первых, потому что полтора миллиона людей перенесено на границы, а толпы других людей посвятили себя междоусобной войне. Во-вторых, потому что умы, увлеченные политическими страстями, отвернулись от своих обычных занятий. Вспаханы новые земли, но многие оставлены в небрежении. Хлеб не молотят, шерсть не прядут, лен не мочат, коноплю не чешут. Постараемся помочь всем этим бедам, столь многочисленным, столь разнообразным. Возвратим мир большим приморским и промышленным городам. Пусть прекратится разрушение Лиона. С помощью мира, благоразумия и забвения жители Нанта, Бордо, Марселя, Лиона опять примутся за свои труды. Отменим законы, уничтожающие торговлю, восстановим свободное движение товаров. Пусть города, департаменты более не жалуются на правительство, которое истощило их запасы, не соблюдало должной соразмерности и неровно наложило бремя реквизиций. Жаль, что не могут они, жалующиеся, взглянуть на заявления, адреса своих сограждан из других местностей: они увидели бы те же жалобы, те же протесты, ту же энергию, внушенную теми же потребностями.

Возвратим селениям спокойствие духа и труд; возвратим рабочих в мастерские, земледельцев – на родные поля. А главное, будем стараться возвратить самим себе согласие и взаимное доверие. Перестанем укорять друг друга в наших несчастьях и ошибках. Всегда ли мы были, могли ли мы быть тем, чем хотели быть на самом деле? Нас всех

бросило на одно ристалище. Одни боролись мужественно и обдуманно; другие в пылом увлечении кидались на все преграды, которые им хотелось разрушить. Кто захочет нас допросить, потребовать у нас отчета в действиях, которые нет возможности ни предвидеть, ни направить? Революция совершена; она – дело всех. Что было с нами, чего бы не бывало со всеми людьми, отброшенными бесконечно далеко от обычного течения жизни?»

Этот доклад, столь мудрый, беспристрастный, был награжден громкими рукоплесканиями. Все одобряли выражаемые в нем чувства; желательно было бы, чтобы все могли проникнуться ими. Ленде, прочитав доклад, предложил ряд декретов, которые были встречены так же тепло, как доклад, и немедленно приняты.

Первым декретом Комитету общественной безопасности и представителям, находившимся в командировках, поручалось рассматривать жалобы торговцев, земледельцев, ремесленников, граждан, имеющих сыновей в армии, либо родственников в заключении. Другим декретом муниципалитеты и секционные комитеты обязывались мотивировать свой отказ в случаях, когда не выдавали свидетельства о гражданской благонадежности. Третьим декретом повелевалось составить нравоучительное увещание с целью опять пробудить в народе стремление к труду и просветить граждан по поводу главнейших событий Революции. Четвертым постановлялось представить проект Высшей нормальной школы (*Ecole normale superieure*).

Наконец, к этим декретам присоединялись и другие, которые комитетам финансов и торговли повелевалось рассмотреть безотлагательно:

1) О выгоде свободного вывоза предметов роскоши с условием ввозить во Францию товары всякого рода на соответствующую сумму;

2) О выгоде свободного вывоза излишков предметов первой необходимости с условием ввозить взамен другие предметы;

3) О наиболее выгодных средствах вновь пустить в обращение товары, назначавшиеся непокорным общинам и потому остановленные;

4) Наконец, о жалобах негоциантов, которые в силу закона о секвестре были обязаны вносить в окружные кассы суммы для иностранцев, граждан враждебных Франции стран.

Ясно, что эти декреты давали некоторое удовлетворение лицам,

которые жаловались на гонения, и содержали в себе некоторые меры, могущие улучшить положение торговли. Лишь якобинская партия не дождалась декрета в свою пользу; впрочем, она в таковом и не нуждалась: она не подвергалась ни гонениям, ни тюремному заключению, а только лишалась власти, следовательно, не имела права на удовлетворение.

Умы как будто поуспокоились. На следующий день, в пятую санкюлотиду и последний день года II (21 сентября 1794 года) праздновали давно уже назначенное торжество – перенос праха Марата в Пантеон на место изгоняемого оттуда праха Мирабо. Это торжество уже не согласовалось с общим настроением: Марат уже не считался настолько святым, а Мирабо – настолько преступником. Но, чтобы не испугать монтаньяров и избежать внешних признаков слишком скорой реакции, празднество не отменили. В назначенный день останки Марата были с пышностью отнесены в Пантеон, а останки Мирабо – вынесены в одну из боковых дверей.

Так власть, отнятая у якобинцев, перешла в руки последователей Дантона, Камилла Демулена, словом, снисходительных, превратившихся в термидорианцев. И между тем эти снисходительные, стараясь исправить зло, причиненное революцией, освобождая подозрительных и пробуя возвратить хоть какую-то свободу торговле, всё еще с некоторым подобострастием относились к Горе и ставили Марата на место, отнятое у Мирабо!

Глава XXXVIII

Сдача Конде, Валансьена, Ландерси и Ле-Кенуа – Успех французов на всех пунктах – Положение Вандеи и Бретани; война шуанов – Пюизе, главный агент роялистов в Бретани

Активные военные действия несколько замедлились около середины лета. Обе главные армии, Севера и Самбры-и-Мааса, вступив в Брюссель в июле, а затем, направившись одна к Антверпену, а другая на Маас, долго оставались в бездействии, дожидаясь, чтобы вновь были заняты крепости Ландреси, Ле-Кенуа, Валансьен и Конде. На Рейне генерал Мишо занимался формированием армии с целью возместить потери, понесенные им при Кайзерслаутерне, и ждал подкрепления в пятнадцать тысяч из Вандеи. Альпийская и Итальянская армии, завладев главной цепью, стояли лагерем на высотах Альп, дожидаясь утверждения плана кампании, представленного, как говорили, тем самым молодым офицером, благодаря которому последовало взятие Тулона и линии Саорджио. В Восточных Пиренеях Дюгомье, после своей последней удачи в Булу, был задержан осадой Коллиура, а теперь блокировал Бельгард. Армия Западных Пиренеев еще не организовалась. Это продолжительное бездействие, случившееся в самой середине кампании и имевшее причиной важные внутренние события, могло бы повредить французскому оружию, если бы неприятель сумел воспользоваться этим временем. Но между союзниками господствовали такие разногласия, что эта ошибка не принесла им пользы и только несколько замедлила ряд французских побед.

Ничто не могло быть хуже такого бездействия в Бельгии, в окрестностях Антверпена и на берегах Мааса. Лучшим средством ускорить взятие четырех утраченных крепостей было бы удалить от них большие армии, которые могли подать им помощь. Пользуясь беспорядком, в который повергли союзников победа при Флёрюсе и последовавшее за ней отступление, легко было бы дойти до Рейна. К несчастью, еще не знали великого искусства пользоваться победой,

искусства самого редкого, так как оно предполагает не только удачную атаку, но и обширные комбинации.

Чтобы ускорить сдачу четырех крепостей, Конвент издал свирепый декрет, наподобие тех, что выходили от прерияля до термидора. Основываясь на том, что союзники заняли четыре французские крепости и всё дозволено, чтобы удалить неприятеля со своей земли, Конвент постановил, что если спустя сутки после заявленного требования неприятельские гарнизоны не сдадутся, то по взятии крепостей они будут вырезаны все до одного. Гарнизон Ландреси сдался. Комендант Конде дал следующий прекрасный ответ: «Одна нация не имеет права декретами постановлять бесчестье другой». Ле-Кенуа и Валансьен продолжали защищаться. Комитет, чувствуя несправедливость подобного декрета, пошел на хитрость, чтобы обойти исполнение и вместе с тем не ронять достоинства Конвента, заставляя его отменить декрет. Предположили, что декрет, не будучи формально сообщен комендантам этих крепостей, им неизвестен, и приказали генералу Шереру, прежде чем сообщать его, провести осадные работы с такой энергией, чтобы, когда последует сообщение, она могла служить оправданием капитуляции. Действительно, Валансьен сдался 29 августа, Конде и Ле-Кенуа – в последующие дни.

Эти крепости, так дорого стоившие союзникам в предыдущую кампанию, были возвращены Франции без больших усилий, и у неприятеля не осталось ни одного пункта на французской территории в Нидерландах, тогда как французы, напротив, занимали всю Бельгию, от Мааса до Антверпена.

Моро между тем взял Л'Эклюз и опять стал в линию. Шерер послал Пишегрю бригаду Остена, а сам со своей дивизией примкнул к Журдану. Благодаря этому соединению Северная армия под началом Пишегрю дошла до 70 с лишним тысяч человек, а армия Мааса под началом Журдана – до 116 тысяч. Администрация, истощенная усилиями, которые потребовались, чтобы быстро экипировать эти армии, недостаточно успешно снабжала их всем необходимым. Этот недостаток пополнялся реквизициями, производимыми с умеренностью, и доблестью военных. Солдаты научились обходиться без самого необходимого, они уже не имели палаток, а устраивались под шалашами из ветвей. Офицеры, не получая жалованья или получая его

ассигнациями, жили как простые солдаты, ели тот же хлеб, так же ходили пешком, так же несли за плечами ранец. Республиканская восторженность и победы поддерживали эти войска, храбрее которых Франция никогда не имела.

Союзники находились в крайнем расстройстве. Голландцы, находя плохую поддержку в англичанах и сомневаясь в их искренности, пришли в уныние. Они составляли кордон перед своими крепостями, чтобы иметь возможность подготовить их к обороне, тогда как это должно было быть сделано давно. Герцог Йоркский, столь же невежественный, сколь и самонадеянный, не знал, как использовать своих англичан, и ни на что окончательно не решался. Он отступал к Нижнему Маасу и Рейну, растягивая свои фланги то к голландцам, то к австрийцам. Между тем, соединись он с голландцами, он мог бы еще располагать 50 тысячами и попытаться произвести атаку против флангов одной из двух армий.

Австрийцы стояли, укрепившись, вдоль Мааса, утратив бодрость вследствие понесенных неудач, и терпели недостаток в продовольствии. Принц Кобургский, потерявший всякое доверие после неудачной кампании, уступил руководство армией Клерфэ, наиболее достойному из австрийских военачальников. Еще можно было сблизиться с герцогом Йоркским и действовать вместе против одной из двух французских армий, но австрийцы думали только о том, чтобы охранять Маас. Лондонский кабинет, встревоженный таким поворотом дел, отправлял посланника за посланником, чтобы оживить усердие Пруссии, требовать от нее исполнения Гаагского договора и убедить Австрию энергично защитить хотя бы ту линию, которую ее армии еще занимали. Послы и генералы – английские, голландские и австрийские – собрались в Маастрихте и решили защищать берега Мааса.

Французские армии опять пришли в движение в первых числах сентября. Пишегрю двинулся из Антверпена к дельте Мааса и Рейна. Голландцы совершили большую ошибку: отделились от англичан. В количестве 20 тысяч человек они выстроились вдоль Берген-оп-Зома, Бреды, Гертруденберга, с морем за спиной, в позиции, не позволявшей ничего сделать для крепостей, которые они хотели прикрыть. Герцог

Йоркский со своими англичанами и ганноверцами отступил в Буале-Дюк, связавшись с голландцами посредством цепи постов, которую французская армия могла разбить быстро и легко. Пишегрю догнал арьергард герцога Йоркского, окружил два батальона и захватил их. На следующий день он встретил генерала Эберкрамби, захватил много пленных и продолжал теснить с тыла герцога Йоркского, который спешил перейти Маас у города Граве, под огнем этой крепости. Всего Пишегрю в этом походе взял в плен 1500 человек. Он пришел на берег Мааса в день второй санкюлотиды, 18 сентября.

Тем временем Журдан шел вперед со своей стороны и готовился перейти Маас. Эта река имеет два больших притока: Урт, впадающий в нее около Люттиха, и Рур, впадающий близ Рурмонда. Эти притоки образуют две линии, разделяющие местность между Маасом и Рейном, и их нужно взять одну за другой, чтобы дойти до этой последней реки. Французы, завладев Люттихом, перешли Маас и уже стали перед Уртом. Они стояли вдоль Мааса от Люттиха до Маастрихта, а вдоль Урта от Люттиха до Комблен-о-Пон, образуя угол. Клерфэ выстроил свое левое крыло за Уртом на Спримонских высотах. Эти высоты окаймлены с одной стороны Уртом, с другой – речкой Эвай, впадающей в Урт. Там генерал Латур командовал австрийцами.

Журдан приказал Шереру атаковать спримонскую позицию со стороны реки Эвай, пока генерал Бонне двинется туда же, переходя Урт. В день второй санкюлотиды Шерер разделил свой корпус на три колонны под командованием генералов Марсо, Мейера и Акена и подошел к берегу реки Эвай, текущей по глубокому руслу между крутыми берегами. Генералы сами подали пример, вошли в воду и вывели своих солдат на противоположный берег, несмотря на жаркий огонь многочисленных орудий.

Латур неподвижно стоял на Спримонских высотах, готовясь ринуться на французские колонны, как только они перейдут реку. Но едва выбравшись на берег, они сами стремительно ринулись на его позицию, не дав времени предупредить движение. В это время Акен огибал его левый фланг, а Бонне, перейдя Урт, шел на него с тыла. Латур обнаружил себя вынужденным снять лагерь и отступить к австрийской армии.

Это сражение, хорошо задуманное и живо исполненное, принесло

столько же чести главнокомандующему, сколько и армии. Оно доставило тридцать шесть орудий и сто зарядных ящиков, неприятелю стоило 1500 человек убитыми и ранеными и вынудило Клерфэ оставить линию Урта. Он боялся, чтобы ему не отрезали отступление в Кельн, поэтому удалился с берегов Мааса и Урта и отошел к Аахену.

У австрийцев теперь оставалась только линия Рура. Они заняли эту реку до впадения ее в Маас, то есть до Рурмонда, и уступили всю ту часть Мааса, которая заключается между устьями Урта и Рура, между Люттихом и Рурмондом, а себе оставили только протяжение от Рурмонда до Граве, пункта соединения их с герцогом Йоркским.

Чтобы не потерять левый берег Рейна, следовало хорошо защитить линию Рура. Клерфэ сосредоточил все свои силы на берегах этой реки и предпринял значительные работы, чтобы обезопасить эту линию: выставил передовые посты за Рур на плоской возвышенности Альденхофен, снабдив ее укреплениями; потом он занял линию самого Рура с его крутыми берегами, а сам стал за этой линией.

Первого октября 1794 года (10 вандемьера года III) Журдан со всеми своими войсками явился перед неприятелем. Он приказал генералу Шереру, командующему правым крылом, двинуться к Дюрену, переходя при этом Рур на всех пунктах, где это можно было сделать вброд; генералу Атри – пройти к самому центру позиции, в Альтроп; дивизиям Шампионне и Морло, поддерживаемым кавалерией, – взять приступом Альденхофенскую возвышенность, очистить равнину, перейти реки и заслонить Юлих так, чтобы австрийцы не могли оттуда выйти; Лефевру – завладеть Линнихом и перейти все броды, имеющиеся в окрестностях; наконец, Клеберу, находившемуся около самого устья Рура, – подняться вверх по течению до Ратема и перейти реку на этом дурно защищаемом месте, чтобы служить сражающимся прикрытием со стороны Рурмонда.

На следующий день французы двинулись по всей линии. Сто тысяч юных республиканцев шли в порядке и с точностью, каких не устыдились бы самые опытные солдаты. Они еще никогда не действовали в таком числе на одном поле битвы. Армия шла к реке Рур, главной цели движения. К несчастью эта цель была не близко, и французы достигли ее не ранее полудня. Генерал, по мнению военных,

совершил ошибку — впрочем единственную, — выбрав точку отправления слишком отдаленную от точки атаки и не оставив еще одного дня на то, чтобы подойти ближе к неприятелю. Шерер, командовавший правым крылом, направил свои бригады к разным пунктам Рура и приказал генералу Акену перейти эту реку гораздо выше, через брод при Виндене, чтобы обогнуть левый фланг неприятеля. Было одиннадцать часов, когда он сделал это распоряжение. Акену потребовалось на этот обход много времени. Шерер ждал его прихода, чтобы двинуть свои дивизии вброд через Рур, и таким образом оставлял Клерфэ время подготовиться.

Было уже три часа. Наконец Шерер решается не ждать дольше и велит двинуться. Марсо бросается со своими войсками в воду и переходит реку близ Мари-явайлера; Лорж делает то же близ Дюрена, откуда выгоняет неприятеля после кровопролитного боя. Австрийцы, однако, ненадолго покидают Дюрен и скоро возвращаются со значительными силами. Марсо бросается к Дюрену поддержать бригаду Лоржа. Мейер, перешедший Рур немного выше и встреченный убийственным огнем, тоже направляется к Дюрену. Неприятель, до сих пор пускавший в ход только свои авангарды, стоит позади на возвышенностях с шестьюдесятью орудиями. Вдруг вся эта артиллерия начинает забрасывать молодых французских солдат картечью и ядрами. Они храбро держатся, ободряемые генералами. К несчастью, Акен всё еще не подходит с левого фланга неприятеля, а именно его появление могло решить исход сражения.

В то же время битва шла и в центре, при Альденхо-фене. Тут французы пошли на штыки. Кавалерия развернулась, и последовало несколько атак с обеих сторон. Австрийцы, видя, что река перейдена и выше и ниже, бросили альденхофенскую позицию и отступили в Юлих, за реку. Шампионне, следовавший за ними, стрелял из своих пушек, а из крепости стреляли в него. Лефевр поразил австрийцев при Линнихе, затем дошел до Рура, но найдя мост сожженным, занялся его восстановлением.

Итак, решительное сражение происходило близ Дюрена, с правой стороны, где собрались Марсо, Лорж и Мейер, которые всё еще ждали движения Акена. Журдан приказал Атри тоже подойти к Дюрену, но ему было слишком далеко идти, чтобы его колонна могла принести

пользу. Наконец, в пять часов вечера Акен появляется на левом фланге Латура. Тогда австрийцы, угрожаемые слева Акеном, а с фронта Лоржем, Марсо и Мейером, решаются отступить и стягивают свое левое крыло, то самое, которое сражалось при Спримоне. На крайнем правом крыле Клебер угрожает им смелым движением. Мост, который он собирался перекинуть через реку, оказался короток, и солдаты вызвались перейти реку вброд. Клебер, чтобы поддержать их, собрал всю свою артиллерию и открыл огонь по неприятелю, стоявшему на том берегу. Солдатам союзников и тут пришлось отступить, а вскоре затем они удалились и со всех прочих пунктов, отказавшись от Рура, оставив 800 пленных и 3 тысячи убитых и раненых.

На другой день французы нашли Дюреи очищенным и смогли перейти Рур на всех пунктах. Это замечательное сражение окончательно отдало во власть французов левый берег Рейна. Ни одним сражением генерал Журдан не заслужил большей признательности своего отечества и уважения специалистов. Только за одно критики порицают его: за то, что он не избрал точки отправления поближе к точке атаки и не двинул главных своих сил в Дюреи и Мариявайлер.

Клерфэ отправился в Кельн по большой дороге. Журдан последовал за ним и занял этот город 6 октября (15 вандемьера), а Бонне – 20 октября (29 вандемьера); Клебер вместе с Мареско отправился осадить Маастрихт.

Пока Журдан так доблестно исполнял свою задачу и овладевал столь важной линией Рейна, Пишегрю, со своей стороны, готовился перейти Маас, чтобы пройти к Ваалу, одному из главных рукавов Рейна около его устья. Как мы знаем, герцог Йоркский перешел Маас при Граве, предоставляя Буале-Дюк собственным силам. Прежде чем попытаться перейти Маас, Пишегрю должен был взять Буале-Дюк, а это было нелегко в это время года и при недостаточности осадного материала. Но отвага французов и уныние неприятеля делали возможным всё.

Форт Кревкёр, близ Мааса, угрожаемый ловко направленной батареей, сдался. Найденные там военные припасы послужили к осаде Буале-Дюка. Пять приступов, последовавших один за другим, испугали коменданта, и он сдал крепость 10 октября (17 вандемьера). Этот

неожиданный успех доставил французам прочную базу для операций и значительное количество военных припасов для отправки за Маас до берегов Ваала.

Моро со своим правым флангом добрался после победы на Урте и Руре до Венло. Герцог Йоркский, испугавшись этого движения, отвел свои войска за Ваал и оставил пространство между Маасом, Ваалом и Рейном. Однако заметив, что Граве останется без сообщений и поддержки, он перешел Ваал обратно и решил защищать пространство между этими двумя реками. Почва, как это всегда бывает около устьев больших рек, лежала ниже уровня вод; местность представляла собой обширные луга, пересекаемые каналами и гатями, местами находящимися под водой. Генерал Гаммерштайн, стоявший между Маасом и Ваалом, еще увеличил затруднительность прохода, перерезав дороги, прикрыв плотины артиллерией и перебросив через каналы мосты, которые его армия должна была разрушать, отступая. Он составлял авангард герцога Йоркского.

Пишегрю перевел две свои дивизии через Маас 18 и 19 октября (27 и 28 вандемьера). Англичане, стоявшие под пушками Нимвегена, и авангард Гаммерштейна, расположенный вдоль каналов и плотин, находились слишком далеко, чтобы помешать этому переходу. Остальная армия вышла на берег под прикрытием этих двух дивизий. Девятнадцатого числа Пишегрю решился атаковать войска, прикрывавшие пространство между Маасом и Ваалом. Он двинул в эти наводненные и пересекаемые каналами луга четыре сильные колонны. Французы с редким мужеством встретили огонь артиллерии и бросились в канавы, то есть в воду по плечи, между тем как стрелки поддерживали ружейный огонь над их головами, с края канав. Неприятель отступил, заботясь только о спасении своей артиллерии, и искал убежища в лагере под Нимвегеном, на берегах Ваала; французы не давали ему покоя.

Итак, в Голландии, как и в Люксембурге, французам наконец посчастливилось занять грозную линию Рейна, которую как бы сама природа назначила границей их прекрасному отечеству и которой они всегда добивались.

Со времени урона при Кайзерслаутерне армии Мозеля и Верхнего

Рейна под началом Мишо подкрепляли себя отрядами из Альп и Вандеи. Они попытались атаковать вдоль всей линии 2 июля (14 мессидора), но эта атака, вследствие слишком большой раздробленности, не имела успеха. Другая попытка, на более правильных основаниях, была сделана 13 июля. Главный удар был направлен против центра Вогезов и имел следствием, как всегда, общее отступление союзных армий. Тогда комитет велел совершить маневр против Трира, и город этот был взят. Этим движением один из главных корпусов вонзился клином между имперскими армиями Нижнего Рейна и прусской армией Вогезов.

Пруссакі наконец воспользовались уменьшением французских сил в стороне Кайзерслаутерна и неожиданно напали на них. К счастью, Журдан только что одержал победы на Руре, а Клерфэ перешел Рейн при Кельне. Союзники не решились после этого остаться в Вогезах. Они отступили, оставив французам весь Пфальц, и бросили сильный гарнизон к Майнцу. Стало быть, на левом берегу у них оставались только Люксембург и Майнц, и комитет тотчас же велел блокировать этот город. Клебер был отозван из Бельгии в Майнц, чтобы предпринять осаду той самой крепости, которую он защищал в 1793 году и где стал впервые известен. Следовательно, завоевания Франции достигали Рейна со всех сторон.

В Альпах бездействие продолжалось, и главная цепь осталась в руках французов. План вторжения, придуманный генералом Бонапартом и сообщенный комитету Робеспьером, был утвержден. Он заключался в том, чтобы соединить обе армии, Итальянскую и Альпийскую, в долине Стурии и вторгнуться в Пьемонт. Приказ о выступлении в поход уже был дан, когда случилось 9 термидора и исполнение приостановили. Коменданты крепостей, которые должны были уступить часть своих гарнизонов, представители, муниципалитеты и все сторонники реакции стали кричать, что этот план имеет целью погубить армию, забросив ее в Пьемонт, раскрыть Тулон англичанам и помочь тайным замыслам Робеспьера. Жанбон Сент-Андре, посланный в Тулон приводить в порядок флот и кое-что замышлявший против Средиземного моря, выказал себя яростным противником этого плана. Молодого Бонапарта даже обвинили в сообщничестве с Робеспьером на основании доверия,

которое его талант и планы внушили младшему из братьев.

Армия в беспорядке вернулась к главной цепи, где опять стала на прежние позиции. Однако кампания окончилась блестящим успехом. Австрийцы, сговорившись с англичанами, хотели устроить попытку против Савоны, чтобы отрезать сообщение с Генуей, которая, будучи нейтральной, оказывала большие услуги торговле продовольствием. Генерал Коллоредо с корпусом в 8—10 тысяч человек двинулся с места, но не торопился и дал французам время подготовиться. Захваченный среди гор самим Бонапартом, он потерял восемьсот человек и позорно ушел, обвиняя англичан, которые, в свою очередь, обвиняли его. Сообщение с Генуей было восстановлено, и армия утвердилась на всех своих позициях.

В Пиренеях продолжались успешные операции. Дюгомье всё еще осаждал Бельгард, желая взять эту крепость, прежде чем спуститься в Каталонию. Ла-Унион хотел помочь осажденным общей атакой против французской линии, но, получив везде отпор, вынужден был удалиться, и город, придя в еще большее уныние, сдался 27 сентября (6 вандемьера). Дюгомье, не беспокоясь насчет тыла, готовился двинуться в Каталонию. В Западных Пиренеях французы, выйдя наконец из бездействия, вторглись в долину Бастан, взяли Хондарибию и Сан-Себастьян и благодаря климату этих мест собирались, как в Восточных Пиренеях, продолжать военные действия, несмотря на приближение зимы.

В Вандее война всё еще тянулась, медленная и опустошительная. После смерти Ларошжаклена Стоффле сделался его преемником в Анжу и Верхнем Пуату. Сапино командовал маленьким отрядом центра. Шаретт, прославившийся кампанией истекшей зимы, состоял начальником Нижней Вандеи, но домогался общего начальства над всеми. Вожди собрались в Жале и заключили там взаимный договор по наущению аббата Бернье, друга и советника Стоффле, управлявшего краем от его имени. Аббат этот был так же честолобив, как Шаретт, и ему хотелось устроить комбинацию, которая дала бы возможность приобрести влияние над всеми вождями.

Решили составить верховный совет и впредь делать всё согласно распоряжениям этого совета. Стоффле, Сапино и Шаретт взаимно

утвердили друг за другом начальство в Анжу и в Средней и Нижней Вандее.

Война эта, без всякого уже возможного результата, сводилась к опустошению края. Республиканцы расставили по всей территории четырнадцать укрепленных лагерей. Из этих лагерей отправлялись отряды для поджога лесов. Жгли не только леса, но и изгороди, вереск и дрок, часто даже деревни, забирали жатву и скот и, основываясь на декрете, со всеми встречными поступали как с врагами. Вандейцы, которым надо было как-то существовать, продолжали среди этих ужасов возделывать свои поля и своим сопротивлением удлинляли войну. По сигналу вождей они неожиданно собирались, нападали на лагерь с тыла и нередко захватывали их или же, дав колоннам зайти подальше, кидались на них. А если уж им удавалось разбить республиканцев, они убивали всех до последнего человека. Затем они забирали себе оружие и, в сущности, нисколько не ослабив врага, слишком превышавшего их силой, всё же добывали средства продлить безнадежную и бесчеловечную борьбу.

В таком-то положении были дела на левом берегу Луары. На правом берегу, в той части Бретани, которая помещается между Луарой и рекой Вилен, образовался новый лагерь, по большей части из остатков вандейской колонны, истребленной при Савене, и поселян. Главой этой толпы был некто де Сепо. Этот корпус был приблизительно равен корпусу Сапино и служил связующим звеном между Вандеей и Бретанью.

Бретань тоже сделалась театром войны, только совсем другой, хоть и не менее ужасной. Шуаны, о которых мы уже упоминали, состояли из контрабандистов, оставшихся без дела, молодых людей, не захотевших покориться военной реквизиции, и нескольких вандейцев, уцелевших, подобно де Сепо, после Савене. Они просто разбойничали среди скал и в обширных лесах Бретани, особенно в громадном Пертрском лесу. Они не собирались, подобно вандейцам, большими отрядами, способными действовать в открытом поле, а передвигались шайками по тридцать, пятьдесят человек, останавливали курьеров, дилижансы, убивали мировых судей, мэров, республиканских чиновников, в особенности – покупателей национальных имуществ. К тем же, кто не покупал, а только арендовал имущества, они приходили в дом и заставляли их

платить арендные деньги. Шуаны ломали мосты, портили дороги, подрезали оси телег, чтобы препятствовать подвозу в города продовольствия. Они пугали людей, возивших продукты на рынки, и не только пугали, а жгли и грабили их фермы. Не имея возможности военным порядком занять край, они явно поставили себе цель держать его в постоянном беспорядке. Менее согласные между собой, менее сильные, чем вандейцы, шуаны, однако, были опаснее и вполне заслуживали названия разбойников.

У них был тайный глава, о котором мы уже упоминали, – некто Пюизе, бывший член Учредительного собрания. После 10 августа он уехал в Нормандию, участвовал в федералистском восстании и после поражения при Верноне укрылся в Бретани. К большому уму, к редкой способности собирать элементы партии он присоединял крайнюю умственную и телесную энергичность и большое честолюбие. Его поразило положение Бретани как полуострова, значительное протяжение ее берегов, своеобразие края, покрытого лесами, горами, непроходимыми потоками; еще больше поразили его первобытные обычаи обитателей, говоривших на чужом языке, поэтому лишенных возможности общения с жителями остальной Франции, всецело подчиненных влиянию духовенства и втрое или вчетверо более многочисленных, чем вандейцы.

На основании всех этих данных Пюизе возымел мысль подготовить в Бретани восстание гораздо более страшное, чем то, вождями которого были такие люди, как Кателино, д'Эльбе, Боншан, Лескюр или Ларошжаклен. Соседство с Англией, удобные пункты, каковыми представлялись острова Гернси и Джерси, внушили Пюизе мысль привлечь Сент-Джеймский кабинет к участию в его планах. Ему не хотелось, чтобы энергия края тратилась на мелкие бесполезные разбои, и он старался организовать всё так, чтобы держать весь край в своих руках. С помощью духовенства Пюизе распорядился завербовать всех людей, способных носить оружие, и внести их в реестры, открытые во всех приходах. Каждый приход образовал группу, каждый округ – отряд; все отряды образовали четыре главных батальона: Морбиганский, Финистерский, Кот-дю-Нор и Иль-и-Вилен. А всеми этими батальонами управлял центральный комитет, представлявший собой верховную власть края.

Пюизе председательствовал в этом комитете в качестве главнокомандующего, а посредством этих разветвленных отрядов рассылал свои приказания по всему краю. Он советовал, впредь до осуществления его обширных замыслов, совершать как можно меньше враждебных действий, чтобы не привлечь в Бретань слишком много войск, удовольствоваться тем, чтобы собирать военные припасы и чинить помехи доставлению продовольствия в города. Но шуаны вовсе не годились для замышляемой общей войны, а продолжали разбойничать врассыпную, как кому было выгоднее и приходилось больше по вкусу. Пюизе между тем спешил довершить начатое дело и намеревался, лишь только окончательно организует свою партию, отправиться в Лондон и там открыть переговоры с английским правительством и французскими принцами.

Как мы видели в предыдущей кампании, вандейцы еще не входили в сообщение с иностранцами. К ним от эмиграции был прислан некто де Тентеньяк, уполномоченный посмотреть, кто они, сколько их, какие у них цели, и предложить оружие и помощь, если шуаны завладеют каким-нибудь портом. Это-то и заставило их прийти в Гранвиль и решиться на столь несчастливо закончившуюся попытку. Эскадра лорда Мойры, понапрасну крейсировавшая близ берегов, увезла в Голландию помощь, назначавшуюся вандейцам. Пюизе надеялся вызвать еще одну экспедицию и договориться с принцами, которые до сих пор еще ничем не поощрили роялистов, воевавших за них во Франции, ничем не выказывали им даже признательности.

Принцы, со своей стороны, мало надеясь на поддержку иностранных держав, начинали обращать взоры на своих приверженцев во Франции. Несколько старых вельмож, несколько старых друзей последовали за графом Прованским, который, провозгласив себя регентом, жил в Вероне с тех пор, как на Рейне стало жить невозможно. Принц Конде, храбрый, но не очень сообразительный, продолжал собирать на Верхнем Рейне всех желающих сражаться. Граф д'Артуа путешествовал со свитой из блестящей и знатной молодежи и заехал даже в Санкт-Петербург, где императрица Екатерина торжественно приняла его, подарила фрегат, миллион деньгами, шпагу и отдала храброго графа Вобана, чтобы он помог графу д'Артуа применить все

эти дары в деле. Кроме того, она обещала графу более действенную помощь, лишь только он высадится в Вандее. Высадки, однако, не последовало, и граф д'Артуа возвратился в Голландию, в главную квартиру герцога Йоркского.

Положение трех французских принцев было далеко не блестящим и не счастливым. Австрия, Пруссия и Англия не признали регента, потому что признание другого, а не действительно существующего государя равнялось бы вмешательству во внутренние дела Франции, чего ни одна держава не хотела брать на себя открыто. Особенно теперь, будучи побиты, все державы делали вид, будто взялись за оружие исключительно ради собственной безопасности. Признание регента к тому же представляло еще одно большое неудобство: это значило обязаться не заключать мира иначе как после низвержения Республики, а на это низвержение уже не слишком рассчитывали.

Пока же державы терпели у себя агентов принцев, но не признавали за ними гласного титула и прав.

Герцог д'Аркур в Лондоне, герцог Гавр в Мадриде, герцог Полиньяк в Вене передавали ноты, которые едва прочитывались и не пользовались вниманием; агенты эти стали, скорее, посредниками в весьма редкой помощи, оказываемой эмигрантам, нежели послами признанной державы. Зато при трех эмигрантских дворах господствовало крайнее неудовольствие союзными державами. Эмигранты начинали понимать, что всё это благородное усердие коалиции в отношении дела монархии скрывало сильнейшую ненависть к Франции. Австрия, водрузив свое знамя на крепостях Валансьена и Конде, лишь вызвала, по мнению эмигрантов, решительный порыв патриотизма. Пруссия, мирные склонности которой более не составляли тайны, изменяла всем своим обязательствам. Питт, относившийся к эмигрантам наиболее пренебрежительно из всех союзников, был им всех ненавистнее. Его называли не иначе как коварный англичанин и говорили, что надо брать у него деньги, а затем обманывать его где только можно. Эмигранты находили, что рассчитывать можно на одну только Испанию, что лишь она поступает как верная родственница и искренняя союзница.

Эти три маленьких эмигрантских двора, так плохо ладившие с державами, и между собою ладили не лучше. Вялый веронский двор

отдавал эмигрантам приказы, которых никто не слушал, делал кабинетам сообщения, которым никто не внимал, относился с недоверием к двум другим дворам, ревновал к деятельной роли принца Конде на Рейне, к уважению, которым он пользовался у кабинетов вследствие своей храбрости, и даже завидовал путешествиям графа д'Артуа по Европе. Принц Конде, со своей стороны, не хотел знать ни о каких планах и выказывал мало уважения к обоим не сражающимся дворам. Наконец, маленький двор, собравшийся в Арнеме, сторонился и той жизни, которая велась на Рейне, и высшей власти, которой надо было подчиняться в Европе, и укрывался в английской Генеральной квартире под предлогом составления замыслов против Франции.

Жестокий опыт научил французских принцев, что они не должны рассчитывать на врагов своего отечества для восстановления престола, и потому они стали поговаривать, что отныне не следует ни на кого полагаться, кроме роялистов, оставшихся во Франции, и Вандеи. Опять начались контакты эмигрантов с местными приверженцами монархии. Веронский двор через посредство графа д'Антрега переписывался с неким Леметром, интриганом, бывшим попеременно адвокатом, секретарем совета, арестантом в Бастилии и теперь наконец попавшим в агенты принцев. С ним заодно действовали некто Лавиль-Гёрнуа, бывший рекетмейстер^[18], раболепно служивший Калонну, и аббат Бротье, наставник племянников аббата Мори. У этих интриганов выспрашивали подробности о положении Франции, о партиях, об их намерениях и требовали подробностей заговоров. Они посылали сведения, по большей части лживые, хвастали своими мнимыми отношениями с главными лицами правительства и всеми силами старались убедить принцев, что всего можно ждать только от внутреннего движения. Им было поручено сноситься с Вандеей и в особенности с Шареттом, который благодаря своему упорному сопротивлению сделался героем роялистов, но с которым пока не представлялось возможности открыть переговоры.

Таково было положение роялистской партии во Франции и вне Франции. Она вела в Вандее войну, малоопасную по результатам, но крайне прискорбную по сопровождающим ее опустошениям; она задумывала в Бретани обширные планы, но отдаленные, притом

подчиненные трудноисполнимому условию: согласию и стройной совокупности действий множества лиц. Вне Франции она была разделена, не пользовалась ни уважением, ни поддержкой и, разочаровавшись наконец в надежности иностранной помощи, заводила с отечественными роялистами бестолковые переговоры.

Стало быть, Республике не были страшны усилия ни Европы, ни монархии. За исключением тяжелого чувства, внушаемого вандейскими военными экзекуциями, она имела все поводы поздравлять себя с блестящими успехами. Едва спасшись в предыдущем году от иноземного нашествия, Франция в году нынешнем отомстила завоеваниями; завладела Бельгией, голландским Брабантом, Люксембургом, Люттихом с окрестностями, Трирским курфюршеством, Пфальцем, Савойей, Ниццей, одной крепостью в Каталонии, долиной Бастан – то есть одновременно угрожала Голландии, Пьемонту и Испании. Вот какие результаты принесли усилия знаменитого Комитета общественного спасения.

Глава XXXIX

Новые нравы; партия термидорианцев, золотая молодежь; парижские салоны – Декреты по финансовой части, изменение законов о максимуме и реквизициях – Возвращение в Конвент семидесяти трех депутатов – Судебное преследование Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера

Пока на границах совершались события, описанные нами в предыдущей главе, Конвент продолжал заниматься реформами. Депутаты, на которых возложили преобразование администраций, разъезжали по Франции, сокращая число революционных комитетов, составляя их из новых лиц, арестовывая как сообщников Робеспьера тех из прежних членов, которые слишком отличились своим неистовством, сменяя муниципальных чиновников, преобразовывая народные общества и исключая из них наиболее опасных людей.

Эта чистка не всегда производилась беспрепятственно. В Дижоне, например, революционная организация была сплочена так крепко, как нигде. Одни и те же лица состояли членами революционного комитета, муниципалитета и народного общества и держали город в постоянном трепете. Они самовластно сажали в тюрьму и местных жителей, и проезжих, вносили в список эмигрантов всех, кого им было угодно, и так застращали секции, что те не смели без их соизволения выдавать свидетельства о проживании.

Сверх того, они составили нечто вроде ополчения, назвав себя революционной армией, и принуждали коммуну платить себе жалованье. Они шатались по заседаниям клуба и кутили на оргиях, где не дозволялось пить из других сосудов, кроме церковных, проматывая вдвое больше того, что получали в виде жалованья. Они переписывались с лионскими и марсельскими якобинцами и часто служили им посредниками для сношений с парижскими. Депутату Калесу лишь с величайшим трудом удалось распустить эту коалицию. Он сменил все революционные власти, затем отобрал двадцать или тридцать членов клуба из наиболее умеренных и поручил им

окончательную очистку клуба.

В провинциях революционеры, изгоняемые из муниципалитетов, поступали так же, как в Париже: они удалялись в Клуб якобинцев. Если клуб уже был очищен, они опять поселялись в нем после отъезда представителей или образовывали другой. Там они произносили речи, еще неистовее прежних. Дижонские якобинцы отправили парижским провокационный адрес. В Лионе они составляли не менее опасную силу, и, так как город еще находился под тяжестью ужасных декретов Конвента, депутаты не могли свободно принимать решения.

В Марселе якобинцы выказали еще большую дерзость: соединяя со свирепостью, свойственной партии, бешеный местный характер, они собрались большой толпой, окружили здание, в котором обедали депутаты, и отправили к ним посланцев, которые, явившись с пистолетами и обнаженными саблями, потребовали освобождения арестованных патриотов. Депутаты вели себя с величайшей твердостью, однако чуть не были зарезаны, потому что их не поддерживали надлежащим образом жандармы, которые постоянно потворствовали жестокостям недавних правителей и наконец сами стали считать себя причастными к ним и ответственными за них. К счастью, несколько батальонов из Парижа, находившихся в то время в городе, подоспели вовремя, выручили представителей и разогнали толпу.

В Тулузе якобинцы тоже устраивали беспорядки. Четырьмя главными лицами города стали директор почты, окружной секретарь и два комедианта, главы революционной партии. Они образовали комитет надзора над всем Югом и простирали свою тиранию гораздо дальше Тулузы.

Они воспротивились реформам и арестам, производимым по распоряжениям депутатов, подняли на ноги народное общество и имели нахальство заставить его заявить, что представители лишились доверия народа. Однако вскоре бунтари были побеждены и посажены в тюрьму со своими главными сообщниками.

Такие сцены повторялись везде с большими или меньшими проявлениями насилия — в зависимости от характера жителей той или другой провинции. А всё же якобинцев везде удавалось подавить. Парижские якобинцы пребывали в величайшем страхе. Они видели, что вся столица восстала против них; узнавали, что в департаментах

общественное мнение хоть высказывалось и не так легко, как в Париже, однако везде оказалось также против них. Они знали, что их везде называют каннибалами, сообщниками и последователями Робеспьера. Якобинцы чувствовали за собою, правда, опору в виде толпы уволенных служащих и пламенного меньшинства, нередко одерживающего верх в секциях, даже части членов самого Конвента; но их все-таки сильно пугало движение умов, и они уверяли, что составилась заговор, имеющий целью роспуск народных обществ, а за ними и уничтожение Республики.

Якобинцы написали провинциальным обществам адрес, в котором они продолжали демонстрировать глубокое почтение к национальному представительству. На одном из своих заседаний они даже выдали Комитету общественной безопасности одного из своих членов за то, что тот сказал, что главные заговорщики против свободы заседают в Конвенте.

Партия противников якобинцев между тем с каждым днем забирала больше силы и смелости. Она уже обзавелась своими цветами, особыми правами, местами для сборищ и лозунгами. В начале она состояла, как мы выше сказали, из молодых людей, принадлежавших к претерпевшим гонения семействам или к ушедшим от реквизиции. К ним присоединялись женщины: прошлую зиму они провели в страхе и ужасе, эту зиму хотели повеселиться. Приближался декабрь: женщинам не терпелось сменить бедность, простоту, даже неопрятность, которые из самосохранения стали всеобщими при терроре, на блестящие наряды, светскую жизнь и празднества. Женщины объединились с этими юными врагами свирепой демократии; подстрекали их рвение, требовали от них вежливости и изысканности в одежде. Мода опять вступала в свои права. Следовало носить заплетенные косы, которые прикреплялись к затылку гребнем. Эту моду заимствовали у военных, которые так убрали волосы, чтобы защитить голову от сабельных ударов; она означала, что человек, так носивший волосы, участвовал в недавних победах.

Стали носить большие галстуки, высокие воротники, черные или зеленые, в подражание шуанам, а главное — креп на одной руке, в качестве обозначения родственной связи с жертвами Революционного трибунала. Странная смесь идей, воспоминаний, мнений проявилась у

этой золотой молодежи. Вечерами в гостиных, которые опять начинали обретать прежний блеск, молодые люди, отличившиеся отвагою в секциях, в Пале-Рояле или Тюильрийском саду, награждались похвалами так же, как писатели, которые в тысяче ежедневных листов и брошюр преследовали своими саркастическими заметками революционную сволочь. Фрерон стал вождем журналистов; он был редактором «Оратора народа», газеты, скоро приобретшей большую популярность. Эту газету читала вся золотая молодежь и черпала в ней сведения и инструкции на каждый день.

Театры еще не были открыты; актеры «Комеди Франсез» всё еще сидели в тюрьме. За неимением этого сборного места посещали концерты в театре Фейдо: певец Тара своим прелестным голосом уже начинал пленять парижан. Там собиралось всё то общество, которое можно было назвать тогдашней аристократией: кое-кто из дворян, не выехавших из Франции, богачи, снова дерзавшие показываться, подрядчики и поставщики, уже не боявшиеся грозной строгости комитетов. Женщины появлялись в театре в костюмах, которым они старались, следуя тогдашней моде, придать античный характер. Они давно уже бросили пудру и фижмы и носили в волосах узкие ленточки; платья походили на простые греческие туники; вместо башмаков с высокими каблуками носили сандалии, которые мы видим на древних статуях: легкая подошва прикреплялась к ноге ленточками. Молодые люди с подобранными волосами и черными воротниками наполняли партер театра Фейдо и иногда аплодировали особенно нарядным дамам, которые украшали собой эти собрания.

Из женщин, вводивших новую моду, самой красивой и более всех окруженной поклонниками была госпожа Тальен; ее салон был самым блестящим и популярным. Она была дочерью испанского банкира Кабаррюса, а первым ее мужем был президент прежнего суда в Бордо, так что она составляла, так сказать, связующее звено между людьми старого и нового режима. Тереза Тальен восстала против террора из личного чувства мести, но также и по доброте сердечной; как в Бордо, так и в Париже она интересовалась всеми несчастьями и ни на минуту не выходила из роли просительницы, которую выполняла, говорят, с неодолимой прелестью. Она сумела смягчить проконсульскую суровость, с которой Тальен, тогда еще не муж ее, распоряжался в

Жиронде, и обратила его к более человеческим чувствам. Она хотела возложить на Тальена роль миротворца, врачевателя зла, принесенного революцией. Госпожа Тальен привлекала в его дом всех участвовавших с ним в событиях 9 термидора и старалась, ублажая их, подать им надежду на общественную признательность, на прощение, наконец, на власть, которую теперь сулили скорее противникам, чем поборникам террора.

Госпожа Тальен окружала себя милыми женщинами, которые содействовали этому плану столь простительного обольщения. В числе этих женщин особенно выделялась вдова несчастного генерала Александра Богарне, молодая креолка, привлекавшая не столько красотой, сколько необыкновенной миловидностью и грацией. На эти собрания завлекались простые воодушевленные молодые люди, которые так долго вели жизнь суровую и полную тревог. Их ласкали, иногда даже подтрунивали над их одеждой, нравами, строгими правилами. Их сажали за стол рядом с такими людьми, которых недавно они же преследовали бы как аристократов, — разбогатевшими спекулянтами, расточителями государственной казны — и этим заставляли их осознать превосходство прежних образцов светского обращения и тонкого ума.

Многие из этих людей, не имея средств, утрачивали вместе с суровостью и свое достоинство и не умели выдержать характера. Другие, поумнее, хоть и сохраняли свое положение и скоро усваивали себе дешевую и легко дающуюся салонную полировку, однако тоже не были застрахованы от тонкой лести. Иной член комитета, ловко упрощаемый за обедом, обещал исполнить то или другое и позволял повлиять на его голос.

Так-то женщина, дочь финансиста, жена судебного сановника, а потом пламенного республиканца, бралась примирить людей простых, подчас грубых и почти всегда фанатиков с изяществом, тонким вкусом, светскими удовольствиями, свободой нравов и беспристрастностью в убеждениях. Революция, обращенная вспять (и это было, несомненно, большое счастье), от крайнего предела фанатизма и грубости, однако, уж слишком круто поворачивала к забвению республиканских нравов, принципов, даже республиканского озлобления. В этом повороте обвинялись термидорианцы: говорили, что они ему содействуют,

вызывают его, ускоряют – и это обвинение было справедливо.

Революционеры не ходили на эти собрания, на эти концерты. Во всяком случае, весьма немногие дерзали там показываться, да и то прямо оттуда отправлялись на свои сходки обличать Кабаррюс, аристократов-интриганов и поставщиков, из которых она составила себе свиту. У них не осталось других собраний, кроме клубов и секционных сходов, и они ходили туда не искать увеселений, а изливать свои страсти. Жены их, которых прозвали фуриями гильотины, потому что они действительно нередко окружали эшафот, появлялись на клубных трибунах в народных костюмах, чтобы рукоплескать самым неистовым предложениям. Некоторые члены Конвента еще бывали на заседаниях якобинцев, но сидели там угрюмые и молчаливые; то были Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн, Каррье. Иные, например Дюгем, Лано и другие, ходили туда просто из привязанности к делу.

Сталкивались обе партии преимущественно в Пале-Рояле, вокруг Конвента, на трибунах и в секциях. Особенно в секциях, где приходилось совещаться и спорить, схватки становились до крайности свирепыми. Адрес якобинцев к провинциальным обществам там ходил по рукам, и революционеры непременно требовали его чтения. Приходилось также читать, в силу декрета, доклад Робера Ленде о состоянии Франции; доклад, представлявший верную картину и ясно выражавший чувства, воодушевлявшие Конвент и всех порядочных людей.

Это чтение в каждый декадный день становилось предметом оживленнейших прений. Революционеры с криком и шумом требовали адрес якобинцев, а противники их – доклад Ленде. Члены бывших революционных комитетов записывали имена всех, кто всходил на кафедру, чтобы выступить против них, и то и дело приговаривали: «Мы их истребим!» Освоившись во время террора со словами убить и гильотинировать, они и теперь беспрестанно пересыпали ими свою речь. Этим они подавали повод предполагать, что составляют новые списки гонений и хотят опять водворить систему Робеспьера.

Каждый день Конвенту докладывали о сценах такого рода, и общественное мнение восстало против прежних членов революционных комитетов, которые считались главными виновниками беспорядков. В

конце концов Электоральный клуб, шумевший больше всех секций, вместе взятых, вывел Конвент из терпения крайне злонамеренным адресом. В этом клубе, как мы уже говорили, собирались наиболее скомпрометированные люди, там замышлялись самые дерзкие планы. Однажды от этого клуба явилась депутация просить, чтобы народу было возвращено право избрания муниципальных чиновников; чтобы парижский муниципалитет, упраздненный 9 термидора, был опять сформирован; чтобы, наконец, были разрешены по два секционных заседания в декаду вместо одного. Услышав последнюю просьбу, множество депутатов встали и в сильнейшем негодовании потребовали мер против членов прежних революционных комитетов, приписывая им все беспорядки. Лежандр, хоть и не одобрял первой выходки Лекуэнтра против Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера, сказал, что надо метить выше; что источник зла — в членах прежних правительственных комитетов, злоупотребляющих снисходительностью к ним Конвента, и что пора наконец наказать их за прежнюю тиранию, чтобы предотвратить новую.

Этот спор вызвал бурю хуже первой, и собрание, во второй раз встречая неразрешимый или опасный вопрос, постановило перейти к очередным делам. Были предложены разные средства для подавления выходок народных обществ и злоупотребления правом подавать петиции. Придумали было прибавить к докладу Ленде адрес французскому народу, в котором еще энергичнее и отчетливее излагались бы взгляды Конвента и предначертанный им новый путь. Эта мысль была принята. Но депутат Ришар стал доказывать, что этого недостаточно; что нужно прибавить сильную руку; что адреса ровно ничего не значат, потому что авторы петиций не преминут возразить; что не следует более терпеть, чтобы в собрание приходили произносить такие слова, за которые на улице говорящие подверглись бы аресту.

«Пора, — сказал Бурдон, депутат Уазы, — обратиться к вам с полезными истинами. Знаете ли вы, отчего ваши армии постоянно побеждают? Оттого, что соблюдают строгую дисциплину. Имейте в государстве хорошую полицию, и у вас будет хорошее правительство. Знаете, откуда берутся вечные нападки против вашего правительства? Враги ваши злоупотребляют всем, что есть демократического в ваших учреждениях. Они с особенным удовольствием распускают слухи о том,

что у вас никогда не будет правительства, что вы вечно будете терзаемы анархией. Неужели возможно, чтобы нация, постоянно побеждающая, не умела управлять собою? И Конвент, знающий, что это одно мешает довершению революции, не примет против этого мер? Нет, нет! Выведем врагов наших из заблуждения. Они хотят уничтожить вас злоупотреблением права петиции; это-то злоупотребление и надлежит подавить».

Чтобы лишить якобинцев поддержки нескольких депутатов-монтаньяров, в особенности Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и других популярных вождей, депутат Пеле предложил запретить всем членам Конвента становиться членами какого бы то ни было народного общества. Это предложение было принято, но со стороны Горы против него поднялось множество голосов: говорили, что право собираться с целью просвещения друг друга на предмет общественных дел есть право всех граждан и что оно не может быть отнято у депутата, равно как и у другого жителя государства; что, следовательно, этот декрет составляет посягательство против безусловного, неотъемлемого права. Декрет был отменен.

Дюбуа-Крансе сделал тогда другое предложение. Он рассказал, каким образом якобинцы произвели очистку своего общества, и доказал, что это общество еще скрывает в своих недрах тех самых лиц, которые совратили его при Робеспьере. Он утверждал, что Конвент имеет право снова очистить его и поступить с ним совершенно так, как он поступает через своих комиссаров с департаментскими обществами. Дюбуа-Крансе предложил отослать этот вопрос на рассмотрение надлежащим комитетам, и это предложение было принято.

Этот декрет вызвал среди якобинцев сильное волнение. Они стали кричать, что Дюбуа-Крансе обманул Конвент; что очистка, постановленная после 9 термидора, была выполнена полностью; что Конвент не имеет права опять начинать сначала и все члены одинаково достойны заседать в этом славном обществе, оказавшем столько услуг отечеству; что, впрочем, они не боятся самого строгого расследования и готовы покориться воле Конвента. В заключение якобинцы решили отпечатать список всех членов и отослать его Конвенту с депутацией.

На другой день, 4 октября (13 вандемьера), они, однако, пришли в себя: объявили, что их вчерашнее решение было необдуманым; что,

вручая список членов Конвенту, они признают за ним право очистки, которого не имеет никто; что, так как все граждане имеют право собираться без оружия, никто не может быть объявлен недостойным стать членом какого-либо общества; что, следовательно, очистка противна всем правам и списка никуда относить не следует. «Народные общества, – заявил некто Жио, яростный якобинец, прежде служивший при армии, – не подлежат никакой власти, кроме своей собственной. Если бы было иначе, то гнусный двор давно “очистил” бы общество якобинцев и вы бы увидели эти скамейки оскверненными присутствием каких-нибудь фельянов. Я только что из департаментов; могу вас заверить, что существование народных обществ крайне ненадежно; я сам был обозван злодеем, потому что в моих бумагах значилось звание якобинца. Мне сказали, что я принадлежу к обществу, состоящему из одних разбойников. Существуют глухие происки, имеющие целью отдалить от вас другие общества страны. Мне посчастливилось остановить отчуждение и скрепить узы братства между вами и обществом в Байонне, оклеветанным Робеспьером. Будьте осторожны, сохраняйте верность принципам и Конвенту, а главное – не признавайте ни за какой властью права вас “очищать”». Якобинцы одобрили эту речь и решили не носить списка в Конвент, а ждать его декретов.

Электоральный клуб вел себя еще ожесточеннее. После недавней петиции он был изгнан из епископского дворца и нашел приют в одной из зал Музея, под боком у Конвента. Там, во время ночного заседания, среди яростных криков присутствующих и топота женщин, наполнявших трибуны, объявили, что Конвент превысил срок своих полномочий, что он был избран для того, чтобы судить последнего короля и составить конституцию, что он исполнил эти два дела и, следовательно, его задача выполнена.

Об этих сценах было донесено Конвенту, который отослал все эти данные комитетам для представления проекта о злоупотреблениях народных обществ. Кроме того, Конвент вотировал адрес к народу и разослал его всем секциям и всем общинам Республики. Этот адрес, написанный твердо и рассудительно, повторял взгляды, изложенные в докладе Ленде, и сделался поводом к новым столкновениям в секциях. Революционеры не давали его читать и не хотели, чтобы в ответ были

посланы сочувственные адреса, а вместо того направляли адреса якобинцам с изъявлением сочувствия к их делу. Часто после этого их противники получали подкрепление, тогда их выгоняли, и секция в новом составе постановляла противоположное решение. Конвент наблюдал за этими спорами, ожидая декрета о полицейском надзоре за народными обществами.

Декрет этот был внесен 16 октября (25 вандемьера). Главной его целью было разбить коалицию, которую образовали во Франции якобинские общества. Подчиняясь столичному обществу и состоя в переписке с ним, они повиновались его приказаниям и составляли обширную партию, искусно организованную, имеющую один центр и единое управление. Этому нужно было положить конец. Новым декретом воспрещались «всякие присоединения и объединения, равно как и переписки от коллективного имени между народными обществами». Сверх того, декрет гласил, что не дозволяются никакие петиции или адреса от коллективного имени – во избежание властных посланий, которые делегаты якобинцев или Электорального клуба приходили читать собранию и которые столько раз оказывались приказаниями. Все адреса или петиции отныне должны были быть подписываемы поименно. Этим Конвент обеспечивал себе возможность преследовать виновников опасных предложений и надеялся, что необходимость написать свое имя заставит их быть осмотрительнее. Кроме того, повелевалось немедленно составить списки членов каждого общества и вывесить эти списки в местах, где происходили собрания.

Как только этот декрет прочли Конвенту, против восстало множество голосов. «Хотят уничтожить народные общества, – говорили монтаньяры, – забывают, что они спасли свободу и революцию, что они – могущественное средство для объединения граждан и сохранения в них энергии и патриотизма. Воспрещая поддерживать сношения между собою, посягают на капитальное право переписки, право столь же священное, как и право мирно собираться».

Депутат Тибодо, искренний республиканец, чуждавшийся как термидорианцев, так и монтаньяров, сам как будто испугался последствий этого декрета и требовал, чтобы он был отложен из опасения нанести вред самому существованию народных обществ. «Никто не хочет их уничтожения, – возражали на это термидорианцы, –

хотят только подчинить их необходимому полицейскому надзору».

Мерлен из Тионвиля восклицает:

— Президент, призови говорящих к порядку. Они уверяют, будто мы хотим уничтожить народные общества, тогда как речь идет только о регулировании их взаимных отношений.

Ревбель, Бентаболь, Тюрио тоже доказывают, что никто не думает уничтожать общества.

— Разве им мешают, — говорят они, — собираться мирно без оружия и толковать об общественных интересах? Нимало. Это право остается неприкосновенным. Мешают им составлять заговоры и объединения, то есть поступают по отношению к ним точно так же, как уже поступили по отношению к департаментским властям. Последние, согласно декрету 14 фримера, учреждающему революционное правительство, не могут ни сноситься, ни сговариваться между собой. Возможно ли позволить народным обществам то, что воспрещено департаментским властям?

Бурдон, депутат Уазы, один из главных членов Комитета общественной безопасности, часто не соглашавшийся со своими друзьями, хоть и термидорианец, заявляет:

— Народные общества — это не народ. Я вижу народ только в первичных собраниях. Народные же общества — это сборище людей, выбравших сами себя, как монахи, и образовавших аристократию, исключительную, бессменную, которая именует себя народом и располагается рядом с национальным представительством, судит, внушает или изменяет его решения. Рядом с Конвентом возникает другое представительство, и заседает оно у якобинцев. — Громкие рукоплескания прерывают Бурдона; он продолжает: — Ради мира и единства я охотно сказал бы народу: «Выбирай между людьми, которых ты назначил своими представителями, и теми, которые сами возникли рядом с ними; это не важно, лишь бы у тебя было одно представительство». — Опять рукоплескания прерывают оратора, и он вновь продолжает: — Да, пусть народ выберет между вами и людьми, которые хотели предать гонениям представителей, обремененных доверием нации, между вами и людьми, которые, сговорившись с парижским муниципалитетом, несколько месяцев тому назад хотели убить свободу. Граждане! Хотите славного мира? Хотите дойти до

пределов древней Галлии? Покажите бельгийцам и народам, живущим вдоль Рейна, мирную революцию, республику с одним представительством, республику без революционных комитетов, окрашенных кровью граждан.

Скажите бельгийцам и прирейнским народам: «Вы хотите полусвободы; мы даем вам свободу полную, да еще без жестоких страданий, предшествующих ее учреждению, без кровавых испытаний, которыми прошли мы сами. Вспомните, граждане, что соседним народам говорят, будто у вас нет правительства, будто не знают, к кому обратиться с переговорами – к Конвенту или к якобинцам. Придайте единство и цельность вашему правительству – и вы увидите, что ни один народ не чуждается вас и ваших принципов; вы увидите, что ни один народ не ненавидит свободу».

Депутаты Дюгем, Крассу и Клозель требуют по крайней мере отсрочки, на том основании, что декрет такой важности нельзя издавать так опрометчиво. Мерлен из Тионвиля требует слова, чтобы выступить против них. Президент дает слово всем поочередно, и прения продолжаются. Наконец Мерлен еще раз избегает на кафедру со словами: «Граждане! Когда надо было учреждать республику, вы издали о том декрет без отсылки, отсрочки или отмены. Сегодня надо в некотором роде вторично учредить ее, спасая от народных обществ, объединившихся против нее. Граждане, нельзя бояться подступить к этому вертепу, несмотря на кровь и трупы, которые загораживают вход в него; дерзните в него проникнуть, дерзните выгнать из него плутов и убийц и оставьте только добрых граждан».

Мерлену рукоплещут, и декрет вотируется немедленно статья за статьей. Это был первый удар, нанесенный пресловутому обществу, перед которым Конвент до этого дня трепетал. Тут были важны не столько положения декрета, тем более что их легко было обойти, сколько то, что у Конвента хватило храбрости издать его; это должно было заставить якобинцев почувствовать свой близкий конец. Собравшись вечером в своей зале, они принялись обсуждать декрет и то, каким способом он состоялся.

Депутат Лежен, утром восстававший против декрета, жалуется, что его не поддержали, что немногие члены собрания говорили в пользу общества, к которому принадлежали.

«Есть члены Конвента, — сказал он, — известные своей революционной патриотической энергией, которые сегодня хранили предосудительное молчание. Или эти члены виновны в тирании, как их в том обвиняли, или они трудились для общественного блага. В первом случае они все преступны и должны быть наказаны, во втором — задача их не кончена. Подготовив бессонными ночами победу защитников отечества, они должны защитить принципы и права народа. Два месяца назад вы, Колло и Бийо, беспрестанно говорили о правах народа с этой кафедры; отчего же вы перестали защищать их? Отчего вы молчите теперь, когда множество предметов еще требует вашего мужества и ваших просвещенных советов?»

Бийо и Колло продолжали хранить унылое молчание. На запрос своего товарища они ответили, что если молчали, то из осторожности, а не из малодушия, так как боялись повредить своей поддержкой мнению, отстаиваемому патриотами; что давно уже этот страх — повредить прениям — заставляет их молчать; что это единственная причина их сдержанности; что притом они хотели бы ответить людям, обвинившим их в присвоении незаконной власти над Конвентом; что им чрезвычайно приятно, когда товарищи вызывают их из этого добровольного ничтожества и, так сказать, уполномочивают опять посвятить себя делу свободы и Республики. Довольные этим объяснением, якобинцы заплодировали и снова возвратились к утреннему закону; они утешились тем, что с кафедры будут обращаться ко всей Франции. Гужон пригласил их уважить изданный закон. Они обещали, но некто Террасой предложил заменить переписку, не нарушая закона: написать циркуляр не от имени якобинцев и адресованный другим якобинцам, а подписанный всеми свободными людьми, собравшимися в зале якобинцев, ко всем свободным людям Франции, собирающимся в народных обществах. Этот способ приняли с великой радостью и проект такого циркуляра тут же составили.

В ожидании новых фактов, которые потребовали бы новых мер по отношению к якобинцам, Конвент занялся задачей, предначертанной Робером Ленде в своем докладе, и принялся за обсуждение поставленных им вопросов. Надо было загладить последствия, оставленные насильственным режимом в земледелии, торговле и финансах, возвратить всем сословиям чувство безопасности, стремление

к порядку и труду. Но и по этим вопросам царили такие же разногласия и такая же готовность вспылить, как и по всем прочим.

Реквизиции, максимум, ассигнации, секвестр, наложенный на имущество иностранцев, возбуждали против прежнего правительства такие же злобные выходки, какими были казни и тюремное заключение. Термидорианцы, весьма мало смыслившие по части политической экономии, из духа реакции придирались ко всему, что было сделано. А между тем, если в общем управлении государством за прошлый год было что-нибудь безукоризненное и вполне оправдываемое необходимостью, то именно управление по ведомствам финансов, продовольствия и запасов. Камбон, влиятельнейший член комитета финансов, привел казначейство в полный порядок. Он выпустил, правда, много ассигнаций, но ведь это было единственным средством; он поссорился с Робеспьером, Сен-Жюстом и Кутоном, потому что не согласился на революционные издержки. Что касается Ленде, на которого были возложены перевозки и реквизиции, он с неоцененным усердием трудился по этой части, чтобы добывать из-за границы, брать во Франции и доставлять в армии или большие общины все необходимые запасы. Реквизиция, конечно, была средством насильственным, но единственно возможным, и Ленде старался применять ее с возможно большей осторожностью. Кроме того, он не мог отвечать ни за честность всех своих агентов, ни за действия всех лиц, получивших право брать на реквизицию.

Термидорианцы, и в особенности Тальен, глупейшим и несправедливейшим образом нападали на общую систему этих революционных средств и на способ применения их. Первой причиной всех зол, по их словам, был завышенный выпуск ассигнаций, поставивший последние в несоразмерные соотношения к товарам и продуктам. Потому-то и максимум сделался столь тяжел и пагубен, что принуждал продавца или кредитора принимать номинальную ценность, с каждым днем всё более обманчивую. Эти замечания не отличались особенной новизной или полезностью, а главное – не указывали на средства исправления ситуации. Тальен и его друзья приписывали чрезмерный выпуск Камбону и этим как бы выставляли его главным виновником всех зол, обрушившихся на государство. Его же укоряли и в наложении секвестра на имущество иностранцев – меру, вызвавшую

такую же меру против французов за границей, а следовательно, прервавшую обращение товаров, уничтожившую всякий кредит и вконец разорившую торговлю.

Комиссию же продовольствия те же критики обвиняли в том, что она измучила Францию реквизициями, истратила громадные суммы за границей на хлеб, а Париж оставила в нужде при наступлении суровой зимы.

Честность Камбона была безусловно признана всеми партиями. Ревностный блюститель порядка в финансах, он имел при этом страстный, вспыльчивый нрав, и несправедливое обвинение совершенно вывело его из себя. Он дал знать Тальену и его друзьям, что не тронет их, если и его оставят в покое, но что при первой клевете будет преследовать их безжалостно. Тальен имел неосторожность нападать на Камбона не только с кафедры, но и в газетных статьях. Тут уж Камбон не выдержал и на одном из многочисленных заседаний, посвященных обсуждению этих дел, сам занял кафедру и накинулся на Тальена: «А! Ты на меня нападаешь! Ты хочешь бросить тень сомнений на мою честность? Так я же тебе докажу, что ты сам вор и убийца. Ты не сдал отчетов в бытность свою секретарем коммуны, и у меня в том есть доказательства в комитете финансов; ты распорядился расходом в полтора миллиона на дело, которое покроет тебя позором. Ты не сдал отчетов после командировки в Бордо, и в этом у меня тоже есть доказательства в комитете. Ты навсегда останешься под подозрением в сообщничестве в сентябрьских злодеяниях, и я тебе докажу, твоими же словами, это сообщничество, которое должно бы навеки заставить тебя замолчать!»

Камбона прервали; ему заметили, что это – личности, не имеющие отношения к делу, что никто не ставит под сомнения его честность, а речь идет только о финансовой системе. Тальен пролепетал несколько неуверенных слов, сказал, что не возражает против личных нападок, а хочет беседовать только о том, что касается общих вопросов.



Тальен

Камбон доказал, что ассигнации были единственным средством, которым располагала Республика; что расходы доходили до трехсот миллионов в месяц; что была получена едва четверть этой суммы и нехватку следовало каждый месяц пополнять ассигнациями; что цифра ассигнаций не составляет тайны и доходит до шести миллиардов четырехсот миллионов; что, наконец, национальные имущества представляют стоимость в двенадцать миллиардов, следовательно, достаточны для покрытия долга Республики; что он, Камбон, с опасностью для жизни спас пятьсот миллионов, которые Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон хотели употребить на другие расходы; что он долго противился максимуму и секвестру.

Эти прения, крайне неосторожные со стороны термидорианцев, так как они, обоснованно или нет, но не пользовались безукоризненной репутацией, а в этом случае нападали на вполне безупречного человека,

очень сведущего и очень запальчивого, заставили Конвент потерять много времени. Хотя термидорианцы прекратили враждебные действия, но Камбон не знал покоя и каждый день повторял с кафедры свои оправдания. «Да успокойтесь же! – кричали ему из собрания. – Никто не затрагивает вашей честности!» Но он беспрестанно возвращался к этому вопросу.

Среди этих треволнений собрание всё же приняло меры, способные исправить или смягчить совершенное зло. Депутаты приказали подготовить общий отчет по финансам, с балансом доходов и расходов, и записку о средствах – для того, чтобы извлечь часть ассигнаций из обращения, не лишая их, однако, денежного значения, чтобы не подорвать окончательно их кредита. По предложению Камбона Конвент отказался от одной ничтожной по результатам финансовой меры, которая между тем служила поводом к большим злоупотреблениям и сильному неудовольствию, особенно в провинциях, – от переплавки церковной утвари из драгоценных металлов. Эту утварь первоначально оценили в один миллиард, в действительности же ее оказалось всего на тридцать миллионов. Решено было не трогать ее больше, а оставить на сохранении в общинах.

Потом Конвент постарался устранить главнейшие неудобства максимума. Поговаривали уже о полной отмене этого закона, но опасения непомерного повышения цен не дозволили поддаться этому импульсу реакционеров. Решено было только внести в закон изменения. Максимум отчасти убил торговлю, поэтому Конвент освободил от максимума и реквизиции все продукты, товары первой необходимости, сырье, привозимое из-за границы во французские порты, и разрешил продажу их по свободному соглашению. Такая же льгота была дана товарам с захваченных неприятельских судов, так как они лежали в портах, не находя сбыта. Одинаковый максимум на весь хлеб представлял одно чрезвычайно важное неудобство: так как производство хлеба обходилось в некоторых провинциях дороже при меньшем урожае, то цена, которую селяне получали в этих провинциях, не покрывала даже их затрат. Было решено назначить разные цены в разных департаментах, приняв за норму цены 1790 года и накинув на них еще две трети. По поводу этого увеличения цен на продовольствие неизбежно заходила речь об увеличении содержания, жалований,

доходов небогатых владельцев рентных билетов, но эта мысль, добросовестно предложенная Камбоном, была отвергнута Тальеном как злоумышленная и на время отсрочена.

Потом Конвент занялся реквизициями. Чтобы они не оставались всеобщими, неограниченными и беспорядочными и не истощали перевозочных средств, решено было, что право брать что-либо на реквизицию будет впредь принадлежать исключительно комиссии продовольствий; что и этой комиссии нельзя будет брать ни всего имеющегося количества известного продукта, ни всех продуктов одного департамента; что она будет предъявлять свои требования лишь по мере надобности и в местности наиболее близкой к тому месту, где случится эта надобность в запасах. Депутаты, состоявшие при армиях, одни получили право, в случае крайнего недостатка в провианте или неожиданно быстрого движения, немедленно произвести нужные реквизиции.

Вопрос о секвестре, наложенном на иностранные имущества, вызвал оживленные прения. Одни говорили, что война не должна распространяться от правительств на подданных; что подданным надо дать спокойно продолжать сношения и торговлю и воевать только с армиями; что французы отобрали у иностранцев только 25 миллионов, тогда как у них было отобрано 100, и надо возвратить эти 25, чтобы получить обратно и свои 100. Секвестр разорителен для французских банкиров, потому что они вынуждены вносить в казначейство на сохранение суммы, которые должны отправлять за границу, и не получают должных сумм из-за границы, потому что правительства отбирают эти суммы в отместку за секвестр. Эта мера, продолжаясь так долго, делает французскую торговлю подозрительной даже в глазах нейтральных наций. Наконец, так как прекратилось обращение ценных бумаг, то следует деньгами платить за часть продуктов, добываемых из соседних стран. Другие отвечали, что если уж различать в войне подданных и их правительства, то ядрами и пулями надо будет целить только в государей, а не в солдат, возвратить англичанам все отбитые у них торговые суда и оставить себе только военные; что если возвратить секвестрованные 25 миллионов, вражеские правительства не последуют этому примеру и отобранных у французов 100 миллионов не отдадут; что восстановление обращения ценных бумаг только доставит

эмигрантам возможность получать из Франции деньги.

Конвент не посмел резко решить вопрос, а только постановил снять секвестр в отношении бельгийцев, которые вследствие завоевания фактически вновь восстановили мирные сношения с Францией, и в отношении гамбургских негоциантов как неповинных в войне, объявленной империей, и поставлявших Франции хлеб, который и является их ценными бумагами.

Ко всем этим мерам, принятым в интересах земледелия и торговли, Конвент присоединил еще некоторые, имевшие целью водворить безопасность и вернуть в страну негоциантов. Существовал декрет, ставивший вне закона всех лиц, уклонившихся от исполнения судебного приговора или применения закона. Его отменили, и лица, осужденные революционными комитетами, а также прятавшиеся подозрительные получили возможность возвратиться на свои прежние места жительства. Тем подозрительным, кто еще содержался в заключении, возвратили право управлять своими имениями.

Лион был объявлен не находящимся в состоянии мятежа; городу возвратили имя; разрушение зданий прекратилось; были ввезены товары, задержанные окрестными общинами; городские торговцы не нуждались более в свидетельствах о благонадежности, чтобы принимать или отправлять товары, и торговые обороты опять начали расти. Члены народной комиссии города Бордо и их приверженцы, то есть все почти бордосские негоцианты, находились вне закона; декрет, изданный против них, также отменили. Предполагалось воздвигнуть в Кане позорную колонну в память федерализма: было решено не воздвигать таковой. Седану разрешили изготавливать сукна всех сортов.

Департаменты Нор, Па-де-Кале, Эна и Сомма были освобождены от поземельного налога на четыре года с условием опять заняться возделыванием льна и конопли.

Наконец, Конвент бросил взгляд и на злополучную Вандею. Депутаты Генц и Франкастель, генерал Тюрро и несколько других, исполнявших бесчеловечные декреты террора, были отозваны. Вимё был послан главнокомандующим в Вандею, а молодой Гош – в Бретань. Туда были отправлены также новые комиссары от Конвента с поручением выяснить на месте, нет ли возможности уговорить население принять амнистию и подготовить таким образом примирение

края.

Вот каким всеобщим и быстрым являлся поворот в управлении. Обращая внимание на жертв всевозможных гонений, Конвент должен был вспомнить и о своих собственных членах. Из них семьдесят три человека уже более года содержались в Пор-Либр за то, что подписали протест 31 мая. Они написали Конвенту письмо, в котором просили суда. Все уцелевшие члены правой стороны поднялись по этому вопросу, относившемуся прямо к безопасности подачи голосов, и потребовали освобождения своих товарищей и возвращения им звания и прав депутатов. Опять начался один из тех бурных и бесконечных споров, которые непременно возникали, лишь только затрагивалось прошлое. «Так вы хотите заявить порицание 31 мая?! – восклицали монтаньяры. – Заклеймить этот день, который вы доселе провозглашали славным и спасительным? Хотите опять поставить на ноги оппозицию, которая чуть не погубила Республику? Хотите опять ввести в обиход федерализм!» Термидорианцы находились в затруднительном положении и, чтобы отсрочить решение, Конвент приказал подготовить о семидесяти трех доклад.

Всякой реакции свойственно не только стараться исправить совершенное зло, но и непременно требовать мщения. Ежедневно требовали предания суду Лебона и Фукье-Тенвиля (о суде над Бийо, Колло, Барером, Вадье, Амаром, Буланом и членами прежних комитетов, как известно, речь шла уже давно). Нантские потопления, до сих пор остававшиеся неизвестными, наконец открылись. Сто тридцать жителей Нанта, отправленных в Париж, в Революционный трибунал, прибыли туда лишь после 9 термидора. Они не только были оправданы, но все их разоблачения о бедствиях родного города были выслушаны благосклонно. Общественное негодование оказалось так велико, что членов революционного комитета в Нанте пришлось вытребовать в Париж. Процесс их вывел на свет все ужасы, свойственные междоусобной войне. В Париже, вдали от театра войны, не постигали, как ярость могла быть доведена до таких пределов. У обвиненных имелось только одно оправдание, и они отвечали им на всё: у ворот была Вандея, а в городе царили приказы депутата Каррье.

По мере того как продвигалось следствие, обвиняемые всё сильнее восставали против Каррье и требовали, чтобы он разделил их участь и

сам отдал отчет в действиях, совершенных по его приказу. Общество единодушно требовало ареста Каррье и его появления перед Революционным трибуналом.

Конвенту необходимо было на что-нибудь решиться. Монтаньяры спрашивали, уж не намерен ли он, засадив Лебона и Давида, многократно обвинив Бийо, Колло и Барера, подвергнуть преследованию заодно всех депутатов, бывших в командировках? Чтобы успокоить эти опасения, Конвент издал декрет, определявший формальности, соблюдаемые при судебном преследовании члена Конвента. Об этом декрете долго спорили с величайшим обоюдным ожесточением. Монтаньяры хотели сделать эти формальности как можно более сложными. Так называемые реакционеры, напротив, хотели упростить их, чтобы сделать более верным и быстрым наказание некоторых депутатов проконсулов. Наконец решили вот что: каждый донос или обвинение отсылать трем комитетам — общественного спасения, общественной безопасности и законодательства — для решения вопроса о том, имеется ли достаточный повод к следствию. В случае утвердительного решения назначать по жребию комиссию из двадцати одного члена для составления доклада. А уже по этому докладу и защите обвиненного депутата решать, имеются ли достаточные основания для судебного обвинения, и отправлять депутата под суд.

Тотчас по издании этого декрета все три комитета объявили, что имеются достаточные основания для начала следствия против Каррье. Комиссия из двадцати одного члена была составлена, забрала все документы по делу, потребовала Каррье и приступила к следствию. Судя по тому, что происходило в революционном трибунале, и по общему ознакомлению с фактами, участь его не подлежала сомнению. Монтаньяры, хоть и не оправдывали злодеяний Каррье, однако уверяли, что Каррье преследуют вовсе не для того, чтобы наказать за злодеяния, а чтобы открыть целый ряд мщений против людей, энергия которых спасла Францию. Их противники, напротив, каждый день слыша жалобы членов революционного комитета, настойчиво требовавших появления Каррье, и негодуя на медленность, с какою действовала Комиссия двадцати одного, говорили, что его хотят спасти. Комитет общественной безопасности, опасаясь бегства, окружил Каррье

полицейскими агентами, которые не теряли его из виду.

Но Каррье не помышлял о бегстве. Несколько революционеров тайно предлагали ему уйти, но он не решился – не хватило смелости; он, казалось, был ошеломлен и оцепенел от общей к нему ненависти. Однажды он заметил, что за ним следят, остановился перед одним из агентов, спросил, почему тот ходит за ним по пятам, и прицелился было в него из пистолета. Последовала схватка, прибежала вооруженная стража; Каррье был схвачен и посажен под домашний арест. Это происшествие вызвало большое волнение в обществе и горячие жалобы со стороны якобинцев. Они кричали, что в лице Каррье совершено покушение на национальное представительство, и потребовали у Комитета общественной безопасности объяснений. Комитет рассказал, как было дело, и хотя подвергся порицанию, однако по крайней мере получил случай доказать, что не имел намерения потакать бегству Каррье.

Наконец Комиссия двадцати одного прочла свой доклад и заключила: необходимо предать Каррье Революционному трибуналу. Он едва пытался защищаться: свалил все жестокости на крайнее озлобление, произведенное междоусобной войной, на необходимость запугать Вандею, наконец, на импульс, данный Комитетом общественного спасения; он не смел прямо сослаться на комитет в оправдание потоплений, но приписывал ему то вдохновение лютой энергии, которое увлекло многих комиссаров. Тут опять возникали опасные вопросы, не раз уже затрагиваемые; опять грозили споры об участии в неистовствах революции каждого. Комиссары могли сваливать на комитеты, комитеты – на Конвент, Конвент – на Францию. Это вдохновение, которое породило столько ужасных, но столько и великих дел, было общим, а главное – было вызвано беспримерным положением. «Все здесь виновны! – воскликнул однажды Каррье в порыве отчаяния. – Все, до колокольчика президента!»

Однако рассказ об ужасах, совершенных в Нанте, возбудил такое сильное негодование, что ни один депутат не посмел защищать Каррье, не подумал даже оправдывать его общими соображениями. Решение о предании его Революционному трибуналу было принято единодушно.

Итак, реакция шагала быстро. Удары, которые еще никто не осмеливался наносить членам прежних правительственных комитетов,

теперь направлялись против Каррье. Все члены революционных комитетов, все члены Конвента, бывшие комиссарами, словом, все лица, исполнявшие обязанности, сопряженные с большой строгостью, начинали бояться за себя.

Якобинцам, после декрета воспретившего им объединение и коллективную переписку, надлежало быть очень осторожными; но в виду последних событий трудно было полагать, чтобы они сумели сдержаться и избежать столкновения с Конвентом и термидорианцами. Действительно, происходившее с Каррье вызвало бурное заседание в клубе. Крассу, депутат и якобинец, представил картину средств, применяемых аристократией с целью погубить патриотов. «Процесс, который теперь идет в Революционном трибунале, – сказал он, – это ее главное средство, то, на которое она возлагает наибольшие надежды. Обвиняемым едва дают выступить перед судом, свидетели – почти все заинтересованы в том, чтобы как можно больше шуметь об этом деле; некоторые имеют паспорта, подписанные шуанами; журналисты и памфлетисты объединяются, чтобы преувеличивать малейшие факты, увлечь общественное мнение и убрать из виду жестокие обстоятельства, которые породили и объясняют несчастья, случившиеся не только в Нанте, но и во всей Франции. Если Конвент не остережется, он будет опозорен всеми этими аристократами, которые только для того и поднимают такой шум по этому делу, чтобы тень от него легла на весь Конвент. Теперь уже не якобинцев следует обвинять в намерении распустить Конвент, а этих людей, сговорившихся скомпрометировать и унижить его в глазах Франции. Пусть же все добрые патриоты берегутся: атака на них начата; пусть они сплотятся и будут готовы энергично защищаться».

Еще несколько якобинцев говорили после Крассу и повторили приблизительно то же самое. «Толкуют, – говорили они, – о расстрелах и потоплениях; но умалчивают о том, что эти люди, участь которых так жалостливо расписывают, доставляли помощь разбойникам; не упоминают о жестокостях против наших волонтеров, которых вешали на деревьях и расстреливали одного за другим. Если уж хотят мстить за разбойников, то пусть явятся семейства двухсот тысяч безжалостно убитых республиканцев и тоже требуют мщения!»

Волнение было ужасным; заседание превращалось в хаос, когда Бийо-Варенн, которого якобинцы укоряли за его молчание, наконец заговорил. «Образ действий контрреволюционеров, — сказал он, — известен. Когда они при Учредительном собрании захотели покончить с революционерами, то называли якобинцев разрушителями порядка и стреляли по ним на Марсовом поле. После 2 сентября, когда они хотели препятствовать водворению республики, их называли кровопийцами и взвели на них ужаснейшие клеветы. Ныне контрреволюционеры опять принимаются за старое. Но пусть не воображают, что победа останется за ними. Патриоты могли умолкнуть на время, но дремлющий лев еще не мертв и, когда просыпается, истребляет всех своих врагов. Траншея открыта; патриоты проснутся и обретут всю свою прежнюю энергию. Мы уже тысячу раз рисковали жизнью; если теперь нас ждет эшафот, то помните, что это тот самый эшафот, который покрыл славой бессмертного Сиднея!»

Эта речь подействовала на всех подобно электрическому заряду. Слушатели рукоплескали Бийо-Варенну, обступили его, обещали содействовать всем угрожаяемым патриотам и защищаться до самой смерти.

При тогдашнем положении партий такое заседание не могло не возбудить большого внимания. Эти слова Бийо-Варенна, который до тех пор не показывался ни на той ни на другой кафедре, равнялись настоящему объявлению войны. Термидорианцы так и приняли их. На следующий день Бентаболь берет газету, служившую органом Горы, и, отыскав отчет о вчерашнем заседании якобинцев, обращает внимание Конвента на эти слова: «Дремлющий лев еще не мертв и, когда просыпается, истребляет всех своих врагов». Едва Бентаболь успевает прочесть эту фразу, как монтаньяры поднимаются, начинают осыпать его ругательствами, говорят, что он из числа тех, кто выпустил на волю аристократов. Дюгем называет его мошенником, Тальен с жаром просит слова для Бентаболя, который, испугавшись такого взрыва, уже хочет сойти с кафедры. Его заставляют остаться, и тогда он требует, чтобы Бийо-Варенна заставили объясниться насчет пробуждения льва. Бийо произносит несколько слов со своего места.

— К кафедре! — кричат ему со всех сторон.

Он не хочет идти, однако наконец вынужден взойти на кафедру.

– Я не отрекаюсь, – объявляет он, – от мнения, высказанного мною у якобинцев. Е[ока я думал, что речь идет о частных ссорах, я молчал; но я не мог молчать, когда увидел, что аристократия поднимается грознее, чем когда-либо.

При этих последних словах на одной трибуне раздается смех, на другой – шум.

– Выпроводите шуанов! – восклицает голоса с Горы.

Бийо продолжает среди рукоплесканий и сердитого ропота. Он смущенно говорит, что освобождены известные роялисты и арестованы безупречнейшие патриоты. Он приводит в пример госпожу де Турзель, воспитательницу детей покойного короля, которая недавно выпущена и одна может составить ядро контрреволюции. Эти слова встречают просто хохотом. Бийо присовокупляет, что тайная деятельность комитетов идет вразрез с тем, что гласно говорится в адресах Конвента, и что при таковом положении дел он имел основания говорить о пробуждении патриотов.

С Горы раздается несколько рукоплесканий, но большая часть трибун и собрания только хохочет и чувствует лишь то оскорбительное сострадание, которое внушает низвергнутая сила, изредка лепечущая бессвязные слова в свое оправдание.

Тальен спешит заменить Бийо на кафедре, чтобы опровергнуть его обвинения.

– Пора, – говорит он, – пора ответить этим людям, которые хотят поднять руку народа против Конвента.

– Никто этого не хочет! – восклицают несколько голосов в зале.

– Нет, хотят! – отвечают другие.

– Это те люди, – продолжает Тальен, – которые трусят при виде меча, повиснувшего над их преступными головами, трусят при виде света, озарившего все отделы администрации, трусят при мысли о мщении законов, готовом лечь на убийц всей тяжестью. Эти люди ныне волнуются, толкуют о том, что народ должен проснуться, хотят уверить патриотов, что все они скомпрометированы, надеются при помощи общего движения помешать преследованиям против сторонников и сообщников Каррье.

Единодушные рукоплескания прерывают Тальена. Бийо-Варенн, не желая считаться сообщником Каррье, восклицает со своего места:

– Заявляю, что не одобрял поступков Каррье.

Никто не обращает внимания на эти слова, все только рукоплещут Тальену, который продолжает:

– Невозможно дольше терпеть две соперничающие власти, позволять депутатам, которые здесь молчат, доносить на вас в другом месте.

– Нет, нет! – восклицают несколько голосов. – Нам не нужны власти, соперничающие с Конвентом!

– Никто не должен, – продолжает Тальен, – ходить куда бы то ни было позорить Конвент и тех его членов, которым вверили правительственную власть. Я не предложу в настоящую минуту никакого заключения. Достаточно того, что с этой кафедры ответили на то, что было сказано с той, достаточно того, что единодушие Конвента ясно высказалось против людей крови.

Новые рукоплескания доказывают Тальену, что собрание решило поддержать всё, что будет предлагаться против якобинцев. Бурдон, депутат Уазы, говорит в том же духе, что и Тальен, хотя по многим вопросам он бывал не согласен со своими друзьями-термидорианцами.

Лежандр тоже возвышает свой голос.

– Кто порицает наши действия? – спрашивает он. – Горсть хищников. Взгляните им в лицо: вы увидите на этих лицах глянец, составленный из желчи тиранов. – Эти слова, намекающие на мрачное, изжелта-бледное лицо Бийо-Варенна, вызывают усиленные рукоплескания. – На что вы жалуетесь? – продолжает Лежандр. – В чем беспрестанно обвиняете нас? Не в том ли, что граждан уже не арестовывают сотнями? Что не гильотинируют более по пятидесяти, шестидесяти и восьмидесяти человек каждый день? Признаюсь, в этом отношении у нас другие удовольствия, чем у вас, и способы очищать тюрьмы у нас разные. Мы там побывали, мы отличили, насколько смогли, аристократов от патриотов. Если мы ошиблись, вот наши головы, мы отвечаем за ошибку. Но пока мы заглаживаем злодеяния, пока стараемся заставить вас забыть, что виновники этих злодеяний – вы, зачем вы ходите в пресловутое общество доносить на нас, вводить в заблуждение народ, бывающий там, к счастью, в малом числе? Я требую, чтобы Конвент принял меры, чтобы не позволять своим членам ходить к якобинцам и призывать к восстанию.

Конвент принимает предложение Лежандра и поручает комитетам представить проект таковых мер.

Итак, Конвент и якобинцы стояли лицом к лицу, оказавшись в положении, когда, истощив всякие речи, остается только наносить удары. Намерение уничтожить это знаменитое общество проявилось в полной мере. Надо было только, чтобы у комитетов хватило храбрости внести об этом предложение. Якобинцы это сознавали и жаловались на всех своих заседаниях, что их хотят распустить. Они сравнивали настоящее правительство с Леопольдом, Брауншвейгом, Кобургом, которые тоже требовали их роспуска. Одно сообщение, произнесенное с кафедры Конвента, в особенности послужило поводом к жалобам на клевету и нападки. Утверждали, что в перехваченных письмах имеются доказательства того, что комитет эмигрантов в Швейцарии согласен с парижскими якобинцами. Если этим хотели только сказать, что и те и другие желают смут, то это, несомненно, было верно. Действительно, в письме, перехваченном у одного эмигранта, говорилось, что надежда победить революцию оружием – безумие и надо стараться уничтожить ее внутренними беспорядками. И вот несколько дней якобинцы неумолчно жаловались на клевету, и Дюгем несколько раз требовал, чтобы эти письма были прочтены с кафедры.

Волнение в Париже царило крайнее. Многочисленные группы встречались на площади Карусель, в Тюильрийском саду, на площади Революции. Одни кричали: «Да здравствует Конвент! Долой террористов и хвост Робеспьера!» Другие отвечали: «Да здравствует Конвент! Да здравствуют якобинцы! Долой аристократов!» Пели множество песен. Золотая молодежь распевала песню, известную под названием «Пробуждение народа», сторонники якобинцев держались «Марсельезы». Группы сталкивались, пели каждая свое, потом начинали испускать враждебные крики и нередко нападали друг на друга с палками и камнями. Лилась кровь, каждая сторона брала пленников, которых потом сдавала Комитету общественной безопасности. Якобинцы уверяли, что этот комитет, состоя из термидорианцев, выпускал молодых людей и задерживал только патриотов.

Такие сцены повторялись несколько дней и наконец приняли настолько опасный характер, что комитеты решили принять меры к

общей безопасности и удвоили караулы. Десятого ноября 1794 года (19 брюмера) сборища оказались еще многочисленнее, нежели в предыдущие дни. Одна группа, выйдя из Пале-Рояля и пройдя по улице Сент-Оноре, появилась перед зданием якобинцев и окружила его. Так как толпа всё прибывала, скоро все подступы к зданию оказались перекрыты, и якобинцы, у которых в эту минуту шло заседание, могли считать себя осажденными. Их сторонники прокричали: «Да здравствует Конвент! Да здравствуют якобинцы!», на что противники также отвечали криками; завязалась драка, а так как молодежи было больше, то ей скоро удалось разогнать патриотов.

Тогда молодые люди обступили здание и начали бить стекла камнями. Несколько огромных камней упали в середину залы, где заседали якобинцы. Последние в исступлении начали кричать, что их режут, и, пользуясь тем, что между ними находились и члены Конвента, заявили, что это покушение на национальное представительство. Женщины, наполнявшие трибуны, фурии гильотины, бросились было бежать, но молодые люди ждали их у выходов, многих схватили, распорядились с ними самым непристойным образом, а некоторых жестоко поколотили. Многие из этих женщин вернулись обратно перепуганные, с растрепанными волосами, и уверяли, что их хотели убить. А камни продолжали градом сыпаться в залу.

Наконец якобинцы решили сделать вылазку и сами броситься на нападающих. Энергичный Дюгем, вооружившись палкой, возглавил одну из этих групп, и следствием вылазки стала страшная свалка на улице Сент-Оноре. Если бы с обеих сторон оружие было смертоносным, вышло бы побоище. Якобинцы вернулись в свою залу, увозя нескольких пленных; молодежь, оставшаяся снаружи, грозила, если не будут выданы их товарищи, ворваться в залу и учинить расправу.

Эта сцена длилась уже несколько часов, прежде чем правительственные комитеты смогли собраться и сделать нужные распоряжения. В Комитет общественной безопасности явились от якобинцев эмиссары, которые заявили, что вот-вот зарежут депутатов, находившихся на заседании общества. Четыре комитета постановили немедленно послать несколько патрулей, чтобы освободить своих товарищей, попавших в эту скорее скандальную, чем опасную свалку.

Патрули отправились, имея с собой по одному члену от каждого

комитета. Было восемь часов. Члены комитетов, возглавлявшие патрули, не приказали атаковать нападавших, как этого желали якобинцы; они даже не вошли в залу, хотя их приглашали; они остались на улице, призывая молодежь разойтись и обещая освободить пленных. Группы понемногу рассеялись; депутаты заставили якобинцев очистить залу и отослали всех по домам.

Восстановив порядок, они возвратились к своим товарищам, и четыре комитета просидели всю ночь, совещаясь о том, что теперь делать. Одни полагали, что надо на время закрыть Клуб якобинцев, другие не хотели этого делать. Тюрио в особенности, хоть и был одним из противников Робеспьера 9 термидора, однако начинал пугаться реакции и как будто клонился на сторону якобинцев. Комитеты разошлись, ничего не решив.

На следующее утро, 11 ноября (20 брюмера), в собрании разразилась жесточайшая буря. Дюгем первым начал уверять, что вчера угрожали патриотам, что Комитет общественной безопасности не исполнил своего долга. Трибуны принимали участие в прениях и страшно шумели. Главных возмутителей вывели, и тотчас после того множество членов потребовали слова. Все выступали по очереди и представляли факты в определенном свете; их прерывали опровержения тех, кто видел факты иначе. Дюгем, с трудом владевший собой во всех подобного рода спорах, кричал, что всё это – проделки аристократов, обедающих у этой Кабаррюс. Его лишили слова, но из этого столкновения противоположных рассказов выяснилось, что комитеты, при всей поспешности, с которой они собрались и созвали вооруженные отряды, лишь весьма поздно смогли послать их на место схватки; что, отправив патрули куда следовало, они не приказали выручить якобинцев силой, а только рассеяли толпу; что, наконец, они оказали снисхождение, довольно, впрочем, естественное, группам, кричавшим «Да здравствует Конвент!» и не утверждавшим, что правительственная власть отдана в руки контрреволюционеров. Едва ли можно было требовать от них большего. Не давать своих врагов в обиду было их обязанностью; но требовать идти в штыки на своих друзей – это было уже слишком. Члены комитетов объявили Конвенту, что провели всю ночь в совещаниях о том, следует ли временно закрыть Клуб якобинцев, и им отдали всё дело с тем, чтобы они приняли какое-нибудь решение и

представили его Конвенту.

Этот день прошел спокойнее, потому что у якобинцев не было заседания. Зато 12-го заседание проводили, и люди опять начали собираться. Обе стороны, по-видимому, были готовы ко всему, и ясно было, что дело опять дойдет до драки. Все четыре комитета тотчас же собрались, издали постановление о временном закрытии заседаний якобинцев и приказали немедленно доставить ключ залы в секретариат Комитета общественной безопасности.

Приказание это было исполнено: зала заперта и ключи доставлены в секретариат. Эта мера предупредила грозившие беспорядки. Толпа разошлась, и ночь прошла спокойно. На другой день явился от имени четырех комитетов Ленъело и сообщил Конвенту принятое постановление. «Мы никогда не имели намерения, – сказал он, – нападать на народные общества; но мы имеем право запираť двери залы, где возникает крамола и где проповедуется междоусобная война». Конвент ответил на эти слова громкими рукоплесканиями. Собрание потребовало голосования способом поименной переклички, и постановление было утверждено почти единодушно, среди радостных возгласов и криков «Да здравствует Республика! Да здравствует Конвент!».

Так окончил свое существование это общество, которое завоевало такую славу и оставило о себе такую ненавистную память. Подобно всем собраниям, всем людям, появлявшимся на тогдашней сцене, подобно самой революции, общество это обладало всеми достоинствами и всеми дурными сторонами до крайности напряженной энергии. Поставленное ниже Конвента, открытое новым пришельцам, оно было ристалищем, на котором юные революционеры, еще не игравшие роли и снедаемые нетерпением показать себя, испытывали свои силы и подгоняли медлительных революционеров, уже получивших власть.



Заккрытие Клуба якобинцев

Пока требовались новые люди, новые силы, новые жизни, готовые жертвовать собой, общество якобинцев было полезно и поставляло людей, в которых революция нуждалась в этой страшной, кровавой борьбе. Когда же революция, дойдя до последнего предела, начала подаваться назад, в общество якобинцев естественным образом влились пылкие революционеры, взлелеянные им и пережившие ужасный кризис. Скоро общество стало помехой вследствие своей неугомонности, стало даже опасно своими запугиваниями. Тогда его принесли в жертву люди, которые старались отвести революцию от крайнего предела к золотой середине разума, правосудия и свободы. Они были, несомненно, правы, стремясь возвратиться к умеренности, да и якобинцы были правы, говоря, что идут к контрреволюции. Революции, подобно сильно раскачавшемуся маятнику, переходят от одной крайности к другой, так что всегда есть основание предсказать излишество; но, к счастью, политические общества, пометавшись из стороны в сторону, кончают тем, что приходят к ровному, размеренному движению. Но сколько времени, сколько страданий нужно, чтобы достичь этого счастливого исхода! Англичанам,

настолько опередившим французов, и тем пришлось пройти Кромвелем и двумя Стюартами.

Распущенные якобинцы были не такими людьми, чтобы замкнуться в частной жизни и отказаться от политических требований. Одни нашли приют в Электоральном клубе; другие ушли в предместье Сент-Антуан и вступили в народное общество секции Кенз-Вен. Там собирались самые выдающиеся жители предместья. Якобинцы явились туда толпою со следующими словами: «Доблестные граждане предместья Сент-Антуан! Вы, в которых состоит единственная опора народа, вы видите перед собою несчастных якобинцев. Мы просим вас принять нас в ваше общество. Мы сказали друг другу: “Пойдем в предместье Сент-Антуан, там мы будем неприкосновенны”. Соединенные вместе, мы будем наносить более меткие удары для охранения Конвента и народа от рабства!» Все якобинцы были приняты без разбора, позволили себе крайне неумеренные и опасные речи и несколько раз прочли статью Декларации прав, гласившую, что, когда правительство посягает на права народа, восстание есть для народа священнейшее право и необходимейший долг.

Комитеты, испытав свои силы и чувствуя себя способными действовать энергично, не сочли нужным преследовать якобинцев в новом их убежище и не мешали им тешить себя пустыми словами, а только пребывали в готовности действовать по первому знаку, если за словом последует дело.

Значительная часть парижских секций тоже приободрилась и выгнала из своей среды так называемых террористов, которые удалились к Тамплю, в предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо. Освободившись от этой обузы, секции составили множество адресов, в которых поздравляли Конвент по поводу энергии, оказанной им против сообщников Робеспьера. Почти из всех городов стали приходить такие же адреса, и Конвент, увлекаемый таким образом, пошел еще дальше по принятому им направлению. Члены центра и правой стороны, уже требовавшие возвращения семидесяти трех, с каждым днем настойчивее повторяли свое требование, потому что весьма желательно было заручиться таким значительным подкреплением, а главное — возвращение товарищей обеспечивало им свободу голоса.

Наконец знаменитые семьдесят три депутата были освобождены и снова заняли свои места в Конвенте. Конвент, не пускаясь в объяснения по поводу 31 мая, объявил, что об этом событии можно быть иного мнения, нежели большинство, не становясь при этом преступником. Депутаты возвратились все вместе, со старцем Дюсо во главе. Он говорил за всех и заверил, что, занимая вновь места свои в рядах сотоварищей, они отрекаются от всякого недоброго чувства и воодушевлены одним лишь желанием содействовать общему благу.

Сделав шаг, не время было останавливаться. Луве, Ланжюине, Анри Ларивьер, Дульсе, Инар, все жирондисты, спасшиеся от гонений и скрывавшиеся по большей части в пещерах, написали Конвенту, прося принять их. По этому поводу опять произошла жаркая стычка. Термидорианцы, сами испуганные быстротой реакции, остановились, и правая сторона, чувствуя, что еще нуждается в них, не посмела сердить их и настаивать. Декретом было объявлено, что против депутатов, поставленных вне закона, прекратятся преследования, но они не будут опять допущены в собрание.

Тот же дух, который заставлял оправдывать одних, требовал осуждения других. Один старый депутат по имени Раффрон сказал, что пора доказать Франции, что Конвент не сообщник убийц; он требовал немедленного предания суду Лебона и Давида, уже арестованных. После того как стали известны происшествия на Юге, многие потребовали доклада и обвинительного акта против Менье. Множество голосов требовало также суда над Фукье-Тенвилем и следствия против бывшего военного министра Бушотта, допустившего якобинцев в военное ведомство. То же предложение последовало и против бывшего мэра Паша, как говорили, сообщника эбертистов, спасенного Робеспьером.

При таком потоке нападков на революционных вождей три главных вождя, хоть и отстаиваемые Конвентом, не могли не пасть. Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и Барер, вновь обвиненные Лежандром, не ушли от общей участи. Комитеты не смогли отказаться принять обвинение и подать свое мнение. Лекуэнтр, объявленный клеветником, теперь заявил, что напечатал документы, которых у него не было сначала. Документы эти были отосланы комитетам; комитеты, увлеченные общественным мнением, не посмели идти против течения и объявили,

что имеются достаточные поводы к началу следствия против Бийо, Колло и Барера, но не против Вадье, Вулана, Амара и Давида.

Дело Каррье, долго разбиравшееся в присутствии публики, не скрывавшей своего настроения, наконец было закрыто 16 декабря (26 фримера). Каррье с двумя членами нантского революционного комитета были приговорены к смертной казни в качестве агентов и сообщников системы террора; остальные были оправданы на том основании, что исполняли приказание начальства. Каррье до самого эшафота настаивал на том, что вся революция, все, кто создавал ее и направлял, были виновны наравне с ним. Но в роковую минуту он покорился судьбе и принял смерть спокойно и мужественно.

В доказательство того, что междоусобная война увлекает и развращает людей, приводили такие примеры из его жизни до отправления в Нант комиссаром, которые доказывали, что он от природы был далеко не кровожаден. Революционеры, хоть и не одобряли поступков Каррье, однако испугались постигшей его участи. Они не могли скрывать от себя, что казнь эта была началом кровавого возмездия, которое готовила им контрреволюция. Кроме судебных преследований, направленных против депутатов, членов прежних комитетов или комиссаров в провинциях, другие вновь изданные законы доказывали, что мщение спустится ниже и второстепенность занимаемой должности никого не спасет.

Вышел декрет о том, чтобы все лица, исполнявшие какие-либо должности и имевшие на руках казенные деньги, отдали отчет в своих действиях. Так как все члены революционных комитетов составляли кассы из доходов с церковной утвари и революционных сборов и тратили их на экипировку первых отрядов волонтеров, жалование революционным армиям, перевозки, полицейские расходы и на тысячу других целей в том же роде, было очевидно, что каждый, кто занимал какую-либо должность во время террора, мог подвергнуться преследованию.

К этим основательным опасениям присоединялись еще весьма тревожные слухи. Говорили о мире с Голландией, Пруссией, Австрией, Испанией, даже Вандеей, и уверяли, что условия этого мира будут крайне пагубны для революционной партии.

Глава XL

Продолжение войны на Рейне – Внешняя политика Франции – Декрет об объявлении амнистии Вандее – Пишегрю завоевывает Голландию – Новая политическая организация Голландии – Состояние Вандеи и Бретани – Меры, принятые Гошем для примирения Вандеи

Французские армии, владея всем левым берегом Рейна и готовые выйти на правый, угрожали Голландии и Германии: нужно было или двинуть их вперед, или разместить по квартирам, и этот вопрос теперь стал главным.

Несмотря на победы, несмотря на пребывание в богатой Бельгии, армии терпели чрезвычайную нужду. Занимаемый ими край, три года уже попираемый несметными легионами, был вконец истощен. К бедствиям войны прибавились действия французской администрации: она тотчас ввела и ассигнации, и максимум, и реквизиции. Временные муниципалитеты, восемь местных администраций и центральная, учрежденная в Брюсселе, управляли страной впредь до окончательного решения ее судьбы. Духовенство, аббатства, дворянство, корпорации были обложены контрибуцией в восемьдесят миллионов. Ассигнации были пущены в принудительное обращение; по лильским ценам определили максимум на всю Бельгию. Съестные припасы и товары для армий подвергались реквизициям. От этих распоряжений нужда не уменьшилась, торговцы и крестьяне прятали свое имущество, и офицеры, равно как и солдаты, терпели недостаток во всем.

После прошлогоднего набора и тотчас последовавшей за ним экипировки вся армия, наскоро доставленная в Ондскот, Ватиньи и Ландау, ничего больше не получала от правительства, кроме пороха, ядер и пуль. Давно уже не было разговоров о палатках, а биваки устраивались под шалашами из ветвей, несмотря на то, что начиналась зима, и очень суровая. Многие солдаты за неимением башмаков закутывали ноги соломенными плетенками; вместо шинелей использовалась рогожа. Офицеры, получая жалованье ассигнациями,

иногда сидели на восьми или десяти франках в месяц, а если и получали что-нибудь из дома, то редко имели случай тратить, потому что всё заранее отбиралось на реквизиции. Офицеры жили так же, как солдаты: ходили пешком, носили ранцы за спиной, ели амуниционный хлеб и жили чем бог послал, подвергаясь всем случайностям войны.

Правительство было изнурено чрезвычайными усилиями по набору и вооружению миллиона двухсот тысяч человек. Новая организация, слабая и раздробленная, не могла возратить ему необходимую энергию, и значит, следовало бы разместить армию по зимним квартирам и вознаградить ее за все одержанные победы и перенесенные лишения.

Между тем французы стояли перед Нимвегеном, крепостью, которая, находясь на Ваале, господствовала над обоими его берегами и могла служить неприятелю базой для перехода на левый берег, в открытое поле. Следовательно, весьма важно было взять эту крепость, прежде чем расположиться на зимовку; но повести против нее атаку было очень трудно. Английская армия, выстроенная на правом берегу, стояла там лагерем в количестве 38 тысяч человек; лодочный мост давал ей возможность сообщаться с крепостью и снабжать ее продовольствием. Кроме собственных фортификаций, Нимвеген имел еще укрепленный лагерь с достаточным войском, который располагался прямо перед крепостью. Стало быть, чтобы обложить город, нужно было перекинуть на правый берег армию, которая не имела бы никакой возможности отступления в случае поражения. А значит, можно было действовать только с левого берега, и оставалось лишь напасть на укрепленный лагерь, без большой надежды на успех.

Однако французские генералы решились предпринять одну из тех смелых и внезапных атак, которые в такое короткое время открыли им крепости Маастрихт и Венло. Союзники, сознавая всю важность для них Нимвегена, собрались в Арнеме, чтобы посоветоваться о способах защиты. Решили приказать австрийскому корпусу под началом генерала Вернека перейти на английскую службу и образовать левый фланг герцога Йоркского для обороны Голландии; самому герцогу Йоркскому с его англичанами и ганноверцами – оставаться на правом берегу, перед мостом Нимвегена, и пополнять силы крепости, а генералу Вернеку – попытаться исполнить со стороны Везеля странное движение, которые

опытные военные причисляют к самым нелепым, придуманным коалицией за всю кампанию. Этот корпус, пользуясь островом, образуемым Рейном около Бюдериха, должен был перейти на левый берег и врезаться клином между армиями Самбры-и-Мааса и Северной. То есть 20 тысяч человек бросались за широкую реку, между двух победоносных армий в 80—100 тысяч каждая, только чтобы посмотреть, что из этого выйдет! Предполагалось отправить им подкрепление, смотря по ходу событий. Понятно, что такое движение, исполненное всеми соединенными союзными армиями, могло получиться грандиозным и решительным, но с двадцатью тысячами это была чисто ребяческая попытка, которая, скорее всего, кончилась бы гибелью посланного отряда.

Как бы то ни было, но союзники, думая этими средствами спасти Нимвеген, с одной стороны двинули корпус Вернека к Бюдериху, с другой заставили гарнизон крепости совершать почти ежедневные вылазки. Французы каждый раз давали отпор и, так же как под Маастрихтом и Венло, открыли траншею очень близко к крепости. Счастливый случай ускорил их работу. Обе оконечности дуги, которую французы описывали вокруг Нимвегена, упирались в Ваал, с этих оконечностей пробовали стрелять по мосту. Ядра попали в несколько понтонов и подвергли опасности сообщение гарнизона с английской армией. Англичане, находившиеся в крепости и смущенные этим неожиданным происшествием, поправили понтоны и поспешили возвратиться к своей главной армии, предоставляя трехтысячный голландский гарнизон самому себе. Как только республиканцы это заметили, они усилили огонь. Комендант, весьма испуганный, сообщил о своем положении принцу Оранскому и получил от него разрешение удалиться, как только он рассудит, что опасность действительно велика. Едва комендант получил это разрешение, он перебрался через Ваал. Гарнизон пришел в беспорядок; часть сложила оружие, другая часть, думавшая уйти по мосту, была остановлена французами, отнесена течением к острову и там взята в плен.

Восьмого ноября (18 брюмера) французы вступили в Нимвеген и стали хозяевами этой важной крепости благодаря своей отваге и страху, внушаемому их оружием. Тем временем австрийцы под началом Вернека пробовали выйти из Везеля, но пылкий Вандам накинулся на

них в ту самую минуту, как они ступили на левый берег, и отбросил назад.

Настало наконец время разместиться по квартирам, так как все важные пункты на Рейне были взяты. Конечно, завоевать Голландию, обеспечивая этим судоходство по трем большим рекам, Шельде, Маасу и Рейну; лишить Англию ее сильнейшей морской союзницы; угрожать Германии вдоль всего фланга; прервать сообщения неприятелей на суше с неприятелями на океане или по крайней мере вынудить их начать движение на Гамбург; наконец, открыть Франции богатейшую в мире страну, самую желанную при тогдашнем положении торговли, – это была цель, достойная пробудить честолюбие правительства и армий. Но как сметь приняться за дело, почти невозможное во всякое время, подавно же неисполнимое в дождливую погоду?

Расположенная у устьев многих рек, вся Голландия состоит из клочков земли, брошенных между этими реками и океаном. Ее почве, везде лежащей ниже русла вод, постоянно угрожают море, Рейн, Маас, Шельда, бесчисленные маленькие рукава рек и каналы. На каждом шагу армия встречает или большие реки, по берегам которых устроены высокие насыпи и плотины, или речные рукава и каналы, тоже защищенные фортификациями, или, наконец, крепости – самые неприступные в Европе. Следовательно, широкие маневры в этой стране невозможны. А если армии удастся преодолеть всю массу препятствий, то жителям стоит только решиться на геройский подвиг, пример которого они явили при Людовике XIV, – прорвать свои плотины, – и воды поглотят безумных пришельцев вместе со страной. У голландцев остаются корабли, на которых они, подобно древним афинянам, могут увезти главные свои богатства в ожидании лучших времен или уйти в Индию. Союз с Англией делает эти препятствия неодолимыми.

Правда, в голландцах того времени сильно сказывались дух независимости, ненависть к штатгальтерству, неприязнь к Англии и Пруссии, сознание настоящих своих интересов и память о революции, столь злополучно подавленной в 1787 году. И всё это внушало французским армиям уверенность, что население желает их присутствия. Можно было предположить, что голландцы не дадут прорвать плотины и разорить страну ради дела, им ненавистного. Но

армии принца Оранского и герцога Йоркского сдерживали их, и этих армий было достаточно, чтобы помешать переходу бесчисленных линий.

Если такое дело было рискованным при Дюмурье, оно стало почти безумием в конце 1794 года.

И однако же Комитет общественного спасения, подстрекаемый выходцами из Голландии, серьезно помышлял о том, чтобы зайти за Ваал. Пишегрю, почти в таком же плачевном состоянии, как его солдаты, поехал в Брюссель лечиться от кожной болезни. Моро и Ренье заняли его место, и оба советовали дать войскам отдохнуть на зимних квартирах. Генерал Дендельс, выходец из Голландии, человек отважный и хорошо знающий военное дело, настойчиво предлагал устроить хоть одну вылазку против острова Боммель. Маас и Ваал, направляясь к морю параллельно друг другу, соединяются ниже Нимвегена, расходятся, а потом опять сходятся немного выше Горкума. Эти два рукава и образуют так называемый остров Боммель. Вопреки мнению Моро и Ренье, атака была начата с трех разных пунктов, не удалась, и предприятие было оставлено, причем с большой добросовестностью, особенно со стороны Дендельса, который поспешил признать невозможность его, как только сам в таковой убедился.

Тогда, то есть около середины декабря, армию разместили по зимним квартирам, в которых она так нуждалась, — частью вокруг Бреды, чтобы обложить этот город блокадой. Эта крепость и еще крепость Граве до сих пор не сдавались; но отсутствие сообщений в течение зимы непременно должно было довести их до капитуляции.

В этом положении армия рассчитывала дожить зиму, и уж конечно после всего, что она сделала, она имела полное право гордиться своими заслугами и подвигами. Но, увы, ей предстояли еще новые трудности. Мороз, уже весьма порядочный, усилился до такой степени, что появилась надежда на замерзание больших рек.

Пишегрю, не долечившись, вернулся из Брюсселя, чтобы быть готовым воспользоваться случаем, если таковой по милости суровой зимы представится. И действительно, зима оказалась самой суровой за весь XVIII век. Лед шел по обеим рекам, но ближе к берегам реки стали. Маас стал 23 декабря (3 нивоза) так прочно, что мог вынести даже вес пушек. Генерал Вальмоден, которого герцог Йоркский, уезжая в

Англию, оставил главнокомандующим, оказался в крайне затруднительном положении. После того как Маас стал, вся передняя линия армии открылась; а так как в то же время по Ваалу шел лед, грозивший снести все мосты, то и отступление становилось весьма сомнительным. Вскоре генерал узнал, что мост при Арнеме действительно снесен. Он поспешил отослать в тыл обозы и тяжелую кавалерию, а сам собрался отступать к Девентеру, на берега Исселя. Пишегрю, пользуясь случаем, распорядился, чтобы перешли на трех пунктах Маас и завладели островом Боммель, пока дивизия, блокировавшая Бреду, произвела бы атаку на линию укреплений, окружавшую эту крепость.

Храбрые французы, почти без одежды, которая защитила бы их от жесточайшей зимы, в башмаках, от которых оставались одни передки, тотчас же весело отказались от едва вкусенного отдыха. При 17° мороза они в трех местах перешли 28 декабря (8 нивоза) реку, неожиданно напали на голландцев и разбили их. Пока они брали Боммель, дивизия, осаждавшая Бреду, с полным успехом атаковала линию укреплений. Голландцы, подвергаясь нападениям со всех сторон, отступили в беспорядке, одни – к главной квартире принца Оранского, не выходившего из Горкума, другие – в Тил. В хлопотах беспорядочного отступления они даже не подумали о защите переходов через Ваал, не застывший полностью. Пишегрю, завладев островом Боммель, перешел Ваал, но не посмел заходить далеко, так как тут лед был не достаточно крепок, чтобы вынести пушки.

При таком положении дел участь Голландии стала отчаянной. Принц Оранский со своими голландцами сидел, растерянный, в Горкуме, а Вальмоден с англичанами отступал к Девентеру; ни тот ни другой не могли продержаться против неприятеля, много превосходившего их силой и только что пробившего центр их линии.

Политическое положение было не более утешительным. Голландцы, с надеждой и радостью следившие за приближением французов, начинали волноваться. Оранская партия была слишком слаба, чтобы держать в страхе республиканскую. Враги штатгальтерской власти упрекали ее в том, что она уничтожила свободу страны, посадила или сослала лучших из патриотов, а главное – пожертвовала Голландией Англии, вовлекая ее в союз, противный всем

ее торговым и морским интересам.

Тайно собирались революционные комитеты, готовые подняться по первому знаку, сменить власти и назначить другие. Провинция Фрисландия, штаты которой были уже собраны, осмелилась прямо заявить о своем намерении отказаться от штатгальтера. Граждане Амстердама подали властям своей провинции петицию о готовности противиться всяким приготовлениям к обороне и о намерении ни за что не допустить прорыва плотин. В этом отчаянном положении штатгальтер решил вступить в переговоры и послал в главную квартиру Пишегрю гонцов просить перемирия и предлагать, в виде условий мира, нейтралитет и вознаграждение за военные издержки. Французский генерал и бывшие при нем депутаты на перемирие не согласились, а предложения о заключении мира тотчас сообщили Комитету общественного спасения.

Уже и Испания, которой угрожали Дюгомье, спускаясь с Пиренеев, и Монсо, занявший Гипускоа и приближавшийся к Памплоне, предлагала соглашение. Депутаты, посланные в Вандею для исследования вопроса о возможности примирения этого края, ответили утвердительно и просили у Конвента декрета об амнистии. Как бы ни было скрытно правительство, такого рода переговоры всегда становятся известны даже при несменяемых министрах, облеченных неограниченной властью, как же остаться им в тайне при комитетах, обновляемых по четвертям каждый месяц? В обществе знали, что Голландия и Испания делают такие предложения; присовокупляли, что и Пруссия, отрезвев и признав свою ошибку, изъявляет желание вступить в переговоры; из всех европейских газет знали, что на Регенсбургском сейме несколько германских государств, наскучив войной, мало их касавшейся, просят об открытии переговоров.

Таким образом, всё располагало к миру, и умы, перейдя от идеи революционного террора к пощаде и милосердию, теперь переходили от воинственного настроения к мысли об общем примирении с Европой. Жадно ловили малейшие обстоятельства, чтобы строить на них догадки. С 9 термидора участь несчастных детей Людовика XVI, которые, лишившись близких и разлученные друг с другом, всё еще томились в Тампле, несколько улучшилась. Башмачник Симон, сторож маленького принца, погиб, будучи сообщником Робеспьера. Его место заняли три

сторожа, которые дежурили по очереди и обращались с ребенком человечнее. Из этих перемен, происшедших в Тампле, выводились обширные заключения. Ожидаемый проект о способах изъятия ассигнаций из обращения тоже подавал повод к различным соображениям.

Роялисты, которые уже начинали показываться открыто и число которых увеличивалось толпой не имеющих твердых убеждений людей, всегда покидающих слабеющую партию, не без злорадства говорили, что скоро будет заключен мир. Они уже не могли сказать республиканцам: «Ваши армии будут побиты!» – так как слишком часто повторяли это безуспешно; но они говорили им: «Ваши армии будут остановлены среди побед; мир подписан, и вы не получите Рейна; условием мира будет водворение Людовика XVII на престоле, возвращение эмигрантов, уничтожение ассигнаций, возвращение национальных имуществ прежним владельцам».

Понятно, до какой степени подобные слухи должны были раздражать патриотов. Испуганные уже начатыми против них преследованиями, они с отчаянием видели, что цель, которой они с таким упорством добивались, может ускользнуть от них по милости правительства. «К чему назначаете вы молодого Капета? – спрашивали они. – Что вы делаете с ассигнациями? Неужели нашими армиями пролито столько крови только для того, чтобы их остановили среди побед? Неужели они не смогут дать своему отечеству линию Рейна и Альп! Европа хотела раздела Франции, справедливым возмездием со стороны победоносной Франции будет удержать завоеванные ею области. А что сделают с Вандеей? Неужели простят бунтовщиков, когда жертвуют патриотами?!»

Понятно, как все эти поводы к раздору в соединении с доставляемыми иностранной политикой, должны были волновать умы. Комитет общественного спасения, теснимый обеими партиями, счел своим долгом объясниться. Он два раза заявил – первый раз через Карно, другой – через Мерлена из Дуэ, – что армиям отдан приказ продолжать победы и внимать мирным предложениям не иначе как находясь уже в неприятельских столицах.

Действительно, предложения Голландии казались комитету слишком запоздалыми, и он не счел нужным вступить в переговоры,

когда французские войска были готовы завладеть страной. Уничтожить могущество штатгальтера, восстановить республику – это казалось комитету задачей, достойной Французской республики. Правда, все колонии Голландии и даже часть ее флота могли сделаться добычей англичан, но требовалось предпочесть политические соображения. Франция не могла не низвергнуть штатгальтерства, завоевание Голландии прибавило бы много обаяния ее победам и еще больше испугало бы Европу, а главное – успокоило бы французских патриотов.

Итак, Пишегрю получил предписание не останавливаться ни перед чем. Пруссия и Германская империя еще не делали предложений, так что им отвечать не приходилось. Что касается Испании, которая обещала признать Республику и заплатить ей вознаграждение с условием, чтобы она отвела Людовику XVII маленькое государство где-нибудь около Пиренеев, то ее предложение было встречено с презрением и негодованием. Для Вандеи предусмотрели амнистию: декрет гласил, что все мятежники, которые в месячный срок сложат оружие, не будут преследоваться за принятое ими до того участие в восстании.

Генерал Канкло, смененный за умеренность, был вновь поставлен во главе так называемой Западной армии, в зону действия которой входила и Вандея. Молодой Гош, уже командовавший Брестской армией, сверх того сделался еще начальником Шербурской. Никто не был способнее двух этих генералов замирить край своей рассудительностью, соединенной с энергией.

Пишегрю, получив предписание продолжать начатый поход, ждал, чтобы Ваал окончательно стал. Французская армия расположилась вдоль реки близ Миллингена и Нимвегена и занимала весь остров Боммель. Вальмоден, видя, что Пишегрю оставил близ этого острова лишь несколько аванпостов на правом берегу, сдвинул их и начал наступательное движение. Он предлагал принцу Оранскому присоединиться, чтобы образовать серьезную силу, способную остановить неприятеля, которого линия рек задержать уже не могла. Но принц Оранский, чтобы ничем не открыть дороги на Амстердам, не соглашался двигаться из Горкума. Тогда Вальмоден решил один стать на линии отступления.

Пока республиканцы с величайшим нетерпением ждали возможности перейти Ваал по льду, крепость Граве, защищаемая с геройским мужеством, сдалась, обращенная почти в груды пепла. Это была главная из крепостей, принадлежавших голландцам за рекой Маас, и единственная, так долго продержавшаяся против французского оружия. Французы вступили в нее 29 декабря (9 нивоза).

Наконец 8 января 1795 года (19 нивоза) лед на Ваале остановился. Дивизия Суама перешла его около Боммеля; бригада Девентера – около Тила. Десятого числа правое крыло перешло реку над Нимвегеном, и Макдональд, опираясь на это крыло, переправился под самым Нимвегеном. Перед таким общим движением армия Вальмодена отступила. Одна битва могла ее спасти, но при разногласиях и унынии, царствовавших между союзниками, эта битва могла кончиться разгромом.

Вальмоден двинулся к линии Исселя с целью дойти до Ганновера сухим путем. Согласно задуманному им плану отступления, он, стало быть, предоставил французам две провинции: Утрехт и Гельдерн.

Принц Оранский остался близ моря, то есть в окрестностях Горкума. Потеряв всякую надежду, он бросил армию, явился на собрание штатов в Гааге, объявил, что испробовал всё, что было в его власти для защиты страны, и что больше ничего не остается. Он посоветовал представителям народа не сопротивляться дальше победителям, чтобы не быть причиной еще больших бедствий, а сам немедленно отплыл в Англию.

С этой минуты победителям оставалось только потоком разлиться по всей Голландии. Семнадцатого января (28 нивоза) бригада Суама вступила в Утрехт, а генерал Вандам – в Арнем. Голландские штаты решили более не противиться французам и послать комиссаров отворять крепости, которые французы сочтут нужным занять для своей безопасности. Образовавшиеся до того тайные комитеты со всех сторон заявляли о своем существовании, изгоняли власти и назначали новые. Французов принимали с распростертыми объятиями, как освободителей; им носили провизию и одежду, которой у них почти не было.



Пишегрю

В Амстердаме, куда французы еще не вступали и где их ждали с нетерпением, все население находилось в сильнейшем брожении. Буржуазия, раздраженная против оранжистов, требовала, чтобы гарнизон вышел из города, регентство сложило свою власть, а гражданам возвратили оружие. Пишегрю, уже подходивший к городу, послал вперед адъютанта с приглашением муниципальным властям сохранять спокойствие и не допускать беспорядков. Наконец 20 января (1 плювиоза) Пишегрю в сопровождении депутатов Лакоста, Бельгарда и Жубера вступил в Амстердам. Жители выбежали встречать его; они несли на руках патриотов, недавно подвергавшихся гонениям, и кричали: «Да здравствует Французская республика! Да здравствует Пишегрю! Да здравствует свобода!» Они поражались виду этих героев, которые полунагими вынесли подобную зиму и одержали столько побед.

Французские солдаты явили блестящий пример порядка и

дисциплины. Голодные, едва одетые, среди льда и снега, они в одной из богатейших столиц Европы в течение нескольких часов, расположившись в кругу своего оружия, составленного в козлы, ждали, пока городские власти распоряжались доставлением им пищи и квартир.

В то время как республиканцы входили с одного конца, оранжисты и французские эмигранты бежали с другого. Море покрылось судами всякого рода, уносившими беглецов с их имуществом.

В тот же день дивизия Бонно, накануне завладевшая Гертруденбергом, перешла Бисбос по льду и вступила в Дордрехт. В этом городе она нашла 600 пушек, 10 тысяч ружей и склады съестных и военных припасов на тридцатитысячную армию. Потом дивизия прошла через Роттердам в Гаагу, где заседало собрание штатов.

В дополнение к этой военной операции, и без того уже выходившей из ряда вон, случилось нечто совершенно невероятное. Часть голландского флота стояла на якоре близ Тексела. Пишегрю, не желая дать этим судам времени высвободиться из льдов и отплыть в Англию, послал в Северную Голландию несколько дивизий кавалерии и несколько батарей легкой артиллерии. На Зюйдерзее оказался такой крепкий лед, что французские эскадроны галопом проскакали по этой гладкой равнине и подъехали к кораблям, как к крепости. Лишенные возможности двинуться с места, голландские суда сдались этой неслыханной атаке.

С левого фланга оставалось только еще занять Зеландию, провинцию, образуемую островами, которые находятся в устьях Шельды и Мааса, а с правого фланга – Овер-Иссель, Дренте, Фрисландию и Гронинген, соединяющие Голландию с Ганновером. Зеландия, рассчитывая на свое неприступное положение, предложила гордую капитуляцию на следующих условиях: она не желала принять гарнизон в свои главные крепости, подвергаться контрибуциям, принимать ассигнации, требовала неприкосновенности всех своих судов и имущества, как общественного, так и частного, – словом, не желала подвергаться ни одной из неприятностей, сопряженных с войною. Она также требовала для французских эмигрантов разрешения удалиться нетронутыми.

Депутаты, находившиеся при армии, согласились на некоторые из этих условий, относительно других не обещали ничего, объявив, что

решение должно быть предоставлено Комитету общественного спасения, и, не входя в дальнейшие объяснения, вступили в провинцию, весьма довольные тем, что избавились от опасностей насильственного нападения и сохранили свои эскадры. Пока это происходило на левом фланге, правый, перейдя Иссель, гнал перед собой англичан и даже отбросил их за Эмс. Таким образом провинции Фрисландия, Дренте и Гронинген тоже оказались завоеванными, и все семь Соединенных Провинций подчинились победоносному оружию Республики.

Это завоевание, которым Франция была обязана морозу и изумительной выносливости своих солдат гораздо больше, нежели искусству своих генералов, возбудило в Европе удивление, смешанное с ужасом, а во Франции – безграничный восторг. Карно, управлявший всеми операциями в Нидерландской кампании, был первым и настоящим виновником успеха. Пишегрю, а в особенности Журдан, превосходно поддерживали его во время всех кровавых боев. Но с тех пор как войска перешли из Бельгии в Голландию, всё совершалось по милости солдат и мороза. Однако вся честь этого невероятного завоевания досталась Пишегрю как главнокомандующему, и его имя прогремело по всей Европе, прославляемое как имя первейшего французского полководца.

Завоевания Голландии было мало: следовало вести себя там осторожно и разумно. Во-первых, было весьма важно не топтать страну, чтобы не восстановить против себя ее жителей. Затем предстояло дать Голландии политическое направление, а в стране уже имелись два противоположных мнения. Одни хотели, чтобы завоевание было обращено на пользу свободы, то есть чтобы в Голландии ввели революционные порядки, другие советовали не слишком увлекаться духом прозелитизма^[19], чтобы не напугать опять Европу, уже готовую помириться с Францией.

Первой заботой представителей, находившихся при армии, стало выпустить прокламацию, в которой они заявляли, что будут уважать всякую частную собственность, исключая собственность штатгальтера; что, так как последний один есть враг Французской республики, то его имущество по справедливости должно достаться победителям в качестве вознаграждения за военные издержки; что французы вступают

в страну как друзья батавской нации не с тем, чтобы навязать ей то или другое исповедание, ту или другую форму правления, а только с тем, чтобы избавить ее от угнетателей и вернуть возможность свободно выражать свои желания.

Эта прокламация, за которой последовали соответствующие действия, произвела самое выгодное впечатление. Обновление властей везде прошло под французским влиянием. Из собрания штатов исключили нескольких членов, попавших туда только благодаря влиянию штатгальтера; в президенты был выбран Паулус, бывший морским министром до низвержения республиканской партии в 1787 году, человек замечательный и искренне привязанный к своему отечеству. Это собрание навсегда отменило штатгальтерскую власть и провозгласило державность народа, о чем специально сообщило депутатам, как бы относя на их счет заслугу этого решения.

Затем собрание приступило к составлению конституции и вверило дела временному правительству. Из восьмидесяти или девяноста кораблей, составлявших голландский военный флот, пятьдесят остались в портах во власти Батавской республики; остальные были захвачены англичанами. Голландская армия, распущенная после отъезда принца Оранского, была организована на новых основаниях под началом генерала Дендельса.

Однако пока голландцы занимались приведением в порядок своих дел, следовало позаботиться об обеспечении французской армии всем нужным. Депутаты обратились к временному правительству с реквизицией на известное количество сукна, башмаков, одежды всякого рода, и правительство обязалось всё это доставить. Этой реквизиции, хоть и не чрезмерной, должно было хватить на прокорм и экипировку армии. Голландское правительство пригласило города доставить свою долю требуемого, весьма основательно замечая при этом, что надо спешить удовлетворить великодушного победителя, который, вместо того чтобы брать, просит – притом лишь ровно столько, сколько ему необходимо. Города выказали величайшее усердие: всё потребованное было доставлено сполна.

Потом договорились насчет обращения ассигнаций. Так как солдаты получали свое жалованье не иначе, как только бумажками,

необходимо было, чтобы эти бумажки имели свой курс. Голландское правительство издало по этому поводу постановление. Лавочники и другие мелкие торговцы обязывались принимать ассигнации от французских солдат по курсу девять су за каждый франк. Им запрещалось продавать одному солдату товара более чем на десять франков; затем, в конце недели, они должны были являться в муниципалитеты, которые отбирали у них ассигнации по тому же курсу, по которому они были приняты. Благодаря этим распоряжениям армия, так долго терпевшая нужду, наконец опять почувствовала довольство и начала вкушать плоды своих побед.

В Испании французы имели не менее блестящий успех. Благодаря климату военные действия могли продолжаться там и зимой. Дюгомье, оставив за собой хребты Пиренеев, двинулся к неприятельской линии и атаковал с трех пунктов длинную цепь позиций, занятых генералом Ла-Унионом. Храброго генерала убило ядром во время атаки центра. Левому крылу везло не так, но правое одержало полную победу благодаря храбрости и энергии Ожеро. Периньон принял главное руководство, возобновил атаку 20 ноября (30 брюмера) и добился решительного успеха. Неприятель бежал в беспорядке и оставил французам укрепленный лагерь при Фигерасе. Испанцами овладела такая паника, что сам комендант сдал Фигерас, и французы вступили в одну из первейших крепостей Европы.

Таково было положение дел в Каталонии. В Западных Пиренеях французы взяли Фонтарабию, Сан-Себастьян, Тулузу и заняли всю провинцию Гипускоа. Монсо, заменивший генерала Мюллера, перешел через горы и подошел к самым воротам Памплоны. Однако считая свое положение слишком рискованным, он вернулся назад и, опираясь на более верные позиции, ждал весны, чтобы проникнуть в Кастилию.

Итак, даже зима не смогла прервать эту бессмертную кампанию, и она закончилась среди морозов и снегов, в январе и феврале. Если прекрасная кампания 93 года спасла Францию от иноземного вторжения, то кампания 94 года подарила ей ряд завоеваний – Бельгию, Голландию, страны, располагавшиеся между Маасом и Рейном,

Пфальц, линию Больших Альп, линию Пиренеев и несколько крепостей в Каталонии и Бискайе. Впоследствии случились еще

большие чудеса, и эти две кампании останутся в истории как наиболее славные и почетные для Франции.

Коалиция не могла устоять против стольких свирепых потрясений. Английский кабинет, который по милости промахов герцога Йоркского потерял только владения своих союзников, который под предлогом отдачи Голландии штатгальтеру захватил от сорока до пятидесяти кораблей и под тем же предлогом собирался завладеть голландскими колониями, – этот кабинет, конечно, мог и не спешить с окончанием войны. Он даже боялся, чтобы роспуск союза не положил ей конец. Но Пруссия, увидев французов на берегах Рейна и Эмса и понимая, что поток зальет прежде всех ее, – Пруссия больше не колебалась. Она немедленно послала в главную квартиру Пишегрю комиссара для заключения перемирия. Местом для открытия переговоров был выбран Базель, где Французская республика держала агента, приобретшего полное уважение швейцарцев просвещенностью и умеренностью. Город этот был выбран под тем предлогом, что там можно будет вести переговоры спокойнее и менее гласно, нежели в Париже, где еще бродили слишком сильные страсти и перекрещивалось множество посторонних интриг. Но не это было действительной причиной выбора. Пруссия, хоть и делала первый шаг к миру с той самой Республикой, которую она бралась сокрушить за один поход, не хотела совсем уж открыто признавать себя побежденной и потому предпочитала хлопотать о мире на нейтральной земле, а не в самом Париже. Нынешний Комитет общественного спасения, менее надменный, чем первый комитет, притом сознавая, как важно отделить Пруссию от коалиции, согласился послать своему агенту в Базеле достаточные полномочия, чтобы тот мог вести переговоры. Пруссия отправила барона Гольца, и обмен полномочий последовал в Базеле 22 января 1795 года (3 плювиоза года III).

Империи не менее Пруссии хотелось выйти из коалиции. Большинство ее германских государей, не будучи в состоянии поставить усиленный в пять раз контингент и денежные субсидии, которые они обязались поставлять под влиянием Австрии, не выполняли своих обязательств. Все желали мира. Бавария, Швеция (за герцогство Гольштейн), курфюрст Майнцский и несколько других

государей объявили, что пора сколько-нибудь возможным миром положить конец разорительной войне; что Германская империя не имела иной цели, кроме сохранения договора 1648 года, и вступилась лишь за те из своих государств, которые близки к Эльзасу и Лотарингии; что она заботилась о собственном охранении, а не искала расширения своей территории; что ее намерением никогда не было и не могло быть вмешательство во внутреннее управление Франции; что это мирное заявление должно быть сделано как можно скорее, чтобы положить предел бедствиям, сокрушавшим человечество; что Швеция, поручительница договора 1648 года, к счастью, оставшаяся нейтральной в этой всеобщей войне, могла бы принять на себя посредничество. Это предложение было принято большинством голосов. Курфюрст Трирский, лишившийся своих владений, и императорский посол в Богемии и Австрии одни заявили, что искать мира, конечно, необходимо, но едва ли он возможен со страной, не имеющей правительства.

Наконец 5 декабря сейм на всякий случай издал решение, клонящееся к миру, с тем чтобы потом уже договориться, кому сделать об этом предложение. Смысл решения был в том, что надлежит своим чередом готовиться к новой кампании, но в то же время следует и предложить мир; что, вероятно, Франция, тронутая страданиями человечества и убедившись, что никто не хочет вмешиваться в ее внутренние дела, согласится на условия, почетные для обеих сторон.

Так все державы, наделав ошибок, старались поправить их, насколько это было еще возможно. Одна Австрия, хоть и изнуренная, слишком много потеряла, лишившись Нидерландов, чтобы помыслить о прекращении войны.

Уныние, овладевшее внешними врагами Республики, заражало и внутренних ее врагов. Вандейцы, разделенные раздорами, истощенные, были недалеко от желания мира.

Чтобы заставить их решиться, нужно было только ловко предложить им его, только подать надежду на искреннее примирение. Силы Стоффле, Сапино и Шаретта ужасающим образом сократились. Уже только принуждением они могли заставить действовать своих поселян, которые, наскучив вечной резней и разоренные

беспрестанными опустошениями, охотно бросили бы эту отвратительную войну. Вполне преданными вождям остались только несколько человек уж очень воинственного темперамента, контрабандисты, дезертиры, браконьеры, для которых драться и грабить превратилось в потребность, но таковых было немного. Они образовали отборный отряд, всегда действовавший сообща, но не способный выдержать напора всех республиканских сил.

Итак, три вандейских вождя остались почти без людей. К несчастью для них, между ними не было даже согласия. Мы видели выше, что Стоффле, Сапино и Шаретт заключили договор, которым их соперничество только отсрочивалось. Скоро Стоффле, по внушению честолюбивого аббата Бернье, захотел организовать свою армию и завести особые финансы, администрацию, словом, всё, что составляет отдельную власть, и с этой целью задумал издавать бумажные деньги. Шаретт, ревнуя к Стоффле, восстал против таких замыслов. Располагая содействием Сапино, он потребовал, чтобы Стоффле отказался от своей мысли и явился перед общим советом. Стоффле даже не ответил на вызов. Тогда Шаретт объявил договор упрядненным. Стало быть, разрыв был полным, поскольку недостаток сил не мог вознаграждаться даже согласием. Несмотря на то, что роялистским агентам в Париже было предписано войти в сношения с Шареттом и доставить ему письма от регента, однако до него ничего еще не дошло.

Отряд Сепо, находившийся между Луарой и Виленом, представлял такое же зрелище. В Бретани, правда, энергия не так ослабла, потому что население не было изнурено продолжительной войной. Шуанство оказалось прибыльным и нисколько не утомительным разбойничьим промыслом; к тому же у них имелся вождь непомерного упорства, всегда готовый вновь разжечь угасающий пыл. Но этот вождь недавно уехал в Лондон, чтобы войти в сношения с английским правительством и французскими принцами. Пюизе оставил вместо себя при центральном комитете некоего Дезото, именовавшего себя бароном де Корматеном.

Эмигрантов, в таком избытке водившихся при европейских дворах, очень мало оставалось в Вандее, Бретани и везде, где велась эта тяжкая междоусобная война. Они с большим презрением относились к такого рода службе. Поэтому, за неимением людей, Пюизе и взял к себе этого

авантюриста, который присвоил себе титул барона: жена его получила в наследство в Бургундии небольшое поместье с этим названием. Дезот становился попеременно горячим революционером, офицером у Буйе, рыцарем кинжала, наконец, сделался эмигрантом. Это был какой-то бесноватый, говоривший с неимоверной живостью и способный к неожиданным переходам. И такого-то человека Пюизе оставил в Бретани вместо себя.

Он позаботился устроить сообщение через остров Джерси. Но поездка его затягивалась, письма часто не доходили, а Комартен никак не мог его заменить и с толком поддерживать в партизанах бодрость. Вожди приходили в нетерпение или в уныние, видя, как ненависть и злоба, обезоруженные милосердием Конвента, таяли вокруг них и способы ведения междоусобной войны расплзались прямо в их руках. Да и присутствие такого военного начальника, как Гош, не означало для них ничего отрадного. Итак, Бретань, хоть и менее изнуренная, чем Вандея, была столь же расположена принять мир, который ей искусно бы предложили.

Канкло и Гош оба были вполне способны привести это дело к благополучному исходу. Мы уже видели, как Канкло поступал в первую Вандейскую войну. Он оставил во всем крае воспоминания о себе как о человеке крайне искусном и умеренном. Армия, которую ему дали, была значительно ослаблена подкреплениями, беспрестанно посылаемыми от нее на Рейн и в Пиренеи, да еще совершенно расстроилась от столь долгого пребывания в одних и тех же местах. По милости беспорядка, неизбежного в междоусобной войне, солдаты отвыкли от дисциплины; начались грабежи, пьянство, бесчинства, болезни. Это уже второй раз случалось с армией с начала пагубной войны. Из 46 тысяч человек, составлявших ее, от 15 до 18 тысяч лежали по лазаретам и госпиталям. Остальные 30 тысяч были плохо вооружены, и половина их находилась в крепостях; следовательно, едва 15 тысяч оставались в распоряжении главнокомандующего.

Канкло потребовал еще 14 тысяч из Брестской армии и 6 из Шербурской. С этим подкреплением он удвоил посты, вновь захватил лагерь Ла Сореньер близ Нанта, недавно отнятый у республиканцев Шареттом, и со значительными силами двинулся на речку Лейон, образовавшую оборонительную линию Стоффле в Верхнем Анжу.

Внушительно расположившись, он начал распространять декреты и прокламацию Конвента и разослал по всему краю эмиссаров.

Гош, привыкший к большой войне, одаренный блестящими качествами, с истинным отчаянием увидел себя обреченным на междоусобную войну, где не было места ни благородным чувствам, ни стратегическим комбинациям, ни славе. Он сначала просил послать вместо себя другого, но скоро покорился необходимости служить отечеству в должности неприятной и ничтожной для его талантов и был награжден за эту покорность, найдя на том самом театре войны, который ему так хотелось оставить, случай пустить в ход способности не только военачальника, но и государственного человека. Его армия совсем ослабела, у него осталось едва 40 тысяч человек худо организованного войска, а обширный край, пересеченный горами и лесами, имел более 350 лье одной береговой линии от Шербура до Бреста. Гошу обещали прислать еще 12 тысяч человек с севера. Он просил солдат, привычных к дисциплине, и немедленно принялся отучать своих от привычек, приобретенных ими в междоусобной войне.

«Нужно, — говорил он, — ставить во главе наших колонн дисциплинированных людей, которые могли бы выказывать не только храбрость, но и умеренность, и служить столько же посредниками, столько солдатами». Гош разбил свое войско на множество маленьких лагерей и наказал солдатам ходить по окрестностям группами по сорок или по пятьдесят человек, стараться лучше познакомиться с местностью, привыкать к этой партизанской войне, делать всё, чтобы перехитрить шуанов, разговаривать с поселянами, сближаться с ними, успокаивать их, заручаться их дружбой и даже содействием. «Не будем забывать, — писал он одному из своих офицеров, — что политика должна в значительной степени влиять на эту войну. Будем применять попеременно гуманность, доблесть, честность, силу, хитрость и постоянно сохранять достоинство, подобающее республиканцам».

За короткое время армия приняла другой вид, сменила настроение, и порядок, необходимый для примирения края, был восстановлен. Строгость Гоша к солдатам, однако, мешалась со снисходительностью, и он однажды написал следующие прекрасные слова одному из своих офицеров, который горько жаловался ему на некоторые случаи пьянства: «Э, мой друг, если бы солдаты были философами, он не стали

бы драться... Будем исправлять пьяниц, только когда пьянство заставляет их изменять своим обязанностям».

Гош составил себе вполне верные взгляды на край и способы его примирения. «Этим крестьянам нужны священники, – писал он. – Пускай их! Многие сильно пострадали и вздыхают о земледельческой жизни; надо дать им кое-какую подмогу для обзаведения новым хозяйством. Что же касается тех, у кого война обратилась в привычку, их невозможно вернуть на родину: праздностью и неугомонностью они постоянно поддерживали бы смуты. Из этих людей надо образовать легионы и причислить их к армиям Республики. Из них выйдут отличнейшие авангардные солдаты. Их ненависть к коалиции, не оказавшей им никакой помощи, ручается нам за их верность. К тому же, не всё ли им равно, за что и за кого драться? Только бы была война».

Декреты Конвента, распространенные в больших количествах в Вандее и Бретани, освобождение подозрительных в Нанте и Ренне, помилование вдовы Боншана особым декретом, отменявшим произнесенный над нею смертный приговор; отмена всех не совершенных еще казней; свобода, дарованная вероисповеданию; запрет на опустошение церквей; освобождение арестованных священников; наконец, казнь Каррье и его сообщников, – все эти факты начали производить ожидаемое действие как в Вандее, так и в Бретани, и склоняли жителей воспользоваться общей амнистией, обещанной вождям и солдатам. По мере того как утихала ненависть, слабело мужество. Представители, бывшие комиссарами в Нанте, повидались с сестрой Шаретта и передали ему через нее декрет Конвента.

Шаретту приходилось в эту минуту из рук вон плохо. Хоть и одаренный беспримерным упорством, он не мог обойтись без надежды, надежды же он ниоткуда не видел. Веронский двор, при котором он пользовался таким уважением, ничего не делал. Регент написал Шаретту письмо, в котором назначал его наместником и называл вторым основателем монархии. Но это письмо, которое могло бы по крайней мере польстить его тщеславию, хоть и было вверено парижским агентам, до Шаретта не дошло. Он в первый раз попросил помощи у Англии и послал в Лондон своего молодого адъютанта, но пока не имел о нем известий. Итак – ни слова благодарности, ни

поощрения ни от принцев, ради которых он жертвовал собою, ни от держав, политику которых поддерживал. Шаретт согласился на свидание с Канкло и представителями народа.

В Ренне желанное сближение последовало тоже через посредство сестры одного из вождей. Ботиду, один из главных шуанов Морбигана, узнал, что его сестру, находившуюся в Ренне, посадили из-за него. Его пригласили явиться туда хлопотать о ее освобождении. Депутат Бурсо отдал Ботиду сестру и успел убедить в искренности декрета об амнистии. Ботиду взялся написать одному молодому неустрашимому шуану по имени Буа-Арди, который командовал отрядом Кот-дю-Нор и слыл самым опасным из инсургентов. «На что вы надеетесь? – написал Ботиду ему. – Республиканские армии завладели Рейном. Пруссия просит мира. Вы не можете полагаться на слово Англии; вы не можете рассчитывать на вождей, которые все пишут вам из-за моря или бросили вас под предлогом, будто отправились искать помощи. Вы можете только вести войну, состоящую из ряда убийств».

Буа-Арди пришел от этого письма в замешательство. Он не мог оставить северных берегов, где военные действия требовали его присутствия, но он пригласил к себе центральный комитет – отвечать Ботиду. Комитет, во главе которого стоял Корматен, приехал к Буа-Арди. В республиканской армии состоял один молодой генерал, храбрый, смелый, исполненный природного ума и в особенности той тонкости, которая, говорят, свойственна прежнему его промыслу – торговца лошадьми; звали его Юмбер. Он принадлежал, по словам Пюизе, к числу людей, слишком хорошо доказавших, что год практики на войне с выгодой заменяет все учения. Юмбер написал письмо, слог которого не был одобрен Комитетом общественного спасения, но именно такое, какое требовалось, чтобы тронуть Буа-Арди и Корматена. Последовало свидание, Буа-Арди обнаружил сговорчивость молодого солдата, храброго, незлобивого, который дерется больше по характеру, чем из фанатизма. Однако он ничего не обещал и предоставил действовать Корматену.

Последний, с обычной своей непоследовательностью, крайне польщенный, что его призвали на переговоры с полководцами могущественной Французской республики, принял все предложения Юмбера и просил, чтобы его связали с генералами Гошем и Канкло и

представителями. Сговорились о дне и месте свидания, центральный комитет упрекнул Корматена, что он слишком далеко зашел. Он же, чье двуличие не уступало непоследовательности, уверял комитет, что не намерен изменять своему делу; что, соглашаясь на свидание, хотел только вблизи поглядеть на общих врагов, чтобы судить об их силах и распоряжениях. Он привел две, по его мнению, важные причины для своего решения: во-первых, никто из шуанов никогда не видел Шаретта и не разговаривал с ним; теперь же он, Корматен, может потребовать пригласить и Шаретта с целью будто бы сделать переговоры общими для Вандеи и Бретани; а при этом представится случай поговорить с ним о планах Пюизе и заручиться его содействием. Во-вторых, Пюизе, друг детства Канкло, написал последнему письмо, способное тронуть сердце генерала и в то же время заключающее в себе блестящие предложения. Под предлогом делового свидания можно будет вручить ему это письмо и довершить дело, которое начал Пюизе.

Таким образом, порисовавшись перед своими товарищами в роли искусного дипломата, Корматен получил разрешение отправиться на притворные переговоры с республиканцами. Он и Пюизе написал в этом смысле и поехал, исполненный самыми противоречивыми мыслями: то он гордился тем, что обманет республиканцев и отобьет у них генерала, то увлекался ролью посредника между инсургентами и представителями Республики. Корматен повидался с Гошем, попросил у него предварительного приостановления неприятельских действий, потом потребовал разрешения посетить всех вождей шуанов, одного за другим, чтобы внушить им мирные взгляды, свидания с Канкло и в особенности с Шареттом, чтобы договориться с последним, уверяя, что бретонцы не могут отделиться от вандейцев. Гош и депутаты согласились на все его требования, но послали с ним Юмбера, который должен был всюду сопровождать его и присутствовать при всех свиданиях.

Корматен в восторге отписал центральному комитету и Пюизе, что все его хитрости удаются, что он убедит шуанов сговориться с Шареттом, только посоветует ему затянуть дело до начала ожидаемой большой экспедиции, наконец, что сманит Канкло. Он принялся объезжать Бретань; виделся с вождями, удивляя их словами о мире и непонятным и неожиданным перемирием. Они не понимали этих

тонкостей и только падали духом. Корматен, сам того не подозревая, действительно способствовал примирению края, да и сам начинал склоняться к тому же.

Между тем Шаретту назначили место и день свидания. Оно должно было произойти недалеко от Нанта, Корматен тоже собирался отправиться туда. С каждым днем всё больше запутываясь в обязательствах, которые он принимал относительно республиканцев, Корматен начинал реже писать центральному комитету; комитет же, видя, какой оборот принимают дела, писал Пюизе: «Приезжайте скорее. Наши колеблются. Республиканцы обольщают вождей. Вам надо приехать хотя бы только с двенадцатью тысячами; привезите денег да побольше священников и эмигрантов. Приезжайте до конца января».

Так, в то время как эмиграция и державы возлагали такие надежды на Вандею и Бретань, открывались переговоры для примирения этих областей. В январе-феврале Республика вступила в Базеле в переговоры с одной из главных держав, а в Нанте — с роялистами, до сих пор боровшимися против нее и не признававшими ее.

Глава XLI

Открытие салонов, театров; учреждение школ; декреты по части торговли, промышленности и вероисповеданий – Голод зимой года III – Отмена максимума – Возвращение в Конвент жирондистов – Восстание 12 жерминаля – Смуты в городах

Якобинцы были рассеяны, главные агенты и главы революционного правительства преданы суду, Каррье казнен, несколько других депутатов потребованы к отчету за свои действия в бытность комиссарами; наконец, Бийо-Варен, Колло д'Эрбуа, Барер и Бадье находились под предварительным следствием и скоро должны были предстать перед судом. Но Франция в то же время, когда искала случая отмстить людям, потребовавшим у нее стольких усилий и обрекшим ее на ужасы террора, возвращалась к увеселениям, к прелестям искусства и цивилизации, которых была лишена так давно. Мы уже видели, с каким жаром французы собирались насладиться предстоящей зимой, как женщины снова заинтересовались нарядами, следуя новому и странному вкусу, с каким увлечением посещали концерты в «Фейдо». Теперь все театры были опять открыты. Актеры «Комеди Франсез» вышли из тюрем и снова появились на сцене. Публика стремилась в театры с каким-то неистовством; аплодировала всем эпизодам, которые могли быть приняты за намек на террор; пела «Пробуждение народа» и отвергала «Марсельезу». В ложах появлялись красавицы, жены или подруги термидорианцев; в партере золотая молодежь своими нарядами, вкусом, увеселениями как бы дразнила кровожадных, грубых последователей террора, которые, как говорили, хотели изгнать всякую культуру.

Балы посещали с тем же усердием. Между прочими устроили бал, на котором не было ни одного человека, не потерявшего кого-нибудь из родных во время революции. Этот бал стал известен как *бал жертв*.

Конвент, у которого, несмотря на бури страстей, рождались великие идеи, повелел создать музей, в котором к картинам, уже принадлежавшим Франции, прибавлялись еще доставляемые

завоеваниями. Сюда уже привезли картины фламандской школы из Бельгии. Лицей, где Лагарп недавно прославлял в красном колпаке философию и свободу, закрытый во время террора, опять открылся благодаря заботливости всё того же Конвента, который принял на себя часть расходов и роздал несколько сотен билетов. Тот же Лагарп теперь ораторствовал против анархии, террора, упадка языка, словом, против всего, что прежде превозносил. Конвент назначил пенсии почти всем литераторам и всем ученым без различия политических мнений. Только что был издан декрет об основании первичных школ, где должны были преподавать начала устного и письменного языка, правила арифметики, начала землемерных работ и некоторые практические понятия о главнейших явлениях природы; центральных школ для высших классов с преподаванием юношеству математики, физики, химии, естественной истории, гигиены, ремесел и промыслов, рисования и черчения, беллетристики, древних языков, логики и анализа, истории, политической экономии, основных начал законодательства; нормальной школы для обучения под руководством известных ученых и литераторов молодых преподавателей, долженствовавших по выходе из нее разнести по всей Франции знания, почерпнутые из этого источника просвещения; наконец, специальных школ: медицинской, ветеринарной, правоведения.

Кроме этой обширной системы, назначаемой к распространению той самой цивилизации, в изгнании которой Революция так несправедливо обвинялась, Конвент постановил поощрять труд всякого рода. Был отдан приказ основать несколько мануфактур. Швейцарцам, покинувшим отечество вследствие смут, были предоставлены земли для строительства часовой мануфактуры. Кроме того, Конвент заказал своим комитетам проекты каналов, строительство банков, систему денежных ссуд для некоторых провинций, разоренных войной. Он смягчил некоторые законы, могущие вредить земледелию и торговле. Закон о подозрительных, хотя многие требовали его отменить, остался в силе, но был страшен уже только для патриотов, так как подозрительными теперь сделались они. Состав революционного трибунала был изменен, устроен по образцу простых уголовных судов с судьями, присяжными и защитниками. Нельзя было более судить по письменным документам, не выслушав свидетелей. Закон, допускавший

произвольное отстранение обвиненного от прений, изданный с целью погубить Дантона, был отменен.

В округах не было больше постоянных администраций, кроме как в городах, имевших свыше 50 тысяч жителей. Наконец, разрешился новым законом важный вопрос о вероисповеданиях. Этот закон напоминал о том, что в силу Декларации прав разрешены все вероисповедания, но заявлял, что государство более не платит жалованья служителям и не позволяет публичного отправления обрядов. Каждой секте дозволялось строить или нанимать здания и отправлять обряды своего вероисповедания внутри этих зданий. Чтобы чем-нибудь заменить пышные церемонии католической религии и обряды поклонения Разуму, Конвент составил проект праздников на все декадные дни. В программу таких праздников должны были включаться музыка, танцы и нравоучительные увещания, так, чтобы увеселения приносили пользу и на воображение народа оказывалось полезное и приятное воздействие. Одним словом, избавившись от неотложной заботы о самосохранении, революция сбрасывала с себя насильственный настрой, возвращалась к своему настоящему назначению: благоприятствовать искусствам, промышленности, просвещению и цивилизации.

Но пока исчезали жестокие законы, а высшие классы опять принимались за прежние удовольствия, низшие классы страдали от ужасного голода и холодов, почти небывалых в этой полосе. Если зима и позволила армии переходить пешком реки в Голландии, то народ во французских городах и селениях дорого заплатил за это завоевание. Это была самая суровая зима XVIII века; она превзошла суровостью зиму, предшествовавшую открытию Генеральных штатов в 1789 году. Голод произошел в силу разных причин. Главной из них был дурной урожай. Хотя в начале весны всходы обещали необыкновенно богатую жатву, но засуха, а потом туманы уничтожили все надежды. Так как ассигнации постоянно понижались в цене и наконец упали до одной десятой своей номинальной ценности, то максимум становился всё тяжелее, а старания обойти его – всё усерднее. Поселяне везде давали ложные сведения, и в этом им помогали муниципалитеты, как известно, обновленные в своем составе. Теперь в них заседали умеренные люди, которые охотно потакали заговору против революционных законов.

Наконец, так как пружины власти ослабли и правительства больше не боялись, продуктовые реквизиции для армий и больших общин прекратились. Чрезвычайная система продовольствования, долженствовавшая заменить свободную торговлю, расстроилась гораздо раньше, нежели торговля опять вошла в свою нормальную колею. В больших общинах голод должен был быть еще чувствительнее, потому что их всегда труднее прокормить. Парижу грозил голод более жестокий, нежели все бедствия, случавшиеся до сих пор.

К общим причинам присоединялись и частные. По упразднении 9 термидора непокорной Парижской коммуны забота о продовольствовании Парижа была передана комиссии торговли и продовольствия; в этой отрасли случился перерыв. Приказания были даны очень поздно, с опасной поспешностью, средств перевозки не хватало. Все лошади, как мы уже видели, были замучены до смерти, так что было трудно не только собрать достаточное количество хлеба, но и препроводить его в Париж. Медленность движения, грабежи в пути, все случайности, обыкновенно происходящие в голодное время, расстраивали распоряжения комиссии. К голоду прибавился недостаток дров и угля. Распоряжение о новой рубке лесов последовало поздно, и сплавщики, притесняемые местными властями, потеряли всякую охоту к делу.

Итак, жестокие страдания низших сословий представляли резкий контраст с увеселениями, которым предавались высшие. Революционеры, раздраженные против правительства, следовали примеру всех разбитых партий: каждое общественное бедствие они превращали в оружие против глав государства. Они даже способствовали увеличению этих бедствий, противодействуя распоряжениям администрации. «Не посылайте ваших хлебов в Париж, — говорили они крестьянам. — Правительство ныне контрреволюционное, оно возвращает эмигрантов, не хочет давать ходу конституции, позволяет хлебам гнить на складах; оно хочет уморить народ голодом, чтобы принудить его броситься в объятия монархии».

Революционеры уходили из своих общин в большие города, где их не знали, подальше от тех, кого они преследовали. Там они продолжали смущать народ. В Марселе они вновь применили насилие против депутатов и вынудили их приостановить судебное преследование,

начатое против мнимых сообщников террора. Пришлось объявить в городе осадное положение. В Париже этих людей скапливалось всё больше и больше, и там их буйству не было конца. Все они твердили только об одном – о страданиях народа в сравнении их с роскошью, которую позволяли себе новые руководители Конвента. На госпожу Тальен они нападали с особенным ожесточением; во всякую эпоху какая-нибудь женщина всегда оказывалась виновной в бедствиях народа: Мария-Антуанетта, потом госпожа Ролан, теперь – Тереза Тальен. Ее имя произносили много раз и в Конвенте, но Тальен как будто этого не замечал. Наконец он заговорил в ее защиту: он выставил Терезу образцом преданности и мужества; напомнил, что она была одной из жертв, обреченных Робеспьером на казнь, и объявил, что она его законная жена. Баррас, Лежандр и Фрерон поддержали его. Они воскликнули, что пора, наконец, объясниться; Конвенту пришлось, по обыкновению, прекратить спор переходом к очередным делам.

Неутомимый Дюгем обнаружил брошюру, озаглавленную «Зритель Революции», в которой содержался диалог о монархическом и республиканском правительствах. В этом диалоге очевидное предпочтение отдавалось монархическому образу правления, и французский народ довольно открыто приглашался вернуться к нему. Дюгем с негодованием указал на эту брошюру как на один из симптомов роялистского заговора. Конвент, приняв во внимание этот донос, послал автора в революционный трибунал. Но когда Дюгем затем позволил себе сказать, что роялизм и аристократия торжествуют, Конвент его самого на три дня отправил в тюрьму Аббатства за оскорбление собрания.

Эти сцены взволновали весь Париж. В секциях хотели составлять адреса по поводу последних происшествий, но из-за редакции этих адресов происходили споры, потому что каждый требовал, чтобы они были написаны, как хотелось именно ему. Никогда еще Революция не представляла такой бурной картины. Якобинцы в прежние времена были так всесильны, что не встречали сопротивления, могущего вызвать настоящую борьбу: они ломали перед собою всё и всегда оставались победителями. Теперь же возникла другая могущественная партия, хоть и менее склонная к насилию; она брала количеством и могла бороться с равными шансами.

Писались адреса всякого рода. Якобинцы, сходявшиеся в кофейнях многолюдных кварталов Сен-Дени и Тампля, выступали так же, как всегда. Они грозились отправиться в Пале-Рояль, в театры, даже в Конвент и напасть на новых заговорщиков. Золотая молодежь, со своей стороны, страшно шумела в партерах и наконец решилась нанести якобинцам чувствительное оскорбление. Бюсты Марата стояли во всех публичных местах, и в особенности много их было в театрах. В театре «Фейдо» молодые люди взобрались на балкон и, встав на плечи друг другу, сбросили бюст якобинского «святого», разбили его вдребезги и на его место поставили бюст Руссо. Полиция тщетно старалась этому помешать. Выходка молодежи вызвала общие рукоплескания. На сцену посыпались венки, зазвучали стихи, нарочно сочиненные по этому случаю. Раздавались крики: «Долой террористов! Долой Марата! Долой кровопийцу! Да здравствует автор “Эмиля” и “Новой Элоизы”!»

То же самое повторилось на следующий день во всех театрах и публичных местах. Потом молодежь бросилась на рынки, пачкала кровью бюсты Марата и волокла их по грязи. В Монмартре дети составили целую процессию и бросили бюст в сточную канаву.

Общественное мнение высказалось с крайним негодованием. Ненависть и отвращение к Марату наполняли все сердца, даже монтаньяров, которые никогда не могли уследить за сумасбродствами этого кровожадного безумца, но кинжал Шарлотты Корде окружил его имя ореолом такой святости, что оно сделалось неприкосновенным. Мы видели, как в последние санюолотиды, то есть четыре месяца назад, останки Марата были перенесены на место останков Мирабо, в Пантеон. Комитеты поспешили воспользоваться случаем и предложили Конвенту постановить декретом запрет на погребение в Пантеоне ранее двадцати лет по смерти и выставление чьих-либо бюстов или портретов в публичных местах.

Итак, Марат, попав в Пантеон, был из него изгнан уже через четыре месяца. Такова переменчивость революций! Бессмертие даруется, а затем отнимается, и утрата популярности грозит вождям партий даже по смерти! С этой поры началось поношение имени Марата, который таким образом разделил участь Робеспьера.

Якобинцы, раздраженные поруганием, нанесенным

революционному светилу, собрались в предместье Сент-Антуан и поклялись отмстить за память Марата. Они триумфально пронесли его бюст по всем кварталам, в которых пользовались перевесом, и грозились зарезать всякого, кто вздумает нарушить это мрачное торжество. Молодежь очень хотела накинуться на эту процессию, и неминуемо вышла бы драка, если бы комитеты не распорядились закрыть клуб Кенз-Вен, запретить все подобные процессии и разогнать сходбища.

На заседании 9 января (20 нивоза) бюсты Марата и Лепелетье были вынесены из залы Конвента вместе с двумя прекрасными картинами работы Давида, изображавшими их смерть. Трибуны, распавшиеся на два лагеря, подняли крик: одни рукоплескали, другие роптали. Среди последних было много женщин, известных как фурии гильотины, – их вывели. Собрание рукоплескало, а Гора, глядя, как уносят эти знаменитые картины, преисполнялась уверенности, что перед ее глазами совершается гибель Революции и Республики.

Конвент отнял этими распоряжениями у обеих партий повод к дракам; но борьба замедлилась лишь на несколько дней. Взаимное озлобление было так глубоко, страдания народа были столь велики, что следовало ожидать повторения одного из бурных эпизодов, уже не раз скомпрометировавших Революцию. Не зная, что будет дальше, собрание обсуждало вопросы, вытекавшие из торгового и финансового положения страны, – злополучные вопросы, беспрестанно поднимаемые и опять оставляемые, обсуждаемые и решаемые, смотря по переменам, происходившим в идеях и взглядах.

Два месяца назад Конвент отчасти изменил закон о максимуме, допустив разницу в ценах на хлеб, смотря по местностям; изменил закон о реквизициях, сделав их специальными и ограниченными, и отложил на время вопросы, касающиеся секвестра, звонкой монеты и ассигнаций. Теперь исчезла всякая осторожность в обращении с учреждениями, созданными Революцией. Требовали уже не изменения, а полной отмены чрезвычайной системы, водворенной при терроре. Противники этой системы приводили весьма основательные доводы. Максимум, наложенный не на всё, говорили они, есть нелепость и несправедливость. Если поселянин платит 30 франков за сошник,

прежде стоивший 27, и 700 франков работнику вместо 100, то он никаким образом не может отдавать своих продуктов по прежним ценам. После того как сырье, ввозимое из-за границы, избавили от максимума, чтобы несколько оживить торговлю, нелепо было бы подвергать его этому закону в измененном виде, потому что тогда товар продавался бы в восемь или десять раз дешевле, нежели сырье. Эти примеры были не единственными, легко было привести тысячи в том же роде.

Максимум, стало быть, ввергает торговца, мануфактурщика, сельского хозяина в неизбежный убыток, вследствие чего они не захотят покориться ему. Одни бросят свои лавки и заводы, другие станут зарывать свой хлеб в зерне или будут кормить им домашнюю птицу и свиней, торговля которыми доставит им больше выгод. Так или иначе, для того чтобы рынки стояли не пустыми, цены должны быть свободными, потому что никто никогда не согласится работать себе в убыток. Да и наконец, доказывали противники революционной системы, максимум никогда толком не соблюдался. Кто хотел покупать, тот платил по реальным, а не по легальным ценам. Значит, весь вопрос сводится к следующему: платить дорого или не получать ничего. Напрасно думают заменить добровольную промышленность и торговлю реквизициями, то есть действиями правительства. Торгующее правительство – это чудовищный абсурд. Комиссия продовольствия, устраивающая столько шума из-за своих операций, – известно ли, сколько она ввезла хлеба из-за границы? Столько, сколько требуется, чтобы прокормить Францию в течение пяти дней! Следовательно, необходимо вернуться к индивидуальной деятельности, к свободной торговле и на нее одну положиться. Когда максимум отменят вовсе, когда торговец сумеет вернуть деньги, затраченные на фрахтование и страхование, и получать процент с капитала и справедливый доход, тогда он выпишет продукты из всех точек земного шара. Большие общины, которые, подобно Парижу, продовольствуются за счет государства, в особенности не в состоянии прибегать к торговле, и погибнут с голода, если им не будет возвращена свобода.

В принципе, все эти рассуждения были совершенно верны. Тем не менее внезапный переход от принудительной торговли к свободной не мог не быть опасным в минуту такого сильного кризиса. Пока частная

промышленность не встрепенулась и рынки еще не наполнились вследствие свободы цен, предстояла страшная дороговизна. Это было несущественное неудобство относительно всех товаров не первой необходимости, и неудобство лишь временное, так как конкуренция скоро опять сбила бы цены, но как должно было отозваться это переходное состояние на предметах ежедневного потребления? До того, как право продавать хлеб по свободным ценам заставит отправить суда в Крым, Польшу, в Африку или Америку и с помощью конкуренции принудит поселян продавать свой хлеб, – как прожить городскому населению без максимума и реквизиций? Некачественный хлеб, добываемый с невероятными сложностями, всё же был лучше безусловного голода. Конечно, надо было выпутаться из этой принудительной системы как можно скорее, но с большой осторожностью и без глупой торопливости.

Что касается упреков, с которыми Буасси д'Англа обращался к комиссии продовольствия, они были несправедливы и даже просто смешны. «Ввезенный ею хлеб, – говорил он, – прокормил бы Францию всего пять дней». Во-первых, комиссия оспаривала этот расчет, но не в том дело. Стоит только представить себе отчаяние страны, лишенной хлеба в продолжение целых пяти дней! Если бы это лишение хотя бы было распределено ровно, оно могло бы не быть смертельно; но в то время как деревни изобиловали бы хлебом, большие города, и в особенности столица, оставались бы без него не пять дней, а десять, двадцать, пятьдесят, и страшно подумать, что в результате могло бы произойти. К тому же комиссия продовольствия под руководством Робера Ленде не ограничивалась ввозом хлеба из-за границы, а перевозила хлеб, фураж, товары, имевшиеся во Франции, из деревень к границам или в большие общины, а торговля, запуганная войной и террором, никогда бы этого сама не сделала. Тут следовало вступить в воле правительства, и эта воля, необычайно энергичная, заслуживала благодарности и удивления Франции, вопреки крикам мелких людишек, которые в пору опасности, грозившей отечеству, умели только прятаться.

В порыве увлечения Конвент отменил максимум и реквизиции, предал суду Бийо, Колло и Барера; так что вопрос был решен в некотором роде приступом. Однако он сохранил еще некоторые остатки

системы реквизиций. Те из них, которые имели целью продовольствование больших общин, просуществовали еще месяц. Правительству оставлялось право брать продукты самовластно, платя за них по рыночным ценам. Комиссия лишилась части своего титула: она стала называться комиссией продовольствия, а не «торговли и продовольствия». Число ее директоров сократили до трех, а служащих по ее ведомству – от десяти тысяч до нескольких сотен человек. Подрядная система заменила казенную, и Конвент мимоходом восстал против Паша из-за созданного им комитета рынков. Извоз тоже был сдан подрядчикам. Оружейный завод в Париже, оказавший громадные, но дорогостоящие услуги, был распущен. Изготовление оружия было также поручено подрядчикам. Рабочие, предвидя, что будут получать меньше платы, некоторое время роптали, даже грозились взбунтоваться, подстрекаемые якобинцами, но их умиротворили и отослали в их общины.

Вопрос о секвестре, сначала отложенный из опасения, что восстановлением свободного обращения ценных бумаг будут снова открыты источники для содержания эмиграции и опять возникнет биржевая игра иностранными бумагами, – этот вопрос был снова поднят и на этот раз решен в пользу свободы торговли. Секвестр был снят. Иностранным негодциантам возвратили секвестрованные ценные бумаги, даже рискуя тем, что с французами так же поступить не удастся. Наконец, восстановили и свободное обращение звонкой монеты. Оно было прекращено с целью помешать эмигрантам вывозить металлические деньги из Франции, а теперь разрешалось на том основании, что торговля сделается невозможной, если не позволить оплату золотом и серебром покупок, сделанных за границей. К тому же полагалось, что металлические деньги спрятаны и не показываются по милости денег бумажных и что возможность платить за границей заставит их опять войти в обращение.

Кроме того, были приняты предосторожности, довольно, впрочем, несерьезные, чтобы эти деньги не потекли в руки эмигрантов: каждый, кто вывозил сумму звонкой монетой, обязывался ввести товаров на равнозначную сумму.

Наконец, Конвент занялся трудным вопросом об ассигнациях. В

действительном обращении их находилось около 7 миллиардов и 5–6 миллионов; в кассах их оставалось на 5–6 миллионов, следовательно, изготовлено их было на 8 миллиардов. Залога имуществами – лесами, землями, усадьбами, домами, движимым имуществом и пр. – оставалось еще на 15 миллиардов. Следовательно, залога было более чем достаточно. Между тем ассигнация теряла девять десятых или одиннадцать двенадцатых своей ценности, смотря по тому, на какие предметы менялась. Итак, государство, получавшее налоги ассигнациями, гражданин, живущий рентой, служащий, собственник домов или земель, кредитор, давший свой капитал под проценты, словом, каждый, кто имел дело с бумажными деньгами, подвергался громадному убытку. Камбон предложил увеличить жалованья и рентный доход. Это предложение, после жаркого спора, пришлось принять хотя бы для служащих, которым буквально не на что было жить. Но это было ничтожное средство против ужасающего зла: это значило дать облегчение одному разряду людей из тысячи. Чтобы помочь всем, надо было восстановить правильное соотношение валют – но как этого достигнуть?

Еще были в ходу прошлогодние надежды о необходимости выявить причины падения ассигнаций и найти средства к поднятию их. Сначала, хоть и признавая, что огромное количество их составляет одну из этих причин, старались доказать, что эта причина все-таки не главная, чтобы снять с себя обвинение в неумеренности выпусков. В доказательство приводилось то обстоятельство, что в минуту отступничества Дюмуре, восстания Вандеи и взятия Валансьена ассигнации, хоть и обращались в гораздо меньшем количестве, чем после снятия блокад Дюнкерка, Мобёжа и Ландау, однако теряли еще больше. Это действительно было так и доказывало, что поражения и победы имеют влияние на курс валюты – истина неоспоримая. Но теперь, в марте 1795 года, победа была полной, доверие к продажам установилось, национальные имущества сделались предметом биржевой игры, множество спекулянтов скупали их, чтобы поживиться при перепродаже; однако же падение стоимости ассигнаций продолжалось, и было в несколько раз больше, чем в предыдущем году. Следовательно, чрезмерность выпусков оказывалась настоящей причиной падения бумажных денег, а единственным средством поднять цену оставалось изъятие их – в как

можно большем количестве – из обращения.

Единственным средством изъятия ассигнаций из обращения была продажа национальных имуществ. Но как их продавать? Вечные вопросы, задававшиеся каждый год! Покупкам в прошедшие годы мешали предрассудки и неуверенность в устойчивости приобретений. Теперь мешало другое. Пусть читатель представит себе, как вообще производятся покупки недвижимости при обыденном течении дел. Торговый человек, мануфактурщик, поселянин, финансист покупает землю у человека обедневшего или желающего обменять свою землю на другую. Земля всегда обменивается либо на другую землю, либо на движимый капитал, накопленный трудом. Но представим себе целую сеть территорий, состоящую из богатейших и мало раздробленных земель, парков, великолепных усадеб, городских домов, разом предлагаемую в продажу в ту самую минуту, когда землевладельцы и торговцы, самые богатые финансисты разбрелись кто куда. И была ли возможность продать имущества обычным способом? Уж никак не мелкие буржуа или фермеры, едва уцелевшие после гонений, могли сделать такое приобретение и особенно заплатить за него. Вероятно, скажут на это, что количество всех находившихся в обращении ассигнаций было достаточно на всю покупку, но это количество было обманчиво, так как каждому владельцу ассигнаций приходилось отдавать их в восемь и в десять раз больше прежнего за те же предметы.

Стало быть, трудность задачи заключалась не в том, чтобы внушить желание купить, а в том, чтобы дать желающим возможность заплатить. Поэтому все предлагаемые средства исходили из ложного основания, ибо все предполагали такую возможность. Средства эти разделялись на принудительные и добровольные. Первые заключались в лишении ассигнаций денежного значения (демонетизации) и принудительном займе. Посредством демонетизации бумажные деньги превращались в простые закладные знаки на имущества. Эта мера была тиранической, потому что ассигнация в руках рабочего или бедняка превращала его кусок хлеба в землю и обрекала владельца на голод. От одного уже слуха о намерении лишить часть ассигнаций денежного значения ассигнации упали больше, еще и пришлось объявить специальным декретом, что это не будет исполнено. Принудительный заем был не менее тиранической мерой: он тоже насильно превращал

денежную ассигнацию в закладную на землю. Вся разница состояла в том, что заем падал на высшие и богатые классы; но и эти классы столько уже перенесли, что трудно было заставить их покупать земельную собственность, не ставя их перед жестоким затруднением. Притом, с тех пор как наступила реакция, они начинали обороняться от всякого возвращения к революционным мерам.

Следовательно, оставались только добровольные средства. Таковые были предложены всякого рода. Камбон придумал лотерею из четырех миллионов билетов, каждый по 1000 франков; это составило бы вклад в 4 миллиарда. Казна прибавляла от себя 891 миллион на выигрыши, и распределялась эта сумма так, чтобы оставалось четыре выигрыша в 500 тысяч франков, тридцать шесть в 251 тысячу и триста шестьдесят – в 100 тысяч. Вкладчики, не выигравшие ничего, получали назад свою тысячу, но и тем и другим выдавались не ассигнации, а трехпроцентные билеты казначейства, под залог национальных имуществ.

Это предложение основывалось на расчете, что народ прельстится крупными выигрышами и из денежного обращения будет изъято ассигнаций на четыре миллиарда, которые превратятся в закладные на земли. Но этот ход опять-таки предполагал возможность сделать такой вклад. Депутат Тирион предложил другое средство – устроить так называемую тонтину^[20]. Но это средство, годное для сбережения небольшого капитала в пользу нескольких вкладчиков, было слишком медлительным и недостаточным ввиду громадного количества ассигнаций. Другой депутат, Жоанно, предложил устроить нечто вроде земельного банка, в котором вклады будут производиться ассигнациями в обмен на трехпроцентные билеты: опять тот же план – превращение бумажных денег в ценные бумаги на земли, с той на этот раз разницей, что эти бумаги могли опять превратиться в ходячую монету. Очевидно, что настоящая трудность задачи всем этим не побеждалась. Все предлагаемые средства оказались несостоятельными. Пришлось бы еще долго идти по начатому пути – продолжать выпускать ассигнации, которые всё более понижались бы в цене; дело в конце должно было разрешиться само собою, силой обстоятельств. К несчастью, никто не умеет заранее предвидеть необходимые жертвы и облегчить их, принося вовремя. Этой предусмотрительности и этого мужества никогда у наций

не хватает во время финансовых кризисов.

К этим мнимым средствам присоединялись еще другие, реалистичные, но всё еще недостаточные. Движимой собственности эмигрантов, которую нетрудно было бы распродать, имелось на 200 миллионов. Полубовные сделки по делам эмигрантов в торговых обществах могли дать 100 миллионов; доля их в наследствах – 500 миллионов. Но в первом случае у торговли отнимались капиталы, во втором – часть ценностей получалась в виде земель. Этим путем можно было добыть 800 миллионов. Наконец думали разыграть лотерею из больших не снятых еще домов в Париже. Это составляло еще один миллиард. В случае полного успеха можно было выручить 2 миллиарда и 600 миллионов, но правительство с радостью удовольствовалось бы и суммой в полтора миллиарда. К тому же эта сумма должна была уйти на благое дело. Незадолго до этого была постановлена одна весьма умная и гуманная мера: ликвидация кредиторов эмигрантов. Сначала полагали устроить ликвидацию отдельно по делам каждого эмигранта. Так как многие из них были несостоятельны, Республика заплатила бы их долги из того, что после них осталось. Но такой отдельной ликвидации не предвиделось конца: надо было открыть счет каждому эмигранту, внести на этот счет его движимое и недвижимое имущество, свести баланс с его долгами, и несчастные кредиторы прождали бы расплаты двадцать и тридцать лет. Камбон настоял на том, чтобы кредиторы эмигрантов были признаны кредиторами государства и с ними немедленно расплатились, кроме тех, должники которых были заведомо несостоятельны. Республика могла таким образом потерять несколько миллионов, но она прекращала большое зло и совершала огромное добро. Это гуманная мысль принадлежит революционеру Камбону.

Но пока обсуждались эти злополучные вопросы, беспрестанно приходилось отвлекаться от них на еще более неотложные заботы – о продовольствовании Парижа, которому совсем нечего становилось есть. Была середина марта. Отмена максимума еще не успела оживить торговлю, хлеб не подвозили. Множество депутатов, разосланных по окрестностям Парижа, требовали зерно на реквизицию, но их распоряжения не исполнялись. Хотя реквизиции еще оставались в силе для прокорма больших общин с уплатой по рыночным ценам, поселяне

настаивали, что они отменены, и решительно не подчинялись. Но это было еще не главное препятствие: реки и каналы совсем замерзли, так что не могла пройти ни одна барка. Дороги, покрытые льдом, стали непроходимы: чтобы сделать извоз возможным, следовало посыпать их песком на двадцать лье кругом столицы. Вozy расхищались голодным народом, который еще больше раззадоривали якобинцы.

В то время как уменьшался подвоз, потребление увеличивалось, как всегда бывает в подобных случаях. Из страха остаться без пищи каждый старался запастись на несколько дней. Хлеб опять начали выдавать по билетам, но потребности заявлялись преувеличенные. Чтобы задобрить своих молочниц, прачек или крестьян, приносивших из деревень овощи и домашнюю птицу, жители Парижа давали им хлеб, который те предпочитали деньгам. Булочники продавали тесто деревенским жителям, так что с 1500 кулей муки потребление увеличилось до 1900. Вследствие отмены максимума все цены неимоверно поднялись. Чтобы несколько сбить их, правительство дало колбасникам, мелочным лавочникам и торговцам известное количество провизии и товаров, для продажи дешевле. Но торговцы поступали недобросовестно и продавали дороже, чем полагалось по уговору.

Комитеты каждый день проводили в величайшей тревоге, ожидая, наберутся ли необходимые 1900 кулей муки. Буасси д'Англа, которому была вверена эта часть снабжения, беспрестанно являлся с новыми докладами, чтобы только успокоить общественность и постараться внушить людям уверенность, которой само правительство не ощущало. В этом положении, конечно, не было конца перебранкам. Каждый предлагал как спасительное средство исполнение желаний своей партии и требовал мер, нередко совершенно чуждых печальному предмету прений. Партии всегда выбирают именно такие минуты для борьбы и для того, чтобы настоять на своем.

Доклад о Бийо-Варенне, Колло д'Эрбуа, Барере и Бадье был наконец представлен собранию, с нетерпением ожидавшему его. Комиссия двадцати одного пришла к заключению, что суд неизбежен, и требовала предварительного ареста, о котором и последовало немедленное решение громадным большинством голосов. Декретом было положено выслушать четырех обвиняемых и затем открыть торжественные прения по предложению о предании их трибуналу. Едва

состоялось это постановление, как возобновили предложение о разрешении возвратиться на свои места в Конвент изгнанным депутатам, которые два месяца перед тем были избавлены от преследований, но с запретом появляться в Конвенте. Сийес, молчавший пять лет, притаившийся среди своих коллег с первых же месяцев Учредительного собрания, чтобы заставить забыть о своей известности и талантах, пощаженный диктатурой как человек нелюдимый, неспособный к заговорам и неопасный, лишь бы только не говорил и не писал, – Сийес в первый раз вышел из добровольного ничтожества и объявил, что так как, кажется, опять наступает царство закона, то он опять начнет говорить. Но до тех пор, пока не заглажено оскорбление, нанесенное национальному представительству, это царство еще не вполне настало.

– Вся ваша история, – сказал Конвенту Сийес, – распадается на две эпохи: с 21 сентября, дня вашего открытия, до 31 мая – устрашение Конвента заблуждающимся народом; с 31 мая до нынешнего дня – угнетение народа тираническим Конвентом. С нынешнего же дня, вернув своих товарищей, вы докажете, что снова свободны. Подобная мера не подлежит даже прениям: она сама собою разумеется.

Монтаньяры были возмущены таким взглядом на вещи.

– Значит всё, что вы сделали, – ничто! – воскликнул Камбон. – Эти громадные труды, это множество законов, все эти декреты, на которых основано настоящее правительство, – ничто! И спасение Франции, совершенное вашим мужеством и вашими усилиями, – тоже ничто!

Сийес возразил, что его не так поняли. Как бы то ни было, депутатов, уцелевших после казней, решено было вернуть в собрание. Итак, славные изгнанники Инар, Анри Ларивьер, Луве, Ларевельер-Лепо, Понтекулан возвратились среди громких рукоплесканий.

«Зачем, – воскликнул Шенье^[21], – зачем не нашлось такой глубокой пещеры, где могли бы спастись от палачей красноречие Верньо и гений Кондорсе!

Монтаньяры негодовали. Несколько термидорианцев, испуганных возвращением в собрание вождей партии, когда-то оказавшей революционной системе такое опасное сопротивление, даже вернулись

в состав Горы: Тюрियो, враг Робеспьера, каким-то чудом избегнувший участи Филиппо; Лесаж-Сено, умная голова, но заклятый враг всего противодействующего Революции; наконец сам Лекуэнтр, этот упорный противник Бийо, Колло и Барера, объявленный клеветником пять месяцев назад, – все они пересели опять на левую сторону.

– Вы не знаете, что делаете, – сказал Тюрियो своим товарищам, – эти люди никогда вам не простят.

Лекуэнтр предложил провести различие:

– Верните изгнанных депутатов, но рассмотрите, кто из них поднимал оружие против отечества и настраивал департаменты, и не призывайте их опять в свою среду.

Но дело было в том, что этим занимались все. Луве сознался в этом не колеблясь и предложил объявить, что департаменты, поднявшиеся в июне 1793 года, заслужили признательность отечества. Тут уж и Тальен вскочил, ужасаясь смелости жирондистов, и отверг оба предложения, которые и были оставлены без внимания.

Возрастающий голод заставил наконец принять меру, которая откладывалась уже несколько дней, потому что должна была довести раздражение до крайней степени: пришлось посадить жителей Парижа на порции. Буасси д'Англа явился в собрание 16 марта (25 вантоза) и предложил, во избежание лишних трат и в видах обеспечения каждому достаточного количества пищи, выдавать отныне не больше одного фунта хлеба на человека, по билетам, как до сих пор. С этим условием он ручался, что столица не останется без хлеба вовсе. Монтаньяр Ромм предложил рабочим положить по полтора фунта на человека, на том основании, что высшие классы имеют средства доставать мясо, овощи или рис, тогда как простой народ едва в состоянии покупать один хлеб. Это предложение было принято, и термидорианцы пожалели, что сами не догадались его внести, чтобы снискать признательность народа и отвлечь его от Горы.

Этот декрет вызвал страшное брожение в народных кварталах. Революционеры постарались еще более усилить его и с этих пор называли Буасси д'⁵Англ а не иначе как Буасси-Голод. Восемнадцатого марта (27 вантоза), когда декрет в первый раз был приведен в

исполнение, сильное смятение поднялось в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо. На 636 тысячи жителей столицы было роздано 1897 кулей муки; из них 324 тысячи получили по полфунта положенной прибавки. Но населению предместий казалось так ново и странно получать хлеб порциями, что оно возропало. Несколько женщин, постоянных посетительниц народных собраний, всегда готовых на любые беспорядки, столпились в секции Обсерватории. К ним присоединились обычные секционные агитаторы. Они хотели отправиться в Конвент с петицией, но для этого нужно было собрание всей секции, собрания же эти разрешались теперь только по декадным дням.

Несмотря на это, толпа окружила комитет и с угрозами потребовала ключей от залы заседаний, а когда комитет отказался, то потребовала, чтобы он отрядил одного из своих членов проводить людей в Конвент. На это комитет согласился и послал одного из своих депутатов, чтобы придать движению некоторую легальность и не допустить беспорядков. То же самое и в то же время происходило в секции Филистер. Там собралась толпа, которая примкнула к первой. Обе слились и вместе отправились в Конвент.

Один из зачинщиков, решившись говорить за всех, был впущен в залу с несколькими просителями. Остальные страшно шумели за дверями. «У нас мало хлеба, – объявил оратор, – мы готовы пожалеть обо всем, что сделали для Революции». Услышав эти слова, собрание, исполненное негодования, оборвало оратора, и множество депутатов поднялись, протестуя против таких неприличных речей. «Хлеба! Хлеба!» – кричали просители, колотя по перилам решетки, отделявшей их от собрания. Возмущенные такой дерзостью, депутаты потребовали, чтобы людей вывели. Однако кое-как опять водворилась тишина; оратор закончил свою речь, сказав в заключение, что народ будет кричать только «Да здравствует Республика!» до тех пор, пока его потребности будут удовлетворяться. Президент Тибодо с твердостью ответил на эту непочтительную речь и, не приглашая просителей присутствовать при заседании, отослал их к их занятиям. Комитет общественной безопасности, уже созвавший несколько секционных отрядов, велел очистить здание от толпы и разогнать ее.

Этот эпизод произвел на парижан сильное впечатление. Ежедневные угрозы якобинцев, рассеянных по секциям предместьев, их

разжигающие афиши, в которых они объявляли о восстании не позже недели, если патриоты не будут освобождены и если Конституция 1793 года не будет снова введена в силу; их публичные сходки в кофейнях предместий; наконец, эта последняя попытка вызвать волнения – всё это изобличало намерение учинить новое 31 мая. Правая сторона – возвращенные жирондисты, термидорианцы – почувствовала опасность и стала помышлять о мерах к предотвращению нового покушения на национальное представительство. Сийес, сделавшийся членом Комитета общественного спасения, предложил комитетам объявить нечто вроде военного положения с целью заблаговременно предотвратить новые попытки насилия против Конвента. Этот проект закона объявлял крамольной всякую сходку, на которой предлагалось бы посягать на собственность – общественную или частную, восстановить монархию, низвергнуть Республику и Конституцию 1793 года, отправиться в Тампль или на Конвент и прочее, и прочее.

Всякий участвовавший в подобной сходке подлежал ссылке. Если после троекратного требования, заявленного городскими властями, сходка не расходилась, предписывалось применять против нее силу; все соседние секции, пока собирались полиция и войска, должны были послать на место свои отряды. Оскорбление, нанесенное народному представителю, наказывалось ссылкой, оскорбление с насилием – смертью. В Париже предлагалось оставить один только колокол, в павильоне Единства. Если толпа шла против Конвента, должны были немедленно ударить в набат. По этому сигналу все секции были обязаны тотчас же сойтись и идти на помощь национальному представительству. Если бы Конвент распустили или стеснили его свободу, всем членам, которым удалось бы уйти, предписывалось немедленно выехать из Парижа и отправиться в Шалон-на-Марне. Генералы должны были тотчас прислать им войск с границ, и новый конвент, образовавшийся в Шалоне, как единственный хранитель законной власти, должен был идти на Париж, освободить угнетенную часть национального представительства и наказать виновников покушения.

Комитеты с полной готовностью приняли этот проект. Сийесу поручили составить о нем доклад и как можно скорее представить его собранию. Революционеры, со своей стороны, почерпнув новую смелость в последнем волнении, считая голод необыкновенно удобным

случаем, видя, что опасность, грозящая их партии, растёт, а роковая минута для Бийо, Колло, Барера и Бадье приближается, волновались всё сильнее и всерьёз думали устроить восстание. Электоральный клуб и народное общество Кенз-Вен недавно были распущены. Революционеры, лишённые этого убежища, рассеялись по секционным собраниям, сходявшимся в декадные дни. Они занимали предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо, кварталы Тампля и Сите. Они видались в кофейнях, находившихся в центре этих кварталов, задумывали восстания, но не имели ни признанного вождя, ни настоящего плана. Между ними было несколько серьёзно скомпрометированных людей, прежних членов революционных комитетов или занимавших разные должности: эти люди имели большое влияние на народ, но ни один не пользовался решительным преимуществом перед другими; притом между собою они ладили плохо, а главное — не имели никаких сношений с Горой.

Прежние народные вожаки всегда держались либо Дантона, либо Робеспьера, словом — главных членов правительства, и служили им посредниками для передачи их воли черни. Но те и другие погибли. Новые предводители не были известны новым вождям Горы; общего между ними были только опасность и привязанность к одному делу. Притом депутаты-монтаньяры теперь во всех собраниях составляли меньшинство, беспрестанно обвинялись в заговорах с целью возвратить себе власть и вынуждены были каждый день оправдываться и уверять, что заговора не составляют. Обыкновенным результатом такого положения становится желание найти заговор, составленный другими, и отсутствие желания участвовать в нём самим. Так и монтаньяры постоянно твердили: «Народ восстанет, это необходимо!» — но не решались принять для этого решительные меры. Шли толки о неосторожных словах, которые будто бы Дюгем и Монто Луи-Мари-Бон произнесли в какой-то кофейне. И конечно, тот и другой были достаточно для этого необузданны и невосдержаны в своих речах. Повторялись также изречения Леонара Бурдона в секционном обществе улицы Вертбуа, и эти изречения, по всей вероятности, действительно принадлежали ему. Но никто из них не имел сношений с патриотами. Что же касается Бийо, Колло и Барера, более других заинтересованных в волнениях, они боялись участвовать в таковых, чтобы не ухудшить

еще без того весьма опасного своего положения.

Итак, патриоты оставались совсем одни, без большого согласия. Они ходили одни к другим, носились со своими лозунгами по улицам и кварталам и извещали друг друга о том, что такая-то секция собирается подать петицию или попытаться поднять мятеж. В начале революции, когда партия только начинает свою деятельность, имеет своих вождей, когда успех и новизна увлекают за нею массы, когда она озадачивает своих противников отважными нападениями, тогда она еще может заменить согласие и порядок увлечением. Когда же партия приведена в оборонительное положение, лишена импульса, вполне известна своим противникам, она более всего нуждается в дисциплине. Но дисциплина, всегда трудно достигаемая, становится невозможной, когда исчезают влиятельные вожди. Именно таково было положение партии патриотов в конце марта; это уже не было собрание 14 июля, 5 и 6 октября, 10 августа или 31 мая, это было собрание нескольких закаленных в продолжительной борьбе людей, скомпрометированных, исполненных энергии и упорства, но скорее способных отчаянно сражаться, нежели победить.

Согласно старинному обычаю предпосылать всякому движению петицию, повелительную, но умеренного тона, секции Монтрейль и Кенз-Вен, помещающиеся в предместье Сент-Антуан, составили еще одну такую. Решено было подать петицию 21 марта (1 жерминаля): в тот самый день, когда комитеты собирались предложить чрезвычайный закон полиции, придуманный Сийесом. Кроме депутации, долженствовавшей подать петицию, в окрестности Тюильри заблаговременно устремилась толпа патриотов, там они составляли группы, кричавшие: «Да здравствует Конвент! Да здравствуют якобинцы! Долой аристократов!» Молодые люди с подвязанными волосами и черными воротниками тоже толпами высыпали из Пале-Рояля, разбиваясь на группы и крича, в свою очередь: «Да здравствует Конвент! Долой террор!»

Просители были допущены в залу заседаний; петиция была составлена в крайне умеренных выражениях. Просители напомнили о страданиях народа, но без горечи; опровергли обвинения, направленные против патриотов, не нападая на своих противников. Они только заметили, что эти обвинения доказывают забвение прежних заслуг

патриотов и исключительного положения, в котором они находились; они признали, впрочем, что имелись излишества, но присовокупили, что партия, какая бы она ни была, всё же состоит из людей, а не из богов.

«Секции Монтрейль и Кенз-Вен, — сказали они, — поэтому не просят у вас общих мер, подобных ссылке или кровопролитию, против той или другой партии, что подобные меры смешивают простое заблуждение с преступлением; они видят во всех французах только братьев различного склада ума, но членов одной семьи.

Они просят вас употребить в дело средство, которое находится в ваших руках, — единственное, могущее прекратить политические бури: Конституцию 93 года. Введите в силу с нынешнего же дня эту народную конституцию, которую французы приняли и поклялись защищать. Она примирит все интересы, успокоит все умы и приведет вас к цели ваших трудов».

Это лукавое предложение заключало в себе всё, чего революционеры желали в настоящую минуту. Они полагали, что конституция, устранив Конвент, возвратит в законодательство, в исполнительную власть и в муниципальные администрации их вождей и их самих. Это была большая ошибка, но таковы были их надежды, и революционеры были уверены, что, не высказывая опасных желаний вроде освобождения задержанных патриотов или образования новой парижской коммуны, они достигнут исполнения всех своих требований вступлением в силу конституции. Если Конвент откажет, если не объяснится отчетливо и определенно, не назначит близкого срока, то сам этим признает, что не хочет вводить в силу Конституцию 93 года. Президент Тибодо дал весьма твердый ответ, закончив следующими словами, столь же строгими, сколько малолестными: «Конвент никогда не приписывал подаваемых ему коварных петиций искренним защитникам свободы, которых поставляло предместье Сент-Антуан».

Едва президент договорил, как депутат Шаль спешит взойти на кафедру и требует, чтобы Декларация прав была вывешена в зале, как того требует одна из статей Конституции. Тальен следует за ним.

— Я спрашиваю этих людей, — говорит он, — которые ныне являются такими усердными защитниками конституции, которые, по-видимому, присвоили себе лозунг секты, возникшей под конец Учредительного собрания, «Конституция и только конституция», — я спрашиваю их, не

они ли заперли ее в ящик? – Рукоплескания с одной стороны, ропот и крики с другой прерывают Тальена; он продолжает среди шума: – Ничто не помешает мне высказать мое мнение, когда я нахожусь среди представителей народа. Мы все хотим конституции и твердого правительства, такого правительства, которое предписывает конституция. И пусть некоторые из нас не уверяют народ, будто есть в этом собрании депутаты, не желающие конституции. Надо сегодня же принять меры, чтобы не дать им клеветать на почтенное и безупречное большинство Конвента!

– Да! Да! – раздается со всех сторон.

– Эту конституцию, – продолжает Тальен, – за которой по их милости последовали не законы, долженствовавшие служить ей дополнением и сделать возможным применение ее, а революционное правительство, – эту конституцию надлежит вызвать к жизни. Но мы не будем настолько неосторожны, чтобы ввести ее в силу без органических законов, отдать ее, неполную и беззащитную, на произвол всех врагов Республики. Поэтому я требую, чтобы безотлагательно составили доклад о средствах привести конституцию в исполнение и постановили декретом, что не будет никакой паузы между нынешним и окончательным правительством.

Тальен сходит с кафедры, осыпаясь знаками одобрения депутатов, которых речь его вывела из затруднения. Необходимость создания органических законов была ловким предлогом, чтобы отложить обнародование конституции и дать возможность изменить ее. Это могло служить поводом к пересмотру, подобному тому, которому была подвергнута Конституция 91 года. Депутат Миоль, умеренный монтаньяр, одобрил совет Тальена и согласился, что не следует торопиться с исполнением конституции, но утверждал, что нет причины не обнародовать ее, поэтому предложил вырезать ее на мраморных плитах и выставить в публичных местах. Тибодо, ужасаясь при мысли придавать подобную гласность конституции, сочиненной в минуту демагогического бреда, уступает президентское кресло Клозелю и всходит на кафедру.

– Законодатели! – восклицает он. – Мы не должны уподобиться древним жрецам, которые говорили двояким языком – гласным и тайным. Надо иметь мужество говорить то, что мы думаем об этой

конституции, и, принеси она мне смерть, как принесла в прошлом году тем, кто говорил против нее, — я буду говорить.

После долгого перерыва, вызванного рукоплесканиями, Тибодо смело доказывает, что было бы опасно обнародовать конституцию, которой конечно не знают люди, так усердно восхваляющие ее.

— Демократическая конституция, — говорит он — не такая, по которой народ сам отправляет все атрибуты власти...

— Нет! Нет! — кричит множество голосов.

— Это, — продолжает Тибодо, — такая конституция, по которой вследствие справедливого распределения власти народ пользуется свободой, равенством и спокойствием. А всего этого я не вижу в конституции, которая рядом с национальным представительством поставила бы коммуну, вечно захватывающую власть, или крамольников-якобинцев; которая не предоставила бы национальному представительству управление вооруженной силой в местах своих заседаний, стало быть, лишила бы его возможности защищать себя и отстаивать свое достоинство; которая дала бы небольшой части народа право учинять восстания и выворачивать государство вверх дном. Тщетно говорят нам, что органические законы исправят эти недостатки. Простой закон может быть изменен законодательством, а положения такой важности, как те, которые будут заключаться в этих органических законах, должны быть незыблемы, как сама конституция. Притом органические законы сочиняются не в две недели, даже не в месяц, а пока я требую, чтобы конституции не была придана гласность, чтобы власть правительства была значительно усилена и, в случае надобности, были даны новые права Комитету общественного блага.

Тибодо сходит с кафедры среди рукоплесканий, выражающих уважение к смелости его заявления. Тотчас за тем предлагается закрыть прения; президент объявляет голосование по этому вопросу, и собрание почти всё встает, решая его утвердительно. Раздраженные монтаньяры утверждают, что не расслышали слов президента, не знают, что было предложено, — их не слушают. Лежандр требует снаряжения комиссии из одиннадцати человек, которая занялась бы изготовлением органических законов, долженствующих дополнить конституцию. Эта мысль принимается немедленно. Комитеты объявляют, что желают войти с важным докладом, и Сийес всходит на кафедру, чтобы прочесть

свой проект чрезвычайного закона для полиции.

Пока все эти сцены разыгрывались в собрании, на улицах было крайне неспокойно. Патриоты из предместьев, не допущенные в залу, разбрелись по площади Карусель и Тюильрийскому саду. Некоторые, сойдя с трибун, рассказывали остальным обо всём, что происходило в зале, но рассказывали неверно, говорили, что просители подверглись поруганиям. Беспорядок вследствие этого только усилился. Одни побежали в предместья с известием, что их депутация в опасности; другие пошли по аллеям сада, толкая перед собой встречающихся им молодых людей; троих даже схватили и бросили в пруд. При виде таких беспорядков Комитет общественной безопасности велел барабанным боем созвать отряды ближайших секций.

Между тем опасность становится серьезной; требуется время, чтобы созвать и собрать секции. Комитет окружен толпой молодых людей, вооруженных тростями и готовых ринуться на патриотов, еще не встречавших сопротивления. Комитет принимает предлагаемую ими помощь и разрешает им восстановить порядок в саду. Они бросаются на группы, кричащие «Да здравствуют якобинцы!», разгоняют их после довольно продолжительной схватки и часть даже оттесняют к дворцу. Некоторые патриоты возвращаются на трибуны и вызывают в них некоторое смятение своим поспешным появлением.

В это самое время Сийес заканчивает свой доклад. Многие голоса требуют отсрочки; Гора кричит: «Это кровавый закон! Это военное положение! Конвент хотят удалить из Парижа!» К этим крикам примешивается шум, причиненный бежавшими из сада. Происходит страшное волнение. «Роялисты режут патриотов!» – кричит кто-то. За дверями слышен шум. Президент надевает шляпу. Значительное большинство собрания говорит, что опасность, предвиденная Сийесом, наступила и надо немедленно утвердить предложенный им закон. Начинается голосование, и закон немедленно принимается громадным большинством при шумных рукоплесканиях. Члены крайней левой стороны отказываются принять участие в этом голосовании. Наконец восстанавливается некоторое спокойствие и появляется возможность хоть отчасти расслышать слова ораторов.

– Конвент обманули! – восклицает Дюгем. – Вот идет Клозель успокоить собрание.

– Мы не нуждаемся в успокоении! – отвечают несколько голосов.

Клозель, однако, заявляет, что добрые граждане пришли заслонить собою национальное представительство. Ему аплодируют.

– Это ты, – говорит ему Рюан, – вызвал эту толпу, чтобы провести этот ужасный закон!

Клозель хочет возразить, но не может добиться, чтобы его выслушали. Тогда начинаются нападки на закон, принятый с такой опрометчивостью.

– Закон принят, – говорит президент, – дела назад не воротишь.

– Здесь заговор с улицей, – заявляет Тальен. – Пусть! Надо снова открыть прения о проекте закона и доказать, что Конвент умеет заниматься своими делами даже в окружении головорезов.

Предложение Тальена принимается, проект Сийеса снова подвергают обсуждению, и прения ведутся уже спокойнее. В то же время и на улице восстанавливается спокойствие. Молодежь, победив якобинцев, просит разрешения представиться собранию; депутация ее принята и заявляет о своих патриотических чувствах и преданности национальному представительству, после чего удаляется, провожаемая рукоплесканиями. Конвент упорствует в своем намерении в этот же день покончить с проектом закона, утверждает его статью за статьей и только в десять часов вечера наконец расходится.

Этот день оставил в обеих партиях уверенность в близости какого-нибудь крупного события. Патриоты, побежденные в Конвенте, избитые палками в Тюильрийском саду, перенесли свою ярость в предместья и там подстрекали народ к восстанию. Депутаты ясно видели, что против них последует покушение, и уже думали о том, чтобы прибегнуть к только что изданному спасительному закону.

Действительно, на следующий день предстояло обсуждение дела не меньшей важности. Конвент в первый раз должен был выслушать Бийо, Колло, Барера и Бадье.

Толпа патриотов и фурий спозаранку явилась с намерением занять трибуны; но молодежь опередила их и не пустила женщин, причем довольно грубо оттесняя их, так что кое-где произошли драки. Но многочисленные патрули, обходившие окрестности дворца, успели сохранить общее спокойствие, и трибуны наполнились без большого

беспорядка. С восьми часов утра до полудня весь этот народ забавлялся патриотическими гимнами. Одна сторона пела «Пробуждение народа», другая – «Марсельезу». Наконец президент занял свое кресло среди криков. Подсудимые сели за решеткой, и водворилось глубокое молчание.

Робер Ленде первым попросил слова. Все догадались, что этот безукоризненный человек, которого никто не смел обвинить наравне с прочими членами Комитета общественного спасения, собирается защищать своих бывших товарищей. С его стороны это было в высшей степени великодушно, потому что он еще больше, нежели Карно и Приёр из Кот-д'Ора, оставался чужд политических мер бывшего комитета. Ленде согласился заняться продовольствием и перевозкой припасов с единственным условием оставаться в стороне от всех операций своих товарищей, никогда не участвовать в их совещаниях и даже занять со своими служащими особое помещение. Он отказывался от солидарности до возникновения опасности, но когда опасность возникла, имел благородство потребовать своей доли ответственности.

Все были уверены, что этому примеру последуют и Карно с Приёром. Поэтому на правой стороне возвысились несколько голосов разом, чтобы устранить Робера Ленде:

– Слово принадлежит подсудимым. Они должны говорить прежде своих обвинителей и своих защитников.

– Вчера, – сказал Бурдон, депутат Уазы, – был составлен заговор с целью спасти подсудимых, сегодня прибегают к другим средствам: обращаются к совести честных людей, которых обвинение разлучило с товарищами; их уговаривают присоединиться к виновным, чтобы замедлить ход правосудия новыми препятствиями.

Робер Ленде ответил, что предстоит судить действия всего правительства; что он был членом этого правительства и, следовательно, не может согласиться, чтобы его отделяли от товарищей, и требует своей доли ответственности. Трудно устоять против истинного мужества и благородства. Роберу Ленде было дано слово. Он весьма пространно описал громадные труды Комитета общественного спасения; доказал его энергичность, предусмотрительность, высокие заслуги и дал почувствовать, что только возбуждение, произведенное борьбой, стало причиной излишеств, в которых укорялись члены

тогдашнего правительства.

Эта речь, длившаяся шесть часов, не обошлась без многих перерывов. Неблагодарные, уже забыв про заслуги людей, обвиняемых ныне, находили это изложение слишком длинным. Некоторые депутаты дошли до непристойности, заметив, что эту речь надо напечатать на деньги Ленде, потому что печать ее обойдется Республике слишком дорого. Жирондисты возмутились, когда Ленде заговорил о федералистском восстании и бедствиях, причиной которых оно стало. Каждая партия осталась чем-нибудь недовольна.

Наконец, заседание было отсрочено до следующего дня, и собрание разошлось, давая себе слово не терпеть более таких длинных заявлений в пользу подсудимых. Однако Карно и Приёр, депутат Кот-д'Ора, хотели говорить в свою очередь; они тоже жаждали, подобно Ленде, великодушно помочь товарищам и, в то же время, оправдаться от множества обвинений, которые не могли пасть на Бийо, Колло и Барера, не ложась и на их плечи, так как подписи их находились на приказах, всего более вменяемых в вину подсудимым.

Нельзя было иначе как с уважением и некоторой почтительностью слушать Карно, слава которого гремела всюду, о котором говорили во Франции и во всей Европе, который был известен своим мужественным сопротивлением Робеспьеру и Сен-Жюсту. Ему было дано слово.

«Мне подобает, — сказал Карно, — именно мне, оправдать Комитет общественного спасения. Мне, который первым дерзнул открыто нападать на Робеспьера и Сен-Жюста». Он мог бы прибавить: «в то время как вы преклонялись перед малейшим их приказанием и раболепно отдавали им головы, которые они требовали от вас». Карно прежде всего разъяснил, каким образом подписи его и его товарищей оказывались под самыми кровавыми приказами. «Заваленные гигантскими заботами, — сказал он, — решая каждый день от трех до четырех сотен дел, часто не имея времени отлучиться, чтобы поесть, мы договорились подписывать друг у друга на веру. Мы подписывали множество бумаг, не читая их. Я подписывал приказы о предании суду, а мои товарищи подписывали приказы о передвижении войск и планы атак, и мы не имели времени объяснить. Громадность и неотложность возложенного на нас дела потребовала этой диктатуры каждого по своей части, и каждый пользовался ею со взаимного согласия всех. Никогда

без этого нам не переделать всей работы. Приказ об аресте одного из моих ценных соратников по военному ведомству, за который я открыто напал на Сен-Жюста и Робеспьера и назвал их узурпаторами, этот приказ я сам подписал, не зная, что подписываю. Поэтому наша подпись ничего не доказывает и отнюдь не может сделаться уликой».

Затем Карно стал тщательно оправдывать своих обвиненных товарищей. Признавая, — хотя формально этого не говоря, — что они принадлежали к числу страстных и свирепых членов комитета, он однако утверждал, что они одними из первых восстали против триумvirата и неукротимый характер Бийо был самым главным препятствием, какое Робеспьер встречал на своем пути.

Приёр, депутат Кот-д'Ора, оказавший не меньшие услуги и подписывавший те же бумаги, повторил заявление Карно и требовал, подобно ему и Ленде, свою долю ответственности, лежавшей на подсудимых.

Это снова погрузило Конвент в безвыходный спор уже несколько раз начинавшийся и кончавшийся не чем иным, как только страшным смятением. Этот пример, который подавали три человека, пользовавшиеся всеобщим уважением и теперь объявлявшие себя солидарными с прежним правительством, — не должен ли был этот пример заставить Конвент одуматься? Не означал ли он, что так или иначе все были сообщниками прежних комитетов и что всему Конвенту, собственно говоря, следовало сесть на скамью подсудимых, подобно

Ленде, Карно и Приёру? В самом деле, ведь Конвент решился напасть на тиранов только после этих трех людей, которых он теперь собирался наказать в качестве их сообщников; что же касается их ошибок и страстей, то Конвент их вполне разделял. А если нет, то был еще виновнее их, потому что терпел и одобрял излишества, к которым привели эти страсти.

По этим причинам прения, происходившие 24-го, 25-го и 26 марта, представили ужасающую сумятицу. Каждую минуту имя нового члена оказывалось скомпрометированным. Он требовал, чтобы ему дали оправдаться, в свою очередь, винил других, и со всех сторон завязывались бесконечные и опасные препирательства. Тогда декретом было положено, что говорить разрешается только подсудимым и членам комиссии, для разбора фактов по статьям, посторонним же депутатам

воспрещено оправдываться, если их имена и примешивались к делу. Но этот декрет ничем не помог; прения ежеминутно опять делались общими, и не было приведено ни одного проступка, которого одни не сваливали бы на других со страшной злобой и неистовством.

Волнение, оставшееся от предыдущих дней, всё больше возрастало; в предместьях только и слышно было: «Надо идти на Конвент – требовать хлеба, Конституции 93 года и свободы патриотам!» На беду, 26-го числа не пришло нужное количество муки, так что 27-го утром была выдана только половина положенной порции с обещанием выдать вторую половину к вечеру. Женщины секции Гравилье не взяли предложенную порцию и собрались на улице Вертбуа. Несколько человек решили составить настоящую толпу и, увлекая за собой всех попадавшихся им по дороге женщин, отправились в Конвент. Пока толпа шла в Конвент, зачинщики побежали к президенту секции, насильно завладели его колокольчиком и ключами залы и созвали своих единомышленников на незаконное заседание. Они назначили президента, составили бюро, несколько раз перечитали вслух статью из Декларации прав, провозглашавшую право и обязанность восстания.

Женщины тем временем пришли к Тюильрийскому дворцу и подняли страшный шум у всех входов. Они хотели ворваться все вместе, но смогли войти только двадцать представительниц. Одна из них начала смело говорить и жаловаться на то, что людям выдали лишь по полуфунта хлеба. Президент хотел ответить, но женщины начали кричать «Хлеба! Хлеба!». Теми же криками они прервали Буасси д'Англа, который пробовал им объяснить, почему в именно в это утро выдача последовала не полная.

Наконец женщин вывели и снова принялись за прения о деле подсудимых. Комитет общественной безопасности приказал патрулям увезти этих женщин прочь и послал одного из своих членов распустить сходку, незаконно собравшуюся в секции Гравилье. Участвовавшие в сходке сначала не послушались посланного депутата, но, увидев вооруженных людей, разошлись. Ночью главные зачинщики были арестованы.

Эта была уже третья попытка. Конвент боялся, как бы не случилось общего движения в декадный день – день праздности и секционных собраний. Чтобы предотвратить ночные собрания, решили приказать,

чтобы секционные заседания происходили только с часу до четырех часов пополудни. Это была совсем уж ничтожная мера, чтобы помешать столкновению. Каждый отлично сознавал, что главная причина всех этих неудовольствий – суд над бывшими членами Комитета общественного спасения и задержание патриотов. Многие депутаты очень хотели бы отказаться от судебного преследования, которое, будь даже справедливо, было сопряжено с несомненной опасностью. Депутат Рузе придумал средство, которое избавило бы Конвент от необходимости произнесения приговора и в то же время спасло бы жизнь подсудимых: остракизм. Он предлагал изгонять из Франции на время всякого гражданина, который своими поступками сделал бы свое имя предметом раздоров. Это предложение было оставлено без внимания. Даже Мерлен из Тионвиля, пламенный термидорианец и неустрашимый гражданин, начинал думать, что лучше бы уклониться от борьбы. Он предложил созвать первичные собрания, немедленно ввести в силу Конституцию и отложить суд над обвиненными до сессий следующего собрания. Мерлен из Дуэ поддерживал этот совет.

Гитон де Морво подал другой, отличавшийся большей твердостью. «Начатое нами дело – скандал, – сказал он. – Где придется остановиться, если мы станем преследовать всех депутатов, делавших предложения более кровавые, нежели те, в которых обвиняются подсудимые? Не знаешь, право, заканчиваем или снова начинаем революцию!» Мысль предоставить власть в подобную минуту новому собранию справедливо пугала Конвент; он не хотел также дарить народу такую нелепую конституцию. Поэтому Конвент постановил даже не подвергать обсуждению предложение обоих Мерленов. Что же касается начатого судебного преследования, слишком много людей желали его продолжения в качестве мщения, чтобы можно было прекратить его; только решили, что собрание, чтобы не запускать других дел, будет заниматься выслушиванием подсудимых лишь в нечетные дни декады.

Такое решение не могло успокоить патриотов. Следующий декадный день (10 жерминаля) прошел во взаимных подстрекательствах, однако общего движения не последовало. Секция Кенз-Вен составила петицию, более смелую, чем первая, с тем чтобы подать ее на следующий день. Так и было сделано. «Почему, –

спрашивалось в ней, – Париж не имеет муниципалитета? Почему народные общества закрыты? Куда делись наши урожаи? Почему ассигнации падают с каждым днем всё больше? Почему дозволяется собираться одной пале-рояльской молодежи? Почему в тюрьмах сидят одни патриоты? Народ, наконец, хочет быть свободен. Он знает, что когда его угнетают, восстание есть его первейший долг». Петицию выслушали среди ропота большей части и рукоплесканий Горы. Президент Пеле сухо ответил просителям и отпустил их. Единственное данное им удовлетворение заключалось в том, что секциям послали список задержанных патриотов, с тем чтобы они сами могли судить, есть ли между несчастными заслуживающие ходатайства об освобождении.

В предместьях всё 31-е число прошло крайне беспокойно. Со всех сторон народ твердил, что завтра надо опять идти на Конвент и опять просить того, чего еще не удалось добиться. Это намерение было передано от одного к другому во всех кварталах, занимаемых патриотами. Главы каждой секции, не имея в виду определенной цели, хотели вызвать общее собрание и двинуть на Конвент всю массу народа.

Действительно, на другой день, 1 апреля (2 жерминаля), множество женщин и детей собрались в секции Сите и столпились перед пекарнями, не давая никому забрать положенную порцию хлеба и стараясь всех зазвать с собой к Тюильрийскому дворцу. Зачинщики сходки, кроме того, распускали всевозможные слухи: и Конвент-де собирается уехать в Шалой, бросив парижан в жерло крайней нужды; и оружие якобы отобрали ночью у секции Гравилье; и молодежь собралась на Марсовом поле и теперь с ее помощью будут обезоружены все секции, занимаемые патриотами. Организаторы принудили власти секции Сите отдать им свои барабаны и начали бить зорю по всем улицам. Движение распространилось с быстротой пожара. Население Тампля и предместья Сент-Антуан поднялось и направилось по набережным и бульварам к Тюильри. Это собрание состояло из женщин, детей и по большей части пьяных мужчин. Последние были вооружены палками, а на шляпах их можно было прочесть надпись «Хлеба и Конституцию 93 года!».

В это время Конвент слушал доклад Буасси д'Англа о различных мерах, принятых по части продовольствия. Здание охраняла лишь

обыкновенная стража. Вдруг перед самыми дверями явилось сорище, наводнило площадь Карусель и Тюильрийский сад и заняло все аллеи, так что многочисленные патрули, рассеянные по Парижу, не могли прийти на помощь национальному представительству. Толпа самовольно вторгается в залу Свободы, смежную с залой Заседаний, и хочет ворваться в самое собрание. Привратники и стража стараются удержать ее, но вооруженные палками люди разгоняют и тех и других, бросаются к дверям, выламывают их и неудержимым потоком вливаются в залу. Они кричат, машут шляпами, поднимают облако пыли. «Хлеба! Хлеба! Конституцию 1793 года!» – вот что можно слышать в этих воплях слепой толпы.

Депутаты не поднимаются со своих мест и остаются величественно спокойны. Вдруг один встает и возглашает: «Да здравствует Республика!» Другие вторят ему, и толпа присоединяется к крикам, но тотчас же присовокупляет: «Хлеба и Конституцию!» Одни только члены левой стороны позволяют себе редкие аплодисменты и, по-видимому, не огорчены появлением черни среди собрания. Эта толпа, которой не предначертано никакого плана, потому что организаторы только хотели устроить Конвент, рассыпается между депутатами, садится на их скамьи с ними, однако не позволяет себе ни малейшего насилия. Лежандр хочет говорить.

– Если когда-нибудь недоброжелательство... – начинает он, но ему не дают продолжить.

– Долой! Долой! – вопит толпа. – У нас хлеба нет!

Мерлен из Тионвиля, с той же неустрашимостью, какую он выказывал в Майнце и в Вандее, сходит со своего места, проникает в самую гущу этой толпы, заговаривает со многими, обнимает людей, и они обнимают его. Он увещевает их, уговаривает уважать Конвент.

– Вернитесь на место! – кричат ему со стороны Горы.

– Мое место здесь, – отвечает он, – среди народа. Эти люди меня заверяют, что не имеют дурных намерений, что не хотят пугать Конвент своей многочисленностью, что они, напротив, готовы защищать его и пришли сюда лишь за тем, чтобы объяснить всю неотложность своей нужды.

– Да, да! – раздаются голоса из толпы. – Мы хотим хлеба!

В эту минуту поднимается крик в зале Свободы: новая волна

народа хлынула на первую; совершается новое вторжение, и все в один голос кричат «Хлеба, Хлеба!». Лежандр опять пытается заговорить, но его опять перебивают крики «Долой!».

Монтаньяры между тем сознают, что при таких условиях Конвент, уstraшенный и униженный, почти задушенный, не может ни слушать, ни говорить, ни совещаться, что таким образом не достичь основной цели движения, так как нет возможности издать даже требуемые декреты. Гастон и Дюруа, оба члены левой стороны,

встают и жалуются на притеснения, которым подвергается Конвент. Гастон подходит к толпе.

— Друзья мои, — говорит он, — вы хотите хлеба, свободы для патриотов и конституции. Но для этого нам нужно совещаться, а мы этого не можем, пока вы останетесь здесь.

Шум заглушает слова Гастона. Андре Дюмон, занявший президентское кресло, тщетно старается вразумить народ теми же доводами: его не слушают. Монтаньяр Юге один успевает вставить несколько слов.

— Народ, сюда пришедший, — говорит он, — не восстание учиняет: он пришел требовать справедливого дела — освобождения патриотов. Народ! Не отступайся от своих прав!

В эту минуту какой-то человек взбирается на решетку, пробравшись через расступившуюся толпу: это некто Ван Хек, командовавший секцией Сите во время восстания 31 мая.

— Представители! — говорит он. — Вы видите перед собою участников 14 июля, 10 августа, 31 мая... — Тут трибуны, чернь и Гора неистово аплодируют. — Эти люди, — продолжает Ван Хек, поклялись жить свободными или умереть. Ваши раздоры терзают отечество; оно не должно более страдать от ваших ссор. Возвратите свободу патриотам, дайте народу хлеба. Избавьте нас от полчищ Фрерона и от этих господ с палками. А ты, святая Гора, — обращается оратор к скамьям левой стороны, — ты, которая столько боролась за Республику, участники 14 июля, 20 августа и 31 мая требуют твоей помощи в эту критическую минуту. Ты всегда найдешь их готовыми поддержать тебя, готовыми проливать свою кровь за отечество!

Крики и рукоплескания сопровождают последние слова Ван Хека. Как будто один голос возвышается против, но его едва можно

расслышать. Тогда некоторые требуют, чтобы тот, кто имеет что-нибудь возразить Ван Хеку, выступил открыто.

– Да! – восклицает Дюгем. – Пусть говорит, да погромче!

К решетке поочередно подходят ораторы нескольких секций и, хоть и в более умеренных выражениях, требуют того же, что секция Сите. Президент Дюмон с твердостью отвечает, что Конвент займется требованиями и нуждами народа, как только ему можно будет снова приступить к своим занятиям.

– Пусть займется сейчас же! – возражает несколько голосов. – Нам нужен хлеб!

Беспорядок продолжается несколько часов. Президента засыпают запросами и злыми насмешками.

– Роялизм занимает президентское кресло, – говорит Шудье.

– Наши враги возбуждают бурю, – возражает Дюмон, – они не знают того, что молния обрушится на их же головы.

– Хлеба, хлеба! – всё время твердят разъяренные женщины.

Между тем в павильоне Единства ударяет колокол. Комитеты решились применить новый закон и велели созывать секционные отряды. Многие уже вооружились и шли к Конвенту. Монтаньяры чувствовали, что необходимо спешить, чтобы превратить желания и требования патриотов в декреты, но для этого надо было хоть немножко освободить собрание от давления и дать ему вздохнуть.

– Президент! – восклицает Дюгем. – Пригласи же этих добрых граждан выйти, чтобы мы могли совещаться! – Затем он обращается к народу: – Вы слышите набат, по всем секциям бьют барабаны; если вы не дадите нам совещаться – отечество погибло.

Шудье хотел взять под руку одну женщину, чтобы вывести ее.

– Мы тут у себя дома, – сердито оттолкнула она его.

Шудье обращается к президенту и говорит ему, что если он не умеет исполнить своего долга и распорядиться, чтобы зала была очищена, то пусть лучше уступит свое место другому.

Народ, при виде нетерпения, выражаемого всеми членами Горы, начинает собираться. Поданному примеру понемногу следуют все; толпа убавляется в залах, а затем и на улицах. Против такого громадного сближения группы молодежи остались бы бессильными; но отряды секций, преданных Конвенту, уже стекались со всех сторон, и

перед ними толпа расходилась и удалялась. К вечеру не осталось никого из посторонних ни внутри залы, ни в окрестностях здания, и полное спокойствие опять водворилось в Конвенте.

Едва собрание избавилось от вторжения черни, оно потребовало продолжения доклада Буасси д'Англа, прерванного этим вторжением. Депутаты не совсем еще успели успокоиться и хотели доказать, что как только они стали снова свободны, их первая забота – накормить народ. Дочитав свой доклад, Буасси предлагает отобрать из секций вооруженных людей с целью охранять подвозимый хлеб. Об этом составляется и утверждается декрет. Приёр, депутат Марны, предлагает начинать раздачу хлеба с рабочего класса. Это предложение тоже принимается.

Был уже поздний вечер, вокруг Конвента собралась значительная вооруженная толпа. Несколько еще не утомившихся крамольников собрались кто в секцию Кенз-Вен, кто в секцию Сите. Последние заняли собор Парижской Богоматери и укрепились в нем. Однако серьезных опасений они уже не внушали, и Конвенту можно было перейти к разбору и наказанию совершенных за день нарушений.

Изабо от имени комитетов описал всё происшедшее за день. Он доложил, что депутат Оги, которому поручили обойти кварталы Парижа, был остановлен бунтовщиками и ранен, что Пеньер, посланный ему на выручку, ранен тоже. На этот рассказ собрание отвечает криками негодования и требует мщения. Изабо предлагает заявить, что в этот день была нарушена свобода прений Конвента, и снарядить следствие против зачинщиков этого покушения. Монтаньяры, предвидя, как им будет отмщено за неудавшуюся попытку, ропотом отвечают на это предложение.

Три четверти собрания встают и требуют голосования. Со всех сторон говорят, что это повтор 20 июня, что сегодня было осуществлено вторжение в залу Конвента, как 20 июня вторглись в королевский дворец, и что если Конвент не поступит в этом случае строго, то скоро доживет до повтора и 10 августа. Сержан, член Горы, пытается приписать это движение фельянам, таким людям, как братья Ламеты и Дюпор, которые даже из Лондона якобы стараются толкать патриотов к неосторожным крайностям. Ему отвечают, что он просто бредит.

Тибодо, который во время этой сцены выходил из залы, негодуя на совершенное против него нападение, поспешно всходит на кафедру. «Вот оно где, меньшинство, вечно затевающее заговоры, – говорит он, указывая на левую сторону. – Я заявляю, что отлучался на целых четыре часа, потому что уже не видел здесь национального представительства. Теперь я вернулся и поддерживаю предлагаемый проект декрета. Время слабости прошло: именно слабость национального представительства всегда подвергала его опасности и поощряла преступные крамолы. Спасение отечества ныне в ваших руках: вы погубите его, если будете слабы!»

Декрет принимается среди рукоплесканий, и со всех сторон поднимаются гнев и желание мщения, обыкновенно вызываемые воспоминанием о только что избегнутой опасности. Андре Дюмон, занимавший президентское кресло во время всей этой бурной сцены, бросается к кафедре; он напоминает, что Шаль и Шудье, указывая прямо на него, заявили, что в президентском кресле восседает роялизм; что Фуссдуар накануне, на заседании одной из групп, предложил отнять оружие у гвардии. Фуссдуар это опровергает, множество депутатов уверяют, однако, что сами слышали его слова. «А впрочем, – продолжает Дюмон, – я презираю врагов, которые хотели направить кинжалы против меня; если уж разить – то вождей. Сегодня хотели спасти всяких Бийо, Колло и Барера, я не предложу вам казнить их, потому что суда над ними еще не было, а время убийств прошло, но выслать их с территории, которую они заражают и волнуют бунтами, – необходимо. Я предлагаю вам теперь же, этой ночью, отправить в ссылку четырех подсудимых, дело которых вы разбираете уже несколько дней». Это предложение принимается горячими рукоплесканиями. Члены Горы требуют поименной переклички, многие из них подходят к столу и подписывают свое требование. «Это, – говорит Бурдон, – последнее усилие меньшинства, измена которого разбита. Предлагаю вам, кроме того, арестовать Шудье, Шалья и Фуссдуара». Оба предложения утверждаются.

Таким образом длинный процесс Бийо, Колло, Барера и Бадье кончается ссылкой, Шудье, Шаль и Фуссдуар попадают под арест. Этого мало. Читатели не забыли, что Юге говорил толпе, насильно ворвавшейся в залу, «Народ, не отступайся от своих прав!», что Леонар

Бурдон председательствовал в народном обществе улицы Вертбуа и своими разглагольствованиями подстрекал его к восстанию; что Дюгем открыто поощрял народ к бунту и что в предыдущие дни его видели в кофейне Пайена, где он пил с главными интриганами сторонников террора, уговаривая их начать восстание. Вследствие всего этого декретом положено было арестовать также Юге, Леонара Бурдона и Дюгема.

Были тут же сделаны доносы и на многих других, в том числе на Амара, самого ненавистного из членов прежнего Комитета общественной безопасности, считавшегося самым опасным из монтаньяров. Конвент повелевает арестовать и его. Чтобы удалить из Парижа этих вождей мнимого заговора, некоторые члены требуют, чтобы арестованных содержали в крепости Гам. Тотчас же издается декрет, и постановляется отвезти их туда немедленно. Затем предлагают объявить столицу на осадном положении до тех пор, пока опасность не минует окончательно. Генерал Пишегрю в эту минуту находился в Париже, во всем блеске своей славы. Его назначили начальником жандармов на всё ближайшее время; к нему присоединили депутатов Барраса и Мерлена из Тионвиля. Было шесть часов утра 2 апреля (13 жерминаля), когда собрание, измученное, разошлось, совершенно успокоившись после принятия всех необходимых мер.

Комитеты приступили к немедленному исполнению изданных декретов. В то же утро посадили в кареты четырех депутатов, приговоренных к ссылке, несмотря на то, что один из них, а именно Барер, был очень болен, и направили их в Брест. С той же поспешностью отправили семерых арестованных депутатов в крепость Гам. Кареты должны были проехать Елисейскими Полями; патриоты это знали и толпой туда отправились, чтобы остановить конвой. Когда показались кареты с жандармами, вокруг них образовалась большая толпа. Одни говорили, что это Конвент уезжает в Шалой и увозит с собой суммы из казначейства; другие, напротив, — что это едут депутаты-патриоты, несправедливо похищенные из Конвента. Народ разгоняет конвой и отвозит кареты в гражданский комитет секции Елисейских Полей.

В ту же минуту другое сборище бросается на гауптвахту,

охранявшую заставу Звезды, завладевает пушками и нацеливает их на главную аллею. Начальник жандармов тщетно пытался вступить в переговоры с бунтовщиками: они на него нападают, и он вынужден бежать. Он спешит в квартал Гро Кайу просить подкрепления, но канониры грозят стрелять по нему, если он не уйдет. В эту минуту подходят несколько отрядов из других секций и несколько сотен молодых людей, гордившихся тем, что ими командует такой знаменитый полководец. Бунтовщики стреляют из двух пушек и открывают довольно оживленный ружейный огонь. Раффе, командовавший в этот день секциями, был ранен выстрелом в упор, да и сам Пишегрю подвергся большим опасностям. Однако его присутствие и уверенность, которую он внушил всем, кем командовал, решили дело в пользу закона. Бунтовщики были обращены в бегство, и кареты продолжали путь свой беспрепятственно.

Оставалось разогнать сборище секции Кенз-Вен, к которому присоединилось еще другое, занявшее собор Парижской Богоматери. Там бунтовщики составили собрание и обсуждали план нового восстания. Пишегрю сам туда отправился, заставил всех выйти из залы и окончательно восстановил порядок и спокойствие в секции.

На другой день он явился в Конвент с докладом о том, что все декреты исполнены. Единодушные рукоплескания встретили завоевателя Голландии, оказавшего новую услугу своим присутствием в Париже. «Победитель тиранов, – ответил ему президент, – не мог не восторжествовать над крамольниками». Пишегрю принял братский поцелуй и приглашение присутствовать на заседании в качестве почетного гостя, после чего в течение нескольких часов сидел перед собранием и публикой, чьи взоры были всё время устремлены на него одного. Никто не думал доискиваться причин его успеха, в его подвигах никто не приписывал ничего счастливым случайностям; ослепленный результатом, каждый только дивился столь блестящей карьере.

Последняя дерзкая попытка якобинцев, чрезвычайно метко названная повтором 20 июня, возбудила против них удвоенное раздражение и вызвала новые меры к подавлению их движения. Начали следствие для разоблачения всех нитей этого заговора, который ошибочно приписывался членам Горы. Они не имели сношений с

народными агитаторами или имели лишь настолько, насколько можно назвать таковыми случайные встречи в кофейнях и кое-какие поощрения, данные на словах. Однако на Комитет общественной безопасности возложили обязанность составить об этом доклад.

Заговор тем более считали обширным, что волнения начались также во всех областях, лежащих у Роны и Средиземного моря, – в Марселе, Тулоне, Лионе и Авиньоне. Уже пришли донесения о том, что патриоты будто бы уходили из общин, в которых отличились излишествами, и сходились, вооруженные, в больших городах, отчасти чтобы укрыться от своих земляков, а отчасти чтобы соединиться со своими единомышленниками и сплотиться с ними в одно целое. Они будто бы бродят теперь большими шайками по окрестностям Нима, Авиньона и Арля, по равнинам Кро и грабят там обывателей, слывущих роялистами. Им приписывали недавнее убийство и ограбление одного богатого жителя Авиньона, занимавшего видную должность. В Марселе их едва сдерживало присутствие депутатов и объявление города на военном положении. В Тулоне они собирались большими толпами, до нескольких тысяч человек. Стакнувшись со служащими по морскому ведомству, которые почти все были назначены Робеспьером-младшим после взятия города у англичан, они забрали большую власть. У них имелось много приверженцев между рабочими в арсенале; эти люди, соединившись вместе, были способны на всё. В это время эскадра, приведенная в полную исправность, приготовилась выйти в море. Депутат Летурно находился на адмиральском корабле; на все суда были посажены десантные войска, и говорили, что экспедиция назначена против Корсики.

Революционеры, пользуясь минутой, когда в городе остался один только малочисленный и ненадежный гарнизон, в котором они имели многих приверженцев, устроили восстание и с помощью трех депутатов – Марьетта, Риттера и Шамбона – убили семь человек, содержащихся под арестом по обвинению в эмиграции.

В последние дни марта (вантоза) опять произошли беспорядки. В одном из фортов сидели двадцать военнопленных, взятых на неприятельском фрегате; революционеры уверяли, что это эмигранты и что их хотят пощадить. Они подняли все 12 тысяч рабочих в арсенале, обступили депутатов и непременно убили бы их, но эскадра вовремя

успела высадить батальон.

Эти происшествия, совпадая с парижскими, усилили опасения правительства и удвоили его строгость. Всем членам муниципальных администраций, революционных комитетов, народных или военных комиссий, наконец, всем служащим, уволенным с должности после 9 термидора, уже было предписано выехать из городов и возвратиться в свои общины. Теперь против них вышел более строгий декрет. Они завладели оружием, розданным в минуты опасности: Конвент постановил отобрать оружие у всех лиц, известных во Франции как участники тирании, низвергнутой 9 термидора. Каждому муниципальному или секционному собранию поручалось указывать на этих лиц и отбирать у них оружие.

Конвент этим не ограничился: он решился лишить революционеров их мнимых вождей, главных членов Горы. Хотя трое главнейших были сосланы, еще семеро отправлены в Гам, но оставшиеся казались не менее опасными. Камбон, диктатор финансов и неумолимый противник термидорианцев, которым он не прощал того, что они осмелились выразить сомнение в его честности, считался неудобным, если не опасным человеком. О нем сказали, будто бы он утром 1 апреля заявил чиновникам казначейства: «Вас здесь триста человек, в случае опасности вы можете сопротивляться». Он вполне мог произнести подобные слова, но они доказывали бы только сочувствие Камбона якобинцам, но отнюдь не сообщничество с ними. Тюрио, бывший термидорианец, опять примкнувший к монтаньярам после возвращения семидесяти трех и двадцати двух, весьма влиятельный депутат, тоже попал в зачинщики. В тот же разряд попали также Крассу, бывший одним из самых энергичных поборников якобинцев; Лесаж-Сено, содействовавший закрытию их клуба, но потом испугавшийся реакции; Лекуэнтр, депутат Версаля, заклятый противник Бийо, Колло и Барера, тем не менее пересевший опять на скамью Горы после возвращения жирондистов; Менье, поджигатель Юга; Генц, грозный проконсул Вандеи; Левассер, депутат Сарты, один из тех, кто способствовали казни Филиппо; Гране, депутат Марселя, обвинявшийся как один из подстрекателей революционеров Юга. Сам Тальен отобрал эти имена, тут же в собрании, и предложил арестовать и этих семерых депутатов и отправить их, подобно товарищам, в крепость Гам. Предложение

Тальена было принято, и указанные депутаты подверглись заключению в крепости.

Итак, последняя интрига патриотов только навлекла на них гонения по всей Франции. Каждое движение партии, недостаточно сильной, чтобы победить, всегда ускоряет ее гибель. К несчастью, победы противников не только не заставили революционеров покориться, но еще более раздражили их и вызвали с их стороны новые и опасные попытки.

Глава XLII

Мирные договоры с Голландией и Пруссией – Переговоры с Вандеей и Бретанью – Притворный мир и первое примирение Вандеи – Планы Питта

Пока совершались эти печальные события, переговоры, начатые в Базеле, ненадолго прервались смертью барона Гольца. Сейчас же пошли самые дурные слухи. То говорили, что никогда союзные державы не станут вести переговоров с Республикой, терзаемой крамолой; они дадут ей погибнуть в конвульсиях анархии, не сражаясь против нее и не признавая ее. То опять уверяли в противном: с Испанией заключен мир; французские армии дальше не пойдут; ведутся переговоры с Англией и Россией, но в ущерб Швеции и Дании, которые, в награду за свою дружбу с Францией, будут отданы в жертву честолюбию этих двух держав. В основании этих, хоть и различных, слухов явно лежало недоброжелательство к Республике, готовность всегда придумать что-нибудь не в ее пользу. Наконец, говорили, что мир на веки вечные невозможен, потому что в Комитете общественного спасения лежит декрет против этого, подписанный большинством членов Конвента. Поводом к этому слуху послужила выходка Дюгема, который как-то сказал, что смешно вести мирные переговоры с одной державой и не должно соглашаться на мир ни с одной, пока они вместе не будут просить о нем. Дюгем подал об этом записку Комитету общественного спасения; оттуда и пошел слух о мнимом декрете.

Патриоты, со своей стороны, распространяли не менее опасные слухи. Они говорили, что Пруссия затягивает переговоры, чтобы включить в тот же договор и Голландию с целью удержать ее под своим влиянием и спасти штатгальтерство. Они были недовольны тем, что участь этой республики так долго остается в неизвестности; что французы не пользуются там никакими выгодами, вытекающими из завоевания; что ассигнации принимаются лишь по половине цены и то только солдатами; что голландские негоцианты писали французским, заявляя о своей готовности опять вести с ними дела, но не иначе как

получая деньги вперед, притом звонкой монетой; что голландцы дозволили штатгальтеру увезти с собою всё, что он хотел, и сами отослали в Лондон на судах Ост-Индской компании часть своих богатств.

Действительно, в Голландии возникло множество затруднений, отчасти вследствие условий мира, отчасти же вследствие экзальтации партии патриотов. Комитет общественного спасения послал туда двух представителей, способных своим влиянием прекратить все несогласия. В интересах самого дела комитет просил Конвент дозволения не называть их имен и не объяснять, для чего они посылаются. Конвент согласился на это, и комиссары тотчас же отправились.

Естественно, такие важные события, такие крупные интересы возбуждали противоречивые толки, надежды и опасения. Но несмотря на эти толки, конференции успешно продолжались. Граф Гарденберг в Базеле заменил барона Гольца, и условия были уже почти установлены обеими сторонами.

Едва только начались эти переговоры, как сама последовательность событий потребовала изменений в Комитете общественного спасения. Открытое правительство, не имеющее возможности и права ничего утаить, ничего решить самостоятельно, ничего сделать без публичных прений, не может вести переговоров ни с какой державой, даже самой откровенной. Для этого нужно подписывать договоры о приостановлении военных действий, признавать нейтралитет территорий; а главное, необходима тайна, потому что порой держава вступает в переговоры намного раньше, чем ей удобно в этом признаться. Мало того, часто появляются статьи, которые так и должны остаться неизвестными. Если держава, например, обещает присоединить свои силы к силам другой державы, если она договаривается о слиянии армий или эскадр или о каком-нибудь другом совместном действии, тайна становится статьей первостепенной важности. Каким же образом Комитет общественного спасения, обновляемый по четвертям каждые три месяца, мог вести мирные переговоры, в особенности с державами, которые стыдились своих ошибок, с трудом признавали себя побежденными и желали оставить многие условия тайными или обнародовать договор, только когда он будет подписан? Необходимость отправить двух представителей в Голландию, не разглашая ни имени их,

ни поручения, была первым признаком необходимости соблюдения тайну. Ввиду всех этих соображений комитет внес декрет, облакавший его полномочиями, необходимыми для ведения переговоров, и это немедленно послужило поводом к новым волнениям.

Любопытное явление с точки зрения теории правительств – демократия, которая, преодолев свое нескромное любопытство и недоверие к власти, покоряется необходимости и предоставляет нескольким лицам право заключать даже тайные соглашения. Так поступил и Национальный конвент. Он уполномочил Комитет общественного спасения заключать перемирия, признавать нейтралитет территорий, вести переговоры, устанавливать условия, даже подписывать их, а себе предоставил лишь право, действительно ему принадлежащее, – право ратификации. Конвент сделал больше: он уполномочил комитет подписывать тайные статьи с тем единственным условием, чтобы они не содержали ничего несовместного с гласными и были обнародованы, как только тайна перестанет быть необходимой.

Снабженный этими полномочиями, комитет продолжал и довел до конца переговоры, начатые с различными державами. Мир с Голландией наконец был подписан под влиянием Ревбея и в особенности Сийеса; это и были тайные комиссары комитета. Голландские патриоты оказали блестящий прием знаменитому автору первой Декларации прав человека и отнеслись к нему с глубоким уважением, которое устранило много затруднений.

Условия мира, подписанные в Гааге 16 мая 1795 года (27 флореаля года III) заключались в следующем: Французская республика признавала Республику Соединенных Провинций как свободную и независимую державу, гарантировала ее независимость и уничтожение штатгальтерства. Между обеими республиками заключался союз, наступательный и оборонительный, на всё время настоящей войны. Этот союз должен был существовать между обеими республиками вечно во всех случаях войны с Англией. Республика Соединенных Провинций немедленно отдавала в распоряжение Франции двенадцать линейных кораблей и восемнадцать фрегатов, по преимуществу для действий в морях Северном и Балтийском. Кроме того, она давала Франции в качестве контингента половину своих сухопутных войск, от которых, правда, не осталось почти ничего, да и то немного требовало

коренного преобразования.

Что касается границ территорий, они определялись следующим образом: Франция оставляла себе всю голландскую часть Фландрии, дополняя свою территорию со стороны моря и простирая ее до устья рек; со стороны Мааса и Рейна Франция получала Венло и Маастрихт и все земли, лежащие к югу от Венло на том и другом берегах Мааса. Итак, Республика отказывалась от желания простереть свои владения до Рейна и поступала благоразумно. Рейн сделался границей между Францией и Германией, начиная с окрестностей Безеля. Кроме того, Французская республика предоставляла себе право в случае войны со стороны Рейна или Зеландии поставить гарнизоны в крепости Граве, Буале-Дюк и Берген-оп-Зом. Порт Флиссинген оставался общим достоянием. Таким образом, все предосторожности были приняты. Судоходство по Рейну, Маасу, Шельде и всем их рукавам навсегда объявлялось свободным.

Сверх всего этого, Голландия платила 100 миллионов флоринов в виде вознаграждения за военные издержки. Франция, со своей стороны, чтобы вознаградить Голландию за принесенные ею жертвы, обещала при всеобщем примирении прибавку территории из земель, отнятых у побежденных держав, в месте, наиболее подходящем для проведения удобной обоюдной границы.

Этот договор был составлен на самых благоразумных основаниях. Победители выказали в нем столько же великодушия, сколько и искусства. Напрасно говорили, что Франция, привязав к себе Голландию, заставляла ее терять половину своих кораблей, задержанных в английских портах, и в особенности свои колонии, без защиты предоставленные жадности Питта. Голландия, останься она нейтральной, всё равно не вернула бы своих судов, не сохранила бы колоний, и Питт всё равно нашел бы предлог, чтобы завладеть теми и другими в пользу штатгальтера. Даже сохранение одного штатгальтерства, если бы и не спасло ни судов, ни колоний, по крайней мере лишило бы английское честолюбие всякого предлога. Но возможно ли было, прилично ли даже, совместить штатгальтерство с политическими принципами Франции, имея в виду обещания, данные батавским патриотам, воодушевлявшие их дух, надежды, которые в них возродились, когда они пустили к себе французов?

Условия с Пруссией установить было легче. Бишофвердер^[22] был заключен в тюрьму. Король Прусский, избавившись от мистиков, задался новой идеей. Он уже не говорил, как раньше, о спасении принципов всемирного порядка; теперь он мечтал сделаться посредником всеобщего примирения. Договор с ним был подписан в Базеле 5 апреля (16 жерминаля). В договоре значилось, во-первых, что отныне воцаряются мир, дружба и доброе согласие между Его Величеством королем Прусским и Французской республикой; что войска последней выйдут из той части прусских владений, которую они занимают на правом берегу Рейна; что они будут продолжать занимать прусские области, находящиеся на левом берегу, и окончательная участь этих провинций решится лишь при заключении всеобщего мира. Из этого последнего условия становилось очевидно, что Республика, еще не высказываясь определенно, думала о том, чтобы обозначить своей границей Рейн, но откладывала решение из-за затруднений, которые оно должно было породить, до новых побед над армиями Германии и Австрии; только тогда она рассчитывала кого-то вознаградить, а кого и совсем обойти.

Французская республика обязывалась принять посредничество прусского короля в процессе примирения с германскими государями и даже в течение трех месяцев не поступать как с неприятелями с теми государями правого берега, в которых его величество принимает участие. Это было верное средство заставить всю Германию просить мира через посредничество Пруссии.

Действительно, как только этот договор был подписан, Берлинский кабинет торжественно сообщил об этом, а также о причинах, руководивших им. Он объявил Сейму, что предлагает свое дружеское содействие всей Германии, если она желает мира, а если большинство государств от мира откажутся, то тем из них, которые будут вынуждены вступить в переговоры из соображений личной безопасности. Австрия, со своей стороны, обратилась к Сейму с весьма горестными соображениями: она заявила, что желает мира не меньше кого бы то ни было, но считает его невозможным; что выберет подходящую минуту для переговоров о мире и что государства Германии найдут гораздо

более выгодным довериться исконной австрийской честности, нежели вероломным державам, нарушившим все свои обязательства. Сейм, чтобы приготовиться к войне, прося в то же время мира, постановил предоставить этой кампании впятеро больший контингент, чтобы государства, не имеющие возможности поставить солдат, могли откупиться уплатой двухсот сорока гульденов с человека. В то же время Сейм решил, что Австрия, только что обязавшись продолжать войну, не может быть посредницей мира, и постановил вверить это посредничество Пруссии. Оставалось только определить форму и состав делегации.

При всем желании государям империи трудно было всем разом начинать переговоры, потому что они должны были требовать возвращения многих земель тем из них, кто лишился своих владений, а для этого Франции пришлось бы отказаться от линии Рейна. Но было очевидно, что при невозможности вести переговоры коллективно каждый государь прибегнет к посредничеству Пруссии, чтобы этим путем заключить сепаратный мир.

Итак, Республика начинала обезоруживать своих врагов и принуждать их к миру. Твердо держались продолжения войны лишь те, кто понесли большие потери и не надеялись вернуть путем переговоров то, что утратили с помощью оружия. В таком настроении должны были находиться государи левого берега, лишившиеся своих владений, – государи Австрии, потерявшей Нидерланды, и Пьемонта, вытесненного из Савойи и Ниццы. Те же, напротив, кто был настолько умен, что сохранил нейтралитет, каждый день всё больше радовались своему благоразумию и выгодам, доставшимся им вследствие такового. Швеция и Дания собирались отправить в Конвент посланников; Швейцария, сделавшая главным центром континентальной торговли, оставалась при своих мудрых намерениях и говорила французскому послу Бартеlemi устами своего президента Окса следующие памятные слова: «Швейцарии нужна Франция, а Франции – Швейцария. Есть основания полагать, что без Гельветического союза остатки древних королевств – Лотарингского, Бургундского и Арльского – не были бы присоединены к французским владениям; и можно смело утверждать, что без могучих усилий и решительного вмешательства Франции

другим державам удалось бы задушить свободу Гельвеции в колыбели».

В самом деле, нейтралитет Швейцарии только что оказал большую услугу Франции и немало способствовал ее спасению. Эти мысли Оке дополнил другими, не менее возвышенными: «Со временем, может быть, потомство оценит то чувство врожденной справедливости, которое, заставив нас избегать всякого чужого влияния в выборе форм правления, воспрещало нам возводить самих себя в судьи тому способу правления, который был выбран нашими соседями. Отцы наши не порицали ни крупных вассалов германских государств за то, что они принизили императорскую власть, ни королевскую власть во Франции за то, что она притесняла своих вассалов. Они видели в Генеральных штатах представителей французской нации; потом видели, как Ришелье, а за ним и Мазарини захватили безграничную власть; потом как Людовик XIV один совместил в себе всю силу и власть нации, а парламенты от имени народа требовали доли этой власти. Но отцы наши в то же время никогда не имели дерзости возвысить свой голос, чтобы напомнить французскому правительству тот или другой период его истории. Они всегда желали счастья Франции, надеялись на ее объединение, находили для себя выгоды в целостности ее территории».

Выражение столь возвышенных и справедливых воззрений заключало в себе строгую критику политики Европы, и результаты, которые Швейцария ныне пожинала, были достаточно разительным доказательством мудрости этих воззрений. Австрия, завидуя успехам ее торговли, хотела стеснить Швейцарию блокадой, но последняя обратилась с протестом к Вюртембергу и соседним государствам, и в отношении нее была проявлена справедливость.

Итальянские державы желали мира, по крайней мере те, кто за свою неосторожность могли со временем подвергнуться большим неприятностям. Пьемонт, хоть и истощенный, потерял столько, что вынужден был опять прибегнуть к оружию. Но Тоскана, против воли выведенная из нейтралитета английским посланником, который грозил ей эскадрой и дал срока всего двенадцать часов, – нетерпеливо желала возвратиться к своей прежней роли, в особенности с тех пор, как французы стали у самых ворот Генуи. Великий герцог открыл переговоры, окончившиеся договором, заключение которого

представляло меньше всего затруднений.

Дружба и доброе согласие начали восстанавливаться между обоими государствами, и великий герцог возвратил Республике хлеб, отнятый у французов в его портах в минуту объявления войны. Договор этот, выгодный для Франции в части торговли с Югом, и в особенности из-за торговли хлебом, был заключен 9 февраля (21 плювиоза).

Венеция, отзывавшая своего посла из Франции, объявила, что пошлет другого. Папа тоже изъявлял сожаление об оскорблениях, нанесенных французам. Неаполитанский двор, введенный в заблуждение страстями слишком пылкой королевы и интригами Англии, и не думал о переговорах и утешал коалицию несбыточными обещаниями. Испания по-прежнему нуждалась в мире и, по-видимому, ждала, чтобы ее принудили к нему новые поражения.

Едва ли менее важны, по причине ожидаемого нравственного воздействия, были переговоры, начатые с непокорными провинциями в Нанте. Мы видели выше, как вожди Вандеи, несогласные между собою, почти оставленные поселянами, располагая лишь горстью заигравшихся любителей войны, теснимые со всех сторон республиканскими войсками, наконец согласились вступить в мирные переговоры. Мы видели, как Шаретт принял предложенное ему свидание близ Нанта; как генерал-майор, назначенный уехавшим Пюизе, барон Корматен, вызвался быть посредником в переговорах с Бретанью, как он разъезжал по краю, колеблясь между желанием обмануть республиканцев, договориться с Шареттом, переманить Канкло и честолубивой мыслью сделаться главным инициатором примирения этого знаменитого края. Общим сборным пунктом был назначен Нант, встречи должны были начаться в замке Да Жонэ, на расстоянии одного лье от города, 12 февраля (24 плювиоза).

Корматен, приехав в Нант, хотел доставить генералу Канкло письмо Пюизе. Но этот человек, взявшийся обмануть республиканцев, не сумел даже утаить от них содержания этого опасного письма. Оно стало известно, было обнародовано, а Корматену пришлось заявить, что письмо подложное, и он искренне намерен вести мирные переговоры. Этим заявлением он связал себя еще более. Роль искусного дипломата, обманывающего республиканцев, имеющего тайные сношения с

Шареттом, переманивающего на свою сторону Канкло, – эта роль ускользала от него; оставалась только одна роль – примирителя.

Корматен виделся с Шареттом и застал его вынужденным, вследствие своего отчаянного положения, согласиться на переговоры с неприятелем. С этой минуты Корматен, уже не колеблясь, решил трудиться для дела мира. Однако он полагал, что мир этот будет притворным и роялисты только сделают вид, будто покоряются Республике в ожидании того времени, когда Англия исполнит свои обещания. А пока следовало добиваться возможно лучших условий.

Сразу по открытии конференций Корматен и Шаретт вручили ноту, в которой требовали свободного отправления обрядов всех вероисповеданий; назначения пенсий священникам Вандеи; освобождения от воинской повинности и налогов на десять лет, чтобы успели изгладиться бедственные следы войны; вознаграждения за произведенные опустошения; исполнения обязательств, которые были даны вождями для содержания своих армий; восстановления прежнего разделения края и прежней его администрации; образования местной территориальной гвардии под началом нынешних вождей; удаления всех республиканских войск; наконец, общей амнистии всем вандейцам, а равно и всем эмигрантам.

Подобные требования были нелепы и не могли быть допущены к рассмотрению. Депутаты согласились предоставить свободу вероисповеданий; вознаградить тех, чьи жилища были опустошены; освободить молодых людей от сборов, чтобы опять населить деревни; собрать территориальную гвардию, числом не более двух тысяч человек; уплатить по обязательствам, подписанным вождями, сумму не выше двух миллионов. Но и только. Сверх того, они требовали, чтобы все уступки были изложены не в договоре, а в постановлениях, подписанных комиссарами, и чтобы вандейские вожди, со своей стороны, подписали заявление, которым признали бы Республику и дали бы обещание покоряться ее законам.

Последняя конференция была назначена на 17 февраля (29 плювиоза), так как перемирие кончалось 16-го. Вандейские вожди, прежде чем заключить мир, потребовали, чтобы на конференции пригласили Стоффле. Многие роялисты желали этого, думая, что не следует вести переговоры без него; депутаты также этого желали,

потому что им хотелось включить в один договор всю Вандею. Стоффле руководствовался в это время советами честолубивого аббата Бернье, который вовсе не благоволил к миру, так как лишился бы всякого влияния; к тому же Стоффле не любил второстепенных ролей и был крайне недоволен тем, что переговоры были начаты и так долго велись без него. Однако он согласился участвовать в конференциях и приехал в Да Жонэ со своими офицерами.

Встреча была бурной. Сторонники мира и сторонники войны были сильно разгорячены. Первые группировались вокруг Шаретта и говорили, что именно те, кто хочет продолжения войны, никогда не участвуют в сражениях; что край разорен и доведен до отчаяния; что державы ничего не сделали и впредь ничего не собираются делать для них. Сторонники войны, напротив, говорили, что им предлагают мир только для того, чтобы лишить их оружия, потом нарушить все обещания и безнаказанно истребить; что на мгновение сложить оружие – значит ослабить мужество и сделать всякое восстание невозможным в будущем; что если Республика вступает в переговоры, значит, она сама доведена до последней крайности и надо только подождать и выказать еще некоторое упорство, и настанет минута, когда можно будет предпринять великие дела с помощью держав; что недостойно французских рыцарей подписывать договор с тайным намерением не исполнять его; что роялисты не имеют права признавать Республику, потому что это равнялось бы отречению от прав принцев.

Прошло несколько весьма оживленных конференций, с большим обоюдным раздражением. Однажды сторонники

Шаретта так горячо пригрозили сторонникам Стоффле, что чуть тут же не последовала драка. Корматен, сторонник мира, был, конечно, не из спокойных: своим волнением, званием представителя Бретани, своим ораторским искусством, наконец, он обращал на себя внимание. На его беду, при нем находился некий Солилак, приставленный к нему бретонским центральным комитетом. Солилак с удивлением видел, как Корматен разыгрывает совсем не ту роль, которая была ему поручена, и заметил ему, что он отступает от инструкций и послан не за тем, чтобы хлопотать о мире. Корматен был очень сконфужен этими упреками.

Стоффле и сторонники войны торжествовали, узнав, что Бретань старается скорее выиграть время и сговориться с Вандеей, чем

примириться с Республикой; они объявили, что никогда не сложат оружия, если уж Бретань готова поддержать их.

Утром 17 февраля совет Анжуйской армии собрался в одной из зал замка Ла Жонэ, чтобы принять окончательное решение. Товарищи Стоффле обнажили сабли и поклялись перерезать горло первому, кто станет говорить о мире; словом, решили стоять за войну. Шаретт, Сапино и их товарищи, собравшиеся в другой зале, решили стоять за мир. В полдень было назначено всем вместе собраться в палатке, разбитой посреди равнины; туда же должны были прийти и комиссары. Стоффле, не решаясь в лицо объявить о своем решении, послал сказать им, что не принимает их предложений.

Депутаты оставили сопровождавший их отряд на заранее условленном расстоянии и пришли в палатку одни. Шаретт оставил своих вандейцев на таком же расстоянии и привел с собою только своих главных офицеров. Все видели, как Стоффле сел на лошадь с несколькими сумасбродами и как они ускакали, махая шляпами и крича «Да здравствует король!». В палатке, где Шаретт и Сапино встретились с депутатами, не было ни споров, ни прений, потому что ультиматум депутатов был заранее принят. Обе стороны подписали все условленные заявления. Шаретт, Сапино, Корматен и прочие офицеры согласились с тем, что они покоряются законам Республики;

депутаты подписали постановления об уступках, на которые они согласились в свою очередь. Величайшая вежливость соблюдалась обеими сторонами, и казалось, что можно надеяться на искреннее примирение.

Депутаты, которым хотелось придать как можно больше блеска и гласности этому событию, приготовили Шаретту в Нанте великолепный прием. В этом городе, воодушевленном самыми патриотическими настроениями, царствовала живейшая радость. Жители льстили себя надеждой, что настал конец этой ужасной междоусобной войны, радовались, что такой замечательный человек, как Шаретт, подходит так близко к Республике и, кто знает, быть может, посвятит ей впоследствии свой меч. В день, назначенный для его торжественного въезда, гвардия и Западная армия собрались при полном параде. Всё население, исполненное радости и любопытства, стекалось, чтобы

поглядеть на этого знаменитого вождя. Он был встречен криками: «Да здравствует Республика! Да здравствует Шаретт!»

На Шаретте был костюм вандейского генерала, но на голове красовалась трехцветная кокарда. Это был человек жесткий, недоверчивый, хитрый, неустрашимый. Средний рост, маленькие живые глаза, вздернутый и сплюснутый нос и большой рот придавали ему своеобразие, вполне подходящее к его характеру. Встречая ныне Шаретта, каждый старался отгадать его чувства. Роялистам казалось, что на лице его выражаются замешательство и угрызение совести; республиканцы находили, что вид у него радостный и даже упоенный таким торжеством. И было отчего: несмотря на неловкость положения, Шаретт получал первую и лучшую награду за свои подвиги, и получал ее – от врагов!

Как только был подписан мир, республиканцы стали думать, как приманить Стоффле и уговорить шуанов принять те же условия, которые принял Шаретт. Последний, по-видимому, был искренен в своих заявлениях. Он разослал множество прокламаций, приглашая население края покориться и водворить у себя порядок. Жители были чрезвычайно рады этому миру. Из людей, целиком посвятивших себя военному делу, организовали местную гвардию, и Шаретту были поручено руководство ею. Эта мысль принадлежала Гошу, но ее пришлось несколько изменить в угоду вандейским вождям, у которых были свои расчеты и подозрения, почему они и хотели сохранить под своим руководством наиболее закаленных людей.

Шаретт даже обещал свою помощь против Стоффле, в случае если бы он, теснимый в Верхней Вандее, захотел отступить в Маре. Генерал Канкло теперь выступал против одного Стоффле. Оставив около территории, занимаемой Шареттом, только наблюдательный корпус, он двинул большую часть своих войск на Лейон. Стоффле сам напал на Шалон, но получил решительный отпор и отступил в Сен-Флоран. Он объявил Шаретта изменником и произнес над ним смертный приговор.

Депутаты, зная, что подобную войну следует заканчивать не одним оружием, а нужно также воздействовать на честолюбие людей и их жадность, не жалели денег. Комитет общественного спасения открыл кредит. Комиссары роздали нескольким офицерам Стоффле 60 тысяч

франков звонкой монетой и 365 тысяч ассигнациями. Его генерал-майор Тротуан получил 100 тысяч – и оставил его. Он написал письмо к офицерам Анжуйской армии, в котором уговаривал их согласиться на мир и приводил доводы, наиболее способные поколебать их.

Пока эти средства применялись против Анжуйской армии, депутаты, занимавшиеся примирением Вандеи, перешли в Бретань. Корматен последовал за ними. Он теперь окончательно увлекся идеей мира и тайно мечтал совершить такой же триумфальный въезд в Ренн, какой Шаретт совершил в Нант. Несмотря на перемирие, шуаны за это время совершали много разбойных нападений. Это были по большей части просто бандиты, не привязанные ни к какому делу, которые знать не хотели о политических соображениях, заставивших их вождей подписать договор о приостановлении военных действий, нисколько не думали соблюдать его и помышляли об одной только наживе.

Депутаты, видя такое поведение бретонцев, начинали подозревать их в нечистых намерениях и уже думали отказаться от мира. Бурсо особенно решительно склонялся к этому мнению. Боле, напротив, как ревностный поборник мира полагал, что, несмотря на несколько враждебных поступков, соглашение всё еще возможно и что требуется только кротость.

Гош неутомимо объезжал свои расположения, иной раз отстоявшие один от другого на восемьдесят лье, не давал себе ни минуты отдыха и, поставленный между депутатами, желавшими войны, и депутатами, желавшими мира, везде встречал неприятности, не охлаждавшие, однако, его рвения. «Вы мне желаете еще одной такой кампании, как Вогезская, – писал он одному приятелю. – Как прикажете совершать такую кампанию против шуанов, притом почти без армии?»

Этот молодой полководец тратил свои лучшие силы в неблагодарной войне, тогда как другие, далеко не стоившие его, приобретали бессмертие в Голландии, на Рейне, во главе лучших армий Республики. Однако он усердно продолжал свой труд с глубоким знанием людей и края. Мы уже видели, какие мудрые советы он давал, например о том, чтобы помочь мятежникам-поселянам и образовать войско из тех, кого война сделала солдатами. Привязанность к краю заставила Гоша найти настоящие средства умиротворения его жителей и обратить их взоры к Республике.

«Нужно, – говорил он, – продолжать переговоры с вождями шуанов; их искренность весьма сомнительна, но с ними нужно поступать честно. Таким образом будет приобретаться доверие тех из них, которым только и нужно, чтобы их успокоили. Честолюбивых надо будет прельстить чинами, нуждающихся – деньгами. Этим мы их разъединим; а тем, в ком можно быть уверенными, следует поручить наблюдение за краем, сделав их начальниками местной гвардии.

Впрочем, необходимо разместить по лагерям 25 тысяч человек, чтобы получить надзор над всем краем, расставить вдоль берегов известное число канонирских лодок, перевести склады оружия и военных припасов из открытых городов в порты и города укрепленные. Что же касается жителей, то надо будет действовать на них через священников и оказать помощь очень бедным людям. Если удастся вызвать доверие, шуанство немедленно распадется».

«Разглашайте, – писал Гош своим офицерам и генералам, – недавно изданный Конвентом закон о свободе вероисповеданий; проповедуйте сами религиозную терпимость. Священники, если будут уверены, что им не станут больше мешать отправлять их обязанности, сделаются вашими друзьями хотя бы ради того, чтобы их оставили в покое. По званию своему они склонны к миру; встречайтесь же с ними, говорите им, что продолжение войны чревато для них неприятностями – не со стороны республиканцев, уважающих религиозные убеждения, а со стороны шуанов, которые не признают ни Бога, ни закона и хотят только грабить да своевольничать. Между ними есть люди очень бедные, и все они вообще весьма своекорыстны: не забывайте предлагать им небольшие пособия, но ненавязчиво, а со всей возможной деликатностью.

Через них вы узнаете обо всех происках их партии и добьетесь того, чтобы они удерживали своих прихожан в деревнях и не пускали их драться. Вы сами поймете, что вам нужны кротость, приветливость и откровенность. Уговорите нескольких офицеров и солдат почтительно присутствовать при некоторых их обрядах, никогда и ничем не нарушая их.

Отечество ждет от вас величайшей преданности, и помните, что все средства хороши, когда они согласуются с законами, честью и республиканским достоинством».

Далее Гош советовал не забирать у поселян ничего для снабжения войска, по крайней мере некоторое время. Что же касается планов англичан, он советовал, чтобы расстроить эти планы, завладеть островами Джерси и Гернси и постараться устроить в Англии что-то наподобие движения шуанов, чтобы отвлечь внимание англичан от Франции.

Эти средства, умно придуманные и примененные с большой ловкостью, отлично удались. Бретань совсем разъединилась. Шуаны были обласканы, успокоены, подкуплены и дали себя уговорить сложить оружие. Другие, более упорные, рассчитывали на Пюизе и Стоффле и непременно хотели продолжать войну. Корматен носился от одних к другим, уговаривая их вступить в переговоры. Несмотря на пламенное усердие, с которым этот авантюрист хлопотал о примирении края, Гош разглядел его тщеславие и пустой характер и не доверял ему, догадываясь, что он так же точно обманет при случае республиканцев, как обманул роялистов.

Ко всем этим обстоятельствам примешивались странные интриги, которые тоже по-своему содействовали примирению, цели республиканцев. Мы видели выше, что Пюизе поехал в Лондон и там старался уговорить Сент-Джейм-ский кабинет принять участие в его планах. Мы видели, что из трех французских принцев, находившихся на континенте, один ждал в Арнеме, чтобы ему выпала какая-нибудь роль, другой дрался на Рейне, а третий, в качестве регента, переписывался из Вероны со всеми кабинетами и содержал тайное агентство в Париже.

Пюизе вел свои дела как человек столь же деятельный, сколь и умный. Не прибегая к посредничеству старого герцога д'Аркура, бесполезного посла регента в Лондоне, он обратился прямо к английским министрам. Питт, обыкновенно недоступный для эмигрантов, которые толпились на лондонских улицах и осаждали его просьбами о помощи, немедленно принял вдохновителя Бретани, устроил ему свидание с военным министром, горячим доброжелателем монархии, который всегда готов был поддержать или восстановить ее.

Проекты Пюизе, по зрелому рассмотрению, были приняты целиком. Англия обещала армию, эскадру, деньги, оружие и военные припасы в громадном количестве, но потребовала от Пюизе, чтобы он

держал всё это в строжайшей тайне от своих соотечественников, особенно от старика д'Аркура. Пюизе был очень рад делать всё один; он остался непроницаем для герцога, для всех других агентов принцев и даже для парижских агентов, которые переписывались с секретарем герцога д'Аркура. Он только написал графу д'Артуа, прося у него чрезвычайных полномочий и предлагая приехать и лично руководить экспедицией.

Однако, как ни старался Пюизе скрыть свои планы, о них скоро стали догадываться. Все эмигранты, которых Питт к себе не допускал, а Пюизе обманывал, единодушно начали нападать на последнего, обзывая его интриганом, продавшим себя коварному Питту и замышлявшим весьма подозрительные дела. Это мнение, распространившись в Лондоне, вскоре установилось и в Вероне между советниками регента. Этот маленький двор уже относился к Англии весьма недоверчиво после того, что случилось в Тулоне, и в особенности приходил в беспокойство, как только Англия решала втянуть в дело кого-нибудь из принцев. И на этот раз эмигранты всполошились — на что ей понадобился граф д'Артуа? И отчего не упоминается имя его старшего брата? И неужели хотят действовать в обход него?

Парижские агенты, назначенные графом Прованским и разделявшие его взгляды на Англию, не добившись никаких сообщений от Пюизе, в таком же смысле отзывались о предприятии, готовившемся в Лондоне. Они не одобряли его в особенности по следующей причине. Регент носился с мыслью прибегнуть к Испании и хотел туда переехать, чтобы быть ближе к Вандее и к Шаретту, своему излюбленному герою. Парижские агенты, со своей стороны, уже вступили в сношения с одним испанским эмиссаром, который советовал им обратиться к этой державе и уверял, что она сделает для графа Прованского и Шаретта то же самое, что Англия обещала сделать для графа д'Артуа и Пюизе. Но приходилось ждать, пока появится возможность перевезти графа Прованского с Альп на Пиренеи и подготовить серьезную экспедицию.

Стало быть, парижские интриганы склонялись к Испании. Они уверяли, что французы опасаются ее менее, нежели Англии, потому что ее интересы не настолько противоположны интересам Франции; что к тому же Испания уже имеет большое влияние на Тальена через его жену, единственную дочь испанского банкира; они даже осмеливались

говорить, что можно, наверное, рассчитывать и на Гоша. Но Испания с ее судами и войсками – это было, по их словам, всё еще пустяками по сравнению с удивительными планами, которые они брались осуществить в самой Франции. Находясь в столице, они видели явные признаки негодования против революционной системы. Нужно, говорили они, поощрять это движение и стараться обратить его на пользу роялистов, но для этого роялисты должны прикидываться как можно более смирными и безвредными, так как каждое опасение, возбужденное контрреволюцией, увеличивает силу Горы. Достаточно было одной победы Шаретта, одной высадки эмигрантов в Бретани, чтобы возвратить революционной партии утраченную силу и подорвать популярность термидорианцев – людей, нужных Республике.

Шаретт, правда, заключил мир; но надо, чтобы он был готов опять взяться за оружие, надо, чтобы Анжу и Бретань тоже на время покорились для вида. В это время следует подкупить глав правительства, дать армиям перейти Рейн и проникнуть глубже в Германию; потом вдруг врасплох напасть на усыпленный Конвент и провозгласить монархию в Вандее, Бретани и в самом Париже. Экспедиция, выдвинутая из Испании и имеющая во главе своей регента, могла бы принести победу. Что касается Англии, следовало только брать у нее деньги (потому что в деньгах-то эти господа нуждались), а потом обмануть ее.

Так каждый из бесчисленных агентов, мечтавших о контрреволюции, фантазировал, придумывал средства, смотря по своему положению, и хотел сделаться главным организатором реставрации. Ложь и интриги были единственными методами для большинства этих агентов, а деньги – главной целью всех их домогательств.

При таких замыслах вполне естественно, что парижская организация (агентство), в то время как Пюизе готовил экспедицию в Англии, всячески старалась помешать предприятию, восстановить спокойствие в бунтовавших провинциях и хлопотать о том, чтобы их вожди подписали мир, пусть и притворный. Пользуясь перемирием, заключенным с шуанами, роялисты Леметр, Бротье и Вильгернуа начали сношения с непокорными провинциями. Граф Прованский поручил им доставить Шаретту письма, они вверили эти письма одному

бывшему морскому офицеру по имени Дюверн дю Прель, оставшемуся без места и искавшему себе дело. Они поручили ему содействовать примирению края, советуя мятежникам выиграть время, а сами ждали помощи из Испании и усиления движения в самой Франции.

Гонец отправился в Ренн, оттуда препроводил письма регента Шаретту и советовал всем на время покориться. Те же предписания от парижских агентов получили и другие лица, и вскоре желание мира, уже обретавшее популярность в Бретани, распространилось еще больше. Везде стали говорить, что надо сложить оружие, что Англия обманывает роялистов, что можно всего ждать от Конвента и он сам восстановит монархию, а в договоре, подписанном Шареттом, есть секретные статьи, по которым он, Конвент, обязывается в скором времени признать королем сироту, заключенного в Тампле, Людовика XVII.

Корматен, положение которого сделалось донельзя затруднительным после того, как он поступил наперекор приказаниям Пюизе и центрального комитета, нашел у парижских агентов извинение и поощрение своему образу действий. Ему даже была, по-видимому, подана надежда получить руководство Бретанью вместо Пюизе.

Наконец удалось собрать главнейших шуанов в Ла Превале, месте, назначенном для переговоров, и конференции открылись.

В этот промежуток времени прибыли из Лондона два посланца от Пюизе: де Тентеньяк и де Ла Руэри; первый вез шуанам деньги и весть о предстоящей экспедиции, другой должен был как-нибудь дать знать Шаретту, своему дяде, чтобы тот был готов поддержать десант на берегах Бретани. Наконец, обоим было поручено прекратить всякие переговоры. Они с несколькими эмигрантами пытались высадиться на северном берегу; шуаны, предуведомленные об этом, поспешили к ним навстречу, произошла стычка, и шуаны остались побежденными. Ла Руэри и Тентеньяк спаслись чудом, но перемирие чуть не было прервано, и Гош, сомневавшийся в шуанах и в искренности Корматена, решил арестовать последнего. Корматен заверил депутатов в своих добрых намерениях.

Конференции в Ла Превале продолжались. Один из агентов Стоффле приехал, чтобы принять в них участие. Стоффле, разбитый,

преследуемый, доведенный до крайности, наконец попросил, чтобы и его допустили к переговорам, и послал в Да Превале своего представителя, генерала Бовэ. Конференции проходили крайне оживленно, как и в Да Жонэ. Генерал Бовэ всё еще стоял за войну, и утверждал, что Корматен, подписав мир в Да Жонэ и признав Республику, утратил власть, которой облек его Пюизе, и право участвовать в совещаниях.

Тентеньяк, несмотря ни на какие опасности прибывший на конференции, хотел немедленно прервать их от имени Пюизе и тотчас же вернуться в Лондон, но Корматен и сторонники мира этого не допустили. Корматен наконец уговорил большинство согласиться на сделку на том основании, что кажущееся примирение позволит выиграть время и усыпит бдительность республиканцев. Условия были те же, на которые согласился Шаретт: свобода вероисповеданий, денежное вознаграждение тем, чья собственность подверглась разорению, освобождение от реквизиции, учреждение территориальной гвардии. В настоящем договоре прибавлялась еще одна статья: Республика обязывалась раздать вождям, в том числе и Корматену, полтора миллиона франков.

Как бы для того, чтобы ни на минуту не переставать действовать двулично и нечестно, по словам генерала Бовэ, Корматен, собираясь подписать договор, сначала вынул шпагу, поклялся при первом случае снова взяться за оружие и наказал всем, впредь до нового распоряжения, сохранить существующую организацию и должное уважение к вождям.

Затем роялистские вожди отправились в Да Мабиле, на расстоянии одного лье от Ренна, чтобы подписать договор во время торжественной встречи с депутатами. Многие не хотели туда ехать, но Корматен увлек всех.

Встреча последовала с теми же формальностями, что и в Да Жонэ. Шуаны просили, чтобы Гоша на ней не было, опасаясь его крайнего недоверия, — эта просьба была исполнена. Двадцатого апреля (1 флореаля) депутаты подписали постановления, а шуаны — заявление, которым признавали Республику и покорялись ее законам. На следующий день Корматен совершил такой же торжественный въезд в Ренн, как Шаретт — в Нант. Усердие, с которым он хлопотал, важность, которую он напускал на себя, привели к тому, что на него смотрели как

на главу бретонских роялистов. Ему приписывалось всё: и подвиги неизвестных шуанов, тайно рыскавших по Бретани, и давно желанный мир. Он наконец удостоился желаемого триумфа. Жители города ему радовались, женщины ласкали его, он получил значительную сумму ассигнациями — словом, пользовался всеми выгодами и почестями, точно он и вел всю войну.

Между тем Корматен не для того приехал в Бретань, чтобы играть эту странную роль. Он более не смел писать Пюизе; он не решался выезжать из Ренна из опасения, чтобы недовольные миром не расстреляли его. Главные вожди вернулись к своим отрядам и написали Пюизе, что их обманули, но если он приедет, при первом сигнале они поднимутся и полетят к нему навстречу.

Несколько дней спустя Стоффле тоже подписал мир в Сен-Флоране, на тех же условиях.

Пока обе Вандеи и Бретань покорялись, Шаретт наконец получил первое письмо от регента; оно было помечено 1 февраля. Граф Прованский называл его вторым основателем монархии, выражал свою признательность, свое удивление, желал присоединиться к нему и назначить его своим наместником. Эти лестные заявления немного опоздали. Однако Шаретт, глубоко тронутый ими, немедленно ответил регенту, что письмо, которым он его почтил, наполняет его душу восторгом; что его верность и преданность всегда останутся неизменными; что одна только необходимость заставила его сдаться, но покорность его — лишь кажущаяся, и когда игра наладится лучше, он опять возьмется за оружие и будет готов умереть перед глазами своего государя ради столь святого дела.

Так совершилось первое примирение восставших провинций. Как угадал Гош, оно было только кажущимся; но, как он тоже предчувствовал, это примирение можно было превратить в губительное для вандейских вождей, приучив край к спокойствию и обратив к другим занятиям воинственный пыл, воодушевлявший людей. Как ни уверяли в противном Шаретт регента, а шуаны — Пюизе, всякий пыл должен был погаснуть в душах после нескольких месяцев спокойствия.

Представители и республиканские генералы с величайшей добросовестностью наблюдали за точным исполнением заключенных

условий. Бесполезно, конечно, доказывать нелепость распущенного тогда слуха, будто подписанные договоры заключали в себе секретные статьи с обязательством посадить на престол Людовика XVII. Как будто депутаты могли быть настолько сумасшедшими, чтобы принять подобные обязательства! Как будто возможно, чтобы захотели пожертвовать горстке партизан Республикой, обороняющейся против всей Европы! Впрочем, ни один из вождей в письмах к принцам и различным роялистским агентам никогда не смел утверждать подобной нелепости. Шаретт, впоследствии отданный под суд за нарушение заключенных с ним условий, тоже не посмел выставить в свою пользу такого важного смягчающего обстоятельства, каковым было бы несоблюдение секретной статьи. Пюизе в своих записках называет этот слух вымыслом и глупостью, и мы бы даже не упомянули здесь об этой выдумке, если бы она не приводилась во множестве записок.

Разоружение западного края стало не единственным результатом этого мира. Совпадая с миром, заключенным с Пруссией, Голландией и Тосканой, и с намерениями, заявляемыми несколькими другими государствами, оно имело еще ту выгоду, что произвело очень сильное нравственное воздействие. Республика была признана одновременно внешними и внутренними врагами, коалицией и самой роялистской партией.

Решительными врагами Франции оставались только Австрия и Англия. Россия, по своей отдаленности, не была опасна. Германская империя была готова распасться от несогласий и не могла продолжать войны; Пьемонт был истощен; Испания, не разделяя химерических надежд роялистских интриганов, вздыхала о мире; гнев неаполитанского двора был столь же бессилен, сколь и смешон. Питт, невзирая на неслыханные победы Французской республики, несмотря на кампанию, не имеющую себе подобной в летописях войны, не колебался; твердым умом своим он понял, что все эти победы, губительные для континентальных держав, нисколько не вредят Англии. Она приобрела на морях несомненное превосходство: она господствовала на Океане и в Средиземном море, она захватила половину голландских флотов, заставляла испанский флот выбиваться из сил против французского, она старалась завладеть французскими колониями, собиралась занять все колонии голландские и навсегда

утвердить свою власть в Индии. Ей для этого нужно было только, чтобы еще некоторое время продолжались война и политические интриги континентальных держав. Следовательно, для Англии было весьма важно раздувать вражду против Франции, оказывая помощь Австрии, пробуждая слабеющее рвение Испании, готовя новые беспорядки в южных провинциях Франции. Тем хуже для воюющих держав, если они будут побиты в новой кампании. Если же, напротив, державы одержат победу, то она возвратит Австрии Нидерланды, которые всего более боялась видеть в руках Франции. Таковы были убийственные для других, но глубокие расчеты английского премьер-министра.

Несмотря на потери, которые понесла Англия то в виде отбираемых на море судов, то вследствие поражений герцога Йоркского, то по причине громадных издержек, сделанных ею, чтобы снабдить деньгами Пруссию и Пьемонт, она еще обладала большими средствами, нежели воображали англичане и сам Питт. Она, правда, горько жаловалась на множество захватов, на голод и дороговизну. Английские торговые суда более других подвергались опасности попасть в руки корсаров, потому что одни продолжали ходить по всем морям. Страхование, в то время превратившееся в крупную отрасль спекуляции, делало их отважными, и это-то доставляло такое преимущество французским корсарам.

Что касается голода, то это было общее бедствие всей Европы. Громадное количество продуктов, потребляемое армиями, множество рук, отнятых от земледелия, беспорядки в Польше – вот причины почти полного неурожая и повсеместного голода. Притом поставки в Англию Балтийским морем сделались почти невозможными с тех пор, как французы завладели Голландией. Европе пришлось запастись хлебом в Новом Свете; в настоящее время она жила излишком продуктов девственных земель, только что вспаханных американцами. Но транспорт обходился дорого, и цена хлеба в Англии достигла непомерной высоты. Не менее высоки были цены на мясо. Не получали более шерсть из Испании, с тех пор как французы заняли бискайские порты, так что грозил перерыв в производстве сукна. Таким образом, вырабатывая задатки будущего величия, Англия жестоко страдала в настоящем. Рабочие бунтовали во всех больших городах, народ настоятельно требовал мира, в парламент приходили петиции с

тысячами подписей, умоляющие о прекращении этой бедственной войны. Ирландия, взволнованная отнятием у нее некоторых льгот, собиралась прибавить еще новые осложнения к заботам, которыми правительство было завалено.

При всех этих тяжелых обстоятельствах Питт все-таки видел надобность и возможность продолжать войну. Во-первых, война льстила страстям двора, даже самого английского народа, неистощимую ненависть которого к Франции всегда можно было разжечь и среди самых жестоких страданий. Потом, несмотря на убытки торговли, Питт видел, что эта торговля за последние два года обогатилась исключительно благодаря использованию рынков Индии и Америки. Он убедился, что экспортная торговля усилилась с начала войны, и мог уже провидеть будущее нации. В займах Питт находил средство, перспективы которого изумляли его самого. Кредит не уменьшался. Завоевание Голландии мало на него повлияло, так как было предусмотрено и уже переведено громадное количество капиталов из Амстердама в Лондон: голландская торговля, хоть и настроенная патриотически, однако не доверяла событиям и заранее позаботилась о безопасности своих богатств, переводя их в Англию. Питт только лишь заговорил о новом займе, и, несмотря на войну, предложения посыпались. Опыт доказал впоследствии, что война, воспрещая торговые спекуляции и дозволяя только спекуляции фондами, облегчает займы, а не затрудняет их. Так тем более должно быть в стране, которая не имеет границ и для которой, следовательно, война не может быть вопросом существования, а только торговли и сбыта.

Поэтому Питт решил, пользуясь громадными капиталами своей страны, дать денег Австрии, увеличить флот, преобразовать сухопутную армию, чтобы послать ее в Индию и Америку, и выдать французским эмигрантам значительные пособия. Он заключил с Австрией договор наподобие того, который был заключен ею в прошедшем году с Пруссией. Австрия обладала солдатами и обещала держать в состоянии готовности по меньшей мере 200 тысяч человек, но у нее имелся недостаток в деньгах; она не могла более открыть заем ни в Швейцарии, ни во Франкфурте, ни в Голландии. Англия могла помочь ей не деньгами, а поручиться за нее, гарантируя заем, который она собиралась открыть в Лондоне.

Гарантировать долги такой державы, как Австрия, значило почти взять на себя обязательства уплатить их, но операцию в этой форме легче было оправдать перед парламентом. Заем открывался в 4 600 000 фунтов стерлингов под 5 %. Питт в то же время сам открыл на счет Англии заем в 18 миллионов, под 4 %. Финансисты согласились на это крайне неохотно и, так как австрийский заем получил гарантии английского правительства и притом давал одним процентом больше, потребовали, чтобы им выдавали две трети взноса билетами английского займа, а одну треть – билетами австрийского займа.

Питт, обеспечив таким образом содействие Австрии, старался разжечь усердие Испании, но нашел его окончательно угасшим. Он принял на свое содержание полки эмигрантов, составленные принцем Конде, и сказал Пюизе, что примирение Вандеи уменьшило доверие к мятежным провинциям, и поэтому он даст Пюизе эскадру, военные припасы для армии и эмигрантские полки, но не даст английских солдат; если же то, что пишут из Бретани, окажется правдой, роялисты не изменят своих мыслей и экспедиция удастся, тогда он постарается превратить успех в окончательный, послав туда армию. Наконец Питт решил увеличить английский флот с 80 до 100 тысяч человек. Для этого он придумал нечто вроде сборов: каждое торговое судно обязывалось отдать по одному матросу из семи; это был как бы долг, взимаемый с торговли за покровительство, которым она пользовалась у военного флота. Земледелие и промышленность тоже многим были обязаны флоту, поэтому каждый приход тоже должен был дать по одному матросу.

Английские суда по конструкции своей были гораздо хуже французских; но громадное численное превосходство, отличные экипажи и искусство морских офицеров не допускали даже мысли о соперничестве.

Вооруженный всеми этими средствами, Питт предстал перед парламентом. Оппозиция в этом году увеличилась приблизительно на двадцать человек. Сторонники мира и Французской революции были оживленнее, чем когда-либо, и могли выступить против премьер-министра с серьезными доводами. Выражения, в которых Питт заставил говорить корону и говорил сам, отличались чрезвычайной ловкостью.

Он признал, что Франция одержала неслыханные победы; но эти победы, сказал он, не только не должны лишить бодрости ее врагов, а напротив, внушить большое упорство и постоянство. Именно Англию Франция преследует вечно, стремится уничтожить ее конституцию, ее благоденствие; не будет ни разумно, ни благородно уступить столь опасной ненависти. Особенно в настоящую минуту, заметил он, было бы бедственной слабостью сложить оружие. Франция, имея уже только двух противников – Австрию и Германскую империю, – разобьет их вконец; тогда, следуя своей вековой ненависти, она ринется на Англию, которая, оставшись одна, должна будет выдержать страшный натиск. Поэтому надлежит воспользоваться моментом, когда несколько держав еще продолжают борьбу, чтобы общими силами напасть на общего врага, заставить Францию возвратиться в свои прежние границы, отнять у нее Голландию и Нидерланды, запереть в ее границах и ее армии, и ее торговлю, и ее пагубные принципы.

Притом нужно еще только усилие, одно усилие, чтобы подавить ее. Франция победила, это правда. Но как? Истощая последние свои силы, применяя варварские средства, которые перестали действовать вследствие своей крайней насильственностиTM. Максимум, реквизиции, ассигнации, террор – все эти инструменты сломались прямо в руках правителей Франции. Все эти правители сами погибли за то, что решили победить такой ценой.

К тому же, даже если не брать в расчет эти соображения, внушаемые честью, заботой о своей безопасности, здоровой политикой, то мир все-таки невозможен. Французские демагоги откажутся от него с той лютой гордостью, которую они выказывали, еще не одержав побед. Да и с кем вести переговоры? Где искать правительство в этой путанице кровавых интриг фракций, одна другую толкающих к власти и так же скоро исчезающих? Как надеяться на прочные условия, имея дело с такими мимолетными хранителями всегда кем-нибудь да оспариваемой власти?

Следовательно, вступать в переговоры неблагородно, неразумно, невозможно. Англия еще обладает громадными средствами, чтобы продолжать эту войну, справедливую и необходимую. Так Питт назвал войну с самого начала и всячески старался сохранить это название. Очевидно, что в числе этих парламентских доводов он не мог привести

своих настоящих побуждений — не мог сказать, какими макиавеллистскими путями намерен вести Англию к высшему могуществу: в таком честолюбии никто не признается перед лицом мира.

Оппозиция возражала победоносно. «В прошедшую сессию, — говорили Фокс и Шеридан, — у нас требовали всего одной кампании; у нас в руках уже были несколько крепостей, оставалось весной выступить из них, чтобы уничтожить неприятеля. Однако полюбуйтесь результатами! Французы завоевали Фландрию, Голландию, весь левый берег Рейна, кроме Майнца, часть Пьемонта, большую часть Каталонии, всю Наварру. Пусть поищут подобную кампанию в летописях Европы! Нам говорят, что они действительно взяли несколько крепостей: пусть-ка лучше укажут нам войну, в которой было взято столько крепостей в одну кампанию! Если французы одерживали такие победы, когда боролись против всей Европы, то чего можно ожидать от них, когда они будут иметь дело с одними только Австрией и Англией, потому что остальные державы или не в состоянии нас поддержать, или вступили в переговоры? Нам говорят, что французы истощены, что ассигнации — их единственное подспорье — потеряли всякую цену, что их нынешнее правительство уже не отличается прежней энергией. Но у американцев бумажные деньги потеряли до 90 % — однако они не проиграли дела. Это же правительство, когда оно было энергичным, называли варварским; ныне, когда оно стало гуманно и умеренно, его называют бессильным. Нам говорят о наших богатствах, о наших громадных капиталах, однако народ умирает с голоду, не может купить ни хлеба, ни мяса и требует мира в один голос. Эти чудесные богатства, создающиеся как бы волшебством, — действительны ли они? Создаются ли сокровища из бумаги? Под всеми этими финансовыми системами кроется какая-то страшная ошибка, какая-то ужасающая бездна, которая в свое время вдруг разверзнется.

Мы отдаем наши богатства европейским державам; мы уже щедро наделили ими Пьемонт, Пруссии, теперь еще собираемся наделить ими Австрию. Кто поручится нам в том, что эта держава лучше Пруссии сдержит свои обязательства? Кто поручится в том, что она не нарушит данного слова и не заключит мира, взяв наше золото? Мы возбуждаем гнусную междоусобную войну; мы вооружаем людей против их

отечества; а между тем, к стыду нашему, эти люди, признав свою ошибку и мудрость своего нового правительства, покоряются ему и складывают оружие. Неужели мы станем вновь раздувать пепел Вандеи, чтобы опять устроить там ужасный пожар? Нам говорят о варварских принципах Франции: чем они хуже и вреднее для общества, чем наше поведение в мятежных провинциях?

Следовательно, все средства в этой войне – сомнительны или преступны. Мир, говорят нам, невозможен, Франция ненавидит Англию; но когда высказалось ее ожесточение против нас? Не тогда ли, когда мы обнаружили преступное намерение отнять у французов свободу, вмешаться в их выбор правительства, возбудить в их стране междоусобную войну? Мир, говорят, распространил бы заразу их принципов. Однако Швейцария, Швеция, Дания, Соединенные Штаты с ними в мире: разве их общественный строй разрушен? Мир, еще говорят нам, невозможен с правительством шатким и беспрестанно обновляемым. Однако Пруссия и Тоскана нашли, с кем вести переговоры, Швейцария, Швеция, Дания, Соединенные Штаты знают, с кем иметь дело, а для нас – вдруг – нет возможности никакого общения! Так надо было нам сказать с самого начала войны, что мир мы будем заключать не прежде, чем у наших врагов восстановится правительство известного рода, не раньше, чем будет низвергнута Республика, чем они примут те учреждения, которые нам будет благоугодно дать им».

Сквозь все эти основательные возражения и всё это красноречие Питт продолжал идти своей дорогой, ни на минуту не выдавая своих настоящих намерений, и добился того, чего хотел: займов, морского набора, приостановления действия *Habeas Corpus*. Полагаясь на свою казну, на 200 тысяч человек, обещанных Австрией, на отчаянную храбрость французских инсургентов, он решился предпринять новую кампанию, уверенный во владычестве по крайней мере на море, если бы даже победа на суше и осталась за восторженной нацией, против которой он вел борьбу.

Эти прения, переговоры, столкновения мнений в Европе, приготовления к войне доказывают, какую важную роль Франция в то время играла в мире. Тогда же в Париж прибыли послы Швеции, Дании, Голландии, Пруссии, Тосканы, Венеции и Америки. По приезде каждый

из них отправлялся с визитом к президенту Конвента, который оказывался на каком-нибудь третьем или четвертом этаже, и находил у него простой и вежливый прием, заменивший прежние пышные придворные приемы. Потом послы входили в знаменитую залу, где на простых скамейках, в самых скромных костюмах заседало собрание, являвшееся уже не смешным, а грозным благодаря силе и величию своих страстей. Послов сажали в кресла, поставленные против президентского, они выступали сидя; президент отвечал им тоже сидя, называя титулами, поименованными в их полномочиях. Потом он отдавал им братский поцелуй и провозглашал их представителями пославших их держав. Им предоставлялось право присутствовать на особой трибуне при бурных прениях, внушавших иностранцам столько же ужаса, сколько и любопытства.

Вот весь церемониал, соблюдавшийся при приеме посланников. Такая простота была к лицу Республике, принимавшей без пышности, но со всей вежливостью и вниманием послов государей, ею побежденных. Имя француза в то время было славно, оно было облагорожено лучшими из побед и самими безгрешными – победами, которые одерживает народ, защищающий свою свободу.

Глава XLIII

Побоища в тюрьмах и Лионе – Различные проекты уменьшения количества ассигнаций – Восстание 1 прериаля – Процесс и казнь депутатов, замешанных в восстании – Новые прения о продаже национальных имуществ

События последних дней возымели на обе партии, на которые распалась Франция, обычное действие: они еще больше озлобились, с еще большим ожесточением стали добиваться уничтожения одна другой. На всем юге и в особенности в Авиньоне, Марселе и Тулоне революционеры стали смелее, нежели когда-либо прежде: они укрывались от всех попыток отобрать у них оружие или заставить возвратиться в общины, продолжали требовать освобождения патриотов, казни всех возвратившихся эмигрантов и введения конституции. Они переписывались со своими единомышленниками, рассеянными по всем провинциям, призывали их к себе, советовали собраться в двух главных пунктах – в Тулоне на юге и в Париже на севере – с тем чтобы поднять восстание в департаменте и пойти к северу, на соединение со своими братьями. Это был практически проект федералистов 93 года.

Их противники, как роялисты, так и жирондисты, тоже стали смелее, с тех пор как правительство подало сигнал к началу гонений. Так как они были полными хозяевами во всех администрациях, то беспощадно применяли декреты, изданные против патриотов. Они сажали их в тюрьмы в качестве сообщников Робеспьера или за то, что те тратили большие суммы, не давая в них отчета обществу; они отнимали у патриотов оружие на том основании, что те были причастны к тирании, низвергнутой 9 термидора, или гнали священников с места за оставление ими своих приходов. В южных провинциях несчастные в особенности подвергались преследованию, потому что злоба всегда вызывает равную злобу.

В департаменте Рона готовилась страшная реакция. Роялисты, вынужденные бежать в 1793-м, теперь возвращались, переходили

границу, появлялись в Лионе с фальшивыми паспортами, рассуждали о короле, о религии, о прошлом благоденствии и вызывали воспоминания о расстрелах картечью, чтобы склонить на сторону монархии преданный республике город. Роялисты рассчитывали на Лион так же, как патриоты на Тулон. Говорили, будто Преси вернулся и скрывается в городе, на который навлек такие бедствия своей храбростью. Множество эмигрантов стекались в Базель, Берн, Лозанну и обнаруживали небывалую самоуверенность. Они твердили о своем скором возвращении, уверяли, что делами заправляют их друзья и скоро воцарится сын Людовика XVI; что их призовут, возвратят им имущества и что все, за исключением некоторых военачальников, которых надо будет наказать, с радостным усердием станут содействовать реставрации.

В Лозанне, где молодежь восторженно относилась к Французской революции, эмигрантов притесняли и заставляли замолчать. В других местах им не мешали говорить, оставляли без внимания хвастовство, к которому успели привыкнуть, однако питали недоверие к тем из них, кто состоял на содержании у австрийской полиции и подслушивал в гостиницах неосторожные речи путешественников. Вокруг Лиона образовались шайки, которые, назвавшись войском Солнца, или Иисусовым войском, рыскали по деревням, проникали в города и убивали патриотов, живущих на своей земле или запертых в тюрьмах.

Сосланные священники тоже возвращались через эту границу и уже рассыпались по всем восточным провинциям. Они объявили недействительным всё, что сделали присягнувшие священники, перекрещивали детей, перевенчивали супругов, внушали народу ненависть и презрение к правительству. Они, впрочем, старались при этом держаться ближе к границе, чтобы перейти ее по первому знаку. Те священники, которые не были сосланы, получали во Франции пожизненную пенсию и пользовались возможностью исполнять обряды своего богослужения, не менее сосланных злоупотребляли терпимостью правительства. Не довольствуясь тем, чтобы служить обедню в нанятых или предоставляемых им частными лицами домах, они возмущали народ и уговаривали его силой завладеть церквями, которые являлись собственностью общин. По этому поводу происходило множество беспорядков, и не раз приходилось прибегать к вооруженной силе,

чтобы заставить священников и народ уважать декреты Конвента.

В Париже журналисты, продавшиеся роялизму и натравливаемые Леметром, выступали против революции как никогда смело, почти открыто проповедуя монархию. Весь рой пасквилянтов уже не боялся Революционного трибунала.

Итак, обе партии были вполне готовы к решительному столкновению. Революционеры, решившись нанести удар, которым они 1 апреля только пригрозили, открыто вели свои интриги. С тех пор как они лишились своих главных вождей, которые замыслили общие планы для всей партии, революционеры устраивали собрания в каждом квартале. Образовалась группа у некоего Лагреле, на улице Бретань; там предполагалось устроить несколько собраний и поставить во главе мятежников Камбона, Монто и Тюрио: одних направить в тюрьмы – освободить патриотов; других в комитеты – похитить некоторых членов; третьих, наконец, в Конвент – вынудить его принять нужные декреты. Завладев волей Конвента, заговорщики хотели заставить его вернуть арестованных депутатов, уничтожить приговор, произнесенный против Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Барера, исключить семьдесят трех и немедленно провозгласить Конституцию 1793 года.

Всё уже было договорено, даже приготовлены инструменты для взлома тюрем, значки, по которым заговорщики должны были узнавать друг друга, и кусок материи, который предполагалось вывесить из окна дома, откуда будут исходить все приказания. Перехватили письмо, спрятанное в хлебе, оно было адресовано одному из заключенных и гласило: «В тот день, когда вы получите яйца наполовину белые, а наполовину красные, будьте готовы».

Однако один из заговорщиков выдал сообщников и сообщил все подробности Комитету общественной безопасности. Комитет тотчас же приказал арестовать всех указанных ему людей как вождей, что, к несчастью, нисколько не расстроило планов патриотов: теперь все были вождями и устраивали заговоры одновременно в тысяче мест. Ровер, вполне заслуживший название террориста при прежнем Комитете общественного спасения, а теперь сделавшийся яростным реакционером, внес в Конвент доклад об этом заговоре и всячески нападал на депутатов, которых предполагали поставить во главе

заговора. Депутаты же эти вовсе не знали о заговоре, их именами распорядились без их ведома, потому что нуждались в них и рассчитывали на их всем известный образ мыслей. Они уже были осуждены на заключение в крепости Гам, но не покорились приговору и скрывались. Ровер уговорил собрание постановить, что если они не явятся сами немедленно, то будут подлежать ссылке, без дальнейшего суда.

Как только газеты известили об этом новом заговоре патриотов, в Лионе обнаружилось большое волнение и ярость против патриотов удвоилась. В это время судили одного из сторонников террора, доносчика, подвергнувшегося судебному преследованию как сообщник Робеспьера. Тут пришли газеты с докладом Ровера, и лионцы начали волноваться. Большая часть из них оплакивала или потерянное состояние, или смерть казненных родственников. Горожане столпились вокруг здания суда. Депутат Буассе сел на лошадь; его обступили, и каждый начал излагать ему свои жалобы на обвиняемого. Зачинщики беспорядка, члены войска Солнца, воспользовались этим волнением, вызвали мятеж, напали на тюрьмы с большой толпой народа, зарезали от семидесяти до восьмидесяти узников, слывших сторонниками террора, и бросили их трупы в Рону. Национальная гвардия предприняла несколько попыток помешать резне, но едва ли выказала такое рвение, какое было бы обеспечено, если бы у нее не было личной злобы к жертвам этого бунта.

Итак, едва стал известен якобинский заговор 29 жерминаля, как контрреволюционеры ответили на него побоищем 24 апреля (5 флореаля) в Лионе. Искренние республиканцы, хоть и порицали замыслы сторонников террора, однако испугались также и планов контрреволюционеров. До сих пор они только думали о том, чтобы не дать возникнуть новому террору, и не пугались роялизма: в самом деле, роялизм казался таким отдаленным после казней Революционного трибунала и побед французских армий! Но когда они увидели роялизм, изгнанный из Вандеи, возвращающимся через Лион, чтобы образовать отряды убийц, двинуть священников-возмутителей в самый центр Франции и диктовать в Париже статьи, дышащие всей яростью эмиграции, — тогда они спохватились и пришли к заключению, что к строгим мероприятиям против сообщников террора нужно прибавить

другие – против приверженцев монархии.

Сначала, чтобы отнять всякий предлог для бунта у лиц, пострадавших от насилия и требующих мщения, судам предписали более деятельно преследовать обвиняемых в лихоимстве, в злоупотреблении властью и в притеснениях. Потом стали приискивать действенные меры, для усмирения роялистов. Шенье, известному своим литературным талантом и республиканскими убеждениями, было поручено составить по этому поводу доклад. Он начертил живую картину Франции, обеих партий, и в особенности тайных происков эмиграции, и предложил следующее. Всякого возвратившегося эмигранта немедленно предавать суду для применения к нему закона; считать эмигрантом всякого ссыльного, который, самовластно возвратившись во Францию, будет находиться в ней еще через месяц; наказывать тюремным заключением на полгода всякого, кто нарушит закон о вероисповедании и захочет силой завладеть церквями; приговаривать к изгнанию каждого писателя, который станет поносить национальное представительство и проповедовать восстановление монархии; наконец, обязать власти, на которые возложено разоружение сторонников террора, объявлять причины своих действий.

Все эти меры, кроме двух, возбуждивших некоторые пререкания, были приняты. Тибодо нашел, что неосторожно будет подвергать шестимесячному тюремному заключению нарушителей закона о вероисповеданиях; он весьма основательно заметил, что церкви только на одно и годны – на отправление в них религиозных обрядов; что народ будет огорчаться, если отнять у него здания, в которых он привык присутствовать при богослужении; что можно было бы, объявляя, что правительство не берет на себя никаких издержек по части какого-либо вероисповедания, вернуть церкви католикам во избежание жалоб, мятежей, смут и – чего доброго – новой всеобщей Вандеи. Эти замечания не были уважены, потому что Конвент боялся, чтобы духовенство не окружило себя снова пышностью, составлявшей одну из статей его прежнего могущества, если церкви будут возвращены католикам.

Тальен, подобно Фрерону, начавший писать и желавший по этой ли причине, или чтобы блеснуть чувством справедливости, оградить независимость печати, восстал против статьи об изгнании пишущей

братии. Он доказывал, что такое положение пахивает произволом и оставляет слишком много места для притеснений прессы. Он был прав. Но в настоящем положении, то есть во время открытой войны с роялизмом, возможно, было бы правильнее, чтобы Конвент энергично высказался против сочинителей пасквилей, так торопившихся вернуть Францию к монархическим идеям.

Луве, этот пылкий жирондист, так много вредивший партии своей подозрительностью, но всегда бывший одним из искреннейших людей всего Конвента, поспешил ответить Тальену и заклинал всех друзей Республики позабыть о своих несогласиях и взаимных неудовольствиях и объединиться против древнейшего, единственного и общего врага – монархии. Слова Луве в пользу насильственных мер в настоящем случае имели тем больший вес, что он вынес жесточайшие гонения за свое сопротивление революционным методам. Всё собрание рукоплескало его благородному, откровенному заявлению, постановило напечатать его речь и разослать во все департаменты – и приняло статью к великому смятению Тальена, так дурно выбравшего время, чтобы отстаивать правило, само по себе справедливое.

Но карающие законы не очень способны сдержать партии, готовые вцепиться друг в друга. Депутат Тибодо нашел, что правительственные комитеты после 9 термидора подверглись слишком большому послаблению. Метод их работы, учрежденный тотчас после падения диктатуры, был придуман единственно под влиянием страха новой тирании. Поэтому за чрезмерным напряжением всех пружин последовало такое же чрезмерное послабление. Каждому комитету было возвращено его специальное влияние, чтобы уничтожить преобладающее влияние Комитета общественного спасения, и из этого положения дел вытекали вялость, медленность, неуверенность – словом, полное одряхление правительства.

В самом деле, если в каком-нибудь департаменте вспыхивали смуты, установленный иерархический порядок требовал, чтобы об этом было написано Комитету общественного спасения; Комитет общественного спасения сносился с Комитетом общественной безопасности, а в известных случаях – и с законодательным комитетом. Надо было ждать, пока все комитеты соберутся, а затем надо было

ждать, пока они найдут время посоветоваться о данном деле. Одним словом, эти сходки стали почти невозможны, да и были слишком многочисленны, чтобы действовать энергично. Если возникала надобность послать куда-нибудь даже двадцать человек стражи, Комитет общественной безопасности, заведовавший полицией, должен был обратиться к военному комитету. Теперь все сознавали, как неосновательно было так пугаться тирании прежнего комитета и принимать предосторожности против опасности только воображаемой.

Организованное таким образом правительство могло оказывать фракциям лишь весьма слабое сопротивление и противопоставить им лишь почти бессильную власть. Поэтому депутат Тибодо предложил упростить правительственный механизм: сократить полномочия комитетов до простого внесения проектов законов, а исполнительные меры предоставить исключительно Комитету общественного спасения; к обязанностям последнего присоединить и заведование полицией; следовательно, упразднить вовсе Комитет общественной безопасности; наконец, увеличить число членов Комитета общественного спасения до двадцати четырех, чтобы он мог справиться со своими новыми обязанностями.

Трусы, всегда готовые обороняться от мнимых опасностей, восстали против этого проекта и закричали, что это – та же диктатура. Каждый явился со своим предложением. Те, кто были одержимы манией конституционного пути и разделения властей, предложили создать исполнительную власть вне Конвента, чтобы отделить исполнение закона от учреждения его. Другие придумали брать представителей этой власти из самого Конвента, но воспретить им, на весь срок исполнительной должности, подавать законодательный голос.

После долгих рассуждений собрание спохватилось, что так как ему остается просуществовать еще каких-нибудь три-четыре месяца, то смешно тратить это время на сочинение временной конституции и в особенности отказываться от диктатуры в такую минуту, когда сила нужнее, чем когда бы то ни было прежде. Поэтому все предложения, клонящиеся к разделению власти, были отвергнуты, но и проект Тибодо наводил слишком большой страх, чтобы его можно было принять. Решили только дать комитетам несколько больше свободы действий; оставить за ними лишь право предлагать законы, а Комитету

общественного спасения одному предоставить исполнительную власть; заведование полицией же оставить по-прежнему за Комитетом общественной безопасности; собираться комитетам вместе не иначе как в лице выбранных каждым комитетом комиссаров. Наконец, чтобы еще более охранить себя от этого страшилища – Комитета общественного спасения, – имя которого всё еще так пугало людей, решено было лишить его законодательной власти, а также права вносить предложения о преследовании депутатов.

Пока принимались эти меры с целью вернуть правительству некоторую энергию, Конвент продолжал заниматься финансовыми вопросами, обсуждение которых было прервано событиями жерминаля. Отмена максимума, реквизиций, секвестра, всего аппарата принудительных средств, возвратив делам их естественное течение, сделали падение ассигнаций еще более быстрым. Так как продажи перестали быть принудительными и цены вновь стали свободными, то товары непомерно вздорожали и ассигнации упали еще больше. Вследствие восстановления торговых связей с заграницей ассигнации опять подверглись сравнению с иностранными ценными бумагами, и превосходство последних немедленно выразилось еще большим падением курса на первые.

Всякая чересчур резкая перемена в ценностях влечет за собою рискованные спекуляции, то есть биржевую игру, а так как подобная перемена никогда не возникает иначе как вследствие беспорядка, политического или финансового, то жителям страны почти ничего и не остается, как только этот род спекуляции. Тогда, вместо того чтобы изготовлять и перевозить новые товары, каждый спешит спекулировать на ценах уже существующих товаров. Биржевая игра, достигшая таких громадных размеров в апреле, мае и июне 1793 года, когда отступничество Дюмуре, восстание Вандеи и федералистская коалиция произвели такое значительное понижение курса ассигнаций, опять явилась с еще большей силой в апреле и мае 1795 года. Таким образом, к ужасам голода присовокупилась еще бешеная игра, вследствие чего еще более вздорожали товары и упал курс ассигнаций.

В Пале-Рояле, на который народ и без того уже смотрел как на ненавистный вертеп, потому что в нем собиралась золотая молодежь,

сходились также и биржевые игроки. Нельзя было пройти через него, чтобы вас не преследовали торговцы, держа в руках материи, золотые табакерки, серебряные сосуды, предметы роскоши. Спекулянты, выбравшие своей специализацией металлические изделия, собирались в «Кафе де Шартр». Хотя золото и серебро более не считались товаром и с 93 года под страхом строжайших наказаний воспрещалось продавать их за ассигнации, однако металлическими деньгами торговали почти открыто. Луидор продавался за 160 франков ассигнациями и в течение одного часа нередко поднимался до 200 и даже до 210 франков.

Итак, у патриотов не было недостатка в доводах, которыми можно было поднять недовольный народ: ужасающая скудость хлеба; совершенное отсутствие топлива при холодах, продолжавшихся еще весной; непомерное повышение цен на все товары и невозможность платить эти суммы бумажными деньгами; бешеная биржевая игра – вот список бедствий и безобразий, на которых нетрудно было сыграть. Необходимо было облегчить страдания народа и предотвратить восстание.

Самым необходимым средством Конвент считал, как мы видели выше, поднятие стоимости ассигнаций посредством изъятия их из обращения с помощью продаж национальных имуществ. Насильственные средства были отвергнуты, Конвент еще колебался между двумя добровольными средствами – лотереей и банком. Опала Камбона заставила решиться в пользу средства, предложенного депутатом Жоанно, то есть в пользу банка. Но в ожидании того, чтобы появилась возможность осуществить этот химерический проект, который, даже если бы имел успех, никогда бы не мог поставить ассигнации альпари с металлическими деньгами, все-таки оставалось самое главное зло: разница между номинальной и действительной стоимостью. Кредитор государства или частного лица получал ассигнацию по номинальной цене, а поместить ее мог едва за десятую долю этой цены. Землевладельцы, отдавшие свои земли в аренду, получали только десятую долю арендной платы. Нередко случалось, что арендатор расплачивался за год аренды одним мешком пшеницы или откормленной свиньей.

Казна в особенности несла убытки, которые опять-таки отражались на бумажных деньгах. Она брала у плательщика ассигнацию по

номинальной цене, так что, получая ежемесячно около пятидесяти миллионов, в сущности, имела их едва пять. Для пополнения этого дефицита и покрытия чрезвычайных расходов на войну казне приходилось выпускать до восьмисот миллионов ассигнаций каждый месяц. Первое, что надо было сделать впредь до действия принятых мер, это восстановить соотношение между номинальной и действительной стоимостью. Жоанно предложил опять взять мерилом ценностей металлы. Он предлагал день за днем следить за курсом ассигнаций по отношению к золоту и серебру и принимать их уже только по этому курсу. Тот, кому надо было получить тысячу франков металлическими деньгами, получал бы десять тысяч ассигнациями. Налоги, аренда, всякие доходы должны были вноситься металлическими деньгами или ассигнациями по курсу.

Но Конвент не захотел устанавливать металлические деньги мерилом всех ценностей, во-первых, по старой злобе против металлов, а затем потому, что Англия, имея много золота и серебра, могла будто бы по своей воле менять их цену и таким образом диктовать курс ассигнаций. Эти соображения были весьма ничтожны, однако побудили Конвент отвергнуть металл как мерило. Тогда Жанбон Сент-Андре предложил принять в таком качестве зерно, представляющее у всех народов главнейшую ценность. Но против этого выдвинули возражение. Бедствия войны и убытки, понесенные земледелием, значительно повысили цену хлеба в сравнении с ценами всех прочих продуктов и товаров, и он теперь стоил вчетверо дороже. По настоящему курсу ассигнаций ему следовало бы стоить только в десять раз больше, нежели в 1790 году, то есть 100 франков за квинтал, а он стоил 400 франков. Человеку, долг которого равнялся тысяче франков в 1790 году, теперь пришлось бы заплатить по денежному курсу 10 тысяч ассигнациями, а по курсу хлеба – 40 тысяч.

Депутат Рафран предложил с 30-го числа текущего месяца поднимать стоимость ассигнаций на один процент каждый день. Все немедленно восстало против этого предложения, говоря, что это банкротство, точно не было банкротством свести ассигнации на курс звонкой монеты или хлеба, то есть разом подвергнуть их потере 90 %! Бурдон, постоянно толковавший о финансах, но ничего в них не смысливший, предложил и провел декрет, запрещающий слушать какие-

либо предложения, склоняющиеся к банкротству.

Однако время шло, и неприятности множились с каждым днем. Повсеместно вспыхивали беспорядки из-за недостатка в хлебе и топливе; в Пале-Рояле можно было увидеть хлеб, выставленный на продажу по 22 франка за фунт. Перевозчики на Сене требовали 40 тысяч франков за услугу, за которую прежде получали 100 франков. Отчаяние и апатия овладели людьми.

В этом жестоком затруднении Бурдон, депутат Уазы, весьма невежественный финансист, набрел, разумеется случайно, на единственно годное средство. Понизить ассигнации по курсу было трудно. Поднять их посредством изъятия части их из оборота было не менее трудно. Однако имелось средство продать их: надо было сделать их доступными покупателям, требуя от последних лишь такую цену, какую можно было дать при настоящем положении вещей. В настоящее время имущества продавались с аукциона: предложения соразмерялись с падением бумажных денег и платить ассигнациями приходилось в пять-шесть раз больше, чем в 1790 году. В Америке, на обширных материках, земли стоили немного, потому что масса их много превосходила массу движимых капиталов. То же самое происходило во Франции в 1795 году. Следовательно, нужно было придерживаться не фиктивной ценности 1790 года, а той, которую можно было выручить в 1795 году, потому что каждая вещь в действительности стоит только то, что может быть за нее уплачено.

Вот Бурдон и предложил продавать национальные имущества без аукциона, с составлением простого протокола, тем лицам, которые дадут за них ассигнациями тройную цену против оценки 1790 года. Из двух конкурентов предпочтение должно было оказываться тому, кто явится первым. Таким образом, владение, оцененное в 100 тысяч франков, можно было приобрести за 300 тысяч ассигнациями. Так как ассигнации упали до одной пятнадцатой доли своей номинальной стоимости, то 300 тысяч франков ассигнациями равнялись в действительности 20 тысячам франков звонкой монетой, стало быть, за 20 тысяч франков приобреталось имущество, в 1790 году стоившее 100 тысяч. Это не означало терять большую часть стоимости, потому что на самом деле невозможно было получить больше. К тому же, если бы

даже и требовалось принести такую жертву, то колебаться было нельзя, потому что выгоды представлялись громадные.

Во-первых, устранялось неудобство резкого понижения ассигнаций по курсу – то есть совершенного их уничтожения. Но лучше того: не подлежит сомнению – и то, что случилось два месяца спустя, это доказало, – что все национальные имущества могли быть тотчас же раскуплены за тройную цену против оценки 1790 года. Следовательно, все или почти все ассигнации могли этим путем вернуться в казначейство; оставшиеся в обращении поднялись бы до номинальной цены. К тому же налоги, сведенные почти к нулю, потому что вносились непомерно упавшими ассигнациями, вступали в прежние свои права, как только ассигнации изымались из обращения или поднимались в цене. Самые же имущества, немедленно отданные в распоряжение народной предприимчивости, должны были начать обогащать частные лица и казну. Словом, наступал конец страшной катастрофе, потому что восстанавливалось правильное соотношение цены.

Проект этот был принят, и немедленно начали готовиться к его исполнению. Но гроза, давно собиравшаяся, надвинулась низко и грозно и должна была разразиться в скором времени. Противные партии действовали каждая по-своему. Контрреволюционеры, преобладавшие в некоторых секциях, составляли петиции против мер, которые Шенье предложил в своем докладе, и в особенности против наказания роялистов изгнанием за злоупотребления печатью. Патриоты, с другой стороны, доведенные до крайности, замыслили отчаянное дело. Казнь Фукье-Тенвиля, приговоренного к смерти вместе с несколькими присяжными Революционного трибунала за бесчеловечность и недобросовестность в отправлении своих обязанностей, довела раздражение патриотов до последних пределов. Хотя их план на 29 жерминаля был раскрыт и не удалась другая, недавняя попытка – устроить постоянные заседания секций, – однако они не переставали составлять заговоры в густонаселенных кварталах и кончили тем, что образовали центральный комитет восстания, заседавший между кварталами Сен-Дени и Монмартр, на улице Моконсель.

Комитет состоял из бывших членов прежних революционных

комитетов и личностей того же разряда, почти неизвестных за пределами своего квартала. План восстания достаточно обозначался уже произошедшими событиями: выставить впереди толпы женщин; двинуть за ними огромную массу людей; окружить Конвент, чтобы нельзя было пробраться к нему на помощь; принудить депутатов исключить из своей среды семьдесят трех жирондистов и вернуть Бийо, Колло и Барера; освободить депутатов, содержащихся в Гаме, и всех арестованных патриотов; ввести в силу конституцию и дать Парижу новую коммуну – таков был план патриотов. Они изложили его в манифесте, состоящем из одиннадцати статей, изданном 19 мая (30 флореаля) от имени державного народа, вновь вступающего в свои права. Манифест этот был напечатан и пущен по рукам. Жителям столицы предписывалось отправляться в Конвент, написав на своих шляпах: «Хлеба и Конституцию!»

Вся ночь на 20 мая прошла в волнениях, криках и угрозах; женщины бегали по улицам, крича о том, что надо идти на Конвент; что Робеспьера убили лишь для того, чтобы занять его место; что депутаты морят голодом народ, потакают торговцам-кровопийцам и умерщвляют патриотов. Они подбадривали друг друга и договаривались идти первыми, потому что, говорили они, войска не посмеют стрелять в женщин.

На следующее утро, 20 мая 1795 года (1 прериала года ш), в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо, в квартале Тампля, на улицах Сен-Дени и Сен-Мартин и в особенности в Сите господствовало страшное смятение. Патриоты звонили во все колокола, били в барабаны и стреляли из пушек. В ту же минуту по приказанию Комитета общественной безопасности ударил набат у павильона Единства и начали собираться секции. Но те, кто участвовал в заговоре, выстроились уже с раннего утра и были вооружены. Сборище, всё увеличиваясь по пути, понемногу двигалось по направлению к Тюильрийскому дворцу. Оно состояло главным образом из толпы женщин, смешанных с пьяными мужчинами и кричавших «Хлеба! Конституцию!»; шаек разбойников, вооруженных пиками, саблями и всякого рода оружием; самой низкой черни; наконец, из нескольких секционных отрядов, вооруженных весьма серьезно. Все шли без

всякого порядка к назначенной цели – к Конвенту. Около десяти часов утра толпа дошла до Тюильри, окружила дворец и заперла все входы и выходы.

Депутаты уже были на своих местах. Члены Горы, не имевшие сношений с мутным комитетом восстания, не были предуведомлены и, подобно своим товарищам, узнали о совершавшемся движении лишь по воплям черни и звуку набата. Они даже тревожились, думая, не поставил ли Комитет общественной безопасности патриотам ловушку и не нарочно ли возмутил их, чтобы иметь случай строго поступить с ними.

Как только собрание сошлось, депутат Изабо прочел манифест мятежников. Трибуны, с раннего утра занятые патриотами, огласились шумными рукоплесканиями. Увидев, кем окружен Конвент, один из депутатов воскликнул, что сумеет умереть на своем посту. Тотчас все депутаты встали, повторяя «Да! Да!». Одна трибуна, на которой публика выглядела лучше, чем на других, начала рукоплескать этому заявлению.

В эту минуту шум снаружи начинает усиливаться. Депутаты сменяют на кафедре один другого и излагают свои соображения. Вдруг на трибуны взбирается группа женщин: они пробиваются через наполнявшую трибуны толпу, опрокидывая и топча мешавших им. Президент Вернье надевает шляпу и приказывает женщинам замолчать, но они продолжают кричать: «Хлеба! Хлеба!» Одни показывают собранию кулаки, другие смеются над его замешательством.

Множество депутатов встают, чтобы говорить, но не могут добиться, чтобы их слушали. Они требуют, чтобы президент заставил уважать Конвент; но ему не удастся восстановить спокойствие. Андре Дюмон, с такой твердостью исправлявший должность президента 12 жерминаля, заменяет Вернье и занимает президентское кресло. Шум продолжается, женщины не перестают кричать. Андре Дюмон объявляет, что велит их вывести: его осыпают ругательствами с одной стороны и рукоплесканиями с другой.

В эту минуту раздаются тяжелые удары в дверь, находящуюся слева от бюро, и шум толпы, старающейся выломать ее. Доски трещат, сыплется штукатурка. Президент обращается к какому-то генералу, появившемуся у решетки с несколькими молодыми людьми, чтобы подать от имени секции Бон-Консей весьма разумную петицию.

«Генерал, – говорит он, – я требую, чтобы вы охраняли национальное представительство, и назначаю вас временным комендантом». Собрание рукоплесканиями утверждает это назначение. Генерал объявляет, что умрет на посту, и выходит, чтобы отправиться на место уже возникшей драки.

В это мгновение шум у двери прекращается и водворяется некоторое спокойствие. Андре Дюмон, обращаясь к трибунам, приглашает всех добрых граждан выйти и объявляет, что в противном случае применит силу, чтобы очистить трибуны. Многие граждане выходят, но женщины остаются и продолжают кричать. Несколько минут спустя генерал возвращается с отрядом стрелков и несколькими молодыми людьми, где-то захватившими хлысты для почтовых лошадей. Они взбираются на трибуны и выгоняют с них женщин, которые бегут, подняв оглушительный крик; часть зрителей в восторге рукоплещет этому зрелищу.

Едва очищены трибуны, как шум у двери слева усиливается. Толпа ломится вновь; дверь наконец уступает и разлетается. Члены Конвента отходят на верхние скамьи; жандармы образуют вокруг них стену. В ту же минуту вооруженные граждане из разных секций вбегают в дверь справа, чтобы выгнать из залы чернь. Сначала они оттесняют людей и хватают нескольких женщин, но скоро толпа одерживает верх и прогоняет их самих.

К счастью, секция Гренель, первой поспешившая на помощь Конвенту, поспевает в это самое время. Во главе ее депутат Оги с саблей в руке. «Вперед!» – командует он. Отряд плотными рядами, со скрещенными штыками, надвигается на толпу, которая отступает при виде оружия, и отталкивает ее, не нанося ран. Одного из мятежников схватывают за ворот, тащат к решетке, обыскивают и находят в карманах хлеб.

Уже два часа. В собрании восстанавливается некоторое спокойствие. Депутаты заявляют, что секция Гренель заслужила признательность отечества. Все послы держав присутствовали при этой сцене, как бы желая разделить с Конвентом опасность. Декретом постановляют упомянуть в бюллетене об их благородном самоотвержении.

Между тем толпа вокруг залы всё увеличивается. Две или три

секции успели прибежать и войти во дворец, но и они не могли сопротивляться постоянно возрастающей массе нападающих. Теперь пришли другие, но они не могут проникнуть в здание, не получали приказа и не знают, как применить оружие. В эту минуту чернь совершает новое усилие, врывается в залу Свободы и добирается до сломанной двери. Опять раздаются крики «К оружию!». Вооруженные люди, находящиеся в зале, спешат к двери. Президент вновь надевает шляпу, собрание остается спокойно.

Происходит столкновение, сражение завязывается перед самой дверью; защитники Конвента скрещивают штыки, нападающие стреляют. Депутаты встают с криками «Да здравствует Республика!». Новые отряды прибегают на помощь нападающим, выстрелы учащаются; толпа идет в штыки, опрокидывает все препятствия и врывается в залу. Один молодой депутат по имени Ферро, исполненный мужества до самозабвения, недавно прибывший из Рейнской армии и уже две недели объезжавший без усталости окрестности Парижа, чтобы поторопить подвоз съестных припасов, бросается навстречу толпе и умоляет ее не идти далее. «Убейте меня! – восклицает он, обнажая грудь. – Вы войдете не иначе как через мой труп!» Ферро ложится на пол, думая этим остановить толпу, но эти бешеные, не слушая его, шагают через него и бросаются к бюро.

Пьяные женщины и мужчины, вооруженные пиками, саблями и ружьями, наполняют залу; одни садятся на нижних скамьях, оставленных депутатами; другие становятся перед бюро или поднимаются по лесенкам, ведущим к президентскому креслу; третьи просто стоят, столпившись. Молодой секционный офицер по имени Мальи, стоявший на ступенях, срывает надпись со шляпы одного из этих людей. В него тотчас же стреляют, и он падает, получив несколько ран. В ту же минуту все штыки и пики направляются против президента. Буасси д'Англа, заменивший Андре Дюмона на посту президента, остается неподвижен и спокоен. Поднявшийся к тому времени Ферро прибегает к подножию кафедры, рвет на себе волосы, бьет себя в грудь и, видя, какой опасности подвергается президент, бросается к нему, чтобы прикрыть и заслонить его собою. Один из людей с пиками хочет удержать его за фалду; какой-то офицер, чтобы высвободить Ферро, изо всех сил ударяет этого человека; тот отвечает

выстрелом из пистолета и попадает Ферро в плечо. Несчастный молодой человек падает; его тащат, топчут ногами, потом выносят из залы и отдают тело на поругание черни.

Буасси д'Англа сохраняет во время этой ужасной сцены невозмутимое спокойствие, а штыки и пики всё еще окружают его голову. Тогда в зале начинается нечто безобразное: каждый хочет говорить и кричит тщетно, потому что никто никого не желает слышать. Барабанным боем стараются восстановить спокойствие; но толпа, забавляясь этим хаосом, горланит, топает и выходит из себя от восторга при виде жалкого состояния, до которого она довела державное собрание.

Не так совершился переворот 31 мая, когда революционная партия, имея во главе своей коммуны, главный штаб секций, большое число депутатов, принимавших и передававших распоряжения вождей, окружила Конвент безмолвною толпою и с наружным достоинством заставила его издать требуемые декреты. Здесь не было возможности ни заставить слушать себя, ни даже получить хотя бы кажущееся одобрение.

Один канонир, окруженный стрелками, взбирается на кафедру, чтобы зачитать план восстания. Чтение ежеминутно прерывается криками, руганью, барабанным боем.

Какой-то человек хочет сказать толпе речь.

— Друзья мои, — говорит он, — мы все здесь ради одного и того же дела. Опасность не терпит отсрочки, нужны декреты. Так дайте же вашим представителям возможность издать их!

— Долой! Долой! — кричат ему со всех сторон вместо ответа.

Депутат Рюль, старец почтенной наружности и ревностный монтаньяр, тоже хочет сказать несколько слов со своего места, чтобы добиться молчания, но его прерывают новыми криками. Ромм, человек суровый, чуждавшийся этого восстания, как и вся Гора, но желавший, чтобы меры, требуемые народом, были приняты, с прискорбием видит, что и этот ужасный сумбур останется без всяких результатов, а потому просит слова. Депутат Дюруа тоже просит слова по той же причине, но ни тот ни другой не добиваются его.

Во время этой сцены в залу вносят голову на штыке. Депутаты смотрят на нее в ужасе и не узнают ее. Одни говорят что это — голова

Ферро, другие – Фрерона. Это действительно голова Ферро, которую разбойники отрубили и посадили на штык. Они носят ее по зале среди воплей толпы. Опять усиливается ярость против Буасси д’Англа, голову его опять окружают штыками, целятся в него из ружей – смерть грозит ему с тысячи сторон.

Бьет семь часов вечера. Собрание объято страхом. Депутаты боятся, что эта толпа, в которой много злодеев, дойдет до последней крайности и перережет представителей народа, когда стемнеет и наступит ночь. Несколько членов центра упрашивают монтаньяров уговорить толпу разойтись. Вернье пытается сказать мятежникам, что уже поздно и чтобы они уходили, потому что если расстроится подвоз, народ останется без хлеба. «Это такая тактика, – отвечает толпа, – вот уже три месяца, как вы нам это говорите!» Из толпы возвышаются несколько голосов. Один требует освобождения патриотов и арестованных депутатов, другой – конституции, третий – ареста всех эмигрантов; затем уже множество голосов требуют постоянных заседаний в секциях, восстановления коммуны, обысков в домах для розыска утаиваемых съестных припасов и так далее. Одному из этих людей удастся улучшить минуту, когда его могут расслышать, и он требует, чтобы Конвент немедленно назначил начальника парижской вооруженной силы, а именно – Субрани. Наконец еще один, уже не зная, чего требовать, кричит: «Арестовать негодяев и подлецов!» – и повторяет эти слова в течение целого получаса.

Один из зачинщиков, осознав, наконец, необходимость решить хоть что-нибудь, предлагает заставить депутатов сойти с верхних скамеек, собраться посередине залы и приступить к прениям. Это предложение немедленно принимается: депутатов сталкивают с их мест, принуждают спуститься, сгоняют, как стадо, на открытое пространство, отделяющее кафедру от нижних скамеек. Их окружают, запирая цепью из пик. Вернье сменяет в президентском кресле Буасси д’Англа, до смерти утомленного шестичасовым и столь опасным дежурством.

На часах уже девять вечера. Начинается нечто вроде прений; договариваются, что народ останется в шляпах и депутаты одни будут приподнимать шляпы в знак одобрения или неодобрения. Монтаньяры хотят надеяться, что можно будет издать декреты, и собираются выступать. Ромм, раз уже начавший говорить, требует декрета об

освобождении задержанных патриотов. Дюруа говорит, что с 9 термидора враги отечества учиняют пагубную реакцию, а депутаты, арестованные 12 жерминаля, арестованы незаконно и следует освободить их.

Президента заставляют подвергнуть все эти предложения голосованию; шляпы поднимаются, крики «Принято!» раздаются среди оглушительного шума, так что невозможно разобрать, действительно ли депутаты подали свои голоса. Гужон следует за Роммом и Дюруа и говорит, что надо обеспечить исполнение декретов; что комитетов всё еще нет; что необходимо знать, что они делают, а потому надо призвать их, потребовать отчета в их действиях и заменить чрезвычайной комиссией. Дюкенуа возвращается к предложению Гужона, требует приостановить деятельность комитетов и назначить чрезвычайную комиссию из четырех членов. Тут же назначаются Бурботт, Приёр, депутат Марны, Дюруа и сам Дюкенуа. Эти четыре депутата принимают вверенные им обязанности, заявляют, что в случае необходимости сумеют умереть на своем посту, и выходят, чтобы отправиться к комитетам и отобрать у них власть. В этом заключалась самая трудная задача, и успех всего дня зависел от результата этой операции.

Было десять часов, и ни комитет восстания, ни правительственные комитеты, по-видимому, ничего не делали весь этот долгий, ужасный день. Всё, что сумел сделать комитет восстания, – это натравить народ на Конвент; но, как мы уже говорили, безвестные вожди, какие остаются у каждой партии в последние дни ее существования, не могли управлять восстанием с энергией и чувством меры, необходимыми для успеха. Они спустили на Конвент бешеную толпу, учинившую страшные безобразия, но не сделавшую ничего из того, что надлежало сделать. Не послали ни одного отряда, чтобы приостановить или парализовать действия комитетов, раскрыть тюрьмы, освободить людей, содействие которых было бы столь драгоценно. Толпа только завладела арсеналом, который жандармы тут же отдали первым явившимся мятежникам.

Тем временем правительственные комитеты, напротив, окруженные и защищаемые золотой молодежью, приложили все усилия, чтобы собрать секции. Это было нелегко при страшной сумятице и страхе, овладевшем многими. Сначала собрались две-три секции,

которым, как мы видели, мятежники дали решительный отпор. Потом, благодаря усердию секции Лепелетье, удалось кое-как созвать большее число парижан, и уже к ночи секции собирались воспользоваться минутой, когда народ, утомившись, начнет убывать, чтобы напасть на мятежников и освободить Конвент. Предвидя, что столь долгое подавление вынудило Конвент подписать декреты, которых он не хотел издавать, секции заранее заготовили постановление, которым не признавали действительными декреты, изданные на протяжении этого дня.

Сделав эти распоряжения, Лежандр, Оги, Шенье, Делеклуа, Бергуэн и Кервелеган отправились в Конвент во главе многочисленных отрядов. Они условились, что, когда придут туда, оставят двери отворенными, чтобы народ, теснимый с одной стороны, мог выходить в другую дверь. Лежандр и Делеклуа затем вызвались пройти в залу, взойти на кафедру, невзирая ни на какие опасности, и приказать мятежникам выйти. «Если нам не повинуются, – сказали они своим товарищам, – нападайте на них и о нас не беспокойтесь. Хотя бы мы погибли в схватке, вы идите вперед».

Лежандр и Делеклуа действительно входят в залу в ту самую минуту, когда четыре депутата, назначенные членами чрезвычайной комиссии, собираются выйти. Лежандр всходит на кафедру, не обращая внимания на ругательства, толчки и побои, и начинает говорить среди злобных криков:

– Приглашаю собрание оставаться твердым, а находящихся здесь граждан – выйти.

– Долой! Долой! – кричат ему.

Лежандр и Делеклуа вынуждены удалиться. Тогда Дюкенуа обращается к своим товарищам, членам чрезвычайной комиссии, и приглашает их следовать за ним, чтобы приостановить деятельность комитетов, враждебно относящихся к действиям собрания. Субрани тоже советует им спешить. Все четверо выходят, но их встречает отряд, во главе которого идут депутаты Лежандр, Оги и Кервелеган и начальник национальной гвардии Раффе. Приёр, депутат Марны, спрашивает у Раффе, получил ли он от президента приказание войти. «Я не обязан тебе отчитываться!» – отвечает ему тот и идет дальше.

Толпе приказывают удалиться, президент приглашает людей

повиноваться во имя закона: толпа отвечает презрительными криками. Тогда отряды склоняют штыки и входят. Безоружная толпа подается, вооруженные люди начинают сопротивляться, но их отталкивают, и они бегут с криком «Сюда, к нам, санкюлоты!». Часть патриотов возвращается на этот крик и свирепо накидывается на отряд. На какое-то время они одерживают верх; депутат Кервелеган ранен в руку; монтаньяры Бур-ботт и Гастон кричат: «Победа!» Но тяжелые и быстрые шаги раздаются в соседней зале; подходит значительное подкрепление, оттесняет мятежников саблями, преследует их штыками. Мятежники бегут, теснятся в дверях или влезает на трибуны и спасаются через окна. Наконец зала пуста. Часы бьют полночь.

Конвент, избавившись от черни, тратит несколько минут на то, чтобы опомниться и оправиться. Наконец опять водворяется тишина.

– Итак, – восклицает один из депутатов, – это собрание, колыбель Республики, еще раз чуть не сделалось ее гробом! К счастью, злодеяние и на этот раз не удалось заговорщикам. Но, представители, вы будете недостойны нации, если не отомстите за нее самым убедительным образом.

Со всех сторон раздаются рукоплескания, и, как после 12 жерминаля, ночь проходит в обсуждении наказаний за совершенное днем. Несравненно более преступные действия требуют гораздо более строгих мер.

Первым делом Конвент отменяет все декреты, предложенные мятежниками и изданные под их давлением.

– Отменить – это не то слово, – говорит Лежандр, первым предложивший эту меру. – Голосования не было и не могло быть, пока резали одного из членов Конвента. Всё, что было сделано, – сделано не им, а угнетавшими его разбойниками и несколькими преступными депутатами, которые стали их сообщниками. Поэтому Конвент заявляет, что всё, что происходило в этот день, должно считаться недействительным.

Секретари сжигают черновики декретов, предложенных мятежниками. Потом большинство ищет глазами депутатов, выступавших на этом ужасном заседании, показывает на них пальцами, обращается к ним с запальчивыми речами.

– Нет более надежды, – восклицает Тибодо, – на примирение

между нами и крамольным меньшинством! Если уж меч обнажен, то нужно сразиться и воспользоваться обстоятельствами, чтобы вернуть мир и безопасность в недра этого собрания. Я требую, чтобы вы немедленно издали декрет об аресте тех депутатов, которые, изменяя своему долгу, захотели исполнить желания мятежников. Я требую, чтобы комитеты немедленно предложили строжайшие меры против этих представителей, оказавшихся неверными своему отечеству и своим клятвам.

Их называют по имени: это Рюль, Ромм и Дюруа, требовавшие молчания, чтобы открыть прения; Альбитт, требовавший составления бюро; Гужон и Дюкенау, требовавшие приостановления деятельности комитетов и снаряжения чрезвычайной комиссии из четырех человек; Бурботт и Приёр, депутат Марны, принявшие звание членов этой комиссии вместе с Дюруа и Дюкенау; Субрани, назначенный мятежниками начальником парижской армии; Пейссар, кричавший «Победа!» во время свалки. Дюруа и Гужон хотят говорить; им не дают, обзывают убийцами, немедленно постановляют декретом арестовать их и требуют, чтобы у них была отнята возможность бежать, как это сделало большинство депутатов, обвиненных после 12 жерминаля. По приказу президента обвиненных депутатов окружают жандармами, которые отводят их к решетке. Ромма находят не сразу; Бурдон указывает на него; его уводят к решетке так же, как и его товарищей.

Мщение на этом не останавливается; оно добирается и до всех монтаньяров, отличившихся в командировках по департаментам.

– Я требую, – раздается чей-то голос, – чтобы был арестован Лекарпантье, палач департамента Манш.

– И Пине-старший, – восклицает другой голос, – палач жителей Бискайи.

– И Бори, – добавляет кто-то, – опустошитель Юга, и Файо, один из истребителей Вандеи.

Эти предложения принимаются немедленно.

– Не надо больше полумер, – говорит Тальен. – Целью сегодняшнего мятежа было восстановление якобинцев и в особенности коммуны; нужно уничтожить всё, что от них осталось; нужно арестовать Паша, Бушотта. Это только прелюдия к мерам, которые вам предложил комитет. Отмстим, граждане, убийцам своих товарищей и

национального представительства! Воспользуемся немощью этих людей, воображающих себя равными тем, кто низверг престол, и стремящихся соперничать с ними; этих людей, умеющих только устраивать бунты. Поспешим сразить их и положим этим конец хаосу и революции.

Предложение Тальена принимается с рукоплесканиями. В этом увлечении мщением находятся голоса, которые обвиняют Робера Ленде, хотя его добродетели и заслуги до сих пор служили ему защитой против ярости реакции. Легарди требует ареста этого изверга, но столько голосов возвышаются в его пользу, что по этому предложению Конвент переходит к очередным делам.

Вслед за этими мерами Конвент снова постановляет отнять оружие у сторонников террора и решает, что в следующее воскресенье, секции соберутся и немедленно приступят к разоружению убийц, кровопийц, воров и агентов тирании, предшествовавшей 9 термидора. Депутаты даже уполномочивают секции арестовать тех, кого они сочтут нужным предать суду. Затем постановляется, что женщины, впредь до нового распоряжения, не будут допускаться на трибуны.

Наступает три часа утра. Комитеты уведомляют, что в Париже всё спокойно, и заседание прерывается до десяти часов.

Таков был мятеж 1 прериала. Ни один день во всю революцию не представлял такого страшного зрелища. Если 9 термидора пушки были обращены против Конвента, то всё же не случилось вторжения в самую залу заседаний, зала не была окровавлена сражением, осквернена убиением представителя народа, стены ее не испещрялись пулями. Революционеры на этот раз действовали с неистовством партии, давно разбитой, не имеющей никого в числе членов правительства, лишенной своих вождей и управляемой скомпрометированными, отчаянными людьми. Они не сумели заручиться содействием Горы, даже не предупредили ее о предстоящем движении и только скомпрометировали и обрекли на эшафот честных депутатов, чуждых излишеств террора, присоединившихся к патриотам, потому что они испугались реакции, заговоривших только для того, чтобы предотвратить еще большие беды и способствовать исполнению некоторых пожеланий народа, которые они разделяли.

Между тем мятежники, видя, какая участь их всех ожидает, но привыкшие к революционной борьбе, были не такими людьми, чтобы вдруг разойтись. Они собрались на следующий день в здании коммуны, объявили непрерывное восстание, призвали к себе преданные секции. Находя, однако, что коммуна представляет собой неудобный пост, хотя помещается между Тамплем и Сите, они предпочли назначить центр восстания в предместье Сент-Антуан, перешли туда среди белого дня и приготовились к возобновлению вчерашних попыток.

На этот раз мятежники собирались действовать с большим порядком и умеренностью. Они отправили три отряда, отлично вооруженных и организованных: то были отряды секций Кенз-Вен, Монтрейль и Попинкур; все три состоявшие из дюжих рабочих и предводительствуемые бесстрашными вождями. Эти отряды пошли одни, без стечения народа, повстречали секции, оставшиеся верными Конвенту, которые, однако, не были настолько сильны, чтобы остановить их, и после полудня расположились с пушками перед дворцом.

Секции Лепелетье, Бют-де-Мулен и другие тотчас выстроились против них – защищать Конвент. Однако если бы дело дошло до сражения, сомнительно было, судя по настоящему положению дел, чтобы победа осталась за защитниками Конвента. В довершение беды канониры, которые во всех секциях набирались из рабочих и все были пламенными революционерами, бросили секции, защищавшие Конвент, и перешли со своими пушками к канонирам враждебных секций.

Раздался крик «К оружию!», обе стороны зарядили ружья, все, по видимому, готовились к кровопролитному бою. Глухой раскат колес перевозимых пушек был слышен в самой зале собрания. Многие депутаты встали, желая говорить. «Представители! – воскликнул Лежандр. – Будьте спокойны и оставайтесь на вашем посту. Природа всех нас приговорила к смерти; немногим раньше, немногим позже, не всё ли равно! Много добрых граждан готовы защищать вас. А пока лучшее, что мы можем сделать, – это молчать».

Всё собрание расселось по местам и опять облеклось тем величественным спокойствием, которое оно обнаружило 9 термидора и при других случаях этой бурной сессии. Между тем враждебные отряды занимали друг против друга самое угрожающее положение. Прежде чем

началось сражение, несколько человек воскликнули, что ужасно вот так нападать друг на друга, что надо же хоть объясниться и постараться поладить. Тогда многие вышли из рядов и изложили свои жалобы. Некоторые бывшие тут члены комитетов подошли к враждебным отрядам, заговорили с людьми. Они нашли, что многое можно устроить примирительным путем и послали в собрание просить, чтобы двенадцать депутатов вышли брататься с народом.

Собранию не очень хотелось соглашаться на этот шаг, видя в подобной уступке чуть ли не малодушное заискивание, однако депутаты сдались на уговоры посланцев от комитетов, уверявших, что комитеты считают эту идею полезной в виду предотвращения кровопролития. Двенадцать депутатов были назначены и вышли представиться трем враждебным секциям. Скоро с обеих сторон ряды поределели, люди смешались. Человек неразвитый, из низших классов, всегда чувствителен к дружеским заявлениям человека, которого его костюм, манеры и язык ставят выше него. Солдаты трех враждебных отрядов были тронуты и объявили, что не желают ни проливать крови своих сограждан, ни оказывать непочтения национальному представительству. Однако зачинщики мятежа настаивали, чтобы их петицию выслушали. Генерал Дюбуа, начальник секционной кавалерии, и двенадцать депутатов согласились ввести представителей трех отрядов.

Их действительно ввели и просили собрание дать им слово. Некоторые депутаты хотели отказать, однако большинство согласилось разрешить им говорить. «Нам поручено, – сказал оратор депутации, – просить вас о Конституции 93 года и об освобождении патриотов». При этих словах с трибун раздались крики «Долой якобинцев!». Президент приказал не прерывать оратора, тот продолжал и сказал, что граждане, собравшиеся перед Конвентом, готовы удалиться, но скорее умрут, чем покинут свой пост, если Конвент не внемлет требованиям народа. Президент с твердостью ответил просителям, что Конвент только сейчас издал декрет о продовольствии и что он сам прочтет его им. Он прочел декрет, присовокупил, что Конвент рассмотрит предложения посланников народа, а затем пригласил их присутствовать на заседании в качестве почетных гостей.

В это время три враждебных секции всё еще были перемешаны друг с другом. Им сказали, что просители приняты, их предложения

будут рассмотрены и нужно ждать решения Конвента. Пробыло одиннадцать часов вечера. Час был поздний, особенно для рабочих, – и они решили удалиться в свои предместья.

Итак, эта вторая попытка удалась патриотам не лучше первой, но они все-таки не расходились, сохраняли в предместьях враждебный настрой и не отступали от своих требований. Конвент утром издал несколько декретов, которых требовали обстоятельства. Ради большего единства и энергии в действиях он вверил управление вооруженной силой трем депутатам – Жилле, Обри и Дельма – и уполномочил их по необходимости прибегать к оружию, для обеспечения общественного спокойствия. Объявили шестимесячное тюремное заключение всякому, кто станет бить в барабан без приказа свыше. Повелели снарядить военную комиссию для суда и немедленной казни всех пленников, взятых 1 прериаля. Превратили в декрет о предании суду декрет об аресте Дюкенуа, Дюруа, Бурботта, Приёра, депутата Марны, Ромма, Субрани, Гужона, Альбитта, Пейссара, Лекарпантье, Бори и Файо.

Жилле, Обри и Дельма поспешили собрать в Париже войска, разосланные по окрестностям для охраны подвозов. Они оставили оружие секциям, преданным Конвенту, и окружили себя золотой молодежью, которая не отходила от комитетов во всё время восстания. Военная комиссия в тот же день вступила в свои права. Первым, кого она судила, был убийца Ферро, арестованный накануне. Его приговорили к смерти и приказали казнить в тот же день, 22 мая (3 прериаля). Его повезли на место казни, но патриоты были уже извещены: отряд из самых решительных бойцов уже окружил эшафот. Они разогнали жандармов, освободили осужденного, увезли его в предместье Сент-Антуан и, приготовившись укрепиться, призвали к себе всех патриотов, бывших в Париже. Мятежники вооружились, направили свои пушки против площади Бастилии и в этом положении ждали последствий своего дерзкого шага.

Как только Конвент узнал об этом происшествии, декретом постановили, что предместью Сент-Антуан приказывают выдать осужденного и сдать свои пушки и оружие, а в случае отказа оно подвергнется бомбардированию. Стянув в столицу войска, Конвент мог говорить более повелительным тоном. Депутаты успели собрать от трех

до четырех тысяч линейных войск; они располагали двадцатью с лишним тысячами секционных войск, которым страх возврата террора придавал большую храбрость, и, наконец, преданной молодежью. Они тотчас же вверили генералу Мену руководство этими силами и приготовились идти против непокорного предместья.

В тот же день, 23 мая (4 прериаля), пока выступали представители, золотой молодежи захотелось щегольнуть отвагой, и молодые люди первыми двинулись к предместью Сент-Антуан. Этот смелый отряд состоял из тысячи или тысячи двухсот человек. Патриоты дали им зайти глубоко в предместье, не сопротивляясь, а потом окружили их со всех сторон. Скоро молодые люди увидели за собой грозные народные полчища; в окнах они увидели множество раздраженных женщин, готовых засыпать их градом камней, и уже думали, что дорого поплатятся за свою неосторожность.

К счастью для них, войска уже приближались. Притом жители предместья не имели намерения убивать молодых храбрецов: они выпустили их из квартала, нескольких, однако, жестоко поколотив. В это время подошел генерал Мену с двадцатью тысячами человек; он занял все выходы из предместья и в особенности те, которые служили сообщением с секциями, преданными патриотам. Он наставил пушки и велел вызвать мятежников. Явилась депутация и выслушала его ультиматум, заключавшийся в требовании сдать оружие и выдать убийцу Ферро. Мануфактурщики и все богатые жители предместья, опасаясь бомбардировки, поспешили уговорить три непокорных секции сдать оружие. Они сдали пушки и обещали разыскать преступника, который скрылся. Торжествующий генерал Мену увез орудия, и с этой минуты Конвенту уже не нужно было опасаться партии патриотов.

Военная комиссия немедленно начала судить всех, кого удалось захватить. Приговорили к смерти нескольких жандармов, перешедших на сторону мятежников, нескольких рабочих, торговцев, бывших членов революционных комитетов, накрытых на месте преступления 1 прериаля. Во всех секциях начали обезоруживать патриотов и арестовывать лиц, наиболее отличившихся в последних событиях, и так как одного дня на эту операцию не хватило, секциям разрешили заседать постоянно, чтобы довести дело до конца.

Но не в одном Париже отчаяние патриотов доходило до подобных взрывов. В южных департаментах оно обнаруживалось не менее прискорбными событиями. Мы видели выше, что в Тулоне собрались семь или восемь тысяч патриотов; они несколько раз окружали депутатов, вырывали у них арестантов, обвиняемых в эмиграции, и старались увлечь своим примером рабочих арсенала, гарнизон и экипажи кораблей. Они выбрали для своих действий приблизительно то же время, что и парижские патриоты. Депутат Шарбонье, отпросившийся в отпуск, обвинялся в том, что тайно управлял ими.

Они взбунтовались 14 мая (23 флореаля), пошли на Сулье, захватили пятнадцать арестованных эмигрантов, триумфально возвратились в Тулон, однако согласились отдать их депутатам. Но в последующие дни они опять бунтовали, подняли и рабочих арсенала, завладели находившимся в нем оружием и окружили представителя Брюнеля, думая получить у него приказ об освобождении патриотов. Депутат Нион, в это время отсутствовавший, поспешил в город, но мятежники победили, и депутатам пришлось подписать приказ. Брюнель в отчаянии пустил себе пулю в лоб, а Нион бежал.

Тогда бунтовщики вздумали идти на Марсель, чтобы поднять на ноги весь Юг. Но комиссары в Марселе поставили на дороге отряд артиллерии и приняли все предосторожности, чтобы помешать исполнению этого намерения. Первого прериала мятежники были полными хозяевами в Тулоне, хотя и не могли забраться дальше, и старались привлечь на свою сторону экипажи эскадры: часть матросов не поддавалась, а другая, провансальцы, по-видимому, решила присоединиться к ним.

Конвенту был сделан доклад об этих событиях. Этот доклад не мог не вызвать нового порыва ярости против монтаньяров и патриотов. Стали говорить, что между Парижем и Тулоном существовали тайные сношения; членов Горы обвинили в том, будто они тайно организовали и это восстание. Тотчас же вышел декрет об аресте Шарбонье, Эскудье, Рикора и Саличетти, обвиненных в активной агитации. Против депутатов, преданных суду после 1 прериала, для которых еще не были выбраны судьи, строгость удвоилась. Без всякого внимания к их званию представителей народа, их передали военной комиссии, снаряженной

для суда над зачинщиками и сообщниками восстания. Исключение было сделано лишь в пользу старика Рюля, разумность и добродетели которого были засвидетельствованы множеством депутатов.

Суду департамента Эры и Луары были преданы бывший мэр Паш, его зять Одуэн, бывший министр Бушотт с товарищами Добиньи и Гассенфратцем; наконец, три главных агента робеспьеровой полиции, Герои, Маршан и Клемане.

Казалось бы, приговор, произнесенный против Бийо, Колло и Барера должен был иметь силу окончательно решенного дела: ничуть не бывало. В новом припадке строгости ссылка показалась слишком мягким наказанием; было решено снова судить их, чтобы подвергнуть смертной казни, на которую обрекались все вожди Революции.

Остальные члены прежних комитетов до сих пор казались пощаженными: блестящие заслуги, по-видимому, служили им защитой. Но теперь жирондист Анри Ларивьер напал на них с крайним озлоблением. Даже Робер Ленде, хотя его защищало множество депутатов, подвергся аресту. «Карно организовал победу!» – раздалось множество голосов – и бешеные не посмели тронуть победителя коалиции. О Приёре, депутате Кот-д'Ора, речи не было вовсе.

Что касается членов прежнего Комитета общественной безопасности, еще остававшихся на свободе, их всех арестовали. Давид, пощаженный до сих пор за талант, разделил эту участь с Жато, Эли Лакостом, Лавиконтери, Дюбарраном и Бернаром де Сентом. Исключение было сделано только в пользу Луи, депутата Нижнего Рейна, гуманность которого была слишком хорошо известна.

Наконец Конвент потребовал немедленного доклада против бывших так называемых проконсулов. Предполагалось последовательно перебрать всех комиссаров, бывавших в какой-либо командировке.

Итак, не было пощады никому из членов правительства, спасшего Францию! Пощадили только Карно, потому что армии его слишком уважали. Уж конечно не было надобности в таких жертвах, чтобы почтить память юного Ферро. Достаточно было возданных ему трогательных почестей. Конвент постановил посвятить его памяти особое заседание. Зала была убрана черным. Все депутаты явились в парадных костюмах и в трауре. Тихая, печальная музыка открыла заседание. Луве произнес похвальное слово молодому депутату,

преданному, мужественному, столь рано похищенному у отечества. Собрание постановило увековечить его геройство памятником. Депутаты воспользовались этим случаем, чтобы учредить торжество в память жирондистов. Ничто не могло быть справедливее, такие славные жертвы всегда достойны поклонения. Но достаточно было осыпать их могилы цветами – не нужно было крови. Однако же кровь полилась ручьями: никакая партия, даже та, что избирает гуманность своим девизом, не бывает разумна в мщении. Точно Конвент находил, что еще не довольно претерпел потерь, и сам хотел прибавить к ним еще новые!

Обвиненные депутаты, сначала переведенные в замок дю Таро, чтобы предотвратить всякую попытку спасти их, были привезены в Париж, и процесс их велся с величайшей энергией. Старик Рюль не захотел принять помилования и, считая свободу погибшей, заколол себя кинжалом. Взволнованные, опечаленные столькими трагическими происшествиями Луве, Лежандр и Фрерон просили о предоставлении дела депутатов обыкновенным судам, а не военной комиссии. Но Ровер и Бурдон, депутат Уазы, непримиримый, как любой трусящий человек, настояли на исполнении декрета.

Депутаты явились перед комиссией 17 июня (29 прериаля). Несмотря на самые тщательные розыски, не было открыто ни одного факта, доказывающего их тайное соучастие в мятеже. Да и трудно было бы открыть такие факты, потому что депутаты эти не знали о готовившемся мятеже. Они даже не были знакомы между собою. Один только Бурботт знал Гужона, потому что встречал его, когда тот был комиссаром. Сумели доказать только то, что, когда восстание состоялось, они хотели придать законную форму некоторым из желаний народа. Однако все обвиняемые были осуждены, потому что военная комиссия не умеет отпускать обвиняемых оправданными.

Оправдан был один только Форестье: его присоединили к остальным, хотя он не сказал ни одного слова во всё время достопамятного заседания. Пейссар, который только крикнул «Победа!» во время схватки, был приговорен к ссылке. Ромм, Гужон, Дюкенуа, Дюруа, Бурботт, Субрани были приговорены к смерти. Ромм был человеком простым и суровым; Гужон был молод, хорош собою и одарен прекрасными качествами; Бурботт, такой же молодой, как

Гужон, соединял с редким мужеством отличное образование; Субрани был дворянином, искренне преданным делу Революции.

Когда над ними произнесли приговор, они отдали секретарю суда письма, печати и портреты для передачи их семьям. Затем их вывели, чтобы запереть в особую залу до минуты казни. Несчастные дали друг другу слово не дойти живыми до этой залы. У них имелись пара ножниц и нож, спрятанные между платьем и подкладкой. Спускаясь с лестницы, Ромм первым наносит себе удар и, чтобы дело было вернее, повторяет несколько раз – в сердце, в шею и в лицо. Он передает нож Гужону, который твердой рукой наносит себе смертельный удар и тут же падает мертвым. Из рук Гужона спасительное оружие переходит в руки Дюкенау, Дюруа, Бурботта, Субрани.

Последним трем, к несчастью, не удастся нанести себе смертельные раны; их окровавленными волокут на эшафот. Субрани, обливаясь кровью, однако до конца сохраняет, несмотря на свои страдания, спокойствие и гордую осанку, которыми отличался всегда. Дюруа впадает в отчаяние от того, что промахнулся. «Наслаждайтесь, – повторяет он, – наслаждайтесь вашим торжеством, господа роялисты!» Бурботт сохраняет полное спокойствие и ясность ума; он невозмутимо заговаривает с народом. В ту минуту, когда до него доходит очередь, замечают, что нож гильотины не поднят вверх; надо привести инструмент в порядок. Бурботт пользуется этими мгновениями, чтобы сказать еще несколько слов. Он уверяет, что никто не умирал с большей преданностью отечеству, большей любовью к его благу и свободе.

При этой казни присутствовало не много зрителей. Время политического фанатизма прошло; уже не было той ярости, которая прежде притупляла всякое чувство. Все сердца возмутились подробностями казни, и на термидорианцев она легла заслуженным позором. Так, в этом длинном ряду противоположных идей каждая получала свои жертвы – даже идеи милосердия, гуманности и примирения: очевидно, в революциях ни одна идея не может остаться не запятнанной кровью.

Партия Горы теперь была вконец разбита. Патриоты в это же время были побеждены в Тулоне. После весьма кровопролитного сражения на дороге в Марсель они сдали свое оружие и город, на который рассчитывали как на верную опору, думая поднять всю Францию. Стало

быть, они уже не составляли препятствия и, как это бывает обычно, их падение повлекло за собой падение еще нескольких революционных учреждений. Знаменитый Революционный трибунал, почти обращенный в простой суд законом 8 нивоза, был окончательно упразднен. Все подсудимые, кроме заговорщиков, были переданы уголовным судам, судившим по процедуре 1791 года. Самое слово «революционный» в применении к учреждениям и заведениям было устранено.

Национальные гвардии были преобразованы на прежних основаниях: рабочие, слуги, граждане в стесненных обстоятельствах – словом, народ – были из них исключены, и заботу об общественном спокойствии снова вверили сословию, более всех заинтересованному в его сохранении. В Париже гвардия, разделенная на батальоны и бригады, и управляемая поочередно бригадными командирами, была отдана в полное распоряжение военного комитета.

Наконец католики дождались исполнения главного своего желания: им возвратили церкви, хоть и с условием, чтобы их содержали на свой счет. Впрочем, эту меру поддерживали самые разумные люди, считая ее способной успокоить католиков, которые никогда не признали бы, что пользуются свободой вероисповедания, пока не получили бы право отправлять свой обряд в предназначенных для этого старинных зданиях.

Прения о финансах, вновь прерванные прериальскими событиями, всё еще оставались первыми на очереди и самыми трудными. Собрание снова принялось за них, как только восстановилось спокойствие. Депутаты снова постановили декретом печь только один сорт хлеба, чтобы лишить народ повода завидовать роскоши богатых. Приказали сделать опись собранного зерна, чтобы излишек от каждого департамента употребить на прокорм армий и больших общин. Наконец, отменили декрет, позволявший свободную торговлю серебром и золотом.

Так неумолимые обстоятельства принудили собрание вернуться к некоторым из тех самых мер, на которые оно с такой яростью набрасывалось. Биржевая игра достигла последней степени исступления. Не было более булочников, мясников и галантерейщиков: каждый покупал и перепродавал мясо, хлеб, пряности, оливковое масло и т. д. Подвалы и чердаки были набиты товарами и съестными

припасами, которыми спекулировали все. Жатвы скупались на корню, скот покупался на месте – всё для того, чтобы нажиться на повышении цен.

Конвент запретил мелочным торговцам являться на рынки ранее известного часа. Он вынужден был издать декрет о том, чтобы одни только мясники могли покупать скот и чтобы жатвы не продавались до сбора. Словом, всё перевернулось вверх дном: люди, обыкновенно даже самые далекие от торговых спекуляций, теперь только и стерегли каждое изменение в курсе ассигнаций, чтобы поживиться разницей в цене.

Мы видели выше, что Конвент двум проектам по ассигнациям предпочел третий, заключавшийся в том, чтобы продавать национальные имущества не с аукциона, а просто за тройную цену. Как только вышел новый закон, желающих явилось чрезвычайное множество. Как только стало известно, что достаточно явиться первому, чтобы получить владение, покупатели посыпались со всех сторон. На некоторые владения было подано до нескольких сотен заявлений; в Шарантоне оказалось триста шестьдесят желающих купить имение, принадлежавшее Отцам милосердия^[23], на другое владение явилось до пятисот желающих. Простые приказчики, люди без состояния, но получившие внезапно значительные суммы ассигнациями, спешили подать заявление о своем желании купить какое-нибудь владение. Так как сразу платить следовало только шестую часть цены, а остальное можно было доплатить через несколько месяцев, то за ничтожные суммы покупали большие имения, которые потом перепродавали другим, не поспевшим вовремя.

Стало быть, план Бурдона, депутата Уазы, увенчался полнейшим успехом и позволял надеяться, что большая часть имуществ скоро будет распродана и можно будет изъять ассигнации из обращения или они поднимутся в цене. Оценка 1790 года во многих случаях была не очень верна. Владения духовенства, и в особенности Мальтийского ордена, были отданы в аренду за ничтожную плату; арендаторы доплачивали остальную цену взятками управляющим, и эти взятки нередко равнялись сумме вчетверо большей, чем арендная плата. По этому расчету терялось, конечно, много; но надо было покориться или,

пожалуй, уменьшить потерю, назначив цену вчетверо, а не втрое большую против оценки 1790 года.

Ревбель и множество депутатов этого не понимали; они видели только явную потерю и стали говорить, что так нельзя проматывать собственность Республики; что этим ее лишают последних средств. Со всех сторон поднялся крик. Те, кто не понимал вопроса, и те, кто с прискорбием смотрел, как распродавалось имущество эмигрантов, соединили свое усилия, чтобы добиться хотя бы временной отмены декрета. Баллан и Бурдон, депутат Уазы, с жаром защищали его, но не сумели привести главного довода в его пользу: не напомнили, что не следует требовать больше того, что покупатели в состоянии заплатить. Они только отметили, что денежная потеря, в сущности, не так велика, как кажется, а вознаграждается немедленным прекращением финансового кризиса и возможностью поднять курс ассигнаций, прекратить биржевую игру, наконец, немедленно передать все национальные имущества частной промышленности и отнять всякую надежду у эмигрантов.

Но декрет все-таки был временно отменен. Конвент предписал местным администрациям продолжать принимать заявления, чтобы все национальные имущества стали известны и можно было составить более точный список. Несколько дней спустя декрет был отменен окончательно, и решили, что владения будут продаваться по-прежнему с публичных торгов.

Так средство к прекращению кризиса было найдено, испытано и – брошено; и опять страна впала в бедственное положение, из которого могла бы выйти. Однако, хоть и не делалось ничего для поднятия курса ассигнаций, но нельзя было упорствовать в ужасной лжи – номинальной ценности, разорявшей и Республику, и ее жителей. Следовало возвратиться к часто повторяемому предложению – уменьшить ценность ассигнаций. Принялись искать другое мерило – не деньги, не хлеб и не время. Выбор пал на количество выпусков. В принципе верно, что, соразмерно увеличению выпускаемого в обращение количества денег, увеличивается и цена на все товары. Конвент установил постепенный масштаб, начиная с того времени, когда было в обращении только на 2 миллиарда ассигнаций: при всякой уплате ассигнациями платящий должен добавлять одну четверть сверх первоначальной

суммы на каждые 500 миллионов, прибавившиеся в обращении. Так, если следовало платить 2 тысячи франков по условию, заключенному, когда в обращении находилось 2 миллиарда, то следовало платить 2500, когда в обращении оказалось уже 2 миллиарда 500 миллионов; 3 тысячи – когда стало 3 миллиарда и т. д. И теперь, наконец, когда в обращении было 10 миллиардов, приходилось платить вместо 2 тысяч – 10 тысяч франков.

Тех, кто смотрел на демонетизацию как на банкротство, эта мера не должна была особо успокоить, потому что ассигнация все-таки теряла огромную часть своей денежной ценности. К тому же каждый выпуск должен был и впредь уменьшать ценность ассигнации на известную, неизменную долю.

Следовало применить этот масштаб, представлявший свои неудобства не менее других, ко всем сделкам, но этого сделать не посмели: его применили сначала только к налогам и недоимкам. Предполагалось применить его к должностным лицам, когда число их будет сокращено, к владельцам билетов государственной ренты, когда первые взносы налогов по новому масштабу позволят совершать и уплаты по тому же масштабу. Правительство не посмело позволить всякого рода кредиторам, владельцам домов, в городах или в деревнях, заводов, фабрик и пр. воспользоваться этим масштабом. Допущены к нему были только землевладельцы. Арендаторы, наживавшие на продуктах земли неимоверные барыши и платившие, благодаря ассигнациям, лишь десятую или двенадцатую часть аренды, теперь были вынуждены вносить арендную плату согласно новому масштабу.

Таковы были меры, которыми Конвент старался придержать биржевую игру и прекратить хаос, водворившийся в соотношении ценностей.

Закрытием Клуба якобинцев началось поражение патриотов, события 12 жерминаля сильно подвинули его, а прериальские события довершили. Граждане, враждебные якобинцам не из роялизма, а из опасений нового террора, более чем когда-либо неистовствовали против них. Всех людей, горячо служивших Революции, обезоруживали и сажали в тюрьмы. С ними поступали так же произвольно, как прежде поступали с подозрительными. Тюрьмы набились, как перед 9

термидора, только на сей раз революционерами. Заключенных было не сто тысяч, как тогда, но всё же набиралось от двадцати до двадцати пяти тысяч.

Роялисты торжествовали. Разоружение и аресты патриотов, казнь монтаньяров, преследование, начатое против множества других депутатов, упразднение Революционного трибунала, возвращение церквей католикам, преобразование национальных гвардий, – все эти меры преисполняли их радостью. Они льстили себя надеждою, что скоро Революция истребит себя сама, что Республика умертвит или арестует всех, основавших ее. Чтобы ускорить это движение, они интриговали в секциях, натравливали их на революционеров и толкали к всевозможным безобразиям. Множество эмигрантов возвращались с фальшивыми паспортами или под тем предлогом, что желают просить об исключении их имен из списков эмигрантов.

Местные администрации, обновленные после 9 термидора в ином составе и наполненные людьми или слабыми, или враждебными Республике, подавались на всякую официозную ложь; всё, что клонилось к облегчению участи так называемых жертв террора, казалось им позволительным, и они давали таким образом множеству врагов отечества возможность возвратиться, чтобы опять терзать его своими происками.

В Лионе и на всем Юге продолжали тайно появляться роялистские агенты, войска Солнца продолжали жечь и резать. Десять тысяч ружей, назначенных Альпийской армии, без всякой пользы были розданы гвардии в Лионе: она не применила их в дело и 13 июня (25 прериаля) дала убить множество патриотов. Сона и Рона опять несли в своем течении трупы. В Ниме, Авиньоне, Марселе вновь происходила резня.

Господствующая партия Конвента, состоявшая из термидорианцев и жирондистов, защищаясь против революционеров, всё же следила и за роялистами и сознавала необходимость подавлять их. Стараниями этой партии было постановлено декретом послать в Лион отряд Альпийской армии с приказанием отобрать оружие у граждан и сменить власти, допустившие избиение патриотов. В то же время секционным гражданским комитетам предписывалось пересмотреть списки заключенных и распорядиться освобождением лиц, арестованных без достаточных к тому оснований.

Секции, подстрекаемые роялистскими интриганами, взбунтовались и раскричались о том, что Комитет общественной безопасности будто бы выпускает террористов и выдает им оружие. Секции Лепелетье и Французского театра, всегда испытывавшие сильнейшую вражду в отношении революционеров, спросили, уж не хотят ли опять поднять разбитую фракцию и не для того ли, чтобы заставить забыть террор, во Франции начинают говорить о роялизме!

К этим петициям, часто не слишком почтительным, люди, заинтересованные в беспорядках, присовокупляли еще слухи, более всего способные волновать умы. То Тулон будто бы предали в руки англичан; то принц Конце с австрийцами собирался вторгнуться во Францию через Франш-Конте, между тем как англичане проникнут в нее с запада; то Пишегрю якобы умер; то совсем не станет припасов вследствие восстановления свободной торговли; то, наконец, комитеты на общем собрании, испугавшись опасностей, совещались о восстановлении террора. Среди этого всеобщего волнения действительно можно было подумать, что настало царство анархии.

Термидорианцы и контрреволюционеры ошибались, называя анархией то состояние, которое предшествовало 9 термидора: то была ужасающая диктатура; анархия же началась с тех пор, как две Франции, приблизительно равные по силам, начали бороться между собою, а правительство не имело силы победить их.

notes

Примечания

Аллоброги – большой кельтский народ, живший в Галлии, в северной части Дофине и Савойи. – *Прим. ред.*

Плашкоут – плоскодонное несамоходное судно, служащее опорой для наплавных мостов. – *Прим. ред.*

Прикрытый путь – пространство между контрэскарпом и гласисом. – *Прим. ред.*

Неакцептованный вексель – оферта, предложение заключить договор об уплате вексельной суммы в пользу третьего лица. – *Прим. ред.*

26 августа, во время общего восстания, Леже-Фелисите Сантонакс, комиссар Революции в Сан-Доминго (Гаити), издал декрет о полном и немедленном освобождении рабов, но этим только усилил беспорядки. – *Прим. ред.*

Адам Люкс (1765–1793) был казнен из-за манифеста, написанного в защиту Шарлотты Корде. – *Прим. ред.*

Альпари – точное соответствие между рыночной ценой и номинальной стоимостью ценных бумаг. – *Прим. ред.*

Крупное государственное образование доколониального периода на территории Южной Африки. Занимало территорию современного Зимбабве и отчасти Мозамбика. – *Прим. ред.*

Верки (*нем.*) – отдельные части воинских укреплений; составные части крепости. – *Прим. ред.*

Комитет общественного спасения нашел пьесу Франсуа де Нёфшато «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1793, по Ричардсону) роялистской. Театр, в котором она шла, закрыли, автор и актеры были арестованы. – *Прим. ред.*

Барер был прежде дворянином и назывался *Vieuzac*, а *vieux sac* значит – старый мешок. – *Прим, автора.*

По преданию, Генрих IV однажды, отвечая на вопрос герцога Савойского, что он собирается предпринять в разрушенном религиозными войнами государстве, произнес ставшие знаменитыми слова: «И не будет в моем королевстве ни одного земледельца, не имеющего курицы в своем горшке!» – *Прим. ред.*

Санкюлоты – от *sans* — без и *culotte* – короткие штаны. – *Прим. ред.*

Речь идет об Уильяме Питте-младшем, премьер-министре Великобритании (1789–1801). – *Прим. ред.*

В Древнем Риме с этой отвесной скалы с западной стороны Капитолийского холма сбрасывали осужденных на смерть преступников. – *Прим. ред.*

Санкюлотиды – это период с 17 по 22 сентября, добавленный для согласования длины календарного года с продолжительностью солнечного. Вторая санкюлотида – 18 сентября. – *Прим. ред.*

То же, что и статс-секретарь. – *Прим. ред.*

Стремление обратить других в свою веру. – *Прим. ред.*

Рента, при которой каждый член ассоциации вносит известную сумму на определенный срок, чтобы по прошествии этого срока капитал и выросшие проценты делились поровну между членами, оставшимися в живых. – *Прим. ред.*

Речь идет о старшем брате поэта Андре Шенье – Мари-Жозефе.

Ганс Рудольф фон Бишофвердер (1741–1803) – один из руководителей Германской масонской ложи, розенкрейцер. – *Прим. ред.*

Католический орден священников-миссионеров, основанный в начале XIX века Жан-Батистом Розаном (1757–1848). – *Прим. ред.*